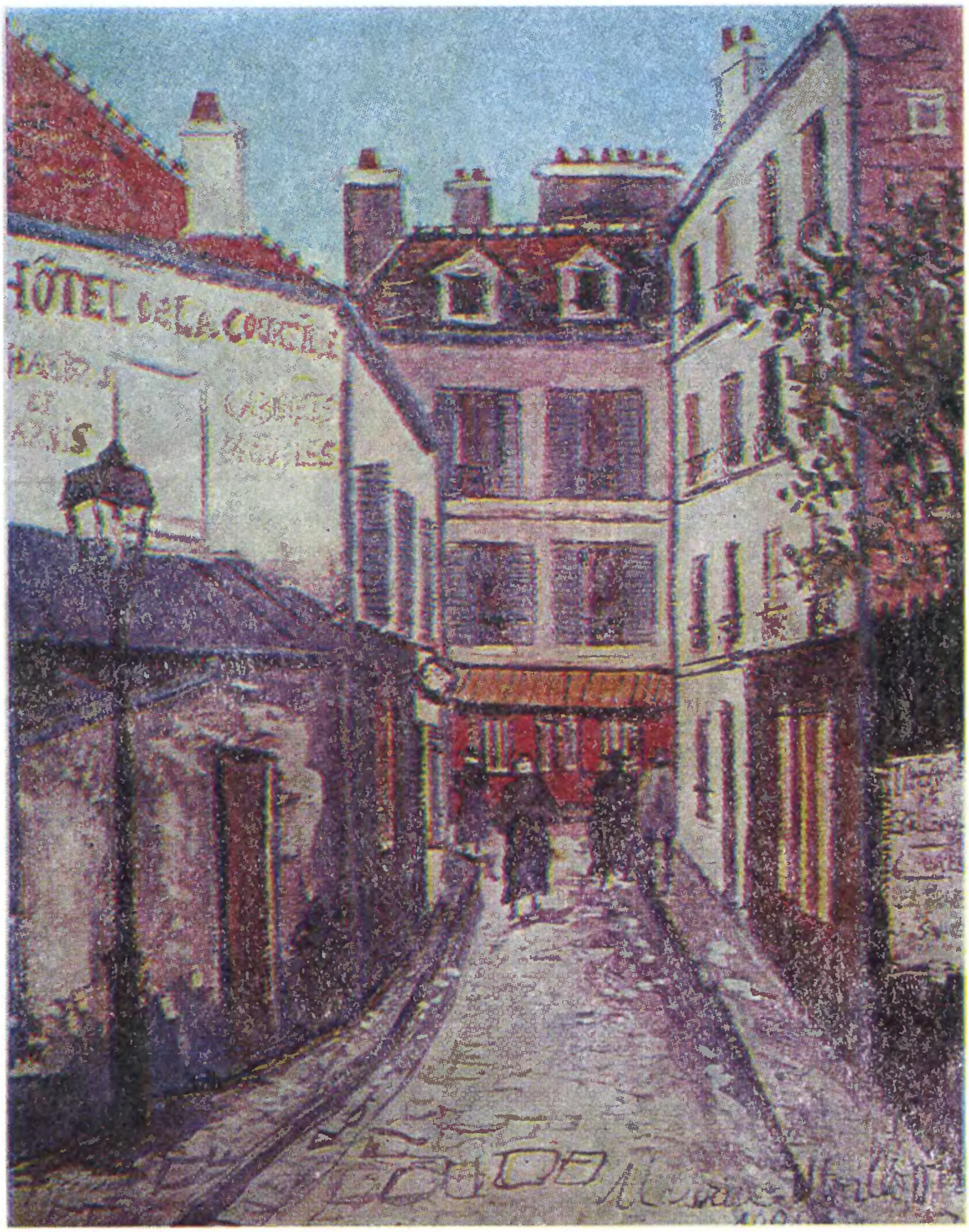
ISSN 0130–6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 1988



Улица Жонкьер.

На 1-й и 4-й страницах обложки

Улица Бельвиль. Праздничная ярмарка.

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника Мориса Утрилло

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1988

Содержание

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — Новое благоденствие *(Роман. Перевод с немецкого Е. Кацевой)* 3

Три патриарха французской поэзии

ПЬЕР СЕГЕРС. АНДРЕ ФРЕНО. ЖАН РУССЛО *(Перевод с французского и вступление Мориса Ваксмахера)* 94

Литературное наследие

ФРАНЦ КАФКА — Замок *(Роман. Вступление А. Гулыги. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой)* 105

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН. К 200-летию со дня рождения *(Перевод с английского Юрия Кузнецова. Послесловие А. Зверева)* 165

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — Взгляд в досье *(Вступление и перевод с немецкого Алексея Григорьева)* 170

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Письмо из Рима *(Перевод с итальянского Ф. М. Двин)* 193

Н. ДМИТРИЕВА — Живое прошлое. Судьбы искусства: век XIX, век XX 197

Культура и современность

А. Замойский — По образу и подобию 207

К нашим иллюстрациям

Т. Савицкая — Морис Утрилло 209

Писатель и время

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ, НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Возвращение к Человеку 211

Возвращаясь к напечатанному

Криста Вольф и ее повесть «Авария» под тремя углами зрения

А. КАРЕЛЬСКИЙ — Поэзия и мысль 219
А. КОСОРУКОВ — В поисках истины 223
БОРИС ОЛЕЙНИК — Сквозь окуляр доядерного опыта? 228

Антирубрика

АНДРЕ ВЮРМСЕР — Рассказы *(Перевод с французского Ирины Волевич)* 231

ФИЛИППО ПАНАНТИ — Эпиграммы *(Вступление и перевод с итальянского Владимира Васильева)* 236

Среди книг

Издано в СССР

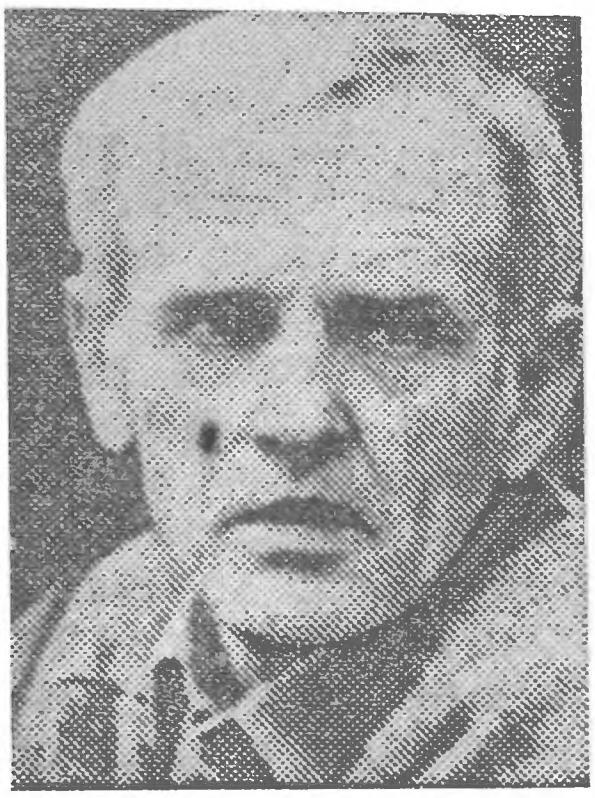
Е. Злобина — Гибель богов... *(Андре Моруа. Байрон; Дэвид Вейс. Возвышенное и земное; Антонин Згорж. Один против судьбы; Роландо Кристофанелли. Дневник Микеланджело неистового)* ◆ А. Аникст — Книга об искусстве США *(Е. М. Матусовская. Американская реалистическая живопись)* 238

Издано за рубежом

Вл. Гаков — Литературоведение изучает Апокалипсис *(Пол Брайнс. Ядерные «холокаусты». Атомная война в художественной литературе, 1895—1984)* ◆ Элеонора Панкратова — Многоликий Мартин Наг *(Мартин Наг. Квелбелский дуб и революция. В борьбе за мир. Мир. Советская литература в Норвегии в период между войнами)* 243

Из месяца в месяц 247

© «Иностранная литература», 1988



ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

Новое благоденствие

РОМАН

Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

Советским читателям «Нового благоденствия»

Радость и страх — эти чувства всегда вызывает во мне публикация новой книги. Задолго до того, как первое слово осядет на бумаге, книга занимает все мои мысли. На пути от головы к бумаге продуманное обретает четкость, но (замысел ведь всегда лучше осуществления!) блекнет красота. Целые годы я жил с персонажами, от фразы к фразе они оживали. Случались кризисы, казалось, ничего не выйдет. Я писал новые варианты, отметал или укрупнял второстепенные фигуры, менял концовку — то она была слишком длинна, то слишком коротка, то недоговорена, то чересчур моралистична. И все было исключительно в м о и х руках. Теперь же переходит в руки читателей. Правда, с самого начала именно это и было моей целью, тем не менее не могу не испытывать некоторого беспокойства. Беспокойства о том, правильно ли меня поймут, поймут ли вообще. И хотя о читателях я думал всегда, когда писал, при каждой фразе задавался вопросом, поймет ли ее человек с другим жизненным опытом, другими ассоциациями; хотя после множества переделок то или иное место мне нравилось, выпустить из рук все в целом было трудно. Каждый раз. Несмотря на то, что предыдущие книги принимались неплохо.

Советский читатель получает «Новое благоденствие» примерно через пять лет после окончания работы над ним. С немецкоязычными читателями и рецензентами я уже объяснился, упомянутый в начале страх миновал. Велика радость, что роман теперь будут читать и на русском языке,— я глубоко благодарен переводчице. И все же нет-нет да и мелькнет вопрос: не утрачиваются ли неизбежно при переводе на другой язык определенные нюансы? Не меняются ли настройка и тональность в мелодии другого языка? Можно ли точно передать унтертоны? Поймет ли читатель, живущий в других условиях, намеки, иронию? Потому-то мой привет русскоязычному читателю не свободен от некоторого беспокойства. Но радость моя — куда большая.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — GÜNTER DE BRUYN (род. в 1926 г.)

Немецкий писатель (ГДР). Его первые повести «Встреча на Шпрее» („Wiedersehen an der Spree") и «Свадьба в Вельцове» („Hochzeit in Weltzow") появились в 1960 г. Затем вышли сборник рассказов «Черное, бездонное озеро» („Ein schwarzer, abgrundtiefer See", 1962) и роман «Овраг» („Der Hohlweg", 1963).

«Иностранная литература» познакомила читателей с романами Г. де Бройна «Буриданов осел» (1969, № 11, 12), «Присуждение премии» (1973, № 5), повестью «Бранденбургские изыскания» (1982, № 1). На русский язык переведен также роман «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» (М., 1978). Творчество Гюнтера де Бройна отмечено литературными премиями имени Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера. Роман «Новое благоденствие» вышел в ГДР в 1985 г. („Neue Herrlichkeit". Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlag).

Большая семья

Прежде чем познакомиться с Виктором, читатели услышат, что́ о нем говорят. Ольга считает его человеком естественным, однако смысл этого многозначного определения она объяснить не может, а Макс, который всегда стремится ей противоречить, в данном случае доводов для опровержения не находит, поскольку знает Виктора тоже лишь с чужих слов и потому старается выразить несогласие хотя бы тоном: «Подождем-ка лучше», на что Ольга возражает: «Во всяком случае он не воображала».

Это сказано за кухонным столом, за несколько часов до приезда Виктора. Здесь говорить о гостях можно, так как доступа сюда они в обеденное время не имеют. Об этом правиле знает каждый, хотя оно нигде не записано, а новички нарушают его один только раз, потому что, натолкнувшись на ледяные лица, крепко это запоминают.

Девять человек, собравшихся там, можно было бы считать большой семьей, и, вместе живя и вместе питаясь, в известном смысле они таковой и являются, однако не в смысле родственном, или родственном лишь отчасти: это семья, состоящая из обломков нескольких семей. В родстве состоят, во-первых, Тита и Тильда, во-вторых, Макс и Пюппи и, в-третьих, Ольга, Пюппи, Габи, Томас и Мануэла. Не связан родственными узами только один человек: Себастиан, садовник, не обращающий внимания на густые заросли бороды и гривы, хотя они и мешают ему есть, к примеру томатный суп, который окрашивает в красноватый цвет окружающую рот растительность.

Во главе стола сидит Макс, шеф, которому позже все-таки приходят в голову кое-какие критические соображения насчет Виктора: он, мол, человек с претензиями. Дважды мать Виктора по телефону просила, чтобы комната у сына была тихой, а это для Макса значит — дважды преступить норму.

— Он еще потребует, чтобы ради тишины для него я подвязывал коровам морды,— говорит Макс, пытаясь кормить сидящую у него на коленях Пюппи.

Пюппи обычно отказывается есть, и, даже когда ее просят: «Еще одну ложечку за папу», она сжимает губы и бьет по ложке, так, что Габи приходится вытирать заляпанный супом пол, Макс же хохочет в восторге от своей потешной дочурки. Он озирает всех своими небесно-голубыми глазами, приглашая позабавиться вместе с ним, но смеяться никому не хочется.

Особенно она не любит мясо, которое Макс считает основой детского питания. Только когда Макс, разжевав, выплевывает его на ложку, она ест, но без особого удовольствия. Правда, особого удовольствия она вообще никогда не испытывает, в лучшем случае выказывает спокойное равнодушие. Зато рев ее громок и яростен. И раздается он, едва Макс отдаляется от нее шага на три. Ведь Пюппи — папина деточка. Без нее Макса можно увидеть, лишь когда она спит. Он горд такой привязанностью, хотя на самом деле это скорее потребность в защите. У Ольги, матери, времени для дочки нет, а Габи с Томасом не упускают случая ее помучить. Стоит Максу отвернуться, Габи вырывает у нее белокурый кудрявый волосок или Томас грозит ей иголкой. Орет трехлетняя Пюппи пронзительно, а говорить не умеет. Ольга объясняет это избалованностью и ленью. Когда Тильда советует Максу показать малышку врачу, он отвечает:

— Почему она должна говорить, если ей не хочется? Я ее и так понимаю.

Справа и слева от Макса, то есть на первых по бокам стола местах, сидят Габи и Томас. Они близнецы, но друг на друга не похожи, что дает Максу повод то и дело выражать сомнение, от одного ли они отца. Да у одного и не хватило бы пороху выпустить на свет столько дерзости, часто повторяет он, хотя шутка несправедлива: Габи вовсе

не дерзка. Она все время старается завоевать расположение Макса, однако усилия ее напрасны. Поскольку она добровольно берется за любую грязную работу, Макс думает, что она делает это с охотой, и считает благодарность излишней. Ольге тоже в голову не приходит похвалить Габи за усердие. Правда, любить эту толстуху трудновато. Она глупа и неряшлива. Если Себастиан, садовник, из жалости иной раз погладит ее по голове, она с детскими ужимками так к нему прижимается, что ему становится неприятно и он жалеет о своем добром намерении. Так как не в пример брату она не в состоянии скрыть на уроке, что ничего не знает, она осталась в шестом классе на второй год.

Томасу в непрерывной войне с Максом пришлось научиться изворотливости — чтобы выжить, скажут те, кому известно, что Макс о нем говорит. А говорит Макс, что боится, как бы не убить парня, когда тот заливает воду в бензобак или подпиливает лестницу на сеновал.

— Этот пес,— говорит он, когда водка вызывает у него слезы самосострадания,— этот пес меня доконает.

Томас признает, что его цель именно такова. Он хвастает жестокостью своих желаний. Смакует картины несчастных случаев, при которых Макс в муках гибнет. При этом он демонстрирует, как небрежно он умеет курить. По-видимому, больше всего ему по вкусу сигареты не из лавки, а выкраденные из Максовых карманов. Однако Макс его накрыл. Томас с гордостью показывал потом шрамы на спине. Слез на его веснушчатом лице не бывает.

Рядом с ним за столом — бородатый Себастиан, за каждой трапезой тщетно пытающийся вовлечь в разговор сидящую напротив Мануэлу. В отличие от своей сводной сестры Пюппи она умеет разговаривать, но в кухне этим умением не пользуется. Обходится кивками и покачиванием головы, а для зубоскалов держит наготове презрительное фырканье. Так ли она красива, как утверждает Ольга, установить нельзя, поскольку лицо она прячет под толстым слоем косметики. Формы же свои она демонстрирует охотно с помощью тесных брюк и кофточек, а на хвалебные комментарии отвечает беглой улыбкой. Всем известно, что летом, по окончании школы, она хочет стать стюардессой в «Интерфлюге» — Ольга часто об этом говорит.

— А приземлится она на панели,— говорит Макс и напоминает о гёрцевских, прёцевских и шведеновских парнях, с грохотом кружащихся на мопедах вокруг дома, когда Мануэле не разрешают выйти за порог.

— Я держу свою дочь в такой же строгости, в какой меня держали в детстве,— говорит Ольга, сидящая дальше всех от Макса, напротив него.— Я так же строга к дочери, как строга была ко мне моя мать.

Ольга говорит очень длинно, потому что без конца повторяет одни и те же слова, в особенности когда она вдохновлена алкоголем. А это бывает часто, но не всегда заметно: пьет она тайком и, даже совсем хмельная, владеет собой. Она владеет собой так хорошо, что задаешься вопросом, зачем ей, собственно, пьянство, раз она все равно не дает себе расслабиться. Конечно, все работники (но не гости) знают о ее пристрастии к спиртному, и она знает, что они знают, но никогда тем не менее не отпускает своих внутренних тормозов. Если она опасается, что походка ее может стать нетвердой, она попросту не двигается с места, а если язык вот-вот начнет заплетаться, она молчит. Она очень много курит. Зажигает одну сигарету от другой. Поразительно, как она при своей худобе это выдерживает. Несмотря на то что родила четверых детей, она хорошо сохранилась. Старыми кажутся только губы, тонкие, как черточки.

Макс и Ольга не женаты. Ее зовут фрау Кранц, его — господин Брюггеман. Они живут в свободном браке, говорят в деревне.

— Жениться? — говорит Макс.— На этой, с ее выводком? Лучше уже сразу в петлю.

Но говорит он это не за столом. Тут он, если ярость его не обуяет, умеет сдерживаться ради Титы и Тильды, сидящих справа и слева от Ольги, Тита — рядом с Себастианом, Тильда — с другой стороны.

Имя Тита заменяет слово «бабушка». Тильда ребенком изобрела его, и никто уже не помнит почему. Во всяком случае, так бабушку называют все в доме. Некоторые даже и не знают, что зовут ее фрау Людериц. Ей восемьдесят четыре года. До Макса правила домом она. И сейчас еще она обладает бесспорным авторитетом. Пунктуальный распорядок, например,— полностью ее заслуга. Любой опоздавший боится ее взгляда на кухонные часы и чувствует себя обязанным извиниться. Без ее согласия Макс не решается предпринимать какие-либо изменения. Он и в остальных делах просит ее совета, хотя в ответ часто слышит лишь невнятицу, потому что она его не понимает. Она туга на ухо. Но полагаться на это нельзя. Юридически дом и подворье принадлежат до сих пор ей. Здесь она провела почти всю свою жизнь, так же как и Тильда, ее внучка.

В день приезда Виктора она спрашивает, какую комнату приготовить для нового гостя. Макс наметил мансарду. Так ночной стук на машинке будет мешать одной Тите, а она все равно ничего не слышит.

Сын своего отца

Примерно в это же время первое прощание Виктора с матерью (в квартире) уже состоялось; второе (на улице) было еще впереди. Он охотно избежал бы его, но отменить не решается. Ради этого прощания мать не пошла на службу, что с ее стороны — большая жертва. И потому она имеет право на обстоятельную церемонию.

Лифт доставляет их с тринадцатого этажа вниз. Виктор, как и положено в лифте, смотрит на указатель этажей над дверью; мать же смотрит на сына: немножко влюбленно, немножко озабоченно, но и не без насмешки. Виктору знаком и этот взгляд, и его значение. Подлинны лишь влюбленность и озабоченность; насмешка призвана только прикрыть их, чтобы блюсти дистанцию. Современная женщина, в ее понимании, не лишена, правда, чувств и даже вправе их обнаруживать, но она обязана ими управлять. И потому слезам сопутствует острота, депрессиям даются профессиональные объяснения, а когда она прихорашивается, то непременно упоминает про старушью кокетливость.

Как Виктор и опасался, на улице Аньола (так ее зовут, и так ее должен звать сын) повисает у него на руке. Поскольку она меньше его ростом, носит короткую стрижку и считает свою живость зримым признаком нестареющего сердца, она воображает, будто все принимают мать и сына за сестру и брата. Поклонники подтверждают это; но Виктор подозревает, что она им это внушает. Она нуждается в восхищении и, если надо, умеет его провоцировать. Она и сына к этому приучила. На людях его задача состоит в том, чтобы укреплять общину поклонников Аньолы. Труднее ему дается вера в простодушие матери. Неужели, часто спрашивает он себя, она и впрямь не знает, что поклонением окружающих она обязана не красоте своей и обаянию, а браку с Кёслингом?

Наивность в этом вопросе кажется Виктору сомнительной хотя бы потому, что он с детства знает, каково это — носить фамилию Кёслинг. Он так и не смог разобраться, надо ли благодарить судьбу или сетовать на нее за то, что отец — важная персона. Отчасти это облегчает его жизнь, но и усложняет тоже,— например, когда ему

приписывают побуждения, которых у него нет. Друзья и коллеги, превозносящие отца как образец, считают само собой разумеющимся, что и для Виктора он таков. Им не приходит в голову, что подобную роль способен играть лишь человек, стоящий достаточно высоко и далеко, и им невдомек, что Виктор лишен тщеславия. Да он и скрывает это, умудренный горьким опытом отношений с отцом и матерью. Он не желает тайными маневрами возвыситься над другими; ему бы только ладить с ними.

Его трудности так или иначе, прямо или косвенно связаны с отцом. Ведь перед ним всегда стоит вопрос, знают ли люди, чей он сын, а если знают, то в пику отцу или ради отца они дружелюбно или неприязненно относятся к нему, Виктору. Не в том его проблема, что тень отца заслоняет его собственное сияние, а в том, что он не знает, обеспечивает эта тень ему защиту или нет.

Трудности, конечно, возрастают, когда он, хоть и редко, расстается со знакомым окружением и оказывается среди людей, которые, услышав его фамилию, спрашивают: «Кёслинг? Какой Кёслинг?» — не думая ни о каком родстве. Если он объясняет, кто он, люди считают это хвастовством, если умалчивает — коварством.

Пока он (следуя не своей натуре, а обычным представлениям о молодости) еще воспринимал жизнь как приключение, пережить которое тем почетнее, чем оно труднее, он убеждал себя, будто любит бывать среди людей, не подозревающих о его происхождении и судящих о нем лишь по тому, что они сами слышат и видят. Но поскольку порой он наталкивается на пренебрежение, то рано понял, что неразумно встревать без нужды в ситуации, которые тебе не по плечу. Поэтому лучше уж вращаться в знакомых сферах, где знают, кто он, и не доискиваться, сам он или фамилия его вызывает почтение,— важно в любом случае оставаться учтивым.

Вот почему он сразу согласился на предложение матери провести отпуск, предоставленный ему министерством для работы, в Доме отдыха имени Фридриха Шульце-Деккера. Ибо этот, хоть и неприглядный, пансионат — собственность министерства и, стало быть, есть гарантия, что там известно, кого они принимают в лице Виктора. Правда, у матери были иные причины выбрать из многочисленных вариантов именно этот. Ей важно, чтобы он написал диссертацию (ради которой ему и предоставлен отпуск), следовательно, надо исключить отвлекающие факторы. Пансионат расположен в отдаленной местности, мало кого привлекающей в зимнюю пору. В соседних городках, куда без машины добраться трудно, есть в лучшем случае кино, до окружного же центра ехать далеко. Поскольку лишь немногие, большей частью пожилые, люди покоя ради готовы пожертвовать комфортом, пансионат в это время года почти пустует. И веселые компании не отвлекут от письменного стола.

По дороге от многоэтажного дома до автостоянки Виктор еще раз выслушивает все уже известные ему напутствия. Шофер выходит из машины, открывает дверцу и приветливо сообщает, что багаж погружен, показывая тем самым, что знает, кого повезет. Хотя он единственный свидетель, его присутствие побуждает Аньолу к демонстрации самых пылких материнских чувств. Лишь умудрившись сесть в машину, Виктор кладет конец поцелуям, объятиям, предостережениям, шутливым угрозам. Аньола остается в позе, долженствующей выразить грусть.

Покончив с прощальным маханием, Виктор испускает предназначенный для шофера вздох облегчения. Ответом, как и ожидалось, была улыбка, которая, правда, осторожности ради сопровождается замечанием о поразительной моложавости фрау Кёслинг. Но Виктору неохота говорить о матери. Он расспрашивает о местности, куда едет. Шофер считает ее захолустьем; это, говорит он, уж извините, задница земли. Аньола назвала ее типично прусской, скучной про-

винцией и выразила надежду, что она будет стимулировать работу сына. Тем более что эта работа связана с Пруссией. Жизненный путь Виктора, приведший его в конце концов на дипломатическую стезю, пролегал и через занятия историей, которые до сих пор давили ему на плечи тяжким грузом просроченной диссертации. «Внешняя политика Пруссии во время французской революции — с особым учетом влияния ремесленных и крестьянских бунтов в провинциях» — так формулируется тема диссертации, и больше Виктор о ней пока ничего толком не знает. Но все это есть в книгах. Надо их только прочесть. Что он и собирается сделать. Строгой дисциплиной в деревенском одиночестве он хочет за несколько недель наверстать упущенное за годы. Мысль об аскетической жизни в труде, прерываемом только трапезами и одинокими прогулками, озаренными творческими размышлениями, настолько его вдохновила, что идея оставить машину (как способ бегства) дома исходила не от матери, а от него. Итак, он едет в машине министерства, которая кроме него и шофера везет два чемодана белья, пишущую машинку и кучу коробок с книгами.

Они выезжают из Берлина на восток, едут по автостраде, затем сворачивают на юг, наконец, миновав множество городков и деревень, шофер сообщает, что скоро они будут на месте. Горбатое шоссе, расширенное за счет летнего проселка, обсажено яблонями. Справа и слева — голые поля; затем начинается сосняк. К песчаной дороге, где на перекрестке стоит указатель на Прёц и Шведенов, сбегаются болотистые протоки какого-то озерца. Кое-где под деревьями растет камыш. У опушки леса шофер показывает налево. Примерно в километре от дороги посреди поля возвышается комплекс построек из красного кирпича, неприветливо повернутый к шоссе глухой стеной без окон и дверей.

У въезда в Гёрц шоссе делает поворот, от него ответвляется проселок, называемый, по словам шофера, Мертвой дорогой, так как ведет он к прёцевскому кладбищу, где хоронят и жителей Гёрца. Обочины дороги обсажены сливовыми деревьями. Глубокие колеи опасны для легковой машины. Повсюду осколки стекла и старые матрацы, машина то и дело вихляет, объезжая их. Дорога на кладбище, видимо, ведет и на свалку. Извиваясь, она взбирается на холм. Лишь подъехав к красному зданию, понимаешь: это усадьба. С трех сторон двор окружают сараи и хлева, на четвертой, лицом к дороге, стоит одноэтажный жилой дом со сводчатыми окнами, фасад его украшен орнаментом. Над входом надпись: «Построен в 1895 году». На скате крыши из глазурованной черепицы желтым по темно-красному тоже выложена надпись: «НОВОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ».

Ворота слева от дома открыты. Машина въезжает во двор. Макс с Пюппи на руках, готовый к встрече, открывает дверцу машины.

— Добро пожаловать, товарищ Кёслинг,— говорит он.— Хорошо, что вы уже здесь. Бюро погоды обещает бури, холода, гололедицу и дождь со снегом.

Тильда, пока безликая

Не успел еще Виктор ступить на почву «Нового благоденствия», как блестяще проявилось то, что Ольга впоследствии назовет его мягкосердечием.

Он сидит в машине, подает Максу коробку и объясняет, почему они такие тяжелые: там книги, они нужны для работы, ради написания которой он и приехал. Он почти разучился писать от руки, стучит на машинке, что, к сожалению, создает шум, потому-то он и повторяет свою просьбу насчет отдаленной комнаты; он не хотел бы никому мешать.

— Разумеется, все будет в порядке, товарищ Кёслинг,— говорит Макс, берет две коробки под мышки, две — в руки и идет к дому, из которого в пальто и платке выходит Тита. Быстрым шагом она подходит к машине, бьет по ней палкой и говорит:

— Давно пора было приехать! — Затем она втискивается в машину.

Тита — женщина статная, высокая, не толстая, но плотная, крепко сбитая, как она говорит. Влезая в машину, она кряхтит, возится с палкой и, усевшись, говорит с облегчением:

— Ну вот! — Главное на ее изборожденном морщинами лице — подбородок, слишком острый и слишком длинный, поросший редкими волосками, их примерно восемь — десять; маленькими серо-зелеными глазками она смотрит на Виктора и строго, но бодро говорит: — Теперь можно ехать!

Виктор озирается в поисках помощи, но рассчитывать не на кого, поскольку и шофер (с вещами из багажника) уже в доме. Оставшаяся во дворе Пюппи садится на бетон и начинает орать. Тита захлопывает дверцу машины.

— Извините, пожалуйста,— говорит Виктор,— мне кажется, вы ошиблись.

— Куда, куда! — словно передразнивает Тита.— Куда же еще? Конечно, в Кляйн-Киц.

Хотя Виктор никогда не сталкивался с тугоухими, он тотчас соображает, в чем дело, выкрикивает свою фразу Тите в ухо и, увидев на ее лице подобие понимания, добавляет, что это не такси, а служебная машина, на что она с видом заупрямившегося ребенка возражает:

— Ну и что!

У Виктора вид беспомощный, да он и есть беспомощный и часто оказывается в таком положении (потому здесь и описывается эта сцена — она скоро закончится). Он не знает, кто эта Тита и где находится Кляйн-Киц, но знает, что с энергичными людьми, молодыми или старыми, ему не справиться. Ибо у них есть намерения, которые они хотят осуществить, его же намерения состоят лишь в том, чтобы жить в ладу с другими, и потому надо уступать. Он не переносит, когда на него сердятся!

Он кричит Тите в ухо, что сейчас посмотрит, что можно сделать, и добивается успеха. Она говорит уже более миролюбиво:

— Чему быть — того не миновать.

Она даже улыбнулась, и он снова в ладу с миром, правда ненадолго. Ибо когда он просит шофера на обратном пути завезти бабулю в ее бог весть где расположенную деревню, тот из-за гололедицы приходит, конечно, в ярость — немую, но мимически достаточно выразительную. Пока Виктор уговаривает шофера: это вряд ли далеко, старуха ведь совсем без вещей,— проблема разрешается вмешательством Тильды. Она попросту открывает дверцу машины и говорит не очень громко, но четко:

— Пойдем, Тита, ты ошиблась.

Тильда случайно произнесла почти те же слова, что и Виктор,— позднее этому факту, разумеется, придадут более глубокое значение, пока же Виктор заметил другие обстоятельства: во-первых, Тильда неправильно выговаривает «с» (она шепелявит); во-вторых, ее вполне взрослый голос не соответствует по-детски хрупкому телу, которое он от колен до плеч видит в раскрытую дверь машины; и, наконец, своими словами она добилась большего успеха, чем он. Ибо Тита говорит: «О господи!» — и выкарабкивается из машины. Виктор еще несколько секунд видит обеих — правда, только со спины. Он пытается представить себе лицо, до сих пор скрытое от его глаз. Подобные вещи ему удаются.

Постоянный жилец

Аньола была права: дом действительно почти пуст. В данный момент здесь, кроме Виктора, только двое гостей. Виктор знакомится с ними, совершив вместе с Максом обход.

В верхнем этаже левого флигеля, где раньше был хлев, а теперь расположены кухня и столовая, рядом с комнатами Макса и Ольги живет господин Кёпке — кругленький, лысый, всегда в зеленом. Виктору кажется, что он встречал его в министерстве, но по делам не сталкивался. Господин Кёпке, как узнает Виктор, ежегодно проводит здесь свой отпуск, без семьи, всегда зимой, когда мало народу, ни в коем случае не в каникулы, когда вслед за ним могли бы приехать и дети.

— Отдых лишь тогда имеет смысл, когда это отдых от семьи,— говорит он,— ведь от нее устаешь больше, чем от работы.

Господин Кёпке охотник, много лет состоит членом Гёрцевского охотничьего общества, но в его облавах и празднествах никогда не участвует, поскольку охота привлекает его только в одиночестве. На заре или в сумерках, без компании на высотке — что может быть прекраснее, говорит он. Когда господин Кёпке не ест, не спит и не охотится, он смотрит телевизор: это тоже обособляет. Виктор улыбается удивленно, но не без почтения, он понимает причуды отдыхающего господина Кёпке, не пристает с вопросами об оленях и косулях и скоро оставляет охотника в одиночестве.

Бывший сарай напротив жилого дома служит гаражом и мастерской. Среди разобранных моторов и кузовов стоят два с половиной автомобиля. Один из них принадлежит Максу, остальные полтора тоже, но временно. Знакомые доконали их, а он, Макс, сдуру купил их, заплатив кучу денег. Когда он их отремонтирует и продаст, убыток будет колоссальный, не говоря уже о потерянных рабочих часах. Эти мерзавцы (имен он не называет) постоянно злоупотребляют его добротой, говорит он, сморщив, как от боли, лицо. Коровы, которые стоят в правом хлеву под сеновалом, тоже доставляют ему одни только хлопоты. Молока все хотят, говорит он, настоящего, желтого, жирного, какого в магазине не купишь, но помогать никто не хочет.

Виктор не дает никаких обещаний, но высказывается в том смысле, что понимает, как тяжела эта работа. Он хвалит запах хлева, а потом, уже во дворе, животное тепло, называя его уютным.

— Какой здоровенькой ты здесь вырастешь! — говорит он Пюпи, сопровождающей мужчин на папиных руках. Ребенок не реагирует на эти слова, зато папаша сияет, и Виктор знает теперь дорогу к Максову сердцу.

Сквозь холодный ветер с моросящим дождем они спешат обратно в дом. Нижний этаж посередине разделен коридором. В направлении Прёца — комнаты Титы и Тильды, в направлении Гёрца — контора и гостиная, где стоят телефон и телевизор. На самом верху, под крышей, живет Себастиан, садовник, на первом этаже комнаты для гостей, теперь они, кроме двух, пустуют. Одну из мансард, как раз над комнатой Титы, занимает Виктор. В ближайшей к лестнице комнате живет фрау Эрика; знакомя ее, уже стоящую в открытой двери, с Виктором, Макс называет ее «наш постоянный жилец».

Фрау Эрика знает нового гостя по прежним временам. Ему было года три или четыре, когда она впервые его увидела, тогда еще был жив ее супруг, а Ян (отец Виктора) и Аньола еще были женаты. Виктор был забавный маленький мужчина, а теперь он большой, такой статный и красивый, с бородкой, которая ему очень идет, вот только бледен он, худ и бледен, как принц, ну как принц Гамлет, наверное. Подумайте, как летит время! Она не успевает стареть, говорит она и смеется, потому что знает, как свежо еще выглядит со своими тщательно обесцвеченными, хотя и чуть поредевшими волосами.

Взяв молодого человека за обе руки, она тянет его в свою комнату. Им приходится сесть, ему и Максу. Она угощает их молоком (которое Макс с отвращением отодвигает) и печеньем в хрустальной вазочке.

— Ну, рассказывайте,— говорит она Виктору,— как вы жили все эти годы, и что делает бедняжка Аньола, и так ли она еще красива?

Но времени для рассказа она Виктору не дает, обрушивает на него поток информации, и после двух стаканов молока Виктор знает о ней все, во что она считает важным посвятить слушателя.

Все в доме зовут ее только фрау Эрикой — так она хочет. Длинная фамилия характеризует ее как личность недостаточно. Услышав фамилию Шульце-Деккер, все думают о герое-антифашисте, впоследствии министре, именем которого назван пансионат, а не о ней, которая была всего лишь супругой министра. Ей чужие лавры ни к чему. Поэтому в своих речах она редко упоминает мужа, что Макса, как он потом скажет, возмущает, поскольку пенсию героя, по словам Ольги — немалую, по словам Макса — огромную, она тем не менее со смаком проедает. Об огромных размерах пенсии Макс судит по чаевым, какие она сует детям, когда те приносят ей из сельского магазина льняное масло и дрожжи, и по вздутой цене за молоко, которую она добровольно изо дня в день платит Максу, а если он для виду протестует, она всегда пренебрежительно отмахивается, называя деньги презренным металлом.

Дрожжи она ест без приправ, льняное масло — с творогом, который готовит сама. Она тут же показывает Виктору, очень заинтересованному, необходимые инструменты (кувшин, полотняные полотенца и электрическую плитку). Других продуктов питания фрау Эрике не требуется. Иначе ее организм зашлакуется, а так она остается внутренне эластичной. От табака, к которому раньше была привержена, она отказалась. Единственный яд, каким она не в силах поступиться, это кофе. Она варит его каждые два-три часа. Привозит его из Берлина Хельгочка, каждую неделю навещающая старшую сестру. Хельгочка стережет большую берлинскую квартиру, где фрау Эрика только ночует, когда государственные торжества требуют ее присутствия в столице. Она всегда энергично машет со своего места на трибуне, так как знает, что жители Гёрца, Прёца и «Нового благоденствия» сидят у телевизоров и высматривают ее. Но подолгу она в Берлине не выдерживает, ведь у тамошних людей нет времени для общения.

Ее дом — здесь, в доме отдыха. Здесь она в контакте с природой, людьми и животными. Комнату обставила Хельгочка, по ее потребностям и вкусу. Холодильник, кофеварка и электроплитка скрыты занавесью. Около диван-кровати — проигрыватель, тихонько играющий опереточные мелодии. Целую полку занимают куклы разных стран мира. Она собрала их, сопровождая мужа в его поездках. Из-за границы привезена и электрическая печь, точь-в-точь как камин; поразительно, до чего правдоподобно вспыхивают поленья, когда ее включают. Стены украшены фотографиями, изображающими более молодую Эрику в различных костюмах. Прежде чем стать супругой министра, она была актрисой. Восхищенному Виктору тут же перечисляются все ее роли. Вот только тексты она позабыла. Быстро выучивала, быстро и забывала.

— Суть жизни, дорогой мой принц,— говорит она,— в ее преходящности, которая, с другой стороны, и есть ее непреходящность.

Фрау Эрика не больна, но и не здорова. Она страдает. Страдает от мерзнущих ног, мерзнущих рук, от сердцебиения, головных болей и бессонницы. Ночью, лежа без сна, она размышляет о душе, которую подразумевает, говоря о непреходящности. Ведь души не умирают, они лишь меняют местопребывание. Когда наше тело, по сло-

вам фрау Эрики, исчезает, душа переселяется в другие тела, в этот момент родившиеся, в тело человека или животного, смотря по тому, что усопший заслужил. Например, душа человека, который со злости бьет коров, вот как Макс, не может рассчитывать на лучшее пристанище, чем тело мокрицы. Фрау Эрика не знает, где раньше пребывала ее душа, но порой у нее возникают смутные воспоминания о прежнем существовании. Каждый в силах воскресить более или менее четкие представления об этом, надо только поглубже в себя заглянуть. А этому, она твердо убеждена, можно научиться, было бы терпение.

У Пюппи нет терпения даже послушать фрау Эрику. Она издает звуки, по которым Макс заключает, что пора идти. Виктор тоже намекает на это — в более вежливой форме: ему нужно распаковать вещи, устроиться и сразу же сесть за работу, ибо в его распоряжении всего лишь около трех месяцев. Но в перерывах, обещает он, к радости фрау Эрики, он тоже займется изучением предыстории своей души.

Очутившись в своей комнате, он действительно пробует заглянуть в себя, но безуспешно. Он закрывает глаза, чтобы целиком сосредоточиться на внутреннем мире, но видит себя только с внешней стороны: грустно прислонясь к печке, он стоит в тесной, убогой комнатенке, сосланный сюда на целые месяцы, безрадостный, один как перст, и слушает шум вьюги, которая, хоть окно и закрыто, колышет штору и обвевает холодом его живот, тогда как прижатая к кафелю спина, кажется, вот-вот запылает. Правда, в нем тоже возникают воспоминания, но не те, какие имела в виду фрау Эрика; его воспоминания связаны с берлинской квартирой, едой, пирушками, горячими напитками, теплыми ваннами и теплыми комнатами.

Он не верит, что долго тут выдержит. Еще не распакованные коробки и чемоданы наводят его на мысль о бегстве. Но унижаться перед Максом просьбой об отправке обратно он не станет. Надо добраться пешком до ближайшей деревни и вызвать по телефону такси. Вещи можно забрать потом.

Он надевает пальто, крадучись спускается по лестнице и выходит из дома. Быстрым шагом идет налево, по дороге к лесу, за которым, помнится, лежит Прёц. Ветер толкает в спину. Сумрачный январский день на исходе, похолодало. Еще сеет мелкий дождь, но трава уже заледенела. В соснах сразу начинается кладбище. Виктор идет между могилами в направлении, где, как он полагает, лежит деревня, но вскоре дорогу ему преграждает овраг (как он потом узнает — Майенталь), полный мусора. Стемнело, лес вокруг зловеще шумит, трещит и стонет — Виктор уже не помышляет о бегстве, поворачивает, борясь с бьющим в лицо ветром, и рад-радешенек, когда, окоченев, выбирается на дорогу.

Едва войдя в дом, он слышит, что его зовут к телефону. Он узнает голос Тильды, спешит налево в контору, оставив дверь открытой в надежде увидеть Тильду, если она пройдет мимо. Что она и делает, но прикрывает дверь снаружи, так и не показавшись. Виктор берет трубку и говорит:

— Алло, Аньола!

Сын своей матери

Пока Ольга звонком не созывает гостей к ужину, мать и сын болтают по телефону. Они привыкли делать это почти ежевечерне, и расстояние им не помеха. Мать еще на службе, где она завязывает и поддерживает международные контакты с организациями по урегулированию рождаемости; она здесь задержится, так как ехать на машине из-за гололедицы опасно, а добираться из Берлина в Потсдам электричкой кажется ей нелепостью. Поэтому она еще порабо-

тает, а потом заночует в квартире Виктора. Она шутливо спрашивает его разрешения.

Не зная, какова звукопроницаемость стен, Виктор не хочет рассказывать об обитателях пансионата, поэтому говорит преимущественно мать. Делает она это всегда с удовольствием, в особенности когда у нее, как сейчас, есть новости об отце. В этом отношении разговор похож на все другие разговоры между матерью и сыном: главное их содержание — отец (которого мать зовет Я. К.). Так повелось еще до развода и не изменилось после него. Мать, правда, пытается внутренне освободиться от отца, но должна постоянно держать его в поле зрения — хотя бы для того, чтобы измерять расстояние, которому полагается непрерывно расти. Она так часто говорит себе, что без него ее жизнь стала спокойней, удобней, даже прекрасней, что в конце концов сама в это поверила. Мучает ее только зависть: он ушел к молодой. Зато у нее есть преимущество — сын. Лишь ради сына она, по ее словам, поддерживает контакты, достаточно скудные. Ради Виктора она склонна идеализировать Я. К. Он образец, на который Виктору следует равняться. Ведь только успехами сына она может доказать отцу, как невероятно много он потерял, расставшись с матерью сына.

Она не видит, что ее честолюбивые замыслы в отношении сына только мешают прорасти его собственному честолюбию, а Виктор и не собирается открывать ей глаза. Это могло бы вызвать конфликты, устранять которые он не научен. Он привык быть тем, кого в нем хотят видеть. Когда отец еще жил с ними, все определялось им, Всемогущим, его работой, его привычками, его самочувствием и его настроением. Ребенком Виктор рано узнал: хорошо то, что приятно отцу, плохо, напротив, то, что ему не нравится.

Теперь же, узнает Виктор по телефону, Я. К. заболел. Это пугает его и вместе с тем веселит. Невозможно представить себе в качестве пациента этого здоровяка, всегда считавшего слабость пораженчеством, а болезнь — чем-то морально подозрительным. Теперь лев чувствует себя червяком, полубог, равно пренебрегавший и врачами и попами, вдруг замечает, что он тоже смертен. Сколь велика была сила, столь велика теперь беда. Это не просто удар судьбы, а еще и издевка: его мучает простата. В его кругу почетно пасть от инфаркта, но не вот так вот. Богатырь, который криком кричит от боли, когда хочет, но не может помочиться, уже не мужчина, а картонная фигурка — мишень в тире, говорит он, когда звонит из особой больницы (кстати, неподалеку от «Нового благоденствия») бывшей жене, которой ему легче поплакаться, чем новой — перед новой он стыдится какой бы то ни было слабости.

Заключая свое сообщение о больном, мать говорит:

— Все-таки я еще гожусь для того, чтобы выслушать и посочувствовать.

Это должно звучать иронично, но звучит гордо. Виктору дают понять, как много она еще значит для отца. По ее мнению, это способствует укреплению отношений между отцом и сыном. По той же причине отцу постоянно твердят, как крепка связь между матерью и сыном. Именно поэтому, думает Виктор, отец считает своим долгом всякий раз о нем спрашивать. На сей раз Я. К. интересовался, как идет работа над диссертацией. Сам он, тут же добавляет Аньола, до докторской так и не дотянул, если не считать присуждения почетного звания.

Вот теперь Виктор может доказать, что думает он только о работе. Он разворачивает перед матерью план своей работы, к осуществлению которого он приступит прямо сейчас, после ужина. Он составит своего рода календарь, где каждый день этих десяти недель будет разбит на две рубрики. В первую будет заноситься количество запланированных страниц, во вторую — написанных. В конце недели

будет подводиться итог, чтобы знать, работает он с опережением или отставанием. Всю работу он разделит, согласно этому календарному плану, на подрубрики. К каждой подрубрике будут приложены несколько листов бумаги, он подошьет их в папку, что даст возможность любую осенившую его во время работы или на прогулке мысль сразу же занести в соответствующую графу.

— А вот уже и снег пошел,— восклицает Аньола, радуясь, что решила не ехать в Потсдам.

Виктор смотрит в окно, но, поскольку ночь темная, видит только свое отражение в стекле. Ему нравится, как он тут небрежно сидит на письменном столе с трубкой возле уха, и он остается в этой позе и тогда, когда мать дала отбой. Ибо он слышит, как открывается дверь напротив, и надеется, что войдет Тильда. Но шаги удаляются по коридору в сторону двора. Тогда он тоже выходит во двор и сквозь стужу и ветер направляется в столовую, где уже накрыт стол, но никого нет, кроме одинокого охотника Кёпке, после еды приглашающего Виктора к телевизору. Однако Виктор отказывается. Долг зовет его к книгам.

Начало работы

Виктор снова занял свое стоячее место у печки и вскоре понял, что его планы на сегодняшний вечер нереальны. Он ведь забыл о подготовительных работах: надо распаковать белье и книги, разложить бумаги.

Бумагами он называет листки самого разного формата, на которых он в продолжение трех все же не вполне бесплодных лет записывал ссылки на литературные источники, афоризмы, цитаты из классиков и тому подобное. Они лежат в четырех папках, к сожалению, как попало, и он давно уже не помнит, что означают выведенные на них цифры. Есть там и вырезки из газет, они, правда, не имеют прямого отношения к теме, зато могут прояснить кое-какие взаимосвязи, которые он, однако, с течением времени позабыл. Он охотно вырезает газетные статьи: это внушает сознание, что чтение газет все же не совсем лишено смысла.

Как и его родители, Виктор каждое утро раскрывает газеты. Это ему привито, как ежедневное умывание и чистка зубов: докука, постепенно превращающаяся в привычку. Но ежедневное чтение не слишком обременяет его: благодаря навыку время, необходимое на чтение, год от года сокращается. Глаза его так натренированы на нужные слова, что достаточно беглого взгляда, дабы выудить их: например, свою фамилию (речь там идет, конечно, не о нем, а о Я. К.), фамилию своего самого высокого начальства, название своего учреждения, а теперь еще и государств, на которых он специализируется: Австрия, Италия, Лихтенштейн и Швейцария. Даже если учесть только обязательную ведомственную газету (не считая другие газеты, которые тоже часто приходится читать), можно с уверенностью сказать, что в своей жизни он пролистал больше газетных, чем книжных страниц.

Этим он оправдывается перед собой, когда не может осилить книги. Неживые, заполненные ровными строчками страницы убивают его энтузиазм, лишают энергии. Одна страница неотличима от другой, хоть бы картинка какая-нибудь попалась, он рад каждому набранному курсивом или полужирным шрифтом слову, листает страницу за страницей в надежде разнообразия ради добраться до конца главы. Он бы хотел, чтобы книги походили на некоторые учебники: самое важное подано в рамке, второстепенное выдает себя мелким шрифтом. Он научился ценить библиотечные книги со следами прилежных студентов. Он быстро ориентируется в любой индивидуальной системе пометок, сразу устанавливает степень важности синих галочек на

полях, черных точек или красных подчеркиваний и сноровисто следует за анонимным первопроходцем от вешки к вешке, а если повезет, то и заметки на полях расшифровывает и пускает в дело.

Распаковать белье не представляет сложности. Аккуратно разложив стопками в просторном шкафу нижнее белье, сорочки и пуловеры, он обнаруживает, что осталась еще свободная полка для бритвенных и косметических принадлежностей — полочка над умывальником для него слишком мала. Он осматривает себя в зеркале и задается вопросом, где тут можно найти парикмахера. Потом он снова стоит у печки, обдумывая, как разложить книги. На полке над столом им не разместиться. Если поставить их на письменный стол, загородишь окно. На гардеробе лежит пустой чемодан. Значит, надо так рассортировать книги, чтобы на полке находились как раз те, что в данный момент нужны для работы, а остальные пускай остаются пока в коробках. Но это занятие он откладывает на завтра, ибо лампа под потолком светит слабо. Чтобы освободить место для прохода, он переносит коробки на кровать и шагает взад-вперед, мысленно составляя рабочий график. Считать только написанные страницы кажется ему неверным. При таком подсчете получится, что он бездельничает в те дни, когда много читает, но не пишет. Стало быть, двух рубрик недостаточно, нужна еще третья — для количества рабочих часов. Ежевечерний подсчет и регистрация будут стимулировать его трудовую мораль в течение дня.

Он выкладывает бумагу, карандаш и линейку, чтобы начертить график. Но прежде надо найти туалет. Он рядом с комнатой фрау Эрики. Ванная тоже там. Попробовав температуру воды, он решает выкупаться. За стеной поет пластинка, фрау Эрика подпевает. Потом он слышит, как она выходит из своей комнаты и спускается по лестнице. Покидая ванную, он слышит голоса и шум, и в нем пробуждается любопытство. Но выглянуть во двор он не может — в коридоре нет окна. Приходится спуститься на один марш по лестнице. Во дворе горит фонарь. Около хлева Макс и Габи возятся с бидонами, ведрами и полотенцами. Фрау Эрика, в меховой шубе и шапке, подставляет два кувшина, расплачивается, пронзительно зовет: «Кис-кис!» — и идет к гаражу. «Милые мои зайчата»,— говорит она кошкам. Из хлева доносится звяканье цепей и довольное мычание коров. В свете фонаря пролетают гонимые ветром одинокие снежинки. Тильды не видно.

После теплой ванны комната кажется Виктору еще холодней. Он натягивает два пуловера. Присев к столу, чтобы увенчать график надписью «Проверка успеваемости», он обнаруживает, что у него замерзли колени. Снимает с кровати коробки с книгами, засовывает их под нее, закутывает ноги одеялом и подскоками возвращается к столу. Наложив линейку на лист бумаги, он проводит первую линию. Затем останавливается и прислушивается. Торопливые шаги поднимаются по лестнице и спешат к мансарде, где живет садовник. Слышны голоса, но слов не разобрать. Снова шаги — вниз; у двери фрау Эрики они останавливаются.

— Тита у вас?

Виктор слышит шепелявое «с» и встает. Но, забыв о спеленатых ногах, падает — к счастью, на кровать.

— Господин Кёслинг,— раздается с лестницы,— моя бабушка у вас?

— Нет,— кричит он, высвобождается из одеяла и спешит к двери, но коридор уже пуст. Из лестничного окна он видит, как Тильда бежит по двору, сперва к хлеву, потом к кухне. Когда он опять выходит, по лестнице спускается Себастиан. Ступеньки дрожат под его тяжелыми шагами. Рядом с ним Виктор кажется себе пигмеем — это чувство ему знакомо по встречам с отцом. Садовник хочет, кивнув, пройти мимо, Виктор протягивает ему руку и назы-

вает себя. Из зарослей бороды раздается неожиданно тонкий голос, спрашивающий, верен ли слух, будто он сын великого Кёслинга.

У Виктора есть опыт общения с людьми, задающими такой вопрос. Уже по мимике и тону он большей частью может определить, что вызовет его утвердительный ответ: восторг или холод. В первом случае у него наготове скромное «да», во втором — своего рода оправдание: «Верно, но это ничего не значит». Когда же спрашивает человек, лицо которого ничего не выдает (потому, например, что оно закрыто бородой), а голос звучит нейтрально и лишь по выбору слов можно догадываться об ироническом отношении, остается только ответить: «Ничего не поделаешь, судьба».

Ответ Себастиану нравится, он смеется, но уже на ходу. Жаждущий общения Виктор снова один на продуваемой сквозняком лестнице, у окна, за которым становится все оживленнее. Едва садовник выходит во двор, появляются и Габи с Томасом. В следующую минуту они исчезают из поля зрения Виктора, а Макс тем временем открывает гараж. В освещенном круге появляется Тильда, и Виктор бежит в свою комнату за пальто. Выйдя во двор, он видит, что Тильды тут уже нет. Макс приглашает Виктора в машину, которая, вихляя из стороны в сторону, рывками трусит по Мертвой дороге. Пересыпая свою речь множеством ругательств, доныне Виктору незнакомых, Макс заявляет, что с него хватит, больше он в этом деле не участник, он администратор, а не попечитель сумасшедших.

Путешествие Титы

То, что Тита родилась в «Новом благоденствии», а не в Кляйн-Кице, связано с ввозной пошлиной на шерсть. Когда в конце прошлого века ее отменили, дешевая — поскольку беспошлинная — австралийская шерсть, хлынув в страну, разорила гёрцевского помещика, промышлявшего главным образом овцеводством, и вынудила его продать землю. Отец Титы, младший сын трактирщика в Кляйн-Кице (Ноймарк, ныне на территории Польши), быстро смекнул, что к чему, задешево купил восемьдесят гектаров и выстроил усадьбу, дав ей это хвастливое название. На висящей в комнате Титы фотографии он выглядит точно так, как представляют себе тогдашнего или нынешнего нувориша. Семейный склеп, построенный им на прёцевском кладбище, намного возвышается над всеми другими крестьянскими могилами. Тита заботливо ухаживает за склепом. В нем есть еще место — для нее, и тогда он будет полностью заселен.

Братья Титы погибли в первую мировую войну, сыновья — во вторую, а Людериц, ее муж, человек болезненный, всего лишь на несколько недель пережил потрясение, вызванное преобразованием края. Дом был сдан внаем министерству, и Тита, уже в годах, но здоровая и крепкая, с десяток лет еще управляла пансионатом.

Не считая глухоты, она физически и теперь вполне в порядке, вот только с головой иной раз бывает неладно. Тогда она начинает путать времена — не только время дня, но и времена своей жизни, принимает, например, Себастиана за своего батрака и велит ему начать молотьбу или ходит ночью по дому, стучит палкой в двери и бранит всех лентяями потому что они спят допоздна. А однажды она отвязала Максовых коров и загнала их на бывший выгон. Иногда она пугается, что дом не затемнен, и занавешивает окна одеялами. А потом приходит в себя и смущенно смеется, узнав, что она натворила.

Непредсказуемость ее поступков часто бывает предметом обсуждения. Ольга боится за газовые баллоны в кухне. Ведь если Тита в одну из своих сумеречных минут до них доберется, то все они взорвутся. Но когда Макс предлагает (очень осторожно, чтобы не

рассердить Тильду) сплавить, как он выражается, Титу в какое-нибудь заведение, она весьма энергично протестует.

— Запомни хорошенько,— говорит она Пюппи,— что говорит твой отец. Когда ты вырастешь, а он состарится, ты будешь знать, как избавиться от него.

Если речь идет о Тите, они, конечно, понижают голос и избегают на нее смотреть. Тем не менее Тита иной раз внезапно поднимается и говорит:

— Пожалуй, я лучше уйду, чтобы вы могли без помех посудачить на мой счет.

В таких случаях Ольга кричит ей в ухо:

— Нет-нет, вы ошибаетесь, Тита, никто ничего плохого о вас не говорит.

А Тильда добавляет:

— Садись и ешь, без тебя ведь у всех аппетит пропадает.

Тита снова садится, рассказывает всякие забавные истории времен своей юности, все смеются и представить себе не могут, что через несколько дней или недель случится новый припадок.

Предшествует ему обычно повышенная нервозность. Тита ходит взад-вперед, потирает руки, глаза полны тревоги. Она, правда, отвечает, когда к ней обращаются, но так, будто перед нею чужие люди. В таких случаях она порывается уйти, чтобы не вернуться. Если ей в этом помешать, она для видимости подчинится, но будет выжидать момента, когда окажется без надзора.

В машине Виктор узнает, что именно так и произошло в день его приезда.

— На нее опять нашло,— говорит Макс и ругает сперва Тильду, которая не хочет понять, что состояние Титы может только ухудшаться, а потом снег, густо сыплющий с черного неба.

Они медленно — из-за гололедицы — минуют деревни Гёрц, Прёц и Арндтсдорф. Нигде ни души. Виктор вскоре пожалел, что предложил свою помощь. Он не нужен. Его задача — только слушать Макса. О чем бы тот ни рассказывал, все нашпиговано проклятиями. Поначалу Виктора еще забавляет Максова изобретательность по этой части, потом ему становится скучно. Его старания внести свой вклад псевдонародными шуточками насчет погоды успеха не имеют. Безуспешна и попытка перевести разговор с Титы на Тильду. Макс слишком увлечен стремлением дать выход своей злости, которую он называет бешенством.

— Я просто в бешенстве!— то и дело повторяет он, и Виктору, еще помнящему почтительную услужливость, с какой встретил его Макс, не по себе рядом с водителем, не владеющим собою.

По три раза в каждой деревне (итого девять раз) Макс выходит, чтобы справиться о Тите у ее знакомых. Виктора он оставляет в холодной машине, наедине с его мыслями, обращенными не к снегу, все более свирепеющему, и не к диссертации, а к самому себе.

Временами, когда особенно донимает усталость (а сейчас она, невзирая на холод, все больше и больше его одолевает), ему удаются мыслительные конструкции, для которых он даже придумал название: автологии. К машине, в которой он сидит, это отношения не имеет, просто иностранное слово, обозначающее личностное начало, для него оно имеет двойной смысл: автологии — это мысли, до которых он додумался сам (то есть никто ни до него, ни за него об этом не думал), и вместе с тем это мысли о нем самом. Выполняемая как бы в полусне и все же приводящая к точным результатам работа называется автологизированием. По утрам она зачастую чересчур долго держит его в постели, но зато она сокращает монотонную ночную езду по автостраде. Результат ее непередаваем, в этом ее сущность. Автологии существуют только для него. Хотя они не обладают ни речью, ни образом, ни звуком, он их слышит и видит. Они живут как

бы вне его, эти объекты мысли, отчетливые, наглядные, логичные, обрамленные четкими границами, цельные произведения искусства, постоянно варьирующие одну-единственную, неисчерпаемую тему: его самого, в разнообразнейшем освещении.

Автологию, законченную в выстуженной машине, пока Макс пребывал — дольше, чем в других местах,— в арндтсдорфской гостинице (с обманчивым названием «Морской пейзаж»), можно было бы озаглавить «Виктор и женщины». Она будит жалость к себе. Ведь он должен дорожить каждым часом, а сам вместо того, чтобы писать, сидит тут без дела, до крайности усталый и замерзший, лишь тонким слоем жести защищенный от природных стихий; и вовсе не потому, что он услужлив, — просто любопытство побудило его взглянуть на какую-то Тильду, которая, кроме шепелявости, юного возраста и пола, пока ничем не отмечена. Мысленный путь от нее до других особ женского пола недолог. Будь это картина, она изображала бы несколько девушек и женщин (точнее говоря: восемь), расположенных на холсте так, что помещенный на заднем плане большой портрет Виктора просвечивает лишь кое-где, словно Виктор только и состоит из Инг, Элек и Рит. Если же эту автологию положить на музыку, мужская тема растворится во множестве женских мелодий, полностью растает, а все в целом, выраженное в словах, будет звучать примерно так: поскольку он привык, что решают за него всегда другие, он являет собой прямую противоположность соблазнителю — он человек, которого постоянно кто-то соблазняет. Его отношение к женщинам можно сравнить с рефлектором: он излучает ровно столько тепла и света, сколько получает сам. Это не он вероломен, а его заставляют быть вероломным. Он идеальный возлюбленный, ибо всегда соответствует тому образу, который представляется очередной возлюбленной.

С возвращением Макса внутренний автопортрет (вкупе с мелькнувшей мыслью, что активное любопытство тут неуместно) меркнет. Виктор снова теплеет, внешне и внутренне. Ибо Макс запускает мотор, достает из кармана бутылку, открывает, прикладывается к ней и протягивает ее Виктору, который с трудом удерживается от искушения вытереть горлышко носовым платком. Неприятный дух сивухи не мешает ему после глотка издать смакующее «ах». Макс тоже считает, что штуковина недурна, снова прикладывается и лишь после этого заявляет, что настроение у него поднялось не только из-за алкоголя. На постоялом дворе он по телефону узнал местонахождение Титы. И они (по мнению Виктора — с пугающей скоростью) пускаются в путь, сперва по нетронутой белизне полей, затем — через лес, где под тяжестью снега ветви гнутся к земле.

Невидимые в темноте и в снегу, но ощутимые выбоины не могут заставить Макса убавить скорость. Его цель — Шведенов, деревня в лесу, увидеть которую Виктору не доводится, поскольку Тита обнаружена в первом же доме. Она, как не здешняя, спрашивала дорогу и сейчас сидит в теплой кухне, ждет почтовую машину в Кляйн-Киц.

— Давно пора было приехать,— сердито говорит она Максу,— в Кице уже ждут.

Пальто и платка она не сняла, до предложенного чая не дотронулась. В машине она молчит, не отвечает и на вопросы Виктора, только жалуется на темноту. Когда они сбавляют ход, она проявляет беспокойство. А когда Макс выходит из машины проверить высоту снежного сугроба, она кричит ему вслед:

— Давай, давай, время не терпит!

Дорогой Виктор представляет себе, как приведет к благодарной Тильде ее бабушку. Едва машина тормозит у гаража, он выскакивает и открывает Тите дверь. Но она твердит, что они еще не дое-

хали, и выходить не желает. Долго уговаривать ее он не может, так как Максу требуется помощь: дверь гаража занесена снегом. Пока они вдвоем разгребают снег, приходит Тильда и уводит Титу в дом. В свете дворового фонаря Виктор видит только узкий силуэт Тильды. Протянутая Максом бутылка вызывает у него отвращение. Дважды он отказывается, но Макс настаивает, и он допивает остаток — весьма изрядный.

Воздействие его сказывается, как только Виктор добирается до своей комнаты. С затуманенным сознанием, но с присущей ему аккуратностью он убирает в выдвижной ящик бумагу, карандаши и линейку. В постели он еще пытается думать о том, как лучше скомпановать свою работу, но дальше решения обозначить вступительную часть большой буквой «А» дело не доходит, так как сон парализует его трудовое рвение.

Снег и грог

— В вас погиб философ,— говорит Виктор вечером следующего дня Себастиану, садовнику, в его маленькой, очень теплой мансарде. Язык у него еле ворочается, губы почти бесчувственны после множества выпитых стаканчиков грога. Эта фраза завершает длинный разговор о порядке, ставшем предметом обсуждения в связи с тем, что он нарушен. Пруссия (как воплощение порядка), которой Виктору предстояло заниматься, однажды, правда, была упомянута, но только вскользь. Речь идет о порядке вообще — о порядке, который любят, поддерживают, к которому привыкли, о порядке в повседневной жизни, в обществе, в природе.

О последнем — порядке в природе — нельзя не поговорить из-за холодов и снега. Этой ночью создалось то, что в газетах (не доставляемых уже три дня) называют исключительными метеорологическими условиями. Виктор толкует о катастрофе, чувствуя при этом, как его захлестывает радость, которую он по мере сил скрывает даже от самого себя. Успешно выдрессированный на любви к порядку, он не может признаться, что испытывает чувство свободы, когда порядок нарушается. И потому воспринимает наполняющую его радость как мужество протеста, как возможность самоутверждения.

Проснувшись, он первым делом, разумеется, приходит в ужас от холода. Рука, протянутая к часам на ночном столике, сразу же его ощущает. Нижняя часть окна занесена снегом, верхняя покрыта морозными узорами, и потому в комнате (в девять часов) все еще господствует полумрак. Виктор включает радио, слушает сообщения о неразберихе в движении, о засыпанных снегом поездах, об отрезанных деревнях, о нехватке угля и отключении электричества. В «Новом благоденствии» электричество пока есть; к счастью, говорит он, хотя на самом деле разочарован. Прежде чем идти в ванную, он оттаивает дыханием дырочку в оконной наледи. Снег по-прежнему сыплет так густо, что ландшафт словно затянут туманом. Со двора слышны шум (удары жести по бетону) и голоса (в том числе и голос Тильды). Он торопится, чтобы помочь убрать снег. Ольга берет его под опеку: подает завтрак и приносит деревенскую одежду.

Чтобы защититься от восточного ветра и двадцатиградусного мороза, все оделись весьма живописно, но общее веселье вызывает только снаряжение Виктора. Если Тильда так укутала шалью лицо, что между верхним ее краем и шапкой видны лишь глаза (карие, с легкой желтизной, с интересом отмечает Виктор), это просто способ утеплиться; но когда сын Кёслинга натягивает ушанку (принадлежащую Мануэле) и надевает ватник и валенки, это смешно и вместе с тем трогательно.

— Людям,— скажет позднее Себастиан, уверенный, что умеет их наблюдать, понимать и объяснять, но себя к таким не причисляет,— людям, собственно говоря, не по нутру, когда человек посторонний делает вид, будто он такой же, как они. Они чувствуют за этим высокомерие. Ведь «я такой, как вы» означает: наряду с тем, каков я есть, я еще и такой, как вы, стало быть, больше, чем вы. И тут они, наученные опытом, становятся недоверчивыми. Порядок предполагает обособленность, и кто пытается про нее забыть, имеет на это свои тайные причины. Но если появляется недотепа вроде вас,— продолжает Себастиан, подразумевая под «вас» Виктора, с которым он разговаривает,— тогда они могут от души и даже доброжелательно посмеяться над плохим спектаклем, который только доказывает, что ни с того ни с сего не станешь таким, как они, и это им, конечно, лестно.

Умный садовник прав, только он недооценивает Виктора. Виктор не растрепа; он только разыгрывает из себя такового, из боязни, что не сумеет соответствовать требованиям. Во избежание опасности оказаться несостоятельным и вызвать тем самым к себе презрение, он выступает в образе комичного неумехи. Завоевывает симпатию, восхищаясь другими. В награду за то, что он добровольно зачисляет себя в низший разряд, его хвалят за малейший успех. Правда, Макс, Ольга, Тита и Тильда смеются над ним, но они благодарны ему за предоставленную возможность уважать себя и учить его.

— Совсем не так, а вот так,— говорит Тильда, показывая, как держать лопату, чтобы с наименьшей затратой сил достичь наибольшего эффекта. При этом она так прелестно шепелявит, что ему мало этих двух «с», хочется слышать еще и еще. Но увы! Тита (психически опять в полном порядке) воспользовалась бедствием, чтобы снова захватить власть. Она командирует Виктора к воротам. Вместе с Себастианом он должен разгрести сугроб высотой в человеческий рост. Расчищают они, правда, всего лишь дорогу в непроезжую пока снежную пустыню, но ведь когда-нибудь придет снегоочиститель из Гёрца и восстановится связь с шоссе. Себастиан и Виктор работают весь день с частыми перерывами, без конца болтая.

С нескончаемого снегопада разговор вскоре переходит на Титу — загадку для Виктора, но Себастиан считает, что может ее разрешить. Тита, по его словам, жертва порядка, который он, садовник, если и не ненавидит, то во всяком случае презирает. И если даже порядок, считает сын Кёслинга, необходим, это вовсе не значит, что надо перед ним преклоняться. Естественные отправления тоже необходимы, но их ведь не освящают, да это и невозможно, хотя бы потому, что даже самый примитивный разум понимает их предназначение. Однако порядки разного толка окурены ладаном, дабы на них молились, но не анализировали. Ведь анализ — всегда богохульство, потому что всякий порядок имеет свои божества, своего бога или свои высшие законы, во имя которых он и правит. Если же человек не хочет быть просто придатком к порядку, он должен держать голову над облаками ладана, чтобы мозги не затуманились.

Говоря все это, Себастиан не орудует лопатой, а опирается на нее. Он стоит прямо, и его косматая голова много выше Викторовой, что подкрепляет наглядность метафоры. Виктор вдвойне восхищен: Себастианом, который умеет произносить такие речи, и Виктором, который умеет на них вдохновить. Снова доказана его способность внушать доверие. Симпатию можно завоевать и проявлением интереса, а это дается без труда, так как его действительно интересует в меньшей степени то, что он называет философским аспектом, в большей — аспект личностный, на который и направлен философский. Кто в процессе разговора, думает он, от снега через порядок переходит к Тите, тот, если ему не помешают, дойдет и до Тильды. Поэ-

тому он не пытается укорачивать окольные пути садовниковой мысли, а, согласно кивая головой, следует по ним за Себастианом.

Длинны они, эти окольные пути. Они заводят даже к истокам слов, которым приписывается, будто они же суть истоки того, что словами обозначено. Например, Себастиан приводит латинское слово ordinare (и Виктор, а также и читатели задаются вопросом — уж в этом-то месте обязательно,— откуда садовнику, проживающему в глухомани, в бранденбургской деревушке Гёрц, известно такое слово, но впоследствии это разъяснится — разъяснит сам садовник, да он, в общем, косвенно уже это делает, рассуждая о порядке, по правилам которого Виктор и читатели привыкли думать). Итак, латинское слово ordinare, от которого происходят соответствующие по смыслу немецкие слова, означает: «располагать рядами», а любой порядок, считает Себастиан, и сводится в конечном счете к выстраиванию людей и вещей в ряды — первый, второй, третий. Незачем напоминать об ордене, каким награждают верную службу порядку, и об ордене, объединяющем первый ряд избранных служителей порядка, если покоится все на распорядке, на распоряжении, то есть на приказе, принуждении, являющем самую суть порядка, его создающем и поддерживающем.

С развевающимися на ветру волосами, которые не знакомы с ножницами и заменяют шапку, Себастиан не без торжественности говорит:

— Однако принуждение противно природе человека. Он не желает быть номером в третьей шеренге, он хочет быть самим собой. Чтобы приспособить его к порядку, надо его дрессировать, то есть сгибать его волю, до тех пор пока он сам не начнет принуждать себя к порядку — посредством того, что именуют сознанием долга и честолюбием.

Услышав слово «честолюбие», Виктор на короткое время забывает о своем стремлении постоянно — за работой ли, в перерывах ли — держать в поле зрения двор и убирающих снег женщин. Он признается Себастиану, что это качество с детства ему не дается. По-видимому, дрессировка не удалась. До сих пор он усматривал в этом недостаток; но если рассуждения Себастиана верны, стыдиться ему, пожалуй, нечего.

Виктор ожидал если не похвалы, то хотя бы интереса к своей внутренней жизни. Но его ждет разочарование: Себастиан, никак не реагируя на его признание, продолжает разглагольствовать. Теперь на очереди историческая проблематика, но Виктор пропускает ее мимо ушей, поскольку его больше интересует двор. За работой Тильда согрелась. Она стоит, оживленно болтая с Ольгой, и развязывает свою шаль. К сожалению, она встала к Виктору спиной, но когда-нибудь она же повернется! Этого-то он и ждет. А пока смотрит на ее волосы, выглядывающие из-под меховой шапки. На затылке они стянуты красной лентой.

Тем временем лекция перешла от общего к конкретным примерам, к личностям, к Тите и самому лектору, Себастиану Айману, который пережил муки добровольного принуждения. С детства психически здоровый, он сперва хотел быть Робинзоном, потом исследователем и лесником, но дрессировка сделала свое дело. Вместо того чтобы жить, он стремился к хорошим отметкам. Лучший ученик в классе, лучший студент и лучший солдат, в тридцать лет — руководитель отдела, ведавшего внешней торговлей пластиком, послушный, расторопный и принципиальный, прилежный и неутомимый, ограниченный в мыслях и чувствах: добротный второй ряд с видами на первый. Мерзость! Себастиан передернулся от отвращения и, чтобы избавиться от него, приналег на лопату. С трудом переводя дух, он тем не менее продолжал говорить. Для характеристики своего прошлого состояния он нашел такие определения, как синдром усердия и искусственная импо-

тенция, он рисовал картины, и на них обретали наглядность попугаи, пепел, духовные отходы и галеры, но где, когда и каким образом свершилась в нем великая перемена — об этом не было сказано ни слова. Во всяком случае, она свершилась, а вместе с ней пришло понимание: в нынешнее время порядок таков, что, если дорожишь собой, нужен не подъем, а падение, лучше всего в четвертый ряд, то есть полное выпадение.

С тех пор как Себастиан это понял и стал поступать соответственно, все хорошо. Он здесь уже год, официально в качестве садовника, на самом же деле он подсобный рабочий, всякой бочке затычка, иногда бездельничает, иногда вкалывает, независимый, размышляющий и не знающий забот. Здесь он снова чувствует, кто он есть и что он может. Например, сегодня: ветер, снег, холод, чистый воздух, работа, нужная и зримая, снова чувствуешь собственное тело, вечером обязательно уснешь! Себастиан не боится назвать это счастьем. Если не это счастье, то что же оно тогда?

А заросли там, вдали! Он втыкает лопату в снежную насыпь, которую они уже сделали, и, утопая в снегу, шагает к воротам. Виктору приходится следовать за ним, как ни жаль покидать свой наблюдательный пост. Они идут вдоль дома в сторону Прёца, подгоняемые ветром, по колено в снегу, но доходят только до угла стены. Видно мало что: полоса заснеженного поля, шириной не больше «Нового благоденствия», слегка покатая, справа ограниченная Мертвой дорогой, а дальше — едва различимый лес и тяжелые темные тучи. Это и есть Заросли, некогда тут была людерицовская пашня, при нынешних больших машинах нерентабельная, поскольку негде развернуться, давно превратившаяся в пустошь, возле дома покрытая колючей чащобой диких слив, год от году разрастающейся. Когда-то отец Титы посадил вдоль Мертвой дороги сливовые деревья. Из снега торчат их черные скелеты. Корни же неистребимы. Их бы выкопать, а то они дают все новые и новые побеги. Красивыми эти заросли не назовешь, одичание их изуродовало. Но еще некрасивее брошенный в поле мусор, покрытый теперь снегом. Стена и безоконный сарай соблазняют опрокидывать мусорные тележки тут же, не доезжая до свалки. Тита свирепеет, когда видит новые груды обломков или золы. Если кто-то едет с мусором из Гёрца мимо дома, она выбегает и стоит на страже до тех пор, пока машина не скроется за кладбищенскими деревьями.

Весной, говорит Себастиан, он превратит эту свалку в парк, разобьет его по собственному плану, деревья и кусты уже заказаны, министерству остается только оплатить. Он рассказывает Виктору о предстоящих работах: вывезти мусор, выкорчевать заросли, распахать, разметить и выровнять дороги, посадить деревья. В мыслях, говорит садовник, они растут очень быстро. Вечером, лежа в своей каморке, он уже видит вьющиеся растения на старой стене, цветущие кустарники, скамейки, вся Мертвая дорога — сплошная тенистая аллея. Нет более прекрасной работы, чем проектировка, а именно она нынче под запретом.

— Теперь вы меня понимаете?

Вопрос прозвучал так неожиданно, что, кроме «да», Виктору ничего не приходит в голову. Да, он хорошо понимает этого великана. Увлеченность такого рода он вполне разделяет. В особенности его восхитило слово «беззаботный». Он прожил уже почти полжизни, а этим словом, насколько помнит, еще ни разу не пользовался. Как же убого было доныне его существование, зависимое, далекое от природы, полное забот. С презрением он подумал о книгах, ждущих его в комнате. Что значит ученая степень в сравнении с посаженной самим тобой тенистой аллеей? — ничто; как душен комнатный воздух в сравнении с бурей, бьющим снегом в лицо на обратном пути. Вот оно, дыхание свободы, подумал Виктор, но ничего не сказал, чтобы не перебить Себастиана, который подошел к загадке Титы и снова заговорил о порядке, требующем своих жертв.

Картины теперь меняются. Дрессировка — это покрытие лаком, Кляйн-Киц, где довелось расти Тите, называется раем, речь уже идет не о первом, втором, третьем ряде, а только о внутреннем и наружном, что означает: скованность порядком или пребывание вне его.

Поразительно, как много знает рассказчик. Ему так хорошо знакома жизнь в «Новом благоденствии» в 1895 году, словно он сам в ней участвовал. Ему известно, с какими трудностями пришлось столкнуться отцу Титы на первых порах, когда тот был одновременно застройщиком и крестьянином, он знает, что произошло с первым урожаем ржи, когда еще не было амбара, и как жили, когда жилой дом еще не был возведен. Виктору неясно, откуда Себастиан знает все эти подробности, но он не спрашивает, так как вопросы могли бы прозвучать как сомнение в правдивости рассказанного. Он говорит только «Ага!», «Вот как это было!» или: «Интересно!» — и ждет, когда дело дойдет до внучки.

Но пока что бабушка еще ребенок — а всего в семье четверо детей,— в два года она уже без матери. Ибо едва новое подворье у Мертвой дороги было построено, мать умерла. И так как у отца в этой местности еще не было знакомых, вторая жена нашлась не сразу. Старшие сыновья уже немного помогали по хозяйству и остались в «Новом благоденствии», а Титу отправили обратно в Ноймарк, в Кляйн-Киц. Там она и выросла у бабушки, в трактире «У хорошего друга», никем не воспитываемая, совершенно свободная и беззаботная. Бабушка уже жила на выделе, не имела больше никаких обязанностей по трактиру и хозяйству и оберегала от этого и Титу. Обе, таким образом, были вне порядка, вне рамок, как говорит Себастиан, произнося это слово тоном, каким другие люди произносят слова «свобода», «труд» или «божество».

Себастиан подробно объясняет, как трудно было, когда умерла бабушка, покрыть это здоровое дитя природы нивелирующим лаком. В двенадцать лет, то есть в возрасте Габи, Тита вернулась в отцово принудительное заведение. Через пять лет она совершила последнюю попытку к бегству, после чего тоска по раю в Кляйн-Кице пропадает; лак затвердел. Она перестала ощущать душевное удушье, им вызываемое. Потом братья не вернулись с войны, она вышла замуж, родила детей, всю жизнь управляла (сперва хозяйством, потом пансионатом), а о своей истинной жизни вспоминала разве что во сне. Теперь же, когда навык самопринуждения стал бессмысленным, она возвращается к себе самой.

— Вы все,— говорит Себастиан, отставляя лопату и со злостью глядя на Виктора,— все вы толкуете о распаде личности. А я говорю: это лак отскакивает и на свет появляется настоящий человек.

Виктор молчит. Он делает задумчивое лицо, но осторожности ради, чтобы не рассердить богатыря, кивает. Такого вывода он не заслужил. Он, правда, тоже думал о распаде личности, но говорил только о загадке Титы. И вот Себастиан ее разрешил, все это очень интересно, но Виктору хотелось послушать о ком-то другом.

— Хильда, или как там ее зовут, наверное, внучка? — спрашивает он, но в ответ получает лишь краткое «да».

Наблюдательный пост у ворот он давно покинул. Те, кого ему хочется видеть, исчезли. Женщины, за исключением Титы, скрылись в доме, один только Макс продолжает мести, но вполсилы, так как одной рукой надо греть Пюппи, которой снег надоел. Виктору тоже все это уже в тягость. Плечи у него онемели, спина болит, руки и ноги закоченели. Пусть Себастиан поработает один. Схоронившись от ветра, он смотрит и слушает. Садовник снова говорит о деревьях, которые будут затенять дорогу. О многих из названных им пород Виктор и не слыхивал. Одни не годятся из-за тощей земли, другие недостаточно ветростойки; эти, по мнению Себастиана, медленно растут, тех не достать.

Виктор вспоминает о теплой печи. Помогать тоже надо в меру, думает он. Но едва решает покинуть двор, к воротам подходит Тита. Только сейчас она замечает господина Кёслинга, приветствует как гостя, благодарит за помощь. Она умеет быть очень официальной. Вслед за ней появляется фрау Эрика, чтобы похвалить сына Кёслинга. Ольга зовет обедать. В столовой накрыто для него одного. Кёпке где-то в лесу. Фрау Эрика подсаживается к Виктору, понемножку ест творог и говорит о птичьих бедах. Ей нужна кормушка на подоконник. Виктор, лишь понаслышке знакомый с молотком и пилой, обещает ее соорудить. Габи, Мануэла и Томас приходят из школы с опозданием. Начинается спор о высоте попадавшихся по пути сугробов. Дороги, по их словам, еще проходимы. Вся надежда на завтрашний день. Если сводка погоды верна, то школьный автобус не проедет.

Виктор быстро кончает с едой и ускользает в свою комнату. Печь протоплена, кровать застелена. Он садится за письменный стол, но через несколько минут глаза у него слипаются. Не раздеваясь, он забирается в постель и спит до ужина. Потом его приглашает к себе Себастиан. Они долго сидят в каморке под крышей около печки и пьют грог, горячий, крепкий и сладкий. Чтобы не спрашивать прямо о внучке Титы, Виктор спрашивает о ее дочери, но узнает о ней не много. Хорошей матерью для Тильды она никогда не была, а теперь свела свои обязанности к почтовым посылкам. От ответа на дальнейшие вопросы Себастиан уклоняется. Да вскоре Виктор уже и не в состоянии их задавать. Он слышит свой смех, хотя смеяться ему вовсе не хочется. Речи Себастиана он воспринимает как шум, вроде шума вьюги, играющей с флюгером на крыше. Много раз он принимает решение сейчас, немедленно подняться с кресла, но приводит его в исполнение, лишь когда Себастиан заставляет это сделать.

Лестница в мансарду крутая и узкая. Она скупо освещена светом из коридора на втором этаже. Виктор спускается вниз, как ребенок, ставя обе ноги на каждую ступеньку. До середины лестницы все нормально, но потом ноги перестают повиноваться. Руки тоже никак не сладят с перилами. Конечности выделывают что хотят. А хотят они покоя, и он садится. Голова утыкается в дерево, в какой-то край, болезненно давящий на лоб. Глаза закрываются. Открыть их стоит огромных усилий.

Он потом так и не узнает, сколько потребовалось времени, чтобы их открыть. Причину он тоже не вспомнит (вероятно, разбудил его какой-то шорох). Того немногого, на что еще способна голова, хватает лишь, чтобы удержать в сознании увиденное. Сперва это носки, серые, толстой вязки, над ними двадцать или тридцать сантиметров голых ног, исчезающих под материей. Чтобы сообразить, что материя (в красно-черную полоску) являет собой купальный халат, Виктору приходится немного приподнять голову, лежащую на подпорке перил. В поле зрения при этом попадает рука, держащая шлепанцы. Слышится звук, назвать который криком потому уже нельзя что он слишком тихий. Это крик, умирающий еще до своего появления на свет, так сказать мертворожденный. Он не достигает губ (увиденных Виктором минутой позже), это внутренний крик, едва слышный. Причина его (испуг) отчетливее различима в глазах, которые знакомы Виктору еще с полудня. Долго их рассматривать у него нет возможности. Едва он сумел настолько поднять голову, чтобы увидеть волосы надо лбом, как перед ним уже волосы на затылке, темные, без ленты, распущенные. Видение исчезло с его глаз столь же быстро и бесшумно, как и возникло.

Следующим утром (Виктор плохо спал и проснулся рано) он хоть и помнит хорошо все черты лица, однако собрать их воедино не может. Рот, особенно ярко запечатленный его памятью, слишком велик в сравнении с глазами, лоб полностью выпал из памяти, а эта смуглая,

туго натянутая кожа скорее напоминает об Индии, чем о «Новом благоденствии».

О всемогуществе желаний

Никогда и нигде мысли Виктора не бывают такими ясными и упорядоченными, как утром в постели. Одеяло — инкубатор его мыслей. Если лежать под ним достаточно долго, проклевываются наилучшие решения. На второе утро его творческого отпуска таковых оказывается три. Первое касается его тела, второе — работы, третье — связей, общения с другими людьми. Первопричина решений — его скверное физическое и моральное состояние. Наряду с головной болью, вызванной грогом, его мучают боли в спине, в руках и ногах, обусловленные непривычкой к лопате. К тому же сильно омрачает настроение необходимость творить, с которой ему не справиться без внутреннего подкрепления. А получить его можно только от других. Итак, он решает, во-первых, независимо от погоды не браться больше за лопату, а только, во-вторых, за пишущую машинку и, в-третьих, поискать душу, которая согрела бы его и укрепила. Одну он уже присмотрел.

Опыта в душеуловлении у Виктора нет, зато есть некоторый опыт попадания в плен. На этой-то основе он создаст теперь нужную методику — не изменением привычных исходных позиций, а, напротив, сотворением новых. Ловцом он станет благодаря тому, что другого сделает ловцом. Но для этого надо выяснить, каким ему надлежит быть, чтобы котироваться как объект ловли. Поэтому необходимы целенаправленные разносторонние связи. Первая связь, с Себастианом, казалось бы бесплодная, в сущности таковой не является. Отказ дать информацию — порой тоже информация.

По всей вероятности, садовник и обладает тем, чем хочет обладать Виктор,— это не обескураживает его, Виктора, а скорее подбадривает. Больше тревожит кожа, которую он увидел. Не без причины пришла ему в голову Индия, где он никогда не бывал. Однажды у него было гостиничное приключение с индианкой, которое кончилось для него неловкостью, так как он неправильно понял выраженные по-английски чувства и изъявил готовность оказать услугу, о которой его вовсе не просили. С тех пор смуглая кожа для него — символ недостижимости и чужеродности.

К счастью, смуглокожая из «Нового благоденствия» говорит по-немецки, хотя и шепелявит. «Совсем не так, а вот так!» — прошепелявила она утром, а ночью по его милости беззвучно вскрикнула. Значит, она уже помнит о нем, теперь надо закрепиться в ее памяти. Не обнаруживая завоевательских устремлений, могущих отпугнуть, он должен проявить к ней интерес. Ведь одарить женщину вниманием означает также: привлечь ее внимание к себе.

Погода благоприятствует его решениям. Правда, буря пока не утихла, холодно, но снег прекратился еще с вечера. Очистить дорожки от свежего снега не составляет труда. Себастиан как раз этим занят, когда Виктор идет в столовую. Таким образом, намерение не брать в руки лопату легко осуществляется.

За завтраком представляется возможность общения. В пустой столовой для Виктора наготове чашка, тарелка, масло, джем, но за кофе и яйцом надо сходить на кухню. Там одна только Ольга. Она сидит за большим столом, курит и чистит картошку. Рядом с ней — стакан с прозрачной, как вода, жидкостью. Кофе и яйцо готовы. Ольга не просто его обслуживает, но и развлекает. Он ест и пьет, иногда задает вопросы, она много говорит и много курит. Если употребление алкоголя она тщательно скрывает, то курением она гордится. Где бы ни ходила, ни стояла, ни сидела, рассказывает Ольга Виктору, она курит от сорока до шестидесяти сигарет в день, первую и последнюю — в кровати. Чтобы оставаться самой собой, говорит Ольга, она начинает еще не поднявшись и заканчивает вечером, уже лежа в постели

В рабочие дни — от двух до трех пачек, по воскресеньям меньше, благодаря послеобеденному сну. Словно трофеи, она показывает желтые от никотина пальцы, обнажает прокуренные зубы.

Виктору неприятен водочный дух. Чтобы не выдать себя, он спасается комплиментом. Хвалит ее руки, что ее не удивляет, напротив, она серьезно соглашается. Да, господин Кёслинг прав, их не стыдно показывать и прятать незачем, по ним видно: они знавали лучшие времена. Заполняющий паузу вздох он справедливо расценивает как преамбулу к жизнеописанию. Он слушает в надежде путем стимулирующих вопросов свести его к более краткому, более для него интересному — рассказу, а не роману.

А именно таковым называет Ольга свою жизнь. Человеку с легким пером стоит просто ее записать — и успех ему обеспечен, потому что грустные книги пользуются наибольшим спросом. Только нужно рассказать ее более толково (это не Ольга говорит, а Виктор думает). Сквозь это нагромождение имен и фактов трудно пробиться. Вместо точных дат и цифр она дает такие расплывчатые указания, как «после маминой смерти», «перед моим вторым замужеством» или: «тогда, до суда»; этапы ее жизни носят имена мужчин; а когда она говорит о фортепианной игре, в виду имеются ее лучшие годы — юность. Из всей этой путаницы можно лишь понять, что все мужчины, которых она любила,— сатанинские отродья, они толкали ее от одной беды к другой, пока она не оказалась на самом дне: у Сверхсатаны, у Макса; он не только спекулирует машинами и бьет детей, но имеет еще и других женщин — одну в Требаче и двух в Буккове.

— Но время его истекло,— говорит она,— с ним покончено. Его час пробил.

Ольга выглядит так, словно ее задача — воплотить Себастианову теорию о самопринуждении. Прямая и неподвижная, сидит она на стуле, едва размыкая при рассказе тонкие губы. Даже угрожая ему, этому мерзавцу, или говоря: «Я заявила на него!» — она не меняет голоса. Когда Ольга уходит, Виктор чувствует какую-то внутреннюю скованность. Слушая, он как бы перенял ее оцепенение. Фрау Эрика позаботится, чтобы он снова расслабился.

Услышав его шаги на лестнице, она тихо приоткрывает свою дверь. Смотрит направо и налево в коридор, берет Виктора за руку и тянет к себе в комнату. Она говорит: «Мой принц», берет его за другую руку и становится перед ним так, словно собирается водить хоровод. Глаза у нее сияют.

— У нас двоих,— говорит она манерно, почти нараспев,— у нас двоих, у принца и его доброй старой феи, есть общая тайна! Тайна, которую мы должны беречь. Согласны?

Фрау Эрика принарядилась для Виктора. На ней закрытое платье с белым фартучком. Бант, украшающий ее свежезавитые волосы, из той же, что и платье, материи в сине-красную клетку. Она очень умело подкрашена. Возраст выдают только глаза и шея, которую все-таки немножко видно, несмотря на шелковую косыночку. Виктору нетрудно (поскольку нет свидетелей) просиять ей в ответ и включиться в комнатный спектакль.

— Да, прелестная фея,— говорит он тоже нараспев,— поклянемся! — Но тут же, понимая комичность ситуации, добавляет нормальным тоном, что сперва он должен узнать, в чем заключается тайна.

Фрау Эрика звонко смеется, отпускает его руки и падает в кресло. Виктору приходится подтащить другое и усесться напротив. Она предлагает кофе, пододвигает поближе к Виктору хрустальную вазочку с печеньем, включает огонь в камине, ставит пластинку, покачивается в такт «Белой лошадке» и, задорно блеснув глазами, произносит одно только слово:

— Цыганка.

Виктор тотчас понимает, кого и что она имеет в виду, но не зна-

ет, как реагировать. Чтобы выиграть время, он прикидывается наивным. Делает вопросительную мину, пожимает плечами, спрашивает:

— Простите, что вы сказали?

Фрау Эрика объясняет: она и Хельгочка (которая приезжает каждое воскресенье, чтобы обеспечить ее хорошим кофе) называют каждого жильца по-своему. Макс, например, из-за небесно-голубых глаз для них Ханс Альберс, Ольга — Копченый Угорь, Себастиан — Слон, Тита (Эрика приставляет свой кулачок к подбородку, удлиняя его) — король Дроздобород.

— Теперь понимаете?

— Да, конечно! — восклицает Виктор в полном восторге от юмора сестер и, раз-другой удрученно хлопнув ладонью по лбу, показывает: «Ах, я тупица!» — Теперь я понимаю, кого вы имеете в виду: Хильду, или как ее там, одним словом, внучку.

Виктор наконец узнает, что ее зовут Клотильдой и своим допотопным именем она обязана милой бабушке. Фрау Эрика узнала это от матери, которая раз в год по обещанию приезжает с визитом. Ей было всего семнадцать лет, когда ребенок, незваный, появился на свет, и она очень обрадовалась, что Тита его забрала и всем обеспечила, в том числе и возмутительным именем, которое и некрасиво и не подходит к наружности девушки. Никто не знает, откуда у нее, у Клотильды, этот цыганский облик. Такого в семье Людериц не бывало, а отец, говорят, был здоровенный мужик, пекарь, светловолосый и бледный. У него было уже четверо внуков, когда в тепле пекарни он совершил насилие над своей молоденькой продавщицей. Но это, полагает фрау Эрика, ему дорого обошлось. К тому времени, когда родилось смугло-черное дитя, он уже умер.

Даже сидя, фрау Эрика в постоянном движении. Если она упоминает длинные черные волосы, то рукой показывает, как они покрывают плечи. Обе руки нужны ей, чтобы обхватить громадину пекаря. Если речь заходит о семнадцатилетней матери, худощавая фрау Эрика имитирует беременность. Если она задумывается, лицо обращено к потолку, если слушает — голова склоняется набок, если смеется — руки тоже участвуют. Музыку она делает то громче, то тише, подпевает песне, декламирует: «Счастье твое пред тобою!» Она наливает кофе, подносит, держа хрусталь на вытянутых руках, печенье, чтобы с нежной озабоченностью сказать: «Вам надо есть, мой принц!» Она подвижна и весела, дурашлива и задумчива. Она разыгрывает молодую девушку, и Виктор ей подыгрывает. Он не отводит глаз, когда она пристально смотрит на него, подается к ней, когда она наклоняется. Слегка шевельнув крыльями носа, он дает понять, что ему нравятся ее духи, и не пытается отпрянуть, когда ее руки ложатся на его колени. Ее рот совсем близко от его губ, когда она, снова нараспев, говорит:

— Я давно уже знаю то, что вы узнали минувшей ночью.

Она откидывается на спинку кресла. Теперь и он может сесть удобно. Она говорит, запрокинув голову, скрестив руки на затылке, о своем чутком сне и ночной тишине в доме. Чтобы показать, как пугающа эта тишина, она съеживается в кресле, и ее лицо, которое она обхватывает ладонями, становится совсем маленьким.

— Пока вслушиваешься в себя, ловя тени прошлых воплощений,— шепчет она,— все хорошо. Но когда снова воспринимаешь окружающий мир, малейший шорох пугает. Скрипнет шкаф — и ты уже вздрагиваешь. Прожужжит за печкой муха — а тебе чудятся далекие голоса. Мышь на чердаке над твоей комнатой представляется чудовищем. Пискнет внизу дверь — так тихо, что уже думаешь, будто ошибся. Но что это — кто-то поднимается по лестнице? Шагов не слышно, лишь ступени потрескивают, что-то приближается, вот оно совсем близко и снова удаляется, отступает наверх. Дверь мансарды заедает, беззвучно ее не откроешь. Потом снова часами только шум

в ушах. Но как уснуть, если поневоле представляешь себе, что происходит там, наверху?

Чтобы отчетливее вообразить ночное ожидание, слушатель должен его испытать. Хотя снаружи бушует ветер, Макс в гараже стучит молотком и продолжает с шумом вращаться отыгравшая пластинка, Виктору кажется, что он слышит тишину. Он в великом ожидании. Надеется услышать постельные фантазии фрау Эрики. Но она молчит.

Глубоко дыша, она поднимается и рукой стирает со лба ночные мысли.

— Мне нравится Малышка,— говорит она,— и потому мне не нравится, что она роняет свое достоинство. Слон — это не для нее.

Она меняет пластинку. Теперь пусть поликует граф Люксембург, но приглушенно, ибо фрау Эрика хочет подробно объясниться. Ее доклад посвящен Себастиану, но речь в нем не о садовнике. Чаще всего звучат такие слова, как мысль, сознание, дух, душа, воля, ум, но означают все они одно и то же, а именно энергию и созидательную силу. Они имеют поразительное влияние на человеческое тело, которое фрау Эрика весьма образно именует одеянием души. Ведь Виктор должен согласиться (что он и делает, сразу же кивнув головой), что мысли формируют облик, что жесты, повадки и позы зависят от духа. Многие болезни связаны с состоянием души. Человек, который хочет заболеть, заболевает. Известно, что даже смерть в определенных обстоятельствах может подчиниться человеческой воле. Иначе говоря: дух, который (как электричество) невидим, реален (как и оно) и проявляется в действии. Как всякая реальность, он находится в развитии. Миллионы лет формировали его, умножали, утончали и сделали властелином материи. Он на пути к тому (чему раньше никто не верил), чтобы преобразовать нашу планету; он способен (чему и сейчас верят лишь немногие) преобразовать и нас самих, согласно нашей воле — если только она будет достаточно сильна. Карл Маркс знал, говорит фрау Эрика, к немалому удивлению Виктора, что теория, то есть мысль, становится материальной силой, если она растет количественно. Это значит, что каждое желание приближает желаемое; желание может быть настолько интенсивным, что его исполнение твердо гарантировано. Воля способна не только управлять мускулами; она может охранять здоровье, более того — даже предотвратить смерть. То, что до сих пор все люди умирали, ни о чем не говорит, так как все верили, что должны умереть. И умирали по привычке, из смирения. Но удел смиренного — неудачи. Лишь человеку, с рождения убежденному в своем бессмертии, бессмертие и будет даровано. Это время настанет. Прогресс неудержим. Эмансипация души идет вперед семимильными шагами. Правда, ныне живущим она доступна лишь в ограниченных диапазонах. На этих диапазонах и надо сосредоточиться, всей душой отдаваясь тому, что делаешь. Кто в состоянии, крася губы или поедая спаржу, не думать ни о чем другом — тот уже на пути к счастью. Она, фрау Эрика, сосредоточилась на том, чтобы не дать погибнуть своим сексуальным способностям, и ее сжатая в кулак воля действительно материализовалась. Наряду с работой над собой необходимо исключить вредные влияния. Внутренний резервуар должен пополняться и извне. Но осадок сомнений и смирения засоряет проводящую систему. Поэтому фрау Эрика всегда окружала себя только людьми жизнерадостными, оптимистичными, готовыми к любви, тонизирующими, главным образом молодыми людьми, и, конечно же, лишь такими, кто способен как давать, так и принимать. А то ведь есть юноши — старики душой. К сожалению, фрау Эрика вынуждена (наконец-то добралась она до сути) отнести к этой категории Себастиана, который своим скепсисом, брюзжанием, критиканством не обогащает других, а внутренне отравляет. Этот человек никогда не надеется на удачу и пото-

му никогда ее не обретает, он никогда не достигает успеха, ибо душа его успеха не жаждет. Фрау Эрику не удивляет, что он оказался несостоятельным и в профессии и в браке. Ей понятно, почему он делает вид, будто презирает недостижимое. Но она считает непростительным, что он, вместо того чтобы сесть на карантин, распространяет вокруг бациллы несчастья. Негативная, низменная сфера, окружающая его, несет заразу.

Доклад окончен. Фрау Эрика с вызовом смотрит на Виктора. И он считает своим долгом доказать, что преподанный ему урок возымел действие.

— В таком случае,— восклицает он, замечая, что и его рука при разговоре приходит в движение,— надо оградить девушку от душевной отравы.

Неоконченное письмо

Раньше чем ожидал (и хотел), Виктор после обеда усаживается за пишущую машинку. В комнате теплее, чем накануне, печь хорошо протоплена, а нижняя часть окна завешена одеялом. С наружного подоконника снег сметен. Морозные узоры со стекол стерты. Виктор может не коченея сидеть за машинкой и смотреть поверх нее в окно. За снежным полем (именуемым Зарослями) темнеет лес. Ветер раскачивает макушки деревьев. Над ними несутся тучи. Порой они разрываются, обнажая пятна голубого неба. Вверх взмывает стая ворон и, покружив на ветру, снова опускается на деревья.

Виктор долго думает. Потом наконец отстукивает первые слова. Они гласят: Виктор Кёслинг. Это будущий титульный лист. Виктор надеется, что, если аккуратно напечатанный лист будет лежать перед глазами, у него возникнет желание работать, которое срочно ему необходимо (как замена обычного принуждения). Но, к сожалению, он даже точного названия своей работы вспомнить не может. Оно записано на листке, затерянном где-то среди папок. Нужно встать и найти, но он не двигается с места, так как прежде хочет выяснить, видно ли из окна кладбище. Оно скрыто в сосняке, но должно же угадываться по голым ветвям безлистных деревьев.

Вороны снова взлетают. Виктору важно их посчитать. Но они видны лишь короткое время, и замысел терпит неудачу. Он ждет следующего взлета, чтобы определить численность ворон. На несколько секунд сквозь тучи проглядывает солнце. Заросли сверкнули и погасли. Над лесом проносится исчерна-серая туча. Солнце и птицы появляются одновременно. Волнами нарастает шум ветра, затем стихает и замирает вовсе; лес неподвижен, а тучи спешат дальше. Напряжение не спадает. Виктор долго сидит, наслаждаясь переменчивой игрой природы, пока его не зовут к телефону.

Разговор с матерью длится недолго, так как ее ждут гости с Экватора. Наряду с обсуждением погоды (обстановка по сей день угрожающая), состояния дорог и здоровья, возникает сакраментальный вопрос о работе, ответ на который исчерпывается словом «нормально». Важно лишь сообщение, каким мать не может не поделиться: Я. К., с которым со времени его болезни мать ежедневно разговаривает по междугороднему телефону, до сих пор не получил от Виктора ежемесячного письма. Новогодний привет, сказал он, письму не замена.

— Лучше всего было бы,— говорит Аньола, но Виктор тут же ее перебивает:

— Да-да, сейчас напишу.

И вот он снова за машинкой, вынимает незаконченный титульный лист и закладывает чистый. Важную персону он называет просто «папой» и с ходу начинает бойко расписывать свою диссертацию: какой важный вклад она внесет в марксистско-ленинскую разработку истории Пруссии, какую большую брешь поможет заполнить и

как много в ней актуальных моментов. Фразы, толкующие о наследии, вехах, звеньях, о реакции, традициях и революции, легко слетают с кончика пера. Однако потом, на второй странице, дело стопорится. По старому обычаю тут следует перейти к личным делам. Глаза его снова обращаются к природе. Он высматривает вороньи стаи. Но их не видно.

Виктору трудно писать отцу о личных делах. Об этом он предпочитает с ним говорить. Потому что в беседах (которые, кстати, делятся на две части так же, как и обязательные письма) Виктору надлежит только отвечать на вопросы, а это очень просто, поскольку в вопросах отца (по привычке) уже задано направление желаемых ответов. Он ведь вовсе не хочет знать (или делает вид, что не хочет), что его сын думает, чувствует, переживает; его лишь интересует, похож ли Виктор на него. Как ни утомительны эти разговоры, они зачастую доставляют обоим удовольствие. Виктор радуется ловкости, с какой он отбивает посылаемые ему мячи, а отец доволен зримым воздействием своего воспитания.

В первое время после развода эти беседы происходили дома в Потсдаме. Как всегда подчеркивалось, родители расстались друзьями, и отец часто приходил, чтобы (как он говорил) убедиться, все ли в порядке. Потом они встречались (реже) в новом доме отца, на вилле в северном пригороде Берлина, где вторая фрау Кёслинг с помощью свечей и домашних печений обеспечивала уют. Ее имя Эмилия, но называют ее Эмиль, и с первой же минуты Виктор должен был обращаться к ней на «ты» (что ему давалось нелегко). Ровесница Виктора, она благодаря своей краткой деловитости кажется старше его нервной, словоохотливой матери. Каждый раз, когда приходит Виктор, она сокрушается, что Аньола игнорирует ее приглашения. Аньола же отказывается от визитов, боясь, что не сможет не посмеяться над этой глупышкой. Но от Виктора она требует подробных отчетов, в том числе об отделке дома и об одежде. Виктор же не умеет наблюдать и одновременно разговаривать. Поэтому он придумывает такой реквизит, который может доставить матери радость.

— Я так и думала! — восторженно восклицает она, когда Виктор рассказывает о «Подсолнухах» Ван Гога над диваном.

— Ну еще бы, денег-то полно! — говорит она, когда чай подается в майсенских чашках голубой росписи; а когда Виктор облачает Эмиль в кофту из овечьей шерсти, она просит: — Перестань, а то умру от смеха!

После завершения деловой части беседы между отцом и сыном, уснащенной некоторыми политико-идеологическими вкраплениями, наступает черед личной части. Начинается она с вопроса о самочувствии матери. Благодаря сыну и работе оно всегда если и не блестящее, то вполне удовлетворительное. Отец слушает с серьезным, даже озабоченным видом: да, конечно, работа, которой она увлечена, помогает ей со многим справиться. Затем заговорщическая улыбка возвещает о следующей теме: девушки. Виктор знает, что для такого молодого человека, как он, они должны иметь значение, однако не чрезмерное: они должны украшать жизнь, но не определять ее, не всегда это беспроблемно и безболезненно, но в целом приятно.

Эти разговоры мужчины с мужчиной, приправленные воспоминаниями времен отцовой удали, начались, когда Виктору исполнилось шестнадцать. Противозачаточные средства стали темой разговора несколько раньше, чем нужно. Нет, отец не был пуританином. Виктор считал своим долгом признаваться в опыте, которым еще не обладал. Поскольку отец прежде был соблазнителем, им стал (в разговорах) и сын. Приятельницам старше себя он убавлял года. Дабы часто повторяемый отцов лозунг — никакой ранней привязанности! — не был безосновательным, он выдумал подобие таковой, чтобы потом с болью, но мужественно отступиться.

Но эта тема неуместна в письме отшельника. Когда долг требует человека полностью, сердце должно молчать. Здесь речь должна идти не об удовольствиях, а о работе ночи напролет. Вполне допустимы жалобы, но в письме должна звучать и воля к преодолению помех. Уместен юмор, причем поядреней. Природа и погода не представляют интереса, скорее уж люди. В массе (с определением: наши люди) они, конечно, хороши, но над отдельными представителями можно и пошутить. Напрашивается фрау Эрика, но тут же отклоняется: кто знает, не делает ли и ее неприкосновенной священное имя Шульце-Деккера. Больше подходит Себастиан: человек пропащий, но падение свое расцвечивает философски, фигура комическая и вместе с тем трагическая.

В то время как снаружи синь небес и блеск солнца побеждают облака, Виктор, сидя в четырех стенах, приступает ко второй части письма. «Я сижу здесь, так сказать, у черта на рогах,— пишет он,— и мне на это плевать, потому что в голове моей копошатся одни пруссаки, которые не понимают примет своей эпохи. Когда я покидаю свою рабочую келью, что случается довольно редко, то едва замечаю окружающих меня людей. Если не считать горничной, которой я пока не видел, и маленьких детей управляющего, здесь обитают одни старики. Потому здесь тихо и неинтересно. Сама скука заставляет работать».

Поскольку Виктор, не зная, что писать дальше, в задумчивости глянул в окно и увидел женскую фигуру, шагающую к лесу, письмо в этот день остается недописанным.

Игрок

Человек, которого Виктор хочет случайно встретить, идет, утопая в снегу, наискось через поле. Виктор остается на Мертвой дороге. Снега всюду по колено. Солнце висит низко над деревьями, не закрытое облаками. Виктор идет прямо на него. У опушки леса дорога раздваивается. Правая ветка, огибая лесистый холм, ведет к свалке, левая — вверх, к кладбищенскому лесу. Кусты можжевельника, шиповник, туя обрамляют эту дорогу. На склонах под соснами — ряды могил. Их соединяют боковые тропки, кое-где ступенчатые. В выровненной низине стоит, уродливая, как гаражная постройка, мертвецкая. Дорога змеится вверх, к плато, и там заканчивается. За насосом, деревянной скамьей и урной для мусора сложены доски, веревки, лопаты: все, что нужно могильщикам. Гребень холма расположен повыше. К нему ведут несколько ступеней.

Обнаружив след, который он ищет, Виктор сразу видит и того, кто этот след оставляет, но пока в виде темного контура на ярко-алом фоне. Ибо как раз позади фигуры, уже взошедшей на ступени, стоит солнце, готовое закатиться, огромное, какого Виктор еще не видывал. Вот, думает он, зрелище, исполненное значения, торжественный миг, который надо запомнить, чтобы потом сказать: замерзая, с промокшими ногами, я стоял в снегу и смотрел, как ты выходишь ко мне прямо из солнца.

Пока же он произносит лишь учтивое приветствие, затем, уже стоя на ступеньках, несколько слов о лесе, снеге и свежем воздухе. Но ответа нет. Медленно и тяжело ступая, фигура удаляется, идет мимо могил к склону горы. У последнего памятника останавливается. Он самый большой, прочно построенный из глазурованного кирпича, обнесенный железной решеткой. Женщина, слишком массивная для Тильды, руками разгребает снег, достает метлу и обметает могилу.

Виктор понимает, что только шумом может привлечь к себе внимание. Подойдя ближе, он громко выкрикивает приветствие и слова о красоте зимы. Тита сразу его узнает, вежливо здоровается и назидательно отвечает:

— Здесь, господин Кёслинг, во всякое время года красиво. Незачем ездить в Тюрингию. — Черенком метлы она показывает, куда Виктору посмотреть, чтобы убедиться в правоте ее слов.

Виктор с готовностью поворачивается. Напрягая голосовые связки, он даже умудряется выразить восторг. Не только без Тюрингии, но и без Швейцарии Тита может обойтись — так здесь красиво.

Это чудовищное преувеличение относится к открывающемуся отсюда виду. Вдали, где скоро скроется солнце, темными волнами смыкаются леса. Перед ними широко раскинулись перерезанные шоссейной дорогой белые луга и поля. Посреди них — Арндтсдорф с церковью и красными крышами. Оттуда прямо к озеру ведет заледенелая и заснеженная аллея. Деревня Прёц, лежащая на ближнем берегу озера, отсюда не видна, она скрыта верхушками сосен. Перед ними же, сразу под фамильным склепом, простирается узкая глубокая долина, называемая, по словам Титы, Майенталь, но надобность в названии скоро отпадет, так как долина исчезнет — в мусоре. Из Прёца вверх ведет проезжая дорога. По ней издалека приезжают грузовики и сбрасывают всякий хлам. Всего лишь десять — двадцать метров отделяют верхний край откоса от кладбища.

Поскольку утреннее решение Виктора касалось только лопаты, он с чистой совестью берет у Титы метлу. Вскоре кирпичное сооружение и прилегающие дорожки очищены от снега, а Виктор полностью осведомлен о Титиных покойниках. Всего их восемь. Из них здесь лежат лишь трое — ее муж и родители; пятеро, братья и сыновья, покоятся во французской, русской и североафриканской земле, на камне обозначены их имена. Виктор трижды считает имена: их девять. Тита разрешает загадку: Альвина Людериц, урожденная Рихтер, чье имя выбито рядом с Хансом Людерицем, фермером, это она сама. Год рождения указан, года смерти после черточки еще нет. Когда умер муж, она распорядилась заодно высечь свое имя.

— Так Тильде обойдется дешевле,— говорит она.

Спрятав метлу в снегу за памятником, Виктор на радость Тите вновь издает ликующий возглас. На сей раз — по поводу заката, который Виктор называет изумительным, неповторимым и сказочным. Тита ничего не говорит, но вид у нее такой, словно это она изготовила краски, расцветившие небо.

Спускаясь вниз, Тита берет Виктора под руку. Она забыла свою палку, только в этом причина ее неуверенной походки, с палкой помощь ей не нужна, она шла бы проворнее молодых. Она хвастает своим здоровьем. Лишь по настоянию Тильды она недавно ходила к врачу.

— И как вы думаете, что он у меня нашел? Ничего, ничегошеньки!

— Я тоже хотел бы,— сказал он,— быть таким здоровым, как вы, фрау Людериц.

Нет, ей действительно грех жаловаться, у нее все в порядке, за исключением головы, которая не всегда на высоте. Тита стала рассеянной; сегодня, например, забыла палку, к которой привыкла, вчера — название давешнего праздника. Она сказала внучке: ну, тот, к которому полагается елка,— а потом они обе от души посмеялись над старческой глупостью.

— Внучка? — удивляется Виктор. — А я думал, Хильда, или как там ее зовут, ваша дочь.

Это уж слишком Тита с недоверием смотрит на него. Он ведь только что, говорит она, прочитал на камне год ее рождения и должен знать: когда родилась Тильда, ей было столько, сколько сейчас фрау Эрике.

— А в этом возрасте,— добавляет она,— хотя еще и можно кое-что разыграть перед молодыми мужчинами, но родить уж никак нельзя.

Викторов смех умиротворяет Титу. Она объясняет ему, почему внучке дали такое имя. Ее назвали в честь бабушки ее бабушки Клотильдой. Пусть Тильда будет так же добра к своим внукам, как добра была к внучке Тита.

— Сколько вам лет, господин Кёслинг?

— Двадцать девять.

— Тильде двадцать три.

Тита считает себя ответственной за девушку. Она ее вырастила, полностью заменила мать и сохранила для нее дом. С другой стороны, она повинна в том, что Тильда увядает здесь, в этой глуши.

— Она плетет всякую чепуху,— говорит Тита,— только чтобы убедить меня, будто ей тут очень хорошо. В действительности же она просто боится за меня. Думает, Макс упрячет меня в богадельню, если она не уследит. Но я ведь могу и до ста лет дожить, говорю я ей, а тогда кто тебя возьмет; лучше поступи в больницу, где училась, и зааркань себе там какого-нибудь врача. А она только смеется.

Когда они достигают «Нового благоденствия», в небе уже мерцают первые звезды. Пока Виктор размышляет, не напроситься ли посмотреть семейный альбом, Тита приглашает его на чашку кофе. Он сперва колеблется — его ведь ждет работа,— но потом принимает приглашение. Еще с порога Тита зовет Тильду, но та не откликается.

— Черт побери, куда она запропастилась? — бурчит Тита, обежав все комнаты, на что требуется мало времени, поскольку их только три: маленькая прихожая с зеркалом и вешалкой, две смежные комнаты, первая из которых, проходная, гостиная и спальня Тильды. Даже Виктор, обычно почти совсем не замечающий обстановки, сразу чувствует себя как дома: стенка, диван-кровать, журнальный столик и кресла такие же, как в его берлинской квартире. Тита, перехватив взгляд Виктора, ждет его восхищения, говоря:

— Все тут по-современному,— и он доставляет ей это удовольствие.

У Титы, напротив, захламленно и уютно, настоящая бабушкина комната, или, как она комментирует: «Халупа старой карги». Ее комната больше, чем у Тильды, но так загромождена мебелью, что едва остается место для прохода, и потому она кажется меньше. У Виктора есть время все спокойно осмотреть, так как Тита пошла через двор в кухню варить кофе. Рядом с плюшевой софой, на которой он сидит, вдоль стен расставлены платяной шкаф, сервант, комод, буфет и кровать. Кроме того, здесь еще четыре стула и большой стол, вольтеровское кресло, скамеечка для ног, тумбочка, столик для шитья и швейная машинка. За исключением платяного шкафа, высокого, до потолка, вся мебель завалена хламом. Груды коробок от обуви, сигарных ящиков, табакерок, пластиковые пакеты, набитые шерстью, шелковыми лентами, нитками и пестрыми лоскутками. Пепельницы полны пуговиц, на вазах сидят куклы, повсюду валяются ракушки.

Заглянуть в эти коробки Виктор не может себе позволить, но, насколько допускает теснота, он ходит, рассматривая то, что висит на стенах повсюду, где только есть кусочек свободного места. Кое-что в рамках, большая часть просто пришпилена к обоям. Это не репродукции, как те три цветные, что висят у Тильды, а фотографии разной давности и формата. Виктор видит дам, господ, пары, школьные классы, семьи, младенцев, стариков — все они смотрят серьезно, чуть ли не сердито. Часто встречается Тита, ее легко узнать по длинному подбородку, даже невестой в венке и фате она смахивает на короля Дроздобородa. Много девушек, но главным образом белокурых, ни одной похожей на цыганку.

Тита возвращается с большим кофейником и рождественским кексом. Тильду она не привела — та занята во флигеле. На выходные заявлена группа слушателей каких-то курсов — тридцать человек;

надо подмести, протереть, убрать, постелить постели, в том числе на раскладушках, которые должен достать с чердака этот мужчина со всклокоченной бородой. («Забыла, как его зовут. Верно, Себастиан. Неприятный человек. Вы не находите?»)

Виктор находит, что кофе, похожий на жидкий чай, превосходен, и уклоняется от ответа на вопрос о Себастиане. Да Тита и не настаивает. Она кладет гостю на тарелку три толстых ломтя кекса и радуется, что Виктор с аппетитом ест. Сама она, к сожалению, не может есть этот кекс — зубной протез не позволяет. Он ведь на пластинке, а под ней остаются косточки от изюма и миндальные крошки, натирающие потом нёбо.

— Понимаете?

— Да-да,— быстро отвечает Виктор, но это не мешает ей вынуть верхнюю челюсть, чтобы проиллюстрировать сказанное. — Вы хотели что-то сказать о Себастиане,— предпринимает Виктор отвлекающий маневр и достигает успеха.

Но поскольку челюсть все еще в руках у Титы, а не во рту, первых фраз Виктор не понимает. Лишь взявшись за чашку, она обнаруживает, что во рту чего-то не хватает, вставляет зубы на место и продолжает уже внятно:

— ...не говоря уже о том, что она терпеть не может, когда человек ко всему придирается, вечно всем недоволен и все критикует.

Если говорят о долге и обязанности, он крутит носом, если слышит о порядке — бычится. А эта борода! Тита вообще не любит бород. Они ей кажутся масками, и если они кому-то нужны, стало быть, таким людям есть что скрывать. Кто затеял первую войну? Вильгельм Бородатый. А вторую? Усатый Адольф. И землю свою она потеряла, когда у власти был Остробородый. Нет, бородатого мужа она Тильде не желает; а имей она влияние на молодого господина Кёслинга, маленькая бородка, искажающая его лицо, была бы сбрита.

— Я не хочу ударяться в политику,— говорит она,— просто я так считаю. Ведь ваш отец безбородый, и вы тоже можете показывать миру свое лицо открытым и безволосым.

Виктора подмывает обрадовать Титу обещанием сделать это. Бородкой он не дорожит. Некая Ани потребовала, чтобы он отпустил бороду; а те, что пришли ей на смену, ничего против не имели; он просто к ней привык. Но доставить радость бабушке он сможет, лишь узнав, что по этому поводу думает внучка. И он переводит разговор на фотографии: на них встречаются бородатые мужчины; они тоже подтверждают теорию Титы?

Виктор понимает, что тем самым открывает смотр семейных фотографий, но не догадывается, каково их количество. Те, что украшают стены,— лишь изюминки; весь же пирог, который ему предстоит проглотить, покоится неразобранный в бесчисленных больших и малых картонках.

Тита не старается облегчить или сократить акт знакомства. Она не удовлетворяется объяснениями типа: «Это я в Кляйн-Кице, это мой сын Курт в солдатах, восьмой слева в третьем ряду — дядя Франц»; или же: «Этого я не помню». Она поддается наплыву воспоминаний, пробуждаемых фотографиями, и разворачивает истории, грозящие перейти в бесконечность. Вот, например, четырнадцатилетняя Альвина (ставшая потом Титой), с длинным, разумеется, подбородком, в длинной юбке и белом переднике, стоит за стойкой трактира «У хорошего друга» в Кляйн-Кице и цедит пиво; комментарий же гласит:

— Слева от стойки, примерно вот здесь, была дверь в зал, двустворчатая такая, большая, и когда устраивались балы, ну, скажем, пожарников или резервистов, или еще какие-нибудь вечера, Карл всегда стоял у дверей так, чтобы видеть меня, и ждал, пока у меня выпадет свободная минутка, чтобы пригласить на несколько кругов

танца, лучше вальса, который я больше всего любила, так любила, что терпеть не могла, если он что-то говорил во время танца, только подпевать можно было: «Ничто не вечно под изменчивой луной». Вы не знаете ее, эту прелестную песню? Ничто не вечно под изменчивой луной, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля. В ней семь или восемь куплетов, и я их все знала без запинки; надо как-нибудь спросить у Тильды, она, когда была маленькой, тоже знала их наизусть, как я, особенно хорошо она помнила вот этот куплет: «Дадам-дадам, кто знает час, когда судьба забросит нас кого куда». Как потом и случилось с ее матерью, потому что, само собой, появился мужчина.

Наилучший способ положить конец такой, всякий раз заново начинающейся истории — взять в руки другую фотографию и перебить вопросом: «А это кто?» Но если Виктор совершает ошибку и спрашивает, кто такой Карл, который стоял у дверей, Тита начинает волноваться и со словами: «Да тот в шляпе, мы его уже видели» — снова роется в коробке из-под сигар, которую они уже обследовали, а, найдя, наконец, фотографию у стойки, вспоминает еще что-нибудь, например, развозчика пива, кюстринца, который, как и его неповоротливые лошади, носил на себе слишком много кожи и меди и каждый раз при виде Альвины говорил, что трактир надо бы назвать не «У хорошего друга», а «У хорошенькой подружки».

Примечательно, что сокровищница воспоминаний Титы становится тем богаче, чем больше лет минуло со времени вспоминаемых событий. Если муж и его родственники не фигурируют никогда, а сыновья, дочери, внучка — лишь изредка, то о бабушке с дедушкой, родителях, тетках, двоюродных бабушках, дядьях и братьях, чьих фотографий куда меньше, воспоминаний множество. Маленькая Тита, вернее — Альвина, дошкольница и школьница, сохранилась у Титы в памяти лучше, чем Тита — жена, фермерша, мать и бабушка. На школьной фотографии тридцатых годов она не может найти среди других учеников своих сыновей, а сильно пожелтевшая фотография ее школьных времен в Кляйн-Кице побуждает к пространным отступлениям. Сперва Виктор должен, конечно, отыскать на карточке Титу и пожинает похвалу, узнав ее (не объясняя, по какому признаку). Потом ему излагают методику преподавания в деревенской школе, где ребятишки разного возраста учились в одном классе. Сообщают, как звали учителя со стоячим воротником и прямым пробором и что с ним сталось (пал за отчизну), кто был его предшественником и кто преемником. Перечисляют по именам всех девятнадцать школьников, объясняют, в каком порядке они сидели за партами — в зависимости от успехов. От Ханса Опочинского, вот этого милого сорванца, она получила первый в жизни поцелуй — в коровнике, на ферме. Иоахима Матье, дочь пастора, потом вышла замуж за кроссенского бургомистра, но умерла первыми родами. А вот этот, с раскрытым, как у дурачка, ртом — кузен Титы, он позднее унаследовал усадьбу и постоялый двор. Мерзкий тип, это и на карточке сразу видно: с вытаращенными глазами перед «Новым благоденствием» стоят и сидят более двадцати человек разного возраста. Рядом с дурачком-кузеном — другие жители Кица. Они приехали на повозке, что означает: день сюда и день обратно, но ничего не поделаешь — ведь у старшего брата Титы была свадьба. Вот он стоит, жених,— без невесты, поскольку та, хоть и очень крепкая, боялась фотоаппарата. Через несколько лет она овдовела, но едва кончился год траура, опять вышла замуж за хопшуггенского мельника, пережила и его и теперь живет одиноко на уединенной, полуразрушенной мельнице. Рядом с женихом вовсе не невеста, а сестрина золовка, нет, погодите-ка, ее звали Августой, и была она сестрой золовки жены брата Фрица, хотя нет, вот как это было...

Но как это было, Виктору узнать не дано, ибо звонят к ужину. Правда, как и обещал, он сразу после ужина возвращается к фото-

графиям, но бог весть чья золовка или сестра тем временем забыта. Глядя на открытку с видом «Хорошего друга», Тита вспоминает расположение комнат. Когда она застревает на втором этаже, Виктор пользуется заминкой, чтобы высказать просьбу. Он хотел бы увидеть фотографию Тильды. Нет ничего проще, говорит Тита. Надо только встать, пробраться по узкому проходу между столиком для шитья и швейной машинкой, свернуть направо за гладильной доской, и он у цели: фотография висит на стене между кафельной печкой и шкафом. Голенькая, с испуганным лицом девочка, примерно годовалая, лежит на какой-то шкуре. Больше чем «Какая прелесть!» разочарованный Виктор сказать не в силах. Затем он возвращается на свое место мук и ожидания.

Так как двадцатитрехлетняя Тильда еще и вечером занята — вместе с Себастианом готовит постели для гостей,— Тита рада обществу господина Кёслинга.

— Вам не скучно? — спрашивает она, разыскивая в комоде еще одну картонку с фотографиями.

Виктор, одолеваемый усталостью, отвечает:

— Нет, напротив, мне очень интересно,— и в доказательство задает при демонстрации очередной фотографии вопрос, ставший для него в этот вечер роковым.

На карточке Тита и ее сыновья сидят за садовым столиком, поглощенные игрой. Виктор спрашивает, в какую игру они играют, но, однако же, название ничего ему не говорит. Он не знает этой игры. Да и откуда ему знать? У Кёслингов дома никаких игр не было. Такого Тита понять не может.

— Что? — восклицает она. — В самом деле? Уму непостижимо! Вы не знаете прекраснейшей из всех игр?

Сама она всегда играла в нее, сперва с бабушкой, с братьями, сыновьями, потом с внучкой. Научиться легче легкого, а сколько удовольствия! Ее охватывает рвение миссионера, делающее бессмысленным всякое сопротивление. Такой энтузиастке ведь не скажешь: «К сожалению, у меня глаза слипаются».

Тите не надо вставать, чтобы вытащить игру, достаточно открыть ящик стола, и она появляется на свет: картонный квадрат, называемый доской, сложенный пополам, сгиб проклеен лейкопластырем, края разлохмачены, местами вытертая поверхность разрисована линиями и пестрыми кружками, а посредине буквами в завитушках название: «Не злись, дружище!»

Доска годна к употреблению с обеих сторон. Одна сторона рассчитана на шесть игроков, другая — на четырех. Вдвоем играть можно где хочешь, но лучше на стороне для четырех. Каждый получает по четыре цветные фигурки, называемые фишками. Тита берет себе желтые, к которым привыкла еще с детства. Виктору рекомендуются красные. Фишки расставляются в кружочках того же цвета в правом углу. Теперь не хватает только кожаного стакана с игральным кубиком. Он в серванте, Виктор его приносит. Можно приступать, но сначала надо определить, кто сделает первый ход: кому выпадет шестерка, тот и начинает.

Тита смеется, как ребенок, в одну руку она берет стакан, другой прикрывает. Долго его трясет и с грохотом опрокидывает. Пока кубик еще закрыт стаканом, Тита хитро посматривает на партнера. Потом, глубоко вздохнув, рывком снимает стакан. Вот она, шестерка!

— Видите! — говорит Тита, с трудом сдерживая ликование.

У Виктора выпадает пятерка, стало быть, начинает Тита.

— Она мне всегда верна,— говорит Тита и передвигает первую фишку; она вправе повторить ход. Но на сей раз это «жалкая единица», и теперь очередь Виктора попытать счастья.

Кроме долгой тряски стакана Тита знает и другие способы заклинания кубика. Если нужны малые числа, она опрокидывает стакан с

осторожностью, если же требуется пятерка или шестерка, кубик катится через весь стол. Помогает и троекратное символическое поплевывание. В решающих же ситуациях, когда все зависит от одного хода, она ставит стакан на стол, складывает над ним обе руки домиком, прижимает к нему рот и трижды шепчет заветную цифру.

Первый кон Тита проводит как учебный. Она дает советы, начинающему разрешено пока исправлять свои ошибки. На второй кон уже действует принцип: фишке место, пусть даже на свою погибель. Тита играет хитро и беспощадно, не упуская случая навредить противнику. Если ей удается выбить фишку Виктора, она победоносно возвещает:

— Пятерка! Хорошо, очень хорошо!

С величественной медлительностью она громко считает, передвигая свою фишку. До четырех голос повышается, на пятерке — вон он, удар судьбы! — резко понижается. Виктор не отказывает ей в дополнительном удовольствии, принимая удрученный вид.

— Дружище,— говорит она, сияя,— не злись же!

Радость, которую Тите доставляет игра, не знает границ. Ради игры она, по ее словам, может забыть про все, даже про ночной покой. Поначалу Виктор заражается ее увлеченностью, но после десяти вечера остывает. Ведь в это время дверь чуть-чуть приоткрывается и о себе заявляет Тильда. В ванной она уже побывала, теперь идет спать, игроки пусть не беспокоятся. Тита, у которой выпала целая серия шестерок, торопливо сообщает, что она уже пять раз выиграла, и дверь закрывается, прежде чем Виктор успевает что-нибудь увидеть. Теперь ему хочется поскорее закончить.

Но еще трижды они играют в последний раз, в полночь — самый последний, и лишь после обещания прийти на следующий день, как только он сможет, Виктора отпускают. На цыпочках он проходит через темную комнату Тильды. Слышит дыхание спящей. Его ритм преследует Виктора и в постели. Засыпая, он старается и свое дыхание настроить в унисон.

Наутро он вспоминает о неоконченном письме к отцу. Подходит к столу и видит украшенный розами конверт, который адресован: «Его Королевскому Высочеству Принцу Гамлету Датскому. Здесь, в доме».

Преимущества печного отопления

До сих пор Виктор без особого интереса смотрел на высокую, в человеческий рост кафельную печь у себя в комнате. На следующее утро все изменилось. Отныне он часто в задумчивости глядит на нее, поглаживает коричневые изразцы, а иной раз (когда она не слишком горяча) прижимается щекой.

Виктор рос в квартирах, в которых тепло не добывалось, а просто наличествовало — как электричество и газ. Он никогда не знал, что сжигалось для тепла, где и кем. Недовольство температурой в комнате походило на недовольство погодой. Неисправность в котельной была ему столь же неведома и неподвластна, как полярный циклон. Вот почему он так поздно сообразил, что для тепла его личной комнаты требуется кто-то, тепло добывающий.

Толчок к этому дала Тита, говоря о работе горничной. Виктор мысленно представляет себе девушку, которая вытирает пыль, подметает, стелет постель и, наконец, топит печи. При этом у него зреет план, который он выполнит утром четвертого своего дня в «Новом благоденствии».

Печь всегда теплая, но он не видел, чтобы кто-нибудь топил. Значит, думает он, кто-то дожидается, пока он уйдет из комнаты, и тогда приступает к делу. Караулить постоянно этот кто-то не может и потому наверняка выбирает время трапезы. На этом Виктор и строит свой план.

На видное место — на ночную тумбочку — он кладет свежий носовой платок. Громко посвистывая, спускается по лестнице, идет через двор в столовую. Кёпке подают уже вторую чашку кофе, за которой он курит свою утреннюю сигарету. Кёпке специально приходит к завтраку пораньше, чтобы насладиться им в одиночестве. Поэтому он никакой радости не испытывает и не выказывает, когда Ольга подчеркнуто дружелюбно принимает заказ Виктора. В ответ на сердечное приветствие Виктора он лишь кивает головой. Видно, что он бы с радостью взял чашку и пересел за другой стол. Это мучает Виктора. Заняться завтраком он не может — еда еще не подана. Он пытается завязать разговор вопросом: как себя чувствует дичь в такие холода, но охотник ограничивается коротким «Спасибо, хорошо» — и смотрит мимо Виктора. А Виктор решает: пора выразить опасение, что он схватил насморк. Он начинает шарить по карманам, однако носового платка не находит.

— Сейчас вернусь,— утешительным тоном говорит он Кёпке и спешит прочь. На дворе его останавливают.

— Эй, Кёслинг, сюда! — зовет садовник, который стоит с Максом и Мануэлой у ворот. Виктор на ходу прикрывает руками уши, что должно означать: холодно, не могу задерживаться надолго.

Он как раз поспевает к радостному событию: Грипенкерль (который ему известен так же мало, как и читателю) пробился, еще сто метров — и он будет здесь. Во дворе уже слышно, а у ворот и видно: приближается тягач со снегоочистителем, большой, красный и грохочущий. Связь с внешним миром восстановлена.

От радостной встречи Грипенкерль радостно расплывается, его толстое лицо сияет. Как победитель, он выбирается из вибрирующего страшилища. От его приветствия у Виктора болит рука. У Макса наготове сигареты и шнапс. По требованию Себастиана Виктор тоже прикладывается к бутылке. Садовник при этом обращается к нему на «ты». Видимо, это следствие вечера с грогом, не полностью оставшегося в памяти Виктора. Когда Мануэла, которой наскучил разговор о снеге и технике, покидает общество, Виктор, сославшись на замерзшие руки и уши, следует за ней. По ее походке видно, что она знает, какое приятное зрелище она являет идущему сзади.

— Что, сегодня школа закрыта? — спрашивает Виктор, подбодренный шнапсом, но в ответ получает лишь злой взгляд и фырканье.

Он быстро взбегает по лестнице, затем умеряет шаг. Дверь его комнаты приоткрыта. Рядом стоят ведра и веник. Стало быть, он рассчитал верно. Желаемая встреча близка. Но он не готов, еще не разучил свою роль. А он всегда это делает, так как без подготовки способен только отвечать, сам же заводить беседу не умеет. И нынешний план доведен лишь до момента, когда Виктор наконец увидит ее лицо. Он опасается, что сможет только восхищенно уставиться на нее, но не говорить.

Мысль до конца еще не додумана, но уже опровергнута. Едва возникает лицо, появляются и слова. Он узнает о них, лишь услышав. Что-то произносится само собой, причем, как он позднее судит, совсем неплохо. Это — новость, вечером приведшая его к мысли: значит, дело серьезнее, чем когда-либо прежде.

Спектакль, необдуманно, однако успешно им разыгрываемый, повествует о магии честности, о разоблачении, саморазоблачении — трогательный, прелестный и вместе с тем комичный. Виктор разыгрывает человека, который хотя и владеет традиционными обманными маневрами, но презирает их, который умеет быть, как все, но все же на других не похож. Пожалуй, он мог бы, следуя правилам хорошего тона, скрыть свой интерес к Тильде, но ему не хочется притворяться, так как он с первого взгляда видит: обман здесь ни к чему, здесь можно быть самим собой.

Итак, он открывает дверь, пугается, что в комнате есть кто-то,

кому он мешает, извиняется, здоровается, бормочет что-то про насморк, берет якобы забытый платок, тотчас сморкается в него раз-другой и, сморкаясь, начинает смеяться, тихо, но внятно. Видно, что ему не хочется смеяться, но иначе он просто не может. Смеясь, он извиняется. Он смеется не над ней, а над собой, над комедией, которую здесь разыгрывает и которую она, несомненно, раскусила, о чем свидетельствует ее улыбка. Не насморк, а любопытство оторвали его от завтрака. И скрывать это было бы глупо. Вот уже четыре дня он здесь, но еще не видел заботливого духа, что согревает его комнату, стелет постель и сметает снег с подоконника. Тут ведь любопытство простительно, в особенности если оно продиктовано угрызениями совести и желанием выразить благодарность. Ибо кровать он и сам может утром застелить, и одеяло на окне оценил: теперь не дует во время работы, от которой его, правда, частенько отвлекает вопрос, как выглядит девушка, чьи заботы не дают ему замерзнуть. Он отнюдь не скрывает, что наводил о ней справки. Даже фотографию видел: младенец на шкуре белого медведя. А это, разумеется, его любопытства не утолило — наоборот, усилило.

Тильда слушает, тоже улыбаясь. И вопрос ее: «А теперь вы разочарованы?» — звучит скорее весело, чем кокетливо. Он энергично качает головой и так громко восклицает: «Нет-нет, напротив!» — что воодушевление его опять производит комический эффект. Он продолжает свои признания: целиком лица ее он покуда не видел, но отдельные части, которые видел, разглядел хорошо, и потому оно кажется ему знакомым. Он не знает, разделяет ли Тильда теорию фрау Эрики о переселении душ, но если да, то она понимает, что он имеет в виду, говоря, что его не оставляет впечатление, будто он близко знал ее в прежней своей жизни. Он не то чтобы верит в это, но именно так можно объяснить чувство, которое исходит откуда-то издалека, из глубочайших глубин, и лишь очень поверхностно определяется словом «близость». Он имеет в виду нечто большее, чем то, что означают слова «не чужие», он имеет в виду симпатию, близость, родственность, доверие. С ним никогда ничего подобного не бывало: он впервые видит человека, и тот сразу же вызывает большое, великое доверие. Он мог бы исповедаться перед ней тут же на месте, признаться во всем, что его гнетет.

Виктор говорит с настолько чрезмерным пылом, что неясно, не ради комического ли эффекта он это делает. Потому и не возникает неловкости. Так же, как он смеется над собой, она смеется над ним и со смехом советует перед исповедью подкрепиться завтраком.

Чтобы не смотреть на нее сверху вниз, он сел на кровать. Она же, стоя на коленях, возится с печью. Дрова уже с треском горят, и она подбрасывает в огонь угольные брикеты. Отблеск пламени озаряет ее лицо. Разыгрывая свою комедию, Виктор может спокойно его разглядывать. Он видит (но не говорит), что рот действительно великоват и отсутствующий в его воспоминаниях лоб опять скрыт до самых бровей, очень густых, он скрыт челкой, которая Виктору не нравится, потому что из-за нее лицо укорачивается и выглядит мрачным.

Весело произнося фразу о завтраке, Тильда завинчивает дверцу топки. Затем встает, берет в руки веник. У Виктора хватает ума не портить хорошего впечатления, затягивая спектакль. В дверях он отвешивает низкий поклон:

— Рад был познакомиться.

— Я тоже,— говорит Тильда и желает ему поскорее избавиться от насморка.

Разговор продолжался недолго. Грипенкерль вместе с Максом и Себастианом по-прежнему стоят у ворот. Кёпке гасит сигару и исчезает. Так что надобность в демонстрации носового платка отпадает. Яйцо и кофе остыли. Но это не способно испортить Виктору наст-

роение. Ему хочется осчастливить весь мир. Тита первая извлекает из этого выгоду. Когда она заглядывает в кухню и приглашает его после обеда к себе, он так громко выкрикивает свое согласие, что она, качая головой, делает ему выговор:

— Вовсе незачем говорить со мною громче, чем с другими, господин Кёслинг, надо только вразумительнее, чем нынче принято.

Гармония душ

Еще богаче, чем адресованный «Здесь, в доме» принцу Гамлету конверт, украшено розами само письмо. Пестрые гирлянды, по углам собранные в букеты, обрамляют аккуратные строчки, выведенные тонким пером, черными чернилами на бледно-розовой бумаге. В конверте восемь листков, исписанных с одной стороны. Подчеркивания сделаны карандашом светло-голубого (не встречающегося в розах) цвета по линейке. Виктор смотрит с удивлением. Стоя у окна, он читает обращение («Мой Принц!») и конец («Ваша ждущая ответа Фея»), затем, сидя нахмурившись, весь текст, который совсем не так обширен, как можно было полагать, судя по количеству исписанной бумаги:

«Ночь. Кругом тишина. Тихо гудит камин. Люди и звери спят. Мое ложе зовет и меня к безмятежному сну, но он бежит меня. Я раздумываю над надеждой, что явилась днем и вскоре исчезла, наполнив всю душу смятением. (Абзац.) В моей каморке витал Принц — сильный и нежный — мужчина и вместе с тем дитя,— казалось, блеск небес озарял его. Он простер ко мне руки, и словно сами собой встретились две пары рук, очи в очи изливали свои лучи, потаенные токи перетекали волнами, внутреннее возбуждение клокотало, стихало и снова клокотало — случилось чудо: близкие души без слов обрели друг друга! (Абзац.) Ах, что слова! Звук пустой для того, кому ведом истинный язык души! (Абзац.) Где звучит гармония душ, там в вечном аккорде должно кружиться в радостном танце и одеяние душ. Общность духа, эта прекрасная общность может обрести счастье и в земной (подчеркнуто светло-голубым) оболочке. (Абзац.) Так думала я, так пела, но судьба решила иначе. Сердце Принца, я слышу, бьется в другом ритме. Другую цель ищет его взор. Рука, братски державшая мою руку, тянется к другой руке. Токи страсти стремятся в другие сферы. Ну что ж, я обрету спасенье у тихих берегов. Прощай, надежда, прощай, прощай! (Абзац.) Поверьте, мой Принц; единственное счастье, что, встретившись нам, не несет в чреве своем плод разочарования и наверняка не родит его на свет,— это счастье мечты. (Абзац.) Сказочная мечта, упоительная сказка: жил-был Принц, его сослали в дальний замок. Замок стоял в мрачной, глухой местности, мрачным и глухим было и сердце Принца... Однажды он в печали шел по коридорам замка. И встретил девушку. Он поздоровался с ней, она тоже поздоровалась, но, когда он заговорил, она в испуге убежала. Он послал слуг, чтобы следить за нею, и от них узнал: она служанка и у нее есть жених, батрак... С незапамятных времен в замке жила и Фея. Она многое пережила, но, как свойственно феям, не старилась. Особенно молодо было ее сердце. И как только Фея увидела Принца, оно вспыхнуло ярким пламенем. Однажды она устроила так, что Принц забрел в ее покои. Увидев, как он печален, она сказала: не печалься, Принц, мое сердце горит ярким пламенем, и если это тебе доставит радость, приди ночью и погаси его. Но принц безутешно заплакал, а когда она попыталась его успокоить, сказал: я плачу, потому что любовь каждому из нас приносит лишь страдания; Фея страдает, ибо любит Принца; Принц страдает, ибо любит служанку; а с любовью служанки и батрака дело обстоит тоже не лучшим образом, потому что батрак недостоин ее любви. Тогда заплакала и Фея. Она плакала долго-долго, пока слезы не смыли весь эго-

изм с ее любви. И когда душа ее стала чистой, как родник, она сказала: не плачь, Принц, все будет хорошо... Спустя некоторое время Фея посетила служанку. Она завоевала ее доверие и незаметно перелила в нее свою любовь к Принцу. Вскоре Принц и служанка стали счастливой парой. Несчастен был лишь батрак. Ибо Фее благодаря ее доброте было дозволено разделить счастье, сотворенное ею: каждый раз, когда Принц и служанка гасили огонь своих сердец, она в мечтах при этом присутствовала. И кто, подобно повествователю этой сказки, знает жизнь, тот позавидует Фее, позавидует ее постоянству и чистоте ее счастья. (Абзац.) Принц! Предлагаю вам союз, союз не с дьяволом, а с Феей: я употреблю все средства, чтобы приблизить вашу цель; вы же должны помочь моим мечтам! К этому месту (большой отступ) я прижала свои губы. Прижмите и вы сюда свои губы — и союз скреплен! (Абзац.) Неувядаемое великолепие роз на этой бумаге подобно вечно неутомимой страсти. Реальность, над которой бьешься, тускнеет быстро, истинный же рай цветет вот здесь на бумаге! (Абзац.) Доброй ночи, Принц, доброй ночи! Ваша ждущая ответа Фея».

Прочитав это странное письмо, Виктор осознает, что значит выражение «смешанные чувства». Смесь так причудлива, что он действительно не понимает своих ощущений. Конечно, ему смешно, но он и напуган, ему приятно, но вместе с тем он тронут и польщен. Он в равной мере готов и бежать от атаки, и с честью выдержать ее. Силен соблазн испробовать средства фрау Эрики, немал, разумеется, и триумф — он снова понравился женщине. Радость по этому поводу рождает благодарность, а благодарность толкает к ответу. Взвешивая его, он думает уже в стиле фрау Эрики, ищет обороты и слова, которые пришлись бы ей по вкусу. Задача увлекает его. Он отодвигает в сторону пишущую машинку, кладет перед собой лист почтовой бумаги, сожалея, что нет цветной. Отыскивает большой отступ в письме фрау Эрики и в самом деле прикладывается к нему губами (предварительно оглянувшись). Как ни удивительно, это его возбуждает, словно он и впрямь поцеловал кого-то — может быть, даже фрау Эрику, когда она была лет на тридцать моложе. Чтобы письмо получилось милым, надо себе ее представить. Но ему хочется и держаться на расстоянии, соблюдая вежливость, ибо намерений своей корреспондентки он толком не знает. Сдержанность Виктора доходит до того, что он избегает употреблять местоимение «я». Почерк невольно становится размашистее, чем обычно. Заглавные буквы даже украшаются завитушками. Все вместе кажется чужим, и это его радует. Письмо небольшое, но пишется оно очень долго, да еще тщетные поиски рифм отнимают много времени. Чтобы настроиться на нужный ритм, он пытается вспомнить разученные в школе стихи, однако кроме песен типа «Поднимаясь к новой жизни» и «Братья, к солнцу, к свободе» в голову ничего не приходит.

Лишь после обеда в четыре часа письмо готово. На конверте он пишет: «Доброй Фее. Здесь, в доме». По дороге к Тите стучит в дверь фрау Эрики.

— Вам письмо! — говорит он.

Она открывает, смотрит на него приветливо и безучастно, как на почтальона, благодарит и закрывает дверь. И вот она читает:

«Дорогая добрая Фея! Утро хмурое. На дворе лишь серые тучи, холод и мертвая белизна, в душе черно. Работа, чья тень гнетет сознание спящего своим жестким «надо», красит в черное и день. Но вот взгляд падает на письмо: розы цветут и источают аромат, розы всюду, куда ни падает взгляд. Свет пронизывает мрачный склеп. Оживает мир грез. Спасибо, спасибо Фея роз! (Абзац.) Видно, Фея одарена сверхъестественными силами. Она, словно в книге, читает в сердце Принца. Все, все ей открыто. Должно быть, стыдно, когда человека видят насквозь, но — о чудо! — не стыд, а радость обнаруживает

Принц, глубоко заглядывая в себя, радость от сознания, что есть друг, посвященный в его надежды. (Абзац.) Фея и Принц более не одиноки; доверившись друг другу, рука в руке, они идут навстречу своему блаженству. (Абзац.) Союз заключен. Две пары губ его скрепили. Мечте Феи и реальности Принца начало положено. Но где пролегает дорога, ведущая к счастью? Ваш Принц».

Мятный ликер

Во имя работы Виктор решил, что после обеда проявит у Титы стойкость: не больше трех конов! Таково его непоколебимое решение — вот разве только там окажется молодая родственница.

Но Тита одна, вдобавок она совершенно переменилась. Она беспокойна и удручена. О договоренности с Виктором она забыла. Своим вопросом «Что вам угодно?» она повергает его в смущение. Он чуть ли не заставляет ее играть. Чтобы развеселить ее, сам притворяется веселым. Подражает ее заклинаниям и громко смеется, когда они не помогают. Но Тита совсем не обращает на него внимания. То и дело ему приходится напоминать ей, что настал ее черед бросать кубик. Она неправильно считает, неправильно ставит фишки, а временами начисто забывает об игре. Ей требуется палка, она встает взять ее, но забывает, зачем встала. Потом опять застывает на стуле и закрывает глаза; руки судорожно теребят подбородок, она вскидывается и обвиняет Виктора, будто он жульничает. При этом она говорит ему «ты».

Первый кон она еще сердится, проигрывая, второй — уже не обращает внимания. Вскакивает, снует по комнате и словно в отчаянии ломает руки. Вопросы Виктора она слышит, но не отвечает на них, а невпопад произносит формулы вежливости. Например: «С удовольствием», «Как вам угодно», «Очень мило с вашей стороны», а сама стоит у окна и ломает руки. Потом снова мечется среди заваленной хламом мебели. Во взгляде страх. Губы беспрестанно шевелятся, словно творят тихую молитву. Она покорно дает усадить себя на софу, но как только Виктор отпускает ее руку, вскакивает опять.

— Позвать Тильду? — кричит он ей в ухо.

— Очень любезно,— отвечает она, не понимая.

В нижнем коридоре он сталкивается с прибывшими слушателями курсов, которые по ошибке принимают его за управляющего. Он ведет их к Максу, каковой (с Пюппи на руках) по случаю приема гостей восседает в приемной. От Макса Виктор узнает, что Тильда топит печи в комнатах над столовой. У одной из печей он и находит ее. Снова отблеск пламени скользит по ее лицу. Снова он обращает внимание на рот, находя его хоть и великоватым, но уже не слишком. Ему кажется, что после первого, вроде бы шуточного знакомства он вправе заговорить теперь о серьезном деле. Он не скрывает озабоченности состоянием Титы — скрывает лишь радость по поводу того, что может высказать эту озабоченность. Он настолько испуган, что Тильда успокаивает его: ей это знакомо, это скоро пройдет. Тем не менее надо поторопиться, так как Виктор не запер дверь Титы, а это, говорит она на ходу, когда они пересекают двор, в таких всегда случаях необходимо. Виктор с радостью отмечает слово «всегда», утверждающее некую продолжительность, и закрепляет его: да, впредь он всегда будет запирать дверь, всегда; он обещает.

Передняя полна чемоданов. Вновь прибывшие по-городскому одетые мужчины стоят в очереди у приемной. Пюппи кричит, потому что один из них попытался с нею пошутить. Габи и Томас ждут, готовые отвести гостей в их комнаты. При появлении Тильды какой-то веселый бородач нарочито громко охает.

Увидев, что Тита на месте, Тильда облегченно вздыхает, Виктор тоже. Он внимательно наблюдает, как Тильда обращается с бабушкой. Ласково, но решительно.

— Что опять случилось? — спрашивает она, гладя Титу по голове. — Нет ведь никаких причин для беспокойства. — Она берет Титу за руку, водит по комнате, все время что-то приговаривая, потом усаживает на софу. — Ну выкладывай: что случилось? Что означает весь этот спектакль?

К удивлению Виктора, у Титы виноватый вид. Словно ребенок, который уже раскаивается, что напроказил, но не хочет еще этого показать, она отворачивает лицо. Однако Тильда заставляет бабушку посмотреть ей в глаза и ответить.

— Просто... — плаксивым тоном начинает Тита и умолкает, плача без слез. — Просто...

— Что «просто»?

— Просто в комнате вдруг оказался чужой мужчина.

— Чепуха,— говорит Тильда,— это господин Кёслинг. Ты ведь просила его прийти. Он любезно согласился снова поиграть с тобой, а ты его напугала. Теперь он больше не захочет приходить к тебе.

— Нет, почему же,— протестует Виктор, но, поскольку Тильда смотрит на него и качает головой, он умолкает, дабы не ослабить воздействия воспитательной меры. Это не только увещевание, но и практический план на ближайшее будущее. Тильде надо протопить еще три печи, потом она свободна. Если Тита будет спокойна и благоразумна, они поиграют, может даже (вопросительный взгляд на Виктора, который с готовностью кивает) втроем. Топка займет примерно полчаса. Чтобы отвлечь Титу от глупых мыслей, на это время включается телевизор.

По Тите не видно, поняла ли она. Она послушно разрешает отвести себя в комнату Тильды и усадить в кресло. На экране плавают тропические рыбы, шевеля плавниками в такт музыке. Тита, как велено, глядит на экран. Словно иначе и быть не может, Виктор остается и тоже садится.

— В этом нет нужды,— тихо говорит Тильда,— я могу запереть дверь.

— Нужды нет,— отвечает Виктор,— но так будет лучше.

Теперь пингвины в ритме марша, переваливаясь с боку на бок, топают по скалам. Тита вскакивает с кресла, подбегает к двери, приоткрывает ее и смотрит вслед Тильде.

— Ушла,— шепчет она Виктору. — Теперь живо, живо! Нам надо быстро выбраться отсюда! Где моя палка?

Она торопливо идет в комнату, ищет за шкафами, под столами, дергает выдвижные ящики. Виктор ходит за ней и уговаривает — безуспешно, хотя он и перенял тон Тильды:

— Ну перестаньте, что за ерунда!

— Заткнись! — орет она на него. — Черт побери, где моя палка?

Виктор меняет тактику. Пусть ее буянит. Он идет в комнату Тильды, запирает дверь в прихожую, а ключ прячет в карман. Затем он включается в поиски. Палка лежит под кроватью. Он заталкивает ее подальше, чтобы не было видно. Роясь в платяном шкафу, Тита находит свое летнее пальто. Надевает его, повязывает голову платком.

— Пошли отсюда,— говорит она,— быстро!

Виктор напоминает о палке, Тита снова ищет, теперь уже среди стопок столового белья в серванте.

— Гляди-ка,— вдруг говорит она,— гляди, что я нашла. — Она радостно размахивает бутылкой, наполовину полной. — Лекарство,— говорит она и смеется. Затем открывает бутылку, подносит ко рту, но Виктор восклицает:

— Нет-нет, есть же рюмки!

На сей раз она слушается. Садится за стол, Виктор приносит рюмки, и она наливает.

— Да здравствует лекарство!

После второй рюмки зеленый сладкий ликер уже оказывает свое действие. Со смехом Виктор спрашивает, каким образом лекарство оказалось среди белья, и со смехом же Тита заявляет, что не раскроет тайну. Когда они в четвертый раз поднимают рюмки, раздается стук в дверь. Виктор не сразу находит ключ, стук усиливается, Виктор смеется.

В комнату он возвращается вместе с Тильдой. Бутылка и рюмки со стола исчезли. Тита, безвольно обмякшая, сидит на софе, положив голову на подлокотник. Тильда обеспокоенно наклоняется к ней, спрашивает, что случилось, но бабушка молчит с видом больной. Внучка вопросительно смотрит на Виктора. Осторожности ради он сел, боясь, как бы его не выдала слабость в ногах.

— Для тревоги нет причин,— говорит он, стараясь подавить смех. — Ничего плохого не случилось, мы просто под хмельком.

Он не понимает, что Тильда так испугалась, узнав о найденной бутылке. Чтобы не нагнетать атмосферу, о попытках бегства он не говорит ни слова, зато великое множество слов сопровождает его (как он позднее уверяет себя — удачное) отступление. Дольше чем положено он держит руку Тильды в своей.

— Нет,— говорит он,— о благодарности не может быть и речи. Благодарность заслужили скорее вы, чем я; может, когда-нибудь скажу почему. Теперь вам надо уложить Титу в постель, а мне — работать. Будем надеяться, что немочь Титы, так напугавшая меня, завтра пройдет. Если же нет или, что не исключено, повторится что-то подобное, вы всегда можете на меня рассчитывать, всегда, днем и ночью. Мне это не в тягость, а в радость. Ибо за то короткое время, что мы знакомы, я успел полюбить вашу бабушку. У меня никогда не было бабушки, но мне часто хотелось ее иметь.

Его способности держать себя в руках только-только хватило на это объяснение. Без сил, одурманенный ликером, он плетется в свою комнату и впадает в недолгий, но глубокий сон. Вечером он снова бодр.

Работа и любовь — с диалектической точки зрения

Отношение Виктора к диссертации претерпело изменение, которое пугает в особенности тем, что оно вызвало у него не испуг, а, напротив, чувство облегчения: он понял, что для него важнее нечто другое. Окрыленный алкоголем (на сей раз пивом), он на этот счет однажды вечером высказался так:

— Никогда не сделаешь всего, что хочешь или должен сделать. Если ты считаешься с работой, с одной лишь работой, тебя будет угнетать не только она, но вдобавок еще и нечистая совесть, а это чересчур много. Ты задохнешься под этим грузом, а задохнувшись, конечно, уже совсем ничего не достигнешь. Но если удается сдержанно относиться к работе, ты живешь без гнета, то есть здоровым, и имеешь шанс все-таки сделать ее.

Объясняет он это человеку по имени Маттиас, в быту Матти; это широкоплечий блондин с нечистой кожей, он приехал в «Новое благоденствие» в пятницу вечером, в воскресенье вечером уедет, а между этими вечерами читает лекции, ест, спит и в большом количестве пьет пиво — иной раз вместе с Виктором. Он изучал общественно-политические науки, два года работал в отделе Виктора, затем вернулся в институт, где рады заполучить прилежного молодого сотрудника. Ибо Матти безмерно честолюбив. Именно глядя на него, Виктор в свое время и понял собственный изъян по этой части, но, естественно, постарался его скрыть. Теперь же он отваживается демонстрировать перед этим образцово-показательным трудягой сдержанное отношение к работе. Что же, задается он вопросом, с ним случилось? Не лекции ли садовника во время расчистки снега произвели на него та-

кое впечатление? Или таково воздействие нейтральной территории? Уж не выросло ли его самосознание?

Повторяя (не для того, чтобы уподобиться Ольге, а лишь с целью разговорить ошеломленного Маттиаса) в другой формулировке свои новые идеи, он покуда сам удивляется им. Удивительно и другое: Матти, этот яркий образец трудовой добродетели, не опровергает их, а соглашается, хотя и ограничивает их эффективность деятельностью самого провозвестника. Матти говорит:

— Ты это можешь себе позволить.

К добродетелям Матти, делающим общение с ним столь безрадостным, относится прямота, которая отметает вежливость как лицемерие и отмеряет любезность в соответствии с заслугами. И потому тон, каким он говорит с Виктором, не дружелюбный, а скорее раздраженный. Виктор пытается его смягчить, предлагая выпить за здоровье Матти и переводя разговор на камни в желчном пузыре, от которых, как ему известно, страдает его собеседник. Итак, окуная губы в пену, они переливают в свои желудки разбавленный алкоголь, говорят о болезнях, а потом, по настоянию одного, все же возвращаются к тому, что́ будущий доктор Виктор может себе позволить, а настоящий доктор Матти, в скором времени профессор,— не может. Почему? Да очень просто: потому что у одного из них отец Кёслинг, а у другого — консультант по финансовым вопросам в районном совете в Грайце (Саксония). Тому, кто наверху, говорит Матти с пеной (пивной) на устах, не нужны ни усердие, ни энергия, чтобы выбиться в люди. Ему смешно, когда сын Кёслинга хвастает отсутствием честолюбия. С таким же успехом он, Маттиас, может гордиться тем, что не желает учить саксонский диалект.

Матти очень возбужден. Он сковырнул прыщик на носу, замечает кровь, тщательно осушает платком ранку и произносит что-то по-латыни. Виктор не понимает, просит перевести и находит забавным, что его сравнивают с Юпитером.

— И что же тебе, быку,— спрашивает он,— не дозволено из того, что дозволено Юпитеру?

— Например, лентяйничать,— говорит Маттиас.

С Виктора достаточно — и таких речей, и пива. Ему хочется в постель, чтобы погрузиться в приятные воспоминания. Он уже поднялся, но не решается уйти, пока Матти еще перетолковывает античную мудрость. Разве Виктор не сказал, что жизнь важнее работы? Слыша слово «жизнь», Матти обычно спрашивает, какая она — блондинка или брюнетка? Нет-нет, он ничего не имеет против любви, но все же любовь куда менее склонна идти на жертвы, чем она прикидывается. Она предпочитает расти не на бедной, а на жирной теплой почве, которая одному дана от рождения, а другой должен сперва ее подготовить, работая как вол. Вот в чем разница. Так что вопрос — любовь или работа — существен лишь для одного, другой должен сперва заслужить любовь тяжелым трудом. Например, он, доцент высшей школы Маттиас, очень хорошо это знает. Слишком долго он терпел муки отвергнутого; но с тех пор как может проявить себя в лекционном зале, он испытывает лишь муки выбора. Едва ворочая языком, он называет это диалектической связью между любовью и работой и открывает новую бутылку.

Виктор пользуется паузой, чтобы улизнуть. В комнате он обнаруживает новое письмо с розами. Вскрывая его, он вновь ощущает смесь приятных и неприятных чувств. На этот раз фрау Эрика прибегает к обращению «Дражайший Принц». После весьма лирического вступления, в котором немало места отведено созвездиям, она говорит о том, что ему действительно интересно: «Трепет наслаждения (подчеркнуто светло-голубым) охватил одеяние феиной души, когда письмо Принца возвестило о скреплении союза. Энергия желания воскресила миг блаженства, когда медиум роз слил воедино две пары губ.

И зазвучали флейты, возликовали скрипки, мощно загудел орган: прелюдия симфонии, небывало прекрасная! Слышишь ли ты ее — мелодию нашей мечты? (Абзац.) Напиши мне, Принц, что ты почувствовал, коснувшись того места на бумаге, где бьется пульс самой жизни. (Абзац.) Первый шаг к сказке сделан. Служанка-чернавка доверилась Фее. Сегодня примеряли наряды. Ей подарен очаровательный свитерок, беж с красным. Шла речь и о Принце. Он нравится, ибо естествен и добр и хочет в жизни чего-то достичь. Вообще о мужчинах она сказала: им нужно лишь тело, душу же — это ее слова — они бездумно топчут, а главное — боятся жениться! Это по адресу (подчеркнуто светло-голубым) батрака. Принц, будь умнее его! Это тебе советует твоя Фея».

Беседа у камина

Бесцеремонность слушателей курсов мешает Виктору работать. Кратковременные гости даже не думают соблюдать тишину, они ходят, насвистывая по коридорам, топают по лестницам, перебрасываются шутками через двор, из окна в окно. Видимо, в учебном процессе главное для них — перерывы, тут уж пошуметь можно вволю; но и когда они собираются в столовой для занятий, смех их слышен в любом уголке дома. Особенно возмущаются Ольга и Тильда, потому что гости наносят в дом грязь, ведут двусмысленные разговоры о женщинах, все время чего-то требуют. Правда, выведенные из строя ванны и засоренные унитазы доставляют неприятности и гостям, а у фрау Эрики сердце обливается кровью, когда она видит, что горшки с цветами используются как пепельницы. Один лишь Макс пребывает в хорошем настроении. Не признаваясь в том, что предпочитает привычной монотонности шум и оживление, он напоминает жалобщикам о плане, который следует выполнять. А это возможно лишь в том случае, если дом заполнен и выручка достаточно велика, в особенности от напитков, которые он без устали подвозит. Его заботами уже к завтраку в буфете есть пиво, и, поскольку гости усердно осуществляют принцип самообслуживания, утром в столовой такой шум и гам, что нормальным гостям туда хода нет. Фрау Эрика и Кёпке завтракают в своих комнатах, Виктору впервые разрешено занять место за кухонным столом.

К сожалению, Тильду он видит редко: она помогает Ольге в столовой. Он предложил свою помощь, но ее отвергли, позволив ему лишь следить за варкой яиц, во время еды ему приходится слушать Макса. Стараясь просунуть ломтики колбасы между зажатыми губами Пюппи, Макс жалуется на женщин, каждый раз забывающих опыт предыдущих наездов: стенания начинаются уже при получении заявки, усиливаются, когда гости приезжают, и сменяются трауром, когда они уезжают, так как наступают будни. Такие субботы и воскресенья, как эти, трудны, но и веселы.

— Вы, товарищ Кёслинг, тоже это увидите.

И Макс оказывается прав. Кроме Кёпке, пропадающего, вероятно, в лесу, суета затягивает всех — и первым делом Виктора, который в эту субботу выдерживает испытание и как сын высокопоставленной особы, и как участник дискуссий, и как танцор и возлюбленный.

Виктор быстро меняет свое представление о курсантах как о варварах-интервентах, поняв, что его узнали и признали. Замечает он это сперва по любопытным взглядам, которые словно невзначай на него бросают, потом к нему решительно подступает женщина, желающая узнать, верен ли распространившийся о нем слух. Вскоре его окружают множество мужчин и женщин, которым он демонстрирует, с каким небрежным достоинством можно нести жребий сына значительного лица. Тильда, занятая уборкой, внимательно следит за происходящим, и это его подстегивает. Не застенчиво, но скромно он дает понять, как ему неприятно быть центром внимания. Любезно отвечая

на вопросы о себе, он вместе с тем явно пытается перевести разговор на другие темы. Он старается ответить вниманием на внимание, задать и встречные вопросы. Людям, которые им интересуются, он внушает, будто и они ему не менее интересны.

Он узнает, что имеет дело с людьми, отдающими свой досуг журналистике, то есть пишущими для предпоследних и последних газетных полос заметки о шахматах, филателии, железнодорожных моделях, аквариумах, антиквариате, приправах, а то и составляющими уголки загадок. Молодая женщина, храбро заговорившая с ним, оказывается специалисткой по комнатному и садовому цветоводству, или флористике, а так как Виктор лучше знает цветы, чем, скажем, старинные монеты, он высказывает некоторые соображения, окончательно покоряющие сердца курсантов. Он не только упоминает «цветовой спектр наших лиственных лесов», но и сетует на недооценку этой области журналистики, заслуживающей большего.

Тем самым затрагивает как раз то, что волнует всех и на каждом заседании, даже вопреки воле руководства курсов, непременно становится темой обсуждения. В ближайшие часы Виктор получает полное представление о комплексе недооценки, поскольку не может не удовлетворить просьбу флористки послушать ее доклад, равно как и просьбу Матти поддержать его во время выступления. Хотя первый доклад, как и следовало ожидать, дает положительный ответ на трудный вопрос: «Флористика в газете — да или нет?», а второй рассматривает внутриполитическую проблематику в свете такого-то пленума, последующая дискуссия сосредоточивается главным образом на пренебрежении к интересам такого рода журналистики. Аплодисменты, которыми награждают Виктора, когда он с позиций дилетанта повторяет эту жалобу другими словами, вдохновляют его на предложение направить приветственный адрес высшему руководству, где должна быть весомо сформулирована озабоченность собрания, искусно вкрапленная в одобрительные фразы. Он так быстро находит нужные слова, что тут же диктует текст руководителю курсов. И скромно отмахивается, когда его благодарят и снова награждают аплодисментами. При этом он точно знает, что был великолепен, и надеется, что Тильда через открытую кухонную дверь разделила его триумф. При случае он ей скажет: он из тех, в ком творческую мысль пробуждают окружающие люди; книги же, напротив, изолируют от общества и легко делают человека, во всяком случае его, Виктора, бесплодным.

Развить свои мысли о вдохновляющих социальных импульсах ему не удается, поскольку эти импульсы подчиняют его себе. В особенности хлопочет специалистка по цветам. Ей непременно надо проинформировать его еще и о положительном воздействии комнатных цветов на совокупное мировосприятие человека. Она не отстает от него и во время ужина. Но потом он вынужден с нею расстаться, чтобы переодеться к прощальному вечеру.

На вечер приглашены весь персонал и гости. Он обещает быть очень веселым, но начинается серьезной частью: фрау Эрика Шульце-Деккер рассказывает о жизни своего мужа. В программе вечера этот пункт называется: «Беседа у камина», и действительно здесь есть камин, у которого может устроиться фрау Эрика,— ее собственный, переносной, не требующий ни дров, ни огня. Хельгочка, приехавшая еще утром, поставила его в зале, где обычно в это время Кёпке смотрит телевизор. Тесным кружком все уселись у электрокамелька. Даже подоконники заняты. Там и флористка, расположившаяся так, чтобы видеть Виктора. Справедливости ради он должен отнестись к этому с пониманием, ибо и сам выбрал место с расчетом на то, чтобы в поле зрения был интересующий его объект. Пока разглядывают его профиль, он не сводит глаз с другого профиля. Ответных взглядов, которых ждут от него, он ждет не менее настойчиво, но от других глаз — карих.

Макс, которому костюм и галстук придают солидность, вводит в зал главное действующее лицо. Он пододвигает стул к камину, стоя ждет, пока наступит тишина, но, вопреки опасениям Виктора, воздерживается от приветственной речи, только слегка кланяется и отходит в сторону. Несколько секунд царит полная тишина, затем фрау Шульце-Деккер начинает говорить, сперва тихо и сдержанно, потом, когда чувства захлестывают ее, громко и пронзительно. Ибо хотя, по ее словам, в деяниях мужа она не участвовала, но сердцем всегда была с ним — и вот его-то, свое сердце, она сейчас раскрывает публично, перемежая патетику с сентиментальностью. Слушателям, которых она называет «дорогими юными друзьями», не скучно. Хотя им до отвращения надоели биографии, подобные шульце-деккеровской, еще ни одна из них не преподносилась в столь темпераментной форме — комично и вместе с тем впечатляюще. Поэтому никто даже и не вспоминает об обещании пожилой дамы с обесцвеченными волосами представить им не полубога, но человека, с его силой и слабостями.

Характерно для Виктора, что при виде старой партийки в элегантном черном платье ему и в голову не приходит опереточная дива в платье с передничком или пишущая письма Фея роз. Его мысли далеки от вопроса, кто же из них настоящая фрау Эрика. Да он и занят более важным делом: изучает нос, смело выступающий вперед из-под густых бровей, чтобы затем мягко закруглиться; следит за губами, которые иной раз втягиваются, чтобы потом снова раскрыть во влажном блеске все свое великолепие; считает, сколько раз долгожданные взоры лишь мельком скользят по нему и как часто и долго на нем задерживаются; посылает (чтобы не причинять боли разочарования) время от времени взгляды в направлении окна; но в первую очередь он планирует, как вести себя, когда доклад кончится, камин погаснет и все перейдут в столовую, где Макс уже выставил для самообслуживания всевозможные напитки.

После заключительного призыва фрау Шульце-Деккер не только чтить память дорогих усопших, но и делами своими быть достойными их раздаются дружные, но непродолжительные аплодисменты. Все проворно устремляются к двери. Перекрывая шум, руководитель курсов велит захватить с собою стулья. Виктор, разумеется, исполняет приказ и тем самым теряет в маневренности. Со стулом в руках трудно пробиваться сквозь толпу. Человек, которому он решил задать в высшей степени важный вопрос: «Как чувствует себя Тита?» — на его глазах исчезает без стула, зато другой человек, от которого он хотел бы скрыться, легко (тоже без мебели) настигает его, крепко хватает за плечо и говорит, как о чем-то решенном:

— Увидимся за танцами.

Виктор согласно кивает цветочнице и видит, как Хельгочка машет ему. Вместе со стулом он выбирается из сутолоки и возвращается к камину. Фрау Эрика, очень усталая, но довольная, все еще сидит на своем месте.

— Ну как? — спрашивает она, ожидая комплиментов. У Виктора они всегда наготове. Пока Хельгочка выключает камин, сворачивает шнур и все вместе уносит в комнату, ее сестра выжимает из Виктора новые и новые комплименты. Но ей этого мало. Желая услышать, что скажут во славу ее выступления другие, она хочет идти танцевать, разумеется, в сопровождении Виктора. Он тщетно ищет отговорку, а Хельгочка, ведающая всеми практическими делами, меж тем уже назначила время: после получасового перерыва для чашечки кофе и переодевания она ждет его в своей комнате.

Обманутые обманщики

Эта глава — сплошной галдеж. Читатель должен представить себе, что все происходящее в ней покрыто гамом. Все, что говорится, говорится громко и тем не менее зачастую непонятно. Себастиан даже

утверждает, что в такой обстановке любой душевный порыв и любое телодвижение требуют большей затраты сил, чем обычно: ведь надо превозмочь шум. С трудом проталкиваешься сквозь него, как сквозь пелену, говорит Себастиан; шум, словно туман, мешает видеть, затрудняет дыхание, изнуряет весь организм. Поскольку думать, говорить и слушать невозможно, невозможно и общение. Но это вовсе не огорчительное следствие, это — негласная цель спектакля. За большие деньги покупают аппаратуру, учиняющую акустическую пытку; добровольно подвергаются ей, с радостью усыпляют свои чувства. Грохот глушит все индивидуальное; под ритмично щелкающим кнутом извиваются в коллективном дурмане. Себастиан называет это мазохистской усладой, самобичеванием, попыткой вытеснить боль неудавшейся жизни иного рода болью.

Виктор, ничего не знающий о мазохистах и экскурс о шуме слышащий лишь в отрывках (из-за шума же), не совсем понимает Себастиана, но тем не менее возражает — не ради того, чтобы возвестить свое мнение, а чтобы понравиться Тильде. А ей явно неловко за брюзжание садовника. На ее лице явственно написано, что она не желает омрачать себе удовольствие от танца, и Виктор, чье мнение по поводу обсуждаемой проблемы сводится к формуле: все, что реально существует там, где он живет,— правильно и хорошо! — может с чистым сердцем, хотя гвалт досаждает и ему, бодро одернуть нытика:

— Дай же людям повеселиться!

Беседа втроем происходит у дверей в комнату Тильды. Когда Виктор пришел спросить о самочувствии Титы, Себастиан был уже там. Его злые выпады против танцев не мешают ему пригласить Тильду потанцевать. Она же хочет остаться здесь, пока не уснет Тита, у которой продолжаются приступы страха. Правда, как ворчливо замечает Себастиан, можно запереть дверь, но Тита, к сожалению, знает (с раздражением говорит Тильда), как открываются окна.

К приходу Виктора настроение у нее, таким образом, уже испорчено. Антишумовые речи Себастиана, в которых Тильда усматривает посягательство на ее любовь к танцам, еще подливают масла в огонь. Разгорается маленький спор, и преимущество, конечно, на стороне Себастиана. Он, противник шума, хочет — исключительно ради Тильды — податься к его источнику, она же, любительница шума, не может — якобы из-за Титы — окунуться в него.

Виктор сразу улавливает, в чем его шанс. Во имя дальних целей он должен отказаться от желанных радостей этого вечера, должен позволить сопернику воспользоваться мнимыми преимуществами, чтоб позднее с тем большей уверенностью стать победителем. Его исходная позиция безупречна. В конце концов его привело сюда беспокойство о Тите. Теперь он узнал о ее плохом состоянии. Что в таком случае может быть естественней предложения присмотреть за нею? Вот он предлагает: сейчас он сходит ненадолго к фрау Эрике, которая ждет его, а потом будет сидеть у Титы, если нужно, всю ночь. Это вовсе не жертва с его стороны. Для Титы он это охотно сделает. Он заранее радуется возможности сыграть с нею кон-другой. А если не получится, он сможет там поработать.

Не дожидаясь благодарности Тильды, он через несколько секунд стоит у двери фрау Эрики. Дамы уже нарядились, обе с головы до ног в бархате. Выпили они не по чашечке кофе, а по бокалу шампанского и потому в приподнятом настроении. Для него тоже наготове бокал, после чего бутылка пустеет. Ведя под руку слева атлетическую Хельгочку (всю в темно-синем), справа — хрупкую, в молодящем желтом одеянии фрау Эрику, Виктор спускается по лестнице и пересекает двор. Поскольку он с похвалой отозвался о бархате, ему преподносят (пока позволяет нарастающий галдеж) целую лекцию об одежде, которая не только выражает, но и определяет душевное

настроение ее носительницы. Виктор уже знает, что душевное есть вместе с тем и материальное и, наоборот, материальное есть душевное, а потому не удивляется, слыша, что, с одной стороны, внешняя яркость или блеклость тонов налагает отпечаток и на внутреннее состояние, с другой стороны — грусть, радость, мысли пропитывают одежду и в ней сохраняются, так что ношеная одежда всегда таит в себе опасность заразить того, кто ее снова наденет, старыми заботами и печалями, передуманными старыми мыслями, короче — психически изношенным. Значит, принцип номер один: надо носить только новые платья. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то по крайней мере на каждый случай нужно иметь специальное одеяние. Парадная форма непригодна для поля брани, рабочая спецовка неуместна на празднике; черный костюм, подходящий для надгробной речи, на балу может источать трупный запах. И поскольку каждый день несет с собой много событий, надо иметь много платьев. Значит, принцип номер два: каждый день как можно чаще переодеваться. Старение тесно связано с одеждой. Тот, кто постоянно носит темную одежду, сам подзывает смерть, мостит, так сказать, дорогу к собственным похоронам. Принцип номер три фрау Эрика называет, но его уже никто не слышит, ибо они подошли к двери столовой.

Едва войдя в зал, полный сигаретным дымом и пивными парами, спутницы Виктора начинают дергаться в заданном музыкой ритме. Вскрикивая и хлопая в ладоши, они устремляются в самую гущу, где подвыпивший, но еще держащийся на ногах Макс сразу берет их под свою опеку. Виктор, освободившийся под тем предлогом, что надо поискать места, направляется было к двери, но кто-то крепко хватает его за плечо.

Флористка тоже, соблюдая принцип номер два, сменила кожаную куртку и брюки на юбку и блузку. Она вплотную подходит к Виктору, что-то говорит и, поскольку Виктор не понимает — из-за шума,— повторяет свою реплику. Он снова пожимает плечами; тогда она приближает губы к его уху, однако ничего не говорит, а целует его. Виктор благодарит улыбкой, но дает понять, что он, к сожалению, должен на минутку ее оставить. Высвобождает плечо, дарит флористке многообещающий взгляд и исчезает. Влажное ухо он вытирает уже во дворе.

Тильда укладывает Титу в постель, и в ее комнате Виктор находит лишь Себастиана, который сразу завладевает книгами, которые Виктор принес на случай работы, бегло перелистывает их и опять начинает все охаивать. Ему не нравится, что Виктор называет чтение этих книг «работой». Для него слово «работа» связано со смыслом, целью, пользой, а то, чем собирается заняться Виктор,— сама бессмысленность. Из пятидесяти или даже ста книг, притащенных в «Новое благоденствие», он намерен сделать еще одну; а она в свою очередь даст материал новым докторантам. Если технический прогресс — а такие опасения есть — призван высвободить все больше людей из сферы материального производства ради этого холостого хода, то цена ему не большая, чем всей этой образовательной жвачке, о вредоносности которой не мешало бы поразмыслить и будущему доктору.

Виктору подобные мысли не так чужды, как полагает Себастиан. Если они у него пока не возникали, это не означает, что их не могло бы возникнуть,— не зря же он так часто ищет обоснований для своего нежелания работать. Он решает преобразовать мысли Себастиана в собственные аргументы. А для этого хотел бы узнать, что садовник думает, в частности, об истории, но спросить не успевает, так как в этот момент необходимо восхититься еще одним праздничным платьем. Он это и делает (ибо знает, что лучшие комплименты не самые остроумные, а самые спонтанные), совершенно честно восклицая: «Ах, как вы прекрасны!» — но восторг относится к девушке, а не к

цветастому платью, скорее портящему, нежели украшающему его носительницу.

Так как Тильда рассказала Тите о ее ночном опекуне, Виктору надо к ней заглянуть. Он пугается ее лица, из-за вынутых зубов похожего на лицо покойника. Она лежит в шерстяной ночной рубашке, аккуратно сложив руки на одеяле. Учтиво отвечает на его приветствие, говорит: «Очень любезно с вашей стороны» — в ответ на его подбадривающие слова. Но когда он объясняет, кто он такой, она сердится:

— Я знаю, что у меня неважно с головой, но я не настолько свихнулась, чтобы не знать, что вы доктор.

Она, как ребенок, трет глаза, показывая, что хочет спать. Виктор на цыпочках выходит. Когда она спит, говорит Тильда, опасности нет и можно покинуть пост. Однако он и думать об этом не хочет,— даже если ночью не случится нового приступа, на который он надеется, чтобы показать себя,— он будет сидеть здесь, пока не вернется Тильда. За книгами он и не заметит времени. Здесь, уверенный, что снова увидит Тильду, он сможет спокойно и сосредоточенно работать.

Не теряя ни минуты, он просматривает книги, которые схватил наудачу. Это тома писем прусского короля за период, важный для его исследований. Прислушавшись еще раз у дверей Титы, он приступает к первому тому, бегло знакомится с предисловием, где ничего интересного для него не содержится, читает заголовок первого раздела: «Письма короля к посланнику в Париже» — и тем исчерпывает свои возможности. Кроме слов Monsieur, Madame и Bonjour, язык, на котором король Пруссии переписывался со своими чиновниками, ему незнаком. Во множестве сносок и в приложении он ищет перевода, но и не найдя его, не впадает в отчаяние. Поскольку он в ударе, то сразу берет лист бумаги, пишет вверху: «Подготовительные работы», отмечает первым пунктом: «Поручить матери найти переводчика» — и, удостоверившись, что за дверью Титы тихо, направляется к себе в комнату за другими книгами, которые можно будет читать.

Но дойти до своей комнаты ему не удается. У подножия лестницы дорогу преграждает Хельгочка. От танцев и выпивки щеки у нее раскраснелись.

— Куда вы пропали?— восклицает она с упреком, но смеется, беспрерывно смеется. Она очень весела, как и все, даже Мануэла и Ольга. Все, все здесь, нет только Виктора и Тильды. Состязание «кто больше выпьет» уже закончилось, теперь на очереди другое — «кто больше съест», а потом будет полонез, ученый ни в коем случае не вправе его пропустить.

Могучая сестричка, которая в отсутствие фрау Эрики то и дело сбивается на берлинский диалект, упорно тащит его танцевать. Не переставая смеяться и предвкушая разнообразнейшие удовольствия, она сопровождает Виктора в его комнату, разрешает ему только оставить ненужную литературу и тащит к месту увеселения, превращенному жарой, дымом и шумом в сущий ад.

За составленным из многих столиков общим столом действительно собрались почти все знакомые Виктору и читателю лица. Не хватает лишь Тильды. То, что отсутствует и Себастиан, замечает один Виктор, чувствуя при этом острую, всеобъемлющую, доныне ему не знакомую боль. Чтобы ее приглушить, он доказывает себе ее обоснованность. Ведь пока между ним и Тильдой, говорит он себе, ничего, ну совсем ничего не было. Нет никакого повода для муки, которую он испытывает (вот только где: в голове, в груди?), и тем не менее она растет по мере того, как он осознает: сегодня мансарда безопаснее, чем когда бы то ни было, всепроникающий грохот музыки заглушает любые другие звуки.

— Тильда не может прийти,— громко говорит он, сам удивляясь уверенности своего голоса.— Жаль, конечно, но ей нельзя оставить Титу.

Сперва он себя уговаривает, что боль пройдет так же быстро, как и возникла, но муки чем дальше, тем нестерпимее. Тогда он решает преодолеть их. Он быстро кладет конец неприятному положению единственного трезвого в компании. Он пускается танцевать, беспрестанно меняя партнерш и уверяя каждую из них, что только с нею и стоит танцевать. Не встретив сопротивления Макса, до сих пор задававшего тон, он берет на себя роль распорядителя в полонезе, придумывая занятнейшие комбинации. То все занимают места согласно размерам обуви, росту или объему груди, то надо закатать брюки, нахлобучить на голову кастрюлю, обойти в танце препятствия. Затем все, выстроившись в шеренгу, под водительством Виктора торжественно шагают по снегу и холоду в теплый коровник, а оттуда (поскольку муки не только не унялись, но даже усилились) в дом, вверх по лестнице — но лишь до второго этажа, где фрау Эрика угощает всех шампанским и прощается:

— Продолжайте, детки, без меня; я больше не в силах.

Спустившись вниз, в ад, Виктор, пытаясь обильными возлияниями погасить адские муки, обнаруживает, что чувства более стойки, чем мысли и память. В какой-то миг он оказывается, не зная, как туда попал, в своей одноместной комнате, но не в одиночестве.

Как не удалось прогнать алкоголем боль, так не удалось прогнать и флористку. Виктор с благодарностью принимает ее заботы. То, что это усиливает, а не смягчает муки, Виктор замечает чересчур поздно, а Флора, как он ее называет (на самом деле ее зовут Маргаритой), не замечает вообще ничего. Она, поймавшая его, слишком похожа на тех женщин, к которым он, бывало, питал раньше некое чувство, по бедности языка именуя его любовью. Да, конечно, думает Виктор, погружаясь в нее, как в нечто хорошо знакомое, любовью называют и это, хотя оно не имеет ничего общего с тем новым, сильным, незнакомым, что и сейчас еще немилосердно его мучает. Пусть это несправедливо, но он невольно сравнивает происходящее с предстоящим. Контрасты «малый — большой», «мелкий — глубокий», «обычный — необычайный» кажутся ему слишком слабыми, он ищет других образов, обращается к земле, ко вселенной, чтобы уяснить себе, какие последствия возымеет однажды претворение этой неслыханной муки в невиданную усладу.

Ни на минуту он не забывает, что именно Флора реальностью питает грезы. Его не гнетет душевный обман, совершаемый по отношению к ней,— она ведь о нем не подозревает. Она полностью доверяет Виктору. Его это трогает, и растроганность, слитая с благодарностью, выглядит как счастье и усиливает счастье Флоры, истинное, а оно, в свою очередь, побуждает его к столь искреннему выражению восторга, что он и сам в него верит. Ему хочется вызвать у Флоры хотя бы смутное представление о таком счастье, какое в будущем ожидает его. Не только чувство справедливости толкает его на это, но и неутомимое желание быть любимым, которого не в силах подавить даже пытка, на какую обрекает обязанность любить.

Насколько безнадежно он обречен этой пытке, ему раскрывает успех. Когда Флора, плача и смеясь, прижимается к нему, называет своим единственным, самым любимым, самым хорошим, твердит, будто с первого взгляда поняла, что они созданы друг для друга, клянется, что никогда в жизни не испытывала подобного счастья, даже в мечтах, трезвым тоном заявляет, что разведется, как только он ее позовет, умоляет во имя всего святого немедленно сказать, когда, где и как эта новая для нее благодать повторится,— Виктор не чувствует привычной радости, которой ждал и в этот раз. Лишь печально вспо-

минает о времени, когда он бывал на верху блаженства, греясь у разожженного им огня и ничего иного не желая.

Веселое бедствие

К несчастью, мощные импульсы для своей работы Виктор получает в такое время, когда он не в состоянии воспринимать их. Они исходят от Тильды, но достигают его кружным путем через Себастиана; топором разрубая аккуратно пополам сосновый чурбан размером с автомобильное колесо, он соболезнующим тоном говорит о Тильде: к сожалению, она не удовлетворяется своим нынешним бытием, а постоянно думает о своем становлении.

Себастиан даже не подозревает, какое воздействие эта фраза окажет на дальнейшее поведение Виктора. Для Себастиана дело вовсе не в Тильде — ее он использует лишь как модель. Для него дело в счастье, не больше и не меньше; и поскольку Тильда, если верить его толкованию, воплощение самой противоположности счастья, он (за рубкой дров) может привести Тильду в доказательство того, что стремление к переменам обязательно ведет в бездну неудовлетворенности.

Трудно сказать, сколько времени Виктор уже находился в «Новом благоденствии», когда узнал об этой особенности внутреннего мира Тильды,— он утратил всякое представление о календаре. Не знает ни что за день сегодня, ни какое число. Власть захватили силы природы, и он потерял счет времени. Леденящие бури несут с полюса горы снега, от южной Швеции до центральной части горного хребта прервано движение, нет электричества, заснеженные деревни снабжаются всем необходимым с помощью вертолетов, а Виктор беззаботно, как дитя природы, коротает недлинные дни. Его мысли не выходят за пределы крошечного пункта в европейской снежной пустыне, называемого «Новым благоденствием» (и никак не снабжаемого). Он рад, что телефонная связь прервана; его не беспокоит, что нет писем — он их и не ждет. А когда отключают электричество, ему кажется, что исполнилось его заветное желание.

Другие обитатели «Нового благоденствия» тоже не впадают в панику, когда из внешнего мира к ним доходят лишь сообщения, извлекаемые из Викторова приемника на батарейках. Если кто и побаивается, то не показывает этого. Все уповают на скорую победу нормального климата умеренной зоны и дважды, и трижды, и многажды слышат от Ольги, что ее запасам кризисы не страшны. Утешительно, конечно, и то, что в крайнем случае можно пешком добраться до окрестных деревень. Когда отключили электричество, Себастиан в сопровождении Виктора уже проделал этот трудный путь. Они хотели купить свечей, но их, разумеется, не оказалось. К счастью, у фрау Эрики есть для торжественных случаев запас фигурных свечей, которые она бережливо раздает, напоминая о пользе сидения в темноте. В комнате Виктора скупой свет излучает восковая роза, но он ее редко зажигает — не потому что, следуя совету фрау Эрики, сидит в комнате, освещая тьму светом своей души,— а потому что приходит сюда только спать. Остальное время он проводит в других местах. Ведь бедствие несет с собой не только бережливость и равенство, но и веселье.

В том, что в воскресенье, на следующий день после шумного празднества, беда обрушилась не на спящий дом,— заслуга Кёпке. Проспав всю ночь с помощью лекарств, он рано утром совершил длительный поход по лесу, а затем, видя, что персонал и гости все еще не проснулись, попытался заглушить утренний голод телевизором. В сообщении, что Ютландия и Гольштейн засыпаны снегом, а Рюген и Росток отрезаны от мира, он увидел шанс получить наконец завтрак. И поднял по тревоге весь дом. Предупреждение было воспринято столь серьезно, что все кратковременные постояльцы (включая Хельгочку)

еще до обеда покинули «Новое благоденствие». Кроме Макса, закупившего множество кондитерских изделий для послеобеденного кофе, никто об этом не сожалел — и Виктор меньше всех. Он не помахал рукой отъезжающей Флоре, не вышел ни к обеду, ни к ужину. К тому времени, как он в понедельник утром появился с лопатой в руках во дворе, он проспал — с небольшими перерывами, когда полубодрствовал,— около двадцати часов.

Виктор из тех, кто может спать в самых немыслимых положениях, но обязательно в одиночестве. Пол, скамейка или стул гарантируют ему более крепкий сон, чем кровать, где кроме него спит еще кто-то. Виктор никогда не пользуется образным оборотом «с кем-то спать» — он кажется ему далеким от реальности, чуть ли не лживым. Для него любовь и сон ничего общего друг с другом не имеют, скорее исключают друг друга, как любовь и болезнь или любовь и смерть, которые опять-таки протекают на ложе, однако никто не объединяет их образным оборотом, равно как и он сам, когда рядом мирно спит женское существо, а он, умирая от желания спать, прямо-таки болен от бессонницы. Он знает по опыту, что женщины не приемлют его воззрений на совместное спанье. Предложения Виктора в часы отдыха спать раздельно всегда толкуются как бесчувственность. И он безропотно терпит, но считает это несправедливостью судьбы: если уж нужно страданием платить за наслаждение, то почему же всю сумму должен вносить он?

Так было и в праздничную ночь. Телесный контакт во время сна расценивался как признак любви, осторожный же намек на пустую кровать Флоры в комнате за лестницей — как кощунство. Замечание Виктора, что любовь может испытывать только бодрствующий человек, было опровергнуто ссылкой на чувство, независимое от сознания. Вскоре подтвердилось, что это вовсе не мистификация, как считал Виктор. Каждый раз, когда он пытался осуществить свой до мельчайших подробностей продуманный план бегства на составленные у печи два стула, у спящей сбивался ритм дыхания, она бормотала нежные слова, закидывала на него руку или ногу и не отпускала. Этот рефлекс (Виктор назвал его инстинктом собственника) функционировал так безотказно, что до объявленной утром тревоги Флора спала около шести часов, Виктор же и часа не поспал.

Поэтому Виктор был как никто благодарен Кёпке. После нескольких торопливого прощания он заботливо привел в порядок вновь полученную в единоличное владение кровать, начал и завершил этот день походом в ванную и предался блаженному сну, из которого в понедельник восстал другим человеком: гость превратился в узника, докторант — в спасателя, устраняющего последствия стихийного бедствия. Профессия, диссертация, отец и мать — ничто больше его не волновало; свет, тепло, пища — вот что стало важным. Вместо календаря он смотрел теперь на термометр, вместо изучения истории он осваивал искусство пилки и рубки дров; и если он теперь употреблял слово «работа», Себастиан не возражал.

Работы хватает. Об этом заботится снег, падающий без перерыва, сперва его сгребают во дворе в насыпи выше человеческого роста, затем свозят тачками к воротам. Потом в коровнике замерзает автопоилка, и надо таскать воду через двор. Поскольку запасы угля на исходе, надо превратить в дрова бревна, уложенные штабелями за сараем. Из своего необозримого арсенала моторов Макс извлек старый дизель и приспособил его как движок к циркульной пиле. Дети подтаскивают бревна, Виктор принимает их и передает Себастиану, а тот не спеша подталкивает их по лесопильному столу к стальным зубьям, которые впиваются в дерево и с визгом его распиливают. Беспрестанно бушующий ветер взвихряет опилки; перемешиваясь со снегом, они залепляют глаза и нос. Руки и ноги в постоянном движении, и все равно не согреваются. Разговаривать можно лишь с

наступлением темноты и тишины; до этого объясняются знаками. Когда же, наконец, все сидят в теплой кухне, то, все еще оглушенные, разговаривают очень громко. Они сидят при свече, много едят, пьют кофе, снова едят, курят, что-то рассказывают, пьют шнапс и заражают друг друга зевотой. Макс ссорится с Ольгой, Себастиан произносит речи, Пюппи кричит, Тита, снова в порядке, запевает порой свои старые песни. Когда приходит очередь ее любимой песни о переменчивой луне, Тильда и Мануэла подтягивают, а Виктор проявляет литературные способности, придумывая забытые строки.

Вместе с Максом и Ольгой Виктор последними словами ругает погоду и утомительную работу, но про себя радуется. По мне, часто думает он, пускай так и продолжается. Вкупе с дорогами, полями, лесами снег замел и его нечистую совесть. Теперь он может полностью сосредоточиться на том, что зовет сущностным. С утра до вечера он мысленно составляет планы, корректирует их, отвергает или обобщает. Внутренняя его жизнь активна как никогда, он живет в постоянном напряжении и не испытывает разочарований, ибо умеет отказываться от надежд. К черноволосой цели, стоящей перед ним, он продвигается неспешно, но этот темп его устраивает. У него такое чувство (может быть, обусловленное неизменной погодой), будто впереди бесконечно много времени, ничто его не торопит, и он довольствуется малыми успехами. Порой он даже думает, что и они ему не нужны, нынешних отношений вполне достаточно. Он видит Тильду трижды в день, за едой; кроме того, заботы о Тите дают ему вдосталь поводов поговорить с девушкой. В круг своих обязанностей он включил разноску дров и угля по комнатам. Если нет срочных дел, он вместо истопницы выносит золу. В приятную привычку вошли разговоры у той или иной печи. Темы меняются, но в общем обнаруживают движение к личному началу — его, разумеется, а не ее. Многочисленные вопросы, которые хотел бы ей задать, он пока осторожно придерживает, чтобы не спугнуть ее назойливостью, она же проявляет любопытство. Ей хочется знать, как живут там, откуда прибыл сын Кёслинга. Ее вопросы продиктованы, похоже, исключительно социологическим интересом. В соответствии с этим он и строит свои разъяснения, но пользуется одним и тем же примером: самим собой. Крошечными, окрашенными то юмором, то меланхолией беспорядочными фрагментами, он представляет ей свою жизнь. При желании она может сложить их вместе, а главное — с их помощью научиться откровенности. Он не призывает к этому: он подает пример. Добивается ее доверия, даря свое собственное.

В результате устроенного по инициативе Ольги общего брудершафта Виктор говорит Тильде «ты». Словно по тайному соглашению они уклонились от предписанного поцелуя. Говорили они об этом не больше, чем и еще об одной мелочи, которая (как он надеется) их связывает. Тильда призналась, что бородачи кажутся ей тщеславными, после чего Виктор на следующее же утро распрощался со своей бородкой. Но она ничем не показала, поняла ли и оценила ли этот знак поклонения. Только не стала участвовать в веселье, вызванном его гладковыбритым лицом.

Поскольку поучительный пример доверия еще не возымел последствий, он, разумеется, благодарен за сведения, получаемые о Тильде со стороны. От Титы в этом отношении мало проку, так как она лишь повторяет то, что ему уже известно. Ольга и Макс высказывают лишь общие суждения. Оба они, каждый на свой лад, полны предубеждения, будто Тильда считает себя выше других: Макс называет ее зазнайкой, Ольга — тонкой штучкой, маскирующей дружелюбием свое высокомерие. Фрау Эрика, с которой Виктор, правда, не говорит о Тильде, но, хотя редко и вяло, все еще переписывается, успеха у служанки не добилась — ни разведыванием души, ни участием. Эта душа, пишет она, замкнута, как никакая иная; Фея перед

нею беспомощна, надеется, однако, что Принц найдет подходящий ключ. Так как Кёпке никогда не говорит о людях, всегда только о диких зверях и телепрограммах, единственным источником информации остается, как назло, Себастиан. Говорит он, правда, беспрестанно, но темы выбирает сам, так что Виктор обречен на ожидание.

Целыми днями он колет вместе с Себастианом дрова, многое узнает о прискорбном состоянии земли, которую техническое безумие сегодня обезображивает, а завтра уничтожит, орудует шлифовальным камнем, напильником, топором, секирами и клиньями, учится ставить чурбан (так называемый кругляш) так, чтобы он легко раскололся, собирает поленья в корзины, складывает в штабеля, скоро уже отличает тяжелые и твердые стволы дуба и акации от податливых, легких — березы и тополя, пытается с закрытыми глазами по запаху определить древесную породу, с удивлением наблюдает, как, расколовшись, желтоватая ольха краснеет, и внезапно вздрагивает, когда посреди длинной лекции о подлинных (то есть простых) радостях жизни Себастиан произносит долгожданное имя: тот, кто подобно Тильде, говорит он, сопровождая свои слова взмахом топора, считает становление важнее бытия, сам творит свое несчастье, ибо жить для будущего — значит не жить вовсе; будущее — это нечто несуществующее, реально всегда лишь настоящее время.

Если читатель полагает, что Виктор по слабости характера поддакивает Себастиану, то он ошибается. Напротив, в нем растет сопротивление. Для него теперь важна не точка зрения Себастиана, а сведения, которые Себастиан, сам того не ведая и не желая, сообщает. Поскольку Тильда, как узнает Виктор, не удовлетворена тем, что она есть и что имеет, а жаждет перемен, иными словами, хочет вырваться — вперед или наверх, в Викторе сразу активизируется то же стремление и возникают слова, необходимые, чтобы как можно точнее его выразить.

Благодаря выводам, отфильтрованным из Себастиановой полемики, на следующее утро разговор у печи приносит успех. Впервые Тильда пробует противопоставить признаниям Виктора свои собственные, но не слишком удачно. Побуждает ее к этой попытке едва сдерживаемая жалоба Виктора: скоро он не сможет больше вынести духовного бездействия, которое называет вынужденным; он буквально заболевает от того, что работа над диссертацией застопорилась; что рухнули все его планы, вид непрочитанных книг в комнате приводит его в отчаяние, которое ему трудно скрывать.

— Ты по мне что-нибудь замечаешь?

Тильда говорит:

— Нет, но и ты по мне ничего не замечаешь,— давая тем самым понять, что ожидает прямых вопросов о причинах ее отчаяния; она и отвечает на эти вопросы или, вернее, делает попытку ответить, сперва называя положение Виктора розовым по сравнению с ее собственным, затем отвечает и конкретно, но расплывчато, пока Виктор не помогает наводящими вопросами. Лицо его при этом под стать горечи ее слов, но в душе он ликует: ему удалось ее разговорить. Однако услышанное огорчает его, ибо ей хочется печь и путешествовать.

Конечно, и первое и второе лишь примеры того, чего ей не хватает, образные знаки — более точно определить, что ей нужно, она не в состоянии. Языковые трудности у нее не только с буквой «с» и грамматикой (правила которой она порой нарушает, по примеру Титы, при выборе падежей), но и с подбором слов, в особенности когда речь идет о внутреннем мире. У нее нет исповедального опыта. Как Виктор позднее узнал, ей никогда прежде, до его появления, не приходилось рассказывать о себе, потому что никогда никто ее сущностью не интересовался. Вот почему она не умеет говорить о своих чувствах или говорит с трудом, во всяком случае не так, чтобы одним словом выра-

зить все, что имеет в виду. Она сперва долго подбирается к тому, что чувствует, начинает с отдельных черт, собирает их и упорядочивает, в надежде, что в конце, когда они соединятся, получится нечто вроде общего представления, из которого родится понятие.

Потому она, пытаясь ответить, и говорит о радости, доставляемой выпечкой, рассуждает о рогаликах и хрустящих булочках, о песочных пирогах и меренгах, чем, разумеется, удивляет Виктора, ожидавшего чего-то большего, например, разговора о лечении рака или о борьбе с бешенством. Ее интересует не столько потребление, сколько приготовление. Вот это — хотелось бы сказать, когда у всех слюнки текут,— вот это сделала я! Еще в детстве она всегда об этом мечтала, но только в детстве и могла это делать; в общежитии для медсестер печь было запрещено, а когда она вернулась домой, тут уже была Ольга, а она, как известно Виктору, никого не допускает до своего кухонного оборудования.

Чтобы заполнить наступившую паузу, Виктор заявляет, что не прочь бы отведать сливового пирога, но Тильда почти не обращает на это внимания.

— Я ведь просто так сказала,— замечает она, давая понять, что это лишь пример; потом заводит речь о втором примере — о путешествиях, которые давно и надолго ей заказаны, он и сам знает почему. И пока она подробнейшим образом описывает все возможные места на земле, которые ей непременно хотелось бы увидеть, он уже не думает о том, что отчаяние по поводу отсутствия духовки комично,— он думает вместе с ней, сочувствует ей и предлагает обозначить то, чего ей не хватает, как «самостоятельность» или «свободу». Смущенно улыбаясь, она поначалу соглашается, потом скептически роняет:

— Толком не знаю,— и наконец завершает разговор одной из присказок своей бабушки:— Ничего тут не поделаешь!

Виктор впервые видит, как Тильда в задумчивости прикладывает руку ко лбу, открывая то, что таится под челкой: шрам, красный, длиной сантиметра в два,— его это воодушевляет. Даже если в ее намерения и не входило показать ему свой изъян, он воспринимает это как знак доверия.

Новая печаль

С окончанием снежной напасти для «Нового благоденствия» закончился исторический период, который в сравнении с последующим можно назвать золотым. Если оглянуться назад, окажется, что угроза стихий была скорее защитой. Тот, кто, подобно фрау Эрике, склонен везде приплетать сверхъестественные силы, думает, что разгадал смысл вторжения масс холодного воздуха и снега: это задержка процесса распада, начавшегося сразу, как только восстановилась связь с внешним миром. Грипенкерль, прорвавший блокаду, наглядно увидел сей процесс, не отдавая себе в этом отчета. Когда он ясным утром прибыл с тягачом и снегоочистителем из Гёрца в «Новое благоденствие», его с ликованием встретили восемь взрослых и четверо детей; заглянув в полдень на обратном пути из Прёца, чтобы вновь вкусить радости освободителя, он встретил лишь Ольгу, орущую Пюппи и растерянную фрау Эрику, набросившуюся на него с упреками: своими лошадиными силами он проложил путь не только снабжению, но и несчастью.

По поводу того, что фрау Эрика называет несчастьем, другие тоже успели высказаться в иных словах, но в том же духе. Тильда плакала беззвучно, Ольга рыдала в голос, Кёпке, чей отпуск шел к концу, бормотал что-то про помехи, искажающие изображение; Себастиан переименовал «Новое благоденствие» в «Новую печаль»; Макс прибег к словам, которые не стоит повторять, чтобы не запятнать память

о нем. Ведь он прощается со своим полем деятельности и с нашей книгой.

Коллективная депрессия не затронула лишь Виктора. Внешне он, правда, разделяет всеобщее уныние, но внутренне торжествует. Взгляд его сердца устремлен на другое. Он не видит, что разыгрывается за пределами круга его интересов; а то, что видит, расценивает с точки зрения того, способствует или тормозит оно его сердечные дела. Сочувствию места нет, поскольку весь мир его чувств уже полон. Значение для него имеет лишь один род беды, и потому все, что приносит утро, для него не беда, а желанный повод проявить себя.

Едва грохочущая машина Грипенкерля выехала из «Нового благоденствия», в направлении Майенталя, из Гёрца прибывает (со значительно меньшим шумом) полицейский автомобиль. Двое мужчин желают срочно поговорить с Максом и осмотреть гаражи. Полицейскому наказу оставаться в доме следуют все кроме Пюппи. Пронзительным ором она добивается разрешения на папиных руках участвовать в осмотре, во время которого ведет себя образцово. Свирепеет она, только когда ей пытаются помешать остаться с отцом, садящимся в служебную машину. Почтение к государственной власти ей неведомо. Полицейскому, который со всей доступной ему мягкостью забирает ее у Макса, она царапает лицо. Виктор, поспешивший на помощь пострадавшему, с трудом удерживает на руках отбивающегося ребенка, но обходится уже без царапин. Ольге сообщают, что в течение сорока восьми часов ее известят о дальнейшей судьбе мужа. Пока невредимый полицейский осматривает раны коллеги, Макс опускает в машине стекло и выкрикивает что-то неласковое рыдающей Ольге. Он обзывает ее стервой и велит заткнуться, а не то он... но полицейские не дают ему уточнить угрозу. Он успевает только в нескольких словах охарактеризовать свое положение, и машина вместе с ним уносится в зимнюю даль. Пюппи плачет взахлеб до полного изнеможения и в конце концов засыпает на руках у Виктора.

За этим кошмаром вскоре следует другой: Тильда обнаруживает, что Тита опять сбежала. Все сходятся в кухню на совещание, которое по вине Себастиана длится долго. Он хоть и имеет опыт канцелярской работы и водительские права, но по идейным причинам отказывается замещать Макса, чем доводит Тильду до слез и дает Виктору возможность проявить благородство. Он не только предлагает побыть в отсутствие Макса шофером, но и берет на себя роль организатора поисков. В то время как другие проявляют больше раздраженности, чем заботы о Тите, предостерегают от обременительных розысков, советуют подождать и не останавливают умника Томаса, который вслед за Максом твердит, что пора наконец отправить старуху в богадельню,— Виктор неутомимо активен. Поскольку он знает, чего хочет (а хочет он отличиться), держится он уверенно и авторитет его растет. Ворча, но послушно все идут выполнять розыскные задания. Габи, раболепством сразу же вкравшаяся к нему в доверие, командируется обыскать дом и двор, Томас осматривает местность в поисках следов, Себастиан спрашивает жителей Прёца и Арндтсдорфа. Пост у телефона (все еще, правда, немого) поручен фрау Эрике: кухня, коровы и Пюппи отданы заботам Ольги и Мануэлы; сам же командующий садится за руль машины Макса, отвозит Тильду в Гёрц и уже в одиночестве едет дальше в полицию.

Свое приподнятое настроение Виктор, разумеется, скрывает, ровно как и тот факт, что движет им вовсе не забота о Тите. Отвозя Тильду в Гёрц и потом забирая ее оттуда, чтобы вместе разыскивать Титу в Липросе, Шведенове и других деревнях, он и виду не показывает, как рад возможности побыть с Тильдой наедине. Даже не произносит фразу «Я рад тебе помочь», которая вертится на языке. Он не хочет быстрых успехов, ему нужны успехи прочные, и потому он прячет собственные чувства, целиком отдаваясь делу — поискам бабушки.

Он быстро замечает, что Тильда не из тех, кому беда развязывает язык. Даже в тревоге она скупа на слова. Поэтому Виктору приходится вести разговор почти в одиночку, но он сдерживает себя, ибо чрезмерная говорливость способна лишь усилить ее уныние. К беспокойству о Тите, которое следует выказать и ему, хорошо подходит спотыкающаяся, отрывочная манера разговора. Так он избегает искушения впасть в монолог наподобие Себастиановых и так искусно реагирует на настроение Тильды, что его высказывания нередко совпадают с тем, что Тильда хотя и чувствует и думает, но не говорит. Ее тревоги находят у него отклик, он разделяет ее заботы.

Это, однако, не мешает ему преследовать далеко идущие цели. Не требуется особой хитрости, чтобы перевести разговор на богадельню. Он, конечно, не задает вопроса, помещать ли туда Титу, но наводит Тильду на размышления об этом, стоит или не стоит, да или нет — он со всем согласен. Само собой, при этом он изобретательно варьирует формы выражения своего согласия — однообразие смахивало бы на равнодушие. Из самой глубины его сердца вырывается: «Этого нельзя себе даже представить!» — когда свои соображения о богадельнях Тильда начинает фразой: «Было бы преступлением послать в одну из них Титу». Он задумчиво и сдержанно говорит: «Да-да, конечно, однако...», когда Тильда размышляет о собственном печальном положении, в которое ее поставила Тита,— чтобы потом, когда перечисляются преимущества дома престарелых, самокритично воскликнуть: «Верно, верно, об этом я и не подумал!» А когда то, что прежде именовалось преступлением, оказывается необходимостью, за молчанием и вздохом, свидетельствующим о потрясении, следует вопрос, действительно ли нет другого выхода.

Скрывать приходится Виктору и впечатление, которое неожиданно производит на него природа. Заснеженная лесная просека или одинокое дерево в поле пробуждают в нем чувства, не изведанные даже в Крыму. Он бы охотно рассказал об этом Тильде, которой обязан таким расширением диапазона чувств, но боится ранить ее полную тревог и забот душу. Поэтому он выбирает обходной путь. Спрашивает, в состоянии ли Тита, когда на нее нападает бродяжнический стих, видеть места, по которым она бродит, восхищаться ими? Он знает, что, когда рассудок у нее ясен, она это умеет. Ведь он хорошо помнит, с каким оживлением она, стоя у семейного склепа, рассказывала об окрестностях. Правда, она одна, и если вообще радуется, то лишь вполсилы, потому что, как он теперь понимает, для полноты радости требуется, чтобы кто-то разделял ее с тобой. Вот если бы он сейчас ехал в одиночестве мимо торфяника и видел заштрихованную сухим камышом сверкающую снежную гладь озера и голубое небо над ним, ему, чтобы насладиться этим видом, надо было бы по крайней мере представить себе, что он кому-то, ну Тильде например, рассказывает об этом.

На скрытый вопрос, чувствует ли она то же самое, Тильда не отвечает. Она вскрикивает: «Стой!» — торопливо вылезает из машины и возвращается на несколько шагов. Она заметила следы, уходящие от расчищенной дороги вверх, к лесистому холму. Виктор, которому совсем не хочется брести в полуботинках по зимнему лесу, сомневается в целесообразности розысков, но разубедить Тильду ему не удается. Она знает, что за холмом, у оврага, живет фрау Бар, дальняя родственница, она иногда навещает Титу, чтобы та погадала ей на картах, хотя и не верит им. Виктор ничего не знает о гадании на картах, хочет узнать подробности, но не успевает, ибо студеный поход недолог. Под старыми каштанами они проходят по одичавшему саду к зажатому среди сугробов и кустов ветхому домику.

Фрау Бар, маленькая и пухлая, сидит в вонючей кухне. Кот на ее коленях продолжает спать, шпиц же под столом рычит и тявкает. Фрау Бар то и дело повторяет:

— Только не отчаивайтесь!

Женщина, чьи следы привели их в этот дом, тоже здесь. Она пришла из Шведенова, принесла продукты. Довольная, что не придется идти обратно пешком, она сразу к ним присоединяется. Виктор довозит ее до дома.

Лишь оставшись наедине с Виктором, Тильда обнаруживает глубину своего разочарования. Впервые он видит, как она начинает плакать: золотисто-карие глаза уже полны слез, а губы только-только задрожали; она сглатывает раз, другой, пытается глубоко дышать, затем беззвучно плачет.

Позже она просит у Виктора извинения. Он говорит, что сам чуть не заплакал, что не соответствует истине. Сочувствовать ей на этот раз он не смог. Слишком велик был его триумф: ведь она плакала перед ним — без всякого стеснения.

Диалог взглядов

Дневное торжество Виктора ночью усиливается. Между часом и двумя он дает ему выход — пением, Виктору особенно пришлась по сердцу песенка про переменчивую луну. Она очень уместна в эту морозную ночь: как раз полнолуние. Он на свой лад варьирует темп и мелодию, а равно и текст, который меняет в том смысле, что пусть бы под переменчивой луной все осталось, как есть.

Он один в машине, а машина одна на автостраде, значит, можно ехать на полной скорости. Мотор очень громыхает, поэтому, чтобы слышать себя, петь приходится громко. Лишь добравшись до цели, он обнаруживает, как пострадали его голосовые связки. Надо объяснить человеку в военной форме, что привело его в такое необычное время на пограничный пункт. Но он способен только сипеть. Однако его сразу понимают, ибо то, что погнало его в дорогу, встревожило и людей на берегу Одера. Его ведут к усталому чину повыше, который, не тратя времени на приветствие, надевает фуражку и зачитывает Виктору официальную бумагу. Речь идет о попытке некой старой женщины без удостоверяющих личность документов перейти через границу в Польшу. Это называется «инцидентом при переходе государственной границы», а поскольку женщина в пререканиях с часовым угрожала ему палкой, добавлено: «с применением силы». Состояние женщины характеризуется как возбужденное и невменяемое; в конце еще упомянуто, что ей была предложена еда, но она отказалась.

Попытка Виктора похвалой, изъявлениями благодарности и объяснениями перевести разговор в менее официальный тон, оказывается тщетной. Никакого отклика не вызывает и его чрезмерно отчетливо произнесенная фамилия. У него требуют удостоверение личности. В надежде на дружелюбие он показывает служебное удостоверение, но этого недостаточно: нужен паспорт.

Хотя в барачном помещении, куда его ведут, очень жарко, Тита не сняла пальто и платка. Она сидит прямо, с палкой между коленями, сразу узнает Виктора и говорит, поднимаясь:

— Давно пора было тебе приехать!

С чопорной улыбкой, которая у нее припасена для чужих, она прощается с пограничниками. На дворе с наслаждением вдыхает холодный воздух, восхищается луной («Ну разве она здесь не так же хороша, как у моря?») и огорошивает Виктора объятиями:

— Ах, наконец-то ты снова со мною!

С того момента, как, мучимая бессонницей, фрау Эрика услышала пробудившийся телефон и вырвала Виктора из сна, он непрерывно думает о великой церемонии передачи Титы ее внучке. Он проигрывает все роли: от сияющего рыцаря, с веселым шумом приводящего за руку смеющуюся Титу к кровати Тильды, до скромного слуги, после свершенного деяния исчезающего с глаз, дабы не пожинать

благодарности,— но ни на одной не может остановиться. Мысленно он примеривает каждую из них, заранее наслаждается ими, но разумного плана так и не вырабатывает. Тита молчит, но не спит. Один только раз она прерывает ход его мыслей.

— Скажи-ка,— спрашивает она,— может быть, ты знаешь, кто были эти люди в зеленых костюмах и как я к ним попала?

Слова, которые Виктор в конце концов придумал для спящей Тильды, в эту ночь ему произнести не удается, так как до ее кровати он не доходит. Едва въехали во двор, фрау Эрика и Тильда выскакивают из дома, открывают дверцу машины и уводят Титу. Виктор, который тоже вышел, собирается опять сесть за руль, чтобы отогнать машину в гараж, но на минутку задерживается, ибо снова появляется Тильда. Они стоят друг перед другом в лунном сиянии и сверкании снега, на расстоянии примерно двух метров. Словами благодарности и привета они демонстрируют свою (как сказал бы Себастиан) дрессированность, зато взгляды их говорят о большем.

Этот диалог взглядов обогащает Виктора новым для него ощущением, что движения души могут лишать сна. Закрывает ли он глаза, открывает ли их, перед ними постоянно глаза другие, Виктор не задумывается над этим взглядом, не ломает себе голову, как он возник и что означает,— просто держит его в памяти, воспроизводит снова и снова и никак им не насытится, хотя и хочет спать. Лег он в четыре совершенно измотанный, но с рассветом уже встает. Теперь он знает, каковы муки усталости, и состояние его очень похоже на болезнь.

Неотвязное стремление восстановить каждый миг той единственной минуты лунного сияния не отпускает его, когда он умывается, одевается, ест. Всякий раз, когда взгляды встречаются, словно молния вспыхивает. Он улыбается, чтобы скрыть свое смятение, она тоже улыбается, однако (если можно так сказать) серьезно. Поскольку молчания он не выдерживает, а слов не находит, он как бы испускает вздох, приоткрывая губы, и — о чудо! — Тильда посылает ему в ответ такой же знак. Я больше не могу этого выдержать, говорит он без слов, и она отвечает: я тоже.

Возможно, цель повторений в том и состоит, чтобы достичь этой точки. Хочется снова и снова испытывать это щемящее душу счастье. Бегут часы, дни, а оно не меркнет, только смешивается со страхом. Ведь чтобы обрести прочность, оно нуждается в укреплении, а проявить инициативу он боится.

Он денно и нощно предается этому смешанному со страхом ожиданию. Порой (например, когда звонит мать и все свои силы он бросает на изобретение лжи) ему на несколько минут удается освободиться от оков этих мыслей и жалостно окинуть взглядом свою внутреннюю жизнь, пожирающую всю его энергию: она не только приятна. Лучше уж равнодушие: оно ему привычно.

Он должен оставаться равнодушным, чтобы работать,— ради этого он, собственно, и приехал сюда. Он раскрывает книги, заставляет себя читать, и читает даже быстро, но ничего не понимает, ибо голова его занята другим. Он хочет дописать письмо отцу, но тщетно. Перечитывая написанное ранее, он натыкается на фразу, что еще не видел горничной, и мысли его сразу устремляются в другом направлении. Он начинает в уме набрасывать письмо, которое рассказывает, как в действительности обстоит дело между Тильдой и Виктором. Его возбуждает попытка облечь в слова историю своих мук и радостей, но адресовать их надо не отцу, потому что в таком случае из письма исчезнет правда и в нем будет действовать сын, достойный своего отца, то есть напористый. Фрау Эрика более подходящий адресат. Перед нею он не стыдится своих чувств и слабостей. Из-за его нелюбви к писанию писем переписка с нею угасла, теперь же он ее возродит. Он достает два оставшихся без ответа письма в розах и, перечитывая их, настраивается на нужный стиль. Еще не взявшись

за ручку, он находит цветистую фразу: «Лишь любовь исцелит рану, что нанесла очей стрела».

Письмо получается длинное. Слишком велик соблазн взвалить свое бремя на другого, а заданная Эрикой витиеватость изложения облегчает дело. Такие обороты, как «родство душ», «луны волшебное сиянье» или «грядущей нежности лучи», сами собой ложатся на бумагу, и солнцу (хотя на дворе ночь) тоже находится применение — без него какое же возможно упоенье? Примечательно, однако, что Виктор, который, сочиняя письмо, надеется подчинить себе действительность, попадает в сферы, где реальность неотличима от грезы, где желание обретает (на бумаге) формы стремлений, торжествует над фактом. Не потому ли это с ним происходит, что он привык видеть мир не статичным, а в развитии, привык в существующем угадывать становление, в желуде — дуб? Или так сказывается ежедневное просматривание газет, которые сообщают не о снежных заносах, а о ликвидации снежных заносов? А может быть, это упования фрау Эрики телепатически водят его рукой? Во всяком случае, он в изобилии изготовляет ту разновидность меда, какой фрау Эрика рассчитывает насладиться в его письмах. Предвосхищая ход событий, он сам себя разжигает. И до виртуозности овладевает умением воображать картины будущего.

Длина его письма приводит к тому, что ответ, поступающий следующим же утром, оказывается еще длиннее. В нем воспроизведены вершины его фантазий, умноженные описанием чувств, овладевших адресатом при чтении. Принца (ставшего тем временем «горячо любимым») призывают запечатлеть еще больше восхитительных ощущений. И он повинуется, дни напролет мечтает, ищет рифмы, пишет, ждет ответа, уступает требованию открыть новые тайны, пока однажды после полудня мечты внезапно не обрываются. Действительность заявляет о себе громким стуком, возникает на пороге исполинская, волосатая и без тени дружелюбия предлагает мечтателю надеть пальто и выйти.

— Нам надо поговорить,— заявляет Себастиан.— Только не здесь.

Дуэль

Самым грозным в могучем Себастиане тщедушному Виктору кажется его молчание. Все попытки нарушить это молчание вопросами или болтовней остаются безрезультатны. Виктор едва поспевает за великаном. Вскоре он начинает потеть — от напряжения, но и от страха.

Солнечный день на исходе. Днем таяло, теперь, на закате, снова подморозило, и Мертвая дорога заледенела. Виктор то и дело скользит, хватается за Себастиана и просит умерить шаг. Ответ на многажды повторенный вопрос, к чему этот длинный поход, если нужно всего лишь поговорить, он получает только на кладбище. Там, за деревьями, где не видно дома, Себастиан останавливается и прерывает наконец молчание. Явно сдерживая себя, он спокойно спрашивает, не считает ли также и Виктор, что они стоят друг другу поперек дороги.

Хотя Виктор догадывался о предмете этого разговора с глазу на глаз, подтверждение догадки очень его пугает. Страх не дал ему внутренне подготовиться, а теперь он полностью парализует его мыслительные способности, заставляет дрожать колени и голос, когда он спрашивает: «Что такое?» и «Почему?» — и позже заявляет, что ему неизвестно, о каком третьем лице, не называемом по имени, толкует Себастиан.

Необдуманная тактика мстит за себя. Вместо того чтобы заставить раздраженного исполина слушать, рассеять его подозрения или вызвать на монолог и таким образом унять его агрессивность, Виктор

своим нежеланием понять еще больше выводит садовника из себя и, раз уж слова несостоятельны, вынуждает его пустить в ход кулак.

Он попадает Виктору в щеку под левым глазом; боль несильная, так как кулак не встречает сопротивления: еще не достигнув цели, он повергает Виктора наземь. И вот он лежит в снегу, прикидывается мертвым и, едва вернув себе способность мыслить, обдумывает не только допущенные ошибки, но и возможности их исправить. Времени для этого у него достаточно, ибо Себастиан так напуган результатом своего удара, что не может сразу решить: возобновить ли расспросы, продолжить ли избиение, бежать ли с места преступления или же оказать помощь. Из сопровождаемых угрожающими жестами расспросов Виктор понял, что Себастиан считает себя обманутым, то есть на основе неправильной информации (в чем повинна, к сожалению, фрау Эрика) предупреждает желанный для Виктора процесс развития, так что сама собой напрашивается мысль развеять заблуждения Себастиана по поводу его попранных прав и объяснить, что же произошло на самом деле, а именно — ничего. Но эту мысль Виктор сразу отбрасывает и продолжает размышлять. Щека болит, но боль не убила чувств, вот уже несколько недель его волнующих, грубое насилие не подавило надежд. В письмах он успел вжиться в будущую любовь, и потому ему нетрудно представить возможное как сущее, то есть войти в ситуацию, которую Себастиан считает данностью, и счесть удар кулака наказанием за то, что все равно произойдет. С этих позиций он и решает ответить на вопрос, трижды заданный Себастианом и трижды Виктором отклоненный — под тем предлогом, что он не знает, о чем речь, причем ответить так, чтобы поколебать уверенность Себастиана в своей моральной правоте.

А пока что Виктор лежит в снегу, точно мнимый покойник, дышать старается по возможности неприметно, не подает признаков жизни и тогда, когда Себастиан — сперва сердито, потом умоляюще — упрашивает его хоть что-то сказать. Но Виктор мучает преступника не слишком долго. Когда Себастиан садится на корточки и снимает у него перчатку, чтобы найти пульс, Виктор с усилием открывает глаза, болезненной улыбкой дает понять, как неприятна ему обнаруженная слабость, и, наконец, пробует встать — с помощью Себастиана. Тихо постанывая, он ощупывает пострадавшую щеку и с удовлетворением чувствует, что она вспухла. Чтобы усилить впечатление увечья, он прищуривает левый глаз и оглядывается в поисках дерева, к которому можно прислониться. На двухметровом пути к нему он вдобавок хромает, что, пожалуй, уже чересчур. На лице Себастиана читается недоверие, и Виктор, чтобы смягчить его, говорит:

— Прости, пожалуйста, я глупо себя вел.— И хотя Себастиан отвечает:

— Я тоже,— звучит это не очень-то примирительно. Виктору становится не по себе, когда драчун снова приближается к нему.

Мысль, что дерево, к которому он прислонился, может стать столбом для пыток, приводит в движение Викторовы ноги. Под тем предлогом, что замерз, он заставляет Себастиана повернуть к дому. Ему хочется поскорее оказаться у «Нового благоденствия». Успокаивает то, что можно взять Себастиана под руку. С исполином лучше держаться рядом, чем стоять с ним лицом к лицу.

Эта относительная безопасность радует его, к сожалению, недолго. Как только они миновали деревья, почти уже погрузившиеся в темноту, и направились к освещенному «Новому благоденствию», Себастиан сбросил руку Виктора, преградил ему дорогу и в четвертый (он говорит: в последний) раз задает вопрос, ответ на который Виктор уже знает, но сообщает не сразу, считая более целесообразным предпослать «горькой правде» демонстрацию внутренней борьбы за нее. Поэтому он сперва изображает испуг, прячет от Себастиана глаза, морщит лоб и хмурит брови. Словно движимый потребно-

стью уменьшить боль, он прикладывает ладонь ко вспухшей щеке, но потом вдруг, повинуясь внезапному решению, поднимает взор и бесстрашно смотрит в глаза Себастиану. Ответ звучит тихо, почти кротко, однако страх тут ни при чем: просто Виктор знает, какую боль причиняет садовнику.

Так ли оно обстоит, по лицу Себастиана, как известно бородатому, прочесть нельзя, разве что можно угадать по тому, что, обычно разговорчивый, он теряет дар речи. Он долго молчит, затем произносит всего одно слово: «Ага!» — и быстрым шагом один отправляется в обратный путь. Виктор не спеша следует за ним. У него две причины быть довольным собой: во-первых, он, как позднее часто себя убеждает, сказал правду; во-вторых, он почти уверен, что краткий диалог на Мертвой дороге, состоявший из вопроса: «Что ты собираешься с ней делать?» и ответа: «Жениться на ней!» — рано или поздно станет известен персоне, для которой он предназначен.

Кстати

Поведение Виктора во время снежной блокады раз и навсегда обеспечило ему особый статус. Для него открыты все помещения, гостям недоступные; если он, что случается редко, не приходит к столу, он может зайти на кухню и сам себя обслужить, или Ольга готовит для него особо, и, как правило, куда более вкусно; а после того как жизнь в доме снова нормализовалась, никто не оспаривает его права сидеть за кухонным столом напротив Тильды. Тем не менее он вернулся на свое старое гостевое место в столовой, что связано не только со вновь прибывшими коллегами, перед которыми незачем раскрывать свой образ жизни,— он избегает Себастиана.

А последний ведет себя так, что каждая трапеза превращается в пытку. Виктор боится порой за него, порой — его. То он жалеет Тильду, то Себастиана, то себя. Сам он никогда не ревновал и поэтому не в состоянии понять вспыльчивости Себастиана, его задиристости, его подавленности и внезапного буйного веселья. Его пугает слепота, бессистемность, отсутствие какой бы то ни было концепции, на которую бы можно было ориентироваться. Он задается вопросом, к чему якобы обманутому затевать с мнимоудачливым соперником ссору из-за какой-нибудь мелочи (например, куда поставить пустые пивные бутылки)? На что он рассчитывает, когда пошлыми намеками предает гласности свое сокровенное отношение к Тильде и тем ее оскорбляет, когда от закуски до десерта молча буравит Виктора грозным взглядом или во время завтрака вдруг разражается хохотом: над идиотами, которые верят в человеческую надежность и которым поделом, если чуть что они уже обмануты? Зачем он делает из себя посмешище, заявляя, что в его мансарде слишком холодно — хотя морозы уже миновали — и ему надо перебраться вниз, в соседнюю с Виктором комнату? И как вся эта мерзость, которая может только оттолкнуть от него Тильду, согласуется с тем, что он, никогда не печалившийся о Тите, теперь беспокоится о ней и всякий раз, когда речь заходит о поисках (разумеется, бесплодных) Тильдой или Ольгой места в доме для престарелых, всячески осуждает заключение, как он говорит, Титы в казарму?

Чтобы не портить себе излишними волнениями аппетита и избегнуть столкновений с ревнивцем, Виктор вернулся в среду постояльцев. Здесь он, правда, лишен возможности смотреть на Тильду, зато может спокойно наслаждаться едой; его соседка по столу, секретарша по фамилии Бузе, не надоедает ему разговорами, потому что она полна почтения к Кёслингу Младшему и вынуждена без конца увещевать своих двух сыновей-школьников, которым трудно дается хорошее поведение. И потому у Виктора за едой есть время поразмыш-

лять. Неистовство Себастиана (которое может его лишь дискредитировать) Виктора не тревожит, чего нельзя сказать о его заступничестве за Титу. Ибо к этому Тильда, которая мучительно ищет решения, очень чутка.

Себастиан верно рассудил: нет большего препятствия будущему счастью, чем Тита. После неудачного бегства в Польшу ее состояние резко ухудшилось. Теперь она редко бывает в здравом уме, да и его скорее имитирует. В особенности, если приходят чужие, она умеет собраться, обуздать дисциплиной внутреннюю сумятицу. Она здоровается, приглашает сесть, говорит: «Спасибо, хорошо!», даже улыбается, поддерживает беседу замечаниями вроде: «Да, время бежит!» или: «Чему быть, того не миновать!», проявляет внимание к собеседнику, и только когда она спрашивает о детях, которых у того нет, становится ясно, что она пользуется всего лишь пустыми словами, что здесь просто действует механизм воспитанности, скрывающий внутреннее состояние от посторонних глаз. Как только гости уходят, механизм отключается. Ни с того ни с сего она начинает беспокойно метаться, ее охватывает неизъяснимый страх, она рвется бежать (и тогда Тильда ни на минуту не может оставить ее одну), или же она оглушает себя алкоголем, который либо сама крадет из Максовых запасов, либо нанимает Томаса. Но однажды, когда Тита предлагает ему двести марок за бутылку, в нем заговаривает совесть, и он является с повинной. Тильда, безропотно переносящая бессонные ночи, узнав об этом, разражается слезами и говорит растерянному Виктору:

— Иногда мне хочется, чтобы она умерла.

Виктору же хочется только отправить ее в дом для престарелых. И так как желание это очень велико, он кое-что предпринимает. При очередном звонке матери он словечком «кстати» (долженствующим скрыть, сколь важно для него это дело) приступает к своему ходатайству, пытаясь внушить Аньоле, что оно лишь постольку связано с ним и диссертацией, поскольку так близко наблюдаемая им судьба ближнего, естественно, заставляет его сострадать и тем мешает его работе.

Хотя рассказ о Тите (все время называемой древней старухой) он преподносит в перенятом у матери весело-насмешливом тоне, у него есть основания сомневаться, что его безучастность принимается на веру. Ибо едва он покончил с просьбой выхлопотать для Титы столь драгоценное место в доме для престарелых, мать заговаривает о персоне, которую он преднамеренно не упоминал,— о Клотильде, чье имя она, в отличие от сына, давно уже так не считающего, находит, конечно же, комичным.

— Значит,— говорит она,— Клотильде невмоготу стало со старухой.

Теперь Виктор меняет тон. Незадавшаяся ирония сменяется деловитостью, доходящей до того, что Виктор говорит уже не просто о Клотильде, а о Клотильде Людериц, которая действительно иначе не может, говорит он, пора ей наконец жить своей жизнью; она, как он недавно выяснил, медицинская сестра, а не горничная и, понятное дело, хочет вернуться к своей настоящей профессии.

Виктору не доводится узнать, побудит ли мать к действиям желание незнакомой девушки вернуться к своей профессии, поскольку слово «медсестра» наводит ее на мысль о больнице, где лежит Я. К., подробным отчетом о медленном выздоровлении которого разговор заканчивается. Но Виктор уверен, что мать не разочарует его. И так как в данный момент болезнь отца его мало интересует, он, еще стоя у телефона, представляет себе, как вручит Клотильде Людериц направление в дом престарелых для Титы и она вне себя от радости бросится ему на шею.

Предложение

Если читателей весьма кратко или даже недостаточно информируют о многих событиях последующих и поразительно быстро протекающих зимних недель, то лишь затем, чтобы они по-настоящему вошли в положение Виктора. А он все более теряет способность воспринимать что бы то ни было, если это впрямую не касается его намерений. Он слушает, смотрит и читает сообщения со всех концов мира, ежедневно передаваемые радио, телевидением и газетами, и тут же о них забывает. Не трогает его и то, что происходит в самой непосредственной близости, а порой даже требует его личного участия. Так, всех взбудоражила комиссия из министерства, целый день проверявшая бухгалтерские книги, помещения и персонал и под конец обещавшая прислать вскоре Максу преемника, он же оставался спокоен. День, когда Ольга впервые побывала в следственной тюрьме и после этого честила Макса последними словами, лишь потому запомнился Виктору, что Тильда стряпала вместо нее и разрешила ему находиться при этом в кухне. Когда полицейские осматривали и переписывали Максовы машины, моторы и запчасти, Виктор хоть и стоял рядом, держа на руках Пюппи, но мысли его кружили в другом месте, а именно вокруг фразы Тильды, которая, кажется, давала понять, что у садовника нет решительно никаких прав устраивать ей сцены ревности. Он совершенно не заметил, что коровы были проданы и уведены. Он по возможности старается избегать общения с постояльцами (главным образом супружескими парами с детьми, проводившими здесь свой отпуск), в том числе с фрау Бузе, которая успела застенчиво намекнуть ему, что ей не хватает отца для ее двух сыновей. Он отговаривается работой, которая в самом деле иной раз его занимает: надо же знать материал хотя бы настолько, чтобы правдоподобно отчитываться в своих успехах матери, без конца названивающей по телефону.

К сожалению, Себастиан тоже постоянно присутствует в ограниченном поле зрения Виктора. Он и правда стал соседом Виктора, и, хотя избегает встреч и не шумит нарочно, его близость все время держит Виктора в напряжении. Волей-неволей Виктор прислушивается к любому звуку за стеной, пытается отгадать, что делает Себастиан, и не может избавиться от мысли, что и к его любому движению прислушиваются. Ведь смысл переселения явно только в том и состоит, чтобы ревнивец получил удобное место для наблюдения.

Однажды вечером, когда Виктор сидит за письменным столом и, вместо того чтобы работать, прислушивается к тишине за стеной, задаваясь вопросом, спит Себастиан или подслушивает, стук в дверь оповещает о приходе гостя. Это Ольга. Без всякого смущения она оглядывает комнату, садится, закуривает, дважды говорит, что надо же ей было его навестить, после чего умолкает, и Виктору остается только заговорить самому. Он говорит об устойчивой тихой и морозной погоде, которую считает полезной для здоровья, но Ольгу это не интересует. Она оцепенело смотрит на него, ничего не говорит, и он пробует развить тему «Пюппи», но опять-таки безуспешно. После того как она выкурила три сигареты, а он исчерпал четыре темы, её узкие губы наконец выдают то, о чем она так долго раздумывала: автобиографию, которая Виктору уже известна.

Надежда, пробужденная вступительной фразой: «Ты не знаешь мою жизнь», не сбывается. Хотя Ольга не сводит с Виктора глаз, она не замечает его усердных кивков, пропускает мимо ушей его «Об этом ты уже рассказывала» и говорит, говорит, говорит — бессвязно и бесконечно. А так как говорит она (из-за слегка одеревеневшего языка) медленно, да еще тихо и монотонно, усыпляющее воздействие ее речи огромно. До того мгновения, когда среди обрывков воспоминаний впервые вспыхивает имя Тильды, Виктор почти

не слушает, зато уже после он — весь внимание. Он пытается внести хоть какой-то порядок в путаный рассказ, соединяет воедино то, что у Ольги разорвано в клочья, и вскоре замечает, что имя Тильды используется каждый раз для сравнения. Ничего худого Ольга, как она многократно подчеркивает, сказать о ней не хочет, но и не сказать не может. Сама она, Ольга, из приличной семьи, училась даже игре на фортепиано, а происхождение этой девушки иначе как неясным и темным не назовешь, ее кулинарные способности (по сравнению с Ольгиными) весьма скромны, характер оставляет желать лучшего. Говоря о собственной скромности, Ольга называет Тильду заносчивой. Кроме того, она чересчур молода; женщине необходим опыт, а его-то ей, Ольге, не занимать, но и до старости еще ой как далеко: «Пара годков ничего не значит!»

К предложению выпить, дающему повод сходить вниз за бутылкой, Виктор прибегает лишь как к уловке, думая, что Ольге неплохо добавить еще. Но она отказывается составить ему компанию, так как, по ее словам, не любит шнапса. Однако, пока она говорит, взгляд ее то и дело перебегает с Виктора на бутылку, и, когда она снова возвращается к родительскому дому, где были даже книги, а Виктор наливает себе третью рюмку, Ольга тоже берется за рюмку и больше не выпускает бутылку из рук.

Сколько она ни пьет, ее поведение и манера говорить не меняются; Виктора же, который давно забыл про возможно подслушивающего за стеной Себастиана, алкоголь размягчает, освобождает от страха перед Ольгиным предложением, мало-помалу обращает этот страх в растроганность. Его умиляет недоразумение, на котором она строит свои доводы, а форма, в какую облечено ее предложение, кажется ему в высшей степени достойной. Она ведь не задает вопросов, не принуждает к ответу, оставляя ему возможность попросту не понять ее бессвязный рассказ.

Она исходит из того, что мужчина его возраста, если он холост, только и мечтает жениться и потому увивается вокруг безмужних женщин, то есть в маленьком сообществе «Нового благоденствия» — вокруг Тильды, как бы мало она ни подходила для такой цели. И если этот неопытный мужчина, которому, как считает Ольга, нужна не жена-ребенок, а жена-мать, в своем ослеплении не видит, что выбор расширился, то надо открыть ему глаза. Думала-то она об этом уже не раз, но отважилась только теперь, когда прибавился страх за будущее.

— Мне и «Новому благоденствию» конец,— говорит она,— мое время здесь кончилось.

Макс отомстил. Он выдал ее санитарной инспекции. Недавно они были здесь, Виктор не обратил внимания,— две женщины, точно информированные Максом: например, о том, что она курит во время готовки. Она ничего не могла опровергнуть из того, в чем ее упрекали. Теперь ее не хотят здесь больше держать. Для нее нашли новое место, не поварихи, а помощницы на кухне, в крупном хозяйстве на Одере, то есть на краю света. Прежде чем отправиться туда, она и решила спросить у Виктора, не нужна ли она ему. Она умеет приспосабливаться, знает, что к чему, и все умеет.

— Я имею в виду — как женщина... Почему бы не спросить,— говорит она, но не спрашивает.

А Виктор, который до шнапса твердо знал, что воспользуется оставленной ему лазейкой «непонимания» и никакого ответа не даст, теперь, когда бутылка опустела, находится под таким впечатлением от этой женщины, видящей все проблемы совместной жизни лишь с практической стороны, что просто не может отпустить ее без надежды. С трудом подавляя желание сказать «да», он отвечает ей в том же духе, в каком был задан вопрос, то есть бессвязными рассказами о себе. По его воспоминаниям об отце, матери, девушках она — если

еще в состоянии — может понять, что верно оценила его, но ему требуется время на размышление. С этим она согласна. На негнущихся, неверных ногах она идет к двери, но от предложения проводить ее отказывается.

— Не в обиду будь сказано,— говорит она на прощание, и Виктор, уже не способный на значительное умственное напряжение, еще долго размышляет над этими словами, которые он часто слышал, но никогда толком не понимал

Благословенная

Еще большее впечатление, чем тишина и чистота дома, производит на посетителей распятый на кресте Иисус. Он висит, почти в натуральную величину, возле пустующей швейцарской, напоминая Виктору о том, что он находится на чужой территории и не знает здешних порядков и обычаев. Тильда тоже робеет и решается только на шепот, одна лишь Тита не выказывает ни малейшего благоговения. Она твердо вышагивает между колоннами, находит арки старомодными и кричит вверх по лестнице:

— Есть тут кто-нибудь? — Затем она садится на ступени и немного погодя спрашивает:— А что, собственно, нам тут надо?

Виктор решается продолжить поиски. Он стучит в двери, за которыми никто не отзывается; выходит через заднюю дверь в парк, но видит только снег и сохнущее белье. Когда же он, наконец, с шумом отворяет огромный портал, который принимает за проходную дверь, он с испугом наталкивается на множество возмущенных взглядов: он попал в часовню, где все обитатели дома заняты молитвой.

Поскольку Тильда рядом, ожидание его не тяготит. Просто смотреть на нее — и то было бы прекрасным времяпрепровождением; теперь же он может даже шептаться с нею. Пока они сидят на каменных ступенях рядом с Титой, уставшей от долгой поездки в автобусе и поезде, Тильда делится с ним своими опасениями: с одной стороны, она боится, что монахини откажутся принять Титу, а с другой — что они могут оставить ее у себя. То есть Тильда сомневается в правильности своего решения и призывает Виктора это решение защитить.

Защитить его он охотно берется. Перечисляет все причины, которые уже не раз называл, и завершает перечень сентенцией: каждый человек имеет право на собственную жизнь. Он договаривается до того, что сам хотел бы провести закат своей жизни в таком доме, цитирует свою мать, которая, связавшись с влиятельными в католических кругах людьми, сказала: обитель, куда помещают своих любимых стариков, не может не быть христианской.

Пока он, заимствуя и эту мысль у матери, рассуждает о том, что звание монахини есть вместе с тем ее призвание, одна из них уже стоит перед ним: Бенедикта, как она представляется,— женщина, рост и проворство которой позволяют ей казаться менее толстой, чем она есть.

Хотя Виктор не уверен, что подходящим ответом на приветствие «Храни господь» является повторение этих слов, он отвечает ими же, но по лицу сестры, гладкому и чистому, как обрамляющий его чепец, не видно, правильно ли он поступил. Не ясно ему также, уместно ли крепко пожать ей руку. Зато четка ее реакция на его сообщение: речь идет о фрау Людериц, которую направил сюда епископат. Голосом, рассчитанным на глухих, сестра Бенедикта заявляет: никто здесь не дает направлений, кроме нее.

Они сидят в помещении, похожем на медицинский кабинет: Тильда и Виктор — на табуретках, Тита — во врачебном кресле, правда на самом краешке. Она сидит выпрямившись, держа палку между коленями, так, словно вот сейчас встанет и уйдет. Но она вполне соб-

ранна; и когда ей задают вопросы, она отвечает даже впопад: «Спасибо, не жалуюсь», или: «От возраста никуда не денешься».

Немало дней Тильда готовила Титу к этому разговору. Она расписывала преимущества дома для престарелых, репетировала с ней предстоящую беседу и еще по дороге внушала, что она должна быть приветлива, хорошо слушать и ясно отвечать на вопросы. Но теперь Тильда видит, что все ее усилия были напрасны, что Тита хотя и ведет себя корректно, однако не понимает, что тут происходит. Поэтому Тильда то и дело пытается отвечать вместо нее, но сестра Бенедикта пресекает ее попытки. Еще по телефону она сказала, что из-за нехватки персонала дом не может принимать лиц, нуждающихся в особом уходе.

Сестра Бенедикта не в восторге от того, что сверху прислали пополнение, но сама Тита ей нравится. Она считает ее искренней, потому что на вопрос, охотно ли Тита переселяется в дом для престарелых, следует ответ:

— Ничего не поделаешь!

Свою злость сестра Бенедикта вымещает на молодых людях, которых принимает за супругов. Их-то она и винит во всем том, что новое время, озабоченное только лишь выгодой, творит со стариками. Их больше не почитают, а презирают. Работать они не могут, давать советы тоже, ибо опыт их стареет быстрее, чем они сами. Они мешают прогрессу, и потому их попросту отодвигают в сторону. Случись нехватки персонала дом не может принимать лиц, нуждающихся в на любовь и доброту, экономят на них.

— А без любви,— говорит сестра Бенедикта,— они могут умереть.

Хлынувшие слезы не дают Тильде говорить, и потому Виктор считает своим долгом смягчить возмущенную сестру. Он согласно кивает в такт ее словам и разок даже вставляет: да, тут она права. Они с женой, объясняет он потом, никогда бы не отпустили бабушку, к которой очень привязаны (и которая, кстати сказать, при своем здоровье и энергии оказывала весьма желанную помощь в доме), если бы ему (он дипломат) не надо было сейчас на несколько лет выехать за границу. Вот почему они вынуждены подыскать для нее новый кров, но это должен быть кров, под которым царит любовь.

— Потому мы и обратились к вам,— заключает Виктор, но смотрит при этом мимо сестры Бенедикты на картину, висящую у нее за спиной, цветную репродукцию в золоченой раме. На фоне просторного ландшафта с лугами, лесами, деревнями, горами, замками, под почему-то желтым, а не голубым небом стоит мадонна, молодая и прекрасная, в длинном зеленом одеянии; раскинув руки, она держит алый плащ, наброшенный на ее узкие плечи, так, что под ним могут укрыться люди, беспомощные, маленькие, как карлики,— нищий и папа римский, крестьянин и королева, рыцарь и служанка.

Виктор настолько явственно очарован картиной, что сестра Бенедикта, дабы не помешать ему, благоговейно молчит. Когда он подходит ближе к картине, она садится так, чтобы видеть его. Да, говорит он после долгой паузы, тихо, словно самому себе, так он это себе и представлял; он хоть и совершеннейший невежда в этом отношении, но сразу понял символ, более того, он захватывает его, мощно захватывает, если это слово применимо к подобной нежности.

Сестра Бенедикта гордится своей эффектной мадонной — это видно по ней. Она становится рядом с Виктором, поясняет ему детали, излагает и кое-что из истории искусства, но тут же добавляет, что дело не в эстетике: картина висит здесь не из-за своей красоты и правдивости, она дарит надежду и утешение. Виктор согласно кивает, высказывает предположение, что художник был, наверное, глубоко верующим человеком, и, удачно найдя слова «венчанная доброта», считает, что дело выиграно. Ибо сестра Бенедикта, горя желани-

ем показать Виктору и другие картины, приглашает дам следовать за ними, поскольку будущее жилье Титы находится как раз по пути. При условии, что врач, который вернется через два дня, даст свое согласие, сестра Бенедикта примет Титу — пока «для пробы», как она подчеркивает. Так как фрау Хельвиг, говорит она, после кончины фрау Паальцов одна в комнате, она наверняка очень обрадуется компании.

Если сестра Бенедикта и не ошибается, то фрау Хельвиг, вяжущая крючком, сидя на табуретке, умело скрывает свою радость. Она не отвечает на приветствие, неприязненно выслушивает объяснения сестры Бенедикты, осматривает Титу с головы до ног и продолжает свою работу.

— Она недоверчива, наша матушка Хельвиг,— бодро говорит сестра Бенедикта и едва успевает дать инструкции по поводу времени богослужения, постельного белья и распорядка дня, так как Виктор углубился в созерцание новой картины, на которой ему не совсем ясно, что должна символизировать обувь. И Бенедикте приходится рассказать о святой Хедвиге, которая пошла к прокаженным босая, чтобы сравняться с ними,— она рассказывает с таким увлечением, что забывает про Титу, которая беспокойно бродит по комнате, трет себе подбородок, бормочет «Стоит ли?» и всякие другие несуразности.

Сестра дважды повторяет: «Только для пробы!» — затем все сердечно прощаются. Фрау Хельвиг даже откладывает вязание и подает Виктору руку. Он обнимает Титу. Но сестра Бенедикта считает своим долгом проводить молодых людей к выходу.

— Мы обе,— говорит она Тите,— помашем им вслед.

Однако идиллии не получается. Ибо после краткой благодарственной речи Виктора, в которой упоминается и мадонна-заступница, Тита прощается.

— Рады были познакомиться,— говорит она сестре Бенедикте и первая выходит на дорогу. Виктору, правда, удается скрыть улыбкой внезапный прилив ярости, но Титу он останавливает резким рывком.

— Ой, больно,— кричит Тита, но покорно следует за Тильдой, когда та с грубоватой нежностью обещает тотчас же уложить ее в постель.

Виктор больше наверх не поднимается. Он ждет под распятием перед швейцарской. Слышит вопрос Титы, а когда же ее заберут из этой больницы домой, и комментарий сестры Бенедикты:

— О боже!

«Да»

Бранденбургский городок, в котором монахини, переселившиеся из Силезии, открыли после войны дом для престарелых, надо увидеть глазами Тильды (даже если это покажется несправедливым), потому что городок этот не совсем неповинен в угнетенности, которая вскоре неожиданно охватила ее. Чтобы не дискредитировать этот городок, название не будет здесь упомянуто, а для характеристики его достаточно привести фразу одного старожила, произнесенную в ответ на замечание Виктора, в котором присутствовало слово «глушь»:

— Вы бы посмотрели на него в сорок пятом! — То есть на городок, который имел стратегическую ценность и потому лишился всех остальных ценностей: он превратился в пустыню, в сплошные развалины.

Теперь он не таков. За несколько десятков лет педантичные отцы города превратили его в бетонированную пустыню, прямоугольную, четкую и серую. Прямая улица, шириной в автостраду, делит город пополам. Вдоль нее — ряды пятиэтажных новостроек, которые прячут от глаз старые боковые улицы с облезлыми домами, пустыри с

гаражами, дровяными сараями и заросшими бурьяном блоками бетона. Там, где когда-то был Старый город, раскинулась огромная площадь, на которой крошечными выглядят киоск и шеренга припаркованных автомашин. Красный цвет транспарантов и желтый цвет пластмассового козырька на автостоянке не оживляют общего серого тона, скорее подчеркивают его. Насыпи грязного снега сужают пешеходные дорожки.

Чтобы добраться до железнодорожного вокзала, молодым людям надо пересечь дорогу, но из-за проходящей войсковой колонны им это долго не удается. Шум мешает разговору. Можно было бы обмениваться взглядами, но Тильда к этому не расположена. Если же она мимолетно отвечает на неотрывный взгляд Виктора, в ее глазах не любовь, а скорее выражение, которое Виктор считает печалью, страхом или горем,— до тех пор, пока она (гораздо позже) не объяснит ему: смотрела она на него с упреком! Не будь его, говорят ее взгляды, она бы никогда не причинила Тите такую боль.

Поскольку Виктору еще неизвестно это объяснение (которое, хоть и окольным путем, дарит ему желаемое), он очень разочарован. Он иначе представлял себе возвращение после свершенного дела — полным радости по поводу достигнутого, полным благодарности к нему, который этого добился, полным счастья свободы от многолетнего груза. Вместо желанного вздоха: «Наконец-то мы одни!» — он, когда стих шум моторов, слышит лишь слова тревоги о Тите. Из всего, о чем Виктор мечтал, думая об обратном пути, только одно исполняется пока: они опаздывают на послеобеденный поезд, и будто невзначай возникает мысль о ночевке в гостинице, которую Виктор высказывает так, словно она пришла ему в голову вот сию минуту. Вечерним поездом до «Нового благоденствия» доберешься лишь в три часа ночи, а если встать пораньше, можно еще раз проведать Титу.

Поскольку единственная в городе гостиница находится прямо у вокзала, мечта быстро улетучивается. Ресторан, где они узнают, что свободных номеров нет, оккупирован военными. Встреченная при входе ликованием, Тильда сразу же поворачивает обратно. Второй ресторан закрыт на ремонт; мрачный зал ожидания на вокзале нагоняет на них тоску; кафе, почти пустое, заканчивает работу вместе с магазинами. После того как они дважды прошагали по хорошо освещенной и безлюдной главной улице от первого до последнего фонаря, до отхода их поезда остается еще три с половиной часа.

Лунный свет влечет их покинуть город, полюбоваться лесами и полями. Но куда ни повернешь, всюду сплошная безотрадность. Город окружен километровым поясом площадок для металлолома, складов, амбаров и сараев, свалок и фабрик. По обеим сторонам дороги тянутся бесконечные казармы; к бетонным оградам с наблюдательными вышками примыкают заборы из колючей проволоки. Здесь Тильда, когда они по ее просьбе пошли назад, наконец заговорила.

Картину своей внутренней жизни, которую она беспомощно начала тогда у печи (как давно это было!), она теперь пишет более четкими мазками. Она готовилась, собирала факты, подыскивала слова и теперь может сказать больше — не только о своем желании путешествовать и печь. Свою жизнь она сравнивает с казармой и называет безрадостной, свою работу — бессмысленной, а когда Виктор помогает ей вопросами, жалуется на то, что ей никогда не удается побыть одной, никогда нельзя выбрать людей, с которыми она хочет общаться. Запинаясь, она рассказывает о своей матери: о ней она слышала только плохое, но порой завидует ей, потому что та свободна от чувства долга; даже упоминает Себастиана: жить с ним она не в состоянии, потому что его интересует только он сам, но не она, потому что он никогда не дает ей слова сказать и потому что ад, откуда она бы с удовольствием сбежала (то есть из «Нового благоденствия»), кажется ему раем, который он вовсе не собирается покидать.

Девушка, впервые получившая возможность высказать свою печаль, всегда производит сильное впечатление, тем более, конечно, на Виктора, который держит ее за руку и которому она нравится. Он уже не слышит ее шепелявости; ошибки в грамматике, лишь изредка бросающиеся в глаза, придают ее исповеди особую живость, и когда он думает о том, что он, он один, педагогическим тактом и терпением добился этого взрыва доверия, его переполняет такая радость, что ему трудно оставаться только слушателем. Он хотел бы ответить доверием на доверие. Когда рассказ Тильды уходит далеко в сторону, отклоняется от темы или вообще стопорится, он мысленно уже готовит ответный рассказ.

Это будет рассказ о жизни, не менее печальной, чем та, о которой он только что услышал: потому что ему не хватает любящей и любимой обузы вроде Титы, потому что хотя у него есть родители, но сердечного их тепла он лишен и потому что некая Флора (образ которой он набрасывает как зеркальное отражение Себастиана) ждет от него то, чего он ей дать не может. Тильда же, напротив (хочет он сказать, хотя и не напрямик), найдет в нем как раз того, кто ей нужен, и это чистая правда: ведь он способен стать тем, кто ей нужен. Ему бы только узнать, что именно от него ожидают, тогда он быстро станет таким, как надо.

Пока, однако, он обречен на молчание, ибо Тильда, на то же самое обреченная при Себастиане, наверстывает упущенные шансы выговориться. Теперь она говорит увереннее, глаже и, хотя времени достаточно, иной раз торопливо. Виктор, который вскоре может полностью отказаться от наводящих вопросов, поначалу, конечно, слушает с радостью. Но проходит час за часом; а его имя в жизнеописании так и не возникает, и он начинает беспокоиться. Он чувствует, что пора сказать решительное слово, но не смеет. Он никогда этого не умел, просто вообразил, будто теперь сумеет, но ошибся. Он даже приуныл, но ненадолго, ибо Тильда, будто почувствовав его тревогу, унимает ее.

Быстрым шагом они исходили городок вдоль и поперек, забрели в садовый поселок и, выйдя на какую-то улицу, вдруг очутились перед католическим приютом, где все уже спят. Тильда прерывает свой рассказ о дне, когда ее мать, бог весть где, без разрешения перешла государственную границу, останавливается, долго смотрит на Виктора уже знакомым, укоризненным взглядом (объясняя при этом его смысл) и — словно знает его уже долгие годы — задает вопрос, ответив на который он снимет наконец напряжение, что владеет ими обоими вот уже несколько недель. Она спрашивает, не отказался ли он еще от намерения, высказанного Себастиану после неудачной дуэли на кладбище, и в ответ на его «да» говорит:

— В таком случае все хорошо.

Ночная поездка

Редкое для Виктора и людей его круга событие — поездку в пассажирском поезде (ею он обязан районным полицейским властям, предусмотрительно конфисковавшим весь автотранспорт «Нового благоденствия») — он по дороге в город не мог из-за Титы оценить по достоинству; тем большее наслаждение доставил ему обратный путь (в счастливом упоении названный «обручальным» путешествием). И хотя приятное тепло полупустого купе, мигающее освещение, грохот колес и спящие среди залитых лунным светом полей деревни за окном всего лишь дополняют то главное, что каждый из наших путешественников являет собой для другого, все эти мелочи связаны с главным столь нерасторжимо, что потом в воспоминаниях уже и представить себе нельзя по отдельности. Свисток локомотива или вокзальное здание из красного кирпича, увитое плющом,— как много все это зна-

чит для новой близости, которая ищет подтверждения своей реальности то в слове, то в прикосновениях. Даже неизбежная усталость — и та лишь усиливает волшебство. Безмятежная, с многочисленными остановками, долгая поездка кажется совсем короткой. Ведь до станции пересадки едва-едва обсуждены только будущее и настоящее; преодоление прошлого еще впереди.

В автобусе дело доходит и до него. Ведь, чтобы объявить точку, которая сейчас достигнута, вершиной, надо изучить все ведущие к ней линии. Здесь не обойтись без отцов (всемогущего у Виктора и несуществующего у Тильды), без матерей (всегда присутствующей по телефону — у одного и пропавшей — у другой), без учителей и учительниц, без профессоров и старших врачей, без друзей и подруг, без первых поцелуев и великих страхов. Этот обмен пережитым, при котором давать еще слаще, чем брать, настолько увлек молодых людей, что водитель (везущий, кроме них, еще одну влюбленную пару) вынужден напомнить: станция Гёрц, до которой у них билеты, перед ними.

Разумеется, и короткой Мертвой дороги недостаточно, чтобы исчерпать всю массу воспоминаний, какими необходимо поделиться; разговор надо продолжить после возвращения домой. Виктор только что выяснил, что Себастиану окончательно дана отставка, а Тильда теперь знает, что из-за нее не написана диссертация. Это возлагает на них ответственность, нести которую они должны вместе, помогая друг другу. Еда и сон для этого им так же не нужны, как и свет. Им нужно лишь уединение.

Но оно-то им не суждено. Едва глаза их привыкли к темноте Тильдиной комнаты, вспыхивает яркий свет. Он проникает снаружи, отбрасывая на стену их тени. Только теперь они слышат шум мотора. К дому подъезжает грузовик. Кто-то из него выходит. Пока машина разворачивается и лучи ее фар на миг выхватывают из мрака за окном черно-белый снежный пейзаж со скелетами сливовых деревьев, раздается громкий стук в дверь.

— Черт побери,— кричит Тита,— куда все подевались?

Хотя Виктор проводит ночь один в своей комнате, спит он мало. Он во власти кровожадных фантазий: вот он сидит у постели Титы, ласково уговаривает ее выпить стакан воды; она жалуется, что вода очень горькая, но послушно пьет.

За́мки и парки

Аньола, часто и охотно собирающая у себя гостей, на свои дни рождения приглашает лишь немногих — близких друзей, с которыми, как она говорит, можно погрустить: ведь день, напоминающий о том, что ты уже немолода, мало похож на праздник. Но присутствие Виктора при этом обязательно, и лучшее свидетельство благоговения, испытываемого Аньолой к его работе над диссертацией,— тот факт, что на сей раз она освобождает его от непременного визита.

— Будь ты в Швейцарии или даже в Австралии,— капризно сказала она по телефону,— я обязала бы тебя к блицвизиту, но чтобы ты покинул свою прусскую глушь — этого я не потребую. Чего доброго, не захочешь вернуться обратно, а это слишком рискованно.

Сначала Виктор радуется выигранному дню, но потом решает не принимать жертву матери.

— Надо сразу же определить отношения,— говорит он Тильде в порыве бунтарской смелости и накануне торжественного дня шлет в Потсдам телеграмму не с поздравлениями, а с сообщением, что поздравления будут переданы лично: его невестой и им.

Необходимость в свободном дне, который Тильда должна взять в «Новом благоденствии», мотивируется поисками места для Титы в доме инвалидов,— это не совсем ложь, так как они надеются угово-

рить Аньолу достать необходимое направление. При телефонных переговорах, которые Виктор вел от имени Тильды, выяснилось, что в инвалидных домах тоже не хватает мест, и ждать их обычно приходится год, а то и больше.

Виктор с детства знает, что люди со всех концов света съезжаются в его родной город полюбоваться замками и парками, он очень удивлен, что Тильда их еще не видела, и радуется возможности показать их ей. Однако заснеженные павильоны и дворцы, голые деревья и кустарники, пустые бассейны и деревянные будки, в которых статуи дожидаются более теплой поры, лишь нагоняют на нее скуку. После того как он, озябший, стоя перед дворцом Сан-Суси, рассказал все, что знал (не слишком много) о Фридрихе Втором и его преемниках, она пожелала посмотреть магазины. Лишь в духоте универмага она оживилась. Она осматривает все прилавки подряд; даже отделы спортивных принадлежностей и игрушек вызывают у нее интерес. Много времени отнимает покупка халата, который наверняка скоро понадобится Тите для приюта. Последняя остановка перед целью — кафе; здесь Виктор начинает рассказывать историю, случившуюся с ним в детстве и вспомнившуюся ему в парке, но Тильда вдруг решает купить блузку, потратиться на которую она сначала не рискнула. Она просит его посидеть, бежит в универмаг и некоторое время спустя, сияя от счастья, разворачивает перед ним обновку, которая его совершенно не интересует, но о его воспоминаниях она не забыла и просит продолжить прерванный рассказ.

— Значит, отец посылал тебя учиться боксу, потому что ты был неженкой, но ты прогуливал, а что потом?

И Виктор, подавляя желание научить невесту правильно выговаривать слово «блузка», проглатывает и фразу: «Кажется ты больше интересуешься покупками, чем мною!» — и продолжает рассказывать, как он увиливал от бокса. Эта история внушает Тильде страх перед Аньолой. Ведь если ребенок, заявляет она, во-первых, не может избавиться от убийственного представления, что все равно будет отдан в руки людей, которые должны сделать его сильнее, а во-вторых, ползимы каждый вторник вечером, промокший и замерзший, крадется через за́мки и скверы, постоянно опасаясь, что кто-нибудь из знакомых увидит его и выдаст, и, в-третьих, в свои одиннадцать лет точно знает, что его ложь и неповиновение рано или поздно будут обнаружены,— такой ребенок, живя месяцами, днем и ночью, в страхе, говорит Тильда, уже достаточно наказан. Хорошая трепка под горячую руку, после чего отец с матерью посокрушаются и все позабудут,— такое она еще могла бы понять, но не сговор родителей, который она называет заговором, не тот холодный расчет, который она считает признаком бессердечия. Она охотно верит, что отец, презирая изнеженного, столь непохожего на него сына, придумывает подобные методы воспитания, но что мать не возмущается, не восстает, а действует с ним заодно,— это приводит ее в негодование. Тильда считает подлым, что, зная о его лжи, родители позволяют ему лгать и дальше, для того чтобы в день рождения, когда он ожидает подарков, особенно строго наказать, раскрыв, что им известно о его проступке. Жестоким называет она и приговор: четыре недели бойкота, ни слова, ни жеста, ни взгляда для маленького преступника, никакой любви. Через столько лет Тильду охватывает гнев, когда она представляет себе, как ребенок, пережив фазу упрямства, впадает в отчаяние, как он плачет и просит отменить наказание, как он, ночью вымаливая прощение, стоит возле спальни родителей, но дверь не открывается, и как он наконец находит спасение в болезни с высокой температурой. Виктор же, который поделился воспоминанием, чтобы сблизиться с нею, чувствует, что оно отдалило их друг от друга. По его мнению, она несправедлива, обвиняя во всем родителей. Он, как может, защищает их, но Тильда непреклонна.

— Когда у нас будут дети,— говорит она,— мы по-другому будем их воспитывать, хочешь ты или нет.

Поскольку они тем временем уже оставили кафе, миновали городские ворота и дошли до безлюдной улицы с виллами и садами, он не только обещал целиком подчиняться ей в вопросах воспитания детей, но и подкрепляет это объятием и поцелуем. Ему не приходится просить ее не говорить с Аньолой о таких вещах, Тильда и сама это понимает. Но когда она, снова повеселев, добавляет, что ее задача ведь только выучить чему-то его, а не мать — она так и сказала вместо «научить» «выучить»,— у него возникает желание, чтобы в ближайшие часы она прикинулась немой. Но даже намекнуть на это он, конечно, не решается.

Мытье посуды

Хорошее впечатление, которое Тильда производит на небольшое общество, собравшееся отметить день рождения Аньолы, предопределено, вероятно, ее молодостью и уж наверняка — ее сдержанностью. Пятеро гостей, заинтересованных не в разговоре, а во внимании к тому, что они рассказывают, рады присутствию шестого, не посягающего на роль ведущего: ведь говорунам нужны не говоруны, а слушатели, и человек, который молчит, задает вопросы или дает ответы, относящиеся к делу, им приятнее, чем собеседник, только и ждущий удобного момента, чтобы захватить инициативу. Вот, к примеру, господин Шульц, глава широко разветвленного похоронного бюро, описывает неурядицы с руководителями своих филиалов. Ссылаясь на якобы старинные обычаи, они постоянно требуют твердой древесины и не желают считаться с тем, что сейчас она нужнее для более важных целей. А ведь гробы из стружечных плит с мелафолевым покрытием под дерево выглядят совсем неплохо. И насколько они легче дубовых! Но когда он хочет поведать о сопротивлении, на которое натолкнулось получившее премию рационализаторское предложение — заменить металлические планки лакированными накладками из прессованных опилок, визави все-таки перебивает его: он очень хорошо знает врагов, прикрывающих свои намерения ссылками на традиции. Он, скульптор Макс Упхус (он произносит, кстати, свою фамилию не на греческий лад — Уфюс, а по-простому: Упхус), изготовляет бюсты, которые действительно очень нужны, в первую очередь — бюсты Тельмана. В виде гипсовых или бронзовых отливок они могли бы украсить любой Дом культуры, любой Дворец пионеров, любую школу, не будь у него недругов,— но охарактеризовать последних ему не удается, ибо фрау Белани объясняет своему мужу, уже начавшему нервно протирать очки, что это очень напоминает ей Пфанненштиля, чем она дает господину Белани шанс оседлать наконец своего конька: фонтаны, источники, каскады, которым он обеспечивает административно-техническое обслуживание, попутно исследуя их историю. От строителя фонтанов Пфанненштиля господин Белани переходит к связи между садово-парковой культурой Сан-Суси и прогрессом, достигнутым посредством капитала, но тут жена, задействовавшая его лишь для того, чтобы поговорить самой, забирает слово у мужа и тут же сама его теряет — усилиями опять-таки Упхуса, во мгновение ока нашедшего путь от статуи Дианы у бассейна к своей Розе Люксембург.

Если к тому же учесть, что Аньола, неограниченная властительница кружка (если только она не орудует на кухне или, как сейчас, не разговаривает обстоятельно по телефону с отцом Виктора), имеет право в любую минуту перебить любого и говорить столько, сколько ей заблагорассудится, то можно понять, что гостю, который молчит и внимательно слушает старые анекдоты, остроты, рассказы об ударах судьбы,— такому гостю легко завоевать симпатии. Поначалу Тиль-

да старается понять услышанное, часто задает примитивные вопросы, обнажая прорехи в своем образовании, но не гасит воодушевления рассказчиков, напротив: интерес к похоронным обычаям, отелям, минаретам и водокачкам дает возможность расширить разговор и глубоко, очень глубоко вникнуть в суть дела. Особенно велико просветительское рвение господина Белани, который полагает, что эти очаровательно маленькие ушки, к сожалению, наполовину закрытые туго зачесанными назад черными волосами, куда менее охотно слушают про статуи и гробы, чем про фонтаны. Он забывает, что по правилам хорошего тона нельзя говорить всем наперебой, подвигает все ближе к Тильде свое тяжелое кресло и, не обращая больше внимания на рационализаторские речи Шульца, принимается рассказывать историю фонтанов, вполголоса, но обстоятельно, то есть с самого начала.

Тильда узнает, что ни Бауману, ни Хайнце и Георге, ни упомянутому Пфанненштилю не удалось привести фонтаны в действие,— бедный король, если не считать знаменитой страстной пятницы 1754 года, когда струя ударила вверх и быстро иссякла, бедный король так и не увидел свой парк разукрашенным водометами,— а тем временем Виктор пытается объяснить матери, как обстоят его дела в настоящем и будущем, то есть ищет возможности объяснить, но Аньола его не слушает. Сперва он, по настоянию матери, должен позвонить отцу, который одобряет его приезд в Потсдам; потом, взбивая сливки, он должен выслушать монолог об отце, которого болезнь, к сожалению, очень изменила. Зато, узнает он, домработница Аньолы, как всегда, верна себе: едва ей становится известно, что будут гости, она сказывается больной, а вот сотрудники Аньолы трогательно заботятся о том, чтобы день рождения начальницы всегда был праздником. Виктор еще с первой минуты почувствовал, что мать уходит от серьезного разговора. Она очень сердечно поздоровалась с Тильдой, но сразу дала сыну понять, что эту связь считает ничуть не более важной, чем множество предыдущих; едва Тильда сняла пальто, Аньола спросила, можно ли называть ее по имени.

— Знаете, так уж я привыкла.— Аньола также дала понять, что знает о делах Виктора больше, чем он думает; отклоняя предложение Тильды помочь на кухне, она весело сказала: — Нет-нет, здесь персонал — мы с Виктором; а вы сегодня гость.— Она даже справилась о Тите, обещала помочь найти место в инвалидном доме, но быстро покончила с этой темой. О телеграмме Виктора речи не было.

Таким образом, намерение выяснить отношения ему осуществить пока не удается, но он не теряет надежды. Он все ж таки знает свою мать: слово «невеста» в телеграмме наверняка привело ее в ужас; по-видимому, она навела справки у фрау Эрики и теперь боится за его диссертацию, за его карьеру вообще; к тому же ее — сознательно или бессознательно — мучает ревность, на сей раз особенно сильная, потому что ей незнакома и чужда среда Тильды и потому что сын впервые скрыл от нее свой «роман»: она чувствует Викторову строптивость, не хочет дать ей выхода и потому ловко избегает разговоров; ведь она наверняка не сможет промолчать насчет глупости, о которой Виктор собирается ей рассказать, а если она примется отговаривать, возражать, вспыхнет то, чего она не хочет,— ссора, могущая ей стоить доверия сына.

Виктору, конечно, тоже неохота препираться, поэтому он включается в игру, ибо знает: кружные дороги иной раз вернее ведут к цели. За кофе с тортом он настраивает себя на гибкую тактику. Он должен выступить перед Аньолой не как упоенный счастьем человек, уже принявший решение, а как колеблющийся, просящий совета, молящий о помощи, разрывающийся между чувствами и разумом. Исповедаться надо, а не делать категорические заявления: муки и подавленность — вот чем можно добиться отпущения грехов.

После кофе гости переходят на коньяк и по заведенному обычаю, не упоминая про день рождения, обсуждают нелепость покраски гробов в белый цвет и (по инициативе Аньолы) вопросы моды, а Виктор сидит со скорбным видом. Когда на него падает взгляд Аньолы, он с мукой смотрит на Тильду и, разумеется, на ее выходное платье, совершенно ужасное, как он понял (увидев быстрый, только им замеченный взгляд Аньолы, каким она окинула Тильду, едва та сняла пальто).

Адресованная Тильде лекция о фонтанах все еще не окончена, но великий день уже наступил — 23 октября 1842 года ровно в двенадцать часов техника в Потсдамских парках восторжествовала над законами природы: большие и малые фонтаны взмыли вверх, забурлили, зажурчали, народ сдержанно аплодирует — бурно выражать восторг не позволяет, как известно господину Белани, присутствие Его Величества.

Тильдино лицо не выражает той веселости, что была в свое время на лице короля. Она по-другому представляла себе праздник в «хорошем обществе»— более волнующим, не столь утомительным. Она не привыкла долго сидеть, с трудом подавляет зевки, а часами выказывать интерес к тому, что ее не интересует, она тоже не умеет. Когда господин Белани достает из кармана ручку и блокнот, чтобы начертить ей паровую машину марки Борзиг и систему десятидюймовых труб, она отговаривается необходимостью срочно выйти. Несколько минут она отдыхает в ванной, где находит массу прелюбопытных вещей, а услышав, что мать Виктора собирает посуду, она, не заходя в комнату своих пыток, направляется в кухню и предлагает помыть посуду.

Она не замечает, что ее приход на руку матери и совсем некстати для Виктора. Виктор как раз произнес вступительную фразу к своей исповеди: «Ты должна мне помочь!»— и только потому не припал к материнской груди, что в кухонном хаосе ему некуда поставить поднос с чашками, тарелками, остатками торта. Не обращая внимания на протесты, Тильда наводит относительный порядок. Пока она открывает краны и ищет моющие средства, Виктора командируют обратно к гостям, Аньола же остается — вытирать посуду, но скоро об этом забывает. Размеренными шагами она ходит взад-вперед, курит через длиннющий мундштук сигарету за сигаретой и, видя только конский хвост и согнутую спину Тильды, очень сердечно и очень подробно расспрашивает ее, тактично не упоминая Виктора.

Впервые он всплывает в разговоре (как трудный ребенок, постоянно нуждающийся в материнской помощи), когда Аньола начинает сравнивать воспитание Тильды со своим собственным, которое, если можно так выразиться, было хоть и более хорошим, но не менее никудышным. Ее тогдашний мещанский образ жизни плохо соответствовал такому человеку, как Кёслинг, а ее образование, которым она, имея за плечами аттестат зрелости и учебу в институте, весьма кичилась, тоже оказалось недостаточным, ибо ей не хватало политического фундамента. Теперь она понимает, что это не могло не кончиться плохо, но тогда она была полна иллюзий насчет воспитания и самовоспитания. Сегодня уже нет таких дурочек, какой она была в этом (то есть в Тильдином) возрасте, говорит Аньола, и потому она может лишь восхищаться молодежью и завидовать ей: молодежь умеет наслаждаться и недолговечным счастьем, ибо трезво оценивает себя и свои возможности, она рано познает, что способности, чрезвычайно важные в одном деле, в другом деле значат мало или совсем ничего. Хотя и ныне любовь возникает где угодно и трудности, барьеры и заповеди мало ее беспокоят, трагедии, в отличие от прежних времен, случаются редко,— возможно потому, что заповеди в наши дни определяются разумом, но наверняка и потому, что все нынче происходит быстрее и любовь тоже сбывается в короткие сроки.

— Поймите меня правильно,— говорит она, стоя за спиной Тильды, которая не поворачивается.— Я не хочу сказать, что вам легче; я хочу только сказать, что считаю вас умнее, чем сама была тогда.

Далее Аньола рассказывает о себе, о своем восторге и преклонении, которые принимала за любовь, о своем желании войти в общество, недоступное для ее подруг, о своем любопытстве и мании всемогущества, то есть о смехотворном своем оптимизме, позволявшем ей думать, что все, чего ей не хватает, можно получить, что любое препятствие преодолимо. Ее вера в собственные силы была так велика, что, даже если бы тогда ее родители нелегально покинули страну, она была бы уверена, что сумеет обойти считающиеся незыблемыми законы государственной безопасности. Сегодня она может называть это ослепление смешным, но смеяться над ним не в силах — слишком горек ее опыт. Она не выдержала испытания, оказалась несостоятельной, а ведь рядом с ней был человек сильный, не такой сложный и беспомощный, как ее сын.

— Если говорить совершенно откровенно,— говорит она, положив руки на узкие плечи своей помощницы, по которой не видно, слушает она или нет,— то должна признаться, что, получив телеграмму, испугалась, что вы — точная моя копия. Но, познакомившись с вами, я поняла, что это вздор. Какое счастье, что вы умнее меня!

Она хочет, чтобы молчаливая слушательница увидела, как она рада, и пытается повернуть ее к себе, но Тильда не поддается, и Аньола, наклонившись вперед, видит, как слезы капают в раковину.

— Ну-ну, зачем же сразу плакать,— говорит Аньола, называет Тильду деточкой, гладит ее по волосам, протягивает носовой платок, спрашивает, что случилось, но не получает никакого ответа.

Последние полчаса празднества «новорожденная» проводит за мытьем посуды, Виктор — за игрой в карты, плачущая — в ванной. Слишком рано подъехавшее такси сокращает расставание, но Тильда все же успевает сказать Аньоле, что она думает.

— Вы ошибаетесь,— говорит она, находя в себе силы даже улыбнуться,— вы ошибаетесь в Викторе и во мне. Он не так слаб, как вы думаете, а я вовсе не лишена иллюзий. Вот увидите.

Виктор, присутствующий при этом, но не понимающий, о чем идет речь, использует долгий обратный путь, чтобы слово за словом вытянуть из Тильды весь разговор женщины с женщиной. Он не признается Тильде, какое неприятное чувство им овладевает. Только просит ее не принимать все это близко к сердцу и поскорее забыть.

Песня жаворонков

Тита довольна, только когда двигается вперед. Ей необходимо быть в пути. От покоя эта беспокойная душа заболевает. Не важно, какова цель — Кляйн-Киц или безымянное местечко,— она всегда спешит. Потому ей так нравится ехать в машине.

— Ну живей же, живей!— кричит она шоферу.

Фрау Кёслинг вместе с сердечными приветами Тильде прислала не только направление, но и служебную машину — большой, удобный автомобиль, который словоохотливый молодой водитель называет роскошной таратайкой.

— Потешим,— говорит он на берлинском диалекте,— бабулю напоследок.

Поля и леса еще покрыты снегом, но солнце уже высушило шоссе; лишь на проселках еще лужи. Тита весела, как давно уже не бывала. Она внимательно глядит в окно, отмечая признаки весны: люди в деревнях уже без перчаток и шапок, окна школ открыты, и по реке Даме ходят баржи. Когда машина пересекает лужу, обгоняет встреч-

ный автобус, она с восторгом колотит по плечу Виктора, сидящего впереди:

— Ты видел, видел? — На Тильду она бросает неодобрительные косые взгляды и сердито качает головой, не понимая, как можно быть такой мрачной. Потом она начинает петь. В песне о переменчивой луне она вспоминает даже давным-давно позабытые строки: «Расцветает и увядает, что с нами землю заселяет». Самый благодарный слушатель — шофер, он заверяет, что, будь у него свободны руки, он не поскупился бы на аплодисменты. Потом он вспоминает поговорку: «Стара, но лиха!»— на что Тита отвечает горделивым смехом.

Деревня, куда они направляются, не больше Гёрца, но более людная. По дороге, ибо тротуары мокры, семенят группки серолицых стариков. Водитель объезжает церковь, потом спрашивает о чем-то прохожих. Ему показывают на незаасфальтированную дорогу, ведущую к деревне. То, что они издали приняли за лес, оказалось кладбищем. Они долго едут вдоль неухоженных могил, затем у шлагбаума дорога кончается. Из окна сторожки им кричат, что посещения разрешены только по воскресеньям. Виктор выходит из машины и предъявляет направление. Шлагбаум поднимается, и они въезжают в город бараков.

Солнце выманило многих стариков на свежий воздух. Они высовываются из открытых окон, сидят у дверей, шаркают в тапочках возле домов. Машина медленно едет между шпалерами стариков. Внутрь проникает скверный запах.

— Ну и вонища,— говорит Тита, морща нос.

За тесно стоящими бараками, построенными, видимо, еще в войну, дорога получше. Посреди сквера высится новое здание дирекции.

— Конечная остановка, всем выходить,— выкрикивает водитель; Тита весело откликается:

— Долой усталость!— и с трудом выкарабкивается из машины.

Пока водитель заводит разговор с одним из мужчин, асфальтирующих площадь между дирекцией и поликлиникой, Тита, Тильда и Виктор идут в дом. Тита, шагающая впереди, хочет вежливо поздороваться с человеком в белом халате, но он кивает на окошко регистратуры и спешит дальше. Особы, сидящей за окошком, не видно, только руки высовываются, берут направление, перелистывают картотеку, выдают номерок и показывают направо. Там стойка, на которую следует положить чемодан. Какая-то женщина проверяет, нет ли в нем чего-нибудь лишнего. Тильде отдают ночную сорочку. На чемодане мелом пишут номер. Мужчина за стойкой забирает чемодан, открывает проход, говорит:

— Попрощайтесь, пожалуйста,— и берет Титу за руку.

— Черт побери, не трогайте меня, я ведь не знаю вас,— успевает сказать Тита, и дверь с матовыми стеклами захлопывается за ней. Когда Тильда и Виктор выходят на улицу, сигарета, которую водитель закурил по приезде, еще не докурена.

Тем временем сутолока между бараками усилилась. Машина еле-еле продвигается вперед, с частыми остановками, так как старики очень медленно отходят в сторону, уступая дорогу. Кругом лица, на которые тяжко смотреть,— не потому, что они уродливые или больные, а потому, что лишены всякого выражения, тупые и неподвижные, с совершенно пустыми глазами, механически следящими за машиной.

Миновав шлагбаум, водитель не прибавляет скорость. Он медленно едет мимо кладбища и тормозит, когда показывается деревня.

— На вашем месте,— говорит он, не поворачивая головы,— я бы сейчас приказал шоферу повернуть обратно, чтобы забрать старую даму. Я бы подумал, что и смерть должна доставить хоть чуточку радости, а ведь ясно, что там это невозможно. Подумайте. У вас есть еще две минуты.

Он выходит из машины, исчезает в кладбищенских кустах, а вернувшись, уже сидя за рулем, спрашивает:

— Ну?

Виктор велит продолжать путь, и он воздерживается от каких бы то ни было замечаний.

Не доезжая до «Нового благоденствия», они выходят в Арндтсдорфе. Озеро, на котором недвижно стоят любители подледного лова, еще покрыто льдом. Виктор с Тильдой пересекают его, длинные тени их скользят впереди. Сидя на причале, на прёцевской стороне, они дожидаются захода солнца и только потом, в обход Майенталя, поднимаются к лесу. Теплый западный ветер, дувший весь день, к вечеру еще больше потеплел, теперь и северный склон начал подтаивать. Лес пришел в движение. На землю шлепаются груды мокрого снега. Освобожденные ветви устремляются вверх. Тощие сучья обламываются. С шуршащих крон падает дождь и снег. Промокшие насквозь молодые люди добрались до «Нового благоденствия» во время ужина. Никем не замеченные, они прошли в комнату Тильды, не зажигая света. В полночь голод погнал их в кухню, где Ольга, словно зная, что за праздник им предстоит отмечать, оставила для них обильный ужин.

Утром они решают, что будничные дела могут и подождать. С восходом солнца они покидают дом (на сей раз в резиновых сапогах), и на топкой пашне их приветствует пение жаворонков. Вздувшаяся река несет льдины и шугу. Вода бурая и мутная. Призраком высится заброшенная мельница неподалеку от дома фрау Бар. Тильда и Виктор бродят по комнатам с выбитыми окнами и дверьми, в мечтах отстраивают все, живут здесь с детьми и кошками, пока шпиц гадалки на картах не прогоняет их яростным тявканьем.

Первые люди, которых они видят в этот день,— двое мужчин в спортивных куртках, расхаживающие возле «Нового благоденствия». Когда Тильда и Виктор сталкиваются с ними на углу стены у Мертвой дороги, они приветливо говорят:

— Доброе утро, товарищ Кёслинг! Вас очень ждут!

Высокий гость

С приездом Викторова отца дом оживает. Несмотря на оттепель, он добрался лесами на санях: трехчасовую дорогу кони преодолели играючи. Щелкая бичом, он въезжает в «Новое благоденствие». Габи и Томас, которых он подсадил в Гёрце, выскакивают первыми. Кучеру, несколько часов бездельничавшему, ибо Я. К. правил сам, и теперь мало что приходится делать. Он наблюдает, как дети распрягают лошадей, осматривает пустующий коровник и присматривает за кормежкой. Я. К. разминает застывшие члены, крепко пожимает руку Ольге, стоящей в дверях, и, широким жестом указывая на кучера и детей, говорит:

— Мы голодны, как волки!

Под свой командный пункт, как он говорит, он занимает клубное помещение, поскольку там стоит телевизор. Теперь он почти беспрерывно включен, хоть и без звука. Видит ли Я. К., что показывают, не определишь. Лишь однажды он комментирует погоду. Беспокоится, какова она будет на обратном пути, но кучер его успокаивает.

Я. К. почти одного роста с Себастианом, только потолще. Он любит поесть,

— Сразу видно, куда все девается,— тут же говорит он, ослабляя пояс, и все смеются. Одному есть скучно, поэтому он приглашает к столу детей, кучера, Себастиана и Ольгу, но не своих сопровождающих. Он очень хвалит крестьянский завтрак, поданный по его заказу с большим количеством сала, лука, и настаивает, чтобы и другие хвалили: словом и действием.

— Еда — дело человеческое, и чем больше ешь, тем человечнее

становишься,— говорит он и, не обращая внимания на протесты, снова наполняет все тарелки. Его огорчает, что Пюппи, как обычно, есть не хочет.

— Быть этого не может,— говорит он, усаживая орущего ребенка к себе на колени.

Таким и застает Виктор отца: в окружении людей, смеющихся над его стараниями научить ребенка есть, а вместе с тем видящих, что слава и власть вполне уживаются с простыми радостями жизни. То есть он видит его таким, как всегда: воспитателем, и, как всегда, это неприятно его задевает. Он стыдится отца и в то же время восхищается им, он бы не хотел быть таким, как он, но считает недостатком, что не может быть таким, как он. В противоположность людям, чувствующим себя польщенными, когда великий Кёслинг ищет их расположения, сын полон протеста. Он понимает отца, но не до конца. Он знает, что маски, хоть и меняются, масками и остаются, однако не знает, что за ними скрывается, ясно только: это сила, способная нагнать на человека страх.

Даже в борьбе с ребенком это подтверждается: жизнерадостность Кёслинга побеждает упрямство Пюппи. Со слезами на глазах девочка не только мужественно проглатывает сало, но и просит, под взрыв аплодисментов, добавки.

И вот происходит встреча с сыном. Она грубовата, однако не лишена сердечности, с похлопыванием по плечу и рукопожатием, но без объятий. Сына, торчащего бог весть где, только не на своем месте, то есть не за работой, отец называет бродягой; самого себя — стариком. Он сбежал из больницы взглянуть на чадо. Времени у него мало: во-первых, врачи строгие, во-вторых, погода собачья. Сани ведь не лодка.

Ольга понимает намек. Она быстро убирает со стола и выпроваживает детей, силой отрывая Пюппи от штанины Я. К., в которую она вцепилась. Выходя, Ольга сочувственно кивает Виктору. Она словно догадывается, что его ждет.

Виктор подавлен, но не испуган. Он и без подготовки знает, как обезвредить наседающую на него силу: надо непротивлением перевести ее на холостой ход. Он с детства так поступает, избегая тем самым взрывов, и привык мириться с презрением к себе, которое Я. К. откровенно выказывает, хотя и считает такое отношение несправедливым: ведь то, что отцу не нравится в сыне, как раз от него и требуется — всегда оставаться объектом воспитания. А вот сейчас отец неожиданно выходит из роли воспитателя. Вызывая растерянность у сына, он требует от него не подчинения, а сочувствия. Виктор не в силах воспринимать нынешнего отца, считающего смешной роль сильного человека, которую он вот только что играл, называющего самого себя рухлядью и развалиной и произносящего такие слова, как «беда», «горечь» и «отчаяние». Он не может ни ощутить, ни проявить желанного сочувствия, а только выжидает, обнаружится ли, какой цели служит эта новая маска, если она в самом деле маска.

Ждать приходится долго, потому что Я. К. образно рассуждает о веревке, перекрывающей ему кислород, а веревка эта состоит из множества волокон. Основа ее, вокруг которой обвиваются другие нити,— предстательная железа, вернее ее заболевание — простатит; Я. К. не в состоянии выговорить это название без иронии. Проклятое воспаление этой дурацкой железы, которая окружает уретру и, опухая, давит на нее, так что моча выходит из пузыря только по каплям, он называет старческой болезнью. Вызываемые ею жгучие боли ужасны, но еще ужаснее прикрытые сочувственными минами ухмылки коллег. Ведь не скроешь болезнь, заставляющую человека с десяток раз покидать трехчасовое совещание. Я. К. знает, что́ о нем думают: тому, кто любил вино, женщин и песни, пришло время только петь! А унизительные медицинские процедуры! Ведь эту болезнь он охотно послал бы к черту, и пока Ян Кёслинг, согнувшись, стоит со спущен-

ными штанами, врач в резиновых перчатках прощупывает задний проход, делая вид, будто не знает, как унижает этим Великого Человека.

Но болезни, говорит отец, если они не смертельны, проходят, или по крайней мере наступает улучшение; остается же опыт, накопленный во время вынужденного покоя: все это нити веревки. Замечаешь, что постарел. Конечно, ты и раньше об этом знал, но теперь знание преображается в опыт. Видя себя нагишом на больничных весах, пугаешься. Замечаешь, что определенных снов ночью уже не видишь, что женщины относятся к тебе по-другому, что быстро устаешь. Пропадает тщеславное желание стать лучше, а время, еще оставшееся в твоем распоряжении, теряет свою бесконечность.

Знаменитое «найти самого себя» Я. К. называет отвратительным занятием, потому что убеждаешься при этом только в своей ненужности. Отсутствуешь два месяца, а работа идет бесперебойно, как прежде. Через две недели отсутствия тебя уже не замечают. Тебя не забывают только из приличия. Механизм, который ты обслуживаешь, в тебе не нуждается. Шеф — это химера. Он не руководит, он только изображает руководителя. Представительствует, потому что ничего другого не умеет. И когда Я. К. затем рассказывает, как он в больнице снова начал читать и при этом осознал, что совсем не понимает молодых, которые якобы должны продолжать его дело, Виктору по звуку его голоса показалось, что время ожидания близится к концу. И действительно, вместе с темой меняются и чувства; сострадание к самому себе исчезает, жалобы превращаются в обвинение. Я. К. сердится на новейшую историографию. То, что одобрительно называют ее дифференцированностью, он ставит ей в упрек, потому что это сбивает с толку. Он — за старые добрые черно-белые краски. Ведь давно было ясно, что случилось с Пруссией; а теперь опять пишут диссертации об этом, вернее — должны писать, но не пишут.

— Или я неверно информирован?

Зная, что положительным ответом обидит отца, Виктор спешит согласиться с этим грустным фактом, но тут же находит в нем и позитивный аспект: близость к нашим людям, которую он обрел благодаря стихийному бедствию, способствовала его закалке, во всяком случае как человека, а возможно — и закалке его сознания, поэтому отставание в работе хотя и огорчительно, но не так страшно, ибо теория значит много, однако практика — еще больше, так что приобретение опыта перевешивает недополучение знаний и, покидая пансионат, он будет чувствовать себя обогащенным.

— Пожалуй, я за эти недели повзрослел,— говорит он, по возможности серьезно и скромно, чтобы вытравить из подготовленной сперва фразы: «Я уже не ребенок, которого водят на помочах!»— малейший налет неуважительности, что, по-видимому, ему удается. Ибо Я. К. остается спокойным, не отводит глаз от телеэкрана и деловито спрашивает:

— Ты и жениться собираешься?

Вместо того чтобы ответить, Виктор перво-наперво восхищается осведомленностью отца, затем растерянно произносит несколько неоконченных фраз (типа: «Ах, знаешь...») и в конце концов начинает витийствовать: он взваливает на отца заботы, которые угнетают якобы его, а на самом деле скорее Я. К., отводя тем самым неизбежные поучения, обращает воспитателя в своего наперсника, избегнув таким образом необходимости противоречить, чего, как он знает, Я. К. не выносит. Так конфликт между привязанностью и долгом переносится с отношений между отцом и сыном на самого Виктора, который, по его словам, может на этом и сломаться, если не будет найдено решения (чего он, правда, не опасается — ввиду отсутствия антагонистического противоречия).

Один из вопросов — любовь — мужчинам незачем подробно обсуждать, достаточно краткого диалога:

— Ты полагаешь, тебе нужна именно она?
— Уверен!

На втором вопросе Виктору приходится остановиться подробнее, не только потому, что он сложнее, но и чтобы проверить, насколько отец готов помочь. Не без энтузиазма описывается молодая тружени-ца, со всех точек зрения заслуживающая того, чтобы носить фамилию Кёслинг, но все же имеющая два изъяна, которые (как верно заметила мать) сами по себе и не изъяны вовсе, но могут стать таковыми, если учесть зарубежную дипломатическую службу. Во-первых, это нехват-ка образования, особенно в области иностранных языков и политики, что, конечно, при достаточном волевом усилии можно наверстать, а во-вторых, семейные связи, которые, если быть точным, вовсе не за-служивают этого наименования, но тем не менее, исходя из существу-ющих постановлений, имеют место, и потому брак человека, которо-му предстоит такая карьера, они затрудняют.

Полуфраза: «брак исключают», которую Я. К. в порядке поправ-ки тут произносит, почти не слышна, потому что телевизор, до сих пор молча сменявший свои картинки, вдруг громко подает голос. В то время как «Всемирные новости» предоставляют слово букковским агрономам, Виктор соглашается с отцом; при этом он вынужден уве-личить собственную громкость, что значительно снижает выразитель-ность демонстрируемой им муки. Поэтому он больше не перебивает старательных сталеваров и встреченного овацией оратора, а пережида-ет новости культуры, у которых снова отнимают голос, но развить свои рассуждения о духе и букве постановлений он не успевает, ибо Я. К. быстро догадывается, к чему он клонит, и грубо его прерывает: да, конечно, эти меры безопасности в самом деле касаются не всех, а лишь немногих, но уже для них-то действуют неукоснительно, будь их фа-милии Краузе, Лунц или Кёслинг; однако тот, кому девушка, чья мать живет в Западной Германии, дороже профессии, может от этой про-фессии отказаться; ведь в нашей стране работы хватает.

Телевизионное сообщение о погоде прерывает разговор, а по-скольку Виктор с пониманием кивает и выглядит озабоченным, отец вновь смягчается. Взятый им тон — он считает его товарищеским — точно такой же, каким он вызывает доверие любого собрания: мяг-кий, несколько приглушенный, произнесенные этим тоном фразы ти-па: «Мы ведь тут все свои» или: «Это не для распространения!»— зву-чат особенно убедительно. Он пускает в ход и предназначенный для тугодумов метод аргументации в виде вопросов и ответов, повторяет наиболее важные слова, затем, совсем во вкусе молодежи, заверша-ет все простонародной грубоватостью.

Итак, он задается вопросом, как обстоит дело, считает, что очень серьезно, но не безнадежно, и в качестве решения советует: терпе́ние, терпение. Ведь что мы имеем? Большую любовь, которая, как ошибоч-но думают, никогда не повторяется, или синдром воздержания? Хотя тут скорее имеет место второе обстоятельство, сексуальная потреб-ность, которая спутывает все чувства, кроме одного, парализует ра-зум, затуманивает способность суждения и на первый план выдвига-ет цели второстепенные, решить это совсем непросто. Конечно, если во всей округе не видно другой девушки, в глазах того, кто ведет мо-нашескую жизнь, горничная очень легко может показаться богиней любви, но ведь так быть не должно, так не должно быть. Что же де-лать? Отец знает лишь одно: надо сохранять спокойствие, ждать, по-ка вернется способность рассуждать здраво, не делать ничего необра-тимого, другими словами: выиграть время. Только время может дать уверенность, которой ищет Виктор. Будь он, Я. К., на месте Виктора, он бежал бы отсюда как можно скорее и как можно дальше, на год или на два, а потом призвал бы в судьи время. Если любовь пройдет за это время, значит, то была не любовь, если же останется, Я. К. го-тов с этого же места возобновить разговор, но более обоснованный.

Однако он не верит. Он старый человек, говорит он, с богатым опытом; он знает жизнь и любовь, а еще знает, что и сын его всегда будет искать, но никогда не найдет большой любви и что все тревоги, все муки приведут его к прописной истине: все было напрасно. И хотя любая женщина имеет свои особенности (в чем и состоит ее притягательная сила для мужчины), они несущественны и недолговечны. А потом с усмешкой цитируется та грубая поговорка, которая все женственное сводит лишь к одному органу и лаконично резюмирует: все одинаковы.

Улыбку, которой Виктор, следуя своему замыслу, отвечает на эту бессмыслицу, можно тут же убрать, так как беседу между отцом и сыном нарушает Пюппи. Она держит в руке что-то жареное, подбегает к старшему Кёслингу, взбирается к нему на колени и хочет продолжить игру под названием «Еще! Еще!». Она прихватила и необходимую для игры публику: Ольгу, которая хочет сказать, что кучер уже торопит с отъездом, и фрау Эрику, которая широко раскидывает руки, но до объятий все же дело не доходит. Глаза фрау Эрики полны радостных слез, вызванных встречей, она приглашает все общество к себе в комнату, где уже благоухает кофе, в хрустальной вазочке горкой высится печенье и — очень тихо — звучит музыка.

Тильда наливает. «Ага»,— говорит отец Виктора, услышав ее имя, и ни слова больше. Он и взглядом ее не провожает — сын поначалу обижается, но потом пробует посмотреть на девушку глазами отца, что ему на удивление хорошо удается.

Все свое обаяние Я. К. тратит на фрау Эрику. Он подхватывает любую реплику, которой она напоминает о былом, и выстраивает целые истории. Он и ей дает возможность рассказывать, много смеется по поводу бедного, но прекрасного прошлого, которое называет золотыми пятидесятыми, намекает на обстоятельства, понятные только фрау Эрике и заставляющие ее со смехом протестовать, затем демонстрирует сосредоточенную серьезность, когда этот зануда Себастиан заговаривает о пансионате: о его запущенном состоянии, доставляющем мало радости персоналу и гостям, о недопустимой нехватке кадров.

Если б существовало хоть малейшее сомнение в неподкупности Себастиана, Виктор бы подумал, будто критика специально заказана для того, чтобы обеспечить высокому гостю достойное отступление. Во всяком случае, лучшего он сам не мог бы себе пожелать. Он отодвигает в сторону кофейную чашку(из которой, ввиду строгости медиков, пил только молоко), говорит: «Ну-ка посмотрим!»— и вместе с Себастианом, в сопровождении всех остальных, начинает обход дома и двора. При этом он часто морщит лоб, качает головой, о чем-то спрашивает, что-то записывает. Восклицание: «Здесь же полно неиспользованных резервов!»— звучит многообещающе.

Сани уже запряжены. Я. К. пожимает каждому руку. Пюппи он целует, Виктора обнимает.

— Посмотрим, что тут можно сделать,— говорит он, уже сидя в санях, неизвестно, к кому обращаясь. Затем щелкает кнут. Кони встряхивают гривами и трогают с места. Весь персонал «Нового благоденствия» стоит у ворот и машет вслед великому Кёслингу.

Воскресная прогулка

Светлой рани весеннего утра не хватает только зелени. Не думая о цели, Виктор радуется дороге. Тильда этого не умеет, но, чтобы не портить Виктору настроения, она уже научилась скрывать свою подавленность.

Они рано встали, забрали в гёрцевской оранжерее заказанный заранее букет и теперь на велосипедах катят к вокзалу, подталкиваемые в спину ветром, навстречу огромному красному солнцу, висящему в белесо-голубом небе. Деревни еще безлюдны, только трубы на

крышах дымят, где-то залаяла собака, с шумом слетает с дерева стая птиц. Виктору хочется петь или насвистывать, но он не делает ни того, ни другого, так как ему важно показать Тильде, что́ именно его радует. А радует его даже поезд, такой пустой, что можно целоваться без свидетелей.

Он долго старается заразить Тильду хорошим настроением, но тщетно. Хотя он знает, что ее гнетет (то же самое ведь и его угнетает, только он умеет это скрыть), он спрашивает, что с ней, и терпеливо выслушивает ее жалобы, кружащие вокруг Титы. Для него это не новость; он слышит их ежедневно и знает, что ему лучше молчать. Надо только слушать, а это он умеет.

Насколько он сам боится этого визита в дом инвалидов, Виктор отдает себе отчет, лишь когда они по дороге к барачному поселку встречают первых стариков. Кладбище, мимо которого приходится идти пешком, кажется ему бесконечным. У шлагбаума он понимает, что сумеет вытерпеть отвращение только в том случае, если отключит нервы, сделается бесчувственным, если выбросит из головы это жалкое существование, опрокидывающее его картину мира. Ничего не говорить, ни до чего не дотрагиваться, едва дышать; что бы он ни видел, ни слышал, ни обонял, он должен думать о другом,— только так он сможет продержаться.

Первая полученная ими справка неверна. Титы нет в третьем отделении — в новой части поселка, где в светлом холле полно народу, звучит музыка и все двери открыты. Она в барачном квартале, в тринадцатом отделении. Там мертвая тишина. Сиделка никогда не слышала имени Титы, но у нее есть списки, где она, поискав, и находит фамилию Людериц. По безоконному коридору она ведет их в конец барака. Здесь у стен рядком сидят старые женщины, молча и неподвижно. Тильда беспомощно смотрит на Виктора, но он прячет глаза.

У постели Титы защитная позиция Виктора оправдывает себя. Он видит серые, запавшие щеки, рот словно бы стал меньше, а подбородок — длиннее; вот так выглядят покойники, думает он, но ничего при этом не чувствует. Тильдины попытки разбудить спящую безрезультатны, веки Титы только чуть вздрагивают, поднимаются и снова закрываются. Броня Виктора так тверда, что его не трогают даже страдания Тильды. Ему кажется, что он здесь лишний.

Из летаргии его вырывает запах кала. Он медленно поднимается и идет к двери, но она без ручки, зато можно открыть окно, забранное снаружи решеткой. Освежающий холодный воздух оживляет его, но пугает одну из восьми старух. Она по-детски складывает руки и умоляет закрыть окно. Ее соседка тоже просыпается и начинает плакать.

Чтобы не видеть напоминающие о смерти лица, Виктор не сводит глаз с Тильды. Она в отчаянии снова и снова зовет Титу по имени, берет ее за руки, гладит ей лоб, но — увы!— только веки приподнимаются и открывают глаза, тусклые, затуманенные, без всякого выражения. Напрасная поездка, говорит про себя Виктор, глубоким дыханием превозмогая тошноту, и надеется, что время посещения скоро закончится.

Сиделка кладет конец его мукам. Она ставит цветы в вазу и дает понять Тильде, что ее попытки пробудить сознание бабушки бесполезны.

— Надо было предупредить по телефону, что вы приедете,— говорит она,— тогда мы не давали бы ей сегодня медикаментов.

Теперь Виктору становится стыдно за Тильду, потому что она слишком громко и сердито спрашивает, какими ядами опаивают Титу. Но сиделка не уполномочена давать такие справки. Она направляет ее к молодой докторше, на лице которой лежит отпечаток окружающего ее страдания. Сперва она пытается приветливо выслушать возмущенные вопросы Тильды, но, получив наконец возможность гово-

рить, отвечает тоже чересчур громко. Да, говорит она, дело действительно обстоит так, как предполагает Тильда: неизлечимое старческое слабоумие смягчается медикаментами, стремление к бегству сдерживается, химиотерапия восстанавливает внутреннее и внешнее спокойствие. Конечно, летаргия и неподвижность не полезны старикам, напротив. Но чтобы удлинить им путь к могиле, требуется куда больше обученного персонала, в пять, а то и в двадцать раз больше. Этим людям пришлось бы постоянно жить со стариками, работать и разговаривать с ними, играть и гулять. Теперешний же персонал успевает сделать только самое необходимое — кормить тех, кто сам уже не в силах есть, поддерживать чистоту и обмывать покойников. Этот труд никакими деньгами не оплатить; эту близость к беде, распаду, смерти даже золотые горы не окупят. Прежде чем выступать здесь с обвинениями, не мешало бы сперва спросить себя, можешь ли ты и хочешь ли помочь.

— Если б вы обещали мне ежедневно приходить сюда на два часа,— язвительно сказала докторша,— чтобы поухаживать за бабушкой, я бы с радостью уменьшила дозы химии.

Она даже не спрашивает, считают ли Тильда и Виктор это возможным,— ответ она и так знает. А тот, у кого нет времени для своих близких, продолжает она горячиться, пусть винит самого себя. Пусть честно скажет: нашему деловитому миру больная старуха не нужна. Пока она ведет хозяйство и занимается детьми, она необходима, а когда сама нуждается в уходе, ее отправляют в дом престарелых, иными словами: приговаривают к смерти. Вина старухи — неспособность работать; кара — изгнание и лишение собственности. Она должна покинуть родные места и родной кров, поселиться в чужом доме, среди чужих людей, да еще и пережить, как ее лишат и любви. Вначале ее навещают раз в месяц, потом два-три раза в год, потом вовсе перестают навещать, трудолюбивые дети забыли ее. Известие о смерти — лишняя докука, ведь для родных она давно уже мертва.

— Когда я вижу, как с каждым днем на их лицах все сильнее проступают печаль и страх,— говорит врач,— наркотические средства, помогающие забыться, кажутся мне наилучшим утешением.

Виктор выходит из оцепенения, в которое сам себя погрузил, лишь когда бараки и могилы исчезают из виду. Его радует, что весь этот ужас позади, что солнце светит ему в лицо, что рядом — девушка, которую он любит. Он хочет сказать, что никогда еще в такой мере не ощущал, как прекрасно жить, но не говорит, ибо Тильда молчит, и он не решается обратиться к ней. В поезде он не выдерживает молчания, но своей радости тоже не выказывает. Он опровергает докторшу, винит ее во враждебности прогрессу и достижениям, объясняет, что каждый человек, стало быть и Тильда, имеет право на собственную жизнь, твердит, что Тита уже не понимает, в каком она состоянии. Но утешить Тильду ему не удается. Она смотрит на него так, словно перед глазами у нее все еще мертвый облик Титы, иной раз молча обнимает его.

Возвращение в «Новое благоденствие» скрашивает закат солнца. Последними его минутами (кроваво-красными пятнами позади черных стволов сосен) Виктор любуется уже из окна своей комнаты.

Когда из леса нарастает темнота и на светлом еще небе появляются первые звезды, в его дверь громко стучат, словно молотом бухают. Это Себастиан, ревнивый страж. Правда, пришел он не для новой дуэли, а передать известие, полученное утром по телефону,— телеграмму, которую он записал и теперь вручает с радостным лицом. Он дожидается, пока Виктор прочтет, желает доброго пути, отвешивает поклон, сняв воображаемую шляпу, и выражает надежду, что никогда больше не увидит своего соседа.

Муки прощания

Состояние Виктора в этот вечер вполне можно сравнить с состоянием человека, получившего ранение: в момент удара испуг не дает почувствовать боли; прежде чем нерв просигнализирует боль, факт ранения должен дойти до сознания; зато уж потом она вступает в полную силу, овладевает всем существом, целиком заполняет душу; все чувства сводятся к одной только боли, разум молчит, мыслительный аппарат выходит из строя, ничто, кроме боли, сознанием не воспринимается, даже время, которое тем не менее течет, как всегда, выполняя при этом свою эрозионную функцию: оно медленно уносит частицы боли, подтачивает ее власть, переносит в область привычного и расчищает снова место разуму, то есть возникают мысли о необходимости остановить кровь, перевязать рану, обратиться к врачу. А попросту говоря, Виктор, которого телеграмма сперва начисто лишила способности думать и действовать, целый час предается боли разлуки, но потом находит способы уменьшить эту боль.

Один из них, например,— разъяснить Тильде характер своего страдания. Изобретенная им теория пластов, разумеется, всего лишь искусственная конструкция, которая наглядности ради делит неделимое, то есть проводит границы там, где их нет. Первым здесь возникает воображаемый пласт боли от сознания того, что вся красота, вся ценность, весь смысл жизни пропадут, если — уже с завтрашнего дня!— ты потеряешь возможность видеть, слышать, ощущать рядом человека, которого любишь. Это сознание, уже само по себе достаточно скверное, все же переносимо, ибо временами оно прерывается внешними обстоятельствами, заставляющими человека думать и о других вещах, и в конечном счете выключается сном — в противоположность другому пласту, подсознанию, которое постоянно источает черный мрак и всякий раз, когда сознание на минутку отвлекается от муки, тут же покрывает черной тучей светлый проблеск и внезапностью своей порождает третье: агрессивное вторжение в физическую область — возникает телесная боль, не поддающаяся локализации. То ли это сердце, что бешено колотится или судорожно сжимается, то ли голова, живот или застой крови? Неизвестно. Можно только догадываться, что вывести из этого состояния способна лишь активная деятельность.

И Виктор приступает к ней,— разумеется, не оспаривая принятого (ему уже известно где) решения и не предаваясь непривычной муке выбора; он знает: чтобы заставить кого-то действовать, надо действовать самому, и оттого окунается в организаторскую деятельность — улаживает вопрос об отъезде, пакует чемоданы и коробки, чтобы потом демонстрацией своей боли уменьшить ее силу.

Но здесь по вине Тильды его настигает новая боль. Вместо того чтобы утешать его, она полностью замыкается в себе. Телеграмма, повелевающая ему прервать рабочий отпуск и в понедельник утром быть в Берлине, чтобы вскоре вылететь за границу, вызывает испуг на ее лице, а на вопрос, что ему делать, она отвечает: «Ты же давно это знаешь»— и тут же замолкает, потому что начинает плакать. Она плачет и плачет, не удостаивает его ни единым словом, ни единым взглядом, уничтожая тем самым всю красоту, какую может нести в себе прощание. Она обвиняет — не словами, но слезами. То, что он уже попросил Хельгочку подвезти его в столицу, она воспринимает как предательство. Чтобы не видеть обезображенное слезами, всхлипываниями, сморканием лицо, он прижимает ее к своей груди. Он гладит ее волосы и говорит, тихо и монотонно, с закрытыми глазами. Снова и снова уверяет ее в своей любви, в том, что прощаются они не навсегда, что перед отлетом он еще приедет, а может, и вовсе никуда не улетит. Он обещает ежедневно писать, ни на минуту не забывать ее и вскоре вызвать к себе. В оставшиеся полчаса говорит лишь он один, она же только плачет.

Это отдаляет ее от него, ведь он плакать не может. Слезами, считает он, она хочет доказать, будто страдает больше его. Она уродует себя, чтобы его наказать. Плача, она сваливает на него вину. Чтобы его помучить, она отказывается от объяснений, но достигает обратного эффекта: он, с которого и без того хватает мук, бежит их, внутренне отворачивается от плачущей.

После такого напряжения приятно посидеть еще несколько минут у фрау Эрики, где все как обычно. Пьют кофе, ему протягивают бонбоньерку, полыхает электрический огонь, тихо звучит проигрыватель. Фрау Эрика по случаю первого дня весны вся в небесно-голубом, тоже чувствует боль расставания, но никого этим не мучает — ни себя, ни Принца. Она ведь хорошо знает, что всякое прощание означает новую встречу, всякий конец — новое начало, и даже сама смерть — всего лишь преображение. И есть ли, спрашивает она, лучшая пора для прихода и ухода, чем весна, когда измененный солнечный ритм пронизывает и омолаживает все живое, и человек тоже, клеточка за клеточкой, может обновиться? Он только должен раскрыться навстречу чудодейственным лучам, полностью раскрыться. И чтобы показать, как именно человеку следует слиться с природой, она расслабленно откидывается в кресле, закрывает глаза и внятно дышит: ровно и глубоко, очень глубоко и с открытым ртом.

Она знает и понимает, что сердце у Принца болит. У нее есть средство от этого — одно-единственное слово, но оно способно творить чудеса, если его почаще повторять мысленно и вслух. Словечко это —«достаточно». Надо лишь правильно его понимать — в прогрессивном смысле, в смысле движения вперед и вверх, а не в смысле губительного отчаяния. Такое «достаточно» произносит первооткрыватель, покидающий исследованный остров, чтобы искать новый, неизвестный; такое «достаточно» произносит художник, неудовлетворенный своим детищем, но отдающий его миру, потому что его зовут новые творения, в которых он надеется достичь совершенства,— надеется он, как известно фрау Эрике, конечно же, тщетно.

Хельгочке надо переодеться в дорогу, и Виктор становится лицом к окну. И, как в зеркале, видит, что фрау Эрика подходит к нему сзади почти вплотную. Приблизив рот к его уху, она шепчет ему напутственные советы, которые он понимает лишь наполовину. Речь идет о вершинах, которых он достигнет с трудом, но покинет без грусти, о грубом сегодня и чистом, утонченном завтра, а также о высоких сферах, где люди стремятся не к тому, чтобы иметь, а к тому, чтобы быть, где воля направлена лишь на возбуждение желаний и где зреет понимание того, что счастье не в достигнутом, а только в стремлении к нему.

Наконец Хельгочка готова. Чемоданы и коробки уже в машине. Величественным жестом фрау Эрика протягивает своему Принцу руку для поцелуя, который смышленый ученик лишь имитирует. Ольга со спящей Пюппи на руках, Габи и Томас вышли во двор помахать на прощание.

— Мануэла,— объясняет Ольга,— не придет, потому что у нее зареванный вид; с тех пор как она узнала, что ты уезжаешь, она ревет и ревет, и поэтому не может показаться людям на глаза.

Отсутствие Тильды со страшной силой обостряет Викторову боль. Хотя мотор уже включен, он снова бежит в дом. Дверь Тильды заперта, но на его стук она тотчас открывает. Они кидаются друг к другу, крепко обнимаются и долго стоят так, пока за Виктором не приходит Габи.

Виктор чувствует остатки Тильдиных слез на шее и щеках лишь тогда, когда Хельгочка молча протягивает ему платок. Он восхищается ловкостью, с какой она одолевает повороты топкой Мертвой дороги, но похвала ее не трогает: ведь ездит она тут уже много лет.

Официальное

Собеседник Ольги сидит за письменным столом, который пуст, если не считать его скрещенных рук; голова у него почти совсем лысая, на подбородке два пятнышка засохшей крови. Взгляд Ольги невольно то и дело цепляется за эти издержки утреннего бритья, тогда как его взгляд устремлен мимо нее на стену, где в качестве единственного украшения висит портрет главы государства.

Человек за письменным столом — глава общины. Фамилия его Мюллер, в молодости он учился на каменщика, но работал потом скупщиком скота, председателем кооператива, завмагом, пока ему не показался более достойным пост бургомистра, на который других желающих не было. На этой ошибке он заработал язву желудка, и от постоянных болей у него всегда плохое настроение, которое он вымещает на других, в результате чего у них тоже портится настроение, а это в свою очередь усугубляет его болезнь. Поправиться господин Мюллер мог бы, перейдя на новую работу; но поскольку замены нет, его не отпускают. В мечтах он видит себя инвалидом. Спасти его могло бы и предоставление бургомистру полномочий полиции. Тогда внизу, в деревне, он мог бы раз и навсегда пренебречь обоснованием отказов в удовлетворении ходатайств и объяснением предписаний, которые получает наверху, в районе, и зачастую сам не понимает.

У него вошло в привычку на дерзкое требование объяснений отвечать односложно. Обходясь дома ворчанием разной тональности, на службе он берет на себя труд складывать настоящие слова, которые, нередко в ущерб логике разговора, использует как формулы. Так, например, когда Ольга объясняет, что пришла подать заявку на похороны фрау Людериц, он говорит только «Нет!»— это сокращение обозначает отказ любого рода; то же самое он произносит, когда Ольга, думая, что ее неверно поняли, повторяет свою просьбу. Лишь при третьем «нет» она спрашивает: «То есть как?»— в ответ на что следует четвертое «нет», но уже сопровождаемое действиями.

Руки бургомистра отделяются от стола и друг от друга, выдвигают ящик, достают документ и пододвигают его к Ольге. Теперь она может прочитать то, чего не услышала. Речь идет о постановлении номер 79 тире 13 совета общины Гёрц, где в пункте 3, который как раз закрыт пальцем господина Мюллера, сказано, что место на кладбище вправе получить лишь тот, кто прописан в полиции общин Гёрц или Прёц. Стало быть, сразу понимает Ольга, Тита такого права не имеет, ибо при переезде в инвалидный дом она отсюда выписалась.

Мнение бургомистра, что аудиенция тем самым окончена, Ольга не разделяет. Пока он убирает документ на место, снимает с полки папку и листает ее, Ольга, демонстрируя спокойствие, закуривает сигарету и фразой «Да вы просто шутите!» начинает длинную речь, в которой, наряду с правом на родину и после смерти, упоминаются и пеленки господина бургомистра (в которых он еще лежал, когда покойница велела выбить свое имя на надгробном камне супруга), и рука министерств, длиной своей, по мнению Ольги, намного превосходящая руку главы общины.

Заметного эффекта она этим не достигает. Мюллер безмолвствует и когда звучит фамилия Кёслинг. С толку его сбивает только взгляд Ольги, то и дело останавливающийся на засохшей крови. Он берется за подбородок, ощущает шершавость, потирает ее, ранки снова открываются и расцвечивают красными пятнами его носовой платок. Возможно, именно об этом вспоминает Ольга, когда, вернувшись в кухню «Нового благоденствия», называет бургомистра не только бюрократом и чудовищем, извергом и чертом, но и кровавым псом, а Себастиана, который в сопровождении Тильды собирается еще раз в контору, напутствует добрым советом:

— Убей его!

Но такого случая не представляется. Ибо из многочисленных способов избежать неприятных разговоров господин Мюллер избрал самый верный: он исчезает. Секретарь общины, фрау Фидлер, предполагает, что он дома, но там считают, что он на службе. Продавщица магазина, где он часто сидит за стаканом молока, отсылает их к полицейскому, который якобы видел его возле телятника, где совершенно точно известно: он у себя в канцелярии. Поскольку каждый считает своим долгом выразить соболезнование и помянуть Титу добрым словом, тем временем наступает пора обеда. Фрау Фидлер, работающая на полставки, собирается уходить. Теперь она не сомневается, что Мюллер уехал в район; стоящая перед его домом машина ни о чем не говорит: он мог (ради экономии бензина) попросить кого-нибудь подвезти его.

— Подождите минутку,— говорит Себастиан секретарше, уже надевшей пальто и позвякивающей ключами. Садится на стул бургомистра, не спеша листает телефонную книгу и набирает номер.— Звонят из совета общины Гёрц,— говорит он, глядя на фрау Фидлер.— Речь идет о покойной фрау Людериц. Скажите, пожалуйста, когда вы привезете гроб? Дело в том, что кладбище трудно найти. Нам нужно знать точное время прибытия, чтобы кто-нибудь из членов семьи встретил машину у въезда в деревню.

Он кладет трубку, спрашивает, есть ли у фрау Фидлер ключ от мертвецкой и, получив в ответ немое покачивание головой, говорит: это не имеет значения, у него достаточно инструментов, чтобы открыть двери.

Майенталь

Утром в день похорон все думают о Викторе, но, пока Тильда сидит за столом, никто о нем не заикается. Она послала ему телеграмму о смерти Титы; он не ответил; несмотря на это, все его ждут.

Благодаря Ольге за завтраком не царит тишина. Историю, которую она рассказывает (о гёрцевском бургомистре, не разрешившем привезти покойницу), за столом все кроме одного человека знают, однако же всем интересно послушать, каким манером Ольга ее передает. Она переиначивает ее на свой собственный лад, и всякий раз, когда на сцене появлялся Себастиан, она заменяет его имя обобщающим «мы».

— Одного нашего звонка было достаточно, чтобы добиться законного права,— говорит она.— И когда около полуночи гроб наконец был на своем месте, этот мерзавец не посмел сказать ни словечка. Он и не пикнул, словно язык прикусил. Даже не потребовал возмещения расходов за ремонт замка.

Человек за столом, который еще не знает истории о победе человечности над бюрократической тупостью и ради которого, собственно говоря, она и рассказывается,— это седой мужчина в очках по имени Хорст. Поскольку он новый шеф, то сидит на том месте, где раньше сидел Макс,— во главе стола. Хорст родом из Лаузица, это слышно сразу, как только он открывает рот, что, правда, случается редко. Он скуп на слова, скуп на жесты, а смеха его вообще никто не слышал. Себастиан утверждает, что в его присутствии ему всегда хочется зевать, Ольга же, чья терпимость к своеобразию мужских характеров не знает границ, одобрительно называет Хорста солидным мужчиной и удивляется, как это от него могла уйти жена (по слухам, дошедшим сюда еще до его прибытия). Она возлагает на него большие надежды. Человек, с чьим вступлением в должность началась обещанная Кёслингом Старшим модернизация, сможет, думает она, своим влиянием воспрепятствовать грозящему ей переводу на Одер. Надо только показать, что она обладает тем, чего ему наверняка не хватает: пробивными способностями.

Вот почему бургомистра победила именно она. Вот почему в голосе ее звучит металл, когда она отправляет детей в школу, выпроваживает из кухни строителей или не разрешает Пюппи взобраться на колени к Хорсту. Фрау Эрике (которую даже шум и грязь стройки не смогли изгнать из «Нового благоденствия») и той приходится ощутить на себе вдруг пробудившуюся Ольгину решительность. Когда она, по случаю похорон одетая в темные тона, явилась перед завтракающими, чтобы объяснить причины, не позволяющие ей участвовать в погребальной церемонии, Ольга грубо перебила ее замечанием, что каждый сам должен знать свой долг перед покойной, и выставила из кухни.

Лишь когда Хорст тихо, как и пришел, выходит из кухни, голос Ольги снова становится нормальным. Ей надо еще обсудить вопросы; надо постучать в дверь фрау Эрики, чтобы ради бедняжки Тильды та направила Виктора на кладбище — если он все-таки приедет; надо позаботиться о поминальном обеде; надо переодеться. Едва она управилась, приходит пастор.

Рабочие создают не только строительный, но и радиошум. В заново пробитых оконных проемах хлева, перестраиваемого в спальни, они вмонтировали громкоговоритель, из которого с грохотом несется музыка. Она захлестывает полный тачек, куч цемента и мусора двор, сопровождает траурную процессию по Мертвой дороге и слышна даже над кладбищем.

Их четверо — две пары, как считает Ольга; впереди идут Тильда с пастором, позади Себастиан и Ольга. Пастор, наполовину лысый, сперва разочаровал Ольгу — он не соответствовал ее представлениям о священнослужителе; но в «Новом благоденствии» он накинул на себя облачение и теперь (хотя прижимает под мышкой молитвенник) выглядит вполне достойно. Трое остальных несут в руках букеты желтых нарциссов — других цветов в гёрцевском садоводстве сейчас нет. Тильда рассказывает подробности из жизни Титы. Отвечая на вопрос о том, что бабушка особенно любила, Тильда вспоминает песенку о переменчивой луне,— это очень заинтересовывает пастора, он просит напеть ее; Тильда исполняет его просьбу, но вскоре вынуждена прерваться — требуется носовой платок. Чтобы отвлечь ее, пастор рассказывает о себе: он любит старинные песни, собирает забытые, но и такие, как эта, еще не совсем старые. Эта песенка напоминает ему более известную: «Как любо, голубка, с тобою, обнявшись, сидеть при луне». Это настоящий бидермайер — время, как он считает, чем-то похожее на наше.

Объяснение этого «чем-то» Ольгу не интересует. Она все равно может слушать только вполуха, потому что и Себастиан беспрерывно говорит. Его тема — заросли, будущий парк, который строители превратили теперь в гравийные насыпи. И тема эта имеет свои преимущества, так как дает ему возможность часто, как бы невзначай оглядываться на «Новое благоденствие». Большей частью он это делает, слыша шум мотора, но видит только грузовики, доставляющие материал; малолитражки из Гёрца, везущие людей на похороны.

Когда они подошли к опушке леса и зашагали вверх по крутой тропинке, на Мертвой дороге появляется большая машина с одним пассажиром. Даже Тильда, до сих пор не поддававшаяся желанию оглянуться назад, не выдерживает, останавливается, как и Себастиан с Ольгой, и только пастор, рассуждающий о спокойной поверхности и бурлящих глубинах далекого времени, продолжает путь. На узкой дорожке, разделенной ступенями на неравномерные отрезки, все трое, стоя друг за другом, ждут Виктора: Себастиан в черном костюме, по-видимому купленном еще к конфирмации; Ольга в черных чулках, черный шляпе и сером, слишком теплом зимнем пальто; Тильда в длинном черном шелковом платье, в котором она похожа на ребенка, играющего в бабушку, хотя его и переделывали в последнюю минуту.

Однако из машины выходит женщина. Издали она кажется молодой, но по мере приближения это впечатление пропадает. Ольга и Себастиан, которые не знают ее, считают неприличным стоять и глазеть на нее. Они снова пускаются в путь, но вскоре останавливаются, так как Тильда за ними не следует. Женщина прислоняет тяжелый венок к дереву, смущенным жестом поправляет свежую прическу, подходит к шагнувшей ей навстречу Тильде и обнимает ее.

— Дитя мое,— говорит она так громко, что даже пастор, уже стоящий среди могил, слышит.

Поэтому во время траурной церемонии в часовне он обращается не только к внучке, но и к дочери покойной, чем вызывает движение среди гостей, поскольку каждый из жителей Гёрца, Прёца, Шведенова или Липроса хочет увидеть столь долго пропадавшую беглянку. Пастор сбивается, комкает описание тяжкой, но наполненной жизни усопшей, а поскольку беспокойство среди публики нарастает, он быстро заканчивает надгробную речь и все поют псалом.

Наверху, у открытого склепа, перед могильной плитой с давно уже выбитым именем покойной, пасторскому голосу трудно достичь ушей паствы. Мешает не порывистый ветер, развевающий облачение, а ревущие моторы грузовиков, которые сваливают неподалеку отбросы. Пастор, не впервые совершающий здесь похоронный обряд, научился устремлять взор поверх мусорных свалок к верхушкам деревьев и в даль полей, но против акустических помех он бессилен. Его молитвы тонут в шуме моторов, и, как бы громко ни пел он «Иисус, мой оплот», ему не пробиться сквозь бряканье катящихся вниз по склону тысяч пустых консервных банок.

В туче пепла и обрывков бумаги Тильда и ее мать принимают соболезнования. Соболезнующие дисциплинированно выстраиваются в очередь, каждый выполняет свой долг и быстрым шагом скрывается за спасительной горой. К тому времени, как могильщики, среди них и Грипенкерль, заканчивают свою работу, у могилы остаются только Тильда и Себастиан, на которого в последний час снизошло новое озарение. У могил, заявляет он, вытирая с бороды слезы, люди оплакивают не усопших, а свою будущую смерть, о которой напоминают похороны. Тильда покрывает могильный холм букетами нарциссов и укладывает венки так, чтобы можно было прочитать надписи на лентах. Самый красивый венок — от «благодарной дочери», а самый большой — от фрау Эрики Шульце-Деккер с изречением на ленте: «Любовь никогда не кончается!»

Примерно то же самое фрау Эрика позднее говорит Тильде. В гостиной, где Ольга уставила большой стол пирогами и бутербродами, она протиснулась к Тильде, уселась (в черном платье с белой кружевной отделкой) между нею и пастором (опять совершенно невзрачным) и показывает телеграмму, в которой Виктор выражает сожаление, что может лишь мысленно участвовать в траурной церемонии, и желает Тильде душевной бодрости. Любовь живет или умирает, говорит фрау Эрика, пытаясь заглянуть Тильде глубоко в глаза, только по решению самого любящего; любовь ведь не подарок, а результат собственной внутренней работы и потому не поддается внешним влияниям, скорее подчиняет реальность своим нуждам, если ее не парализуют пессимизм и отчаяние; она ведь тоже часть природы, которой человек овладевает,— природы, именно в нем и живущей.

Но одобрение фрау Эрика встречает не у Тильды, которая уставилась на телеграмму и совсем не слушает, а у кругленькой фрау Бар из хопшуггенской глухомани, которая, набив полный рот песочным пирогом, кивает каждому слову, а потом восклицает: да-да, это как раз то, о чем она всегда твердит; нельзя терять надежду, надо всегда ее сохранять; ибо, если утратишь надежду, тогда конец всему.

Выздоровление

Сидя в самолете, Виктор, утомленный прощанием, закрывает глаза. Чтобы унять предотъездную лихорадку, он хочет погрузиться в забытье, но, стоит ему отрешиться от сумятицы голосов вокруг, впадает в состояние сосредоточенности — сосредоточенности на самом себе. Он подкарауливает боль, которая ведь неизбежно должна возникнуть, но ничего не чувствует. Слышит в себе лишь некий гул пустоты, не лишенный приятности. Ощущает какую-то легкость, которой недостает только веселости, чтобы было совсем уж хорошо, чувство покоя, которое есть не что иное, как отсутствие боли. Ему приходит в голову понятие реконвалесценции — выздоровления: он еще обессилен болезнью, но уже на пути к норме.

Из этого состояния его выводит приказ пристегнуть ремни. Когда самолет приходит в движение, на Виктора, как всегда, накатывает страх, при взлете исчезающий. Он видит внизу леса, поля, дороги, озера и думает, еще не отдавая себе отчета, какое отношение это имеет к его самочувствию, о фрау Бар, которая, по словам Тильды, всякий раз выбегает на луг помахать пролетающему над ее одиноким домом самолету. Ей кажется, будто ее пропавший без вести муж, служивший во время войны в авиации, жив, однако по таинственным причинам не может вернуться домой, но часто пролетает над их домом, чтобы дать ей весть о себе. Виктору вспомнилась эта женщина, потому что он счастливо избежал недуга, на который та безнадежно обречена: стабильности чувств. Виктор рисует себе страдание во всевозможных образах — то как уплотнение на сердце, то как опухоль, беспрерывно вырабатывающую болетворный яд, то как нераздробляемый камень в душе.

Выздоравливающий откидывается на спинку кресла. Взгляд его падает на стюардессу, которая в ответ на его улыбку сменяет свою служебную улыбку на лично ему предназначенную. Виктора охватывает радость, но она будит в нем воспоминание о радости прошедшей, и, когда девушка исчезает в носовом отсеке самолета, ему без труда удается вместо бледного лица стюардессы представить себе другое, смуглое, и это все же вызывает боль, которой, как ему казалось, он бежал, или во всяком случае следы боли, как бы то ни было достаточно глубокой, чтобы, прочувствовав ее, совесть облегчилась. О ней, боли, он и поведет обстоятельную речь в письме, которое напишет, когда самолет наберет заданную высоту.

■

КАЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Советский переводчик немецкоязычной литературы. В ее переводах публиковались произведения И.-Р. Бехера, Б. Брехта, Г. Бёлля, Р. Музиля, Д. Веллерсхофа, Ф. Дюрренматта. В «Иностранной литературе» напечатаны повести Макса Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена» (1981, № 1), «Синяя Борода» (1982, № 11), романы Гюнтера де Бройна «Буриданов осел» (совместно с Т. Иллеш; 1969, № 11, 12), «Присуждение премии» (1973, № 5), повесть «Бранденбургские изыскания» (1982, № 1) и др.

Три патриарха французской поэзии

■

Перевод с французского и вступление МОРИСА ВАКСМАХЕРА

«Сохранить недосягаемое, таинственное...»

Эта строка из Пьера Сегерса выбрана не случайно. Как не случайно стихи Сегерса, Френо и Руссло, трех больших и очень не схожих между собой поэтов, объединены в одной журнальной подборке. Поэтический мир каждого из них — отдельная и особая вселенная, живущая по своим, особым законам. Но внутренняя близость этих трех миров так же несомненна, как их особость, и стремление «сохранить недосягаемое, таинственное»,— пожалуй, одна из существенных граней этой глубинной общности.

Оставить за поэзией то, что всегда было ее владением, сохранить в ней незамутненность сиюминутного лирического переживания, уберечь ее от вторжения всего того, что поэзией не является, от агрессии умозрительных построений, от настойчивых пересадок в живую поэтическую ткань чужеродных пластов научной терминологии, от социологических и иных ученых выкладок, по своему языку и, главное, по способу мышления поэзии не принадлежащих, сохранить в строке дымку недосказанности, хрупкое очарование тайны — эту романтическую потребность испытывают, судя по их стихам, и Сегерс, и Френо, и Руссло. Испытывают, разумеется, каждый по-своему. И по-своему выражают. Пьер Сегерс нередко впрямую признается в своем тяготении к недомолвке и тайне; ностальгическое томление по тихой таинственности уголка, затерявшегося в нашем мятущемся мире, у Андре Френо, внешне спокойного и медлительного, угадывается, а у глядящего на жизнь с горькой усмешкой Жана Руссло то и дело пробивается сквозь броню ироничности.

В наши дни, когда люди оглушены грохотом цивилизации, сбиты с толку сумятицей разноречивых угроз и пророчеств, одурманены ритмами ультрамодной эстрады, когда на них в бесчисленных комбинациях обрушиваются всевозможные конфликты и стрессы, и нет возможности расслабиться, оглядеться, подумать о своем родстве с другими людьми, вспомнить о том, что в мире еще осталась природа, трава, звери, птицы,— в наши дни поэзия Франции тоже захлестнута лавинами перегрузок. При этом ей хочется быть современной — и она пытается этого достичь, подражая гулу улицы и толпы, мельтешенью реклам, жаргону хиппующих подростков. Или демонстрирует свою высоколобость, предлагая в качестве новейшей интеллектуальной продукции наборы формальных экспериментов.

И как глоток свежего воздуха, как радующую глаз первую зелень, как звенящую струю родника воспринимаешь нормальный человеческий голос, в котором слышны волнение и тревога. Этот голос тоже говорит о болезненном и трудном в сегодняшней жизни, но он обращен к собеседнику, поверяет ему свои — наши общие — сомнения и надежды. Он приглашает к сопереживанию, спрашивает и исповедуется, вспоминает о прошлом и вглядывается в нынешние проблемы. Здесь тоже есть фейерверки метафор, перепады ассоциаций, прихотливые ритмы верлибров — но перед нами мощная стихия родного языка, многослойной национальной лексики. Здесь тоже есть дерзкое словотворчество — но внутри традиционных языковых структур, без заигрывания с чужой речевой модой, без щеголяния американским сленгом.

В этом нормальном и человечном звучании поэтического языка, в чутком внимании к внутренней жизни людей прежде всего и видится мне современность трех патриархов французской поэзии.

Пьер Сегерс — фигура весьма заметная в литературной жизни Франции. Уже в середине 30-х годов он, поэт и журналист, связал свою судьбу с левыми силами, с выступлениями интеллигенции против войны и фашизма. В годы гитлеровской оккупации он — участник патриотического подполья, боец и летописец Сопротивления; он собирает, составляет, организует издание сборников антифашистской лирики, создатели которой сражаются в маки́, томятся в нацистских тюрьмах и лагерях. «Поэзия-40» — первый из таких альманахов, выпущенный Пьером Сегерсом еще в месяцы «странной войны». Сборники выходили регулярно до 1948 года, на обложке менялась лишь цифра, обозначавшая год. Спустя полвека П. Сегерс возродил это издание: с 1984 года он снова стал выпускать «Поэзию-84» — и соответственно «85», «86», «87»...

В 1944 году Сегерс основал собственное издательство, публиковавшее поэзию и получившее признание далеко за пределами Франции. Любимым детищем Пьера Сегерса стала знаменитая серия «Poètes d'aujourd'hui» — издательское предприятие, по своему культурному значению гораздо более широкое, чем словарное значение двух этих слов. Сегерс выпускал не просто «нынешних поэтов», а тех мастеров стиха разных времен и стран, чьи стихи нужны людям сегодня. В серии вышло более двухсот книжек. Изданные в ней крупные поэты Франции XX века стоят на читательских полках рядом с вышедшими в этой же серии томиками Уитмена, Лорки, Пабло Неруды, Брехта, Шевченко, Тагора, Пушкина, Блока, Пастернака.

Пьер Сегерс — автор книг о поэзии, воспоминаний, эссе; он составил и выпустил в свет «Золотую книгу» — трехтомную антологию французской поэзии от средних веков до нашего времени. Он — автор антологии поэтов французского Сопротивления; это свод уникальнейших текстов и серьезное исследование, тем более ценное, что оно создано одним из непосредственных участников героической эпопеи.

Но прежде всего он — поэт.

Лирика П. Сегерса выходила многими сборниками, но по существу перед нами единый, ведущийся долгие годы дневник, лирический и философский, где каждая запись новым лучом освещает раздумье поэта о месте человека в извечном круговороте стихий, о роли художника и его творчества в жизни и судьбах людей. Мрак отчаяния сменяется заревом радости, и она, казалось бы, беспричинная, наполняется осмыслением пережитого, надеждой, волей к победе над мглой. Потом, на новом витке сомнений и раздумий, опять сгущается сумрак, вновь о себе заявляет неизбывность трагизма, звучит мотив абсурдности бытия, и следом опять где-то в далях, где-то в глубинах памяти пробегают отсветы надежды. Он у Сегерса интересней всего — сам этот процесс поисков, размышлений, споров с собой, опровержений собственных прикидок и выводов, процесс восхождения по бесконечной спирали познания и надежды.

Горько сознавать, что Пьер Сегерс не увидит этой публикации. Интерес к его творчеству в нашей стране был всегда ему дорог. С нетерпением ждал он и этой подборки; 20 августа 1987 года он писал мне, какой радостью будет для него получить книжку журнала с его стихами... В ноябре поэта не стало.

Андре Френо — участник второй мировой войны; на его долю выпали испытания немецкого плена. Бежав из лагеря, Френо включился в патриотическую работу в рядах Сопротивления. Исторический опыт страны и собственный опыт, выстраданный в испытаниях вместе с народом, отразился в стихах Френо органичной гражданственностью, углубленностью в нравственную проблематику. Поэт нередко обращается в своих стихах к ключевым моментам отечественной истории, и за благородной сдержанностью Андре Френо слышится клокотанье гражданского гнева, чувствуется жар сыновней любви.

«Здесь Франция погребена, но живет и поет она» — торжественно и скорбно звучит реквием Френо по жертвам версальских палачей в его стихотворении «Парижская коммуна» (1959). «Коммуна, милый мой край, горячая кровь моих жил в твоей клокочет крови...»

Милый поэту край располагается или в прошлом, когда народ вставал «под стяги вольности» — во времена Коммуны, Народного фронта, Сопротивления,— или в сегодняшней Франции, но не в городах, а в родной Бургундии. В героических образах национальной истории и в мирной прелести холмов и долин сердца Франции ищет Андре Френо нравственную опору, противоядие от жестокости века.

Суховатая констатация трагичности бытия соседствует у Френо с улыбчивой грустью, с верой в возможность для человека иногда быть счастливым: «Жизнь сочинит на скорую руку /весеннюю грозу — и опять в путь-дорогу,/ опять в путь-разлуку, и сто обещаний,/ и все на ветер, и сто дерзаний,/ и крах, горизонты чернее ночи,/ и в путь, в путь, и снова светел/ горизонт, и в дорогу, и жизнь, ветер — / жизнь, очень ласковая, когда захочет»...

Стихи Френо середины 80-х годов лучатся мудрой просветленностью; порывистость ритмов его более ранних произведений сменяется спокойной раздумчивостью, мягкими бликами осенних красок.

Жан Руссло работает во многих литературных жанрах. На его творческом счету романы, литературоведческие исследования, новеллистика, радиосценарии, переводы. И конечно, стихи, вошедшие в три десятка поэтических книг.

Сын кузнеца, погибшего в 1915 году в боях под Верденом, он рано был вынужден зарабатывать себе на жизнь. Талантливый самоучка, Руссло овладел обширнейшим багажом знаний; многогранная эрудиция поэта снискала ему уважение соотечественников. В годы войны с фашизмом Ж. Руссло распространяет листовки, выполняет разведывательные задания, потом уходит в маки, участвует в боях. Трагические дни национальной катастрофы лета 1940 года отражены в его поэме «Июнь» (1942), занявшей заметное место в поэзии Сопротивления.

Трудная судьба, суровое детство, слабое здоровье наложили свой отпечаток на тональность стихов Жана Руссло. От его строк веет ощущением непрочности жизни, близости беды, грозящей всему сущему и самому поэту. Но, не смиряясь, бунтуя, поэт

парирует злые выпады судьбы беспощадной самоиронией и глумливой насмешкой над тупостью рока. Его союзники — леса и луга родной земли, верность любви и дружбе, надежда постичь скрытую от глаз внутреннюю жизнь молчащих вещей и предметов. Руссло черпает силы в обращении к искусству (музыку и живопись он знает, можно сказать, профессионально), к родной французской речи, к традициям национальной поэзии. Парадоксальность лирических ходов, соседство высоких философских категорий с бытовой лексикой, с нарочитой заниженностью интонации делают строки Ж. Руссло легко узнаваемыми: «Пространство не знает времени /Время не знает пространства/ Они просто друг друга терпят/ Как чета глухих стариков/ что едят из одной /Миски./ Из одной памяти/ Из одной беспамятности»...

Отношение поэта к тому, о чем идет речь в его стихах, колеблется в большом диапазоне — от внимательного, несколько отчужденного взгляда до ядовитого сарказма, от угрюмой ворчливости до внезапного гнева. И всегда за горькой озлобленностью стиха чуткое ухо уловит в голосе Жана Руссло незащищенность ранимой души и доброту, прикрытую маской иронии.

ПЬЕР СЕГЕРС

Ты приходишь сюда

чтобы внести завершенность в картину погожего дня.
Чтобы вспыхнула молния, озарив на мгновение память.
Золотое свечение мига, мерцание дальней звезды.
Ради ночи приходишь. Чтобы услышать,
как поднимается в терновнике ветер.
Чтоб нарубить для костра ветки собственных жил,
а назавтра опять обнаружить, что ты одинок.
Свет, который вдали загорается
и потом угасает. Приходишь,
чтобы идти по пятам за собою самим средь небесных светил
над бушующим морем, чтобы похитить исчезнувший
одуряющий аромат.

ПЬЕР СЕГЕРС — PIERRE SEGHERS (1906—1987).

Французский поэт литературовед, издатель. Лауреат премии Аполлинера. Его перу принадлежат многие поэтические сборники среди которых — «Добрая Надежда» («Bonne-Espérance», 1939) «Пиковый пес» («Le Chien de pique», 1943), «Корни» («Racines», 1956), «Камни» («Les Pierres», 1958), «Песни и причитания» («Chansons et complaintes», 1959—1964), «Диалог» («Dialogue», 1965). Стихи Пьера Сегерса в русском переводе печатались в ряде антологий, в том числе в книге «Я пишу твое имя. Свобода. Французская поэзия эпохи Сопротивления» (М., 1968) и в 152-м томе «БВЛ» (М., 1977).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Скажи мне, жизнь моя» («Dis-moi, ma vie». Paris, André De Rache, 1972), «Счастье и несчастье для сильного равны» («Fortune Infortune Fort Une». Paris, Pierre Seghers, 1984).

Приходишь, чтоб камешком юрким, брошенным по-над волною,
скакать и отскакивать в пустоте,
наслаждаясь свободой и себя уже больше не видя.
Здесь маняще сверкает грядущее,
здесь рождается редкостный жемчуг мечтаний,
гонимых ветрами, здесь плодится забвение.
Это все — только выход наружу
из себя самого, чтобы себя одолеть и себя одарить
эхом собственной песни, раскатившимся в буднях.

Я всего только спутник

Я всего только спутник неизвестного мне существа.
Оно запускает меня
На орбиту, когда пожелает. Вкруг него я обязан вращаться
День и ночь напролет и опять бесконечную ночь — без надежды
Когда-нибудь с ним повстречаться. Меня оно не замечает.
Оно не видит меня. Да и вообще его, может быть, нет?
Оно раскладывает меня —
Без логарифмов, без формул — на отдельные атомы. Иногда я
сбиваюсь с орбиты.
Я песчинка в бескрайней галактике, ему на меня наплевать.
Я погаснуть могу, могу разгореться, могу мгновенно взорваться.
Но и это лишь предположения. Существовал ли когда-либо я?
Неизвестно...
Мой хозяин схватил меня и куда-то швырнул. И ничего
не почувствовал. Ничего.

В рытвинах тьмы

В рытвинах тьмы нащупать пласты непредвиденного.
Отыскать меж землею и небом остатки древних маршрутов,
прежде чем в лес углубиться. Сохранить недосягаемое,
таинственное,
сберечь родников неожиданность, непроизвольных дорог.
Приглушенные зовы, соблазны, их созвучия и оттенки,
целый мир отношений и связей — они мне заменяли наставника,
околдовывали меня музыкой, для других неслышной, запрятанной
в тишине. Одного знал я бога — Солнце.

Поэзия

Поэзия — это речи людей, околдованных раз навсегда,
в тебе рожденные речи, приходящие из-за скалистых нагорий,
это зов незнакомца, который колотит неистово в стены тюрьмы
своих зловещих видений. Это неуловимость зарниц
в ночах, что прочеркнуты кровью и молчанием долгим жрецов,
застывающих перед гранитом таблиц, где начертан пагубный знак.
Этот знак они сами взрастили и раздают не скупясь. Он их песня.

© Pierre Seghers, 1984

Те, кто раз навсегда околдован, уходят ночами во мрак,
чтобы верней заблудиться и сгинуть в лабиринте глухих закоулков.
Их нутро это магма, сплетенье кишок и гадюк
в непрочном спокойствии кожи. Это перчатка,
которую вывернули неумело с изнанки опять на лицо.
Вслушайся молча в себя, ты услышишь удары часов,
непреклонную вечности поступь под прикрытием сиюминутного.
Слышишь?

Поэзия — это прибой, это волна на волну и волна за волной,
и порою так бурно, что вот уже кажется, ими захлестнуто солнце.
Легкая зыбь и зеркальная гладь. Ожиданье. Пустыня. Песок,
в котором исчезли слова. Умираешь от жажды, не зная,
куда подевалась вдруг суть бытия и не грядет ли новый потоп.
Но тут неожиданно песня опять начинает звучать,
и другой уже голос повторять начинает сигналы, пришедшие
бог весть откуда,
он их слушает, ловит и рассылает их щедро вокруг —
эти слова, прилетевшие к нам из неведомых дальних вселенных.

Что осталось в них подлинного

Что осталось в них подлинного и живого,
в этом вихрении слов, в этом неспешном разматыванье забытых
картин?
Они — завитки, арабески, которые снова и снова
над угасающим праздником тают. Праздник угас.
И вам, привидения, надо
в водоеме ладоней омыть свои очи, свои чудеса.
Жизнь была подлинной, когда под рассветами канувших в Лету
мгновений
вы были резвы, как живая вода, и прохлада
вас манила в струю водопада.
Юркие рыбки, мальки беззаботные с мельницы старой,
что с вами стало?
Я слышу, как сторона обратная солнца поднимает свой кубок
над миром.
Надвигается ночь. Не разбейте неловкими пальцами хрупкий
хрусталь,
вам врученный когда-то. В темноте он тихонько звенит,
вспоминая события вашей промчавшейся жизни,
время ветров и ветвей, молодого вина, и веселого смеха,
и гулкого эха,
и секретов в полночных кустах, и мальчишеских радостных кликов,
летящих в зенит.

Никогда я не стал бы

Никогда я не стал бы печальной картиной, немым полотном,
я свалюсь со стены,
и раму отброшу,
и на куски разлетится стекло.

Никогда я не стал бы ни мельницей жалких молитв,
ни бесконечным журчаньем рыданий,
ни унылым напевом шарманки,
ни целебным отваром, тепловатым снотворным питьем.

Никогда я не стал бы ни белладонновым соком,
ни сухим лепестком для гербария, ни пыльцою ушедших цветений,
ни вишневым листком, дрожащим на мокром ветру,
ни шарканьем дряхлых шагов по асфальту.

Река молодая, что и зимою жива,
унесет меня к мельнице. С шумной ребячьей ватагой
я с плотины нырну в водопад.
«Погляди-ка, вон там отраженье мелькнуло!..»
Может, это был я?

АНДРЕ ФРЕНО

Древний край

Из поэмы

. . . . . .

Напрасно сверкают на улицах наших новейшие вопли реклам,
напрасны клаксоны, неоны, напрасно шипят попугаями автомобили.
Над рядами доходных домов
нависают хвастливо жирные складки балконов.
Витрины лавчонок оправлены в мрамор.
Стерилизованный серый бетон в униформу безликую вырядил
тысячи трепетных тел.
Кто же выдернул с корнем беззащитную нежность каминов,
кто развеял по ве́тру мечты? Человек уже больше не дышит
камнями домов своих. Не отыщешь заветной калитки,
что вела бы в сад потайной.
Пустопорожняя роскошь, одиночество под слоями румян.
Под словами
с утра и до вечера дрожащие стынут сердца.

АНДРЕ ФРЕНО — ANDRÉ FRÉNAUD (род. в 1907 г.)

Французский поэт. Лауреат Большой национальной премии поэзии. Автор многих книг стихов, в их числе — «Волхвы» («Les rois mages», 1943), «Весь источник» («Source entière», 1952), «Рая нет» («Il n'y a pas de paradis», 1962), «Святой лик» («Sainte face», 1968), «Римская колдунья» («La sorcière de Rome», 1973). Стихи Андре Френо в русском переводе печатались в книгах «Френо. Гильвик», «Я пишу твое имя, Свобода», в 152-м томе «БВЛ», в «Иностранной литературе» (1965, № 12, и 1966, № 2).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Отныне извечно» («Depuis toujours déjà». Paris, Gallimard, 1970), «Никто не теряет дорогу» («Nul ne s'égare». Paris, Gallimard, 1986).

Природа, однако, еще сохранила свою благородную стать.
По-прежнему птицы играют в небесном просторе
над деревнями.
Реки текут. И лес в высоте.
Солнце в лазури над шагающей в гору дорогой
не отворачивается от затерянной этой долины.
В тучной траве молодые зверята на неуверенных лапах,
пугливые кролики в вырубках,
за домами тропинка, крестовник, щавель —
все остается как было; живность снует по земле
или глядит, как все та же заря поднимается над огородами.

О деревья, могучие старцы, дарители скромные сочных плодов!
О детские стайки деревьев, упрямо набычивших лбы
навстречу сильному ветру,
о братья, готовые нас защитить!

Мы разобщенно живем под фальшивыми стягами,
манекены на койках складных,
на пустыре, где к ночи сверкать начинает огнями
отвратительная нищета.
Обман и тоска. Я в них погружен неизбывно. Холодная петля
на шее моей.
Сирота в толпе бесприютной таких же сирот,
я на ощупь пытаюсь найти-обрести полноту бытия,
какое-то дело найти, что меня к этой цели могло бы приблизить.
Грядущее, смутно мерцая во мгле, продвигается поступью тяжкой.
Оно утверждает себя чрезмерно жестоко.
Оно уже обмануло меня. Его лик я с трудом различаю.
Я себя заставляю надеяться. Я одинок. Я не вижу дороги.

Я буду, наверное, грезить... Но я касаюсь при этом земли.
Из туманного марева до меня еще долетают
запоздалые отблески молний, и, населяя дорогу мою,
они озаряют свеченьем легенды
вереницу моих бесполезных шагов.

Мне этих отблесков будет достаточно, чтобы решиться продолжить
свой путь.
Я смотрю. Нынче вечером стены
мне видятся в розовом свете, как яблони. Я шагаю вперед...
У меня в голове теснятся виденья.
Теснятся виденья, а быть может, я все это вижу воочью.
И вот оно, чудо:
на дороге, у самой деревни,
увитая зеленью церковь облюбовала себе уголок.
Мастер тележный ладит два синих ярма для быков.
В лавках шорника и столяра меня наполняет восторгом
мягкая кротость дорогих мне вещей из былого.

Древний край, который так одряхлел,
что уже запретить мне не в силах с нежностью помнить его.

Гаснут последние печи, где выпекается хлеб,
тает последний дымок, отдающий горечью трав.
Снимают с ограды колесо от повозки.
Меняются знаки. Милый отческий край умирает.
Древний край, который в каждом саду дарил нам на память,
словно надпись на книге, ароматы своей резеды.

Милая деревенька

Милая деревенька
на гладкой зелени луга
и летящие вдаль облака...
Значит, ты никогда не покидало меня,
о мое слишком рано отцветшее счастье,
коль улыбается мне из-за веток самшита
мальчик, когда-то игравший в этих кустах.

Полчища туч

Полчища туч в полудреме бредут
по равнине,
на которой тысячи глаз, трепеща, образуют под вечер
синий бескрайний порог...
Вслед за черным хлестаньем грозы, оживившим
меловую прозрачность ячменных полей,
медлительный дол начинает светиться опаловым блеском тумана.
И ты ворошишь большое застывшее небо,
чтоб отыскать свои милые тени
в безднах, разверстых движением туч.

Осенней порой

Тени туч и тени деревьев — а они ведь
не дружат —
смешались на этом клочке опустелого поля,
окруженного поздним
золотом осени.
Но надвигается ночь.

* * *

Опавшие листья влетели к нам в дом,
словно птицы. Пугаться не стоит —
осень нам предвещает в грядущем
новый год и весеннюю зелень.

* * *

Опавшие листья улетят далеко-далеко, и уже Рождество
возвещает приход свой. Движение к первоистоку,
яйцо, из которого вышел ребенок на свет.

* * *

Тень

Он поднимается в гору, а тень идет впереди
и венчает его. Он ее не обгонит.

* * *

Осколки ребенка-бога

Бог — это ребенок, в траве заблудившийся.
Помогите ему отыскаться.

© "Poésie-86"

Вечная осень

Золотые развеялись листья, почти не оставив следов.
...Из осенних лохмотьев на свет выбирается поздняя осень.

Опускается ночь

День отступал перед тенью,
нехотя ей отдавал уголки прекрасные луга,
и, удлиняясь, деревья с них соскабливали позолоту.
Чуть позже
молодые дубки по склонам холмов о чем-то шептались,
кусты, точно оборотни, седели —
так люди мрачнеют порой на обратном пути.
Запираясь на все замки и засовы,
ночь устраивалась на ночлег.

ЖАН РУССЛО

* * *

О чем они могут друг с другом
Вот так говорить,
Эти люди —
Два часа напролет,
На холодном ветру,
Стоя на тротуаре в мешанине своих испарений?

ЖАН РУССЛО — JEAN ROUSSELOT (род. в 1913 г.)

Французский поэт, прозаик, литературовед. Автор многих книг стихов, среди которых — «Вкус хлеба» («Le goût du pain», 1937), поэма «Июнь» («Juin», 1943), сборники «Переделать ночь» («Refaire la nuit», 1943), «Кровь небес» («Le sang du ciel», 1944), «Дорога молчания» («Route du silence», 1963), «Привычные чудовища» («Les Monstres familières», 1986). Стихи Жана Руссло в русском переводе печатались в антологиях, в книге «Я пишу твое имя. Свобода», в 152-м томе «БВЛ», в периодике. Публикуемые стихи взяты из сборников «Пруд» («L'Etang». Paris, Caractères, 1967), «Тайны Элевзиса» («Les mystères d'Eleusis». Paris, Pierre Bellfond, 1979), «Сбавить тон» («Déchants». Marseille, Sud, 1985).

Но мне начинает
Чего-то вдруг не хватать,
Когда они наконец расстаются, расходятся
И каждый перед собою толкает
Аквариум собственного дыханья.
Чего-то важного вдруг не хватает.

О бессмертии

Роберу Андре

Всю свою жизнь, вместе с воздухом, с супом, с благими советами, с дымом табачным, мы время глотаем, глотаем время.

Сколько ни дуем мы — в парус, чтобы плыть чуть-чуть побыстрее, или на раны ближних своих, чтобы им полегчало,—

Сколько мы ни выплевываем, сколько ни извергаем его из себя, все равно в нашей плоти его остается немало —

Достаточно для того, чтобы мы поневоле бессмертными стали.

Нетерпеливым

Вы не бойтесь, я скоро умру.

Голова у меня уже до отказа набита булыжником, живот нашпигован колючей проволокой, и из меня во все стороны голые сучья торчат.

Со мною уже обращаются будто с уличной девкой: «Ну, давай проходи, что ты путаешься под ногами!»

Или будто со старым креслом в прихожей, и я исчезаю под грудой ненужного хлама, плащей, кошачьих приплодов.

Нужно сказать, я и сам иногда ошибаюсь и себя принимаю за кресло. И нахожу в этом вкус.

Я еще не дошел до того, чтобы, переходя через лужу, подбирать-подворачивать душу свою, точно полы сутаны, но все же бывает, что я нет-нет да и выряжусь вдруг дароносицей или вены вскрою себе под предлогом сочиненья стихов.

Если случайно вы присядете вдруг на меня и услышите, что я говорю вам спасибо,— можете смело считать, что я уже умер.

Друзья-приятели

Самое худшее — даже не то, что вас посадили в кутузку, хуже всего, что обязаны вы, для того чтобы выжить, биться о стены весь день головой.

Среди тех, кто в глазок наблюдает за вами, лишь единицы не верят, что непрерывная эта работа объясняется вовсе не рвением вашим и не вашим отменным здоровьем, а чем-то иным.

© Bellfond, 1979; Sud, 1985

Радость жизни

Напиши для нас что-нибудь радостное сказали они
Мы обещаем тебе это все прочитать
На досуге

И послушно в чернилах души своей я замешал
Канареек и ма́ки
И зелень собственных глаз
И белизну ослепительных стен
Из которых уже мне не вырваться

Я ждал пока снадобье это мое отстоится
И видел меж тем как тысячи раз умирали
и опять возрождались они
Под небом размеченным вехами ветхих заветов

Но ни разу из них ни один не сошел с мотоцикла
Узнать как дела у меня обстоят
С радостью жизни.

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.)

Советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги очерков «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX век» (1980). Переводил романы и повести Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Маргерит Юрсенар, Робера Андре, Катеба Ясина, стихи Аполлинера, Арагона, Рене Шара, Алена Боске, Пабло Неруды и др.

Литературное наследие

ФРАНЦ КАФКА

Замок

РОМАН

Перевод с немецкого Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

«Замок», как и два других романа Франца Кафки (1883—1924) — «Америка» и «Процесс», остался незаконченным. После смерти Кафки в его письменном столе нашли письмо к Броду с просьбой сжечь, не читая, все его рукописи. Распоряжение относилось и к рукописи романа «Замок».

Брод не выполнил обращенной к нему просьбы. В 1925 году он опубликовал «Процесс», в 1926-м — «Замок».

Рукопись не имела заглавия и не была разделена на главы. Брод назвал книгу «Замок», исходя из того, что в разговорах с ним Кафка пользовался этим названием. Английский германист М. Пэзли провел кропотливую работу над рукописью романа, которая в настоящее время хранится в Оксфорде. Ему удалось установить, где Кафка сделал пометки, свидетельствующие о его намерении расчленить текст, где Брод следовал Кафке, а где поступал произвольно.

Публикуемый перевод также имеет свою историю. Он был выполнен прекрасным мастером своего дела Ритой Яковлевной Райт-Ковалевой два десятилетия назад и предназначался для серии «Литературные памятники». Автор этих строк должен был выступить в роли титульного редактора. В ходе работы над текстом использовались результаты исследований М. Пэзли, П. Реймана и др. Сохранился отзыв академика Д. С. Лихачева, помеченный июлем 1970 года, с положительной оценкой проделанной работы. К сожалению, издательство «Наука» не смогло довести дело до конца. Не удалась попытка напечатать перевод и в журнале «Новый мир», который анонсировал его выход. Но Рита Яковлевна твердо верила, что рано или поздно он станет достоянием советского читателя. И вот это время пришло — в канун 90-летия замечательного переводчика, с которым мы ее горячо поздравляем.

А. ГУЛЫГА

ФРАНЦ КАФКА — FRANZ KAFKA (1883—1924)

Австрийский писатель. Начиная с 1909 г. его рассказы печатались в журналах. Отдельно изданы сборник «Созерцание» («Die Betrachtung», 1913), рассказы «Кочегар» («Der Heizer», 1913), «Приговор» ("Das Urteil", 1916), «Превращение» ("Die Verwandlung", 1916). В 1915 году Кафка был награжден одной из наиболее значительных литературных премий Германии — премией Фонтане. Затем были опубликованы сборники «Сельский врач» („Der Landarzt", 1919), «Голодарь» („Der Hungerkünstler", 1924). Посмертно изданы три неоконченных романа — «Процесс» („Der Prozeß", 1925), «Замок» („Das Schloß", 1926), «Америка» („Amerika", 1927) — и сборник рассказов «На строительстве китайской стены» („Beim Bau der chinesischen Mauer", 1931).

Русский перевод рассказов «Превращение» и «В исправительной колонии» напечатан в «Иностранной литературе» (1964, № 1), затем вышел сборник «Роман. Новеллы. Притчи» (М., 1965), «Из дневников» («Вопросы литературы», 1968, № 2), «Письмо к отцу» («Звезда», 1968, № 8).

1

Прибытие

К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.

Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. К. охотно согласился. Несколько крестьян еще допивали пиво, но К. ни с кем не захотел разговаривать, сам стащил тюфяк с чердака и улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шумели, и, окинув их еще раз усталым взглядом, К. заснул.

Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом актера — узкие глаза, густые брови — стоял над ним рядом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, некоторые из них повернули стулья так, чтобы лучше видеть и слышать. Молодой человек очень вежливо попросил прощения за то, что разбудил К., представился — сын кастеляна Замка — и затем сказал: «Эта Деревня принадлежит Замку, и тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в Замке. А без разрешения графа это никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет, по крайней мере вы его не предъявили».

К. привстал, пригладил волосы, взглянул на этих людей снизу вверх и сказал: «В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть Замок?»

«Разумеется,— медленно проговорил молодой человек, а некоторые окружающие поглядели на К. и покачали головами.— Здесь находится Замок графа Вествеста».

«Значит, надо получить разрешение на ночевку?» — переспросил К., словно желая убедиться, что ему эти слова не приснились.

«Разрешение надо получить обязательно,— ответил ему молодой человек и с явной насмешкой над К., разведя руками, спросил хозяина и посетителей: — Разве можно без разрешения?»

«Что же, придется мне достать разрешение»,— сказал К., зевнув и откинув одеяло, словно собирался встать.

«У кого же?» — спросил молодой человек.

«У господина графа,— сказал К.,— что же еще остается делать?»

«Сейчас, в полночь, брать разрешение у господина графа?» — воскликнул молодой человек, отступая на шаг.

«А разве нельзя? — равнодушно спросил К.— Зачем же тогда вы меня разбудили?»

Но тут молодой человек совсем вышел из себя. «Привыкли бродяжничать? — крикнул он.— Я требую уважения к графским служащим. А разбудил я вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно покинуть владения графа».

«Ну довольно ломать комедию,— нарочито тихим голосом сказал К., ложась и натягивая на себя одеяло.— Вы слишком много себе позволяете, молодой человек, и завтра мы еще поговорим о вашем поведении. И хозяин, и все эти господа могут все подтвердить, если вообще понадобится подтверждение. А я только могу вам доложить, что я тот землемер, которого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми приборами подъедут завтра. А мне захотелось пройтись по снегу, но, к сожалению, я несколько раз сбивался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не время являться в Замок. Оттого я и удовольствовался этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, нарушили так невежливо. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа!» И К. повернулся к печке. «Землемер?» — услышал он чей-то робкий вопрос за спиной, потом настала тишина. Но молодой человек тут же овладел собой и сказал хозяину голосом достаточно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к засыпающему К., но все же достаточно громким, чтобы тот услыхал: «Я справлюсь по телефону». Значит, на этом постоялом дворе есть даже телефон? Превосходно устроились. Хотя кое-что и удивляло К., он, в общем, принял все как должное. Выяснилось, что телефон висел прямо над его головой, но спросонья он его не заметил. И если молодой

человек станет звонить, то, как он ни старайся, сон К. обязательно будет нарушен, разве что К. не позволит ему звонить. Однако К. решил не мешать ему. Но тогда не было смысла притворяться спящим, и К. снова повернулся на спину. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку и переговариваются; видно, приезд землемера — дело немаловажное. Двери кухни распахнулись, весь дверной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин, подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять. И тут начался телефонный разговор. Сам кастелян спал, но помощник кастеляна, вернее один из его помощников, господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавший себя Шварцером, рассказал, что он обнаружил некоего К., человека лет тридцати, весьма плохо одетого, который преспокойно спал на соломенном тюфяке, положив под голову вместо подушки рюкзак, а рядом с собой — суковатую палку. Конечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер, счел своим долгом вникнуть в его дело как следует, но К. весьма неприязненно отнесся к тому, что его разбудили, допросили и пригрозили выгнать из владений графа, хотя, может быть, рассердился он по праву, так как утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения формальностей, проверить это заявление, поэтому Шварцер просит господина Фрица справиться в Центральной канцелярии, действительно ли там ожидают землемера, и немедленно сообщить результат по телефону.

Стало совсем тихо, Фриц наводил справки, а тут ждали ответа. К. лежал неподвижно, он даже не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем осторожный доклад Шварцера говорил о некоторой дипломатической подготовке, которую в Замке, очевидно, проходят даже самые незначительные люди, вроде Шварцера. Да и работали там, как видно, на совесть, раз Центральная канцелярия была открыта и ночью. И справки выдавали, как видно, сразу: Фриц позвонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий, и Шварцер злобно бросил трубку. «Как я и говорил! — закричал он.— Никакой он не землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может, и похуже».

В первую минуту К. подумал, что все — и крестьяне, и Шварцер, и хозяин с хозяйкой — бросятся на него. Он нырнул под одеяло — хотя бы укрыться от первого наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показалось К., особенно громко. Он осторожно высунул голову. И хотя казалось маловероятным, что звонок касается К., но все остановились, а Шварцер подошел к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо проговорил: «Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, звонил сам начальник Канцелярии? Странно, странно. Что же мне сказать господину землемеру?»

К. насторожился. Значит, Замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в Замке о нем знают все что надо и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в этом была и своя выгода: по его мнению, это доказывало, что его недооценивают и, следовательно, он будет пользоваться большей свободой, чем предполагал. А если они считают, что этим своим безусловно высокомерным признанием его звания они смогут держать его в постоянном страхе, то тут они ошибаются: ему стало немного жутко, вот и все.

К. отмахнулся от Шварцера, когда тот робко попытался подойти к нему, отказался, несмотря на уговоры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук хозяина стакан питья, а от хозяйки — таз для умывания и мыло с полотенцем; ему даже не пришлось просить очистить зал, так как все уже теснились у выхода, отворачиваясь от К., чтобы он утром никого не узнал. Лампу погасили, и наконец его оставили в покое. Он уснул глубоким сном, и хотя его раза два будили шмыгавшие мимо крысы, проспал до самого утра.

После завтрака — и еду, и пребывание К. в гостинице должен был, по словам хозяина, оплатить Замок — К. собрался идти в Деревню. Но так как хозяин, с которым он, помятуя его вчерашнее поведение, говорил только по необходимости, все время молча, с умоляющим видом, вертелся около него, К. сжалился над ним и разрешил ему присесть рядом.

«С графом я еще незнаком,— сказал он,— говорят, он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти домой побольше».

«Об этом пусть господин не беспокоится, на плохую оплату здесь еще никто не жаловался». «Да я и не робкого десятка,— сказал К.,— могу настоять на своем и перед графом, но, конечно, куда лучше поладить миром с этим господином».

Хозяин примостился напротив К. на самом краешке подоконника — усесться поудобнее он не решался — и не сводил с К. больших карих испуганных глаз. И хотя перед этим он сам все время ходил около К., но теперь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что «господин», которого он видел в К.,— человек ненадежный? К. решил его отвлечь. Взглянув на часы, он сказал: «Скоро подъедут и мои помощники, сможешь ли ты пристроить их тут?»

«Конечно, сударь, но разве они не будут жить вместе с тобой в Замке?»

Неужели он так легко и охотно отказывается от постояльцев и от К. в особенности, считая, что тот непременно будет жить в Замке?

«Это не обязательно,— сказал К.,— сначала надо узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, придется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удобнее. К тому же я боюсь, что жизнь в Замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно».

«Не знаешь ты Замка»,— тихо сказал хозяин.

«Конечно,— сказал К.,— заранее судить не стоит. О Замке я покамест знаю только то, что там умеют подобрать для себя хороших землемеров. Но, возможно, там есть и другие преимущества». И К. встал, чтобы освободить от своего присутствия хозяина, беспокойно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать доверие этого человека.

Выходя, К. обратил внимание на темный портрет в темной раме, висевший на стене. Он заметил его и раньше, со своего тюфяка, но издали не разглядел как следует и подумал, что картина была вынута из рамы и осталась только черная доска. Но теперь он увидел, что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз почти не было видно, и четко выделялся только высокий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широкая борода, прижатая наклоном головы, резко выдавалась вперед. Левая рука была запущена в густые волосы, но поднять голову кверху никак не могла. «Кто такой? — спросил К.— Граф?»

«Нет,— сказал хозяин,— это кастелян».

«Красивый у них в Замке кастелян, сразу видно,— сказал К.,— жаль только, что сын у него неудачный». «Нет,— сказал хозяин, притянул к себе К. и зашептал ему в ухо:— Шварцер вчера наговорил лишнего, его отец всего лишь помощник кастеляна, да и то из самых низших». К. показалось, что в эту минуту хозяин стал похож на ребенка. «Каков негодяй!» — засмеялся К., но хозяину было, очевидно, не до смеха. «Его отец тоже человек могущественный!» — сказал он. «Брось! — сказал К. — Ты всех считаешь могущественными. Наверно, и меня тоже?» «Тебя? — сказал тот робко, но решительно.— Нет, тебя я могущественным не считаю». «Однако ты неплохо все подмечаешь,— сказал К.— Откровенно говоря, никакого могущества у меня действительно нет. Должно быть, оттого я не меньше тебя уважаю всякую власть, только я не так откровенен, как ты, и не всегда желаю в этом сознаваться». И К. слегка похлопал хозяина по щеке — хотелось и утешить его, и снискать больше доверия к себе. Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож на мальчишку — лицо мягкое, почти безбородое. И как это ему досталась такая толстая, немолодая жена — через оконце в стене было видно, как она, широко расставив локти, хозяйничает на кухне. Но К. не хотел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кивком попросил открыть ему двери и вышел в погожее зимнее утро.

Теперь весь Замок ясно вырисовывался в прозрачном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, все формы и линии выступали еще отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто было меньше, чем тут, в Деревне, где К. пробирался с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег подступал к самым окнам избушек, навстречу тяжело нависали с низких крыш сугробы, а там, на горе, все высилось свободно и легко — так, по крайней мере, казалось снизу.

Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а це-

лый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и если бы не знать, что это Замок, можно было бы принять его за городок. К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя. Стаи ворон кружились над башней.

К. шел вперед, не сводя глаз с Замка — ничто другое его не интересовало. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась. Мельком припомнил К. свой родной городок; он был ничуть не хуже этого так называемого Замка. Если бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы проделанного пути, и куда умнее было бы снова навестить далекий родной край, где он так давно не бывал. И К. мысленно сравнил церковную башню родного города с этой башней наверху. Та башня четкая, бестрепетно и молодо идущая кверху, с широкой кровлей, крытой красной черепицей, вся земная — разве можем мы строить иначе? — но устремленная выше, чем приземистые домишки, более праздничная, чем их тусклые будни. А эта башня наверху — единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а быть может и главная башня Замка, — представляла собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце,— в этом было что-то безумное, и с выступающим карнизом, чьи зубцы, неустойчивые, неровные и ломкие, словно нарисованные пугливой или небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, будто какой-то унылый жилец, которому лучше всего было бы запереться в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету.

К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было легче судить о том, что он видел. Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился — в сущности, это была скорее часовня с пристройкой вроде амбара, где можно было вместить всех прихожан,— стояла школа. Длинный низкий дом — странное сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем древнего,— стоял в саду, обнесенном решеткой и утонувшем в снегу. Оттуда как раз выходили дети с учителем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в глаза, ребята без умолку болтали наперебой, и К. ничего не понимал в их быстрой речи. Учитель, маленький, узкоплечий человечек, держался очень прямо, но не производил смешного впечатления. Он уже издали заметил К. — впрочем, никого, кроме его учеников и К., вокруг не было. Как приезжий, К. поздоровался первым, к тому же у маленького учителя был весьма внушительный вид. «Добрый день, господин учитель»,— сказал К. Словно по команде, дети сразу замолчали, и эта внезапная тишина в ожидании его слов как-то расположила учителя. «Рассматриваете Замок?» — спросил он мягче, чем ожидал К., однако таким тоном, словно он не одобрял поведения К. «Да,— сказал К.— Я приезжий, только со вчерашнего вечера тут».— «Вам Замок не нравится?» — быстро спросил учитель. «Как вы сказали? — переспросил К. немного растерянно и повторил вопрос учителя, смягчив его: — Нравится ли мне Замок? А почему вы решили, что он мне не понравится?» — «Никому из приезжих не нравится»,— сказал учитель. И К., чтобы не сказать лишнего, перевел разговор и спросил: «Вы, наверно, знаете графа?» «Нет», — ответил учитель и хотел отойти, но К. не уступал и повторил вопрос: «Как, вы не знаете графа?» «Откуда мне его знать? — тихо сказал учитель и добавил громко по-французски: — Будьте осторожней в присутствии невинных детей». К. решил, что после этих слов ему можно спросить: «Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало общего и с Замком, очевидно, тоже».— «Между Замком и крестьянами особой разницы нет»,— сказал учитель. «Возможно,— согласился К.— Но в моем положении это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к вам?» «Я живу на Шваненгассе, у мясника»,— сказал учитель. И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем пригласил к себе, но К. все же сказал: «Хорошо, я приду». Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу загалдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся переулке.

К. не мог сосредоточиться — его расстроил этот разговор. Впервые после приезда он почувствовал настоящую усталость. Дальняя дорога его совсем не утомила, он шел себе и шел, изо дня в день, спокойно, шаг за шагом. А сейчас сказывались

последствия сильнейшего переутомления — и очень некстати. Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет вполне достаточно, если он в своем теперешнем состоянии заставит себя прогуляться хотя бы до входа в Замок.

Он снова зашагал вперед, но дорога была длинной. Оказалось, что улица — главная улица Деревни — вела не к замковой горе, а только приближалась к ней, но потом, словно нарочно, сворачивала вбок и, не удаляясь от Замка, все же к нему и не приближалась. К. все время ждал, что наконец дорога повернет к Замку, и только из-за этого шел дальше, от усталости он явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла величина Деревни: она тянулась без конца — все те же маленькие домишки, заиндевевшие окна, и снег, и безлюдье,— тут он внезапно оторвался от цепко державшей его дороги, и его принял узкий переулочек, где снег лежал еще глубже и только с трудом можно было вытаскивать вязнувшие ноги. Пот выступил на лбу у К., и он остановился в изнеможении.

Да, но ведь он был не один, справа и слева стояли крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в окошко. Тотчас же отворилась дверь — первая открывшаяся дверь за всю дорогу по Деревне,— и старый крестьянин в коричневом кожухе, приветливо и робко склонив голову к плечу, вышел ему навстречу. «Можно мне ненадолго зайти к вам? — сказал К.— Я очень устал». Он не расслышал, что ответил старик, но с благодарностью увидел, что тот подложил доску, чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув по ней, К. очутился в горнице.

Большая сумрачная комната. Войдя со свету, сразу ничего нельзя было увидеть. К. наткнулся на корыто, женская рука отвела его. В одном углу громко кричали дети. Из другого валил густой пар, от которого полутьма сгущалась в полную темноту. К. стоял, словно окутанный облаками. «Да он пьян»,— сказал кто-то. «Вы кто такой? — властно крикнул чей-то голос и, обращаясь, как видно, к старику, добавил: — Зачем ты его впустил? Всех, что ли, впускать, кто шляется по дороге?» «Я графский землемер»,— сказал К., как бы пытаясь оправдаться перед тем, кого он все еще не видел. «Ах, это землемер»,— сказал женский голос, и сразу наступила полнейшая тишина. «Вы меня знаете?» — спросил К. «Конечно»,— коротко бросил тот же голос. Но то, что они знали К., как видно, не шло ему на пользу.

Наконец, пар немного рассеялся, и К. стал постепенно присматриваться. Очевидно, у них был банный день. У дверей стирали. Но пар шел из другого угла, где в огромной деревянной лохани — таких К. не видел, она была величиной с двуспальную кровать — в горячей воде мылись двое мужчин. Но еще неожиданнее — хотя трудно было сказать, в чем заключалась эта неожиданность,— оказалось то, что виднелось в правом углу. Из большого окна — единственного в задней стене горницы — со двора падал бледный нежный свет, придавая шелковистый отблеск платью женщины, устало полулежавшей в высоком кресле. К ее груди прильнул младенец. Около нее играли дети, явно крестьянские ребята, но она как будто была не из этой среды. Правда, от болезни и усталости даже крестьянские лица становятся утонченней.

«Садитесь!» — сказал один из мужчин, круглобородый, да еще с нависшими усами — он все время отдувал их с губ, пыхтя и разевая рот,— и, нелепым жестом выбросив руку из лохани, он указал К. на сундук, обдав ему все лицо теплой водой. На сундуке в сумрачном раздумье уже сидел старик, впустивший К., и К. обрадовался, что наконец можно сесть. Больше на него никто не обращал внимания. Молодая женщина, стиравшая у корыта, светловолосая, в расцвете молодости, тихо напевала, мужчины крутились и вертелись в лохани; ребята все время лезли к ним, но их отгоняли, свирепо брызгая в них водой, попадавшей и на К.; женщина в кресле замерла, как неживая, и смотрела не на младенца у груди, а куда-то вверх.

Верно, К. долго глядел на эту неподвижную, грустную и прекрасную картину, но потом, должно быть, заснул, потому что, встрепенувшись от громкого окрика, он почувствовал, что лежит головой на плече у старика, сидевшего рядом. Мужчины уже вымылись и стояли одетые около К., а в лохани теперь плескались ребята под присмотром белокурой женщины. Выяснилось, что крикливый бородач не самый главный из двоих. Второй, хоть и ростом не выше и с гораздо менее густой бородой, оказался тихим, медлительным, широкоплечим человеком, со скуластым лицом; он стоял, опустив голову. «Господин землемер, — сказал он,— вам тут оставаться нельзя. Простите за невежливость». «Я и не думал оставаться,— сказал К.—

Хотел только передохнуть немного. Теперь отдохнул и могу уйти». «Наверно, вас удивляет негостеприимство,— сказал тот,— но гостеприимство у нас не в обычае, нам гостей не надо». Освеженный недолгим сном и снова сосредоточившись, К. обрадовался откровенным словам. Он двигался свободнее, прошелся, опираясь на свою палку, взад и вперед, даже подошел к женщине в кресле, ощущая, что он ростом выше всех остальных.

«Правильно,— сказал К.— Зачем вам гости? Но изредка человек может и понадобиться, например, землемер, такой, как я». «Мне это неизвестно,— медленно сказал тот.— Если вас вызвали, значит, вы понадобились; наверно, это исключение, но мы, мы люди маленькие, живем по закону, вам за это на нас обижаться не следует». «Нет, нет,— сказал К.— Я вам только благодарен, и вам лично, и всем присутствующим». И неожиданно для всех К. буквально подпрыгнул на месте, перевернулся и очутился перед женщиной в кресле. Усталые голубые глаза поднялись на него. Прозрачный шелковый платочек до половины прикрывал лоб, младенец спал у нее на груди. «Кто ты?» — спросил К., и с пренебрежением к самому ли К. или к своим словам она бросила: «Я служанка из Замка».

Но не прошло и секунды, как слева и справа К. схватили двое мужчин и молча, словно другого способа объясниться не было, с силой потащили его к дверям. Старик чему-то вдруг обрадовался и захлопал в ладоши. И прачка засмеялась вместе с загалдевшими вдруг ребятами.

К. так и остался стоять на улице, мужчины следили за ним с порога. Снова пошел снег, но как будто стал светлее. «Куда вы пойдете? — нетерпеливо крикнул круглобородый.— Туда — путь к Замку, сюда — в Деревню». Но К. спросил не у него, а у того, второго, который, несмотря на свою замкнутость, казался ему обходительнее: «Кто вы такие? Кого мне благодарить за отдых?» «Я дубильщик Лаземан,— ответил тот.— А благодарить вам никого не надо». «Прекрасно,— сказал К.— Надеюсь, мы еще встретимся». «Вряд ли»,— сказал мужчина. И в эту минуту круглобородый, подняв руку, закричал: «Здорово, Артур, здорово, Иеремия!» К. обернулся: значит в этой Деревне все же люди выходили на улицу! По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах, и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги. «Вы зачем сюда?» — крикнул бородач. «Дела!» — смеясь, крикнули те. «Где?» «На постоялом дворе!» «И мне туда!» — закричал К. громче всех, ему ужасно захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой. И хотя знакомство с ними ничего особенного не сулило, но они наверняка были бы славными, бодрыми спутниками. Они услышали слова К., но только кивнули ему и сразу исчезли вдали.

К. все еще стоял в снегу, у него не было охоты вытаскивать оттуда ногу, чтобы тут же погрузить ее в сугроб; дубильщик с товарищем, довольные тем, что окончательно избавились от К., медленно протискивались в дом сквозь неплотно прикрытую дверь, то и дело оглядываясь на К., и К. наконец остался один в глубоком снегу. «Пожалуй, была бы причина слегка расстроиться,— подумал К.,— если бы я сюда попал случайно, а не нарочно».

Вдруг с левой стороны домишка открылось крохотное оконце; оно казалось темно-синим, пока было закрыто — очевидно при отблеске снега, и было таким крошечным, что сейчас в нем виднелось не все лицо того, кто выглядывал, а только глаза — стариковские карие глаза. «Вон он стоит»,— услышал К. дрожащий женский голос. «Это землемер,— сказал мужской голос. Потом мужчина подошел к оконцу и добавил без враждебности, но все же так, словно был озабочен, как бы не нарушился порядок перед его домом: — Кого вы ждете?» «Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят»,— сказал К. «Тут сани не проезжают,— сказал мужчина,— тут дорога не проезжая». «Но ведь это — дорога в Замок?» «И все же тут дорога не проезжая»,— повторил мужчина с какой-то настойчивостью. Оба замолчали. Но мужчина, очевидно, что-то решал, потому что не захлопывал оконца, оттуда шел дымок. «Дорога скверная»,— сказал К., поддерживая разговор.

Но тот только сказал: «Да, конечно». Помолчав, он все же добавил: «Если хотите, я вас довезу на санках». «Пожалуйста, довезите! — обрадовался К.— Сколько вы с меня возьмете?»

«Ничего»,— сказал мужчина. К. очень удивился. «Вы ведь землемер,— объяснил

мужчина,— вы имеете отношение к Замку. Куда же вы хотите ехать?» «В Замок»,— ответил К. «Тогда я не поеду»,— сразу сказал мужчина. «Но я же имею отношение к Замку»,— сказал К., повторяя слова мужчины. «Возможно»,— уклончиво сказал тот. «Тогда отвезите меня на постоялый двор»,— сказал К. «Хорошо,— сказал мужчина,— сейчас выведу сани». Видно, тут дело было не в особой любезности, а скорее в эгоистичном, тревожном, почти педантическом стремлении — поскорее убрать К. с улицы перед домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие санки для легких грузов, совершенно плоские, без всякого сиденья, запряженные тощей лошаденкой, за ними шел согнувшись малорослый хромой человечек с изможденным, красным, слезящимся лицом, которое казалось совсем крошечным в складках толстого шерстяного платка, накрученного на голову. Человечек был явно болен и, очевидно, вышел на улицу только для того, чтобы отвезти К. Так К. ему и сказал, но тот отмахнулся. К. услышал только, что он возница Герстекер и взял эти неудобные санки потому, что они стояли наготове, а выводить другие было бы слишком долго. «Садитесь»,— сказал он, ткнув кнутом в задок саней. «Я сяду с вами рядом»,— ответил К. «А я пешком»,— сказал Герстекер. «Почему?» — спросил К. «Я пешком»,— повторил Герстекер, и вдруг его так стал колотить кашель, что пришлось упереться ногами в снег, а руками — в край санок, чтобы не упасть. К., ничего не говоря, сел в санки сзади, кашель постепенно утих, и они тронулись.

Замок наверху, странно потемневший, куда К. сегодня и не надеялся добраться, отдалялся все больше и больше. И, словно подавая знак и ненадолго прощаясь, оттуда прозвучал колокол, радостно и окрыленно, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в боязни — ведь и тоской звенел колокол,— а вдруг исполнится то, к чему так робко оно стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его сменил слабый однотонный колокольчик, то ли оттуда сверху, то ли уже из Деревни. И этот перезвон как-то лучше подходил к медленному скольжению саней и унылому, но безжалостному вознице.

«Слушай! — крикнул вдруг К., они уже подъезжали к церкви, постоялый двор был недалеко, и К. немного осмелел:— Я все удивляюсь, что ты под свою ответственность решаешься меня везти, разве тебе это разрешено?» Но Герстекер не обратил никакого внимания и спокойно шагал рядом с лошаденкой. «Эй!» — крикнул К. и, собрав в санях горсть снега, угодил снежком прямо в ухо Герстекеру. Тот остановился и обернулся назад; и когда К. увидел его так близко перед собой — санки проползли только шаг,— увидел эту согнутую, чем-то искалеченную фигуру, воспаленное, усталое, худое лицо, с какими-то разными щеками — одна плоская, другая запавшая,— полуоткрытый растерянный рот, где торчало всего несколько зубов, он повторил ехидный вопрос уже с состраданием: не достанется ли Герстекеру за то, что он отвез К.? «Чего тебе надо?» — непонятливо спросил Герстекер и, не ожидая объяснений, крикнул на лошаденку, и они поехали дальше.

Когда они — К. узнал знакомый поворот — уже почти добрались до постоялого двора, там была полнейшая темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так долго отсутствовал? Всего час-другой по его расчетам, да и вышел он с самого утра, и есть ему совсем не хотелось, и еще недавно стоял совсем светлый день, и вдруг такая тьма. «Коротки дни, коротки»,— сказал он про себя и, соскользнув с санок, пошел к постоялому двору.

К счастью, на верхней ступеньке крыльца стоял хозяин, светя ему навстречу высоко поднятым фонарем. Мимоходом вспомнив о вознице, К. приостановился, но кашель донесся откуда-то из темноты,— видно, тот уже ушел. Ничего, наверно, скоро они где-нибудь встретятся. Только поднявшись на крыльцо к хозяину, подобострастно поздоровавшемуся с ним, К. увидел по обеим сторонам двери двух человек. Он взял фонарь из рук хозяина и посветил на них: это оказались те двое, которых он уже видел, их еще называли Иеремия и Артур. Они откозыряли ему. К. вспомнил военную службу — самые счастливые годы жизни — и засмеялся.

«Кто вы такие?» — спросил он, оглядывая их обоих. «Ваши помощники»,— ответили они. «Да, помощники»,— негромко подтвердил хозяин. «Как? — спросил К.— Вы — мои старые помощники? Это вам я велел ехать за мной, это вас я ждал?» «Да»,— сказали они. «Это хорошо,— сказал К. помолчав,— хорошо, что вы приехали. Однако,— добавил он, немного помолчав,— вы сильно запоздали, вы очень неаккуратны». «Дорога была дальняя,» —сказал один из них. «Дорога дальняя? —

повторил К.— Но ведь я вас встретил, когда вы шли из Замка». «Да»,— сказали оба, но ничего не объяснили. «А где у вас инструменты?» — спросил К. «У нас их нет»,— ответили оба. «Как? Инструменты, которые я вам доверил?» — сказал К. «У нас их нет»,— повторили они. «Ну, что вы за люди! — сказал К.— Да знаете ли вы толк в землемерных работах?» «Нет»,— сказали оба. «Но если вы мои прежние помощники, вы должны все уметь»,— сказал К. Они промолчали. «Ну, пойдемте!» — сказал К. и втолкнул их в дом.

2

Варнава

Они сели втроем у маленького столика в зале и молча стали пить пиво. К. сидел посредине, оба помощника — справа и слева. В зале, как и вчера вечером, только еще за одним столом сидели крестьяне. «Трудно мне будет с вами,— сказал К., все время сравнивая лица своих помощников,— ну как мне вас отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а вообще похожи, как...— Он запнулся и нечаянно добавил: — Похожи, как две змеи». Помощники усмехнулись. «Обычно нас легко различают»,— как бы оправдываясь, сказал один. «Верю,— сказал К.,— сам был тому свидетелем, но у меня-то глаза свои, а мне вас никак не различить. Буду обращаться с вами как с одним человеком и звать обоих буду Артур, одного из вас ведь так и зовут, тебя, что ли?» «Нет,— сказал тот,— меня звать Иеремия». «Не важно,— сказал К.,— все равно буду обоих звать Артур. Пошлю куда-нибудь Артура — вы оба и пойдете, поручу Артуру работу — оба за нее возьметесь, конечно, мне очень не выгодно, что я не могу вас использовать на разных работах, но зато удобно: за все, что я вам поручу, будете нести ответственность вместе, нераздельно. Как вы работу поделите — мне безразлично, только никаких отговорок от каждого в отдельности я не приму, вы для меня — один человек». Оба подумали и сказали: «Нам это будет очень неприятно». «Еще бы! — сказал К.— Конечно, вам должно быть неприятно, но так оно и будет». Уже несколько минут К. наблюдал, как вокруг их столика крадучись бродит один из крестьян, и, вдруг решившись, он подошел к одному из помощников и хотел что-то шепнуть ему на ухо. «Простите,— сказал К. и, хлопнув рукой по столу, встал,— это мои помощники, у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать!» «Ох, виноват, виноват!» — испуганно проговорил крестьянин и задом попятился к своим товарищам. «Одно вы должны строго соблюдать,— сказал К., снова садясь на место,— ни с кем без моего позволения вы разговаривать не должны. Я здесь чужой, а раз вы — мои старые помощники, то и вы тут чужие. Поэтому мы, трое чужаков, должны держаться вместе. По рукам, что ли?» Оба с готовностью протянули ему руки. «Лапы уберите,— сказал К.,— а мой приказ остается в силе. Теперь я пойду сосну, да и вам советую лечь. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра надо начинать пораньше. Достаньте сани, на них поедем в Замок, и чтобы к шести утра сани стояли перед домом». «Хорошо»,— сказал один, но второй вмешался: «Ты говоришь «хорошо», а сам знаешь, что это невозможно». «Тихо! — сказал К.— Вы, кажется, затеяли действовать вразнобой?» Но тут снова заговорил первый: «Он прав, это невозможно, в Замок посторонним без разрешения доступу нет».—«А где брать разрешение?» — «Не знаю, может, у кастеляна».— «Что же, будем звонить по телефону. А ну-ка, вы оба, звоните сейчас же кастеляну». Оба бросились к телефону, вызвали номер — как они суетились, всем видом выражая послушание! — и спросили, можно ли К. с ними вместе завтра утром явиться в Замок. «Нет!» — прозвучало так громко, что донеслось до столика К. Ответ был еще решительнее, там добавили: «Ни завтра, ни в другой день». «Сам поговорю»,— сказал К. вставая. И хотя и К. и его помощники до сих пор особого интереса не возбуждали — не считая случая с тем крестьянином,— его последние слова вызвали всеобщее внимание. Все встали вместе с К., и хотя хозяин старался их оттеснить, все столпились вокруг телефона. Большинство высказывало мнение, что К. вообще никакого ответа не получит. К. должен был попросить их замолчать, их мнения он вовсе не спрашивал.

В трубке послышалось гудение — такого К. никогда по телефону не слышал. Казалось, что гул бесчисленных детских голосов, впрочем, это гудение походило не на гул, а скорее на пение далеких, очень-очень далеких голосов,— казалось, что это

гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единственный высокий и все же мощный голос, он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в жалкий слух, но и куда-то глубже. К. слушал, не говоря ни слова, упершись левым локтем в подставку от телефона, и слушал, слушал...

Он не знал, как долго это длилось, но тут хозяин, дернув его за куртку, прошептал, что к нему пришел посыльный. «Уйди!» — не сдерживаясь, крикнул К., очевидно прямо в телефонную трубку, потому что ему тут же ответили. И произошел следующий разговор. «Освальд слушает, кто говорит?» — крикнул строгий, надменный голос. К. послышался какой-то дефект речи, который старались выправить излишней напускной строгостью. Назвать себя К. не решался, перед телефоном он чувствовал себя беспомощным, на него могли наорать, бросить трубку; К. закрыл себе немаловажный путь. Нерешительность К. раздражала его собеседника. «Кто говорит? — повторил он и добавил: — Я был бы очень обязан, если бы оттуда меньше звонили, только что нас уже вызывали». К. не обратил внимания на эти слова и, внезапно решившись, доложил: «Говорит помощник господина землемера».— «Какой помощник? Какой господин? Какой землемер?» К. вдруг вспомнил вчерашний разговор по телефону. «Спросите Фрица»,— отчеканил он. К собственному его удивлению, это помогло. Но еще больше, чем этому, удивился он единству тамошней службы. Ему сразу ответили: «Знаю. Вечно этот землемер. Да, да! А дальше что? Какой еще помощник?» «Йозеф»,— сказал ему К. Ему очень мешало перешептывание крестьян за спиной, они, очевидно, были против того, что он неправильно доложил о себе. Но ему некогда было с ними препираться, разговор поглощал все его внимание. «Йозеф? — переспросили оттуда.— Но ведь помощников зовут...— Маленькая пауза, как видно, там справлялись у кого-то об именах.— Артур и Иеремия». «Это новые помощники»,— сказал К. «Да нет же, это старые». «Нет, новые, а вот я старый, я приехал сегодня вслед за господином землемером». «Нет!» — крикнули в трубку. «Так кто же я такой?» — спросил К. все с тем же спокойствием. Наступила небольшая пауза, и тот же человек, с тем же недостатком речи, но совсем другим, глубоким и уважительным голосом проговорил: «Ты старый помощник».

Вслушиваясь в этот голос, К. чуть не пропустил вопрос: «А что тебе нужно?» Охотнее всего он положил бы трубку. От этих переговоров он все равно ничего не ждал. Но тут он был вынужден что-то сказать и торопливо спросил: «А когда моему хозяину можно будет прийти в Замок?» «Никогда!» — прозвучал ответ. «Хорошо»,— сказал К. и повесил трубку.

Крестьяне, стоявшие сзади, придвинулись совсем вплотную. Помощники, искоса поглядывая на него, были заняты тем, чтобы не подпускать крестьян слишком близко. Но делалось это явно для вида, да и сами крестьяне, удовлетворенные исходом разговора, медленно отступали. Вдруг в их толпу сзади быстрыми шагами врезался какой-то человек и, поклонившись К., передал ему письмо. Держа письмо в руке, К. оглядел посланца — ему это показалось важнее. Между ним и помощниками было большое сходство, он был так же строен, в таком же облегающем платье, так же быстр и ловок в движениях, как они, и вместе с тем он был совершенно другой. Лучше бы он достался К. в помощники! Чем-то он ему напоминал женщину с грудным младенцем, которую он видел у дубильщика. Одет он был почти что во все белое, и хотя платье было не из шелка — как и все другие он был в зимнем,— но по мягкости, по праздничности это платье напоминало шелк. Лицо у него было светлое, открытое, глаза сверхъестественно большие. Улыбался он необыкновенно приветливо; он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть эту улыбку, но ничего не вышло. «Кто ты такой?» — спросил К. «Зовут меня Варнава,— сказал тот.— Я посыльный».

Мужественно и вместе с тем нежно раскрывались и смыкались его губы, складывая слова. «Тебе здесь нравится?» — спросил К. и показал на крестьян, он еще не потерял интереса к ним с их словно нарочно исковерканными физиономиями — казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья,— теперь они, приоткрыв отекшие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет; и еще К. показал Варнаве на своих помощников — те стояли обнявшись, щекой к щеке, и посмеивались, то ли застенчиво, то ли с издевкой, и К. обвел всех их рукой, словно представляя свою свиту, навязанную ему обстоятельствами, и ожидая — этого доверия и добивал-

ся К.,— чтобы Варнава раз и навсегда увидел разницу между ними и самим К. Но Варнава с полнейшим простодушием — это сразу было видно — совсем не понял, что хотел сказать К.; он лишь воспринял жест К. как благовоспитанный слуга воспринимает каждое слово хозяина, даже непосредственно его не касающееся, и в ответ только послушно оглядел всех вокруг, помахал рукой знакомым крестьянам, обменялся несколькими словами с помощниками — и все это свободно, непринужденно, не держась ото всех особняком. И К., как бы поставленный на место, но не пристыженный, вспомнил о письме, которое он все еще держал в руках, и распечатал его. В письме стояло: «Многоуважаемый господин! Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу Замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе и об условиях оплаты, перед ним же вы должны будете отчитываться. Вместе с тем и я постараюсь не терять вас из виду. Податель сего письма, Варнава, будет время от времени справляться о ваших пожеланиях и докладывать об этом мне. Вы встретите с моей стороны постоянную готовность по возможности идти вам навстречу. Я заинтересован, чтобы мои работники были довольны». Дальше шла неразборчивая подпись, но рядом печатными буквами стояло: «Начальник Н-ской канцелярии». «Погоди!» — сказал К. склонившемуся в поклоне Варнаве и кликнул хозяина, чтобы ему отвели комнату,— ему хотелось наедине разобраться в письме. При этом он вспомнил, что при всей симпатии, какую он почувствовал к Варнаве, тот был всего лишь посыльным, и велел подать ему пива. К. проследил, как он это примет, но тот взял пиво с явным удовольствием и сразу выпил. К. пошел за хозяином. В этом домишке для К. не нашлось ничего, кроме чердачной каморки, да и это вызвало осложнения, потому что пришлось куда-то переселять двух служанок, спавших там до сих пор. Собственно говоря, там больше ничего не сделали, только выселили служанок; комната была неубрана, даже единственная кровать не постлана, на ней лежала лишь пара одеял да попона, оставшиеся с прошлой ночи. На стенах висело несколько религиозных картинок и фотографий солдат. Даже проветривать каморку не стали,— видно, понадеялись, что новый постоялец надолго не задержится, и ничего не сделали, чтобы его удержать. Но К. был на все готов, он завернулся в одеяло, сел к столу и при свече стал перечитывать письмо.

Письмо было неодинаковое, в некоторых фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают,— это выражалось в обращении и в той фразе, где говорилось о его пожеланиях. Но были такие выражения, в которых к нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, будто высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы «не терять его из виду», а непосредственным его начальником оказался сельский староста, ему надо было даже отчитываться перед ним. И, чего доброго, его единственным сослуживцем станет сельский полицейский! Тут безусловно крылись противоречия настолько явные, что их, без сомнения, внесли в письмо нарочно. К. сразу отбросил безумную по отношению к столь высокой инстанции мысль, что у них были какие-то колебания. Скорее он видел тут открыто предложенный ему выбор — ему представлялось сделать свои выводы из содержания письма: желает ли он стать работником в Деревне, с постоянно подчеркиваемой, но на самом деле только кажущейся связью с Замком, или же он хочет только внешне считаться работником Деревни, а на самом деле всю свою работу согласовывать с указаниями из Замка, передаваемыми Варнавой. К. не задумывался — выбор был ясен, он бы сразу решился, даже если бы он за это время ничего не узнал. Только работая в Деревне, возможно дальше от чиновников Замка, сможет он хоть чего-то добиться в Замке, да и те жители Деревни, которые пока еще так недоверчиво к нему относились, заговорят с ним иначе, когда он станет если не их другом, то хотя бы их односельчанином, и когда он перестанет отличаться от Герстекера или Лаземана — а такая перемена должна наступить как можно скорее, от этого все зависело,— тогда перед ним сразу откроются все пути, которые были для него не только заказаны, но и незримы, если бы он рассчитывал на господ оттуда, сверху, и на их милость. Правда, тут таилась одна опасность, и в письме она была достаточно подчеркнута, даже с некоторым злорадством, словно избежать ее было невозможно. Это — положение рабочего. Служба, начальник, условия заработной платы, отчетность, работник — этими словами так и пестрело письмо, и даже когда речь шла о чем-то более личном, все равно и об этом говорилось с той же точки зрения. Если К. захочет стать рабочим,

он может им стать, но уж тогда бесповоротно и всерьез, без всяких других перспектив. К. понимал, что никакой прямой угрозы тут нет, этого он не боялся, но, конечно, его удручала обстановка, привычка к постоянным разочарованиям, тяжелое, хоть и незаметное влияние каждой прожитой так минуты, и с этой опасностью он должен был вступить в борьбу. Письмо не обходило молчанием, что если этой борьбе суждено начаться, то К. уже имел смелость в нее вступить: сказано об этом было с тонкостью, и только человек с беспокойной совестью — именно беспокойной, а не нечистой! — мог это вычитать в трех словах, касавшихся его приема на работу: «как вам известно». К. доложил о себе, и с этого момента, говорилось в письме, он, как ему известно, был принят.

Сняв одну из картинок со стены, К. повесил письмо на гвоздик; в этой каморке ему жить, тут пусть и висит письмо.

Затем он спустился в зал. Варнава сидел с помощниками за столиком. «Ага, вот ты где»,— сказал К. без всякого повода — он просто обрадовался, увидев Варнаву. Тот сразу вскочил. И все крестьяне тоже вскочили с мест при входе К. и стеснились вокруг него, видно у них уже вошло в привычку ходить за ним по пятам. «Чего вам от меня нужно?» — крикнул К. Они не рассердились и медленно вернулись на свои места. Отходя, один из них сказал, как бы в объяснение, мимоходом, с непонятной усмешкой, отразившейся и на других лицах: «Того и гляди, услышишь какую-нибудь новость» — и облизнулся, как будто новость можно было съесть. К. воздержался от дружеского слова, ему нравилось, что он внушал к себе уважение, но стоило ему сесть рядом с Варнавой, как он почувствовал, что кто-то дышит ему в затылок: крестьянин сказал, что пришел взять соль. Но К. так на него топнул, что тот убежал без солонки. Было действительно нетрудно вывести К. из себя, стоило только напустить на него этих крестьян, их упрямое участие казалось еще хуже, чем замкнутость других, а кроме того, они были достаточно замкнуты: если бы К. сел к их столу, они бы немедленно поднялись и ушли бы. Только присутствие Варнавы мешало ему учинить скандал. Все же он угрожающе повернулся к ним, да и все они повернулись к нему. Но когда он увидел, как они все сидят, каждый на своем месте, не разговаривая друг с другом, без всякого видимого общения, связанные только тем, что все они не спускали с него глаз, ему показалось, что они преследуют его вовсе не из злого умысла; может быть, они и вправду хотели от него чего-то добиться, только сказать не умели, а может быть, все это было простым ребячеством, которое тут как будто всем было свойственно: разве не ребячливо вел себя сам хозяин — держа обеими руками стакан пива, предназначенный одному из посетителей, он уставился на К. и не слышал оклика хозяйки, высунувшейся из кухонного окошечка.

Уже спокойнее обратился К. к Варнаве. Он охотно удалил бы своих помощников, но не мог найти предлог. Впрочем, они молча уткнули глаза в свое пиво. «Насчет письма,— сказал К.— Я его прочел. Ты знаешь содержание?» «Нет»,— сказал Варнава, и его взгляд говорил больше, чем его ответ. Может быть, К. ошибочно видел в нем слишком много хорошего, как в крестьянах — плохое, но ему было приятно его присутствие.

«Там и о тебе идет речь — тебе придется время от времени передавать сведения от меня начальству и обратно, потому я и решил, что ты знаешь содержание письма». «Мне только поручили передать письмо,— сказал Варнава,— и дождаться, пока его прочтут; если тебе понадобится, отнести устный или письменный ответ». «Отлично,— сказал К.,— в письменном ответе нужды нет, передай господину начальнику — кстати, как его звать? Подпись я не разобрал». «Кламм»,— ответил Варнава. «Так вот, передай господину Кламму мою благодарность за прием, а также за его исключительную любезность. Как человек, еще ничем себя не зарекомендовавший, я особенно это ценю. Я готов безоговорочно подчиниться его указаниям. Никаких особых желаний у меня нет». Варнава выслушал все внимательно и попросил разрешения повторить поручение. К. разрешил, Варнава все повторил слово в слово. Потом он встал и хотел попрощаться.

К. все время всматривался в его лицо, а тут он посмотрел на него еще пристальней. Ростом Варнава был не выше К., и все же казалось, что смотрел он на него сверху, хотя и очень смиренно,— немыслимо было представить себе, чтобы этот человек хотел кого-нибудь унизить. Правда, он был только посыльным, не знал даже содержания письма, порученного ему, но в его взгляде, в улыбке, в походке крылась

тоже какая-то весть, хоть он о ней и не подозревал. И К. протянул ему руку, что его явно удивило — он хотел ограничиться простым поклоном.

И как только он вышел — а прежде чем открыть двери, он еще на миг прислонился плечом к косяку и обвел комнату взглядом, ни к кому в отдельности не относившимся,— К. сказал помощникам: «Сейчас принесу из комнаты свои записи, и обсудим план работы». Они хотели было пойти с ним, но К. сказал им: «Оставьтесь». А когда они все же собрались идти за ним, он повторил приказ еще строже. В прихожей Варнавы уже не было. А ведь он только что вышел. Но и перед домом — снова пошел снег — К. его не увидел. Он крикнул: «Варнава!» Никакого ответа. Может быть, он еще в доме? Это казалось единственной возможностью. Но все-таки К. изо всех сил окликнул его по имени. Имя громом прокатилось в темноте. И уже издалека послышался слабый отклик — так далеко ушел Варнава. К. снова позвал его к себе и сам пошел ему навстречу; когда они встретились, постоялый двор уже не был виден.

«Варнава,— сказал К. и не мог сдержать дрожь в голосе.— Я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему, очень неудачно придумано, что моя связь с Замком зависит только от твоих случайных приходов. И если бы я сейчас тебя не догнал — а ты просто летаешь, я думал, что ты еще в доме,— то кто его знает, сколько мне пришлось бы ждать, пока ты снова появишься». «Но ведь ты можешь попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, когда ты назначишь»,— сказал Варнава. «И этого недостаточно,— сказал К.— Может быть, мне целый год нечего будет передать, а потом вдруг через четверть часа после твоего ухода возникнет что-нибудь неотложное». «Так что же,— сказал Варнава,— доложить начальнику, чтобы он наладил с тобой другую связь, не через меня?» «Нет-нет,— сказал К.,— вовсе нет, это я так, мимоходом, ведь сейчас, к счастью, я тебя догнал». «Не вернуться ли нам на постоялый двор,— сказал Варнава,— чтобы ты мне там дал новое поручение?» И он уже шагнул обратно ко двору. «Не стоит, Варнава,— сказал К.,— лучше я провожу тебя немного». «Почему ты не хочешь вернуться туда?» — спросил Варнава. «Мне там народ мешает,— сказал К.— Ты сам видел, какие они назойливые, эти крестьяне». «Можно пройти к тебе в комнату»,— сказал Варнава. «Да это каморка для прислуги,— сказал К.,— там грязно, душно, для того я и пошел за тобой, чтобы там не сидеть. Только разреши мне,— продолжал К., стараясь побороть смущение,— разреши взять тебя под руку, ты идешь уверенней». И К. взял его под руку. Было совсем темно, его лица К. не видел, вся его фигура неясно вырисовывалась в темноте, но К. постарался ощупью найти его руку.

Варнава не противился, и они пошли прочь от постоялого двора. Правда, К. чувствовал, что, несмотря на величайшие усилия, он не мог идти в ногу с Варнавой и задерживал его, и что в обычной обстановке это незначительное обстоятельство могло бы все погубить, особенно если бы они попали в те проулки, где днем плутал в снегу К. и откуда теперь Варнаве пришлось бы выносить его на руках. Но К. старался не думать об этом, утешенный, кстати, и тем, что Варнава молчал; а раз они не разговаривали, значит, и для Варнавы оставалась только одна цель — идти вместе вперед.

Так они шли, но куда именно — К. не понимал: он ничего не мог узнать. Он даже не знал — прошли они церковь или нет. Приходилось затрачивать столько усилий на ходьбу, что своими мыслями он уже не владел. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, мысли путались в голове. Непрестанно всплывали родные места, воспоминания переполняли его. И там на главной площади тоже стояла церковь, к ней с одной стороны примыкало кладбище, окруженное высокой оградой. Мало кто из мальчишек побывал на этой ограде, и К. еще не удалось туда забраться. Не любопытство гнало туда ребят — никакой тайны для них на кладбище не было. Не раз они туда заходили сквозь решетчатую дверцу, но им очень хотелось одолеть высокую гладкую ограду. И однажды днем — затихшая пустая площадь была залита солнцем, К. никогда ни раньше, ни позже не видел ее такой — ему неожиданно повезло: в том месте, где он так часто срывался, он с первой попытки залез наверх, держа в зубах флажок. Еще не осыпались камушки из-под ног, а он уже сидел наверху. Он воткнул флажок, ветер натянул материю, он поглядел вниз, и вокруг, и даже через плечо, на ушедшие в землю кресты, и не было на свете никого храбрее, чем он. Случайно проходивший мимо учитель сердитым взглядом согнал К. с ограды. Соскакивая вниз, К. повредил себе колено, с трудом доковылял до дому,

но на отраду он все-таки взобрался. Ощущение этой победы, как ему тогда казалось, будет на всю жизнь служить ему поддержкой, и это было не так глупо: даже сейчас, через много лет, в снежную ночь, об руку с Варнавой, пришло оно на память.

Он крепче оперся на Варнаву — тот почти тащил его, оба не прерывали молчания. О пройденном пути К. мог судить только по состоянию дороги; ни в какие переулки они не сворачивали. Он решил про себя, что любые трудности, даже страх обратного пути, не заставят его остановиться. Пусть его хоть волоком тащат — у него хватит сил выдержать и это. Неужели дороге нет конца? Днем Замок казался ему легко доступной целью, а посыльный, наверно, знает самый короткий путь туда.

Вдруг Варнава остановился. Где они? Разве дальше ходу нет? Может быть, Варнава хочет распрощаться с К.? Нет, это ему не удастся. К. так крепко вцепился в руку Варнавы, что ему самому стало больно. Или, может быть, случилось самое невероятное, и они уже пришли в Замок или стоят у его ворот? Но насколько К. понимал, они совсем не подымались в гору. Или Варнава провел его по другой, пологой дороге? «Где мы?» — спросил К. больше про себя, чем вслух. «Дома»,— сказал Варнава так же тихо. «Дома?» — «Смотри не поскользнись, сударь, тут спуск».— «Спуск?» «Тут всего два-три шага»,— добавил Варнава и уже стучал в дверь.

Им открыла девушка, и они очутились на пороге большой комнаты, почти в темноте — только над столом, слева в углу, висела крошечная керосиновая лампочка. «Кто это с тобой, Варнава?» — спросила девушка. «Землемер»,— ответил тот. «Землемер»,— громче повторила девушка, обращаясь к сидевшим за столом. Оттуда поднялись двое стариков — мужчина и женщина — и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава представил ему всех — это были его родители и его сестры, Ольга и Амалия. К. едва взглянул в их сторону. С него сняли мокрое пальто и повесили сушить у печки. К. не сопротивлялся.

Значит, они вовсе не к цели пришли, просто Варнава вернулся к себе домой. Но зачем они зашли к нему? К. отвел Варнаву в сторону и спросил: «Зачем ты пришел домой? Или вы живете в пределах Замка?» «В пределах Замка»,— повторил Варнава, словно не понимая, что говорит К. «Варнава,— сказал К.,— ты же хотел из постоялого двора идти прямо в Замок». «Нет, сударь,— сказал Варнава,— я хотел идти домой, я только утром хожу в Замок, я там никогда не ночую». «Вот оно что,— сказал К.,— значит, ты не собирался идти в Замок, ты шел сюда?» Улыбка Варнавы показалась ему бледнее, сам он — незначительней. «Почему же ты меня не предупредил?» «Да ты меня и не спрашивал,— сказал Варнава,— ты только хотел дать мне еще поручение, но не в общей комнате и не в своей каморке, вот я и подумал, что тут, у моих родителей, тебе никто не помешает передать мне все, что надо. Сейчас они все выйдут, если ты прикажешь, а если тебе у нас больше нравится, ты и переночевать можешь тут. Разве я что-нибудь сделал не так?» К. ничего ответить не мог. Значит, все это обман, подлый, низкий обман, а К. так ему поддался. Околдовала его узкая, шелковистая куртка Варнавы, а сейчас тот расстегнул пуговицы, и снизу вылезла грубая, грязно-серая, латаная и перелатанная рубаха, обтягивавшая мощную, угловатую, костистую грудь батрака. И вся обстановка не только ничему не противоречила, но еще ухудшала впечатление, и старый подагрик-отец, передвигавшийся скорее ощупью, при помощи рук, медленно шаркая окостеневшими ногами, и мать со сложенными на груди руками, еле-еле семенившая мелкими шажками из-за невероятной своей толщины. Оба они — и отец и мать — сразу, как только К. вошел, двинулись ему навстречу, но все еще никак не могли подойти поближе. Обе сестры — блондинки, похожие друг на друга и на Варнаву, только грубее чертами лица, высокие плотные девки — обступили пришедших, дожидаясь хоть какого-нибудь приветствия от К. Но он ничего не мог выговорить: ему казалось, что тут, в Деревне, каждый человек что-то для него значил, да, наверно, так оно и было,— и только эти люди никак его не касались. И если бы он мог самостоятельно найти дорогу на постоялый двор, он тотчас же ушел бы отсюда. Его никак не привлекала возможность пойти в Замок с Варнавой утром. Он хотел бы проникнуть туда вместе с Варнавой незаметно, ночью, да и с тем Варнавой, каким он ему раньше казался, с человеком, который был ему ближе всех, кого он до сих пор здесь встречал, и о котором он, кроме того, думал, будто он, вопреки своей скромной с виду должности, тесно связан с Замком. Но с членом подобного семейства, с которым он так неотъемлемо был связан — он уже сидел с ним за столом,— с человеком, которому явно не разрешалось даже ночевать в Замке, с ним об руку,

среди бела дня, явиться в Замок было немыслимо — смешное, безнадежное предприятие.

К. присел на подоконник, решив провести так всю ночь и вообще никаких услуг от этого семейства не принимать. Жители Деревни, которые его прогоняли или испытывали перед ним страх, казались ему гораздо менее опасными: они, в сущности, предоставляли его самому себе и тем помогали внутренне собрать все свои силы, но такие мнимые помощники, которые вместо того, чтобы отвести его в Замок, слегка замаскировавшись, вели к себе домой, такие люди его сбивали с пути, волей или неволей подтачивали его силы. На приглашение сесть к семейному столу К. не обратил внимания и, опустив голову, остался на своем подоконнике.

Тогда Ольга, более мягкая из сестер, даже с некоторой девичьей робостью, встала и, подойдя к К., попросила его к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво она сейчас принесет. «Откуда?»— спросил К. «Из трактира»,— сказала она. К. обрадовался случаю. Он попросил ее не приносить пива, а просто проводить его до постоялого двора, у него там осталась важная работа. Однако выяснилось, что она собирается идти не так далеко, не на его постоялый двор, а в другую, гораздо более близкую гостиницу «Господский двор». Но К. все же попросился проводить ее, быть может, подумал он, там найдется место переночевать: какое бы оно ни было, он предпочел бы его самой лучшей кровати в этом доме. Ольга ответила не сразу и оглянулась на стол. Ее брат встал, кивнул с готовностью и сказал: «Что же, если господину так угодно!» Это согласие едва не заставило К. отказаться от своей просьбы: если Варнава соглашается, значит, это бесполезно. Но когда начали обсуждать, впустят ли К. вообще в гостиницу, и все высказали сомнение, К. стал настойчиво просить взять его с собой, даже не стараясь выдумать благовидный предлог для такой просьбы; пусть это семейство принимает его таким, какой он есть, он почему-то их совсем не стеснялся. Немного сбивала его только Амалия своим серьезным, прямым, неуступчивым, даже чуть туповатым взглядом. Во время недолгой дороги к гостинице — К. вцепился в Ольгу, иначе он не мог, и она его почти тащила, как раньше тянул ее брат,— он узнал, что эта гостиница, в сущности, предназначена только для господ из Замка, когда дела приводят их в Деревню, они там обедают, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и как бы доверительно, было приятно идти с ней, почти как раньше с ее братом. И хотя К. не хотел поддаваться этому радостному ощущению, но отделаться от него не мог.

3

Фрида

Гостиница была внешне очень похожа на постоялый двор, где остановился К. Видно, в Деревне вообще больших внешних различий ни в чем не делали, но какие-то мелкие различия замечались сразу — крыльцо было с перилами, над дверью висел красивый фонарь. Когда они входили, над ними затрепетал кусок материи — это было знамя с графским гербом. В прихожей они сразу натолкнулись на хозяина, обходившего, как видно, помещения: своими маленькими глазками то ли сонно, то ли пристально он мимоходом оглядел К. и сказал: «Господину землемеру разрешается входить только в буфет». «Конечно,— сказала Ольга, тут же вступаясь за К.,— он только провожает меня». Но неблагодарный К. отнял руку у Ольги и отвел хозяина в сторону. Ольга терпеливо осталась ждать в углу прихожей. «Я бы хотел здесь переночевать»,— сказал К. «К сожалению, это невозможно,— сказал хозяин,— вам, очевидно, ничего неизвестно. Гостиница предназначена исключительно для господ из Замка». «Может быть, таково предписание,— сказал К.,— но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, наверно, можно». «Я был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу,— сказал хозяин.— Но, не говоря уже о строгости предписания, о котором вы судите как посторонний человек, выполнить вашу просьбу невозможно еще потому, что господа из Замка чрезвычайно щепетильны, и я убежден, что один вид чужого человека, особенно без предупреждения, будет им невыносим. Если я вам позволю тут переночевать, а вас случайно — ведь случай всегда держит сторону господ — увидят тут, то не только я пропал, но и вы сами тоже. Звучит нелепо, но это чистая правда». Этот высокий, застегнутый на все пуговицы человек, который, уперев одну руку в стену, а другую в бок, скрестив ноги и слегка наклонившись к К., разговаривал с ним так доверительно, казалось, не имел никакого отношения к Деревне, хотя его темная одежда походила

на праздничное платье крестьянина. «Я вам вполне верю,— сказал К.,— да и важность предписания я никак не преуменьшаю, хотя и выразился несколько неловко. Но я хотел бы обратить ваше внимание только на одно: у меня в Замке значительные связи, и они вскоре станут еще значительнее, а это вас защитит от опасности, которая может возникнуть из-за моей ночевки тут, и мои знакомства вам порукой в том, что я в состоянии полностью отплатить за любую хотя бы мелкую услугу». «Знаю,— сказал хозяин и повторил еще раз: — Это я знаю». К. уже хотел уточнить свою просьбу, но слова хозяина сбили его, и он только спросил: «А много ли господ из Замка ночует сегодня у вас?» «В этом отношении сегодня удачный день,— сказал хозяин как-то задумчиво,— сегодня остался только один господин». Но К. все еще не решался настаивать, хотя надеялся, что его уже почти приняли, и он только осведомился о фамилии господина из Замка. «Кламм»,— сказал хозяин мимоходом и обернулся навстречу своей жене, которая выплыла, шумя очень поношенным, старомодным платьем — перегруженное множеством рюшей и складок, платье все же выглядело вполне нарядно и городского покроя. Она пришла за хозяином — господин начальник что-то желает ему сказать. Уходя, хозяин обернулся к К., словно решать вопрос о ночевке должен не он, а сам К. Но К. ничего не мог ему сказать, он совершенно растерялся, узнав, что именно его начальник оказался тут. Не отдавая себе отчета, он чувствовал себя гораздо более связанным присутствием Кламма, чем предписаниями Замка. К. вовсе не боялся быть тут пойманным в том смысле, как это понимал хозяин, но для него это было бы неприятной бестактностью, как если бы он из легкомыслия обидел человека, которому он обязан благодарностью; вместе с тем его очень удручало, что в этих его колебаниях уже явно сказывалось столь пугавшее его чувство подчиненности, зависимости от работодателя и что даже тут, где это ощущение было таким отчетливым, он никак не мог его побороть. Он стоял, кусая губы, и ничего не говорил. Прежде чем исчезнуть за дверью, хозяин еще раз обернулся и взглянул на К. Тот посмотрел ему вслед, не двигаясь с места, пока не подошла Ольга и не потянула его за собой. «Что тебе понадобилось от хозяина?» — спросила Ольга. «Хотел здесь переночевать»,— сказал К. «Но ведь ты ночуешь у нас?» — удивилась Ольга. «Да, конечно»,— сказал К. и предоставил ей самой разобраться в смысле этих слов.

В буфете — большой, посредине совершенно пустой комнаты — у стен, около пивных бочек и на них, сидели крестьяне, но совершенно другие, чем на постоялом дворе, где остановился К. Они были одеты чище, в серо-желтых, грубой ткани платьях, с широкими куртками и облегающими штанами. Все это были люди небольшого роста, очень похожие с первого взгляда друг на друга, с плоскими, костлявыми, но румяными лицами. Сидели они спокойно, почти не двигаясь, и только неторопливым и равнодушным взглядом следили за вновь пришедшими. И все же оттого, что их было так много, а кругом стояла такая тишина, они как-то подействовали на К. Он снова взял Ольгу под руку, как бы объясняя этим свое появление здесь. Из угла поднялся какой-то мужчина, очевидно знакомый Ольги, и хотел к ней подойти, но К., прижав ее руку, повернул ее в другую сторону. Никто, кроме него, этого не заметил, а она не противилась и только с улыбкой покосилась в сторону.

Пиво разливала молоденькая девушка, по имени Фрида. Это была невзрачная, маленькая блондинка, с печальными глазами и запавшими щеками, но К. был поражен ее взглядом, полным особого превосходства. Когда ее глаза остановились на К., ему показалось, что она этим взглядом уже разрешила многие вопросы, касающиеся его. И хотя он сам и не подозревал об их существовании, но ее взгляд убеждал его, что они существуют. К. все время смотрел на Фриду издалека, даже когда она заговорила с Ольгой. Дружбы между Ольгой и Фридой явно не было, они только холодно обменялись несколькими словами. К. хотел их подбодрить и потому непринужденно спросил: «А вы знаете господина Кламма?» Ольга вдруг расхохоталась. «Чего ты смеешься?» — раздраженно спросил К. «Вовсе я не смеюсь»,— сказала она, продолжая хохотать. «Ольга еще совсем ребенок»,— сказал К. и перегнулся через стойку, чтобы еще раз поймать взгляд Фриды. Но она опустила глаза и тихо сказала: «Хотите видеть господина Кламма?» К. спросил, как это сделать. Она показала на дверь тут же, слева от нее. «Тут есть глазок, можете через него посмотреть». «А что скажут эти люди?» — спросил К., но она только презрительно выдвинула нижнюю губку и необычайно мягкой рукой потянула К. к двери. И через маленький глазок, явно проделанный для наблюдения, он увидел почти всю соседнюю комнату.

За письменным столом посреди комнаты в удобном кресле с круглой спинкой сидел, ярко освещенный висящей над головой лампой, господин Кламм. Это был толстый, среднего роста, довольно неуклюжий господин. Лицо у него было без морщин, но щеки под тяжестью лет уже немного обвисли. Черные усы были вытянуты в стрелку. Криво насаженное пенсне поблескивало, закрывая глаза. Если бы Кламм сидел прямо у стола, К. видел бы только его профиль, но так как Кламм резко повернулся в его сторону, он смотрел прямо ему в лицо. Левым локтем Кламм опирался о стол, правая рука с зажатой в ней сигарой покоилась на колене. На столе стоял бокал с пивом, но у стола был высокий бортик, и К. не мог разглядеть — лежали ли там какие-нибудь бумаги, но ему показалось, что там ничего нет. Для пущей уверенности он попросил Фриду заглянуть в глазок и сказать ему, что там лежит. Но она и без того подтвердила ему, что никаких бумаг там нет, она только недавно заходила в эту комнату. К. спросил Фриду, не уйти ли ему, но она сказала, что он может смотреть сколько ему угодно. Теперь К. остался с Фридой наедине. Ольга, как он заметил, пробралась к своему знакомому и теперь сидела на бочке, болтая ногами. «Фрида,— шепотом спросил К.,— вы очень хорошо знакомы с господином Кламмом?» «О да! — сказала она,— очень хорошо». Она наклонилась к К. и игриво, как показалось К., поправила свою легкую, открытую кремовую блузку, словно с чужого плеча попавшую на ее жалкое тельце. Потом она сказала: «Вы помните, как рассмеялась Ольга?» «Да, она плохо воспитана»,— сказал К. «Ну,— сказала Фрида примирительно,— у нее были основания для смеха. Вы спросили, знаю ли я Кламма, а ведь я...— И она невольно выпрямилась, и снова ее победный взгляд, совершенно не соответствующий их разговору, остановился на К.— Ведь я его любовница». «Любовница Кламма?» — сказал К., и она кивнула. «О, тогда вы для меня...— И К. улыбнулся, чтобы не вносить излишнюю серьезность в их отношения.— Вы для меня важная персона». «И не только для вас»,— сказала Фрида любезно, но не отвечая на его улыбку. Однако К. нашел средство против ее высокомерия. «А вы уже были в Замке?» — спросил он. Это не подействовало, потому что она сказала: «Нет, не была, но разве мало того, что я работаю здесь в буфете?» Честолюбие у нее было невероятное, и, как ему показалось, она хотела его удовлетворить именно через К. «Верно,— сказал К.,— вы тут в буфете, должно быть, работаете за хозяина». «Безусловно,— сказала она,— а ведь сначала я была скотницей на постоялом дворе «У моста». «С такими нежными ручками?» — сказал К. полувопросительно, сам не зная, хочет ли он ей польстить или на самом деле очарован ею. Руки у нее и вправду были маленькие и нежные, хотя можно было их назвать и слабыми и невыразительными. «Тогда на них никто не обращал внимания,— сказала она,— и даже теперь...» К. вопросительно посмотрел на нее, но она только тряхнула головой и ничего больше не сказала. «Конечно,— сказал К.— у вас есть свои секреты, но не станете же вы делиться ими с человеком, с которым вы всего полчаса как познакомились, да и у него еще не было случая рассказать вам все о себе». Но это замечание, как оказалось, было не совсем удачным: оно словно пробудило Фриду из какого-то оцепенения, выгодного для К. Она тут же вынула из кожаного кармашка, висевшего на поясе, круглую затычку, заткнула глазок и сказала К., явно стараясь не показывать ему перемену в отношении: «Что касается вас, я все знаю. Вы землемер.— И добавила: — А теперь мне надо работать». И пошла на свое место за стойкой, куда уже подходили то один, то другой из посетителей, прося ее наполнить пустую кружку. К. хотел незаметно переговорить с ней еще раз, поэтому он взял со стойки пустую кружку и подошел к ней. «Еще одно слово, фройляйн Фрида,— сказал он.— Ведь это необыкновенное достижение — и какая нужна сила воли, чтобы из простой батрачки стать буфетчицей, но разве для такого человека, как вы, этим достигнута окончательная цель? Впрочем, я зря спрашиваю. По вашим глазам, фройляйн Фрида, пожалуйста, не смейтесь надо мной, видна не только прошлая, но и будущая борьба. Но в мире столько препятствий, и чем выше цель, тем препятствия труднее, и нет ничего зазорного, если вы обеспечите себе помощь человека хоть и незначительного, невлиятельного, но тоже ведущего борьбу. Может быть, мы могли бы с вами поговорить спокойно, наедине, а то смотрите, как все на нас уставились». «Не понимаю, что вам от меня нужно,— сказала она, и в ее голосе, против воли, зазвучала не радость жизненных побед, а горечь бесконечных разочарований.— Уж не хотите ли вы отбить меня у Кламма? О господи!» И она всплеснула руками. «Вы меня разгадали,— сказал К., словно ему наскучило вечное недоверие,— именно таков был мой тайный замысел. Вы должны бросить Кламма и стать моей любовницей. Что ж, теперь я могу уйти, Ольга! — крикнул

К.— Идем домой!» Ольга послушно скользнула на пол с бочонка, но ее тут же окружили приятели и не отпускали. Вдруг Фрида сказала тихо, угрожающе посмотрев на К.: «Когда же я могу с вами поговорить?» «А мне можно тут переночевать?» — спросил К. «Да»,— сказала Фрида. «Значит, можно остаться?» — «Выйдите с Ольгой, чтобы я могла убрать этих людей. Потом можете вернуться». «Хорошо»,— сказал К., в нетерпении поджидая Ольгу. Но крестьяне не выпускали ее, они затеяли пляску, окружив Ольгу кольцом; под выкрики, по очереди выскакивая из круга, крепко обнимали ее за талию и несколько раз кружили на месте; хоровод несся все быстрее, крики, жадные, хриплые, сливались в один. Сначала Ольга со смехом пыталась прорваться сквозь круг, но теперь, с растрепанными волосами, только перелетала из рук в руки. «Вот каких людей ко мне посылают!» — сказала Фрида, сердито покусывая тонкие губы. «А кто они такие?» — спросил К. «Слуги Кламма,— ответила Фрида.— Вечно он приводит их за собой, а я так расстраиваюсь. Сама не знаю, о чем я сейчас с вами говорила, господин землемер, и если что не так — простите меня, и все из-за этих людей. Никого хуже, отвратительнее я не знаю, и такому сброду я вынуждена подавать пиво. Сколько раз я просила Кламма оставлять их дома, уж если мне приходится терпеть слуг всех других господ, то хотя бы он мог бы меня уважать, но никакие просьбы не помогают, за час до его прихода они врываются сюда, как скотина в хлев. Но сейчас я их прогоню на конюшню — там им и место. Если бы вас тут не было, я бы сейчас же распахнула эти двери — пусть Кламм сам их выгоняет». «А разве он ничего не слышит?» — спросил К. «Нет,— сказала Фрида.— Он спит». «Как? — воскликнул К.— Спит? Но когда я заглядывал в комнату, он сидел за столом и вовсе не спал». «А он всегда так сидит,— сказала Фрида.— Когда вы на него смотрели, он уже спал. Разве я иначе позволила бы вам туда заглядывать? Он часто спит в таком положении, вообще эти господа много спят, даже непонятно почему. Впрочем, если бы он столько не спал, как бы он мог вытерпеть этих людишек? Теперь мне самой придется их выгонять». Она взяла кнут из угла и одним прыжком, неуверенным, но высоким — так прыгают барашки — подскочила к плясавшим. Сначала они решили, что прибавилась еще одна танцорка, и вправду было похоже, будто Фрида сейчас бросит кнут, но она его сразу подняла вверх. «Именем Кламма! — крикнула она.— На конюшню! Все — на конюшню!» Тут они поняли, что с ними не шутят: в непонятном для К. страхе отступили назад, под чьим-то толчком там открылись двери, повеяло ночным воздухом, и все исчезли вместе с Фридой, которая, очевидно, загоняла их через двор на конюшню.

Во внезапно наступившей тишине К. вдруг услышал шаги в прихожей. Ища укрытия, К. метнулся за стойку — единственное место, где можно было спрятаться. Правда, ему не запрещалось находиться в буфете, но так как он тут собирался переночевать, то не стоило попадаться кому-нибудь на глаза. Поэтому, когда дверь действительно открылась, он нырнул под стойку. И хотя там ему тоже грозила некоторая опасность быть замеченным, но все-таки можно было довольно правдоподобно оправдаться тем, что он спрятался от разбушевавшихся крестьян. Вошел хозяин. «Фрида!» — крикнул он и стал ходить взад и вперед по комнате.

К счастью, Фрида скоро вошла, ни словом не упомянув о К., пожаловалась на слуг, а потом прошла за стойку, надеясь там найти К. Он дотронулся до ее ноги и почувствовал себя в безопасности. Так как Фрида ничего о К. не сказала, о нем заговорил хозяин. «А где же землемер?» — спросил он. По всей видимости, он вообще был человек вежливый, с хорошими манерами, благодаря постоянному и сравнительно свободному общению с вышестоящими господами, но с Фридой он говорил особо почтительным тоном, и это бросалось в глаза, потому что он продолжал оставаться работодателем, а она его служанкой, хотя, надо сказать, весьма дерзкой служанкой. «Про землемера я совсем забыла,— сказала Фрида и поставила свою маленькую ножку на грудь К.— Наверно, он давным-давно ушел». «Но я его не видел,— сказал хозяин,— хотя все время стоял в передней». «А здесь его нет»,— холодно сказала Фрида. «Может быть, он спрятался,— сказал хозяин.— Судя по его виду, от него можно ждать чего угодно». «Ну, на это у него смелости не хватит»,— сказала Фрида и крепче прижала К. ногой. Что-то в ней было веселое, вольное, чего К. раньше и не заметил, и все это вспыхнуло еще неожиданней, когда она внезапно проговорила со смехом: «А вдруг он спрятался тут, внизу? — Наклонилась к К., чмокнула его мимоходом и, вскочив, сказала с огорчением: — Нет, тут его нету». Но и хозяин удивил К., когда вдруг сказал: «Мне очень неприятно, что я не знаю наверняка — ушел он или нет. И дело тут не только в господине Кламме, дело в предписании. А предписание касается и вас, фрой-

ляйн Фрида, так же, как и меня. За буфет отвечаете вы, а остальные помещения я обыщу сам. Спокойной ночи! Приятного сна». Не успел он уйти из комнаты, как Фрида уже очутилась под стойкой, рядом с К. «Мой миленький! Сладкий мой!» — зашептала она, но даже не коснулась К.; словно обессилев от любви, она лежала на спине, раскинув руки; видно, в этом состоянии счастливой влюбленности время ей казалось бесконечным, и она скорее зашептала, чем запела какую-то песенку. Вдруг она встрепенулась — К. все еще лежал неподвижно, погруженный в свои мысли,— и стала по-ребячески теребить его: «Иди же, здесь внизу можно задохнуться!» Они обнялись, маленькое тело горело в объятиях у К.; в каком-то тумане, из которого К. все время безуспешно пытался выбраться, они прокатились несколько шагов, глухо ударились об двери Кламма и затихли в лужах пива и среди мусора на полу. И потекли часы, часы общего дыхания, общего сердцебиения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он заблудился или уже так далеко забрел на чужбину, как до него не забредал ни один человек,— на чужбину, где самый воздух состоял из других частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой отчужденности, но ничего нельзя было сделать с ее бессмысленными соблазнами — только уходить в них все глубже, теряться все больше. И потому, по крайней мере в первую минуту, не угрозой, а скорее утешительным проблеском показался ему глубокий, повелительно-равнодушный голос, позвавший Фриду из комнаты Кламма. «Фрида»,— сказал К. ей на ухо, словно передавая зов. С механическим, уже как бы врожденным послушанием, Фрида хотела вскочить, но тут же опомнилась, сообразив, где она находится, потянулась, тихо засмеялась и сказала: «Да разве я к нему пойду, никогда я к нему больше не пойду!» К. хотел ее отговорить, хотел заставить ее пойти к Кламму, стал даже собирать обрывки ее блузки, но сказать ничего не мог — слишком он был счастлив, держа Фриду в объятиях, слишком счастлив и слишком перепуган, потому что ему казалось: уйди от него Фрида — и уйдет все, что у него есть. И, словно чувствуя поддержку К., Фрида вдруг сжала кулак, постучала в дверь и крикнула: «А я с землемером! А я с землемером!» Кламм, конечно, сразу замолчал. Но К. встал, опустился возле Фриды на колени и оглядел комнату в тусклом предрассветном полумраке. Что случилось? Где его надежды? Чего мог он теперь ждать от Фриды, когда она так его выдала? Вместо того чтобы идти вперед осторожно, как того требовала значительность врага и цели, он целую ночь провалялся в пивных лужах — теперь от вони кружилась голова. «Что ты наделала? — сказал он вполголоса.— Теперь мы оба пропали». «Нет,— сказала Фрида,— пропала только я одна, зато я тебя заполучила. Не беспокойся. Ты только посмотри, как эти двое смеются». «Кто?» — спросил К. и обернулся. На стойке сидели оба его помощника, немного сонные, но веселые; так весело бывает людям, честно выполнившим свой долг. «Чего вам тут надо?» — закричал на них К., словно они во всем виноваты. Он оглянулся, ища кнут, который вечером был у Фриды. «Должны же мы были найти тебя,— сказали помощники,— вниз к нам ты не пришел, тогда мы пошли искать тебя у Варнавы и наконец нашли вот тут. Пришлось просидеть здесь целую ночь. Да, служба у нас не из легких». «Вы мне днем нужны, а не ночью,— сказал К.— Убирайтесь!» «А теперь уже день»,— сказали они, не двигаясь с места. И действительно, уже наступил день, двери открылись, крестьяне вместе с Ольгой, о которой К. совсем забыл, ввалились в буфет. Ольга была оживлена, как вечером, и хотя и одежда и волосы у нее были в плачевном состоянии, она уже у дверей стала искать глазами К. «Почему ты со мной не пошел к нам? — спросила она чуть ли не со слезами.— Да еще из-за такой бабенки! — добавила она и повторила эту фразу несколько раз. Фрида, исчезнувшая на минутку, вышла с небольшим узелком белья. Ольга печально стояла в стороне. «Ну теперь мы можем идти»,— сказала Фрида. Было понятно, что она говорит о постоялом дворе «У моста» и собирается идти именно туда. К. встал рядом с Фридой, за ним — оба помощника. В таком порядке двинулись. Крестьяне с презрением смотрели на Фриду, что было вполне понятно — слишком строго она с ними обходилась до сих пор. Один даже взял палку и сделал вид, что не пропустит ее, если она не перепрыгнет через эту палку, но достаточно было одного ее взгляда, чтобы его отогнать. Выйдя на заснеженную улицу, К. облегченно вздохнул. Такое это было счастье — оказаться на свежем воздухе, что даже дорога показалась более сносной; а если бы К. снова очутился тут один, было бы еще лучше. Придя на постоялый двор, он сразу поднялся в свою каморку и лег на кровать, а Фрида постелила себе рядом, на полу. Вслед за ними в комнату проникли и помощники, их прогнали, но они влезли в окошко. К. слишком устал, чтобы еще раз их выгнать. Хозяйка собственной персоной под-

нялась наверх, чтобы поздороваться с Фридой, та ее называла «мамашей»; начались непонятно-восторженные приветствия с поцелуями и долгими объятиями. Вообще покоя в этой каморке не было, то и дело сюда забегали служанки, громко топая мужскими сапогами, что-то приносили, что-то уносили. А когда им нужно было что-то достать из битком набитой кровати, они бесцеремонно вытаскивали вещи из-под лежавшего там К. С Фридой они поздоровались как со своей. Все же, несмотря на беспокойство, К. пролежал весь день и всю ночь. Фрида ухаживала за ним. Когда он наконец встал на следующее утро, освеженный и отдохнувший, уже пошел четвертый день его пребывания в Деревне.

4

Первый разговор с хозяйкой

Он охотно поговорил бы с Фридой наедине, но помощники, с которыми, кстати, и Фрида то и дело перешучивалась и пересмеивалась, своим назойливым присутствием мешали ему. Спору нет, они были нетребовательными, пристроились в уголочке, на двух старых женских юбках. Как они все время говорили Фриде, для них это дело чести — не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места, поэтому они все время, правда с хихиканьем и сюсюканьем, пробовали пристроиться потеснее, сплетались руками и ногами, скорчившись так, что в сумерках в углу виднелся только один большой клубок. К сожалению, днем становилось ясно, что они весьма внимательные наблюдатели и все время следят за К., даже когда они, словно в детской игре, приставляли к глазам сложенный кулак в виде подзорной трубы и выкидывали всякие другие штуки или, мельком поглядывая на К., занимались своими бородами — они, как видно, очень ими гордились и непрестанно сравнивали, чья длиннее и гуще, призывая Фриду в судьи.

К. поглядывал, лежа на кровати, на возню всех троих с полным равнодушием.

Теперь, когда он почувствовал себя окрепшим и решил встать с постели, все трое наперебой начали за ним ухаживать. Но он еще не настолько окреп, чтобы сопротивляться их услугам. И хотя он понимал, что это ставит его в какую-то зависимость от них и может плохо кончиться, он ничего не мог поделать. Да и не так уж неприятно было пить вкусный кофе, принесенный Фридой, греться у печки, которую истопила Фрида, и посылать полных рвения помощников неуклюже бегать взад и вперед по лестнице за водой для умывания, за мылом, гребенкой и зеркалом и даже, поскольку К. об этом обмолвился, за рюмочкой рому.

И вот в то время, когда его обслуживали, а он командовал, К. вдруг сказал, больше от хорошего настроения, чем в надежде на успех: «А теперь уходите-ка вы оба, мне пока ничего не нужно, и я хочу поговорить с фройляйн Фридой наедине». И, увидев по их лицам, что они особенно сопротивляться не станут, добавил им в утешение: «А потом мы все втроем отправимся к старосте, подождите меня внизу». К его удивлению, они послушались, только, уходя, сказали: «Мы могли бы и здесь подождать», на что К. ответил: «Знаю, но не хочу».

К. не понравилось, но в каком-то смысле и обрадовало то, что Фрида, сразу после ухода помощников севшая к нему на колени, сказала: «Милый, а почему ты так настроен против помощников? У нас не должно быть от них секретов, они люди верные». «Ах, верные! — сказал К.— Да они же все время за мной подглядывают, это бессмысленно и гнусно». «Кажется, я тебя понимаю»,— сказала она и крепче обхватила его шею, хотела что-то сказать, но не смогла, и так как стул стоял у самой кровати, они оба, покачнувшись, перекатились туда. Они лежали вместе, но уже не в той одержимости, что прошлой ночью. Чего-то искала она, и чего-то искал он, бешено, с искаженными лицами, вжимая головы в грудь друг друга, но их объятия, их вскидывающиеся тела не приносили им забвения, еще больше напоминая, что их долг — искать; и как собаки неистово роются в земле, так зарывались они в тела друг друга и беспомощно, разочарованно, чтобы извлечь хоть последний остаток радости, пробегали языками друг другу по лицу. Только усталость заставила их благодарно затихнуть. И тогда снова вошли служанки. «Глядн, как они тут разлеглись!» — сказала одна и прикрыла их из жалости платком.

Когда К. немного погодя высвободился из-под платка и оглянулся, его ничуть не удивило, что в своем углу уже сидели его помощники и, указывая пальцами на К.,

одергивая друг друга, салютовали ему; кроме того, у самой кровати сидела хозяйка и вязала чулок; эта мелкая работа никак не шла к ее необъятной фигуре, почти затемняющей свет в комнате. «Я уже долго жду»,— сказала она, подняв широкое, изрезанное многими старческими морщинами, но все же при всей массивности еще свежее и, вероятно, в прошлом красивое лицо. В ее словах звучал упрек, совершенно неуместный по той причине, что К. ее сюда вовсе и не звал. Он ответил на ее слова коротким кивком и поднялся с кровати. Встала и Фрида и, отойдя от К., прислонилась к стулу хозяйки. «А нельзя ли, госпожа хозяйка,— рассеянно сказал К.,— отложить наш разговор; подождите, пока я вернусь от старосты. Мне с ним надо обсудить важные дела». «Это дело еще важнее, поверьте мне, господин землемер,— сказала хозяйка,— там дело касается работы, а тут — человека, Фриды, моей милой служаночки». «Ах так,— сказал К.— Ну, тогда конечно. Только не понимаю, отчего бы не предоставить это дело нам с нею». «Оттого, что я ее люблю, забочусь о ней»,— сказала хозяйка и притянула к себе голову Фриды: та, стоя, доставала только до плеча сидящей хозяйки. «Раз Фрида так вам доверяет,— сказал К.,— то придется и мне. И так как Фрида только сейчас назвала моих помощников верными людьми, значит, мы тут все друзья. Так вот, хозяйка, должен вам сказать, что, по-моему, лучше всего нам с Фридой пожениться, причем как можно скорее. Жаль, очень жаль, что я никак не смогу возместить Фриде то, что она из-за меня потеряла,— и место в гостинице, и покровительство Кламма». Фрида подняла голову, глаза у нее наполнились слезами, от победного выражения не осталось и следа. «Почему я? Почему именно мне это выпало на долю?» «Что?» — в один голос спросили К. и хозяйка. «Растерялась бедная девочка,— сказала хозяйка,— растерялась, столько счастья и столько горя сразу!» И словно в подтверждение ее слов Фрида бросилась на К., осыпая его безумными поцелуями, будто в комнате никого не было, и, прижимаясь к нему, разрыдалась и упала перед ним на колени. И в то время, как К. обеими руками гладил Фриду по голове, он спросил хозяйку: «Вы, кажется, меня оправдываете?» «Вы честный человек,— сказала хозяйка, тоже со слезами в голосе; вид у нее был расстроенный, и она тяжело дышала, однако нашла в себе силы добавить: — Теперь надо только обдумать, какие гарантии вы должны дать Фриде, ведь как бы я вас ни уважала, все-таки вы чужой человек, сослаться вам не на кого, ваше семейное положение нам неизвестно. Значит, дорогой мой господин землемер, вы должны понять, что гарантии необходимы, ведь вы сами подчеркнули, как много Фрида все же теряет от связи с вами». «Разумеется, гарантии, конечно,— сказал К.— И вероятно, правильнее всего будет заверить их у нотариуса, впрочем, в это, быть может, вмешаются и другие учреждения графской службы. Впрочем, мне необходимо до свадьбы закончить еще кое-какие дела. Мне надо переговорить с Кламмом». «Это невозможно! — сказала Фрида, привстав и крепче прижимаясь к К.— Что за странная мысль!»

«Нет, это необходимо,— сказал К.,— и если я сам не смогу этого добиться, то тебе придется помочь». «Не могу, К., не могу,— сказала Фрида,— никогда Кламм с тобой разговаривать не станет. И как ты только можешь подумать, что Кламм будет с тобой говорить!» «А с тобой он станет разговаривать?» — спросил К. «Тоже нет,— сказала Фрида,— ни со мной, ни с тобой. Это совершенно невозможно.— Она обернулась к хозяйке, разводя руками: — Подумайте, хозяйка, чего он требует». «Странный вы человек, господин землемер,— сказала хозяйка, и страшно было смотреть, как она вдруг выпрямилась на стуле, расставив ноги, и мощные колени проступили сквозь тонкую юбку.— Вы требуете невозможного». «А почему это невозможно?» — спросил К. «Сейчас я вам все объясню,— сказала хозяйка таким тоном, словно она не последнее одолжение делает человеку, а уже налагает на него первое взыскание.— Сейчас я вам с удовольствием все объясню. Конечно, я не имею отношения к Замку, я только женщина, только хозяйка этого захудалого двора — возможно, что он и не из самых захудалых, но недалеко ушел,— так что вы, может статься, моим словам никакого значения не придадите, но я всю жизнь смотрела в оба, со всякими людьми встречалась, всю тяжесть хозяйства вынесла на своих плечах — хоть муж у меня и славный малый, но хозяин он никуда не годный, и ему никак не понять, что такое ответственность. Вот вы, например, только благодаря его ротозейству — я в тот день устала до смерти — сидите у нас в Деревне, тут, на мягкой постели, в тепле и довольстве». «Как это?» — спросил К., очнувшись от некоторой рассеянности и волнуясь скорее от любопытства, чем от раздражения. «Да, только благодаря его ротозейству!» — снова повторила хозяйка, тыча в К. пальцем. Фрида попыталась ее успокоить. «Чего тебе? — сказала хо-

зяйка, повернувшись к ней всем телом.— Господин землемер меня спросил, и я должна ему ответить. Иначе ему не понять то, что нам понятно само собой: господин Кламм никогда не будет с ним разговаривать, да что я говорю «не будет»; он не может с ним разговаривать. Слушайте, господин землемер! Господин Кламм — человек из Замка, и это уже само по себе, независимо от места, какое Кламм занимает, очень высокое звание. А что такое вы, от которого мы так униженно добиваемся согласия на брак? Вы не из Замка, вы не из Деревни. Вы ничто. Но, к несчастью, вы все же кто-то, вы чужой, вы всюду лишний, всюду мешаете, из-за вас у всех постоянные неприятности, из-за вас пришлось выселять служанок, нам ваши намерения неизвестны, вы соблазнили нашу дорогую крошку, нашу Фриду — и теперь ей, к сожалению, придется выйти за вас замуж. Но я вовсе вас не упрекаю. Вы такой, какой вы есть; достаточно я в жизни всего насмотрелась, выдержу и это. А теперь, представьте себе, чего вы, в сущности, требуете. Такой человек, как Кламм,— и вдруг должен с вами разговаривать! Мне и то больно было слышать, что Фрида разрешила вам подсмотреть в глазок; видно, раз она на это пошла, вы ее уже соблазнили. А вы мне скажите, как вы вообще выдержали вид Кламма? Можете не отвечать, знаю — прекрасно выдержали. А это потому, что вы и не можете видеть Кламма как следует, нет, я вовсе не преувеличиваю, я тоже не могу. Хотите, чтобы Кламм с вами разговаривал,— да он даже с местными людьми из Деревни и то не разговаривает, никогда он сам еще не заговаривал ни с одним жителем Деревни. Для Фриды было большой честью — и я буду гордиться за нее до самой смерти,— что он окликал ее по имени и что она когда угодно могла к нему обращаться, и даже получила разрешение пользоваться глазком, но разговаривать он с ней никогда не разговаривал. А то, что он иногда звал Фриду, вовсе не имеет того значения, какое люди хотели бы этому придать, просто он окликал ее: «Фрида», а зачем, кто его знает? И то, что Фрида тут же к нему бежала,— это ее дело; а то, что ее к нему допускали без возражений,— это уж добрая воля господина Кламма, никак нельзя утверждать, что он звал ее к себе. Правда, теперь и то, что было, кончено навсегда. Может случиться, что Кламм когда-нибудь и скажет: «Фрида!» Это возможно, но уж пустить ее, девчонку, которая с вами путается, к нему никто не пустит. И только одно, только одно не понять бедной моей голове — как девушка, о которой говорили, что она любовница Кламма — хотя я считаю, что это сильно преувеличено,— как она позволила вам дотронуться до себя?»

«Да, удивительное дело,— сказал К. и посадил Фриду к себе на колени, чему она не сопротивлялась, хотя и опустила голову,— но это, по-моему, только доказывает, что все обстоит совсем не так, как вы себе представляете. С одной стороны, вы, конечно, правы, утверждая, будто я перед Кламмом — ничто; но если я теперь и требую разговора с Кламмом и даже все ваши объяснения меня не отпугивают, то этим еще не сказано, что я смогу выдержать вид Кламма, когда между нами не будет двери, вполне возможно, что при одном его появлении я выскочу из комнаты. Но такие, хотя и вполне оправданные опасения еще не основание для отказа от попытки добиться своего. И если мне удастся не оробеть перед ним, тогда вовсе не надо, чтобы он со мной разговаривал, достаточно будет и того, что я увижу, какое впечатление на него производят мои слова, а если никакого или если он меня совсем не станет слушать, так я, по крайней мере, выиграю одно — то, что я без стеснения, свободно высказался перед одним из сильных мира сего. А вы, хозяйка, при вашем большом знании людей, при вашем жизненном опыте, и Фрида, которая еще вчера была любовницей Кламма — я не вижу никаких оснований избегать этого слова,— вы обе, несомненно, можете легко найти для меня возможность встретиться с Кламмом, и если никак нельзя иначе, то надо пойти в гостиницу: может быть, он и сейчас еще там».

«Нет, это невозможно,— сказала хозяйка,— вижу, что вам просто соображения не хватает, никак не можете понять. Вы хоть скажите: о чем вы собираетесь говорить с Кламмом?» «О Фриде, конечно»,— сказал К.

«О Фриде? — непонимающе повторила хозяйка и обратилась к Фриде: — Ты слышишь, Фрида? Он хочет о тебе говорить с Кламмом! С самим Кламмом!»

«Ах,— сказал К.,— вы такая умная, достойная уважения женщина, и вдруг вас пугает всякий пустяк. Ну да, я хочу поговорить с ним о Фриде, и ничего в этом чудовищного нет, наоборот, это само собой разумеется. Ведь вы и тут ошибаетесь, думая, что Фрида с тех пор, как я появился, потеряла для Кламма всякий интерес. Думать так — значит, недооценивать его. Я отлично знаю, что с моей стороны большая дерзость — поучать вас, но все же приходится. Из-за меня отношения Кламма с Фри-

дой никак измениться не могут. Либо между ними вообще никаких близких отношений не было — так, в сущности, считают те, которые отнимают у Фриды право на звание любовницы Кламма,— тогда и сейчас никаких отношений нет, или же, если такие отношения существовали, то можно ли думать, что из-за меня, из-за такого, как вы правильно выразились, ничтожества в глазах Кламма, они могли нарушиться? Только с перепугу, в первую минуту в это можно поверить, но стоит только поразмыслить, и все становится на место. Впрочем, дадим и Фриде высказать свое мнение».

Задумчиво глядя вдаль и прижавшись щекой к груди К., Фрида сказала: «Матушка, конечно, во всем права. Кламм обо мне больше и знать не желает. Но вовсе не из-за тебя, миленький мой,— такие вещи на него не действуют. Мне даже кажется, что только благодаря ему мы с тобой нашли друг друга, тогда, под стойкой, и я не проклинаю, а благословляю этот час». «Ну, если так,— медленно проговорил К.; ему сладко было слушать эти слова, и он даже прикрыл глаза, чтобы они проникли в самую душу,— ну, если так, значит, тем меньше у меня оснований бояться разговора с Кламмом».

«Ей-богу,— сказала хозяйка и посмотрела на К. сверху вниз,— иногда вы напоминаете моего мужа — такое же упрямство, такое же ребячество. Вы тут всего несколько суток, а уже хотите все знать лучше нас, местных, лучше меня, старой женщины, лучше Фриды, которая столько видела и слышала там, в гостинице. Не отрицаю, может быть, иногда и можно чего-то добиться, несмотря на все законы, на все старые обычаи; сама я никогда в жизни такого не видела, но говорят, есть примеры, всякое бывает; но, уж конечно, добиваться этого надо не так, как вы, не тем, чтобы все время только и твердить: «Нет, нет, нет!» — только и пытаться жить своим умом и никаких добрых советов не слушать. Думаете, я о вас забочусь? Разве мне было до вас дело, когда вы были один? Кстати, лучше бы я тогда вмешалась, может быть, многого можно было бы избежать». Одно только я уже тогда сказала про вас своему мужу: «Держись от него подальше!» Я бы и сама вас избегала, если бы вы не связали судьбу Фриды со своей судьбой. Только ей вы должны быть благодарны — хотите или не хотите — за мою заботу, даже за мое уважение к вам. И вы не имеете права так просто отстранять меня, потому что передо мной, перед единственным человеком, который по-матерински заботится о маленькой Фриде, вы несете самую серьезную ответственность. Возможно, что Фрида права и что все совершилось по воле Кламма, но о Кламме я сейчас ничего не знаю, никогда мне с ним говорить не придется, это для меня совершенно недоступно. А вы сидите тут, обнимаете мою Фриду, а вас самих — зачем скрывать? — держу тут я. Да, я вас держу, попробовали бы вы, молодой человек, если я вас выставлю из своего дома, найти пристанище где-нибудь в Деревне, хоть в собачьей будке».

«Спасибо,— сказал К.— Вы очень откровенны, и я верю каждому вашему слову. Значит, вот до чего непрочное у меня положение и, значит, положение Фриды тоже».

«Нет! — сердито закричала на него хозяйка.— У Фриды совсем другое положение, ничего общего с вами тут у нее нет. Фрида — член моей семьи, и никто не смеет называть ее положение непрочным».

«Хорошо, хорошо,— сказал К.— Пусть вы и тут правы, особенно потому, что Фрида по неизвестной мне причине слишком вас боится и вмешиваться не хочет. Давайте поговорим только обо мне. Мое положение чрезвычайно непрочно, этого вы не отрицаете, наоборот, всячески стараетесь доказать. Вы и тут, как и во всем, что вы сказали, по большей части правы, однако с оговорками. Например, я знаю место, где я мог бы отлично переночевать».

«Где это? Где?» — в один голос закричали Фрида и хозяйка с таким пылом, словно у обеих была одинаковая причина для любопытства. «У Варнавы!» — сказал К.

«У этих нищих! — крикнула хозяйка.— У этих опозоренных нищих! У Варнавы! Вы слышали? — И она обернулась к углу, но помощники уже вылезли оттуда и, обнявшись, стояли за хозяйкой, и та, словно ища поддержки, схватила одного из них за руку: — Слышали, с кем водится этот господин? С семьей Варнавы! Ну, конечно, там ему устроят ночевку, ах, да лучше бы он там ночевал, чем в гостинице! А вы-то где были?»

«Хозяйка,— сказал К., не дав помощникам ответить,— это мои помощники, а вы с ними обращаетесь, будто они сам помощники, а мне сторожа. В остальном я готов самым вежливым образом обсуждать все ваши мнения, но это никак не касается моих помощников, тут все слишком ясно. Поэтому попрошу вас с моими помощниками не

разговаривать, а если моей просьбы мало, то я запрещаю моим помощникам отвечать вам».

«Значит, мне с вами нельзя разговаривать!» — сказала хозяйка, обращаясь к помощникам, и все трое засмеялись, хозяйка — ехидно, но гораздо снисходительней, чем мог ожидать К., а помощники — с обычным своим выражением, которое было и многозначительным, и вместе с тем ничего не значащим и показывало, что они снимают с себя всякую ответственность.

«Только не сердись,— сказала Фрида,— и пойми правильно, почему мы так взволнованы. Если угодно, мы с тобой только благодаря Варнаве и нашли друг друга. Когда я тебя первый раз увидела в буфете — ты вошел под ручку с Ольгой,— то хотя я кое-что о тебе уже знала, но ты мне был совершенно безразличен. Вернее, не только ты мне был совершенно безразличен, почти все, да все на свете мне было безразлично. Правда, я и тогда многим была недовольна, многое вызывало злобу, но какое же это было недовольство, какая злоба! Например, меня мог обидеть какой-нибудь посетитель в буфете — они вечно ко мне приставали, ты сам видел этих парней, но приходили и похуже, Кламмовы слуги были не самые плохие, ну и обижал меня кто-нибудь, а мне-то что? Мне казалось, что это случилось сто лет назад, или случилось вовсе не со мной, а кто-то мне об этом рассказывал, или я сама уже все позабыла. Нет, не могу описать, даже не могу сейчас представить себе, как оно было,— настолько все переменилось с тех пор, как Кламм меня бросил».

Тут Фрида оборвала свой рассказ, печально склонила голову и сложила руки на коленях.

«Вот видите,— сказала хозяйка с таким выражением, будто говорит не от себя, а подает голос вместо Фриды; она пододвинулась поближе и села вплотную к Фриде.— Вот видите, господин землемер, к чему привели ваши поступки, и пусть ваши помощники — ведь мне не разрешается с ними разговаривать,— пусть и для них это будет наукой! Фрида была счастлива, как никогда в жизни, и вы ее вырвали из этого состояния, но вам это удалось только потому, что Фрида по-детски все преувеличила и пожалела вас — ей было невыносимо видеть, как вы вцепились в руку Ольги и, значит, попали в лапы к семье Варнавы. Вас она спасла, а собой пожертвовала. А теперь, когда так случилось и Фрида отдала все, что у нее было, за счастье сидеть у вас на коленях, теперь вы вдруг выкладываете как самый ваш главный козырь, что у вас, мол, была возможность переночевать у Варнавы! Видно, хотите показать, что вы от меня не зависите? Конечно, если бы вы и впрямь переночевали у Варнавы, так уж, наверно, перестали бы от меня зависеть — я бы вас вмиг, немедленно выставила из моего дома».

«Никаких грехов я за семьей Варнавы не знаю,— сказал К. и, осторожно подняв Фриду, которая сидела, как неживая, медленно усадил ее на кровать, а сам встал.— Может быть, тут вы и правы, но и я безусловно был прав, когда я просил вас предоставить нам с Фридой самим решать свои дела. Вы тут что-то упоминали о любви и заботе, но я-то их не заметил, больше тут было высказано ненависти, и насмешки, и угроз выставить меня из дому. Если вы задумали отпугнуть Фриду от меня или меня от Фриды, то вы ловко за это взялись, но думаю, что это вам не удастся, а если бы и удалось, то — разрешите и мне на этот раз, хоть и туманно, пригрозить вам — вы в этом горько раскаетесь. Что касается квартиры, которую вы мне предоставили,— ведь речь может идти только об этой отвратительной конуре? — то ничем не доказано, что вы это сделали по собственной воле, должно быть, вам были даны указания от графской канцелярии. Я туда и доложу, что вы мне отказали, а если мне укажут другое жилье, вы, наверно, вздохнете с большим облегчением, но я вздохну еще глубже. А теперь я отправляюсь к сельскому старосте — и по этому делу, и по другим делам; а вы, пожалуйста, хотя бы позаботьтесь о Фриде — смотрите, в какое состояние ее привели ваши, так сказать, материнские речи!»

И он повернулся к помощникам. «Пошли!» — сказал он, снял письмо Кламма с гвоздика и двинулся к выходу. Хозяйка смотрела на него молча и только, когда он уже взялся за дверную ручку, сказала: «Господин землемер, хочу еще дать вам совет на дорогу, потому что какие речи вы бы ни вели, как бы вы меня, старую женщину, ни обижали, вы все же будущий муж Фриды. Только потому я и говорю вам: вы находитесь в ужасающем неведении насчет наших здешних дел, просто голова кружится, когда вас слушаешь, когда мысленно сравниваешь ваши слова и ваши утверждения с истинным положением вещей. Сразу ваше непонимание не исправишь, а может, и вообще тут ничего не сделаешь, но будет лучше во многих отношения, если вы хоть

немного доверитесь мне и будете знать, что вы ничего не знаете. Тогда вы, к примеру, станете гораздо справедливее ко мне и хоть немного поймете, какой страх мне пришлось пережить — я до сих пор от него не избавлюсь,— когда я узнала, что моя милая крошка оставила, можно сказать, орла и связалась со слепым кротом, причем ведь на самом деле все обстоит куда хуже, я только стараюсь об этом забыть, не то я не могла бы вымолвить ни слова. Ну вот вы опять сердитесь. Нет, не уходите, выслушайте хоть эту просьбу: куда бы вы ни пришли, помните, что вы тут самый несведущий человек, и будьте осторожны, тут, у нас, где вас защищает от беды присутствие Фриды, можете болтать сколько вашей душе угодно, например, здесь можете изображать перед нами, как вы собираетесь разговаривать с Кламмом, но на самом деле, на самом деле — очень, очень вас прошу — не делайте этого!»

Она встала и, споткнувшись от волнения, подошла к К., схватила его за руку и умоляюще посмотрела на него. «Хозяйка,— сказал К.,— не понимаю, почему из-за такого дела вы унижаетесь, просите меня. Если, как вы говорите, мне с Кламмом поговорить невозможно, значит, я этого и не добьюсь, просите меня или не просите. Но если это все же возможно, почему бы и не воспользоваться такой возможностью, тем более что тогда отпадут все ваши основные возражения и всякие ваши страхи будут мало обоснованны. Да, конечно, я нахожусь в неведении, это правда, и для меня это очень печально, но есть тут и то преимущество, что человек в своем неведении действует смелей, а потому я охотно останусь при своем неведении и, пока есть силы, готов даже нести все дурные последствия, а их, наверно, не избежать. Но ведь эти последствия в основном коснутся только меня, вот почему мне особенно непонятны все ваши просьбы. О Фриде вы, несомненно, позаботитесь, а если я совсем исчезну из ее жизни, то, с вашей точки зрения, это для нее будет просто счастьем. Чего же вы тогда боитесь? Уж не боитесь ли вы,— К. открыл двери,— а при моей неосведомленности все кажется возможным,— уж не боитесь ли вы за Кламма?» Он торопливо сбежал по лестнице, за ним — его помощники; хозяйка молча посмотрела ему вслед.

5

У старосты

К его собственному удивлению, предстоящий разговор со старостой мало беспокоил К. Он это объяснял себе тем, что до сих пор, как показал опыт, деловые отношения с графской администрацией складывались для него совсем просто. Происходило это потому, что, по-видимому, в отношении него была издана определенная, чрезвычайно для него выгодная инструкция, а с другой стороны, все инстанции были удивительным образом связаны в одно целое, причем это особенно четко ощущалось там, где на первый взгляд такой связи не существовало. Думая об этом, К. был готов считать свое положение вполне удовлетворительным, хотя при таких вспышках благодушия он спешил себе сказать, что в этом-то и таится главная опасность.

Прямой контакт с властями был не так затруднен, потому что эти власти, при всей их превосходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие и невидимые дела, между тем как сам К. боролся за нечто живое — за самого себя; притом, пусть только в первое время боролся по своей воле, сам шел на приступ; и не только он боролся за себя, за него боролись и другие силы — он их не знал, но по мероприятиям властей мог предположить, что они существуют. Однако тем, что власти до сих пор охотно шли ему навстречу — правда, в мелочах, о крупных вещах до сих пор речи не было,— они отнимали у него возможность легких побед, а одновременно и законное удовлетворение этими победами с вытекающей отсюда вполне обоснованной уверенностью, необходимой для дальнейших, уже более серьезных боев. Вместо этого власти пропускали К. всюду, куда он хотел — правда, только в пределах Деревни,— и этим размагничивали и ослабляли его: уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, унылую и чуждую ему жизнь. И если К. не будет все время начеку, то может случиться, что в один прекрасный день, несмотря на предупредительность местных властей, несмотря на добросовестное выполнение всех своих до смешного легких служебных обязанностей, обманутый той внешней благосклонностью, которую к нему проявляют, К. станет вести себя в остальной своей жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непременно споткнется, и тогда власти, по-прежнему любезно и мягко,

как будто не по своей воле, а во имя какого-то незнакомого ему, но всем известного закона, должны будут вмешаться и убрать его с дороги. А в чем, в сущности, состояла его «остальная» жизнь здесь? Нигде еще К. не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут,— они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и лнчная жизнь поменялись местами. Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой Кламм обладал в спальне К.? Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, бóльшая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосиовении с властями, а в остальном нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, с оглядкой во все стороны, на каждом шагу.

Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила, что К. правильно представил себе здешние порядки. Староста, приветливый, гладковыбритый толстяк, болел — у него был тяжелый подагрический припадок — и принял К. лежа в постели. «Так вот, значит, наш господин землемер»,— сказал он, попробовал приподняться, чтобы с ним поздороваться, но не смог и снова опустился на подушку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном освещении от крохотных окон, к тому же затемненных занавесками, принесла для К. стул и поставила его у самой постели. «Садитесь, садитесь, господин землемер,— сказал староста,— и скажите мне, какие у вас будут пожелания?» К. прочел ему письмо Кламма и добавил от себя кое-какие замечания. И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, им можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. Староста как будто почувствовал в нем это настроение и беспокойно завертелся на кровати. Наконец он сказал: «Я, господин землемер, как вы, вероятно, заметили, уже давно обо всем знаю. Виной тому, что я сам ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь, и потом, вы так долго не приходили, что я уже подумал: не отказались ли вы от этого дела? Но теперь, когда вы так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать вам всю правду — и довольно неприятную. По вашим словам, вас приняли как землемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер?» В глубине души К., правда, того не ведая, уже был готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал: «Это для меня полная неожиданность. Значит, все мои расчеты рухнут? Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение». «К сожалению, нет,— сказал староста,— все обстоит именно так, как я сказал». «Но как же можно! — крикнул К.— Неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно?» «Это уже другой вопрос,— сказал староста,— не мне его решать. Но объяснить вам, как произошло недоразуменне,— это я могу. В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что один отдел даст одно распоряжение, другой — другое. Друг о друге они ничего не знают, и, хотя контрольная инстанция действует безошибочно, но в силу своей природы она всегда опаздывает, потому и могут возникнуть всякие незначительные недоразумения. Правда, обычно это сущие пустяки, мелочи, вроде вашего дела. Я еще иикогда не слыхал, чтобы делали ошибки в серьезных вещах, но, конечно, все эти мелочи — тоже штука неприятная. Что же касается вашего случая, то я не стану делать из него служебную тайну — я ведь совсем не чиновник, я крестьянин и крестьянином останусь, и я вам откровенно расскажу, как все вышло. Давным-давно — прошло всего несколько месяцев, как я вступил в должность старосты,— я получил распоряжение, уж не помню из какого отдела, где в самом категорическом тоне — эти господа иначе не умеют — было сказано, что в скором времеии будет вызван землемер и что нашей общине поручается подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не могло вас касаться, это было много лет тому назад, да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен — а когда лежишь в постели, времени много, тут всякая чепуха в голову лезет... Мицци! — перебивая себя, позвал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по комнате,— посмотри, пожалуйста, в том шкафу, может, найдешь распоряжение». И, обращаясь к К., он объяснил: «Я тогда только начинал служить и сохранял каждую бумажку». Жена тут же открыла шкаф. К. и староста взглянули туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании оттуда вы-

валились две огромные кипы документов, перевязанных веревкой, как обычно перевязывают пучки хвороста, и женщина испуганно отскочила. «Да они же внизу, посмотри внизу»,— распорядился староста с постели. Обхватывая кипы обеими руками, жена стала послушно выбрасывать их из шкафа, чтобы добраться до нужных документов. Уж полкомнаты было завалено бумагами. «Да,— сказал староста, качая головой,— огромная работа проделана, тут только самая малость, главное спрятано у меня в амбаре, впрочем, большая часть бумаг давно затерялась. Разве возможно все сохранить! Но в амбаре всего еще много. Ну как, нашла распоряжение? — спросил он у жены.— Ты поищи папку, на которой слово «землемер» подчеркнуто синим карандашом». «Темно тут,— сказала жена.— Пойду принесу свечку». И, топча бумаги, она вышла из комнаты. «Жена — мне большое подспорье во всей этой канцелярщине,— сказал староста,— работа трудная, а делать ее приходится только походя. Правда, для писания у меня еще есть помощник, наш учитель, но все равно справиться трудно, вон сколько нерешенных дел, я их складываю в тот ящик,— и он показал на второй шкаф,— а уж теперь, когда я болен, нас просто завалило». И он утомленно, хотя и гордо, откинулся на подушки. «Может быть, я могу помочь вашей жене искать?» — спросил К., когда та вернулась со свечой и, встав на колени, начала искать документ. Староста с улыбкой покачал головой: «Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я все же не могу». В комнате наступила тишина, слышен был только шорох бумаг, староста даже немного задремал. Негромкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это пришли его помощники. Видно, что их уже немного удалось воспитать, они не ворвались в комнату и только прошептали в приотворенную дверь: «Мы совсем на улице замерзли». «Кто там?» — вздрогнул староста. «Да это мои помощники,— сказал К.,— не знаю, где бы им подождать меня, на улице слишком холодно, а тут они будут в тягость». «Мне они не помешают,— любезно сказал староста.— Впустите их сюда. Ведь я их знаю. Старые знакомые». «Они мне в тягость»,— откровенно сказал К. и, переводя взгляд с помощников на старосту, а потом снова на помощников, увидел, что все трое улыбаются совершенно одинаковой улыбкой. «Ладно, раз вы уже тут,— сказал он, словно решившись,— оставайтесь и помогите-ка супруге старосты отыскать документ, на котором синим карандашом подчеркнуто слово „землемер"». Староста не возражал. Значит, то, что не разрешалось К., разрешалось его помощникам, и они сразу набросились на бумаги, но больше расшвыривали документы, чем искали, и пока один по буквам разбирал надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук. А жена старосты только стояла на коленях перед пустым ящиком, она как будто совсем перестала искать, во всяком случае свеча была от нее очень далеко.

«Да, помощники,— сказал староста, самодовольно улыбаясь, как будто все делается по его распоряжению, только никто об этом даже не подозревает.— Значит, они вам в тягость, но ведь это ваши собственные помощники». «Вовсе нет,— холодно сказал К.— Они тут ко мне приблудились». «То есть как это «приблудились»? — сказал староста.— Вы хотите сказать, они к вам были прикреплены?» «Ладно, пускай прикреплены,— сказал К.,— но только с таким же успехом они могли свалиться с неба, настолько необдуманно их ко мне прикрепили». «Необдуманно у нас ничего не делается»,— сказал староста и, позабыв о больной ноге, сел и выпрямился. «Ничего? — сказал К.— А как же мой вызов?» «И ваш вызов был, наверно, обдуман,— сказал староста,— только всякие побочные обстоятельства запутали дело, я вам это докажу с документами в руках». «Да эти документы никогда не найдутся!» — сказал К. «Как не найдутся? — крикнул староста.— Мицци, пожалуйста, ищи поскорей! Впрочем, я могу рассказать вам всю историю и без бумаг. На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот же отдел — назовем его отдел А, а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа, да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком, то ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге — но во всяком случае не у них в отделе, за это я ручаюсь,— словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе — к сожалению, там его не было — речь идет о назначении землемера. Тем временем отдел А ждал нашего ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном ведении дел — вещь вполне понятная и даже неизбежная,— их референт положился на то, что мы им ответим, и тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, на-

пишет нам снова. Поэтому он пренебрег всеми предварительными записями и позабыл об этом деле. Однако пакет без документов попал в отдел Б к референту, который славился своей добросовестностью — его зовут Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку посвященному, непонятно, почему он, с его способностями, до сих пор занимает такое незначительное место. Но прошло уже несколько месяцев, если не лет, с тех пор как отдел А впервые написал нам, и это понятно: ведь если бумага, как полагается, идет правильным путем, то она попадает в свой отдел самое позднее через день, и в тот же день ей дается ход: но ежели она как-то пойдет не тем путем — а при такой отличной постановке дела, как в нашей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не тот путь,— ну тогда, тогда, конечно, все идет очень долго. И когда мы получили запрос от Сордини, мы лишь смутно помнили, в чем дело, работали мы тогда только вдвоем с Мицци, учителя мне еще в помощники не назначали, копии мы хранили исключительно в самых важных случаях, словом, мы могли дать только очень неопределенный ответ, что о таком предписании мы ничего не знаем и нужды в землемере не испытываем».

«Однако,— прервал себя староста, словно, увлекшись рассказом, он уже зашел слишком далеко или это вот-вот произойдет,— вам не скучно слушать эту историю?»

«Нет,— сказал К.,— мне очень занятно».

Староста сразу возразил: «Я вам не для занятности рассказываю».

« Мне только потому занятно,— объяснил К.,— что я смог заглянуть в эту дурацкую путаницу, от которой, при некоторых условиях, зависит жизнь человека».

«Никуда вы еще не заглянули,— сказал староста,— и я могу вам рассказать, что было дальше. Конечно, наш ответ не удовлетворил такого человека, как Сордини. Я перед ним преклоняюсь, хотя он меня и замучил. Дело в том, что он никому не доверяет: даже если он, к примеру, тысячу раз мог убедиться, что человек заслуживает полнейшего доверия, он в тысячу первый раз опять отиесется к нему с таким недоверием, будто совсем его не знает, вернее, точно знает, что перед ним прохвост. Я-то считаю это правильным, чиновник так и должен себя вести; к сожалению, я сам, по своему характеру, не могу следовать его примеру. Сами видите, как я вам, чужому человеку, все выкладываю, но иначе я не могу. А у Сордини по поводу нашего ответа сразу возникли подозрения. И началась долгая переписка. Сордини запросил, почему это мне вдруг пришло в голову сообщить, что не надо вызывать землемера. Я ему ответил — и тут мне помогла отличная память Мицци,— что первым подняла этот вопрос канцелярия (то, что мы получили тогда запрос из другого отдела, мы, конечно, совсем забыли); тогда Сордини поставил вопрос: почему я только сейчас упомянул о том первом запросе из канцелярии? А я ему: потому что только сейчас о нем вспомнил; Сордини: это чрезвычайно странно; а я: вовсе это не странно в таком затянувшемся деле; Сордини: все же это странно, потому что запрос, о котором я упоминаю, вообще не существует; я: конечно, не существует, потому что документ утерян; Сордини: но должна же существовать какая-то отметка о том, что такой запрос был послан, а ее нигде нет. И тут я опешил, потому что я не осмеливался ни утверждать, ни даже предполагать, что в отделе Сордини произошла ошибка. Может быть, вы, господин землемер, мысленно упрекаете Сордини за то, что он мог бы из внимания к моим утверждениям хотя бы справиться в других отделах об этом запросе. Но как раз это было бы неправильно, и я не хочу, чтобы вы, хотя бы мысленно, очернили имя этого человека. Вся работа главной канцелярии построена так, что возможность ошибок вообще исключена. Этот порядок обеспечивается превосходной организацией службы в целом, и он необходим для наибольшей скорости исполнения. Поэтому Сордини не мог наводить справки в других отделах; впрочем, они не стали бы ему отвечать, потому что там сразу поняли бы, что дело идет о поисках возможной ошибки».

«Разрешите господин староста, перебить вас вопросом,— сказал К.,— кажется, вы раньше упомянули о каком-то отделе контроля? Хозяйство тут, как видно, такое, что при одной только мысли, что контроль отсутствует, человеку становится жутко».

«Вы очень строги — сказал староста,— но будь вы в тысячу раз строже — и то вам не сравняться с той строгостью, с какой само управление относится к себе. Только совсем чужой человек может задать такой вопрос. Существует ли отдел контроля? Да, тут повсюду одни отделы контроля. Правда, они не для того предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в грубом смысле этого слова, потому что ошибок тут не

бывает, а если и бывает, как в вашем случае, то кто может окончательно сказать, что это — ошибка?»

«Ну, это что-то совсем новое!» — воскликнул К.

«А для меня совсем старое! — сказал староста.— Я не меньше, чем вы, убежден, что произошла ошибка, и Сордини из-за этого заболел от отчаяния, и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны тем, что они обнаружили источник ошибки, тоже признали, что ошибка есть. Но кто может ручаться, что и вторая контрольная инстанция будет судить так же, а за ней третья и все последующие?»

«Все возможно,— сказал К.,— в эти рассуждения мне лучше не вдаваться, да и, кстати, о контрольных отделах я слышу впервые и, конечно, понять их еще не могу. Но по моему, тут надо разграничить две стороны дела: с одной стороны, то, что происходит внутри отделов и что они могут официально толковать так или иначе, а с другой стороны, существует живой человек — я, который стоит вне всех этих служб и которому со стороны именно этих служб угрожает решение настолько бессмысленное, что я еще никак не могу всерьез поверить в эту угрозу. С первой стороной вопроса дело, очевидно, и обстоит так, как вы, господин староста, сейчас изложили с поразительным и необычайным знанием дела, но теперь я хотел бы услышать хоть слово о себе».

«И до этого дойду,— сказал староста,— но вам ничего не понять, если я предварительно не объясню еще кое-что. Я слишком преждевременно заговорил об отделах контроля. Вернемся к переписке с Сордини. Постепенно, как я вам уже говорил, я стал противиться ему все меньше и меньше. Но когда в руках у Сордини есть хоть малейшее преимущество перед кем-то — он уже победил; тут еще больше повышается его внимание, энергия, присутствие духа, и это зрелище приводит противников в трепет, а врагов этих противников — в восторг. И со мной иногда так бывало — потому я имею право говорить об этом. Вообще-то мне еще ни разу не удавалось видеть его в глаза, он сюда спускаться не может — слишком загружен работой; мне рассказывали, что в его кабинете даже стен не видно — везде громоздятся огромные груды папок с делами, и только с теми делами, которые сейчас в работе у Сордини, а так как все время оттуда то вытаскивают папки, то их туда подкладывают, и притом все делается в страшной спешке, эти груды все время обрушиваются, поэтому непрерывный грохот отличает кабинет Сордини от всех других. Да, Сордини работает по-настоящему, он и самым мелким делам уделяет столько же внимания, как и самым крупным».

«Вот вы, господин староста, все время называете мое дело мелким,— сказал К.,— а ведь оно занимало время у многих чиновников, и если даже в той груде дел оно и было совсем мелким, так от усердия чиновников вроде господина Сордини оно уже давно переросло в большое дело. К сожалению, это так, причем совершенно против моей воли — честолюбие мое не в том, чтобы ради меня вырастали и рушились огромные груды папок с моим делом, а в том, чтобы мне дали спокойно заниматься своей мелкой землемерной работой за маленьким чертежным столиком».

«Нет,— сказал староста,— ваше дело не из больших. В этом отношении вам жаловаться нечего, оно одно из самых мельчайших среди других мелких дел. Объем работы вовсе не определяет степень важности дела. У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. Но если бы суть была и в объеме работы, то ваше дело все равно оказалось бы одним из самых незначительных, обычные дела, то есть те, в которых нет так называемых ошибок, требуют еще более усиленной, но, конечно, и более плодотворной работы. Кроме того, вы ведь еще ничего не знаете о той настоящей работе, которую пришлось из-за вас проделать, об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Сначала Сордини меня ни во что не втягивал, но приходили его чиновники, каждый день в гостинице шли допросы самых видных жителей Деревни, вели протоколы. Большинство из жителей стояло за меня, кое-кто упирался; для каждого крестьянина измерение наделов — дело кровное, ему сразу чудятся какие-то тайные сговоры и несправедливости а тут у них еще нашелся вожак, и у Сордини, по их высказываниям, должно было сложиться впечатление, что если бы я поставил этот вопрос перед представителями общины, то вовсе не все были бы против вызова землемера. Поэтому соображение, что землемер нам не нужен, все время как-то ставилось под вопрос. Особенно тут выделился некий Брунсвик — вы, должно быть, его не знаете — человек он, может быть, и неплохой, но дурак и фантазер, он зять Лаземана».

«Кожевника?» — спросил К. и описал бородача, которого видел у Лаземана.

«Да, это он»,— сказал староста.

«Я и жену его знаю»,— сказал К. скорее наугад.

«Возможно»,— сказал староста и замолчал.

«Красивая женщина,— сказал К.,— правда, бледновата, вид болезненный. Она, вероятно, из Замка!» — полувопросительно добавил он.

Староста взглянул на часы, налил в ложку лекарства и торопливо проглотил.

«Вы, наверно, в Замке только и знаете что устройство канцелярий?» — резко спросил К.

«Да,— сказал староста с иронической и все же благодушной усмешкой.— Это ведь самое важное. Теперь еще о Брунсвике: если бы мы могли исключить его из нашей общины, почти все наши были бы счастливы, и Лаземан не меньше других. Но в то время Брунсвик пользовался каким-то влиянием, он хотя и не оратор, но зато крикун, а многим и этого достаточно. Вот и вышло так, что я был вынужден поставить вопрос перед советом общины — единственное, чего добился Брунсвик, потому что, как и следовало ожидать, большинство членов совета и слышать не хотели о каком-то землемере. И хотя все это было много лет назад, дело никак не могло прекратиться — отчасти из-за добросовестности Сордини, который самыми тщательными расследованиями старался выяснить, на чем основано мнение не только большинства, но и оппозиции, отчасти же из-за глупости и тщеславия Брунсвика, лично связанного со многими чиновниками, которых он все время беспокоил своими выдумками и фантазиями. Правда, Сордини не давал Брунсвику обмануть себя, да и как мог Брунсвик обмануть Сордини? Но именно во избежание обмана нужны были новые расследования, и ие успевали их закончить, как Брунсвик опять выдумывал что-нибудь новое, он легок на подъем, при его глупости это неудивительно. А теперь я коснусь одной особенности нашего служебного аппарата. Насколько он точен, настолько же и чувствителен. Если какой-нибудь вопрос рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончательного рассмотрения, вдруг, молиеносно, в какой-то непредвиденной инстанции — ее потом и обнаружить невозможно — будет принято решение, которое хоть и не всегда является правильным, но зато окончательно закрывает дело. Выходит так, будто канцелярский аппарат не может больше выдержать напряжения, когда его из года в год долбят по поводу одного и того же, незначительного по существу дела, и вдруг этот аппарат сам собой, без участия чиновников, это дело закрывает. Разумеется, никакого чуда тут не происходит, просто какой-нибудь чиновник пишет заключение о закрытии дела, а может быть, принимается и неписаное решение, и невозможно установить, во всяком случае тут, у нас, да, пожалуй, и там, в канцелярии, какой именно чиновник прииял решение по данному делу и на каком основании. Только отделы контроля много времени спустя устанавливают это, но нам ничего не сообщают, впрочем, теперь это уже вряд ли может кого-нибудь заинтересовать. Притом, как я говорил, все эти окончательные решения всегда превосходны, только одно в них нескладно: обычно узнаешь о них слишком поздно, а тем временем все еще идут горячие споры о давно решенных вещах. Не знаю, было ли принято такое решение по вашему делу, многое говорит за это, многое — против, но если бы это произошло, то вам послали бы приглашение, вы проделали бы весь долгий путь сюда, к нам, прошло бы очень много времени, а между тем Сордини продолжал бы работать до изнеможения, Брунсвик все мутил бы народ, и оба мучили бы меня. Я только высказываю предположение, что так могло бы случиться, а наверняка я знаю только одно: между тем один из контрольных отделов обнаружил, что много лет назад из отдела А был послан в общину запрос о вызове землемера и что до сих пор ответа нет. Недавно меня об этом запросили, ну и, конечно, все тут же выяснилось, отдел А удовлетворился моим ответом, что землемер нам не нужен, и Сордини должен был признать, что в данном случае он оказался не на высоте и, правда не по своей вине, проделал столько бесполезной работы, да еще с такой нервотрепкой. Если бы со всех сторон ие навалилось бы, как всегда, столько новой работы и если бы ваше дело не было таким мелким, можно даже сказать — мельчайшим из мелких, мы все, наверно, вздохнули бы с облегчением, по-моему даже сам Сордини. Один Брунсвик ворчал, но это уже было просто смешно. А теперь представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда после благополучного окончания всей этой истории — а с тех пор тоже прошло немало времени — вдруг появляетесь вы, и, по-видимому, выходит так, что все дело надо начинать сначала. Но вы, конечно, понимаете, что, поскольку это от меня зависит, я ни в коем случае этого не допущу!»

«Конечно! — сказал К. — Но я еще лучше понимаю, что тут происходят возмутительные безобразия не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам. А себя лично я сумею защитить».

«И как же?» — спросил староста.

«Это я выдать не могу»,— сказал К.

«Приставать к вам не стану,— сказал староста,— но учтите, что в моем лице вы найдете не буду говорить друга — слишком мы чужие люди,— но, во всяком случае, подмогу в вашем деле. Одного я не допущу — чтобы нас приняли в качестве землемера, в остальном же можете спокойно обращаться ко мне, правда, в пределах моей власти, которая довольно ограниченна».

«Вы все время говорите, что меня обязаны принять на должность землемера, но ведь я уже фактически принят. Вот письмо Кламма».

«Письмо Кламма! — сказал староста.— Оно ценно и значительно из-за подписи Кламма — кажется, она подлинная,— но в остальном... Впрочем, тут я не смею высказывать свое личное мнение. Мицци! — крикнул он и добавил: — Да что вы там делаете?»

Мицци и помощники, надолго оставленные без всякого внимания, очевидно, не нашли нужного документа и хотели снова все убрать в шкаф, но уложить беспорядочно наваленную груду папок им не удавалось. Должно быть, помощники придумали то, что они сейчас пытались сделать. Они положили шкаф на пол, запихали туда все папки, уселись вместе с Мицци на дверцы шкафа и теперь постепенно нажимали на них.

«Значит, не нашли бумагу,— сказал староста,— жаль, конечно, но ведь вы уже все знаете, нам, собственно говоря, никакие бумаги больше не нужны, потом они, конечно, отыщутся, наверно, их взял учитель, у него дома много всяких документов. А сейчас, Мицци, неси сюда свечу и прочти со мной это письмо».

Подошла Мицци — она казалась еще серее и незаметнее, сидя на краю постели и прижимаясь к своему крепкому, жизнеобильному мужу, который крепко обнял ее. Только ее худенькое лицо стало виднее при свете — ясное, строгое, слегка смягченное годами. Заглянув в письмо, она сразу благоговейно сложила руки. «От Кламма!» — сказала она. Они вместе прочли письмо, о чем-то пошептались, а когда помощники закричали «Ура!» — им наконец удалось закрыть шкаф, и Мицци с молчаливой благодарностью посмотрела на них,— староста заговорил:

«Мицци совершенно согласна со миой, и теперь я смело могу вам сказать. Это вообще не служебный документ, а частное письмо. Уже само обращение «Многоуважаемый господин!» говорит за это. Кроме того, там не сказано ни слова о том, что вас приняли в качестве землемера, там речь идет о графской службе вообще; впрочем, и тут ничего определенного не сказано. Только то, что вы приняты «как вам известно», то есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, возлагается на вас. Наконец, в служебном отношении вас направляют только ко мне, к старосте, с указанием, что я являюсь вашим непосредственным начальством и должен сообщить вам все дальнейшее, что в сущности сейчас уже мной и сделано. Для того, кто умеет читать официальные документы и вследствие этого еще лучше разбирается в неофициальных письмах, все это ясно как день. То, что вы, человек посторонний, в этом не разобрались, меня не удивляет. В общем и целом это письмо означает только то, что Кламм намерен лично заняться вами в том случае, если вас примут на графскую службу».

«Вы, господин староста, так хорошо расшифровали это письмо,— сказал К.,— что от него ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Неужели вы не замечаете, как вы этим унижаете имя Кламма, к которому вы как будто относитесь с уважением?»

«Это недоразумение,— сказал староста.— Я вовсе не умаляю значения письма и своими объяснениями ничуть его не снижаю, напротив! Частное письмо Кламма, несомненно, имеет гораздо большее значение, чем официальный документ, только значение у него не то, какое вы ему приписываете».

«Вы знаете Шварцера?» — спросил я.

«Нет,— ответил староста,— может, ты знаешь, Мицци? Тоже нет? Нет, мы его не знаем».

«Вот это странно,— сказал К.,— ведь он сын помощника кастеляна».

«Милый мой господин землемер,— сказал староста,— ну как я могу знать всех сыновей всех помощников кастеляна?»

«Хорошо,— сказал К.,— тогда вам придется поверить мне на слово. Так вот, с этим

Шварцером у меня вышел неприятный разговор в самый день моего приезда. Но потом он справился по телефону у помощника кастеляна, по имени Фриц, и получил подтверждение, что меня пригласили в качестве землемера. Как вы это объясните, господин староста?»

«Очень просто,— сказал староста.— Вам, видно, никогда еще не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим. Да, еще про телефон: видите, у меня никакого телефона нет, хотя мне-то уж немало приходится иметь дел с канцеляриями. В пивных и всяких таких местах телефоны еще могут пригодиться хотя бы вроде музыкальных ящиков — а больше они ни на что не нужны. А вы когда-нибудь уже отсюда звонили? Да? Ну, тогда вы меня, может быть, поймете. В Замке, как мне рассказывали, телефон как будто работает отлично, там звонят непрестанно, что, конечно, очень ускоряет работу. Эти беспрестанные телефонные переговоры доходят до нас по здешним аппаратам в виде шума и пения, вы, наверно, тоже это слыхали. Так вот, единственное, чему можно верить,— это шуму и пению, они настоящие, а все остальное — обман. Никакой постоянной телефонной связи с Замком тут нет, никакой центральной станции, которая переключала бы наши вызовы туда, не существует; если мы отсюда вызываем кого-нибудь из Замка, там звонят все аппараты во всех самых низших отделах, вернее, звонили бы, если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звонки не были бы выключены. Правда, иногда какой-нибудь чиновник, переутомленный работой, испытывает потребность немного отвлечься — особенно ночью или поздно вечером — и включает телефон, тогда, конечно, мы оттуда получаем ответ, но, разумеется, только в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит смелости звонить среди ночи по каким-то своим личным мелким делишкам туда, где идет такая бешеная работа? Я не понимаю, как даже чужой человек может поверить, что если он позвонит Сордини, то ему и в самом деле ответит сам Сордини? Скорее всего, ответит какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого отдела. Напротив, может выпасть и такая редкость, что, вызывая какого-нибудь регистратора, вдруг услышишь ответ самого Сордини. Самое лучшее — сразу бежать прочь от телефона, как только раздастся первое слово».

«Да, так я на это, конечно, не смотрел,— сказал К.,— такие подробности я знать не мог, но и особого доверия к телефонным разговорам у меня тоже не было, я всегда сознавал, что значение имеет только то, о чем узнаешь или чего добьешься непосредственно в самом Замке».

«Нет,— сказал староста, уцепившись за слова К.,— телефонные разговоры тоже имеют значение, как же иначе? Почему эта справка, которую дает чиновник из Замка, не имеет значения? Я ведь вам уже объяснил в связи с письмом Кламма: все эти высказывания прямого служебного значения не имеют, и, приписывая им такое служебное значение, вы заблуждаетесь; однако их частное, личное значение, в смысле дружеском или враждебном, очень велико, по большей части оно даже куда значительней любых служебных отношений».

«Прекрасно,— сказал К.,— допустим, что все обстоит именно так. Но тогда у меня в Замке уйма добрых друзей: если смотреть в корень, то возникшую много лет назад в одном из отделов идею — почему бы не вызвать сюда землемера? — можно считать дружественным поступком по отношению ко мне, впоследствии все уже пошло одно за другим, пока наконец — правда, не к добру — меня заманили сюда, а теперь грозятся выкинуть».

«Некоторая правда в ваших словах, конечно, есть,— сказал староста,— вы правы, что никакие указания, идущие из Замка, нельзя принимать буквально. Но осторожность нужна везде, не только тут, и чем важнее указание, тем осторожнее надо к нему подходить. Но мне непонятны ваши слова, будто вас сюда заманили. Если бы вы внимательнее слушали мои объяснения, вы бы поняли, что вопрос о вашем вызове слишком сложен, чтобы в нем разобраться нам с вами в такой короткой беседе».

«Значит, остается один вывод,— сказал К.,— все очень неясно и неразрешимо, кроме того, что меня выкидывают».

«Да кто осмелился вас выкинуть, господин землемер? — сказал староста.— Именно неясность всего предыдущего обеспечивает вам самое вежливое обращение; по-видимому, вы слишком обидчивы. Никто вас тут не удерживает, но ведь это еще не значит, что вас выгоняют».

«Знаете, господин староста,— сказал К.,— теперь вам все кажется слишком яс-

ным. А я вам сейчас перечислю, что меня тут удерживает: те жертвы, которые я принес, чтобы уехать из дому, долгий трудный путь, вполне обоснованные надежды, которые я питал в отношении того, как меня тут примут, мое полное безденежье, невозможность снова найти работу у себя дома и, наконец, не меньше, чем все остальное, моя невеста, живущая здесь».

«Ах, Фрида,— сказал староста без всякого удивления.— Знаю, знаю. Но Фрида пойдет за вами куда угодно. Что же касается всего остального, то тут, несомненно, надо будет кое-что взвесить — я сообщу об этом в Замок. Если придет решение или если придется перед этим еще раз вас выслушать, я за вами пошлю. Вы согласны?»

«Нет, ничуть,— сказал К.,— не нужны мне подачки из Замка, я хочу получить все по праву».

«Мицци,— сказал староста жене, которая все еще сидела прижавшись к нему и рассеянно играла с письмом Кламма, из которого она сложила кораблик, К. в перепуге отнял письмо у нее,— Мицци, у меня опять заболела нога, придется сменить компресс».

К. встал. «Тогда разрешите откланяться?» — сказал он. «Конечно! — сказала Мицци, готовя мазь.— Да и сквозняк слишком сильный». К. обернулся: его помощники с неуместным, как всегда, служебным рвением, сразу после слов К. распахнули настежь обе половинки дверей. К. успел только кивнуть старосте — он хотел поскорее избавить больного от ворвавшегося в комнату холода. И, увлекая за собой помощников, он выбежал из дома, торопливо захлопнув двери.

6

Второй разговор с хозяйкой

У постоялого двора его ждал хозяин. Он сам не решался заговорить первым, поэтому К. спросил, что ему нужно. «Ты нашел новую квартиру?» — спросил хозяин, уставившись в землю. «Это тебе жена велела узнать? — сказал К.— Наверно, ты очень от нее зависишь?» «Нет,— сказал хозяин,— спрашиваю я от себя. Но она очень волнуется и расстраивается из-за тебя, не может работать, все лежит в постели, вздыхает и без конца жалуется». «Пойти мне к ней, что ли?» — спросил К. «Очень тебя прошу,— сказал хозяин,— я уже хотел было зайти за тобой к старосте, постоял у него под дверью, послушал, но вы все разговаривали, и я не хотел вам мешать, да и беспокоился за жену, побежал домой, а она меня к себе не пустила, вот и пришлось тебя тут дожидаться». «Тогда пойдем к ней скорее,— сказал К.,— я ее быстро успокою». «Хорошо, если бы удалось»,— сказал хозяин.

Они прошли через светлую кухню, где три или четыре служанки в отдалении друг от друга, занятые каждая своей работой, буквально оцепенели при виде К. Уже из кухни слышались вздохи хозяйки. Она лежала в тесном закутке, без окна, отделенном от кухни тонкой фанерной перегородкой. Там помещалась только большая двуспальная кровать и шкаф. Кровать стояла так, что с нее можно было наблюдать за всей кухней и за теми, кто там работал. Зато из кухни почти ничего нельзя было разглядеть в закутке. Там было совсем темно, только белые с красным одеяла чуть выделялись во мраке. Лишь войдя туда и дав глазам немного привыкнуть, можно было разглядеть подробности.

«Наконец-то вы пришли»,— слабым голосом сказала хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись, дышать ей, как видно, удавалось с трудом, и она откинула перину. В постели она выглядела гораздо моложе, чем в платье, но ее осунувшееся лицо вызывало жалость, особенно из-за ночного чепчика с тонким кружевцем, который она надела, хотя он был ей мал и плохо держался на прическе. «Как же я мог прийти,— сказал К. мягко,— вы ведь не велели меня звать». «Вы не должны были заставлять меня ждать так долго,— сказала хозяйка с упрямством, свойственным всем больным.— Садитесь,— и она указала ему на край постели,— а вы все уходите!» Кроме помощников в закуток проникли и служанки. «Я тоже уйду, Гардена»,— сказал хозяин, и К. впервые услыхал имя хозяйки. «Ну, конечно,— медленно проговорила она и, словно думая о чем-то другом, рассеянно добавила: — Зачем тебе оставаться?» Но когда все вышли на кухню — даже помощники сразу послушались, впрочем, они приставали к одной из служанок,— Гардена все же вовремя сообразила, что из кухни слышно все, о чем говорится за перегородкой: дверей тут не было,— и потому она всем велела выйти из кухни. Что и произошло тотчас же.

«Прошу вас, господин землемер,— сказала Гардена,— там, в шкафу, поблизости висит платок, подайте его мне, пожалуйста, я укроюсь, перину я не выношу, под ней дышать тяжело». А когда К. подал ей платок, она сказала: «Взгляните, правда красивый платок?» Похоже, что это был обыкновенный шерстяной платок, он только из вежливости потрогал его еще раз, но ничего не сказал. «Да, платок очень красивый»,— сказала Гардена, кутаясь в него. Теперь она лежала спокойно, казалось, все боли прошли, более того, она даже заметила, что у нее растрепались волосы от лежания, и, сев на минуту в постели, поправила прическу под чепчиком. Волосы у нее были пышные.

К. вышел из терпения: «Вы, хозяйка, велели узнать, нашел ли я себе новую квартиру?» — «Я велела? Нет-нет, это ошибка».— «Но ваш муж только что меня об этом спросил». «Верю, верю,— сказала хозяйка,— у нас вечно стычки. Когда я не хотела вас принять, он вас удерживал, а когда я счастлива, что вы тут живете, он вас гонит. Он всегда так делает. Вечно он выкидывает такие штуки». «Значит,— сказал К.,— вы настолько изменили свое мнение обо мне? И всего за час-другой?» «Мнение свое я не изменила,— сказала хозяйка ослабевшим голосом,— дайте мне руку. Так. А теперь обещайте, что будете говорить со мной совершенно откровенно, тогда и я с вами буду откровенна». «Хорошо,— сказал К.,— кто же начнет?» «Я!» — сказала хозяйка. Видно было, что она не просто хочет пойти К. навстречу, но что ей не терпится заговорить первой.

Она вынула из-под одеяла фотографию и протянула ее К. «Взгляните на эту карточку»,— попросила она. Чтобы лучше видеть, К. шагнул на кухню, но и там было нелегко разглядеть что-нибудь на фотографии — от времени она выцвела, пошла трещинами и пятнами и вся измялась. «Не очень-то она сохранилась»,— сказал К. «Да, жаль,— сказала хозяйка,— носишь при себе годами, вот и портится. Но если вы хорошенько вглядитесь, вы все разберете. А я могу вам помочь: скажите, что вы разглядели, мне так приятно поговорить про эту карточку. Ну, что же увидели?» «Молодого человека»,— сказал К. «Правильно,— сказала хозяйка.— А что он делает?» «По-моему, он лежит на какой-то доске, потягивается и зевает». Хозяйка рассмеялась. «Ничего похожего!» — сказала она. «Но ведь вот она, доска, а вот он лежит»,— настаивал на своем К. «А вы посмотрите повнимательней,— с раздражением сказала хозяйка.— Разве он лежит?» «Нет,—согласился К.,— он не лежит, а скорее парит в воздухе, да, теперь я вижу — это вовсе не доска, скорее какой-то канат, и молодой человек прыгает через него». «Ну, вот,— обрадованно сказала хозяйка,— он прыгает, это так тренируются курьеры из канцелярии. Я же знала, что вы все разглядите. А его лицо вам видно?» «Лица почти совсем не видать,— сказал К.,— видно только, что он очень напрягается, рот открыл, глаза зажмурил, волосы у него растрепались». «Очень хорошо,— с благодарностью сказала хозяйка,— тому, кто его лично не знал, трудно разглядеть еще что-нибудь. Но мальчик был очень красивый, я видела его только мельком и то не могу забыть». «А кто же он был?» — спросил К. «Это был,— сказала хозяйка,— это был курьер, через которого Кламм в первый раз вызвал меня к себе».

К. не мог как следует слушать — его отвлекало дребезжание стекол. Он сразу понял, откуда идет эта помеха. За кухонным окном, прыгая с ноги на ногу по снегу, вертелись его помощники. Они старались показать, что они счастливы видеть К., и радостно указывали на него друг другу, тыча пальцами в оконное стекло. К. им погрозил пальцем, и они сразу отскочили, стараясь оттолкнуть друг друга от окна, но один вырвался вперед, и оба снова прильнули к стеклу. К. юркнул за перегородку — там помощники не могли его видеть, да и ему не надо было на них смотреть. Но тихое, словно просительное дребезжание оконного стекла еще долго преследовало его и в закутке.

«Опять эти помощники»,— сказал он хозяйке, как бы извиняясь, и показал на окно. Но она не обращала на него внимания; отняв фотографию, она посмотрела на нее, разглядела, расправила и снова сунула под одеяло. Движения ее стали замедленными, но не от усталости, а, как видно, под тяжестью воспоминаний. Ей хотелось все рассказать К., но она позабыла о нем, перебирая в памяти прошлое. Только через некоторое время она очнулась, провела рукой по глазам и сказала: «И платок у меня от Кламма. И чепчик тоже. Фотография, платок и чепчик — вот три вещи на память о нем. Я не такая молодая, как Фрида, не такая честолюбивая, да и не такая чувствительная — она у нас очень чувствительная; словом, я сумела

примириться с жизнью, но должна сознаться: без этих трех вещей я бы тут так долго не выдержала, да что я говорю — я бы и дня тут не выдержала. Может быть, вам эти три подарка покажутся жалкими, но вы только подумайте: у Фриды, которая так долго встречалась с Кламмом, никаких сувениров нет, я ее спрашивала, но она слишком о многом мечтает, да и все недовольна; а вот я — ведь я была у Кламма всего три раза, больше он меня не звал, сама не знаю почему,— я принесла с собой эти вещички на память, наверно, предчувствовала, что мое время уже истекает. Правда, о подарках надо было самой позаботиться — Кламм от себя никогда ничего не даст, но если увидишь что-нибудь подходящее, можно у него выпросить».

К. чувствовал себя неловко, слушая этот рассказ, хотя все это непосредственно его касалось.

«А когда это было?» — спросил он со вздохом.

«Больше двадцати лет назад,— сказала хозяйка,— куда больше двадцати лет тому назад».

«Значит, вот как долго сохраняют верность Кламму,— сказал К.— Но понимаете ли вы, хозяйка, что от ваших признаний, особенно когда я думаю о будущем своем браке, мне становится очень тяжело и тревожно?»

Хозяйке очень не понравилось, что К. припутал сюда свои дела, и она сердито покосилась на него.

«Не надо сердиться, хозяйка,— сказал К.— Я ведь слова не сказал против Кламма, но силой обстоятельств я все-таки имею к нему какое-то отношение, этого даже самый ярый поклонник Кламма оспаривать не станет. Так что сами понимаете. Оттого я и начинаю думать о себе, как только упомянут Кламма, тут ничего не поделаешь. Но знайте, хозяйка,— и К. взял ее за руку, хотя она слабо сопротивлялась,— вспомните, как плохо кончился наш последний разговор, давайте хоть на этот раз не ссориться».

«Вы правы,— сказала хозяйка, склонив голову,— но пощадите меня. Ведь я ничуть не чувствительней других людей, напротив, у всех есть много больных мест, а у меня одно-единственное».

«К сожалению, это и мое больное место,— сказал К.,— но я постараюсь взять себя в руки, только объясните мне, уважаемая, как я смогу вынести в семейной жизни эту потрясающую верность Кламму — если, конечно, предположить, что Фрида в этом похожа на вас?»

«Потрясающая верность? — сердито повторила хозяйка.— Да разве это верность? Я верна своему мужу, при чем тут Кламм? Кламм однажды сделал меня своей любовницей, разве я когда-нибудь могу лишиться этого звания? Вы спрашиваете — как вы перенесете такую верность со стороны Фриды? Ах, господин землемер, ну кто вы такой, чтобы осмелиться это спрашивать?»

«Хозяйка!» — предостерегающе сказал К.

«Знаю,— сдалась хозяйка,— только мой муж таких вопросов не задавал. Мне непонятно, кого можно считать несчастнее — меня тогда или Фриду теперь? Фриду, которая бросила Кламма по своей воле, или меня, которую он больше к себе не звал? Может быть, все-таки Фрида несчастнее, хотя она еще не знает всей глубины своего несчастья. Но тогда это горе занимало все мои мысли, потому что я непрестанно себя спрашивала и, в сущности, до сих пор спрашивать не перестала: почему оно так случилось? Трижды Кламм велел тебя позвать к себе, а в четвертый не позвал! Четвертого раза так никогда больше и не было! А о чем другом я могла думать в то время? О чем еще могла я разговаривать со своим мужем, за которого я вскоре вышла замуж? Днем у нас времени не было, этот постоялый двор достался нам в жалком состоянии, надо было как-то его поднять,— но по ночам? Годами мы разговаривали ночью только о Кламме, о том, почему он переменил свои чувства ко мне. И если мой муж во время этих разговоров засыпал, я его будила, и мы снова продолжали тот же разговор».

«Тогда,— сказал К.,— я, с вашего разрешения, задам вам один очень невежливый вопрос».

Хозяйка промолчала.

«Значит, спрашивать нельзя,— сказал К.— Что же, мне и так все понятно».

«Да, конечно,— сказала хозяйка,— вам и так все понятно, это дело особенное.

Вы все толкуете неправильно, даже молчание. Иначе вы не можете. Хорошо, я позволю вам задать вопрос».

«Если я все толкую неправильно,— сказал К.,— так, может быть, я и свой вопрос неправильно толкую, может быть, он вовсе не такой уж невежливый. Я хотел только знать: где вы познакомились со своим мужем и как вам достался этот постоялый двор?».

Хозяйка нахмурила лоб, но ответила вполне равнодушно: «Это очень простая история. Отец мой был кузнец, а Ханс, мой теперешний муж, служил конюхом у одного богатого крестьянина и часто захаживал к моему отцу. Это было после моей последней встречи с Кламмом, я почувствовала себя очень несчастной, хотя оснований для этого не было: все произошло как положено, и то, что меня больше не пускали к Кламму. было решением самого Кламма, значит, и тут было все как положено. Только причины такого решения были неясны, и мне пришлось о них размышлять. но чувствовать себя несчастной я права не имела. И все-таки я была несчастна, не могла работать и целыми днями сидела в нашем палисадничке. Там меня увидел Ханс. иногда он ко мне подсаживался, я ему не жаловалась, но он и так знал, в чем дело, а так как он добрый малый, то он, бывало, и всплакнет вместе со мной. И вот тогдашний хозяин постоялого двора — он потерял жену и решил прикрыть дело, да он уже и сам был стариком — однажды проходил мимо нашего садика и увидел, как мы сидим вдвоем, он остановился и тут же предложил нам свой постоялый двор в аренду. даже денег вперед брать не захотел — сказал, что он нас знает, и цену за аренду назначил совсем маленькую. Быть в тягость своему отцу я не хотела, все на свете мне было безразлично, потому я и стала думать о постоялом дворе, о новой работе, которая хоть немного поможет мне забыть прошлое, потому я и отдала свою руку Хансу. Вот и вся история».

Наступило недолгое молчание, потом К. сказал: «Владелец постоялого двора поступил великодушно, но неосторожно, или у него были особые причины доверять вам обоим?»

«Он хорошо знал Ханса, он ему дядя»,— сказала хозяйка.

«Ну, тогда конечно,— сказал К.,— наверно, семья Ханса была очень заинтересована в вашем браке?»

«Возможно,— сказала хозяйка,— не знаю, я этим никогда не интересовалась».

«Нет, наверно, так оно и было,— сказал К.,— раз семья пошла на такие жертвы и решилась передать вам постоялый двор без всяких гарантий».

«Никакой тут неосторожиости с их стороны не было, как выяснилось позже,— сказала хозяйка,— я взялась за работу, ведь я дочь кузнеца, сил у меня много, мне не нужны были ни служанки. ни батраки, я везде сама поспевала — и в столовой, и на кухне, и на конюшне, и во дворе, а готовила я так вкусно, что переманивала посетителей у гостиницы. Вы еще наших столовников не знаете, а тогда их было куда больше, с тех пор многих недосчитаешься. И в конце концов, мы смогли не только вовремя выплатить аренду, но через несколько лет купить все хозяйство, и теперь у нас почти нет долгов. Но случилось и то, что я себя окончательно доконала, сердце у меня сдало, и я стала совсем старухой. Вы, наверно, думаете, что я гораздо старше Ханса, а на самом деле он всего на два-три года моложе меня. И он никогда не постареет при его работе — выкурит трубку, послушает разговоры, потом выбьет трубку, подаст пива — нет, от такой работы не состаришься».

«Конечно, ваши старания заслуживают всяческой похвалы,— сказал К.,— тут и сомнения нет, но ведь вы говорили о временах до вашей свадьбы, и мне немного странно, что семья Ханса так старалась поженить вас, шла на денежные жертвы или, по крайней мере, брала на себя такой риск, отдавала вам постоялый двор, если у них вся надежда была только на ваше трудолюбие, о котором они вряд ли знали, тогда как нетрудолюбие Ханса им было хорошо известно».

«Ну да,— устало сказала хозяйка — понимаю, куда вы целите, но вы промахнулись. Кламм во всех этих делах совершенно ни при чем. Почему это он должен был обо мне заботиться, вернее — как он мог заботиться обо мне? Он же ничего обо мне не знал. Раз он меня больше к себе не вызывал, значит, он обо мне забыл; когда он к себе человека не зовет, он забывает его начисто. При Фриде я не хотела говорить об этом. Но он не просто забывает, тут дело серьезнее. Если человека забудешь, можно с ним опять познакомиться. Но для Кламма это невозможно. Если он тебя не вызвал, значит,

он забыл не только прошлое, но забыл тебя и впредь навсегда. При желании я могу встать на вашу точку зрения; может быть, она и правильна там, на чужбине, откуда вы приехали, но здесь такие мысли совершенно нелепы. Может быть, вы и до такой бессмыслицы дойдете, что решите, будто Кламм нарочно дал мне моего Ханса в мужья, чтобы мне ничто не мешало прийти к нему, если он когда-нибудь решит меня позвать. Ну ничего бессмысленней и придумать нельзя. Где тот человек, который мог бы мне помешать броситься к Кламму по первому же его знаку? Чепуха, полнейшая чепуха, тут совсем себя с толку собьешь, если дать волю таким мыслям».

«Нет,— сказал К.,— с толку мы не собьемся, и до того, о чем вы говорите, я пока еще не додумался, хотя и был близок к этой мысли. Пока что меня только удивило, что родственники возлагали также большие надежды на ваш брак и что эти надежды на самом деле сбылись — правда, ценой вашего сердца, вашего здоровья. Конечно, мысль о связи всех этих событий с Кламмом приходила мне в голову, но не совсем или пока еще не совсем в таком грубом виде, как вы изобразили, вероятно, для того, чтобы опять напасть на меня, как видно, это вам доставляет удовольствие. Что ж, пожалуйста! А мысль моя заключалась вот в чем: прежде всего Кламм явно был причиной вашего брака. Не будь Кламма — вы бы не стали такой несчастной, не сидели бы в палисадиике; не будь Кламма — вас бы там не увидел Ханс, а если бы вы не грустили, робкий Ханс никогда не решился бы заговорить с вами; не будь Кламма — вы бы никогда не плакали вместе с Хансом; не будь Кламма — добрый дядюшка, хозяин двора, никогда не увидел бы вас рядышком; не будь Кламма — у вас не было бы такого безразличия ко всему на свете и вы не вышли бы замуж за Ханса. Вот видите, я бы сказал, что тут Кламм очень при чем. Но это еще не все. Если бы вы не хотели его забыть, вы бы так не изнуряли себя работой и не подняли бы хозяйство на такую высоту. Значит, и тут Кламм. И кроме того, Кламм — виновник вашей болезни, потому что еще до вашего замужества сердце у вас пострадало от несчастной любви. Остается только один вопрос, чем этот брак так соблазнил родичей Ханса? Вы сами как-то сказали, что быть хоть когда-нибудь любовницей Кламма — значит навсегда сохранить это высокое звание. Что ж, может быть, это их и соблазнило. Кроме того, по-моему, у них была надежда, что та счастливая звезда, которая привела вас к Кламму — если только она, как вы утверждаете, была и в самом деле счастливой,— эта звезда будет вам всегда сопутствовать и не изменит, как Кламм».

«И вы все это говорите всерьез?» — спросила хозяйка.

«Конечно, всерьез,— быстро сказал К.,— только я считаю, что родственники Ханса были и правы в своих надеждах, и вместе с тем неправы, и мне кажется, что я даже понял ошибку, которую они совершили. Внешне как будто все удалось. Ханс хорошо устроен, у него видная супруга, его уважают, хозяйство свободно от долгов. Но, в сущности, ничего не удалось, и конечно, он был бы куда счастливее с простой девушкой, которая полюбила бы его первой, настоящей любовью, и если, как вы его упрекаете, он иногда сидит в буфете с потерянным видом, так это потому, что он и вправду чувствует какую-то потерянность, хотя несчастным он себя, несомненно, не считает — настолько-то я его уже знаю,— но несомненно и то, что такой красивый, неглупый малый был бы счастливее с другой женой; я хочу сказать — он стал бы самостоятельнее, усерднее, мужественнее. Да и вы сами ничуть не счастливее, и, по вашим же словам, без этих трех сувениров вам и жить неохота, да и сердце у вас больное. Что же, значит, родственники надеялись понапрасну? Нет, не думаю. Счастливая звезда стояла над вами, но достать ее они не сумели».

«А что же мы упустили?» — спросила хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, и смотрела в потолок.

«Не спросили Кламма»,— сказал К.

«Опять мы вернулись к вашему делу»,— сказала хозяйка.

«Или к вашему,— сказал К.— Наши дела тесно соприкасаются».

«Чего же вам нужно от Кламма? — спросила хозяйка. Она села на кровати, взбила подушки, чтобы можно было на них опереться, и посмотрела прямо в глаза К.— Я вам откровенно рассказала всю свою историю — в ней для вас немало поучительного. Скажите же мне так же откровенно: о чем вы хотите спросить Кламма? Ведь я с большим трудом уговорила Фриду уйти наверх и посидеть в вашей комнате — я боялась, что при ией вы так откровенно говорить не станете».

«Мне скрывать нечего,— сказал К.— Но сначала я хочу обратить ваше внимание вот на что. Кламм сразу все забывает — так вы сами сказали. Во-первых, по-моему, это очень неправдоподобно, во-вторых, совершенно недоказуемо, должно быть, это просто легенда, которую сочинили своим женским умом очередные фаворитки Кламма. Удивляюсь, как вы могли поверить такой плоской выдумке».

«Нет, это не легенда,— сказала хозяйка,— это доказано на нашем общем опыте».

«Значит, и опровергнуть это может дальнейший опыт,— сказал К.— И кроме того, между вашей историей и историей Фриды есть еще одна разница. Собственно говоря, тут не то чтобы Кламм Фриду к себе не позвал, наоборот, он ее позвал, а она не пошла. Возможно даже, что он ее ждет до сих пор».

Хозяйка промолчала и только испытующе оглядела К. с ног до головы. Потом сказала: «Я готова спокойно выслушать все, что вы хотите сказать. Лучше говорите откровенно и не щадите меня. У меня только одна просьба. Не произносите имя Кламма. Называйте его «он» или как-нибудь еще, только не по имени».

«Охотно,— сказал К.— Мне только трудно объяснить, чего мне от него надо. Прежде всего, я хочу увидеть его вблизи, потом — услышать его голос, а потом узнать — как он относится к нашему браку. А о чем я тогда, быть может, попрошу его, это уж зависит от хода нашего разговора. Тут может возникнуть много всякого, но для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним. Ведь до сих пор я ни с одним настоящим чиновником непосредственно не говорил. Кажется, этого труднее добиться, чем я предполагал. Но теперь я обязан переговорить с ним как с частным лицом, и, по моему мнению, этого добиться гораздо легче. Как с чиновником я могу с ним разговаривать только в его, по всей видимости недоступной, канцелярии, там, в Замке, или, может быть, в гостинице, хотя это уже сомнительно. Но как частное лицо я могу говорить с ним везде, в доме, на улице — словом, там, где удастся его встретить. А то, что одновременно передо мной будет и чиновник, я охотно учту, но главное для меня не в этом».

«Хорошо,— сказала хозяйка и зарылась лицом в подушки, словно в ее словах было что-то постыдное.— Если мне удастся через моих знакомых добиться, чтобы Кламму передали вашу просьбу — поговорить с ним,— можете ли вы обещать, что ничего на свой страх и риск предпринимать не будете?»

«Этого я обещать не могу,— сказал К.,— хотя я охотно выполнил бы вашу просьбу или прихоть. Да ведь дело не ждет, особенно после неблагоприятного результата моих переговоров со старостой».

«Это возражение отпадает,— сказала хозяйка.— Староста — человек совершенно незначительный. Неужели вы этого не заметили? Да он и дня не пробыл бы на своем месте, если бы не его жена — она ведет все дела».

«Мицци? — спросил К. Хозяйка утвердительно кивнула.— Она была при разговоре»,— сказал К.

«А она сказала свое мнение?» — спросила хозяйка.

«Нет,— сказал К.— У меня создалось впечатление, что у нее никакого своего мнения нет».

«Ну да,— сказала хозяйка,— вы у нас все видите неверно. Во всяком случае, то, что при вас решил староста, никакого значения не имеет, а с его женой я сама при случае поговорю. А если я вам еще обещаю, что ответ от Кламма придет не позднее чем через неделю, то никаких оснований идти мне наперекор у вас уже не будет».

«Все это несущественно,— сказал К.— Я твердо решился и все равно исполню свое решение, и исполнил бы его, даже если бы пришел отказ. А раз я так решил заранее, как же я могу перед этим просить о встрече? То, что без просьбы будет смелым, но никак не злонамеренным поступком, в случае отказа превратится в явное неповиновение. А это, пожалуй, будет похуже».

«Похуже? — переспросила хозяйка.— Да тут вы все равно проявите неповиновение. А теперь делайте как хотите. Подайте-ка мне юбку».

Не стесняясь К., она надела юбку и поспешила на кухню. Уже давно из зала слышался шум. В окошечко то и дело стучали. Один раз помощники К. приоткрыли окошко и крикнули, что они голодны. Другие лица тоже заглядывали туда. Издали доносилось тихое, многоголосое пение.

И действительно, из-за разговора К. с хозяйкой обед задержался, он еще не был готов, а посетители уже собрались. Однако никто не отваживался нарушить запрет хозяйки и выйти на кухню. Но когда наблюдатели у оконца доложили, что хозяй-

ка уже вышла, все служанки сразу прибежали на кухню, и когда К. вошел в общую комнату, туда, чтобы занять место у столиков, хлынула неожиданно большая толпа посетителей — более двадцати мужчин и женщин, одетых скорее по-провинциальному, чем по-крестьянски. Занят пока был только один угловой столик, там сидела супружеская пара с несколькими детьми. Отец, приветливый голубоглазый человек с растрепанной седой шевелюрой, стоял, наклоняясь к детям, и дирижировал ножиком в такт их пению, стараясь немножко его приглушить; быть может, он хотел, чтобы пение заставило их забыть о голоде. Хозяйка равнодушно извинилась перед гостями, хотя никто ее и не упрекал. Она поискала глазами хозяина, но тот, как видно, уже давно сбежал, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Потом она неторопливо прошла на кухню. На К., который поспешил к Фриде в свою комнату, она и не взглянула.

7

Учитель

Наверху К. застал учителя. К его радости, комнату почти нельзя было узнать, так постаралась Фрида. Она хорошо ее проветрила, жарко натопила печку, вымыла пол, перестелила постель, исчезли вещи служанок, весь этот отвратительный хлам, даже их картинки, а стол, который раньше, куда ни повернись, так и пялился на тебя своей столешницей, заросшей грязью, теперь был покрыт белой вязаной скатеркой. Теперь можно было и гостей принимать, а скудное бельишко К., спозаранку, как видно, перестиранное Фридой и теперь сушившееся на веревке у печки, никому не мешало. Учитель и Фрида сидели за столом и встали, когда К. вошел. Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., рассеянный и все еще растревоженный разговором с хозяйкой, стал извиняться перед учителем, что до сих пор не зашел к нему. Выходило, будто он считает, что учитель, не дождавшись К., не выдержал и сам пришел к нему. Но учитель со свойственной ему сдержанностью как будто только сейчас припомнил, что он с К. когда-то договаривался о каком-то посещении. «Ведь вы, господин землемер,— медленно сказал он,— тот незнакомец, с которым я дня два тому назад разговаривал на площади у церкви!» «Да», — коротко бросил К. Теперь у себя в комнате он не желал терпеть то, что тогда приходилось терпеть ему, брошенному всеми. Он повернулся к Фриде и стал советоваться с ней: ему предстоит важная встреча, и он хотел бы одеться для нее как можно лучше. Ни о чем не спрашивая К., Фрида тотчас же окликнула помощников — те занимались рассматриванием новой скатерти,— велела им немедленно вычистить во дворе костюм и башмаки К., и тот сейчас же стал раздеваться. Сама она сняла с веревки рубаху и побежала вниз, на кухню, гладить ее.

Теперь К. остался наедине с учителем, тихо сидевшим у стола; немного подождав, К. снял рубашку и начал мыться в тазу. И только тут, повернувшись к учителю спиной, он спросил, зачем тот пришел к нему. «Я пришел по поручению господина старосты»,— сказал учитель. К. ответил, что готов выслушать это поручение. Но так как плеск воды заглушил его слова, учителю пришлось подойти поближе, и он прислонился к стенке около К. К. извинился за то, что умывается при нем и вообще волнуется из-за предполагаемой встречи. Учитель не обратил на это внимания и сказал: «Вы были невежливы со старостой, с таким пожилым, заслуженным, опытным, достойным уважения человеком». «Не помню, чтобы я был невежлив,— сказал К. — Но верно и то, что я думал о более важных вещах и мне было не до светских манер, ведь речь шла о моем существовании, оно под угрозой из-за безобразного ведения дел, впрочем, зачем мне об этом рассказывать вам, вы же сами — деятельный член этой канцелярии. А что, разве староста на меня жаловался?» «Кому же он мог жаловаться?— сказал учитель.— И даже если бы было кому, разве он стал бы жаловаться? Я только под его диктовку составил небольшой протокол о ваших переговорах и получил достаточно сведений и о доброте господина старосты и о характере ваших ответов».

Ища гребешок — Фрида, очевидно, куда-то его засунула,— К. сказал: «Что? Протокол? Да еще составленный без меня человеком, даже не присутствовавшим при разговоре? Неплохо, неплохо! И зачем вообще протокол? Разве то был официальный разговор?» «Нет, разговор был полуофициальный,— сказал учитель,— но и протокол тоже

полуофициальный, он составлен только потому, что у нас во всем должен быть строжайший порядок. Во всяком случае, теперь протокол существует и чести вам не делает». К. наконец нашел гребешок, упавший на кровать, и уже спокойнее сказал: «Ну и пусть существует, вы затем и пришли, чтобы мне об этом сообщить?» «Нет,— сказал учитель,— но я не автомат, я должен был сказать вам, что я думаю. Поручение же мое, напротив, является доказательством доброты господина старосты. Подчеркиваю, что его доброта непонятна и что только из-за своего служебного положения и глубокого уважения к господину старосте я был вынужден взяться за такое поручение». К., умытый и причесанный, сел к столу, в ожидании рубашки и верхнего платья; ему было ничуть не любопытно узнать, что ему должен передать учитель, да и пренебрежительный отзыв хозяйки о старосте тоже на него повлиял. «Наверно, уже первый час? — спросил он, думая о предстоящем ему пути, но тут же спохватился и спросил: — Вы, кажется, хотели передать мне поручение от старосты?» «Ну да,— сказал учитель, пожимая плечами, словно хотел стряхнуть с себя всякую ответственность: — Господин староста опасается, как бы вы при долгой задержке ответа по вашему делу необдуманно не предприняли бы чего-нибудь на свой страх и риск. Со своей стороны, я не понимаю, почему он этого боится, я считаю, что лучше всего вам поступать, как вы хотите. Мы вам не ангелы-хранители и не брали на себя обязательств бегать за вами, куда бы вы ни пошли. Впрочем, ладно. Господин староста другого мнения. Конечно, ускорить решение он не в силах — это дело графских канцелярий. Однако в пределах своего влияния он собирается предварительно сделать вам поистине великодушное предложение — от вас зависит принять его или нет. Он предлагает вам пока что занять место школьного сторожа». Сначала К. пропустил мимо ушей, что именно ему предлагали, но самый факт того, что такое предложение было сделано, показался ему не лишенным значения. Все говорило за то, что, по мнению старосты, К. был способен ради своей защиты предпринять кое-что, чтобы оградить от неприятностей общину, староста готов был пойти на некоторые затраты. И как серьезно тут отнеслись к его делу! Наверно, староста форменным образом погнал к нему учителя, и тот терпеливо ждал его, а перед этим писал целый протокол. Увидев, что К. задумался, учитель продолжал: «Я ему высказал свои возражения. Указал на то, что школьный сторож до сих пор нам не был нужен — жена церковного служки изредка убирает школу, а наша учительница, фройляйн Гиза, за этим присматривает. Мне же и так хватает возни с ребятами, и никакой охоты мучиться со школьным сторожем у меня нет. Господин староста возразил, что ведь в школе страшная грязь. Я указал на то, что, по правде говоря, дело обстоит не так уж плохо. И присовокупил: а разве станет лучше, если мы возьмем этого человека в сторожа? Безусловно, нет. Не говоря уж о том, что он в такой работе ничего не смыслит, надо помнить, что в школе всего два больших класса, без всяких подсобных помещений, значит, сторожу с семьей придется жить в одном из классов, спать, а может быть, и готовить там же, и, уж конечно, чище от этого не станет. Но господин староста напомнил, что это место для вас — спасение и поэтому вы изо всех сил будете работать как можно лучше, а кроме того, сказал господин староста, мы вместе с вами заполучим рабочую силу в лице вашей жены и ваших помощников, так что можно будет содержать в образцовом порядке не только школу, но и пришкольный участок. Но я легко опроверг все эти соображения. В конце концов господин староста ничего больше в вашу пользу привести не смог, только рассмеялся и сказал, что, раз вы землемер, значит, сможете аккуратно и красиво разбить клумбы в школьном саду. Ну, на шутки возразить нечего, пришлось идти к вам с этим поручением». «Напрасно беспокоились, господин учитель,— сказал К.,— мне и в голову не придет принять это место». «Прекрасно,— сказал учитель,— прекрасно, значит, вы отказываетесь без всяких оговорок». И, взяв шляпу, он поклонился и вышел.

Вскоре пришла Фрида — лицо у нее было расстроенное, рубаху она принесла неглаженую, на вопросы не отвечала; чтобы ее отвлечь, К. рассказал ей об учителе и о предложении старосты; не успел он договорить, как она бросила рубашку на кровать и убежала. Она быстро вернулась, но не одна, а с учителем, который сердито хмурился и молчал. Фрида попросила его запастись терпением — как видно, она по дороге сюда уже несколько раз просила его об этом — и потом потянула К. за собой в боковую дверцу, о которой он и не подозревал, на соседний чердак и там наконец, задыхаясь от волнения, рассказала ему, что́ произошло. Хозяйка возмущена тем, что она унизилась до откровенничания с К. и, что еще хуже, уступила ему в том, что касалось переговоров с Кламмом, не добившись при этом ничего, кроме холодного, как она говорит,

и притом неискреннего отказа, поэтому она теперь решила, что больше терпеть К. у себя в доме не желает; если у него есть связи в Замке, пусть поскорее использует их, потому что сегодня же, сию минуту он должен покинуть ее дом. И только по прямому приказу и под давлением администрации она его примет опять; однако она надеется, что этого не будет, так как и у нее в Замке есть связи и она сумеет пустить их в ход. И к тому же, он и попал к ним на постоялый двор только из-за ротозейства хозяина, а теперь он в этом не нуждается, еще сегодня утром он похвалялся, что ему готов другой ночлег. Конечно, Фрида должна остаться: если Фрида уйдет именно с К., хозяйка будет глубоко несчастна, при одной мысли об этом она разрыдалась там, на кухне, опустившись на пол у плиты, бедная женщина с больным сердцем! Но как она могла поступить иначе, если все это, по крайней мере по ее представлениям, грозит запятнать ее воспоминания о Кламме. Вот в каком состоянии теперь хозяйка. Конечно, Фрида пойдет за ним, за К., куда он захочет, хоть на край света, тут и говорить не о чем, но сейчас они оба в ужасающем положении, поэтому она с большой радостью приняла предложение старосты, и хотя оно для К. не подходит, но ведь место временное — это надо подчеркнуть особо,— тут можно будет выиграть некоторое время и легко найти другие возможности, даже если окончательное решение будет не в пользу К. «А в крайнем случае,— воскликнула Фрида, бросаясь на шею К.,— мы уедем, что нас тут держит, в этой деревне? А пока что, миленький, давай примем это предложение, ладно? Я вернула учителя, ты только скажи ему «согласен», и мы переедем в школу».

«Нехорошо все это,— сказал К. мимоходом; его не очень интересовало, где они будут жить, а сейчас он замерз в одном белье, на чердаке, где не было ни стен, ни окна и дул пронзительный ветер.— Ты так славно убрала комнату, а теперь нам из нее уходить. Нет, неохота, очень неохота мне принимать это место, уж одно унижение перед этим учителишкой чего стоит, а тут он будет моим начальством. Если бы еще побыть здесь хоть немного, а вдруг мое положение за сегодняшний день изменится? Хоть бы ты тут задержалась, тогда можно было бы выждать и ответ учителю дать неопределенный. Для себя-то я всегда найду где переночевать, хоть бы у Варна...» Но тут Фрида закрыла ему рот ладонью. «Только не там,— испуганно сказала она,— пожалуйста, не повторяй таких слов. Во всем другом я готова тебя слушаться. Хочешь, я останусь тут одна, как это мне ни грустно. Хочешь, откажемся от этого предложения, как это ни ошибочно, по моему мнению. Видишь ли, если ты найдешь другие возможности, да еще сегодня же к вечеру, то тут, само собой понятно, мы сразу откажемся от места при школе и нам никто препятствовать не станет. А что касается унижения перед учителем, так я постараюсь, чтобы ничего такого не вышло, я поговорю с ним сама, а ты только стой рядом и молчи, мы и потом тоже так сделаем; если не захочешь, ты с ним никогда и разговаривать не будешь, на самом деле подчиняться ему буду только я одна, хотя, впрочем, и этого не будет, слишком хорошо я знаю все его слабости. Значит, мы ничего не потеряем, если примем эту должность, зато много потеряем, если откажемся, прежде всего, если ты сегодня ничего не добьешься в Замке, то ты действительно нигде, нигде, даже для себя одного не найдешь ночлег, я говорю о таком ночлеге, которого бы мне, твоей будущей жене, не пришлось бы стыдиться. А если тебе негде будеть ночевать, как же ты сможешь от меня потребовать, чтобы я спала тут, в теплой комнате, зная, что ты бродишь по улице ночью, на морозе?» К., обхватив себя руками и все время похлопывая себя по спине, чтобы хоть немного согреться, сказал: «Тогда ничего другого не остается — надо принять. Пойдем».

В комнате он сразу подбежал к печке и на учителя даже не взглянул. Тот сидел у стола; вынув часы, он сказал: «Становится поздно». «Зато мы теперь окончательно договорились, господин учитель,— сказала Фрида,— мы принимаем место». «Хорошо,— сказал учитель,— но ведь место предложено господину землемеру. Пусть он сам и выскажется». Фрида пришла на помощь К. «Конечно,— сказала она,— он принимает место, правда, К.?» Таким образом К. мог ограничиться коротким «Да», которое было обращено даже не к учителю, а к Фриде. «В таком случае,— сказал учитель,— мне остается только изложить вам ваши служебные обязанности, чтобы договориться в этом отношении раз и навсегда. Вам, господин землемер, надлежит ежедневно убирать и топить оба класса, самому делать все мелкие починки школьного и гимнастического инвентаря, чистить снег на дорожках, выполнять все поручения, как мои, так и нашей учительницы, а в теплые времена года обрабатывать весь школьный сад. За это вы получаете право жить в одном из классов, по вашему выбору, но, конечно, когда уроки идут не в обоих классах одновременно, и если вы находитесь в том классе, где начинаются за-

нятия, вы должны тотчас же переселяться в другой класс. Готовить еду в школе не разрешается, зато вас и вашу семью будут кормить за счет общины здесь, на постоялом дворе. О том, что вы не должны ронять достоинства школы и особенно не делать детей свидетелями нежелательных сцен вашей семейной жизни, я упоминаю только вскользь, вы, как человек образованный, сами это знаете. В связи с этим должен еще заметить, что мы вынуждены настаивать, чтобы ваши отношения с фройляйн Фридой были как можно скорее узаконены. Эти пункты и еще некоторые мелочи мы запишем в договоре, который вы должны будете подписать при переезде в школьное помещение». Все это показалось К. настолько незначительным, словно он не имел к этому никакого отношения и это его не связывало, но важничанье учителя его раздражало, и он небрежно сказал: «Да, это обычные условия». Чтобы замять его слова, Фрида спросила о жалованье. «Вопрос оплаты будет решен только после месячного испытательного срока»,— сказал учитель. «Но ведь для нас это большое затруднение,— сказала Фрида,— значит, нам надо пожениться без гроша, заводить хозяйство из ничего. Неужели, господин учитель, нам нельзя обратиться с просьбой в совет общины, чтобы нам сразу назначили хоть небольшое жалованье? Как вы посоветуете?» «Нет,— сказал учитель, по-прежнему обращаясь к К.— Такие просьбы удовлетворяются только по моему ходатайству, а я этого не сделаю. Место вам предоставлено как личное одолжение, а если сознаешь свою ответственность перед общиной, то без конца делать одолжения нельзя». Но тут К., хоть и против воли, решил вмешаться. «Что касается одолжения, господин учитель,— сказал он,— так, по-моему, вы ошибаетесь. Скорее я вам делаю одолжение, чем вы мне!» «Нет,— сказал учитель и улыбнулся: наконец-то он заставил К. заговорить!— Тут у меня есть точные сведения. Школьный сторож нам нужен не больше, чем землемер. Что землемер, что сторож — одна обуза нам на шею. Мне еще придется поломать голову — как оправдать расходы перед общиной. Лучше и естественней всего было бы просто положить заявление на стол, никак его не обосновывая».— «Я и хотел сказать, что вам приходится принимать меня против воли. Хотя для вас это тяжкая забота, все равно вы должны меня принять. А если кого-то вынуждают принять человека, а этот человек дает себя принять, значит, он и делает одолжение». «Странно,— сказал учитель,— что же может нас заставить принять вас? Только доброе, слишком доброе сердце нашего старосты заставляет нас пойти на это. Да, вижу, что вам, господин землемер, придется расстаться со множеством всяких фантазий, прежде чем стать мало-мальски сносным сторожем. И уж конечно, такие высказывания мало способствуют тому, чтобы вам назначили жалованье в скором времени. К сожалению, я замечаю, что ваше поведение доставит мне немало хлопот: вот и сейчас вы со мной беседуете — я смотрю и глазам не верю — в рубахе и кальсонах!» «Да, да! — воскликнул К. со смехом и хлопнул в ладоши: — Ах, эти скверные помощники, куда же они запропастились?» Фрида побежала к дверям; учитель, увидев, что К. с ним больше разговаривать не склонен, спросил Фриду, когда они переберутся в школу. «Сегодня же»,— ответила Фрида. «Утром проверю»,— сказал учитель, махнул на прощанье рукой и уже хотел выйти в дверь, которую отворила Фрида, но столкнулся со служанками — те уже пришли с вещами, чтобы снова занять свою комнату. Пришлось ему протиснуться между ними — дороги они никому не уступили,— и Фрида тоже проскользнула мимо них. «Однако вы поторопились,— сказал К. служанкам, на этот раз вполне благожелательно.— Мы еще тут, а вы уже явились?» Они ничего не ответили и только растерянно теребили свои узелки, из которых выглядывали все те же грязные лохмотья. «Видно, вы никогда свои вещи не стирали!»— сказал К. без всякой злобы, скорее даже приветливо. Они это заметили, и обе сразу разинули грубые рты и беззвучно засмеялись, показывая красивые, крепкие, звериные зубы. «Ну, заходите,— сказал К.,— устраивайтесь, это же ваша комната». И так как они все еще не решались войти — видно, комната им показалась совсем не похожей на прежнюю,— К. взял одну из них за руку, чтобы провести ее вперед. Но он тут же выпустил руку — с таким изумлением обе посмотрели на него и, переглянувшись между собой, уже не спускали с него глаз. «Хватит, чего вы на меня уставились!» — сказал К., преодолевая какое-то неприятное ощущение, и, взяв одежду и башмаки у Фриды, за которой робко вошли и оба помощника, стал одеваться. Он и раньше и теперь не понимал, почему Фрида так терпима к его помощникам. Ведь вместо того, чтобы чистить платье во дворе, они мирно обедали внизу, где их после долгих поисков и нашла Фрида; нечищеные вещи К. лежали у них комком на коленях, и ей пришлось самой все чистить; несмотря на это она, умевшая так здорово справляться с мужичьем в трактире, даже не бранила помощников, и рассказывала об

их вопиющей небрежности как о маленькой шутке, и даже слегка похлопывала одного из них по щеке. К. решил потом сделать ей за это замечание. «Помощники пусть останутся,— сказал К.,— и помогут тебе перебраться». Но те, конечно, были против этого: наевшись досыта и повеселев, они с удовольствием размяли бы ноги. Только после слов Фриды: «Нет, оставайтесь тут!» — они подчинились. «А ты знаешь, куда я иду?»— спросил К. «Да»,— ответила Фрида. «И ты меня больше не удерживаешь?» — спросил К. «Ты встретишь столько препятствий,— сказала Фрида,— разве тут помогут мои слова?» Она поцеловала К. на прощание и, так как он не обедал, дала ему с собой пакетик с хлебом и колбасой, напомнила, чтобы он возвращался уже не сюда, а прямо в школу, и, положив ему руку на плечо, проводила до дверей.

8

В ожидании Кламма

Сначала К. был рад, что ушел из душной комнаты, от толкотни и шума, поднятого служанками и помощниками. Немного подморозило, снег затвердел, идти стало легче. Но уже начало темнеть, и он ускорил шаги.

Замок стоял в молчании, как всегда; его контуры уже таяли; еще ни разу К. не видел там ни малейшего признака жизни; может быть, и нельзя было ничего разглядеть из такой дали, и все же он жаждал чего-то увидеть, невыносима была эта тишина. Когда К. смотрел на Замок, ему иногда казалось, будто он наблюдает за кем-то, а тот сидит спокойно, глядя перед собой, и не то чтобы он настолько ушел в свои мысли, что отключился от всего, вернее, он чувствовал себя свободным и безмятежным, словно остался один на свете и никто за ним не наблюдает, и хотя он и замечает, что за ним все-таки наблюдают, но это ни в малейшей степени не нарушает его покоя; и действительно, было ли это причиной или следствием, но взгляд наблюдателя никак не мог задержаться на Замке и соскальзывал вниз. И сегодня, в ранних сумерках, это впечатление усиливалось: чем пристальнее К. всматривался туда, тем меньше видел и тем глубже все тонуло в темноте.

Только К. подошел к еще не освещенной гостинице, как в первом этаже открылось окно, и молодой, толстый, гладко выбритый господин в меховой шубе высунулся из окна. На поклон К. он не ответил даже легким кивком головы. Ни в прихожей, ни в пивном зале К. никого не встретил, запах застоявшегося пива стал еще противнее, чем раньше; конечно, на постоялом дворе «У моста» этого бы не допустили. К. сразу подошел к двери, через которую он в прошлый раз смотрел на Кламма, осторожно нажал на ручку, но дверь была заперта, он попытался на ощупь отыскать глазок, но заслонка, очевидно, была так хорошо пригнана, что на ощупь ее найти было нельзя, поэтому К. чиркнул спичкой. Его испугал вскрик. В углу, между дверью и стойкой, у самой печки, прикорнула молоденькая девушка, которая при вспышке спички сонно уставилась на него, с трудом открывая глаза. Очевидно, это была преемница Фриды. Но она скоро опомнилась, зажгла электричество, лицо у нее все еще было сердитое, однако тут она узнала К. «А, господин землемер!— сказала она с улыбкой, подала ему руку и представилась: — Меня зовут Пепи». Это была маленькая краснощекая цветущая девица, ее густые, рыжевато-белокурые волосы были заплетены в толстую косу и курчавились на лбу, на ней было какое-то очень неподходящее для нее длинное гладкое платье из серой блестящей материи, внизу оно было по-детски неумело стянуто шелковым шнуром с бантом, стеснявшим ее движения. Она спросила о Фриде, скоро ли та вернется. Вопрос этот звучал довольно ехидно. «Сразу после ухода Фриды,— добавила она,— меня вызвали сюда,— нельзя же было звать кого попало!— а я до сих пор служила горничной, и вряд ли я удачно сменила место. Работа тут вечерняя, даже ночная, это очень утомительно, мне не вынести, не удивляюсь, что Фрида ее бросила». «Фрида была тут очень довольна всем,— сказал К., чтобы наконец Пепи поняла разницу между собой и Фридой,— она, как видно, об этом не думала». «Вы ей не верьте,— сказала Пепи.— Фрида умеет держать себя в руках, как никто. Чего она сказать не хочет, того не скажет, и никто не заметит, что ей есть в чем признаться. Сколько лет мы тут с ней служим вместе, всегда спали в одной постели, но дружить со мной она так и не стала; наверно, сейчас она обо мне и вовсе позабыла. Наверно, ее единственная подруга — старая хозяйка двора «У моста», и это тоже что-то значит». «Фрида — моя невеста»,— сказал К., тайком пытаясь нащупать глазок в двери. «Знаю,— сказала Пепи,— поэтому и

рассказываю. Иначе для вас это никакого значения не имело бы». «Понимаю,— сказал К.— Вы полагаете, мне можно гордиться, что завоевал такую скрытную девушку». «Да»,— сказала Пепи и радостно засмеялась, как будто теперь у нее с К. состоялось какое-то тайное соглашение насчет Фриды.

Но, собственно говоря, К. занимали не ее слова, несколько отвлекавшие его от поисков глазка, а ее присутствие, ее появление тут, на том же самом месте. Конечно, она была гораздо моложе Фриды, почти ребенок, и платье у нее было смешное, наверно, она и оделась так потому, что в своем представлении преувеличивала важность обязанностей буфетчицы. И по-своему она была права, потому что это совсем для нее неподходящее место досталось ей случайно и незаслуженно, да и к тому же временно — ей даже не доверили тот кожаный кошелек, который всегда висел на поясе у Фриды. А ее притворное недовольство своей должностью было явно показным. И все же и у этого несмышленыша, наверно, были какие-то связи с Замком; ведь она, если только это не ложь, была раньше горничной; сама не понимая своей выгоды, она теряла тут день за днем, как во сне; и хотя, обняв это полненькое, чуть сутулое тельце, К. никаких преимуществ не получил бы, но как-то соприкоснулся бы с этим миром, что поддержало бы его на трудном пути. Тогда, может быть, все будет так, как с Фридой? О нет, тут все было по-другому. Стоило только подумать о взгляде Фриды, чтобы это понять. Никогда К. не дотронулся бы до Пепи. Но все же ему пришлось на минуту закрыть глаза, с такой жадностью он уставился на нее.

«Свет зажигать нельзя,— сказала Пепи и повернула выключатель,— я зажгла только потому, что вы меня страшно напугали. А что вам тут нужно? Фрида что-нибудь забыла?» «Да,— сказал К. и показал на дверь,— там, в комнате, она забыла скатерку, вязаную, белую». «Ага, свою скатерку,— сказала Пепи,— помню-помню, красивая работа, я ей помогала вязать, но только вряд ли она может оказаться там, в комнате». «А Фрида сказала, что может. Кто там живет?» — спросил К. «Никто,— ответила Пепи,— это господская столовая, там господа едят и пьют, вернее, комнату отвели для этого, но почти все господа предпочитают сидеть наверху, в своих номерах». «Если бы я наверно знал, что в той комнате никого нет, я бы туда зашел и сам поискал скатерть,— сказал К.— Но заранее ничего неизвестно, например, Кламм часто там посиживает». «Там его наверняка нет,— сказала Пепи,— он же сейчас уезжает, сани уже ждут во дворе».

Тотчас же, ни слова не говоря, К. вышел из буфета, но в коридоре повернул не к выходу, а в обратную сторону и через несколько шагов вышел во двор. Как тут было тихо и красиво! Двор четырехугольный, охваченный с трех сторон домом, с четвертой стороны был отгорожен от улицы высокой белой стеной с большими тяжелыми распахнутыми воротами настежь. Тут, со стороны двора, дом казался выше, чем с улицы, по крайней мере тут первый этаж был достаточно высок и выглядел внушительнее, потому что по всей его длине шла деревянная галерея, совершенно закрытая со всех сторон, кроме небольшой щелочки на уровне человеческого роста. Наискось от К., почти в середине здания, ближе к углу, где примыкало боковое крыло, находился открытый подъезд без дверей. Перед подъездом стояли крытые сани, запряженные двумя лошадьми. Никого во дворе не было, кроме кучера, которого К. скорее представил себе, чем видел издалека в сумерках.

Засунув руки в карманы, осторожно озираясь и держась у стенки, К. обошел две стороны двора, пока не приблизился к саням. Кучер — один из тех крестьян, которых он видел прошлый раз в буфете, закутанный в тулуп, безучастно следил за приближением К.— так можно было бы смотреть на появление кошки. Даже когда К. уже остановился около него и поздоровался, а лошади, встревоженные неожиданным появлением человека, забеспокоились, кучер не обратил на него никакого внимания. К. это было на руку. Прислонясь к стене, он развернул свой завтрак, с благодарностью подумал о Фриде, которая так о нем позаботилась, и заглянул в низкий, но как будто очень глубокий проход, который шел наперерез, все было чисто, выбелено, четко ограничено прямыми линиями.

Ожидание длилось дольше, чем думал К. Он давно уже справился со своим завтраком, мороз давал себя чувствовать, сумерки сгустились в полную темноту, а Кламм все еще не выходил. «Это еще долго будет»,— сказал вдруг хриплый голос так близко от К., что он вздрогнул. Говорил кучер; он потянулся и громко зевнул, словно проснувшись. «Что будет долго?»— спросил К., почти обрадовавшись этому вмешательству — его уже тяготило напряженное молчание. «Пока вы не уйдете»,— сказал кучер но, хотя К. его не понял, он переспрашивать не стал, решив, что так будет легче заставить

этого высокомерного малого сказать хоть что-нибудь. Ужасно раздражало, когда в этой темноте тебе не отвечали. И действительно, после недолгого молчания кучер сказал: «Коньяку хотите?» — «Да»,— сказал К. не задумываясь; слишком заманчиво звучало это предложение, потому что его здорово знобило. «Тогда откройте дверцы саней,— сказал кучер,— там, в боковом кармане, несколько бутылок, возьмите одну, отпейте и передайте мне. Самому мне слезать слишком трудно, тулуп мешает». К. очень рассердило, что пришлось выполнять такое поручение, но так как он уже связался с кучером, он все сделал, хотя ему грозило, что Кламм может его застигнуть у саней. Он открыл широкие дверцы и мог бы сразу вытащить бутылку из внутреннего кармана на дверце, но раз уж дверцы были открыты, его так потянуло заглянуть в сани, что он не удержался — хоть минутку да посидеть в них. Он шмыгнул туда. Теплота в санях была поразительная, и холоднее не становилось, хотя дверцы так и остались открытыми настежь — закрыть их К. не решался. Трудно было сказать, на чем сидишь, настолько ты утопал в пледах, мехах и подушках; куда ни повернись, как ни потянись — всюду под тобой было мягко и тепло. Разбросив руки, откинув голову на подушки, лежавшие тут же, К. глядел из саней на темный дом. Почему Кламм так долго не выходит? Оглушенный теплом, после долгого стояния в снегу, К. все же хотел, чтобы Кламм наконец вышел. Мысль о том, что лучше бы ему не попадаться Кламму на глаза в таком положении, весьма неясно, как слабая помеха, дошла до его сознания. И этому забытью помогало поведение кучера — ведь тот должен был понять, что К. забрался в сани, но оставил его там, даже не требуя, чтобы он подал коньяк. Это было трогательно с его стороны, и К. захотел ему служить. Оставаясь все в том же положении, он неуклюже потянулся к карману, но не на открытой дверце, а на закрытой; оказалось, что никакой разницы не было: в другом кармане тоже лежали бутылки. Он вытащил одну из них, отвинтил пробку, понюхал и невольно расплылся в улыбке: запах был такой сладкий, такой привлекательный, словно кто-то любимый похвалил тебя, приласкал добрым словом, а ты даже и не знаешь, о чем, в сущности, идет речь, да и знать не хочешь и только счастлив от одного сознания, что именно так с тобой говорят. «Неужели это коньяк?» — спросил себя К. в недоумении и из-за любопытства отпил глоток. Да, как ни странно, это был коньяк, он обжигал и грел. Какое превращение — отопьешь и то, что казалось только носителем нежнейшего запаха, превращается в грубый кучерский напиток! «Неужели это возможно?» — спросил себя К. и выпил еще.

И вдруг — в тот момент, когда К. сделал большой глоток, стало светло, вспыхнуло электричество на лестнице, в подъезде, в коридоре, снаружи, над входом. Послышались шаги — кто-то спускался по лестнице, бутылка выскользнула у К. из рук, коньяк пролился на полость. К. выскочил из саней, и только успел захлопнуть дверцу со страшным грохотом, как тут же из дому медленно вышел человек. К. подумал: одно утешение, что это не Кламм, впрочем, может быть, именно об этом надо пожалеть? Это был тот мужчина, которого К. уже видел в окне первого этажа. Он был молод, хорош собой, белолицый и краснощекий и к тому же весьма серьезный. И К. посмотрел на него мрачно, но эта мрачность относилась скорее к нему самому. Лучше бы послать сюда своих помощников: вести себя так, как он, они тоже сумели бы. Человек стоял перед ним молча, словно даже в его широчайшей груди не хватало дыхания, чтобы выговорить то, что он хотел. «Это возмутительно»,— сказал он наконец и сдвинул шляпу со лба. Неужели господин ничего не знал о том, что К. сидел в санях, и ему что-то другое показалось возмутительным? Не то ли, что К. вообще проник во двор? «Как вы сюда попали?» — спросил человек уже тише и вздохнул, словно подчиняясь необходимости. Что за вопросы? Что за ответы? Неужели К. сам должен объяснять этому господину, что приход сюда, с которым он связывал столько надежд, оказался безрезультатным, бесплодным? Но вместо ответа К. повернулся к саням, открыл дверцы и достал свою шапку, которую он там забыл. Ему стало неловко, когда он увидел, как на подножку каплет коньяк.

Потом он снова повернулся к этому человеку: теперь он и не собирался скрывать от него, что сидел в санях, впрочем, не это было самым худшим; но если бы его спросили, он не стал бы скрывать, что сам кучер его подговорил, во всяком случае заставил его открыть сани. Гораздо хуже было то, что этот господин застал его врасплох, и он не успел спрятаться от него, и спокойно подождать Кламма, плохо, что он растерялся и не сообразил, что можно было остаться сидеть в санях, захлопнуть дверцы и там, укрывшись мехами, дождаться Кламма или хотя бы переждать пока господин будет находиться поблизости. Правда, кто мог знать: а вдруг сейчас должен явиться Кламм

собственной персоной, а в таком случае, конечно, было бы удобнее встретить его около саней. Да, многое надо было бы обмозговать заранее, но теперь делать было нечего, все кончилось.

«Пойдемте со мной»,— сказал человек не то чтобы повелительно, приказ был не в словах, а в сопровождавшем их коротком, нарочито равнодушном взмахе руки. «Но я здесь жду кое-кого»,— сказал К., уже не надеясь на успех, но желая настоять на своем. «Пойдемте»,— повторил тот, совершенно невозмутимо, словно хотел показать, что он и не сомневался, что К. кого-то ждет. «Но я не могу пропустить того, кого жду»,— сказал К. и весь передернулся. Несмотря на все случившееся, у него было такое чувство, будто он уже что-то выиграл, добился какой-то удачи, и хотя ничего ощутимого в этом выигрыше не было, отказываться от него по любому требованию К. не собирался. «Все равно вы его пропустите, уйдете вы или останетесь»,— сказал господин, и хотя слова его по смыслу были резкими, но в них чувствовалось явное снисхождение к ходу мыслей самого К. «Тогда мне лучше ждать его тут и не дождаться»,— упрямо сказал К. Нет, он не допустит, чтобы этот молодой человек прогнал его отсюда пустыми словами. А тот, откинув голову, на миг сосредоточенно прикрыл глаза, словно после тупости К. хотел вернуться к своим разумным мыслям, потом облизнул губы кончиком языка и, обращаясь к кучеру, сказал: «Распрягайте лошадей».

Кучер, повинуясь этому господину, сердито покосился на К., нехотя слез в своем тулупе с козел и, словно ожидая не отмены приказа, но какой-то перемены в поведении самого К., очень нерешительно стал отводить лошадей с санями задним ходом, поближе к боковому крылу дома, где за широкими воротами, очевидно, находился каретный сарай и конюшня. К. увидел, что остался один: в одну сторону уходили сани, в другую — туда, откуда пришел сам К.,— уходил молодой человек, все двигались очень медленно, как будто подсказывая К., что в его власти позвать их обратно.

Может быть, он и обладал этой властью, но пользы от нее никакой быть не могло; вернуть на место сани — значило бы прогнать самого себя отсюда. И он остался стоять единственным обитателем двора, но эта победа никакой радости ему не сулила. Он переводил взгляд то на молодого господина, то на кучера. Господин уже дошел до дверей, откуда К. впервые вышел во двор, и еще раз оглянулся. К. показалось, что он покачал головой, осуждая его бесконечное упрямство, потом решительным и бесповоротным движением круто отвернулся и исчез в глубине коридора. Кучер оставался на виду гораздо дольше — ему пришлось много возиться с санями, открывать тяжелые ворота, подавать туда сани задним ходом, распрягать лошадей, ставить их в стойло, все это он проделывал серьезно, уйдя в себя, не рассчитывая, как видно, на скорый отъезд; и эта молчаливая возня без единого взгляда в сторону К. была для него гораздо более жестоким упреком, чем поведение молодого человека. Закончив свою работу, кучер медленно, вразвалку пересек двор, запер большие ворота, потом вернулся и так же медленно, глядя на свои следы в снегу, прошел к конюшне и заперся там; и сразу везде потухло электричество — для кого оно сейчас могло светить? — и только наверху, в щелке деревянной галереи, мелькала полоска света, и тут К. показалось, словно с ним порвали всякую связь, и хотя он теперь свободнее, чем прежде, и может тут, в запретном для него месте, ждать сколько ему угодно, да и завоевал он себе эту свободу, как никто не сумел бы завоевать, и теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это ожидание, эта неуязвимость.

9

Борьба против допроса

И он сорвался с места и пошел обратно в дом, но уже не прижимаясь к стенке, а прямо посередине двора, по снегу, встретил в коридоре хозяина, который молча поздоровался с ним и показал ему на вход в буфет; К. туда и пошел, потому что промерз и хотелось видеть людей, но он был очень разочарован, когда увидел у специально поставленного столика (обычно все довольствовались бочонками) того самого молодого человека, а перед ним — это особенно расстроило К.— стояла хозяйка постоялого двора «У моста». Пепи, гордо подняв голову, с той же неизменной улыбкой,

безоговорочно чувствуя всю важность своего положения и мотая косой при каждом повороте, бегала взад и вперед, принесла сначала пиво, потом чернила и перо; молодой человек, разложив перед собой на столике бумаги, сравнивал какие-то данные, которые он находил то в одной бумаге, то в другой, лежавшей в дальнем углу стола, и собирался что-то записывать. Хозяйка с высоты своего роста, слегка выпятив губы, молча, словно отдыхая, смотрела на господина и его бумаги, как будто она ему уже сообщила все, что надо, и он это благосклонно принял. «Господин землемер, наконец-то»,— сказал господин, бегло взглянув на К., и снова углубился в свои бумаги. Хозяйка тоже окинула К. равнодушным, ничуть не удивленным взглядом. А Пепи как будто и заметила К., только когда он подошел к стойке и заказал рюмку коньяку.

Прислонившись к стойке, К. прикрыл глаза ладонью, не обращая ни на что внимания. Потом попробовал коньяк и отставил рюмку — пить его было немыслимо. «А все господа его пьют»,— сказала Пепи, вылила остатки коньяку, сполоснула рюмку и поставила ее на полку. «У господ есть коньяк и получше»,— сказал К. «Возможно,— ответила Пепи,— а у меня нету». И, отвязавшись таким образом от К., она снова пошла прислуживать молодому господину, хотя тому ничего не требовалось, и все время ходила кругами за его спиной, почтительно пытаясь заглянуть через его плечо в бумаги, но это было лишь пустое любопытство и важничанье, и хозяйка, глядя на это, неодобрительно нахмурила брови.

Вдруг хозяйка встрепенулась и, вся превратившись в слух, уставилась в пустоту. К. обернулся — ничего особенного он не услышал, да и другие как будто ничего не слыхали, но хозяйка большими шагами, на цыпочках подбежала к той двери в глубине комнаты, которая вела во двор, заглянула в замочную скважину, обернулась к остальным и, выпучив глаза и густо покраснев, поманила их к себе пальцем, и они по очереди стали смотреть в скважину, хозяйка дольше всех, но и Пепи не была забыта; равнодушнее всех отнесся к этому молодой человек. Пепи с ним скоро отошли, и только хозяйка напряженно подглядывала, согнувшись, почти что стоя на коленях, и впечатление было такое, будто она заклинает эту замочную скважину впустить ее туда, потому что уже давно ничего не видно. Тут она наконец поднялась, провела руками по лицу, поправила волосы, глубоко вздохнула, как будто ей сначала надо было дать глазам привыкнуть к людям в комнате, а это ей было неприятно, и тогда К. спросил не для того, чтобы услышать в ответ что-то определенное, а для того, чтобы предупредить возможное нападение — он стал настолько легко уязвим, что сейчас боялся чуть ли не всего: «Значит, Кламм уже уехал?» Хозяйка молча прошла мимо него, но молодой человек у столика сказал: «Да, конечно. Вы перестали его подкарауливать, вот он и смог уехать. Просто диву даешься, до чего он чувствителен. Вы заметили, хозяйка, как он беспокойно озирался?» Но хозяйка как будто ничего не заметила, и молодой человек продолжал: «Но к счастью, уже ничего не было видно, кучер замел все следы на снегу». «А хозяйка ничего не заметила»,— сказал К., не то чтобы преследуя определенную цель, а просто рассердившись на безапелляционный и решительный тон этого утверждения. «Может быть, я в ту минуту не смотрела в замочную скважину»,— сказала хозяйка; прежде всего она хотела взять под защиту молодого человека, но потом решила вступиться и за Кламма и добавила: «Во всяком случае, я не верю в слишком большую чувствительность Кламма. Правда, мы за него боимся и стараемся его оберегать, предполагая, что Кламм чувствителен до невозможности. Это хорошо, и такова, вероятно, его воля. Но наверняка мы ничего не знаем. Конечно, Кламм никогда не будет разговаривать с тем, с кем не желает, сколько бы тот ни старался и как бы он назойливо ни лез, но достаточно того, что Кламм никогда с ним разговаривать не станет и никогда его к себе не допустит, зачем же думать, что он не выдержит вида этого человека? Во всяком случае, доказать это нельзя, потому что этого никогда не будет». Молодой господин оживленно закивал: «Да, разумеется, я и сам в основном придерживаюсь такого мнения; а если я выразился несколько иначе, то лишь для того, чтобы господину землемеру стало понятно. Но верно и то, что Кламм, выйдя из дому, несколько раз оглядelся по сторонам». «А может быть, он меня искал?» — сказал К. «Возможно,— сказал молодой человек,— это мне в голову не пришло». Все засмеялись, а Пепи, едва ли понимавшая, что происходит, захохотала громче всех.

«Раз нам тут всем вместе так хорошо и весело,— сказал молодой человек,— я очень попрошу вас, господин землемер, дополнить мои документы кое-какими дан-

ными». «Много же у вас тут пишут»,— сказал К., издали разглядывая документы. «Да, дурная привычка,— сказал молодой человек и опять засмеялся: — Но может быть, вы и не знаете, кто я такой. Я — Мом, секретарь Кламма по Деревне». После этих слов в комнате наступила благоговейная тишина; хотя и хозяйка и Пепи, наверно, знали этого господина, но их словно поразило, когда он назвал свое имя и должность. И даже самого молодого человека как будто поразила важность его собственных слов, и, словно желая избежать всякой торжественности, которую неминуемо должны были вызвать эти слова, он углубился в свои документы и снова начал писать, так что в комнате был слышен только скрип пера. «А что это такое — «секретарь по Деревне»? — спросил К. после недолгого молчания. Вместо Мома, считавшего, очевидно, ниже своего достоинства давать объяснения после того, как он представился, ответила хозяйка: «Господин Мом — секретарь Кламма, как и другие кламмовские секретари, но место его службы и, если и не ошибаюсь, круг его деятельности...— Тут Мом энергично покачал головой над документами, и хозяйка поправилась: — Да, так, значит, только место его службы, но не круг его деятельности ограничивается Деревней. Господин Мом обеспечивает передачу необходимых для Деревни документов от Кламма и принимает все поступающие из Деревни бумаги для Кламма». И тогда К. посмотрел на нее пустыми глазами — его эти сведения, очевидно, никак не тронули; хозяйка, немного смутившись, добавила: «Так у нас устроено — у всех господ есть свои секретари по Деревне». Мом, слушавший хозяйку куда внимательнее, чем К., добавил, обращаясь к ней: «Большинство секретарей по Деревне работают только на одного из господ, а я работаю на двоих — на Кламма и на Валлабене». «Да,— сказала хозяйка, очевидно припомнив этот факт,— господин Мом работает на двух господ, на Кламма и на Валлабене, значит, он дважды секретарь». «Даже дважды!» — сказал К. и кивнул Мому, который, подавшись вперед, смотрел на него во все глаза — так одобрительно кивают ребенку, которого похвалили в глаза. И хотя в этом кивке был налет презрения, но его либо не заметили, либо приняли как должное. Именно перед К., который не был удостоен даже мимолетного взгляда Кламма, расхваливали приближенного Кламма с явным намерением вызвать признание и похвалу со стороны К. И все же К. не воспринимал это как следовало бы; он, добивавшийся изо всех сил одного взгляда Кламма, не ценил Мома, которому разрешалось жить при Кламме, он и не думал удивляться и тем более завидовать ему, потому что для него самым желанным была вовсе не близость к Кламму сама по себе, важно было то, что он, К., только он, и никто другой, со своими, а не чьими-то чужими делами мог бы подойти к Кламму и подойти не с тем, чтобы успокоиться на этом, а чтобы, пройдя через него, попасть дальше, в Замок.

Тут К. посмотрел на часы и сказал: «А теперь мне пора домой». Обстановка тут же изменилась в пользу Мома. «Да, конечно,— сказал тот,— вас зовет долг школьного служителя. Но вам все же придется посвятить мне минутку. Всего два-три коротких вопроса...» «А мне неохота»,— сказал К. и хотел пойти к выходу. Но Мом хлопнул папкой по столу и воскликнул: «Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы!» «Именем Кламма? — повторил К.— Разве мои дела его интересуют?» «Об этом я судить не могу,— сказал Мом,— а вы, наверно, и подавно, так что давайте спокойно предоставим это ему самому. Однако в качестве должностного лица, назначенного Кламмом, я вам предлагаю остаться и ответить на вопросы». «Господин землемер,— вмешалась хозяйка,— я остерегаюсь давать вам еще какие-либо советы, ведь мои прежние советы, притом самые что ни на есть благожелательные, вы встретили неслыханным отпором, и скрывать нечего, я пришла сюда к господину секретарю только затем, чтобы, как и подобает, сообщить начальству о вашем поведении и ваших намерениях и оградить себя навсегда от вашего вселения в мой дом, вот какие у нас с вами отношения, их уже, как видно, ничем не изменить, и если и теперь высказываю свое мнение, то вовсе не затем, чтобы помочь вам, а для того, чтобы хоть немного облегчить господину секретарю трудную задачу — иметь дело с таким человеком, как вы. Но несмотря на это и вы можете, если захотите, извлечь какую-то пользу из моих слов благодаря моей полной откровенности, а иначе чем откровенно я с вами разговаривать не могу, и вообще мне противно разговаривать с вами. Так вот прежде всего я должна обратить ваше внимание на то, что единственный путь, который может привести вас к Кламму, идет через протоколы. Не хочу преувеличивать — может быть, и этот путь не приведет вас к Кламму, а может быть, и этот путь оборвется, не дойдя до него, тут все зависит от благожелательного

господина секретаря. Во всяком случае, это единственный путь, который ведет вас хотя бы по направлению к Кламму. И от этого единственного пути вы хотите отказаться без всякой причины, просто из упрямства?» «Эх, хозяйка,— сказал К.,— и вовсе это не единственный путь к Кламму, и ничего он не стоит, как и все другие пути. Значит, вы, господин секретарь, решаете, можно ли довести до сведения Кламма то, что я тут скажу или нет?» «Безусловно,— сказал Мом и гордо поглядел направо и налево, хотя смотреть было не на что.— Зачем же тогда быть секретарем?» «Вот видите, хозяйка,— сказал К.,— оказывается, мне надо искать пути вовсе не к Кламму, а сначала к его секретарю». «Я вам и хотела помочь найти этот путь,— сказала хозяйка.— Разве я вам утром не предлагала передать вашу просьбу Кламму? А передать ее можно было бы через господина секретаря. Однако вы отказались, и все же вам другого пути, кроме этого, не останется. Правда, после вашей сегодняшней выходки, после попытки застать Кламма врасплох, надежды на успех почти что не осталось. Но ведь, кроме этой последней, ничтожной, исчезающей, почти не существующей надежды, у вас ничего нет». «Как же так выходит, хозяйка,— сказал К.,— сначала вы настойчиво старались меня отговорить от попытки проникнуть к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу всерьез и даже считаете, что если мои планы сорвутся, то я пропал. Если вы раньше могли чистосердечно уговаривать меня ни в коем случае не добиваться встречи с Кламмом, как же теперь вы как будто с такой же искренностью просто-таки толкаете меня на путь к Кламму, хотя, может быть, этот путь вовсе к нему и не ведет?» «Разве я вас куда-то толкаю? — спросила хозяйка.— Разве это называется толкать на какой-то путь, если я вам прямо говорю, что все попытки безнадежны? Ну знаете, если у вас хватает нахальства сваливать всю ответственность на меня, то дальше ехать некуда. Может быть, присутствие господина секретаря вас так раззадорило? Нет, господин землемер, никуда я вас не толкаю. В одном только могу признаться: может быть, я вас на первый взгляд немного переоценила. Ваша молниеносная победа над Фридой меня испугала, я не знала, на что вы еще способны, хотела предотвратить еще какую-нибудь беду и решила — чем же еще можно попытаться вас прошибить, как не угрозами и не просьбами. Но теперь я уже научилась относиться ко всему спокойнее. Делайте все, что вам вздумается, может быть, от ваших попыток останутся там, во дворе, на снегу, глубокие следы, но больше ничего не выйдет». «Свои противоречивые слова вы мне совсем не разъяснили, но я хотя бы указал вам на эти противоречия, и то хорошо. А теперь я прошу вас, господин секретарь, скажите мне, правильно ли утверждение хозяйки, что, дав показания, которые вы от меня требуете, я получу разрешение явиться к Кламму. Если так, то я готов ответить на любые вопросы. В этом отношении я вообще на все готов». «Нет,— сказал Мом.— Никакой связи тут нет. Речь идет только о том, чтобы получить точное описание сегодняшнего дня для регистратуры Кламма в Деревне. Описание уже готово, вам остается только для порядка заполнить два-три пробела; никакой другой цели тут нет и быть не может». К. молча посмотрел на хозяйку. «Чего вы на меня смотрите? — сказала она.— Разве я вам говорила что-нибудь другое? И так всегда, господин секретарь, всегда так. Искажает сведения, которые получает, а потом говорит, что ему дают неверные сведения. Я ему твержу с самого начала, и сегодня и всегда буду твердить, что у него нет ни малейшей возможности попасть на прием к Кламму. Значит, раз никакой возможности нет, то и протоколы ему тут не помогут. Что может быть яснее и проще? Дальше я ему говорю: этот протокол — единственная служебная связь с Кламмом, которая ему доступна, и это совершенно ясно и неоспоримо. Но так как он мне не верит и настойчиво — не знаю, зачем и почему,— надеется проникнуть к Кламму, тогда, если следовать ходу его мыслей, ему может помочь единственная настоящая служебная связь, которая у него установится с Кламмом, то есть этот протокол. Вот все, что я сказала, а кто утверждает другое, тот нарочно искажает мои слова». «Если так, хозяйка,— сказал К.,— то прошу прощения: значит, я вас не понял, дело в том, что из ваших прежних слов я сделал ошибочный вывод, как теперь выяснилось, будто для меня все-таки существует какая-то малюсенькая надежда». «Конечно,— сказала хозяйка,— я так и считаю, но вы опять перековеркиваете мои слова, только уже в обратном смысле. Такая надежда для вас, по моему мнению, существует и основана она, разумеется, только на этом протоколе. Но конечно, дело не сводится к тому, чтобы приставать к господину секретарю». «А если я отвечу на вопросы, можно мне тогда видеть Кламма?» «Если так спрашивает ребенок, то над ним только смеются,

а если взрослый, то он этим наносит оскорбление администрации, и господин секретарь милостиво смягчил обиду своим тонким ответом. Но надежда, про которую я говорю, именно и состоит в том, что вы через этот протокол как-то связываетесь, вернее, быть может, как-то связываетесь с Кламмом. Разве такой надежды вам мало? А если вас спросить, какие у вас есть заслуги, за которые судьба преподносит вам в подарок эту надежду, то сможете ли вы хоть на что-нибудь указать? Правда, ничего более определенного об этой надежде сказать нельзя, и господин секретарь по своему служебному положению никогда ни малейшим намеком об этом не выскажется. Как он уже говорил, его дело — для порядка описать сегодняшние события, больше он вам ничего не скажет, даже если вы сейчас, после моих слов, его спросите». «Скажите, господин секретарь,— спросил К.,— а Кламм будет читать этот мой протокол?» «Нет,— сказал Мом,— зачем? Не может же Кламм читать все протоколы, он их вообще не читает. «Не лезьте ко мне с вашими протоколами»,— говорит он всегда». «Ах, господин землемер,— жалобно сказала хозяйка,— вы меня замучили вашими вопросами. Неужели необходимо или хотя бы желательно, чтобы Кламм читал этот протокол и подробно узнал все ничтожные мелочи вашей жизни; не лучше ли вам смиренно попросить, чтобы протокол скрыли от Кламма, хотя, впрочем, эта просьба была бы так же неразумна, как и ваша другая: кто же сумеет скрыть что-нибудь от Кламма? Зато в ней хотя бы проявились бы хорошие стороны вашего характера. Но разве это нужно для поддержания того, что вы зовете вашей надеждой? Разве вы сами не сказали, что будете довольны, если вам представится возможность высказаться перед Кламмом, даже если он не будет на вас смотреть и вас слушать. И разве при помощи этого протокола вы не добьетесь хотя бы этого, а может быть, и гораздо большего?» «Гораздо большего? — спросил К.— Каким же образом?» «Хоть бы вы не требовали, как ребенок, чтобы вам все сразу клали в рот, как лакомство. Ну кто может вам ответить на такие вопросы? Протокол попадает в регистратуру Кламма, тут, в Деревне, это вы уже слышали, а больше ничего определенного сказать нельзя. Но понимаете ли вы все значение протоколов господина секретаря и сельской регистратуры? Знаете ли вы, что это значит, когда господин секретарь вас допрашивает? Вероятно, он и сам этого не знает, все может быть. Он спокойно сидит здесь, выполняет свой долг, порядка ради, как он сам сказал. Но вы только учтите, что назначен он Кламмом, работает от имени Кламма; хотя его работа, может быть, никогда до Кламма не дойдет, но она заранее получила одобрение Кламма. А разве что-нибудь может получить одобрение Кламма, если оно не исполнено духа Кламма? Я вовсе не собираюсь грубо льстить господину секретарю, да он и сам бы возражал против этого, но я говорю не о нем лично, а о том, что он собой представляет, когда действует как сейчас — с одобрения Кламма: тогда он орудие в руках Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется».

Угрозы хозяйки не испугали К., но ему наскучили разговоры, которыми она пыталась его подловить. Кламм был далеко. Как-то хозяйка сравнила Кламма с орлом, и К. тогда показалось это смешным, но теперь он ничего смешного в этом уже не видел: он думал о страшной дали, о недоступном жилище, о нерушимом безмолвии, прерываемом, быть может, только криками, каких К. никогда в жизни не слыхал, думал о пронзительном взоре, неуловимом и неповторимом, о невидимых кругах, которые он описывал по непонятным законам, мелькая лишь на миг над глубиной внизу, где находился К.,— и все это роднило Кламма с орлом. Но конечно, это не имело никакого отношения к протоколу, над которым Мом только что разломал соленую лепешку, закусывая пиво и осыпая все бумаги тмином и крупинками соли.

«Спокойной ночи,— сказал К.— У меня отвращение к любому допросу». «Смотрите, он уходит»,— почти испуганно сказал Мом хозяйке. «Не посмеет он уйти»,— ответила та, но К. больше ничего не слыхал, он уже вышел в переднюю. Было холодно, дул резкий ветер. Из двери напротив показался хозяин; как видно, он наблюдал за передней оттуда через глазок. Ему пришлось плотнее запахнуть пиджак, даже тут, в помещении, ветер рвал на нем платье. «Вы уходите, господин землемер?» — поинтересовался он. «Вас это удивляет?» — спросил К. «Да. Разве вас не будут допрашивать?» «Нет,— сказал К.— Я не дал себя допрашивать». «Почему?» — спросил хозяин. «А почему я должен допустить, чтобы меня допрашивали, зачем мне подчиняться шуткам или прихотям чиновников? Может быть, в другой раз, тоже в шутку или по прихоти, я и подчинюсь, а сегодня мне неохота». «Да, конечно,— сказал хозяин, но видно было, что соглашается он из вежливости, а не по убежде-

нию.— А теперь пойду впущу господских слуг в буфет, их время давно пришло, я только не хотел мешать допросу». «Вы считаете, что это так важно?» — спросил К. «О, да!» — ответил хозяин. «Значит, мне не стоило отказываться?» — сказал К. «Нет, не стоило! — сказал хозяин. И так как К. промолчал, он добавил то ли в утешение К., то ли желая поскорее уйти: — Ну ничего, из-за этого кипящая смола с неба не прольется!» «Верно,— сказал К.— Погода не такая». Оба засмеялись и разошлись.

10

На дороге

К. вышел на крыльцо под пронзительным ветром и вгляделся в темноту. Злая, злая непогода. И почему-то в связи с этим он снова вспомнил, как хозяйка настойчиво пыталась заставить его подчиниться протоколу и как он устоял. Правда, пыталась она исподтишка и тут же отваживала его от протокола; в конце концов трудно было разобраться — устоял ли он или же, напротив, поддался ей. Интриганка она по натуре и действует, по-видимому, бессмысленно и слепо, как ветер, по каким-то дальним, чужим указаниям, в которые никак проникнуть нельзя.

Только он прошел несколько шагов по дороге, как вдали замерцали два дрожащих огонька; К. обрадовался этим признакам жизни и заторопился к ним, а они тоже плыли ему навстречу. Он сам не понял, почему он так разочаровался, узнав своих помощников. Ведь они шли встречать его, как видно их послала Фрида, и фонари, высвободившие его из темноты, гудевшей вокруг него, были его собственные, и все же он был разочарован, потому что ждал чужих, а не этих старых знакомцев, ставших для него обузой. Но не одни помощники шли ему навстречу, из темноты появился Варнава. «Варнава,— крикнул К. и протянул ему руку.— Ты ко мне?» Обрадованный встречей, К. совсем позабыл неприятности, которые ему причинил Варнава. «К тебе,— как прежде, с неизменной любезностью сказал Варнава.— С письмом от Кламма». «С письмом от Кламма! — крикнул К., вскинув голову, и торопливо схватил письмо из рук Варнавы.— Посветите!» — бросил он помощникам, и они прижались к нему справа и слева, высоко подняв фонари. К. пришлось сложить письмо в несколько раз — ветер рвал большой лист из рук. Вот что он прочел: «Господину землемеру. Постоялый двор «У моста». Землемерные работы, проведенные вами до настоящего времени, я одобряю полностью. Также и работа ваших помощников заслуживает похвалы. Вы умело приучаете их к работе. Продолжайте трудиться с тем же усердием! Успешно завершите начатое дело. Перебои вызовут мое недовольство. Об остальном ие беспокойтесь — вопрос об оплате будет решен в ближайшее время. Вы всегда под моим контролем». К. не отрывал глаз от письма, пока помощники, читавшие гораздо медленнее, трижды негромко крикнули «Ура!», размахивая фонарями в честь радостных известий. «Спокойно! — сказал К. и обратился к Варнаве: — Вышло недоразумение! — сказал он, но Варнава его не понял.— Вышло недоразумение»,— повторил он, и снова на него напала прежняя усталость, дорога к школе показалась далекой, за Варнавой вставала вся его семья, а помощники все еще так напирали, что пришлось оттолкнуть их локтями; и как это Фрида могла послать их ему навстречу, когда он велел им остаться у нее. Дорогу домой он и сам нашел бы, даже легче, чем в их обществе. А тут еще у одного из них на шее размотался шарф, и концы развевались по ветру и уже несколько раз попали К. по лицу, правда, второй помощник тут же отводил их от лица К. своими длинными, острыми, беспрестанно шевелящимися пальцами, но это не помогало. Видно, им обоим даже нравилась эта игра, да и вообще ветер и тревожная ночь привели их в возбуждение. «Прочь! — крикнул К.— Почему же вы не захватили мою палку, раз вы все равно вышли меня встречать? Чем же мне теперь гнать вас домой?» Помощники спрятались за спину Варнавы, но, как видно, не очень испугались, потому что ухитрились опереть свои фонари на правое и левое плечо своего начальника, правда, он сразу их стряхнул. «Варнава»,— сказал К., и у него стало тяжело на душе оттого, что Варнава явно его не понимал и что хотя в спокойные часы его куртка приветливо поблескивала, но когда дело шло о серьезных вещах, помощи от него не было — только немое сопротивление, то сопротивление, с которым нельзя было бороться, потому что и сам Варнава был беззащитен, и хоть он весь светился улыбкой, но помощи от него было не больше, чем от света звезд в вышине против бури тут, на

земле. «Взгляни, что мне пишет этот господин,— сказал К. и сунул письмо ему под нос.— Его неправильно информировали. Я никаких землемерных работ не производил, и ты сам видишь, чего стоят мои помощники. Правда, перебои в работе, которая не производится, никак не возможны, значит, даже неудовольствия этого господина я вызвать не могу, а уж об одобрении и говорить нечего. Но и успокоиться я тоже никак не могу». «Я все передам»,— сказал Варнава, который все время глядел поверх письма, прочесть его он все равно не мог, так как листок был слишком близко к его лицу. «Эх,— сказал К.— Ты все время мне обещаешь, что все передашь, но разве я могу тебе действительно поверить? А мне так нужен надежный посланец, сейчас больше, чем когда-либо». К. в нетерпении закусил губу. «Господин,— сказал Варнава и ласково наклонил голову, так что К. чуть было снова не поддался соблазну поверить ему.— Конечно, я все передам, и то, что ты мне поручил в прошлый раз, я тоже обязательно передам». «Как? — воскликнул К.— Ты еще ничего не передал? Разве ты не был в Замке на следующий день?» «Нет,— сказал Варнава,— мой отец стар, ты ведь сам его видел, а работы там как раз было много, пришлось мне помогать ему, но теперь я скоро опять пойду в Замок». «Да что же ты наделал, нелепый ты человек! — крикнул К. и хлопнул себя по лбу.— Не знаешь, что дела Кламма важнее всех других дел? Занимаешь высокую должность посланца и так безобразно выполняешь свои обязанности? Кому есть дело до работы твоего отца? Кламм ждет сведений, а ты вместо того, чтобы лететь со всех ног, предпочитаешь вытребать навоз из хлева». «Нет, мой отец — сапожник,— невозмутимо сказал Варнава,— у него заказ от Брунсвика, а я ведь у отца подмастерьем». «Сапожник — заказ — Брунсвик!— с ненавистью повторил К., словно навеки изничтожая каждое это слово.— Да кому нужны сапоги на ваших пустых дорогах? Все вы тут сапожники, но мне-то какое дело! Я тебе доверил важное поручение не затем, чтобы ты, сидя за починкой сапог, все позабыл и перепутал, а чтобы ты немедленно передал все своему господину». Тут К. немного стих, вспомнив, что Кламм, вероятно, все это время находился не в Замке, а в гостинице, но Варнава, желая доказать, как он хорошо помнит первое поручение К., стал повторять его наизусть, и К. снова рассердился. «Хватит, я ничего знать не желаю»,— сказал он. «Не сердись на меня, господин»,— сказал Варнава и, словно желая бессознательно наказать К., отвел от него взгляд и опустил глаза в землю — впрочем, может быть, он просто растерялся от крика. «Я на тебя вовсе не сержусь,— сказал К., уже пеняя на себя за весь этот шум.— Не на тебя я сержусь, но уж очень мне не повезло, что у меня такой посланец для самых важных дел».

«Слушай! — сказал Варнава, и казалось, что, защищая свою честь, он говорит больше, чем следует.— Ведь Кламм не ждет никаких известий и даже сердится, когда я прихожу. «Опять известия!» — сказал он как-то, а по большей части он, как увидит издали, что я подхожу, так встает и уходит в соседнюю комнату и меня не принимает. И вообще нигде не сказано, чтобы я сейчас же являлся с каждым новым поручением; если бы было сказано, я бы уж непременно являлся, но об этом ничего не сказано; если бы я даже совсем не явился, мне бы и замечания не сделали. Если я и передаю поручения, то только по своей доброй воле».

«Хорошо»,— сказал К., пристально наблюдая за Варнавой и стараясь не обращать внимания на помощников: те по очереди, медленно, словно подымаясь откуда-то снизу, высовывались из-за плеча Варнавы и с коротким свистом, подражая ветру, быстро ныряли за его спину, словно испугавшись К.,— так они развлекались все время. «Не знаю, как там полагается у Кламма, сомневаюсь, что ты все точно понимаешь, и даже если бы понимал, то мы вряд ли могли бы что-нибудь изменить. Но передать поручение ты можешь, об этом я тебя и прошу. Совсем короткое поручение. Можешь ты его передать завтра, с утра и сразу, завтра же принести мне ответ или по крайней мере сообщить, как тебя там приняли? Можешь ли и хочешь ли ты сделать это? Ты мне окажешь огромную услугу. А может быть, и у меня будет случай отблагодарить тебя как следует, может быть, я и сейчас могу выполнить какое-нибудь твое желание?» «Конечно, я выполню твое поручение»,— сказал Варнава. «И постараешься выполнить его как можно лучше, передай все самому Кламму, получи ответ от него самого и все это поскорее, завтра, с самого утра, скажи, постараешься?»

«Постараюсь, как могу,— сказал Варнава,— но ведь я всегда стараюсь». «Давай не будем сейчас спорить,— сказал К.— Вот мое поручение: «Землемер К. просит

у господина начальника разрешения явиться к нему лично и заранее принимает все условия, связанные с таким разрешением. Он вынужден обратиться с этой просьбой, потому что до сих пор все посредники оказались несостоятельными; в доказательство достаточно привести то, что он до сих пор не выполнил ни малейшей землемерной работы и, судя по заявлению старосты, никогда выполнить ее не сможет, поэтому он со стыдом и отчаянием прочел последнее письмо господина начальника, и только личное свидание с господином начальником тут поможет. Землемер понимает, насколько велика его просьба, но он приложит все усилия, чтобы как можно меньше обеспокоить господина начальника, и согласен подчиниться любому ограничению во времени, а если сочтут необходимым, то пусть установят то количество слов, которое ему будет разрешено произнести при переговорах, он полагает, что сможет обойтись всего десятью словами. С глубоким почтением и чрезвычайным нетерпением он ожидает ответа».— В забывчивости К. говорил так, будто стоит перед дверью Кламма и обращается к дежурному у дверей.— Вышло куда длиннее, чем я думал,— сказал он,— но ты должен все передать устно, писать письмо я не хочу, оно опять пойдет по бесконечным канцеляриям».

И К. только нацарапал все на листке бумаги, положив его на спину одного из помощников, пока другой светил фонарем, но писал он уже под диктовку Варнавы — тот все запомнил и по-школярски точно все повторил, не обращая внимания на неверные подсказки помощников. «Память у тебя великолепная,— сказал К. и отдал ему листок.— Пожалуйста, прояви себя так же великолепно и во всем остальном. А чего ты пожелаешь? Неужели у тебя никаких желаний нет? Скажу откровенно: я был бы спокойнее за судьбу своего поручения, если бы ты высказал какие-нибудь пожелания». Сначала Варнава молчал, потом сказал: «Мои сестры тебе кланяются». «Твои сестры? — сказал К.— Ага, помню, такие крепкие, высокие девушки». «Обе тебе кланяются,— сказал Варнава,— но особенно Амалия, это она мне принесла сегодня письмо для тебя из Замка». Ухватившись за эти слова — остальное ему было не важно,— К. спросил: «А она не могла бы передать мое поручение в Замок? Может быть, вы пойдете вдвоем, попробуете счастья по очереди?» «Амалии не разрешается входить в канцелярию,— сказал Варнава,— а то она с удовольствием бы все сделала».

«Может быть, я завтра к вам зайду,— сказал К.— Только раньше ты приходи с ответом. Буду ждать тебя в школе. Кланяйся и ты от меня своим сестрицам». Казалось, Варнава был просто осчастливлен обещанием К., и после прощального рукопожатия он еще мельком погладил К. по плечу. И словно стало все как прежде, когда Варнава во всем блеске появился среди крестьян на постоялом дворе; К., хотя и с улыбкой, принял этот жест как награду. И, смягчившись, он уже на обратном пути не мешал помощникам делать все, что им заблагорассудится.

11

В школе

Он подошел к дому, промерзнув насквозь, везде было темно, свечи в фонарях догорели, и он ощупью пробрался в школьный класс, следуя за помощниками, которые тут уже хорошо ориентировались. «Теперь вас впервые можно похвалить»,— сказал он им, вспомнив о письме Кламма. Из угла раздался сонный голос Фриды: «Дайте К. выспаться! Не мешайте ему!» Значит, К. был у нее в мыслях все время, хотя ее одолел сон и ждать его она не стала. Зажегся свет: однако лампа горела слабо, керосину в ней было мало. У молодой пары вообще многого не хватало. Правда, печь была вытоплена, но большая комната, служившая также гимнастическим классом — гимнастические снаряды стояли по стенам и спускались с потолка,— поглотила весь запас дров, и хотя все уверяли К., что тут было очень тепло, но сейчас, к сожалению, все уже выстыло. В сарае лежал большой запас дров, но сарай был заперт, а ключ унес учитель, разрешив брать дрова только на топку во время занятий. Все было бы терпимо, будь тут кровати, куда можно было бы забраться. Но ничего тут не было, кроме единственного соломенного тюфяка, правда, очень чистого, накрытого Фридиным шерстяным платком, без пуховой перины, только с двумя грубыми жесткими одеялами, которые почти не грели. И даже на этот жалкий тюфяк помощники зарились с вожделением, хотя, конечно, и не надеялись улечь-

ся на него. Фрида смотрела на К. испуганными глазами: она ведь доказала, что может навести уют даже в такой жалкой комнатенке, как там, на постоялом дворе «У моста», но здесь без денег ничего не могла устроить. «Одно у нас украшение в комнате — гимнастические снаряды»»,— сказала она с вымученной улыбкой. Но Фрида обещала, что завтра же найдет выход и наверняка устранит главные недостатки — плохую постель и нехватку топлива, и потому просит К. потерпеть. Ни одним словом, ни одним намеком или жестом она не показала, что испытывает в душе хоть малейшую горечь против К., несмотря на то, что он, по собственному признанию, увел ее сначала из господской гостиницы, а теперь и с постоялого двора. Потому К. и старался со всем примириться, кстати, ему это было не так уж трудно; он мысленно шел по следам Варнавы и слово в слово повторял свое поручение, но не так, как он твердил эти слова Варнаве, а так, как, по его мнению, их воспримет Кламм. Но при этом он искренне обрадовался, когда Фрида сварила ему кофе на спиртовке, и, прислонясь к остывающей печке, внимательно следил, как она ловкими, умелыми движениями постлала на учительскую кафедру обязательную белую скатерть, поставила цветастую чашку и рядом с ней — хлеб, сало и даже баночку сардин. Все было готово — оказывается, Фрида сама еще не ела и ждала К. Нашлось два стула, К. с Фридой сели к столу, а помощники — у их ног на подмостках кафедры, но они никак не могли усидеть спокойно и даже мешали есть. Хотя им всего уделили вполне достаточно и они еще не справились со своей порцией, но то и дело привставали и заглядывали на стол — много ли там еще осталось и дадут ли им еще чего-нибудь. К. совершенно их не замечал, и только Фридин смех заставил его обратить на них внимание. Он ласково прикрыл рукой ее руку на столе и тихо спросил, почему она им все спускает и даже к их выходкам относится снисходительно. Так никогда нельзя будет от них избавиться, а вот если бы отнестись к их поведению по заслугам, то они либо приутихнут, либо — и это еще вероятнее и еще бы лучше — так невзлюбят свою службу, что наконец сбегут. Очевидно, ничего приятного жизнь в школе не обещает, впрочем, долго это не протянется, но все недочеты были бы едва заметны, если бы только убрались помощники и они с Фридой бы остались вдвоем в тихом доме. Неужто она не замечает, что они становятся день ото дня нахальнее, выходит так, будто их подбодряет присутствие Фриды, видно, они надеются, что при ней К. не станет обходиться с ними так круто, как следовало бы. Должно быть, все-таки есть какие-то совсем простые средства, чтобы избавиться от них сию минуту, при любых обстоятельствах. Может быть, даже Фрида знает, как это осуществить,— ведь ей хорошо знакомы здешние условия. Да и самим помощникам будет лучше, если их прогонят: жизнь тут у них не особенно обеспечена, а лениться, как они привыкли, им во всяком случае тут не придется, надо будет работать, потому что Фриде после всех волнений предыдущих дней нужно себя щадить, а он, К., будет занят поисками выхода из этого скверного положения. И все же, если помощники уйдут, у него на душе станет настолько легче, что он без труда сможет выполнять всю работу по школе наравне с другими делами.

Фрида, выслушав все очень внимательно, тихонько погладила его руку и сказала, что она того же мнения, но что он, по-видимому, принимает выходки помощников слишком всерьез, ребята они молодые, веселые и простоватые, впервые попали на службу к приезжему, вырвавшись из строгой дисциплины Замка, поэтому они и возбуждены, и слегка огорошены, и в этом состоянии делают много глупостей, и хотя вполне понятно, что они вызывают раздражение, но лучше бы над ними просто посмеяться. Она сама иногда не может удержаться от смеха. Однако она вполне согласна с К., что лучше всего было бы их отправить и остаться вдвоем, наедине. Она придвинулась к К. поближе и спрятала лицо у него на плече. И пробормотала так неразборчиво, что К. пришлось наклониться к ней, что, к сожалению, она никакого средства избавиться от помощников не знает и боится, что все предложения К. будут бесполезны. Насколько ей известно, К. сам попросил их прислать, теперь он их получил и должен держать. Лучше всего принимать их не всерьез, а такими, какие они есть, — легкомысленные ребята.

Но К. был недоволен таким ответом, полушутливо, полусерьезно он сказал, что Фрида, как видно, с ними в сговоре или, во всяком случае, очень к ним благоволит, конечно, они красавчики, но нет таких людей, от которых при желании немыслимо избавиться, и он ей это докажет именно на помощниках.

Фрида сказала, что будет ему очень благодарна, если это удастся. Кстати, те-

перь она больше над ними смеяться не будет и ни одного лишнего слова им не скажет. Да и ничего смешного нет, и действительно, это не пустяк, когда за тобой все время наблюдают двое мужчин; теперь она все поняла и смотрит на них глазами К. И она вправду вздрогнула, когда один из помощников высунулся из-под стола, отчасти — проверить, есть ли в запасе еда, отчасти — чтобы понять, о чем они все время шепчутся.

К. воспользовался этим, чтобы отвлечь Фриду от помощников; он привлек ее к себе, и они окончили ужин, тесно прижавшись друг к другу. Теперь надо было ложиться спать, все очень устали, один из помощников уже заснул над куском, что очень рассмешило второго, он все пытался заставить своих господ полюбоваться на дурацкую физиономию спящего, но ему это не удавалось; К. и Фрида безучастно сидели за столом. Лечь они не решались — холод в комнате становился все невыносимее; наконец К. заявил, что необходимо протопить, иначе спать невозможно. Он спросил, нет ли топора, помощники знали, где его найти, тут же принесли топор, и все отправились к сараю. В скором времени легкая дверь была взломана, и помощники пришли в такой восторг, будто они никогда в жизни ничего лучшего не видели, и стали таскать дрова в комнату, толкаясь и обгоняя друг друга. Скоро там выросла целая груда, печку затопили, все расположились вокруг нее, помощникам было выдано одеяло, в него можно было завернуться, этого вполне хватало, потому что, по уговору, один из них должен был дежурить, поддерживая огонь, и скоро у печки стало так жарко, что и одеяло не понадобилось, лампу потушили, и, радуясь теплу и тишине, Фрида и К. уснули.

Но когда К. проснулся ночью от какого-то шума и сонным, нерешительным движением потянулся к Фриде, он почувствовал, что вместо Фриды рядом с ним лежит один из его помощников. Вероятно, от волнения, которое возникает, если человека внезапно разбудят, К. испытал такой ужас, какого он не испытывал с самого своего прихода в Деревню. С криком он приподнялся и бессознательно так двинул помощника кулаком, что тот заплакал. Но все быстро разъяснилось. Оказывается, Фриду разбудило ощущение — а может быть, ей показалось,— что какое-то животное, наверно кошка, прыгнуло к ней на грудь. Она встала и со свечой в руке обыскала всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы хоть немножко полежать на удобном тюфяке, в чем он теперь горько раскаивался. Фрида так ничего и не нашла, возможно, ей все померещилось, она вернулась к К. и по дороге, словно забыв вечерний разговор, ласково погладила по голове плачущего помощника, прикорнувшего в углу. К. ничего на это не сказал, он только велел помощникам больше не топить — уже вышли почти все дрова, и в комнате стало слишком жарко.

Утром все они проснулись, только когда прибежали первые школьники и с любопытством обступили их постели. Это было очень неприятно, потому что к утру в комнате стало так жарко, что все разделись до белья, и как раз в ту минуту, когда они стали одеваться, появилась Гиза — учительница, белокурая, высокая и красивая, но немного чопорная девица. Очевидно, она уже знала о новом школьном служителе и, должно быть, получила от учителя указания, как себя с ним вести, потому что уже с порога сказала: «Этого я не потерплю. Хорошие дела тут творятся. Вам разрешили ночевать в классе, но я-то не обязана вести занятия в вашей спальне. Фу, безобразие — семейство школьного сторожа до полудня валяется в кровати». Конечно, ей можно было возразить, особенно насчет семейства и кроватей, подумал К., и так как от помощников никакого толку не было — те, лежа на полу, с любопытством глазели на учительницу и ребят,— К. с Фридой торопливо пододвинули брусья к коню и, завесив их одеялами, отгородили уголок, где, спрятавшись от взглядов школьников, можно было по крайней мере одеться. Но и теперь у них не было ни минуты покоя, сначала учительница бранилась, почему в умывальнике нет свежей воды,— К. только что собирался принести воды для себя и для Фриды, но решил обождать, чтобы не очень раздражать учительницу; однако и это не помогло: вдруг раздался страшный грохот — к несчастью, они забыли убрать с кафедры остатки ужина, учительница размахнулась линейкой, и все полетело на пол; ей и дела не было, что масло из-под сардинок и остатки кофе разлились лужей, а кофейник разбился вдребезги — на это ведь был сторож, уборка — его дело. Но К. и Фрида, еще полураздетые, прислонясь к коню, смотрели, как гибнет их имущество; помощники, которые, очевидно, и не думали одеваться, выглядывали из-под одеял, к великому удовольствию ребятишек. Больше всего, конечно, Фрида горевала над кофейником,

и только когда К., ей в утешение, уверил ее, что немедленно пойдет к старосте и потребует замены и, конечно, получит ее, она взяла себя в руки и в одной рубашке и нижней юбке выскочила из-за загородки, чтобы хотя бы подобрать одеяло и не дать ему запачкаться. Это ей удалось, хотя учительница, желая ее отпугнуть, непрестанно колотила линейкой по кафедре, подымая оглушительный грохот. Фрида и К. оделись и взялись за помощников — те совсем обалдели от шума; пришлось не только угрозами и толчками заставить их одеться, но и самим их одевать. Когда все были готовы, К. распределил обязанности. Первым делом он поручил помощникам принести дров и затопить в соседнем классе, оттуда грозила главная опасность, потому что там, вероятно, уже ждал сам учитель. Фрида должна была вымыть пол, а К.— принести воду и сделать общую уборку. О завтраке пока что и думать было нечего. Чтобы проверить настроение учительницы, К. решил выйти первым, а остальные должны были пойти за ним, когда он их позовет. Поступить так он решил, во-первых, потому, что не хотел ухудшать положение из-за глупости помощников, а во-вторых, он хотел как можно больше щадить Фриду: она была самолюбива, он — ничуть, она обижалась, он — нет, она думала только о тех мелких гадостях, которые сейчас происходили, а он был весь в мыслях о Варнаве и своем будущем. Фрида точно выполнила все его указания, не спуская с него глаз. Но как только он вышел из-за загородки, учительница под смех детей, который уже не прекращался, крикнула: «Что, все наконец выспались?» — и когда К., ничего не ответив — в сущности, к нему прямо и не обращались,— пошел к умывальнику, учительница спросила: «Что вы сделали с моей киской?» Огромная старая жирная кошка лениво растянулась на столе, и учительница осматривала ее слегка ушибленную лапу. Значит, Фрида была права, и хотя кошка на нее не прыгала — куда ей было прыгать! — но, видно, наткнувшись ночью на людей в обычно пустом доме, с перепугу повредила себе лапу. К. попытался спокойно объяснить все это учительнице, но ее интересовал лишь результат, и она сказала: «Ну, конечно, вы ее искалечили, вот с чего вы тут начали. Смотрите!» Подозвав К. на кафедру, она показала ему лапу, и не успел он опомниться, как она провела кошачьей лапой по его руке, и хотя когти у кошки были тупые, но учительница, не щадя на этот раз и кошку, надавила так сильно на ее лапу, что у К. выступили кровавые царапины. «А теперь ступайте работать!» — нетерпеливо бросила учительница и снова наклонилась над кошкой. Фрида, выглядывавшая вместе с помощниками из-за загородки, вскрикнула, увидев кровь. К. показал свою руку ребятам. «Смотрите, что со мной сделала злая, хитрая кошка!» — сказал он это, конечно, не для ребят — они и без того кричали и смеялись вовсю, и все равно ничего не слушали, и ни на какие слова внимания не обращали. Но так как и учительница в ответ на оскорбление только искоса взглянула на К. и снова занялась кошкой, очевидно утолив гнев кровавым наказанием, то К. позвал Фриду и помощников, и работа началась.

К. уже вынес ведро с помоями, принес чистой воды и стал подметать пол, но тут встал из-за парты и подошел к нему мальчик лет двенадцати, коснулся его руки и сказал что-то, чего К. из-за страшного шума понять не мог. Вдруг шум прекратился, и К. обернулся. То, чего он все утро боялся, наконец случилось. В дверях стоял учнтель, двумя руками он, этот маленький человечек, держал за воротник обоих помощников, как видно, он поймал их у дровяного сарая, потому что мощным голосом, отчеканивая каждое слово, прогремел: «Кто посмел взломать сарай? Подайте сюда этого негодяя — я его сотру в порошок!»

Тут Фрида привстала с колен — она старательно мыла пол у ног учительницы,— бросила взгляд на К., словно ища поддержки, и сказала с оттенком прежней уверенности во взгляде и манере держаться: «Это я сделала, господин учитель. У меня другого выхода не было. Раз надо было с утра топить классы, значит, пришлось открыть сарай; брать у вас ночью ключ и беспокоить вас я не осмелилась, мой жених в это время был в гостинице, он мог бы там и остаться переночевать, вот мне и пришлось самой решиться. Если я неправильно поступила, то лишь по неопытности, поэтому простите меня, мой жених меня уже бранил, когда увидел, что я наделала. Он мне запретил затапливать с утра, он подумал: раз вы заперли сарай, значит, хотели показать, что не надо топить, пока вы сами не явитесь. Стало быть, его вина, что тут не топлено, а в том, что взломали сарай, вина моя».

«Кто взломал дверь?» — спросил учитель у помощников, которые тщетно пытались вырваться у него из рук. «Этот господин»,— сказали оба и ткнули пальцем

в К., чтобы никаких сомнений не было. Фрида рассмеялась — этот смех говорил больше, чем все ее объяснения, и тут же стала выкручивать половую тряпку над ведром, как будто она уже разрешила все недоразумения и помощники только добавили что-то в шутку. Опустившись снова на колени, чтобы продолжать мытье пола, она сказала: «Наши помощники — просто дети, им бы еще сидеть за партой. Ведь я сама вечером открыла дверь топором, дело это простое, помощники мне не понадобились, они только мешали бы. А потом, ночью, когда вернулся мой жених и вышел посмотреть, что я наделала, и починить дверь, и помощники тоже увязались за ним, видно боялись остаться тут одни, и, увидев, как мой жених возится со взломанной дверью, теперь винят его, но ведь они еще дети...» Во время Фридиных объяснений помощники качали головой, и тыкали пальцем в К., и всячески старались мимикой показать Фриде, что она неправа, но так как им это не удавалось, они наконец сдались, приняли слова Фриды как приказ и на все вопросы учителя уже ничего не отвечали. «Ага,— сказал учитель,— значит, вы мне лгали? Или обвиняли сторожа из легкомыслия?» Они промолчали, но по их боязливым взглядам и по тому, как они задрожали, учитель решил, что они и вправду виноваты. «Вот я сейчас вас выпорю!» — сказал он и послал одного из мальчиков в соседнюю комнату за розгой. Но когда учитель поднял розгу, Фрида вдруг крикнула: «Но ведь они говорили правду!» — и в отчаянии швырнула тряпку в ведро, так что полетели брызги; она убежала за брусья и спряталась в угол. «Все они изолгались!» — сказала учительница. Она уже кончила перевязывать лапу кошке и держала ее на коленях, где та еле-еле помещалась.

«Значит, остается господин сторож,— сказал учитель, оттолкнув помощников и обращаясь к К. Тот стоял, опершись на метлу и молча слушал: — Тот самый сторож, который из трусости спокойно слушает, как за его мерзости несправедливо обвиняют других». «Знаете что,— сказал К., заметив, что благодаря Фридиному вмешательству безудержный гнев учителя немного поостыл,— если бы моих помощников малость выпороли, я бы ничуть не пожалел, их раз десять прощали, когда они по справедливости того не заслуживали, а на этот раз, хоть и не по справедливости, пусть они получат свое. И кроме того, господин учитель, я был бы рад избежать непосредственного столкновения между мной и вами, полагаю, что и вам это было весьма кстати. Но так как сейчас Фрида ради помощников пожертвовала мной,— тут К. сделал паузу, и слышно было, как за одеялами рыдает Фрида,— то, конечно, надо всех вывести на чистую воду». «Неслыханно!» — сказала учительница. «Вполне с вами согласен, фройляйн Гиза,— сказал учитель.— Вас, сторож, я, разумеется, немедленно увольняю за возмутительное нарушение служебных обязанностей, наказание для вас еще впереди: а сейчас немедленно убирайтесь отсюда со всем вашим скарбом. Для нас будет большим облегчением избавиться от вас и наконец начать занятия. Убирайтесь — и поскорее!» «А я с места не сдвинусь! — сказал К.— Вы мой начальник, но место это предоставлено не вами, а господином старостой, и увольнение я приму только от него. Но он предоставил мне это место вовсе не для того, чтобы я тут замерзал со всеми моими людьми, а для того, чтобы я в отчаянии не натворил необдуманно бог знает что. И уволить меня так, вдруг, ни с того ни с сего, совершенно не входит в его намерение. И я никому не поверю, пока не услышу от него самого. Впрочем, вероятно, и вам пойдет на пользу, если я не послушаюсь ваших легкомысленных распоряжений». «Значит, не послушаетесь?» — спросил учитель, и К. только покачал головой. «Вы подумайте как следует,— продолжал учитель,— ведь вы не всегда удачно принимаете решения; вспомните хотя бы, как вчера вечером вы отказались от допроса». «А почему вы именно сейчас об этом упоминаете?» — спросил К. «Потому, что мне так угодно! — сказал учитель.— А теперь я в последний раз повторяю: вон отсюда!»

Но так как и эти слова никакого действия не возымели, учитель подошел к кафедре и стал вполголоса советоваться с учительницей, та что-то сказала про полицию, но учитель это отклонил. В конце концов они договорились, и учитель позвал детей из этого класса в свой класс на совместные занятия с его учениками. Ребята обрадовались перемене, со смехом и криком освободили комнату, учитель с учительницей вышли вслед за ними. Учительница несла классный журнал, а на нем во всей своей красе разлеглась совершенно безучастная кошка. Учитель охотно оставил бы кошку тут, но когда он намекнул об этом учительнице, она решительно отказалась, сославшись на жестокость К., и вышло так, что из-за К. учителю еще

пришлось терпеть кошку. Очевидно, под влиянием этого учитель на прощание сказал: «Барышня вынуждена покинуть этот класс вместе с учениками, так как вы беспардонно не подчинились моему приказу об увольнении и так как никто не может требовать, чтобы молодая особа проводила занятия в вашей грязной семейной обстановке. Вы остаетесь в одиночестве и можете тут вести себя как угодно, ни один порядочный человек не будет вам мешать. Но ручаюсь вам, что долго это продолжаться не будет». С этими словами он громко хлопнул дверью.

12

Помощники

Как только все ушли, К. сказал помощникам: «Вон отсюда!» Ошеломленные этим неожиданным приказом, они послушались, но когда К. запер за ними дверь, они стали рваться назад, взвизгивать и стучать в дверь. «Вы уволены! — крикнул К.— Больше я вас к себе на службу не возьму». Но они никак не унимались и барабанили в двери руками и ногами. «Пусти нас, господин!» — кричали они, как будто К.— обетованный берег, а их захлестывают волны. Но К. был безжалостен, он с нетерпением ждал, пока невыносимый шум заставит учителя вмешаться. Так оно и случилось: «Впустите своих проклятых помощников!» — закричал учитель. «Я их уволил!» — крикнул в ответ К.; ему хотелось кроме всего прочего показать учителю, как оно бывает, когда у человека хватает сил не только объявить об увольнении, но и настоять на своем. Учитель попытался добром успокоить помощников — пусть подождут спокойно, в конце концов К. обязан будет впустить их. Потом он ушел. И может быть, все обошлось бы, если бы К. не стал снова кричать им, что он их окончательно уволил и пусть они ни минуты не надеются вернуться к нему на службу. Тут они опять подняли страшный шум. И опять пришел учитель, но теперь он их уговаривать не стал, а просто выгнал из дому, очевидно с помощью своей страшной трости.

Вскоре они появились под окном гимнастического класса, стуча по стеклам и вопя, хотя ни слова нельзя было разобрать. Но и там они пробыли недолго — стоять на месте они от волнения не могли, да и трудно было прыгать в глубоком снегу. Поэтому они побежали к ограде школьного двора, вскочили на каменный фундамент, откуда они могли, пусть издалека, видеть всю комнату. Они забегали вдоль ограды, держась за прутья, и остановились, умоляюще протягивали руки к К. Долго они так стояли, не замечая, что все их старания бесполезны; они словно ослепли и, должно быть, даже не заметили, как К. опустил занавеску, чтобы их не видеть.

В затемненной комнате К. подошел к параллельным брусьям и взглянул на Фриду. Увидав его, она встала, поправила прическу, вытерла глаза и молча взялась варить кофе. Хотя она все слыхала, К. счел нужным сообщить ей, что он уволил помощников. Она только кивнула. К. сел на парту и стал следить за ее усталыми движениями. Только свежесть и непринужденность в обращении красили это тщедушное тельце, теперь вся его прелесть исчезла. За несколько дней, прожитых с К., с ней произошла такая перемена. Работа в буфете гостиницы была, конечно, нелегкой, но подходила ей больше. А может быть, разлука с Кламмом была истинной причиной такого спада? Близость к Кламму придавала ей безумное очарование, и К., поддавшись этому соблазну, привлек ее к себе, а теперь она увядала у него на руках.

«Фрида!» — позвал К., и она тотчас же оставила кофейную мельницу и села рядом с ним за парту. «Ты на меня сердишься?» — спросила она. «Нет,— сказал К.— Наверно, ты иначе не можешь. Ты была довольна жизнью в гостинице. Надо было тебя там и оставить». «Да,— грустно сказала Фрида,— надо было оставить меня там. Я недостойна жить с тобой. Будь ты свободен от меня, ты бы, наверно, мог достигнуть всего, чего ты хочешь. Из-за меня ты подчинился этому тирану — учителю, взял такую жалкую должность и стараешься изо всех сил добиться свидания с Кламмом. Все из-за меня, а чем я тебе за это отплатила?» «Нет,— сказал К. и обнял ее словно в утешение.— Все это мелочи, меня они не задевают, и Кламма я хочу видеть вовсе не из-за тебя. А сколько ты для меня сделала! Пока я тебя не знал, я тут блуждал как в потемках. Никто меня не принимал, а кому я навязывался, тот сразу меня отваживал. Если же я у кого-то мог найти приют, так то были люди, от которых

я сам бежал, вроде семейства Варнавы». «Ты от них бежал? Это правда? Милый ты мой!» — живо перебила его Фрида, но когда К. нерешительно сказал: «Да», она снова устало поникла. Однако и у К. больше не хватило решимости объяснить, в чем именно связь с Фридой все изменила для него в лучшую сторону. Он медленно высвободил руку и некоторое время просидел молча, и тут Фрида заговорила так, как будто его рука давала ей тепло, без которого ей сейчас было бы невмоготу: «Мне такую жизнь и не вынести. Если хочешь со мной остаться, нам надо эмигрировать куда-нибудь, в Южную Францию, в Испанию». «Никуда мне уехать нельзя,— сказал К.— Я приехал жить сюда. Здесь я жить и останусь». И наперекор себе, даже не пытаясь объяснить это противоречие, он добавил, словно думая вслух: «Что же еще могло заманить меня в эти унылые места, как не желание остаться тут? — Помолчав, он сказал: — Ведь и ты хочешь остаться тут, это же твоя родина. Только Кламма тебе не хватает, оттого у тебя и мысли такие горькие». «По-твоему, мне Кламма не хватает,— сказала Фрида.— Да здесь от Кламма не продохнуть, я оттого и хочу отсюда удрать, чтобы от него избавиться. Нет, не Кламм, а ты мне нужен, из-за тебя я и хочу уехать; мне никак тобой не насытиться здесь, где все рвут меня на части. Ах, если бы сбросить с себя красоту, пусть бы лучше мое тело стало непривлекательным, жалким, может быть, тогда я могла бы жить с тобой спокойно». Но К. услыхал только одно. «Разве ты до сих пор как-то связана с Кламмом? — спросил он сразу.— Он тебя зовет к себе?» «Ничего я о Кламме не знаю,— сказала Фрида,— сейчас я говорю о других, например о твоих помощниках». «О помощниках? — удивленно спросил К.— Да разве они к тебе приставали?» «А ты ничего не заметил?» — спросила Фрида. «Нет,— сказал К., с трудом припоминая какие-то мелочи.— Правда, мальчики они назойливые, сластолюбивые, но чтобы они осмелились приставать к тебе — нет, этого я не заметил». «Не заметил? — сказала Фрида.— Ты не заметил, как их нельзя было выставить из нашей комнаты на постоялом дворе «У моста», как они ревниво следили за нашими отношениями, как один из них, наконец, улегся на мое место, на тюфяке, как они сейчас на тебя наговаривали, чтобы тебя выгнать, погубить и остаться со мной наедине? И ты всего этого не заметил?» К. смотрел на Фриду, не говоря ни слова. Возможно, что все эти обвинения против помощников были справедливыми, но все можно было толковать куда безобиднее, понимая, насколько смешно, ребячливо, легкомысленно и несдержанно вели себя эти двое. И не отпадало ли обвинение, если вспомнить, как они оба все время стремились ходить по пятам за К., а вовсе не оставаться наедине с Фридой? К. что-то упомянул в этом духе, но Фрида сказала: «Все это одно притворство! Неужели ты их не раскусил? Тогда почему ты их прогнал? Разве не из-за этого?» И подойдя к окну, она немного раздвинула занавеску, выглянула на улицу и подозвала К. Помощники все еще стояли у ограды и то и дело, собравшись с силами, умоляюще протягивали руки к школе. Один из них, чтобы крепче держаться, зацепился курткой за острие ограды.

«Бедняжки, бедняжки!» — сказала Фрида.

«Спрашиваешь, почему я их выгнал? — сказал К.— Конечно, непосредственным поводом была ты сама». «Я?» — спросила Фрида, не сводя глаз с помощников. «Ты была с ними слишком приветлива,— сказал К.,— прощала все их выходки, смеялась над ними, гладила их по головке, постоянно их жалела, вот и сейчас сказала: «Бедняжки, бедняжки!» — и, наконец, последний случай, когда тебе не жаль было пожертвовать мной, лишь бы избавить моих помощников от порки». «В этом-то все и дело! — сказала Фрида.— Об этом я и говорю, оттого я и такая несчастная, это-то меня и отрывает от тебя, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой всегда, без конца, без края, когда я только о том и мечтаю, что раз тут, на земле, нет спокойного угла для нашей любви, ни в Деревне, ни в другом месте, так лучше нам найти могилу, глубокую и тесную, и мы с тобой обнимем друг друга крепче тисков, я спрячу голову на груди у тебя, а ты у меня, и никто никогда нас больше не увидит. А тут — ты только посмотри на помощников! Не к тебе, а ко мне протягивают руки!» «И не я на них смотрю,— сказал К.,— а ты!» «Конечно, я,— сказала Фрида почти сердито,— об этом я и твержу все время. Иначе не все ли равно — пристают они ко мне или нет, даже если подосланы Кламмом». «Подосланы Кламмом»,— повторил К., удивившись этим словам, хоть они и показались ему убедительными. «Ну, конечно, подосланы Кламмом,— сказала Фрида,— ну и пускай, и все-таки они дурашливые мальчишки, их еще надо учить розгой. И какие они гадкие, черномазые! А как противно смотреть на их дурацкое ребячество, ведь лица у них такие

взрослые, можно было бы их даже принять за студентов! Неужели ты думаешь, что я ничего этого не вижу? Да мне за них стыдно! В этом-то все дело, они меня не отталкивают, просто я за них стыжусь. Мне все время хочется на них смотреть. Надо бы на них сердиться, а я смеюсь. Когда их хотят выпороть, я их глажу по головке. А ночью я лежу с тобой рядом и не могу заснуть, все время через тебя смотрю, как один крепко спит, завернувшись в одеяло, а другой стоит на коленях перед печкой и топит, я даже чуть тебя не разбудила, так я перегнулась через тебя. И вовсе не кошки я испугалась — уж кошек-то я знаю, да и привыкла на ходу дремать в буфете, где мне вечно мешали, не кошка меня испугала,— я сама себя испугалась. Вовсе не надо было никакой кошки,— этакой дряни! — я и так вздрагивала от каждого звука. То я пугаюсь, что ты вдруг проснешься, и тогда всему конец, то я вскакиваю и зажигаю свечку, чтобы ты поскорей проснулся и защитил меня». «Ничего я этого не знал,— сказал К.,— только подозревал что-то, потому их и выгнал, а теперь, когда они ушли, может быть, все и уладится». «Да, наконец-то они ушли,— сказала Фрида, но лицо у нее выражало не радость, а страдание,— а мы до сих пор и не знаем, кто они такие. Ведь я только в шутку, только про себя говорю, что они подосланы Кламмом, но, быть может, это и правда. Их глаза, такие глупые, но сверкающие, мне очень напоминают глаза Кламма, из их глаз меня иногда словно пронзает взгляд Кламма. И наверно, неправильно, когда я говорю, что я их стыжусь. Хорошо, если бы так. Правда, я знаю, что в другом месте, у других людей такое поведение мне показалось бы грубым и противным, а вот у них — нет. Я и на их глупости смотрю с уважением и восхищением. Но если они и вправду подосланы Кламмом — кто нас может от них избавить? Да и разумно ли тогда нам от них избавляться? Может, надо позвать их и радоваться, когда они вернутся?» «Ты хочешь, чтобы я их опять пустил сюда?» — спросил К. «Да нет же,— сказала Фрида,— вовсе я этого не хочу. И если бы они снова сюда ворвались, радуясь, что видят меня тут, стали прыгать, как дети, и протягивать ко мне руки, как взрослые мужчины,— нет, я бы этого не вынесла! Но стоит мне только подумать, что ты сам, отталкивая их, лишаешь себя доступа к Кламму, как мне хочется любым способом оградить тебя от таких последствий. И тут мне хочется, чтобы ты их впустил сюда. Ну, К., зови их сюда, и поскорее! А на меня не обращай внимания, что я значу! Буду защищаться от них, пока могу, а если проиграю — ну что ж, значит, проиграю, но зато с сознанием, что все делается ради тебя». «Но ты только укрепляешь мое решение насчет помощников,— сказал К. — Никогда им с моего согласия сюда не войти. А то, что я их смог прогнать, только доказывает, что при некоторых обстоятельствах с ними вполне можно справиться, и, кроме того, это значит, что их, в сущности, ничто с Кламмом не связывает. Только вчера я получил от Кламма письмо, из которого видно, что Кламм совершенно неправильно осведомлен о помощниках, из чего опять-таки можно заключить, что они ему абсолютно безразличны; если бы не так, то он мог бы получить о них более точные сведения. А то, что ты в них видишь Кламма, тоже ничего не доказывает, к сожалению, ты все еще находишься под влиянием хозяйки, и тебе всюду мерещится Кламм. И ты все еще любовница Кламма, а никак не моя жена. Иногда я от этого впадаю в уныние, мне кажется, что я все потерял, и у меня такое чувство, будто я только сейчас приехал в Деревню, но не с надеждой, как было на самом деле, а с предчувствием, что меня ждут одни разочарования и что я должен испить эту чашу до самого дна. Правда, так бывает редко,— добавил К. и улыбнулся Фриде, увидев, как она поникла от его слов,— и, в сущности, только доказывает одну хорошую вещь, а именно, как много ты для меня значишь. И если ты сейчас предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, то помощники уже проиграли. И вообще, что за выдумки — выбирать между тобой и ними? Нет, я теперь хочу окончательно от них избавиться, и не думать, и не говорить о них. И кто знает, может быть, мы поддались этой минутной слабости просто потому, что еще не завтракали?» «Возможно»,— сказала Фрида с усталой улыбкой и принялась за работу. И К. тоже снова взялся за метлу.

(Продолжение следует)

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

К 200-летию со дня рождения

■

Перевод с английского ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Тьма

Я видел сон, он не совсем был сном.
Погасло солнце яркое, и звезды
Едва блуждали без лучей и цели
В пространстве вечном; стылая земля
Крутилась слепо в пустоте безлунной;
Наутро день не наступал, и люди
От ужаса свои забыли страсти,
И все себялюбивые сердца,
Оцепенев во тьме, молились свету;
Теснились люди у костров зловещих,
И хижины, и царские дворцы,
И города, и веси — все горело
В огне последнем; люди собирались
Вокруг своих пылающих домов,
Чтоб еще раз взглянуть в лицо друг другу;
Тем повезло, кто средь вулканов жил —
Тьму разгоняли факелы вулканов;
Надежды тень — всё, что осталось в мире;
Горящие леса стремглав темнели,
Стволы взрывались с грохотом и треском
И падали — и было все черно.
И лица становились неземными,
Когда внезапно освещал их отблеск;
Одни, зажмурясь, падали на землю
И плакали, другие улыбались,
Руками подпирая подбородки;

А те сновали взад-вперед и утварь
Швыряли в погребальные костры,
То взглядывали с суеверным страхом
На мрачное разорванное небо,
Покров былого мира, то опять
Бросались в пыль с проклятьями и воем,
Зубами скрежеща; и с неба птицы
Пронзительно кричали и, упав,
Обломанными хлопали крылами;
Послушным стало дикое зверье,
В огромные клубки сплетались змеи,
Шипели, но ужалить не могли;
Их пожирали люди. Стала грызть
саму себя голодная Война;
За черствый хлеб платили кровью; каждый
Угрюмо насыщался в одиночку;
Любви не стало; превратилось в мысль
Все на земле — и смерть была той мыслью.
Один другого пожирал; никто
Не погребал ни плоти, ни костей.
И псы бросались злобно на хозяев,
Один лишь пес остался верен трупу,
И зверя отгонял, и человека,
Покуда голод не валил тех наземь,
Или другой мертвец не соблазнял
Их тощих челюстей; сам жил без пищи,
То жутко выл он, то лизал он руку,
Которая не отвечала лаской,—
Пока не сдох. Все вымерли. Но двое
В живых остались — бывших два врага,—
И встретились они у алтаря,
У потухающих навеки углей,
Где в кучу были свалены святыни
Для гнусной требы; разгребали пепел
Холодными костлявыми руками,
В золе глухой они глухим дыханьем
Раздули искру — слабый огонек
Как бы в насмешку вспыхнул — и, увидев
В глаза друг друга при неверном свете,
Издали вопль и умерли на месте
От обоюдной мерзости, не зная,
На чьем челе знак Голода оставил
Незримый Сатана. И мир был пуст,
Могучий шумный мир стал глыбой глины
Без времени. без жизни, без людей;
Громада смерти — хаос бренных тел,
Озера, реки, океан — все стихло,
Ничто не шевелилось в их глубинах:
На море гнили мертвые суда,
Разваливались мачты по частям
И падали, не вызывая зыби,—
На море ни прилива, ни отлива,
Ни дуновенья в спертой тишине,
Луна, их госпожа, давно угасла;
Погибли облака; Тьма не нуждалась
В их помощи — Она была Вселенной.

Прощай

Увы! Они друзьями были;
Наветы душу отравили;
А верность в небесах живет;
Жизнь гнет, а молодость гордится;
И против друга восстает
Безумье, что в мозгу гнездится;
. . . . . .

Им встретиться не довелось,
Чтоб облегчить сердца от боли —
Разъединились поневоле,
Как расколовшийся утес;
Меж ними вал шумит уныло,
Ни гром, ни зной и не мороз,
И, верю, никакая сила
Не сокрушит того, что было.

Колридж. «Кристабел»

Прощай! И если навсегда,
То навсегда прощай,
Я зла не вспомню никогда,
И ты не вспоминай.

Ужели эта грудь была
Открыта для любви,
Чтоб ты на ней уснуть могла?..
Так вспомни сны свои.

Ужели ты насквозь прочла
Жизнь сердца моего
И оттолкнуть потом смогла
С презрением его?

Твой шаг толпа превознесла
До облачных высот,
Но оскорбительна хвала,
Что зло другим несет.

Нет, я не дорожу собой,
Но не могу понять,
Как ты могла убить рукой,
Умевшей так ласкать?

Не лги себе; огонь в крови
Не гаснет до конца,
Мы будем жить, хотя в любви
И разошлись сердца.

Твое — хранит тепло в груди,
Мое — кровоточит
И знает: счастье позади
И встречи не сулит.

Моя печаль сильней, чем вой
И плач над мертвецом;
Тебе встречать зарю вдовой,
А мне седым вдовцом.

Когда с тобой заговорит
Впервые дочь моя,
Ты скажешь ли, как бог велит,
Что есть на свете я?

Когда играет дочь с тобой,
За локон теребя,
Знай — я молюсь на образ твой,
Знай — я люблю тебя.

Взгляни — и если дочь моя
Похожа на меня,
Пусть заиграет кровь твоя
От старого огня.

Несешь ты груз моих грехов,
Но не безумств моих;
Останется надежды зов
Звучать в ушах твоих.

Склоняюсь гордой головой
У твоего огня,
Моя душа вслед за тобой
Уходит от меня.

Конец! Тут все слова пусты,
Тем более мои;
Но мысль не ведает узды,
Когда ведет к любви.

Прощай! Мне суждено сгореть
Вдали от милых глаз,
И больше мне не умереть,
Чем умер я сейчас.

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ (род. в 1941 г.)

Советский поэт. Автор семи сборников стихотворений, в том числе «Край света — за первым углом» (1976), «Отпущу свою души на волю» (1981), «Русский узел» (1983). Переводил стихи чешских, словацких, венгерских, югославских поэтов.

«Парящий ум, светило века»

Нам теперь трудно представить себе, что значил для русского общества Байрон в духовной ситуации кануна 14 декабря, как и в той, что обозначилась вслед событиям на Сенатской площади. Тогдашнее отношение к Байрону помогут почувствовать строки из письма Вяземского, написанного в траурные апрельские дни 1824 года: «После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его. Наш век есть точно век мирмидонов; кто только немножко перерастет головою казенную мерку посредственности, тот сейчас людьми или Судьбою выключается из списков».

Над «мирмидонами», над ревнителями законопослушной умеренности, Байрон возвышался, как снежный пик над плоскогорьем, и для его современников это было едва ли не главным: кого-то восхищало, кого-то страшило. Поэтический гений Байрона, никем в ту пору не оспариваемый, все-таки и тогда не был признан безоговорочно. Вяземского он приводил в трепет, но Жуковскому, как впоследствии Пушкину и Гоголю, казался односторонним. Лермонтов, пережив необыкновенно сильное увлечение английским поэтом, в итоге все же скажет, что сам он — «другой».

Однако оставалось нечто намного более существенное, чем достоинства или крайности стихов Байрона. Оставалась личность, в которой видели воплотившийся дух времени. «Парящий ум, светило века»,— так отозвался о Байроне Рылеев. Понятие «байронизм», кажется, в своем роде единственное: никогда еще имя поэта не становилось знаком целого умонастроения, полтора с лишним века назад охватившего едва ли не всю молодую Европу и сохранявшегося десятилетиями, как ни мельчало его содержание.

Оттого больше, чем литературной полемикой, были споры о том, обретение ли для поэзии байроновская меланхолия, по словам Кюхельбекера, обливающая читателя «стужею ужаса», так что поэт предстает лишь как «живописец... опустошенных душ и сердец раздавленных». Такое представление о Байроне надолго стало преобладающим. Много лет спустя Жуковский в известном письме Гоголю скажет о творце «Чайльд Гарольда»: «Дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения».

Письмо помечено 1848 годом; Жуковский как бы подытоживает, оглядываясь на минувшую эпоху, когда такие жаркие баталии развертывались вокруг переведенного им четверть века назад «Шильонского узника» или «Абидосской невесты», из которой цензура вымарывала строфы, доводя до отчаяния переведшего эту поэму Козлова. Былые разногласия исчезли, Байрон уже стал классиком, и его место среди великих. Но по-прежнему «тревожит ум» и «повергает в безнадежность сердце» его отзвучавшая лира. И все так же покоряет владевшая им «всеобъемлющая ненависть», хотя Жуковский теперь находит, что это сила губительная.

Поколение, выдвинувшее декабристов, воспринимало байроновскую «всеобъемлющую ненависть» иначе. Тем и притягивал Байрон людей пушкинского времени, что в нем как бы сосредоточился дух отрицания тиранства, раболепия, лицемерия, подобострастия — всей удушливой атмосферы, которая воцарилась в Европе, когда отгремели наполеоновские войны. Можно было, подобно Кюхельбекеру, отвергать байроновскую «глубину мрака», лишающую поэзию многокрасочности. Подобно Грибоедову, можно было противопоставлять Байрону Гёте, который «объясняет своею идеею все человечество», тогда как «Байрон, со всем разнообразием мыслей,— только человека». Но и для самых придирчивых своих русских критиков Байрон неизменно оставался поэтом Свободы. Это перевешивало любые художественные расхождения. Вспомним Пушкина, уподоблявшего поэзию Байрона, личность Байрона — вольной стихии моря:

Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Даже «унылый романтизм», в котором на страницах «Евгения Онегина» упрекнет Байрона по-новому взглянувший на него Пушкин, даже «безнадежный эгоизм» английского поэта, сильно преувеличенный его первыми биографами, ощущались как одна из «глубоко в сердце заронившихся потребностей нынешнего века». Об этом писал Вяземский в статье 1827 года. А тремя годами ранее дал собственную афористичную характеристику английского поэта: «Колумб новейших дней».

Он и должен был казаться Колумбом, этот «шотландский бард», который «вовремя избран был толмачом человека с самим собой» и «положил на музыку песню поколения». Так думал не только Вяземский. Певец неразделенной любви и горестного одиночества, каким по преимуществу видели Байрона в Европе, для русского общественного сознания декабристской поры он становился образцом высокой гражданственности. Он и в поэзии, и в самой жизни являл законченный образ великого человека, у которого нераздельны слово и дело. Порвавший со своим аристократическим окружением, чтобы открыто принять сторону итальянских карбонариев, а потом греческих повстанцев, он осознавался как пророк возмездия и очищения, гордого противостояния бесчестью в любых его формах, жертвенности во имя этической правды.

Сама байроновская тоска — испепеляющая, язвительная, неутолимая — представала не капризом, не своеволием, а поразительно точным отзвуком «вихрей мирового исторического движения» (Ап. Григорьев). За исповедью поэта, ошеломившей искренностью и прямотой, которую до Байрона считали в лирике невозможной, прочитывалась глава духовной истории, вобравшая в себя тяжкий опыт свидетелей бесславного наполеоновского заката и всевластия Священного союза. Лермонтов глубже всех почувствовал, что это поистине пророческая тоска.

Так складывался образ Байрона, по существу не изменившийся при всех последующих перепадах русской репутации поэта. Незачем пояснять, что фактологическая точность здесь отступала перед ассоциациями, которые Байрон будил в сознании, проникшемся отечественными заботами. Это сказалось не только на прочтении Байрона, но и на его русских переложениях, начиная с самых ранних: с отрывка из «Чайльд Гарольда», еще в 1818 году переведенного Батюшковым, со «Строк, написанных в альбом на Мальте», которые перевел Вяземский (а потом переводили Лермонтов и Тютчев). Лирика Байрона попадала в русский духовный контекст — и менялась, не утрачивая своего неповторимого звучания, но приобретая оттенки, внесенные представлениями о смысле высокой и трагической судьбы ее творца.

Хорошо видно это на примере одного из замечательных байроновских стихотворений — «Прощай» («Прости» — в переводе И. И. Козлова). Написано оно в тяжелый для поэта 1816 год, за несколько недель до того, как Байрон навсегда покинет Англию. Эпиграф взят из Сэмюэла Тейлора Колриджа, литературного антагониста, но поэта не только соразмерного Байрону дарованием, а в каком-то отношении близкого мученическим своим уделом. Тогда, весной 1816 года, эта близость должна была открыться Байрону особенно отчетливо — ведь он сам переживал свои горьчайшие часы. По лондонским светским гостиным ползли сплетни, в которых полуправда смешивалась с откровенной ложью и злобой на поэта, не отрекшегося от идеалов собственной юности. Шел бракоразводный процесс со всеми неизбежными атрибутами общественного скандала. Даже публикация этих глубоко интимных строк, обращенных к леди Байрон, носила провокационный характер: она была сделана без ведома автора и сопровождалась редакторскими назиданиями насчет «морального и семейного долга».

Стихи в мгновенье ока стали знаменитыми, их переписывали и перепечатывали, смакуя подробности, дополненные плодами нечистого воображения. По сей день их обычно читают и толкуют только как автобиографический документ. И. И. Козлов, первый переводчик этих стихов (двенадцать лет назад появился перевод В. Микушевича), сумел их прочесть по-другому. Осталась безукоризненная правда лично пережитого, но трагедия Байрона выявила свою предопределенность, созданную всем тогдашним социальным климатом.

И для русского читателя «Прощай» — это прежде всего стихи о том разочаровании, которое, по слову Герцена, «больше, чем личное настроение», потому что порождено оно отсутствием «обязательной силы истины над действительным миром». Тут боль, которую время не притупляет. Лишь заставляет всякий раз пережить по-новому.

По-новому заставляет оно читать и другой шедевр Байрона — «Тьму», написанную также в 1816 году, но уже в Швейцарии, в первые месяцы изгнания. Упрекая Байрона его беспросветной мрачностью, подразумевали главным образом апокалипсическую картину гибели человечества, которая развертывается перед читателем этих стихов. Тургенев, переводивший их в 1846 году (девятнадцатью годами раньше появился перевод забытого теперь поэта А. Ротчева, а в юношеских тетрадях Лермонтова есть прозаическое переложение «Тьмы»), писал о «горьком и смутном беспокойстве», которое возбуждает Байрон. В наши дни для этого беспокойства возникли более чем реальные причины. Печатая несколько лет назад свое вольное переложение, А. Вознесенский сделал такое примечание: «Я перевел стихотворение «Тьма» — как «Ядерная зима». Подобные осмысления, вероятно, слишком произвольны, и все же в данном случае оно понятно.

Принято толкование «Тьмы» как свидетельства мизантропии, охватившей Байрона после крушения, которое постигло его в тот злосчастный год, но тут не только пейзаж души, а еще и пейзаж времени. Это стихи о катастрофе, пережитой всем людским сообществом, когда заглохли последние раскаты очистительной грозы, какой виделась Французская революция, и окончательно погасли взлелеянные ею надежды. С той поры история знала и более жестокие переломы; каждый раз байроновская аллегория приобретала новое звучание, а заполняющая ее тревога находила прямой отклик — особенно непосредственный сегодня, на пороге третьего тысячелетия, которое может и не наступить.

Конечно, не этими объективно возникающими перекличками с днем сегодняшним определяется величие и бессмертие поэзии прошлого. Во всяком случае, не только ими. Но они позволяют едва ли не физически ощутить присутствие Байрона как одну из «потребностей нынешнего века», глубоко заронившихся в сердце. Век изменился, но мысль Вяземского не устарела. К ней возвращаешься в юбилейный байроновский год.

Отмечая 200-летие со дня рождения Байрона, мы предлагаем читателям два новых перевода, сделанных Юрием Кузнецовым. Не предвосхищая читательской оценки, хочется надеяться, что они будут встречены с интересом — не только как попытка творческого соревнования с предшественниками, но и как свидетельство неослабевающего интереса к наследию Байрона, так много значившему в развитии русской поэзии.

А. ЗВЕРЕВ

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

ВЗГЛЯД В ДОСЬЕ

Вступление и перевод с немецкого
АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВА

«Крысы» и «навозные мухи»... Это из лексикона Франца-Йозефа Штрауса и его политического окружения, где столь «интеллигентным» образом характеризуют идейных противников — прогрессивных писателей ФРГ, в том числе и Гюнтера Вальрафа.

«Шавки», «пачкуны собственного гнезда», «литературный сброд». Это — оттуда же и едва ли не в первую очередь по адресу Вальрафа.

«Я, как и миллионы немцев, приношу свою благодарность редакторам «Бильд». Обладай Вы хотя бы десятой долей ума этих журналистов, Вы бы, может, и стали более приличным человеком!» (из письма, адресованного Вальрафу неким Эрихом Р. из Дортмунда).

«Выражение «коммунист-подпольщик» по отношению к истцу № 5 (Вальрафу) также оправданно... Вероломные и грязные дела его и впрямь имели место» (из решения земельного суда в Штутгарте по иску Бернта Энгельмана, Ингеборг Древиц, Гюнтера Вальрафа и других писателей против Франца-Йозефа Штрауса)...

Вряд ли найдется в ФРГ еще одно литературное имя, которое с таким же бешенством трепали бы правые газеты и журналы (а они в Западной Германии — в большинстве) и от которого столь же трусливо отшатывалась бы значительная часть так называемой либеральной прессы. Для нервов преуспевающего (особенно в «черном бизнесе») предпринимателя, добропорядочного бюргера или консервативного политического деятеля вряд ли отыщется более сильный раздражитель, нежели имя Гюнтера Вальрафа.

Все это, разумеется, давно известно и самому писателю, и читателям его книг. Но есть и другое: то, о чем Вальраф догадывался, но не мог сказать во весь голос, пока сам не собрал неопровержимые улики и доказательства. И вот эта работа завершена. Книга так и называется — «Взгляд в досье». В то самое досье, которое было давно заведено на неугомонного писателя секретными службами ФРГ. (Как удалось Вальрафу заглянуть в полицейские акты — его тайна.)

Почему же вслед за бандитами пера и бандитами с кастетом в руке, вслед за «горилламИ» из частной «заводской охраны» на Вальрафа ополчились все эти полицей-

© Steidl Verlag, Göttingen, 1987.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF (род. в 1942 г.)

Немецкий журналист и писатель (ФРГ). Первая его книга очерков «Ты нам нужен. О фабриках и заводах Западной Германии» вышла в 1966 г. С тех пор Г. Вальраф опубликовал несколько книг, пьес, репортажей. «Иностранная литература» напечатала его очерки «Во власти Молоха» (1972, № 11), «Гюнтер Вальраф contra Шпрингер и Крупп» (1973, № 5), «Португалия: как был раскрыт заговор» (1976, № 10—11), цикл репортажей о газете «Бильд» и деятельности в ФРГ крупнейшего газетно-журнального концерна Акселя Шпрингера (1981, № 6, 10, 11; 1984, № 10) и др.

Книга «Взгляд в досье» («Akteneinsicht», Göttingen, Steidl Verlag) издана в 1987 г. Печатается с небольшими сокращениями.

ские комиссары, филеры из ведомства по охране конституции и даже ищейки из федеральной разведывательной службы БНД?

Потому что Гюнтер Вальраф перешагнул невидимые, но более чем реальные границы в «свободном» и «демократическом» обществе. Табу — это не какие-то темы «икс», пишет в своей книге «Табу в прессе ФРГ» председатель Немецкого союза журналистов Эккарт Шпоо. Табу — это как раз такие темы, которые вызывают у общественности наибольший интерес. Частная жизнь — это не табу. Мы ежедневно наблюдаем, продолжает Шпоо, как газеты сообщают о личной жизни самых разных людей — об их семейных отношениях, сексуальных склонностях, причудах, нарушениях ими правовых норм. Все из ряда вон выходящее, эксцентричное становится объектом внимания средств массовой информации. «Будничное» же изымается из сферы общественного интереса. Но это будничное — условия жизни трудящихся, производственные отношения в обществе, социальная роль частной собственности, проблемы власти. На информацию обо всем этом наложено табу.

Официальной цензуры в ФРГ, согласно конституции, не существует. Но есть то, о чем говорил еще в 20-е годы известный немецкий публицист Курт Тухольский: «Нормальная газета подчинена самой строгой цензуре, какая только может быть,— своей собственной». Итак, самоцензура, или, как выражаются в ФРГ, «ножницы в голове». Подстригать мозги можно, разумеется, на различные фасоны (на то и плюрализм средств массовой информации), но цель операций такого рода очевидна.

Ну, а если ножницы затупились либо их вовсе нет, объявляется аврал — и тут уж все средства хороши: от суда (только после выхода в конце 1985 года книги «На самом дне» против Вальрафа было начато пять процессов) до расправ руками наемников, от клеветы и инсинуаций в прессе до пухлого «дела» в охранке. Обо всем этом подробно рассказывается в новой книге.

И тем не менее, репортаж «с самого дна» о тяжком житье в ФРГ полутора миллионов соотечественников вымышленного турка Али разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров... В произведении, с которым мы знакомим читателя, Вальраф весьма непочтительно отзывается о деятельности могущественных тайных ведомств и отнюдь не собирается отказываться от противостояния им... Здесь же читатель найдет и такие пассажи, после чтения которых разве что разведешь руками (к примеру, то, что в этой стране параграф 101-й уголовно-процессуального кодекса требует извещать абонента о прекращении прослушивания его телефона)...

Да, все это так. И параграф 101-й существует, и писателя Вальрафа охранке так просто, голыми руками не взять, и он может подать в суд на любое официальное лицо — от Штрауса до руководителя разведки БНД. Но тот же всем известный Вальраф был вынужден переехать на постоянное жительство в Голландию — и не для того, чтобы быть подальше от «иррациональных реакций группки сбитых с толку», как уверяет советских читателей экспортно-пропагандистский журнал ФРГ «Гутен таг», а с целью избавиться от каждодневной полицейской слежки, угроз физической расправы и прочих прелестей западногерманского «правового государства».

Будет ли ему легче работать в дальнейшем, покажет время. Кстати, еще более десяти лет назад Генрих Бёлль выражал опасение, что лицо Вальрафа становится слишком известным и потому писатель не сможет продолжать свои расследования скрытно: «Я вижу только один выход — создать пять, шесть, дюжину Вальрафов».

Будем надеяться, что Бёлль здесь ошибся и что не понадобится ни «второй», ни «третий» Вальраф, ибо реально существующий — един во множестве лиц.

Предисловие

У меня давно уже установились тесные, хотя и не безоблачные отношения с нашими «органами» — юстицией и полицией. И началось это отнюдь не в прошлом году, когда по наущению уголовной полиции Баварии в моей кёльнской квартире — рабочем кабинете и жилых комнатах — был проведен обыск, причем с поистине широким размахом; одновременно охранители правопорядка появились на пороге у режиссера фильма «На самом дне» Йорга Гфрёрера и у продюсера картины Петера Кляйнерта. Как эта акция, якобы направленная на защиту интересов государства, была раскручена, как она протекала, что искали ее участники и что они в итоге нашли — обо всем этом я и поведу здесь речь.

Будь это единственное в своем роде происшествие, я не стал бы утомлять читателя своим рассказом. Просвещенному современнику, читающему журналы «Шпигель» и «Штерн», да и вообще потребителю наших средств массовой информации слишком хорошо известно, что в «серой зоне» действия секретных служб и правоохранительных органов то и дело выявляются факты злоупотребления властью и иные неприятные инциденты. Когда такие дела выплывают на свет божий, как это было в случае с Клаусом Траубе[1], то поначалу в обществе прокатывается ропот недовольства, но... вскоре все успокаивается; и каждый раз у людей складывается впечатление — зачастую они не признаются в этом даже себе, не то что другим,— что, очевидно, нет дыма без огня: ведь не будет же, в конце концов, демокра-

[1] Западногерманский физик-атомщик, которого бездоказательно обвинили в «связях с террористами» и бросили за решетку; впоследствии был оправдан и освобожден. *(Здесь и далее прим. перев.)*

тическое государство беспокоить своих граждан безо всякого на то основания. Вот и к моему имени кое-что прилипло, поскольку в течение многих лет по пятам за мной следуют сотрудники ведомства по охране конституции, прокуроры, политическая полиция, господа из федеральной разведывательной службы (БНД), их шпики и осведомители. Я всегда твердо знал, что кто-то из них следит за мной; не исключено, что впоследствии мне будет этого и не хватать.

Возможно, кое-кто теперь, как бывало уже не раз, заявит не без ехидства: поделом этому Вальрафу! Он же сам действует из подполья, сам выступает в роли провокатора.

Я не собираюсь давать здесь отчет о методах своей работы, но хотел бы отметить следующее: если бы мы жили в открытом, свободном и демократическом обществе — в чем нас постоянно уверяют,— то порядков, вскрытых мною и другими, не было бы вовсе или же их быстро признавали бы и устраняли, причем, быть может, как раз те, кто сегодня изо всех сил старается помешать такому ходу дел.

Мои методы расследования и мои намерения в корне отличаются от ремесла шпиков и доносчиков, которых нанимает и которым платит государство, как, впрочем, и частные лица. Мною всегда руководит желание выявить неполадки в нашем обществе и помочь их устранению. Я не могу мириться с тем, что отдельные лица и целые учреждения используют свою экономическую и политическую власть для угнетения других людей; ведь там, где это происходит, нет места «свободному и демократическому правопорядку», провозглашенному в нашей конституции.

У ее официальных защитников, как правило, совсем иной взгляд на эти вещи. Они прилагают все усилия для того, чтобы в нашем государстве ни малейшим образом не были затронуты интересы привилегированных. Тщетно ожидать от БНД и государственных правозащитных служб расследования дел об отравлении Рейна химическими монополиями; не беспокоят их и преступные, нередко перехлестывающие через национальную границу махинации бизнесменов, сдающих «напрокат» иностранную рабочую силу. Когда военные концерны нелегально поставляют диктаторским режимам или в так называемые кризисные регионы вооружения или документацию для строительства подводных лодок, разведывательные службы чаще всего этому содействуют. И потому я, естественно, непрестанно задаю себе вопрос: чье государство, собственно говоря, защищают охранители нашего государства?

В отличие от наших «органов» я никогда не вторгаюсь в частную жизнь тех или иных лиц. Это для меня запретная область. Ни в одной из моих публикаций не найти подробностей о личной жизни Герлинга, Шпрингера или Фогеля (Адлера)[2], хотя я — невольно — обнаружил здесь кое-что, небезупречное и с юридической точки зрения. Но я не написал о том ни строки.

На этих страницах читатель услышит голоса самих охранителей нашего государства — самых разных рангов. И если у читателя создастся впечатление, что реальность намного превосходит фантазию автора, то это вовсе не моя заслуга. Подлинные герои моего повествования — прокуроры, полицейские комиссары и их осведомители.

Я воспользуюсь возможностью привести строки из их тайных досье в качестве «обнаруженного автором литературного источника», а также позволю себе, как непосредственно причастному лицу, сопроводить их несколькими необходимыми замечаниями и дополнениями, что поможет моей книге достичь цели. А цель эта — бросить взгляд за кулисы наших зловещих служб и помочь читателю составить представление об их деятельности.

«Государственный изменник»?..

Если не принимать в расчет, что мое знакомство с МАД[3] состоялось еще во время службы в бундесвере (причиной явился мой отказ брать в руки оружие), то следует начать с 1970 года, когда я узнал, что привлек к себе внимание охранителей нашего государства. В ту пору ведомство по охране конституции передало сведения обо мне руководству фирмы «Мелитта-Бенц» — в результате я был вынужден прервать работу над репортажем о фабрике по производству фильтров для кофеварок.

Следующий инцидент произошел в 1974 году. Впрочем, узнал я о нем лишь в конце июня 1979 года, более пяти лет спустя, когда министр внутренних дел уведомил меня, что я «подозревался в государственной измене» и с 22 марта по 24 мая 1974 года мой телефон прослушивался, а все разговоры по нему записывались на пленку. Никакие юридические отговорки не могли скрыть истинных намерений организаторов этой акции: меня хотели загнать в угол, обвинив в терроризме. В подобных случаях у нас разрешено уже почти все — и даже так называемые либеральные средства массовой информации быстро уходят в кусты. По настоянию моего адвоката министерство внутренних дел сообщило мне подробности: вопрос о прослушивании телефона был поднят, поскольку 11 января 1974 года я якобы встречался с Маргрит Шиллер, в то время — членом РАФ[4]. Мой календарь де-

---

[2] Ханс Герлинг — председатель правления крупной страховой фирмы в Кёльне, о которой идет речь в книгах Г. Вальрафа.

Аксель Шпрингер (1912—1985) — крупнейший газетно-журнальный издатель ФРГ; разоблачению нравов, царивших в его «империи», посвящен ряд книг Г. Вальрафа.

Ханс Фогель — реальное лицо, выведенное в книге «На самом дне» под фамилией Адлер (игра слов: «фогель» — птица, «адлер» — орел).

[3] Военная контрразведка ФРГ.

ловых встреч, да и сама Маргрит Шиллер свидетельствовали о другом. Так, г-жа Шиллер вспоминала:

«Впервые я увиделась с Г. Вальрафом 8 августа 1979 года, когда он посетил меня во Франкфурте[5], чтобы проинформировать об упомянутых ухищрениях ведомства по охране конституции...»

О том, почему и как я попал к Маргрит Шиллер, стоит рассказать чуть подробнее. Один из руководящих сотрудников некоего боннского журнала пригласил меня в гости. Позже я узнал, что накануне он встречался с тогдашним начальником ведомства по охране конституции Майером и подвергся соответствующей обработке.

Итак, в назначенный вечер я появился в доме у этого журналиста; мы обменялись приветствиями, были поданы спиртные напитки. Вообще-то я хорошо переношу алкоголь, но тем вечером уже первый глоток буквально свалил меня с ног, я даже выронил бокал. Я чувствовал себя совершенно разбитым. А затем последовал самый настоящий допрос. Вопросы сыпались градом, ясно было, что хозяин дома хочет меня в чем-то уличить.

Кончилось тем — а был уже довольно поздний час,— что он уговорил меня повидаться с Маргрит Шиллер. Он позвонил ее адвокату, и тот устроил эту встречу. И вот уже я в его «порше», который со скоростью 200 километров в час мчится по направлению к Франкфурту. Там-то и состоялась эта своеобразная очная ставка, причем, должен сознаться, я вздохнул с облегчением, когда понял, что эту женщину — при ее росте метр девяносто ошибиться невозможно — я никогда раньше не встречал. Да и журналист, присутствовавший при встрече, вынужден был констатировать, что мы увидели друг друга впервые.

Однако боннский журнал не преминул в своем гвоздевом материале, озаглавленном «У разведслужбы хорошая память», ознакомить читающую публику — практически без комментариев — со всеми фальшивками ведомства по охране конституции. Тогдашний глава ведомства Майер бойко изложил все свои необоснованные подозрения на мой счет. Мои же опровержения, хотя и были вынесены на обсуждение, по-настоящему не прозвучали. Статья была нашпигована явными и скрытыми обвинениями по моему адресу, от моих заявлений автор отмахивался, не пытаясь даже маломальски обосновать свои выпады и язвительный тон.

«На шефа ведомства Майера не производят особого впечатления попытки писателя и бывшей пособницы террористов снять с себя все обвинения (не правда ли, превосходная формулировка? — Г. В.). По мнению Майера, досье ведомства ясно свидетельствует о вполне оправданном недоверии к утверждениям Вальрафа, будто бы он никогда не имел контактов с террористами».

Даже непредубежденному читателю, проинформированному подобным образом, не оставалось ничего иного, кроме вывода: видимо, нет дыма без огня. Журнал и федеральное ведомство в очередной раз преуспели в совместной дезинформации общественности.

О своеобразном переплетении судеб журналистики и секретных служб я лично узнал уже много лет назад. Сегодня известно не только то, что разведслужбы используют журналистов — вопреки их желанию — в своих целях, но и что очень многие сотрудники прессы, в том числе ведущие, непосредственно работают на БНД и ведомство по охране конституции. Манфред Биссингер в своей книге «Зловещие услуги. Как секретные службы злоупотребляют средствами массовой информации» (соавторы — Филип Эйджи, Стефан Ауст, Эккарт Шпоо, Эккехардт Юргенс; изд-во «Штайдльферлаг», 1987 год) рассказывает о том, как бывший руководитель ведомства федерального канцлера Хорст Эмке в начале правления социал-либеральной коалиции попытался разобраться, что же происходит в джунглях тайных служб. Однако подготовленный для него список журналистов, постоянно или временно сотрудничавших с разведкой, так никогда и не был опубликован. Как пишет Биссингер, «в списке аккуратно, по алфавиту перечислены практически все те, кто имеет имя и вес в буржуазной журналистике» (говорят, там около тысячи имен).

В связи с другими расследованиями мы с моим другом, фотографом Гюнтером Цинтом, натолкнулись на некую «боевую группу по борьбе с бесчеловечностью». Это были немецкие обыватели, которые по поручению ЦРУ занимались подрывной деятельностью против ГДР в качестве диверсантов и профессиональных провокаторов. Впоследствии они насмерть между собой переругались, запутались в собственных мошенничествах, в группе воцарилось всеобщее недоверие. Обмениваясь письмами, они вскрывали конверты, обернув их в целлофан — опасались ядовитых веществ, воздействующих на кожу и глаза. Один из этих типов, вконец обезумев, разослал отравленные подобным образом письма Герберту Венеру[6], Вилли Брандту и другим политическим деятелям. Адресаты, правда, не пострадали, но на зрении секретарши одного из них это сказалось. Пресса шумно обсуждала происшествие.

Нам удалось заполучить дневники этой группы и прочие документы. Когда мы предоставили их журналу «Шпигель» для публикации, редактор, который ознакомился с материалами, проявил к ним огромный интерес. Но перед самой публикацией «герои» этой истории подали в суд, заявив, что докумен-

---

[4] «Роте Армее фракцион» — левацкая террористическая группировка, возникшая в ФРГ в начале 70-х годов.

[5] Здесь и далее имеется в виду Франкфурт-на-Майне.

[6] Герберт Венер (род. в 1906 г.) — видный политический деятель ФРГ, с 1969 по 1981 год возглавлял фракцию СДПГ в бундестаге.

ты носят личный характер, что получены они незаконным путем и потому не могут быть обнародованы. В качестве главного свидетеля выступал, обнаружив тем самым принадлежность к определенной организации, один журналист из «Шпигеля»; его дядя, как мы позднее узнали, был руководящим сотрудником федеральной разведывательной службы.

При этом я не утверждаю, что «Шпигель» или другие наши издания все без исключения занимаются агентурной деятельностью по поручению государственной охранки. Но одно знаю наверняка: между журналистикой и «органами» существуют самые разнообразные взаимосвязи, от которых зависят и оклады, и выгодные командировки, и интересные встречи, и важная информация.

После того как выяснилось, что в 1974 году и речи не могло быть о моей, так сказать, причастности к террористической деятельности, нетрудно было прийти к заключению, что у наших служб, очевидно, на уме совсем другое. Случаю было угодно, чтобы мой телефон стали прослушивать, когда я вместе с друзьями готовился к «греческой акции». Несмотря на некоторый опыт, я все еще был наивен — многие из деловых разговоров велись по моему телефону. К примеру, я звонил в один оружейный магазин и спрашивал, нельзя ли у них купить наручники; позже — 10 мая 1974 года — я приковал ими себя к фонарному столбу на площади Синтагма в Афинах. Логично предположить, что охранители нашего государства крайне заинтересовались, какая же это акция планируется на территории ФРГ для проведения ее в фашистской Греции. Весьма возможно, что уже тогда были установлены контакты между соответствующими государственными учреждениями обеих стран.

На допросе в Греции сотрудник тайной полиции показал мне визитную карточку некоего «Ханса Шнайдера», чиновника федерального ведомства по уголовным делам ФРГ; он назвал его своим хорошим другом и сказал, что ему достаточно лишь позвонить этому человеку, дабы выяснить, лгу я или нет.

Удивительно, что телефон мой продолжали прослушивать, даже когда я сидел в греческой тюрьме. Как раз в то время домой мне звонило немало людей из ФРГ и из-за рубежа, выражая свою солидарность со мной. Трудно представить себе более простой способ составления поименного списка активистов антифашистского движения в Европе.

И хотя власти ФРГ до сих пор отрицают, что интересовались запланированной мною антифашистской акцией в Греции, бесспорно, в период военной диктатуры в Афинах отношения между обоими натовскими государствами — Грецией и ФРГ — развивались самым интенсивным и успешным образом.

23 мая 1974 года афинский военный суд рассмотрел мое дело. Приговор гласил: тюремное заключение сроком 14 месяцев. А 24 мая 1974 года, согласно справке министра внутренних дел ФРГ от 28 июня 1979 года, прослушивание моего телефона было официально прекращено. Очевидно, сочли, что я под надежной охраной.

Добавлю: пока я сидел в греческой тюрьме, президент ФРГ Густав Хайнеман позвонил моей жене и сказал, что предпримет все возможное для моего освобождения и что она в любое время может обратиться к нему. А когда мы позже встретились с Хайнеманом, он сообщил мне, что располагает доказательствами того, что и его домашний телефон в Эссене прослушивался...

Клика охранителей государства

Спустя год после прослушивания моего телефона в связи с «греческой акцией» кёльнские власти тоже решили не оставаться в стороне. Впоследствии я ознакомился с донесениями осведомителя, а также с досье прокуратуры, что позволило мне наглядно и подробно запечатлеть для потомков весь ход событий.

«Кёльн, 3.12.1976.

Генеральный прокурор Вернер Пфромм возбудил против кёльнского обер-прокурора д-ра Гюнтера Бэра, а также начальника политического отдела прокуратуры д-ра Йозефа Беллингхаузена и прокурора Вильгельма Курта уголовное дело по обвинению в подделке документов, связанных с расследованием дела Вальрафа. Д-р Беллингхаузен (по его собственным словам, «правоверный демократ консервативного толка») переведен в отдел по проблемам молодежи. Дело писателя Гюнтера Вальрафа, «подозреваемого в поддержке преступного сообщества», прекращено из-за отсутствия доказательств» (агентство ДПА).

С того времени, когда в прокуратуре произошла утечка информации и в мои руки попали некоторые документы, я понял, сколь расточительно, мотовски тратились здесь деньги налогоплательщиков. Если бы меня хоть раз вызвали на допрос, я бы мог опровергнуть высосанные из пальца подозрения и содействовать прекращению расследования, а беднягам ищейкам из ведомства по охране конституции не пришлось бы торчать в дождь и снег у моей входной двери, наживая себе насморки и гриппы.

Если приравнять тогдашнюю почасовую оплату одного шпика к заработку неквалифицированного подсобного рабочего (около 7 марок), то в общей сложности было растранжирено примерно 80 тысяч марок, не говоря уже о куда более дорогостоящем содержании специалистов по прослушиванию, которые денно и нощно следили за всеми моими разговорами по двум домашним телефонным номерам и записывали беседы на магнитофоне, а частично и на бумаге. В ту пору я нередко часами разговаривал по телефону — нужно было внести ясность в запутанные личные дела. Одно

лишь техническое обеспечение прослушивания и почасовая оплата занятых им лиц обошлись, наверное, в 40, а то и в 60 тысяч марок. Жалованье полицейских комиссаров и работников прокуратуры я не принимаю в расчет, поскольку эта их работа оказалась чем-то вроде профилактики: не занимайся они моей персоной, они могли бы нанести несравнимо больший ущерб и вред гражданам, пользующимся меньшей известностью.

Серьезную и все возрастающую опасность я вижу в том, что ведомство по охране конституции, политическая полиция, федеральное ведомство по уголовным делам, федеральная разведывательная служба и военная контрразведка под предлогом борьбы против террористов получают мощное подкрепление в виде нового персонала, технических и бюджетных средств; одновременно все более расширяется сфера полномочий генерального прокурора ФРГ.

Функционирование столь раздутого бюрократического аппарата предполагает, что он постоянно должен быть «в форме», что его сотрудники должны продвигаться по служебной лестнице, что непременно должны быть доказательства деятельности аппарата, и притом — успешной. А коль скоро потенциальных преступников не находится, их создают. Примерно так, как в земле Нижняя Саксония, где в городе Целле ведомство по охране конституции организовало взрыв, в результате которого была пробита тюремная стена.

Так уж повелось, что этот аппарат, как никакой другой в нашем государстве, заполнен людьми консервативного, реакционного образа мыслей, старыми и новыми нацистами, а также теми, кого судьба настолько изломала, что они не могут найти себя в какой-либо обычной профессии или же чувствуют неодолимое стремление к примитивной игре в ковбоев и индейцев. Врагов они издавна привыкли выискивать там, где наблюдаются хоть сколько-нибудь слабые и робкие попытки всколыхнуть общество, изменить сложившийся статус-кво, причем врагами оказываются даже «Молодые социалисты»[7], активисты профсоюзов и левые католики. Они оценивают человека с помощью штампов, которые накрепко засели в их головах и постоянно «наводят на подозрения». Тот, кто не состоит ни в какой политической партии, кто, по всей видимости, выступает за социальные перемены по своей инициативе и ни от кого не получает денег, представляется им особенно подозрительным: в их глазах он — маскирующийся шпион. Что касается меня, то многочисленные контакты с разными людьми — а этого требует моя работа — явно рассматривались ими как ловкое прикрытие, необходимое «коммунисту-подпольщику» и «другу террористов» для его каждодневной «подрывной деятельности».

3 июня 1975 года полицей-президент Кёльна дал ход расследованию в отношении меня — по иску профессионального сыщика Байземана, сотрудника политической полиции, особо усердствующего в проведении домашних обысков в Кёльне и его пригородах. На бланке судебного иска, в графе «потерпевшая сторона», было написано просто и скромно: «общественность». Основание для иска:

«Подозреваемый в совершении преступления Вальраф широко известен, в частности, своими многочисленными нелегальными акциями. Их перечисление здесь было бы неуместным, однако при необходимости это можно восполнить. Основанием же для возникшего у меня подозрения считаю следующее.

Вальраф поддерживает особые связи со Швецией, где, как уже говорилось, после похищения Лоренца[8] должны находиться многие члены банды Баадера — Майнхоф[9], в том числе и похитители Лоренца. Связь со Швецией впервые обратила на себя внимание при следующих обстоятельствах. Во время взрыва в здании федерального союза немецких промышленников была повреждена типография, в которой незадолго до того была напечатана брошюра-предупреждение «Литература как оружие в классовой борьбе — на примере Гюнтера Вальрафа». Поскольку нельзя исключить того, что именно по причине этой публикации типография и стала истинной целью акта, расследование пошло в указанном направлении. При этом возле дома Вальрафа была замечена автомашина шведской журналистки Л., которая однажды уже подвергалась проверке сотрудниками земельного или федерального ведомства по уголовным делам в связи с расследованием деятельности банды Баадера — Майнхоф. В силу того, что расследование в отношении этой журналистки не принесло положительных результатов, ее документы на сей раз не проверялись. Ее автомобиль стоял прямо перед домом Вальрафа...»

Журналистка Л. работала редактором шведской программы на радиостанции «Дойчландфунк»[10]. Будучи корреспондентом ряда социал-демократических газет, она поддерживала деловые контакты с известными политическими деятелями — например, с тогдашним федеральным канцлером Вилли Брандтом и министром юстиции Хансом-Йохеном Фогелем. Она не раз участвовала в те-

---

[7] Молодежная организация СДПГ.

[8] Петер Лоренц — председатель западноберлинского ХДС. Был похищен леваками-террористами в феврале 1975 года, спустя некоторое время был освобожден.

[9] Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф — лидеры левацкого террористического движения в ФРГ в 70-е годы; при не выясненных до конца обстоятельствах покончили жизнь самоубийством (У. Майнхоф — в 1976 году, А. Баадер — в 1977).

[10] «Дойчландфунк» («Немецкое радио») — орган официальной радиопропаганды ФРГ на зарубежные страны (в основном европейские); находится в Кёльне.

лепередаче Хёфера «Фрюшоппен»[11]. Официально прописана в своей кёльнской квартире.

«Дальнейшие указания на связь со Швецией содержались в газетных публикациях, посвященных книге Вальрафа «Вы там — наверху, мы здесь — внизу». В них говорилось, что Вальраф, действуя под чужим именем в качестве рассыльного дирекции, без какого-либо официального разрешения провел в выходной день группу работников шведского телевидения в здание главного управления фирмы Герлинга для съемки фильма... 21 апреля 1975 года, как мною установлено, напротив дома № 20 по Тебэерштрассе стояла автомашина (серебристого цвета «рено» последней модели) с номером «ХКР 090» и шведским опознавательным знаком. По дальнейшим сведениям, 2 мая 1975 года, примерно в 21.40, обладатель взятой напрокат в мюнхенском филиале фирмы «Еврокар» (Мюнхен, 46, Франкфуртер-Ринг, 243) автомашины под номером «М-СА 2461» (заказана стокгольмским филиалом «Еврокара», взята в пользование 28 апреля 1975 года шведским гражданином Окмаром Гуннаром — родился 16 августа 1947 года, место рождения и местожительство неизвестны) посетил квартиру в доме № 20 по Тебэерштрассе».

«Окмар Гуннар» — это мой шведский друг Ларс-Гуннар Окней из Стокгольма. Он работает там режиссером на телевидении и, время от времени приезжая по делам в ФРГ, навещает меня. На этот раз он сначала побывал у моего коллеги Бернта Энгельмана, который живет недалеко от Мюнхена. Быть может, это секретное донесение было получено через БНД и Францем-Йозефом Штраусом; как известно, во время предвыборной кампании он обозвал Энгельмана и меня «коммунистами-подпольщиками».

Еще один подозрительный момент:

«Тайный номер телефона Вальрафа — 51-05-84 — был обнаружен на листке из блокнота, принадлежащего Ральфу Орану. На том же листке были записаны имена находившихся в заключении членов банды Баадера — Майнхоф и номера телефонов защищавших их левых адвокатов. Оран является руководителем одной из «организаций по оказанию помощи в тюрьмах», которые стремятся оказать содействие политическим преступникам на всей территории ФРГ».

Никакого Ральфа Орана я не знаю, а что касается моего тогдашнего «тайного» телефонного номера, то он был известен очень многим.

«Далее, приблизительно 20 мая 1975 года, была получена доверительная информация о том, что уже около 14 дней на квартире у Вальрафа как будто бы находятся два неизвестных лица — мужчина и женщина. Женщине около 30 лет, и она курит сигары, что указывает на ее скандинавское происхождение...» «О достоверности факта связи с РАФ свидетельствует то, что в свое время возле дома № 20 по Тебэерштрассе была задержана долго разыскивавшаяся Марианна Херцог, входившая в банду Баадера — Майнхоф; ее взяли при выходе из этого дома, и вряд ли здесь можно предположить нечто иное, кроме того, что она побывала на квартире у Вальрафа».

«В свое время» — означает 1971 год. Марианну Херцог арестовали не на моей улице, а на соседней, а меня самого тогда не было дома.

Еще до этого иска, а именно 21 мая 1975 года, полицей-президент Кёльна направил ходатайство о содействии в адрес федеральной разведывательной службы в Пуллахе[12]. Укомплектованная вассалами Штрауса секретная служба отбарабанила 30 мая в кёльнский полицей-президиум то, что он и хотел:

«Политической полиции в Кёльне, для сведения 14-го комиссариата. Касательно анархизма с применением насилия.

Ханс-Гюнтер Вальраф, родившийся 1.10.1942 в Буршайде, известен здесь как журналист и писатель левой ориентации. Согласно неподтвержденной информации от 1969 года, В., по-видимому, поддерживает контакты с испанскими террористами, входящими в анархистские и троцкистские группировки. Есть предположение, что он снабжает их оружием и взрывчаткой...»

4 июня 1975 года кёльнская прокуратура превратила «неподтвержденную информацию» в «сведения». В суд первой инстанции в Кёльне было направлено заявление о «необходимости начать наблюдение, а также круглосуточную запись на магнитофон всех телефонных разговоров, ведущихся по номеру 51-05-84 обвиняемым Гюнтером Вальрафом; срок действия этих мер — три месяца. Существует обоснованное подозрение, что обвиняемый Вальраф поддерживает группировки, преследующие преступные цели... Что касается фактов, на которых основывается это подозрение, то имеется в виду содержащаяся в иске от 3 июня 1975 года информация, и п р е ж д е в с е г о — переданные БНД из Мюнхена с в е д е н и я относительно обвиняемого Вальрафа» (разрядка моя.— Г. В.).

В тот же день суд первой инстанции в Кёльне, не изменив ни строки в этом заявлении, принял его к расследованию.

Я предъявил тогда иск к БНД, а на кёльнскую прокуратуру подал жалобу — в порядке судебного надзора, ибо я в жизни никого не снабжал оружием или взрывчаткой, да и в будущем не собираюсь этого делать. Тут не могло быть и речи об ошибке, возникшей в результате неправильной передачи сообщения или же его неверной интерпретации, поскольку — признаюсь, к своему стыду,— даже «духовное оружие» я до сих

[11] «Фрюшоппен» (точнее — «Интернационалер фрюшоппен») — еженедельная воскресная теледискуссия западногерманских и иностранных журналистов по актуальным международным событиям; уже более 30 лет передачу неизменно ведет один из самых известных публицистов ФРГ— Вернер Хёфер.

[12] Пригород Мюнхена, где расположена штаб-квартира БНД.

пор никогда еще не ввозил в Испанию и не вывозил оттуда. У меня не было никаких контактов с испанскими группировками, и вообще я в этой стране был только проездом в Португалию.

Целенаправленный запуск подобных фальшивок БНД оказался для меня небезопасным. В пору моей трехмесячной работы в одном португальском кооперативе специальный уполномоченный БНД в посольстве ФРГ в Лиссабоне, некий Обераккер, который постоянно поддерживал связь со Спинолой и его путчистами, подбросил португальским властям сообщение, будто, находясь у них в стране, я поддерживаю связи с нелегальными группировками.

Эти сознательно распространявшиеся фальшивки стали причиной того, что на пресс-конференции в Лиссабоне в ноябре 1976 года, где состоялось представление португальского издания моей книги «Португалия: как был раскрыт заговор», с целью арестовать меня появились сразу 16 сотрудников службы безопасности. Они задержали одного похожего на меня португальца. Я же, предупрежденный заранее, остался в Кёльне.

Целых полтора года по распоряжению обер-прокурора Беллингхаузена ищейки вынюхивали мои политические связи и копались в моих личных делах. Днем и ночью дома у меня раздавались телефонные звонки; всякий раз, когда я снимал трубку, на другом конце провода ее клали. А в досье появлялась очередная запись о моем местопребывании:

«В настоящее время В. находится в Кёльне. Расследование продолжается».

Как-то техника сыграла с обер-прокурором злую шутку, вернее, не только техника, но и оскорбленная честь одного из соглядатаев, состоявших у него на службе. Однажды, при техническом сбое, я, словно эхо, вновь услышал последнюю фразу из своего только что закончившегося телефонного разговора. Я тут же обругал подслушивавшего «старым нацистом», а он не сдержался и недовольно проквакал в трубку: «Что вы себе позволяете?..»

При длительной слежке они то и дело отключали мой телефон — от 30 минут до нескольких часов. Телефонный аппарат был мертв; тот же, кто хотел до меня дозвониться, слышал лишь короткие гудки — «занято». По моей просьбе бюро ремонта прислало своего техника, однако он ничего не обнаружил. Видимо, сыщики, когда у них выходила из строя звукозаписывающая аппаратура или ощущалась нехватка персонала, блокировали телефон, чтобы не пропустить ни одного из моих разговоров. Время от времени они даже проказничали, названивая по телефону за мой счет; иначе как объяснить тот факт, что в период, когда дома у меня никто не снимал с аппарата трубку, на счетчике таинственным образом — и довольно часто — выскакивали все новые и новые цифры...

Двух моих родственников, живущих в соседнем доме,— родного дядю и двоюродного брата — привлекли к сотрудничеству в качестве шпиков и доносчиков. Оба после этого бегали по соседям и рассказывали, что меня то и дело посещают террористы, а моя квартира превращена в оружейный склад. Брат купил себе для защиты пистолет, правда, применил его, угрожая иностранцу-рабочему, забравшемуся к нему в сад, чтобы достать мячик своего сына. Потом брат вступил в ХДС и подписался на «Байернкурир»[13]. Как-то раз меня навестили друзья из Карлсруэ и привезли в подарок старинный резной непальский ларец — брат тут же сообщил в политическую полицию, что в дом Вальрафа опять доставлено оружие. Вскоре примчался полицейский фургон, моих друзей, сидевших в ресторане, вывели с поднятыми руками на улицу, потребовали у них документы и обыскали автомобиль.

Когда мне этот террор осточертел, я предъявил к родственникам иск по обвинению в клевете, и дело дошло до судебного разбирательства. Родичи вынуждены были отказаться от своих прежних заявлений, однако в дальнейшем продолжали утверждать то же самое. Такой «прожженный террорист», как я, говорили они, их не проведет, им все доподлинно известно, потому что они могут прямо звонить в органы безопасности, а уж там-то все это подтверждено документально.

(Должен здесь заметить, что мои пацифистские убеждения, которые послужили основанием для отказа от военной службы, по-прежнему ничем не поколеблены; напомню, что, будучи уже призванным в бундесвер, я отказался взять в руки оружие. И вообще я никогда не владел никаким оружием. Даже в ту пору, когда я вошел в контакт с правыми террористами на севере Португалии, дабы разоблачить их путчистские планы, я не имел при себе какого-либо оружия.)

А Байземан, чувствуя поддержку начальника политического отдела кёльнской прокуратуры д-ра Беллингхаузена, подогревая себя общей истерией вокруг Баадера и Майнхоф, продолжал словно одержимый вести расследование. И каждый, кто хоть раз приходил ко мне на квартиру или кого в вечернее время я сам посещал на дому, начинал фигурировать в документах расследования, подозреваться в качестве возможного заговорщика и террориста.

«Есть сведения, что квартиру в доме № 20 по Тебэрштрассе часто посещает обладательница автомобиля с номером «БН-КЮ 156»; по описаниям, ей около 20 лет, она брюнетка, и вроде бы ее зовут Ютта. Владелец автомобиля — оберрегирунгсрат д-р Ц., проживающий в Бонне (Бад-Годесберг). Он женат, но живет отдельно от жены. 14-й комиссариат боннской полиции сообщил, что он не располагает какими-либо компрометирующими сведениями о супругах Ц., а о некоей «Ютте» ничего не известно».

Дилетантская, глупая слежка. «Ютта», которой «около 20 лет»,— моя

[13] Мюнхенский еженедельник, официоз штраусовской партии ХСС.

давнишняя (ей за 30) знакомая А., активный член СДПГ, служит в одном правительственном учреждении. Было время, когда мы не виделись, но часами вели телефонные разговоры — и все они были записаны. А еще «Юттой» оказалась моя 22-летняя секретарша; ее мужа Пола занесли в мое досье в качестве «секретаря», поскольку посчитали его биографические данные («Пол Вудс, род. в Амстердаме, британский подданный») весьма многообещающими для этого дела.

Позже Байземан, очевидно, осознал эту ошибку, так как, по всей вероятности, он сам или его контора приставили к г-же А. одного из ведущих провокаторов — Рольфа Мауэра; как известно, Мауэр наряду с Руландом был главным шпиком и свидетелем обвинения на процессах времен Баадера и Майнхоф. В молодости его приговорили за убийство к многолетнему тюремному заключению, но досрочно освободили и внедрили в группу Баадера — Майнхоф в качестве провокатора. Из-за него франкфуртская специалистка в области политологии и социологии Бригитта Хайнрих безвинно отсидела пять месяцев в изоляторе: он приписал ей преступления, которых она никогда не совершала. В том же Франкфурте многие женщины — активистки организации «Красная помощь» — попали на несколько недель под арест из-за того, что также были оклеветаны Мауэром; примечательно, что все они незадолго до ареста отвергли его домогательства.

Я столкнулся с Мауэром, когда однажды он под каким-то предлогом явился на квартиру к г-же А. и, взывая к ее состраданию, попытался задержаться в ее доме. Он был весьма натаскан, ибо обнаружил детальное знакомство с моей биографией и тут же расставил свои вопросы-ловушки. Он попытался поймать меня на крючок, предложив опубликовать нечто вроде своей жизненной исповеди. Я отказался. Он уже тогда жил за счет боннского отдела обеспечения безопасности в маленьком отеле Бад-Годесберга. Через день представитель отдела вручал Мауэру деньги на карманные расходы, то есть его жалованье, за которое тот, случалось, целыми днями должен был просиживать в оборудованном для этой цели грузовом автомобиле перед дверью какого-нибудь дома, чтобы опознавать всех входящих и выходящих. Он мне откровенно признался: «По профессии я — свидетель обвинения. Я говорю все, что от меня хотят услышать, так для меня спокойнее». Только в деле Марргрит Шиллер, по его признанию, он испытывал угрызения совести за показания, отягчающие ее вину; он жил с этой женщиной и любит ее по сей день.

Несколько месяцев спустя наниматели Мауэра дали ему возможность «официально» уйти из жизни — видимо, с целью избежать повторения случая с Руландом, чьи сфальсифицированные показания суд признал не заслуживающими доверия. В прессе появились сообщения, что в Баварии видели молодого человека, лежавшего в наручниках и кандалах на заднем сиденье автомашины; высшие чины ведомства по охране конституции проинформировали общественность, что, по всей вероятности, «похищенным» был Мауэр и что его ликвидировала РАФ.

У меня же есть доказательства, что в ту пору Мауэр был по-прежнему на службе у госбезопасности и что еще в конце 1976 года он появлялся у голландского адвоката Питера Баккера Схута, который в свое время защищал осужденного за членство в РАФ и сидевшего в ганноверской тюрьме подданного Нидерландов Роланда Аугустина.

«23 июня 1975 года. В ходе расследования получено доверительное сообщение, что Вальраф, в частности, контактирует с одной дамой, которая предположительно проживает в доме № 6 по улице Унтер-Ташенмахер в Кёльне. Более точных данных об этом лице установить не удалось. У входа, на табличке с кнопками звонков, указана фамилия Р., а рядом — мелко — фамилия К., причем и Р. и К. в доме не прописаны. Официальным путем установлено, что в указанном доме на имя некоего д-ра К. зарегистрирован номер телефона».

Байземан продолжал раскапывать, кто же этот К., а К., оказывается, уже два года назад как умер.

Позже я узнал, что мои посещения этого дома обернулись для студента-африканца Р., с которым мы до того абсолютно не были знакомы, постоянной слежкой, продолжавшейся и после прекращения расследований в отношении меня и наказания начальника политического отдела прокуратуры. Когда рано утром, часа в четыре, этот африканец шел в пекарню, где он подрабатывал, за ним часто следовали агенты в штатском. А в обед, когда с пакетом свежих булочек он возвращался домой, его документы неоднократно проверял полицейский патруль.

«24.6.1975. С помощью доверительной информации выявили новое лицо, контактирующее с Вальрафом; на всякий случай взята на заметку: Дагмар Ф., род. 7.5.1949 в Кёльне, прож. 5 Кёльн 1, Седанштрассе, 2, тел. 72-97-07. Г-жа Ф. 19.3.1974 переселилась с Блюменталь-штрассе, 56 на Седанштрассе, 2. Пока никаких сведений. Характер отношений с Вальрафом не ясен».

Один из десятков случаев произвола в ходе установленной за мной слежки. Дагмар Ф. принадлежала к числу моих информаторов. В моей квартире она пробыла всего полчаса, причем раньше я ее никогда не видел, и впоследствии мы больше не встречались. Насколько я припоминаю, она была студенткой педагогического института. Остается лишь надеяться, что в качестве «лица, контактирующего с Вальрафом», она не подпала под «постановление о радикальных элементах» и не лишилась права стать государственным чиновником[14].

---

[14] Пресловутые «запреты на профессии», основанные на этом постановлении, распространяются на государственных чиновников (ими в ФРГ являются учителя, врачи, почтовики, железнодорожники и др.).

«22.8.1975. Согласно поступившей доверительной информации, Вальраф в период с 20.7.75 по 20.8.75 был в отъезде (местопребывание неизвестно). В его бюро. расположенном по тому же адресу, находилась некая дама, которой принадлежит зеленый «ситроен» («утенок»). Номер машины не сообщили».

Я с семьей проводил отпуск в Португалии. Какая небрежность!— будь я и в самом деле террористом, каковым меня в общем-то считают, сколькими не поддающимися слежке «терактами» мог бы я руководить из Португалии, где тогда была в разгаре революция!

18 ноября 1975 года Байземан записывал

«Согласно доверительному сообщению, с 12—13 ноября 1975 года Вальраф не был в своей квартире; можно предположить, что он в отъезде».

21 ноября 1975 года:

«Вальрафа опять видели несколько раз, из чего следует предположить, что в настоящее время он не в отъезде».

10 декабря 1975 года:

«Новых сведений о Г. Вальрафе не поступило. Расследование продолжается».

Примечательна еще одна запись от 18 ноября 1975 года:

«Доверительно было сообщено, что 8.10.75. после 23 часов, в доме Вальрафа побывал полицейский наряд, патрулировавший на радиофицированной машине. Один из патрульных полицейских в ответ на телефонный запрос сообщил сегодня следующее. В полицию с просьбой о помощи обратился дядя Вальрафа — проживающий в соседнем доме г-н П., который с племянником в ссоре. Г-н П. заявил, что кто-то забрался на крышу дома Вальрафа. Полицейские установили, что на крыше был сам Вальраф; он сообщил им, что вместе с одной дамой, чье имя полиция не записала, он из находящейся на третьем этаже дома своей квартиры вылез на крышу, чтобы полюбоваться вечерним небом. Дама уселась на водосточный желоб. А у него самого было желание побегать по крыше. Полицейский сообщил в заключение, что принятие каких-либо мер здесь оказалось излишним».

В действительности же произошло следующее. Мой котенок удрал через слуховое окно на крышу, забрался на трубу и сидел там, жалобно мяукая. Я полез его спасать. В этот момент мимо проезжала патрульная машина; я понял, что оба молодых полицейских взволнованы и обеспокоены зрелищем человека на крыше — каждый держал руку на кобуре пистолета; тогда я пригласил их зайти ко мне домой, чтобы рассеять их подозрения. Вопреки распространенным в те годы взглядам идеологов РАФ, я видел в полицейских не врагов, а сограждан, которые в нервных, конфликтных ситуациях зачастую просто из страха реагировали неадекватно обстоятельствам. Я рассказал им о приключении с котенком, познакомил их со своей работой и даже провел в комнату своей гостьи, шведской (!) журналистки, чтобы она поближе познакомилась с теми, кто служит в немецкой полиции. Они деликатно уселись на краешке кровати, и мы около получаса беседовали. А шведке пришло в голову пошутить, и она выдумала историю с прогулкой по крыше и звездным небом...

«11.9.1975. Вальраф в настоящее время в Кёльне. По имеющимся сведениям, сегодня он принимал на своей квартире лиц женского и мужского пола, прибывших на шведском микроавтобусе».

Этими предполагаемыми террористами были моя знакомая, шведская журналистка Гунилла Амбьёрнссон, и артисты театральной труппы, которые рассчитывали найти у меня в архивах материалы для будущей пьесы о концерне Круппа.

Одна моя коллега, журналистка Вивика Грантен, которая брала у меня интервью для шведского радио и ряда газет, вынуждена была из-за визита ко мне на полдня задержаться в ФРГ. Из Кёльна она отправилась в Ганновер, оставила свои вещи в автоматической камере хранения на вокзале и пошла в гости к друзьям. Вернувшись за вещами, она обнаружила, что ее бокс пуст; вместо чемодана лежала записка с требованием явиться в полицию. Там ей стали морочить голову рассказами о том, что, согласно поступившим сведениям, в ее боксе могла быть бомба и потому — ради безопасности — ее вещи оттуда убрали. Потом уже перешли к делу. Эту женщину так долго допрашивали по поводу всех ее знакомств в ФРГ, что в конце концов она опоздала на поезд и уехала лишь на следующее утро.

К тому времени Байземан, судя по всему, уже не очень доверял своим шпикам: улики — налицо, а крупная добыча никак не попадется в сеть. И он сам принялся за дело:

«22.6.1976. Сегодня в 17.55 я лично наблюдал, как Вальраф выходил из кабаре «Махтвэхтер» на Апостельнштрассе в Кёльне и садился на стоянке по Гертруденштрассе в автомашину «ауди» (желтого цвета, номер «К-ЛЦ 694»), документы на которую оформлены им 17.12.1975».

Со временем я уже знал шпиков, торчавших у меня перед домом. Они часами сидели в своих машинах напротив моей входной двери. Когда холодало, они запускали двигатель, и это мешало мне работать. Однажды я предложил тому, кто постарше — из чувства сострадания,— подняться ко мне в квартиру и обогреться; да и все, что ему надо, гораздо проще было бы получить из первоисточника... Но он, по-видимому, воспринял это не как гуманный жест, а как оскорбление — уткнулся в смятую вчерашнюю газету, даже не сказав «спасибо».

Шпиков же, которых не коснулась моторизация, легко узнать по их неуверенной походке. В наше торопливое время их бесцельное топтание сразу же бросается в глаза. Если они и стоят, то не так, как человек, который кого-то ждет и в облике которого угадывается напряженность. Они и стоят не как обычные люди, и ходят не как обычные люди —

их нельзя не заметить. Одного я поймал на том, что он пытался пальцами выудить из моего почтового ящика письма — и кое-какие уже наполовину вытащил.

(Не думаю, что кража писем и связанное с этим нарушение тайны почтовой переписки входят в круг его служебных обязанностей, но шпик-неудачник, шпик с ущемленным самолюбием начинает попросту из отчаяния действовать на свой страх и риск. Я хорошо понимаю, что, коль скоро меня представили ему как социально опасного террориста, он в общем-то считает кражу писем не правонарушением, а скорее добросовестным сбором новых доказательств, ибо исходит из того, что профессиональные террористы в своей корреспонденции если не впрямую, то шифром сообщают друг другу о запланированных преступлениях со взрывами.)

Так вот, я схватил этого шпика и потребовал назвать фамилию и адрес. Он сказал, что зовут его Вернер Шнайдевинд (вероятно, это была кличка), и сообщил адрес, который позднее оказался ложным. Потом он перешел в наступление, заявив, что оказался здесь ради дискуссии со мной. Вам ведь, очевидно, ясно, сказал он, что проведи вы свою акцию не в Греции, а в СССР, вас бы навечно сослали в Сибирь. Я не был расположен с ним спорить и сказал лишь: пусть приходит еще, но предварительно я проверю его документы. Когда я отпустил его, он явно почувствовал облегчение.

Сразу же после этого я сел в машину и поехал к своему коллеге Эккарту Шпоо в Ганновер. У последнего светофора перед выездом на автостраду — к счастью, я ехал совсем медленно — машину бросило вбок, а левое переднее колесо пошло гулять само по себе. Механик в ремонтной мастерской установил, что к колесу, несомненно, кто-то приложил руку: был удален предохранительный шплинт. Я вызвал полицию для составления протокола.

В досье Байземана описание этого происшествия сокращено и переврано:

«В дополнение указывается на судебный иск, в котором Вальраф заявляет о намерении нанести ему опасное телесное повреждение. Обвинение предъявлено неизвестному лицу в том, что оно якобы повредило тормоза в автомобиле Вальрафа».

После долгих расспросов меня направили к полицейскому комиссару по фамилии Шарфшеер. Я расхохотался и попросил устроить встречу с каким-нибудь другим сотрудником — не столь пристрастным. Дело в том, что именно Шарфшеер пробовал расспрашивать обо мне одного из моих важнейших информаторов — бывшую главную секретаршу фирмы Герлинга. Когда же она отказалась отвечать на вопросы, он попытался ее запугать — показал на стену, где висел антифашистский плакат, клеймящий режим «черных полковников» в Греции, и заявил: «А петля-то и вам угрожает!» — а про меня сказал, что я особенно ловкий анархист и террорист, который — существуй в нашей стране правосудие — давно бы уже сидел за решеткой. Уж ему-то, Шарфшееру, все это отлично известно, он сам был начальником оперативной группы и неделями вел за мной наблюдение — тут его не обманешь...

Однако в разговоре по телефону Шарфшеер и словом об этом не обмолвился. Он заверил меня, что я могу полностью на него положиться: как государственный чиновник он исповедует принцип неподкупности и нейтралитета. «Шнайдевинд, Шарфшеер...» — случайность это или нет, но их имена звучат словно клички агентов из одной команды. Тем не менее расследование по моему иску заглохло, а я частным путем установил, что Шнайдевинд в свое время состоял в КБВ[15] и был разоблачен как полицейский агент-провокатор. В марте 1976 года, за три месяца до поджога моего рабочего кабинета, в результате чего погиб почти весь архив и был причинен ущерб на сумму в 70 тысяч марок, один человек, живший в то время у меня, застал в моей квартире Шнайдевинда: тот сумел подобрать ключ к входной двери. Этот человек попытался задержать Шнайдевинда, но тот вырвался и убежал.

После моих публикаций с разоблачением путчистских планов Спинолы я стал получать письма с угрозой убить меня — тут уж и политический комиссариат полиции вынужден был зашевелиться. Меня пригласили в полицей-президиум на прием к обер-комиссару Дариусу; его кабинет находился на последнем этаже, за глухой стальной дверью. «Нам следует заранее кое-что предпринять для вашей безопасности»,— сказал он, добавив, что я буду пользоваться полицейской охраной четвертой степени; это означало, что, патрулируя в нашем квартале, полицейская машина будет проезжать и мимо моего дома. Затем Дариус попросил меня записать на всякий случай два телефонных номера: по одному звонить в течение дня, по другому — ночью. «Если вы почувствуете опасность, звоните немедленно!» Я бросил на комиссара недоуменный взгляд... «Ну, если вы заметите, что кто-то вас преследует. У вас, конечно, уже есть опыт по части обнаружения слежки за вами, не так ли?» Не знаю, была ли то хитрость с его стороны, или ирония, или же просто глупость, но в ответ я брякнул: «А как мне узнать, кто это — ваши люди или убийцы?!»

Когда подожгли мой рабочий кабинет, я позвонил комиссару в надежде, что он пришлет ко мне пару экспертов, но ни криминалисты из федерального ведомства по уголовным делам, ни специалисты из политической полиции так у меня и не появились. Я убежден, все они были бы на месте происшествия, если бы существовало пусть даже самое смутное предположение, что преступление совершено

---

[15] Сокращенное название Коммунистического союза Западной Германии — мелкой левацкой организации в ФРГ.

кем-то из анархистских кругов, и если бы загорелся кабинет не у Вальрафа, а, скажем, у Цизеля, Вальдена, Хабе, Цема или Шпрингера[16].

А Байземан продолжал сообщать:

«8.9.1976. О местопребывании Вальрафа достоверных данных более не поступало. На своей квартире он, по-видимому, появляется лишь время от времени. У В. хорошие связи с радио- и телекомпанией ВДР. Его имя неоднократно упоминалось в ее передачах, а некоторые из них целиком сделаны им самим. Несколько месяцев тому назад внимание ему уделил и «ЦДФ-магацин»[17]: в отличие от ВДР эта передача подвергла Вальрафа массированным нападкам... А сам Вальраф в начале своего интервью в «ЦДФ-магацин» заявил: «Если уж вам угодно загнать меня в угол, то примите к сведению, что помимо всего прочего я состою в свободном браке, имею некоторую склонность к гомосексуализму и разок пробовал курить гашиш». Расследование весьма затруднено. В связи с большой мобильностью подозреваемого сбор сведений ограничивается локальными масштабами и потому не дает достаточных доказательств. Дело необходимо прежде всего вновь передать в прокуратуру. О получении свежих сведений будет сообщено дополнительно. Подпись (Байземан»).

Свежих сведений, однако, не поступало. Однажды мне позвонили журналисты из шпрингеровских газет «Бильд» и «Вельт» и сказали, что получили анонимные письма, где утверждается, будто я поддерживаю связи с РАФ и что якобы Марианна Херцог была арестована на пороге моего дома. Оба письма подписаны: «Аргус». Очевидно, Байземан и Шарфшеер настолько уже свыклись с обманами и подлогами, что не брезговали и подобными методами. Кстати, бывший шеф пресс-отдела фирмы Герлинга — Рольфес — также сообщал журналистам о своих хороших контактах с ведомством по охране конституции и о том, что именно из этого надежного источника он почерпнул сведения о моей принадлежности к РАФ.

15 месяцев велось напряженное и дорогостоящее расследование, но подходящего для обвинения материала так и не было собрано. Зато сама прокуратура, судя по всему, совершила наказуемые законом деяния. Во-первых, меня не уведомили о трехмесячной операции по прослушиванию моего телефона. Между тем § 101, абзац 1 уголовно-процессуального кодекса предусматривает незамедлительное уведомление граждан о прекращении прослушивания. Надо полагать, от выполнения этого положения отказались, дабы продолжать прослушивание нелегально. И вообще я думаю, что вся эта акция была задумана не только с целью уличить меня в каком-то преступлении, но одновременно и попытаться выведать мои планы на будущее. Второе нарушение закона — фальсификация документов. Согласно закону об изменениях в уголовном праве от 20 августа 1976 года, дело о расследовании должно было быть передано генеральному прокурору ФРГ. Но кёльнская прокуратура, оказавшись в цейтноте, пустила в ход последнее средство, хотя и оно не помогло,— проставила на документе дату ранее 20 августа.

На заключительном этапе расследования один из шпиков втерся в доверие к моей секретарше. Поскольку она родом из Швейцарии, он как-то раз раскрыл перед нею альбом с фотографиями «своих швейцарских друзей» и стал расспрашивать, не знает ли она кого-нибудь из них. Она никого не знала (впоследствии выяснилось, что это были розыскные фотографии анархистов, которые могли скрываться в Швейцарии).

Вскоре у нее возникли подозрения, а когда она заметила, что он интересуется не столько ею самой, сколько моей работой и моими контактами, то и вовсе прекратила общение с этим человеком. Уже после того, как она дала ему понять, что не желает больше его видеть, он однажды опять пришел к ней, причем как раз в то время, когда у нее были гости из Португалии. Она дала ему от ворот поворот, но он принялся рассказывать какую-то жалостную историю: мол, идет от зубного врача, тот вырвал ему зуб мудрости, и теперь он так плохо себя чувствует, и голова у него кружится, нельзя ли ему у нее хоть немного передохнуть... Поскольку она не проявила никакого сострадания, он, чтобы придать своему рассказу правдоподобие, вытащил из кармана какой-то желтый зуб чудовищного размера и вида, похожий, сказала мне потом секретарша, на клык огромной собаки. Так или иначе, но разозленный шпик удалился и никогда больше ей не надоедал.

А две недели спустя случаю было угодно привести вечером к моей двери двух типов, желавших срочно переговорить со мной. Один из них сослался на руководителя забастовки турецких рабочих на заводах Форда[18] — Баху Таргюна, с которым я познакомился некоторое время назад. В ту пору он сидел в тюрьме, попав в ловушку, устроенную ему провокатором из турецкой секретной службы. Визитер заявил, что сидел с Таргюном в одной камере (мои дальнейшие изыскания опровергли это). Оба быстро перешли к делу, сообщив, что поддерживают связь с Лютером и Пламбеком из РАФ, что они тоже «товарищи» и что я должен снабдить их оружием и взрывчаткой для новых акций. Речь шла об ограблении банков, а также о террористическом акте против фирмы Герлинга. Я как можно доходчивее объяснил им, что они ошиблись адресом. И добавил: если у них и в самом деле подобные планы, в чем я, однако, сомневаюсь, то я предприму все от меня зависящее, дабы помешать их исполнению. Мне уда-

---

[16] Известные западногерманские журналисты и издатели правого толка.

[17] Еженедельная передача второй программы западногерманского телевидения (ЦДФ). Образец поистине пещерного антикоммунизма и антисоветизма.

[18] Крупные заводы концерна Форда расположены в Кёльне.

лось списать биографические данные с документов одного «террориста». Когда они удалились, я в присутствии адвоката позвонил в политический комиссариат кёльнской полиции и сказал: «Я хотел бы вас предупредить и проинформировать... Возможно, на сей раз вам будет очень легко вести расследование, коль скоро в конце концов выяснится, что речь идет о ваших же собственных сотрудниках».

На следующий день заместитель начальника политического комиссариата Кляйн в сопровождении молодого сотрудника полиции посетил меня на дому, чтобы выяснить обстоятельства дела. Кляйн приветствовал меня как старого доброго знакомого: «Мы ведь давненько знаем друг друга!» Я удивился, а он напомнил, и тогда мне все стало ясно. Более десяти лет тому назад Кляйн вызывал меня в полицию «по подозрению в связях, свидетельствующих о государственной измене». Мои репортажи в ту пору печатались за рубежом, в том числе в советских, югославских и польских журналах, а я о том еще ничего не знал и потому был рад и горд, когда увидел в досье Кляйна номера этих журналов. Мне было предложено дать подписку, что и в будущем я не стану поддерживать никаких контактов с журналистами из «стран Восточного блока». Я отказался, да и само дело вскоре было прекращено.

Теперь Кляйн был само дружелюбие. Лишь раз он сокрушенно произнес: «Если бы вы только знали, сколько нам зачастую приходится из-за вас работать!» Когда я заново изложил историю с двумя провокаторами и спросил Кляйна, чем бы он мог мне помочь в данном случае, тот обратился к своему молодому коллеге с вопросом, не наступило ли полнолуние. Полицейский заглянул в календарь и произнес: «Наступит через три дня». Тут Кляйн сказал: «Н-да, как только на небе полная луна, у всех чокнутых прямо страсть к разным выходкам...»

Позже я еще раз просмотрел досье «преступника» Байземана и установил, что он вел свои записи и в полнолуние, и когда на небе был лишь узкий лунный серп.

Кляйн же ручался головой, что эти два провокатора — не его люди: «С такими элементами мы не сотрудничаем». «А может, они из конкурирующей организации — из ведомства по охране конституции?» — не отставал я. Но и эту возможность Кляйн исключал полностью. Несколько недель спустя я справился по телефону у Кляйна насчет результатов расследования. «Судя по всему, совершенно безобидное дело,— успокоил он меня.— Это жулики и пьяницы, у которых в прошлом мелкие правонарушения. Просто им взбрело в голову повыпендриваться. К политике это не имеет никакого отношения».

7 декабря 1976 года генеральный прокурор Пфромм сообщил мне, что он затребовал мое дело к себе и закрыл его. С более чем годичным опозданием я был проинформирован о прослушивании моего телефона. Что же касается противоправных действий самих прокуроров — никаких извинений, лишь скромное примечание:

«Касательно документации следствия, проводившегося прокуратурой Кёльна, в особенности запоздалого уведомления согласно § 101, абзац 1, на этот счет отданы все необходимые распоряжения».

Казалось, я мог бы быть доволен. Ведь теперь, как сообщил мой адвокат прессе — а та подала эту новость под огромными аншлагами,— я «не террорист, что и подтверждено в официальном порядке». Правда, я заметил, что длительная слежка не могла не отразиться на моей психике, и это меня беспокоило. Как-то раз я сидел в маленьком кинотеатре, где полностью не гасили свет, чтобы во время сеанса продавать прохладительные напитки, и смотрел фильм «Буффало Билл». Побежденного и почти сломленного индейского вождя по имени Сидящий Буйвол приводят на арену, где разыгрывается спектакль в стиле «вестерна» и где ему надо продемонстрировать свою укрощенную дикость с помощью дурацких трюков перед лицом бывших врагов — переселенцев и солдат в присутствии президента. И вдруг, пусть хотя бы и символически, вновь прорывается наружу боевой дух униженного вождя. Он наводит свое ружье на президента, а тот прячется за вазой с цветами, теряя при этом все свое напыщенное достоинство. В публике — внезапный смех облегчения. Я же ловлю себя на том, что сдерживаю смех и озираюсь по сторонам: не сидит ли рядом кто-нибудь, кто мог бы расценить мою улыбку — с точки зрения физиогномики — как выражение симпатий к терроризму.

Вскоре после этого со мной случилось нечто подобное в Стокгольме, куда я был приглашен ПЕН-клубом и институтом имени Гёте для чтения доклада о политической ситуации в моей стране. На докладе присутствовал советник-посланник посольства ФРГ. Я говорил о воздействии постановления о радикальных элементах, о вынюхивании образа мыслей наших граждан и тому подобных вещах, а потом, отвечая на вопросы, перешел к политическому безумию анархистов и к терроризму в целом. Слишком поздно я спохватился, что наиболее важная часть доклада у меня получилась чересчур короткой, а побочная тема стала главной; после этого мероприятия советник посольства подошел ко мне, пожал мою руку и выразил благодарность за изложенную мною точку зрения на терроризм, с которой он полностью согласен. Очутившись в номере отеля, я ужаснулся: ведь эту пощечину от советника-посланника я по ошибке воспринял как комплимент.

Совершенно «естественная смерть»...

Следствие в отношении кёльнских прокуроров по обвинению в фальсификации

документов, а также в противоправных действиях было прекращено в 1977 году, а переведенного в отдел по делам молодежи обер-прокурора Беллингхаузена вернули на старое место — в политический отдел. Заявление Беллингхаузена о том, что путем подделки документов он хотел лишь предотвратить нанесение ущерба Федеративной Республике Германии, было расценено генеральным прокурором Пфроммом как достаточное оправдание и обоснование таких действий.

«Обер-прокурор д-р Беллингхаузен сам заявил, что он убрал из проекта судебного определения предусмотренное законодательством извещение Вальрафа (о прекращении прослушивания телефона.— Прим. перев.), дабы лишить последнего возможности непосредственно перед назначенными на 3 октября выборами в бундестаг выступать в доступных ему органах печати с оскорблениями по адресу Федеративной Республики Германии и ее юридических органов. На основе имеющегося у него опыта д-р Беллингхаузен не исключал полностью возможности того, что Вальраф использует факт прослушивания его телефона в своих целях, если сообщение о таковом прослушивании будет получено им за несколько дней до парламентских выборов... Исходя из оправдательного заявления обер-прокурора д-ра Беллингхаузена, следует сделать вывод, что он сознательно действовал вопреки предписанию § 101 уголовно-процессуального кодекса и руководствовался при этом не соображениями, относящимися к существу дела, а запросами сиюминутной политической жизни. Для обвинения в обходе закона требовалось бы доказательство того, что обер-прокурор д-р Беллингхаузен сознавал возможность нанесения подобными действиями ущерба Вальрафу или, тем паче, оправдывал их. Однако достаточно убедительного доказательства приведено не было...»

От техника телефонной службы, работавшего на федеральной почте, я в ноябре 1976 года узнал, что телефон мой по-прежнему прослушивался. Его свидетельство я сдал на хранение нотариусу.

В том же ноябре 1976 года в кёльнском бюро газеты «Бильд» царила бурная радость: «Мы слышим телефон Вальрафа!» Минимум два дня цепные псы Шпрингера часами подслушивали и записывали мои телефонные разговоры. Для маскировки на телефонной станции перед этой подозрительной аппаратурой поставили раскрытый зонтик. Изобретательность сотрудников «Бильд» была и остается на высоте. Об их проделках я также узнал лишь годы спустя, когда мне доверительно рассказал об этом один бывший журналист из «Бильд».

18 марта 1980 года мой информатор Хайнц Вильман был обнаружен в своей кёльнской квартире мертвым. Официальное сообщение полиции о результатах вскрытия гласило: «Естественная смерть». Однако эта версия является до сих пор неубедительной не только для меня одного.

Я познакомился с Хайнцем Вильманом в 1979 году. Три года он работал в кёльнской редакции «Бильд», а в марте 1979 года его выгнали. Нас свел общий знакомый.

Увольнение подвело черту под безоблачной и прямо-таки идеальной карьерой Хайнца Вильмана в «Бильд». Перед ним, членом ХСС, были открыты все двери. После выхода моей книги «Рождение сенсации» Вильман даже руководил командой шпрингеровских лазутчиков, которая должна была собрать «компрометирующие» меня материалы; впрочем, деятельность эта не увенчалась успехом. Правда, затем Вильман опубликовал статью о пользующемся скандальной известностью в ФРГ кёльнском судье по фамилии Зомоскеой, что и стало причиной его разрыва с «Бильд». Надо сказать, этот юрист-реакционер и враг всех иностранцев был выведен в статье отнюдь не по личной инициативе Вильмана; наоборот, это задание Вильман получил от руководства редакции, что, кстати, весьма необычно для нравов «Бильд». Позднее Вильман объяснял это так: местные лидеры СДПГ и редакция «Бильд» договорились друг с другом.

Но стоило разъяренному правоведу подать на газету в суд, как редакционное начальство перетрусило и объявило, что ведать ни о чем не ведало. Вильман (как ему дали понять в редакции) должен был взять всю ответственность на себя и объявить, что никакого задания он не получал, а действовал совершенно самостоятельно и — более того — обманным путем подсунул статью ничего не подозревавшим шефам. Правда, газета великодушно решила взять на себя издержки по судебному процессу, а также уплатить возможный денежный штраф, однако Вильман отказался пойти на это — и был уволен.

Итак, я познакомился с Хайнцем Вильманом, а со временем между нами установились доверительные отношения, и в конце концов он стал главным свидетелем обвинения «Бильд» в незаконных махинациях. Он засвидетельствовал факты предпринятой в 1976 году акции по прослушиванию моего телефона, бесчисленных фальсификаций, а также тайных связей между «Бильд» и БНД — в общем, опасность этого человека для концерна Шпрингера и осуществления его политических целей все время возрастала.

И вот 18 марта 1980 года Хайнца Вильмана находят мертвым в его квартире. Вскрытие. Констатация «естественной смерти»:

«Цирроз печени, кровоизлияние в стенку пищевода, внутреннее и наружное кровотечение».

Полиция и прокуратура были осведомлены, что Хайнцу Вильману угрожали. Однако все попытки его друзей и родственников доказать ошибку в официальных результатах вскрытия оказались безуспешными. Очевидно, «общественность» не проявила к этому «интереса»... И хотя независимые эксперты-медики

констатировали маловероятность столь быстрого течения болезни (за два года до смерти печень у Вильмана была в полном порядке), и хотя представленный позже токсикологический анализ результатов вскрытия показал, что в крови покойного содержалась некая субстанция, «идентифицировать которую оказалось невозможным», власти не пошли на расследование как названных, так и прочих подозрительных обстоятельств дела.

После того как Хайнц Вильман публично выступил против своих бывших работодателей, его не оставляли в покое. Днем и ночью по телефону раздавались угрозы: его жизнь в опасности, если он не откажется от своих заявлений. Неизвестные лица проникали в его квартиру и похищали вещи. Пропадали документы и денежные чеки. Бывшие коллеги называли Хайнца «свиньей», при случае могли запустить в него пивным бокалом.

3 декабря 1979 года трое мужчин подстерегли Вильмана в лифте его дома: он был зверски избит, мучители гасили о его тело зажженные сигареты. Кто-то явно хотел заставить его отказаться от выступления на процессе против «Бильд». Хайнц Вильман понимал, что рискует жизнью. Но он не хотел уезжать из Кёльна, потому что там жила его подруга.

Его пробовали уломать деньгами и посулами: напоминали о том, что он — член ХСС, предлагали крупные суммы, хорошую работу. Хайнц Вильман противостоял всем этим попыткам давления и подкупа, хотя, конечно же, его не раз одолевали сомнения.

Вряд ли стоит питать надежды на то, что обстоятельства и причины его внезапной смерти когда-нибудь будут выяснены. Впрочем, ответить на вопрос, кому была выгодна его смерть, можно уже сегодня. Вот как прокомментировал это в кругу коллег заведующий редакцией «Бильд» в земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Я следую китайской поговорке: сиди на берегу реки и жди, пока мимо не проплывут трупы твоих врагов».

Следует знать и крепко помнить, что люди, о которых речь, ради осуществления своих политических и экономических целей при необходимости пройдут и по трупам.

Кто предупреждает спекулянтов оружием

По воле счастливого случая я стал обладателем донесений, которые составлял обо мне сотрудник частного сыскного бюро «Хойер унд Йонатис», участвовавшего в создании службы внутренней безопасности в гамбургском здании концерна Шпрингера. С некоторыми перерывами этот шпрингеровский соглядатай преследовал меня почти два года. Его изыскания, должно быть, обошлись концерну более чем в 100 тысяч марок.

Выдав себя за независимого фоторепортера, Филипп Шиманяк втерся ко мне в доверие и злоупотребил им. С его «заключениями» можно ознакомиться в моей книге «Свидетели обвинения».

Безусловно, приобретенный мною опыт, который частично отражен и в этой книге, многому меня научил. Немало моих иллюзий относительно нашего «свободного, демократического правопорядка» и охраняющих его институтов улетучилось уже к 1979 году. И потому меня не особенно удивил тот факт, что мой старый знакомец, государственный охранитель Шарфшеер, сообщил в греческом ресторанчике на кёльнской Каспарштрассе собеседнику, которого считал заслуживающим доверия, что когда-нибудь я все же попадусь в сети политической полиции.

В 1979 году, как уже упоминалось выше, я находился под постоянным наблюдением шпрингеровского соглядатая Шиманяка. В четверг 19 июля 1979 года он записал:

«01.00. Поднимаюсь на верхний этаж, а Франк отъезжает. Ночью я не сплю из-за какого-то шума у двери: вновь и вновь у меня возникает ощущение, что Х. (Вальраф) полностью мне уже не доверяет. Не проверяет ли он меня по ночам? Мы уже беседовали ранее о его безопасности: прослушивается ли его телефон? Что делал почтальон в его квартире? Почему уже несколько раз в половине шестого утра в его квартире срабатывала сигнализация? Кто были те двое мужчин, которые в начале мая и середине июля этого года интересовались «известными общественными деятелями», но остановили свой выбор именно на нем? Майский гость назвался студентом, однако выяснилось, что он не читал ни одной книги Вальрафа, да и вообще он, по его же словам, не охотник до чтения. Второй прибыл из Рурской области и проявлял интерес к писателям, к рабочей литературе».

Сомнения шпика, которые частично были и моими собственными, этим не ограничились. Под датой «31 июля — 2 августа 1979 года» Шиманяк записал:

«Х. (Вальраф) говорит, что напал на след нелегального бизнеса в области вооружений. В этой связи упоминались название фирмы «Конти» и фамилия ее директора Дамма (Йоханнесбург, ЮАР). Х. (Вальраф) выясняет, не состоит ли названное лицо в родстве с г-жой Дамм из юридического отдела Автомобильного клуба Швейцарии или с г-ном Даммом, экспертом ХДС по вопросам обороны».

В ту пору я действительно напал на след одного грязного дела. Речь шла о нелегальной торговле оружием и о поставках оборудования для атомных электростанций в ЮАР и совместно с ЮАР в другие страны. Семь лет спустя, в ноябре 1986 года, изумленная общественность узнала, что при участии высших политических инстанций кильская верфь ХДВ [19] нелегально продала расистскому режиму ЮАР документацию на строительство современной подводной

[19] «Ховальдтсверке—Дойче верфт»—крупнейшая в ФРГ и Западной Европе военно-морская судоверфь (стапеля в Гамбурге и Киле).

лодки. Пойманные за руку менеджеры военной промышленности и политические деятели блока ХДС/ХСС защищаются в своей испытанной манере — наступая: яростно добиваются отмены законодательства, ограничивающего экспорт вооружений. Можно быть уверенным и в том, что Штраус и его сообщники после победы на парламентских выборах 1987 года возьмутся за эту работу с новыми силами.

История, датированная 1979 годом, стала известной благодаря наследнику предприятия, которое на протяжении долгого времени участвовало в подобных сделках. Знакомая этого промышленника уговорила его поделиться со мной секретом. Таким образом я подготовился к разоблачению этих преступных махинаций, решив вновь выступить в роли человека, который делает достоянием общественности занятия гангстеров в белых воротничках. Ради вящей убедительности было также запланировано запечатлеть их сборища на видеопленку.

Мне пришлось опять кое о чем договариваться по телефону, и, видимо, я не все здесь предусмотрел. Быть может, я оказался слишком доверчив, считая, что теперь к моему телефону не подключается третий лишний (как раз тогда Герхарт Баум [20] сообщил мне об акции 1974 года по прослушиванию телефона; впрочем, не состоит ли в этом отчасти и цель подобных уведомлений?).

Торговцы оружием, о которых тогда шла речь, были в основном «солидными» бизнесменами, поддерживавшими связи и с высокопоставленными политическими деятелями страны. Свои тайные встречи они проводили в богатых отелях крупных городов ФРГ. Штаб-квартиры их фирм расположены преимущественно в южных землях республики [21].

Итак, мы все хорошо подготовили и неоднократно прорепетировали. Однако в тот день, когда должна была состояться решающая встреча, буквально в считанные часы был дан отбой: интересовавшие нас фирмы оказались ликвидированными, а телефонные номера не отвечали. Словом, сообщников предупредили, и они рассеялись в самых разных направлениях. Объяснение этому найти несложно, коль скоро существуют доказательства того, что нелегальная торговля оружием — важное поле деятельности БНД.

Одновременно сорвалась моя попытка сделать репортаж с одного предприятия. Заводское начальство было заранее поставлено в известность о моем появлении, после чего работать было невозможно

Подобные происшествия убедили меня, что и в ту пору некто — кто бы он ни был — продолжал прослушивать мой телефон. Официальных сообщений на сей счет я ни от кого не получал, но совершенно ясно, кому все это было необходимо.

В 1979 году некий Ханс Бессерман выпустил в издательстве «Хазе унд Кёлер» (г. Майнц) книгу под названием «Дело Гюнтера Вальрафа». Названное издательство известно своей принадлежностью к реакционным средствам массовой информации: особенно любовно там обхаживают германский милитаризм. Случайность или закономерность — выпуск издательством в Майнце в 1980—1983 годах воспоминаний Рейнхарда Гелена? Получивший в 1944 году чин генерал-майора, Гелен в 1942—1945 годах руководил отделом «войск противника на Востоке» в генштабе гитлеровского вермахта. После 1945 года, не будучи ущемленным ни морально, ни материально и отнюдь не изменив своего мировоззрения, Гелен начал создавать по заданию американцев разведывательную службу в Германии. «Организация Гелена» в 1955 году была передана правительству ФРГ, а в 1956 году — преобразована в федеральную разведывательную службу (БНД).

Гелен сыграл роль серого кардинала в германской послевоенной истории. В «холодной войне», которая вскоре началась между Востоком и Западом, срочно потребовались такие, как Гелен,— те, кто долго боролся с новым старым врагом в собственной стране. И потому сам Гелен, его временный «начальник» Ханс Глобке (статс-секретарь канцлера Аденауэра, некогда прославлявший нацистские «расовые законы Нюрнберга»), а также многие другие посвятили себя преследованию социалистов, коммунистов, левых всех направлений, причем не только за границей, но и внутри страны...

Итак, родное издательство Гелена выпустило пасквиль на меня, очевидно, составленный на основе материалов, почерпнутых у БНД. С самого начала я постоянно подвергался нападкам правых (не только Левенталя[22]), которые явно по подсказке секретных служб утверждали, что я если и не «восточный агент», то уж во всяком случае «полезный для противника идиот». Уликой служило то, что книги мои давно уже печатались в ГДР, что я давал интервью газетам ГДР и что вообще поддерживал контакты с тамошними коллегами-писателями.

И вот Ханс Бессерман попытался составить мою политическую характеристику, опираясь на те или иные бредовые идеи охранителей нашего государства. Из того факта, что в 1973 году я был единственным западногерманским автором, приглашенным на форум советских писателей в Алма-Ату, и что моя книга вышла на русском языке, он моментально сделал вывод, что я нанес удар в спину коллегам в Советском Союзе, которые подвергались политическим преследованиям. В действительности же я столь однозначно высказался там против преследования диссидентов, что в

---

[20] Герхарт Баум — видный деятель СвДП, министр внутренних дел ФРГ в 1978—1982 годах.

[21] Южные земли — Бавария и Баден-Вюртемберг, ставшие оружейной кузницей ФРГ и оставившие далеко позади старинный Рур; крупнейшие военные концерны находятся в Баварии, которая выполняет более половины всех заказов бундесвера.

[22] Герхард Левенталь — ведущий телепередачи «ЦДФ-магацин».

последующие годы мне уже не присылали приглашений из СССР[23].

По возвращении в ФРГ я вновь подтвердил свою позицию в ряде интервью, сделав при этом одно существенное замечание. Я сказал, что считаю заслугой диссидентов суровую критику по адресу собственной страны, но мне представляется сомнительным в их поведении то, что многие из них при этом безоговорочно становятся на реакционнейшие позиции Запада. Эта оценка, данная мною диссидентам еще до того, как был лишен советского гражданства Солженицын, оправдала себя не только в случае с ним.

Исправление всех или хотя бы части искажений и фальсификаций, содержащихся в книге Ханса Бессермана, завело бы нас чересчур далеко. Для меня лишь важно указать на примечательную взаимосвязь федеральной разведывательной службы, ведомства по охране конституции и других государственных органов с реакционной журналистикой. Своеобразным был, кстати сказать, и способ распространения этой книги: большое количество экземпляров было бесплатно разослано по библиотекам бундесвера и полицейским участкам, а также депутатам бундестага, судьям, прокурорам, то есть тем, кто создает общественное мнение. Абоненты шпрингеровских изданий обнаруживали иногда эту книгу в своих почтовых ящиках, хотя и не заказывали ее. Хотел бы я, чтоб и мои книги распространялись так же!

В годы, предшествовавшие появлению моей книги «На самом дне», я раза два соприкасался с государственными охранителями ФРГ, но в целом мне представлялось, что общение наше сошло на нет. Правда, я постоянно замечал, что в моих телефонных разговорах участвует третий лишний, но доказательств, которые можно было бы пустить в дело, у меня не было. Трудно сказать, стал ли осторожнее я или стала осмотрительнее другая сторона.

Не смог я быть полезным и тому сотруднику ведомства по охране конституции, который пришел ко мне за советом: его обошли с повышением, по-прежнему приходится заниматься наружным наблюдением («стоять на стреме»), и вообще начальство к нему несправедливо. Я посоветовал ему обратиться в профсоюз к юристу.

В другой раз еще один человек из той же фирмы доверительно сообщил мне: некий высокопоставленный чиновник ведомства в ходе акции по прослушиванию телефона Клауса Траубе сам попал под подозрение в том, что является информатором журнала «Шпигель»; его же коллеги провели у него дома обыск и в качестве «контрабанды», еще более усилившей их подозрения, обнаружили книги Бёлля, Брехта и Тухольского. Бедняга был переведен затем «в качестве наказания» на работу в учреждение, занимающееся регистрацией иностранцев в ФРГ.

[23] Весной 1987 года Гюнтер Вальраф был гостем Московского международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества».

Чем большую самостоятельность обретают наши «органы» и чем меньше они подвергаются общественному контролю, тем напряженнее их внутренняя жизнь — интриги и доносы не сходят с повестки дня. По чистой случайности во время одного из моих оздоровительных забегов по Бергишес ланд[24] я заглянул в кафе. Подошел к стойке и вдруг услышал: «Ты знаешь Декарма?» «Нет»,— ответил я. Мой собеседник был явно смущен краткостью ответа и умолк. Минут через десять он сделал новую попытку: «Ты в самом деле не знаешь, кто такой Декарм?» Я снова ответил отрицательно. Тогда он сообщил, что это тот самый гандболист, который после спортивной травмы несколько месяцев находился в бессознательном состоянии. «Со мной было то же самое»,— добавил он. Заметив мое недоумение, он взял мою руку и провел ею по своей голове. Почувствовав, что я вздрогнул, он пояснил: «Часть черепной кости удалена. Вместо нее — стальная пластинка».

Он рассказал, что работал в МАД, мог сделать блестящую карьеру. Один коллега, страшно рвавшийся на то же место, как-то утром подстерег его по пути на работу и, когда мой знакомец проезжал мимо на велосипеде, поддел его, словно бык тореадора, радиатором своего «БМВ». Итог: пять месяцев комы и эта металлическая пластинка.

Позднее он подал иск по обвинению в покушении на убийство, но в МАД его уговорили отказаться от иска. Если он будет настаивать, сказали бывшие работодатели, то под вопросом может оказаться его пенсия. И человек сдался. Теперь он живет в этой деревушке, где и получает свои денежные переводы. Государственный аппарат держит его смертельной хваткой.

Баварская мафия

Мое непосредственное общение с органами юстиции и государственной охранки не так давно возобновилось и продолжается по сей день. Большой успех книги «На самом дне» — неожиданный для всех, в том числе для издательства и меня самого,— стал причиной того, что юридические акции против меня, предпринятые вначале описанными в книге фирмами и отдельными лицами, закончились ничем. Предпринятое было в земле Северный Рейн-Вестфалия расследование тоже не дало никакого результата. Прокуроры расценили общественный интерес к разоблачению преступных махинаций с рабочей силой, сдававшейся, словно вещь, напрокат, значительно выше, нежели амбиции обвинителей. И тем не менее средства массовой информации развернули кампанию против моей книги.

Насколько влиятельны политические круги Баварии, видно из решения АРД[25] об отмене демонстрации одноименного

[24] Бергишес ланд — буквально «Гористая земля»; всхолмленная местность к востоку от Кёльна.

[25] Объединение всех региональных радио- и телекомпаний ФРГ.

фильма, поставленного по этой книге. Стараниями Бременского радио лента была сперва включена в программу телепередач, но из Баварии донеслись угрозы. Штраусовский кронпринц Герольд Тандлер[26] направил директору Баварского радио письмо, где говорилось, что показ нашего фильма будет означать поддержку преступных методов в журналистике и приведет не только к нарушению общественно-правового статуса телевидения, но и к уменьшению сбора абонементных платежей за пользование телевизорами. На основании вышеизложенного Тандлер требовал отменить демонстрацию фильма. Консервативное большинство в директорате АРД уступило этому требованию. Лишь Бременское радио показало картину по своей региональной сети.

После передачи телевидение провело дискуссию, которая шла прямо в эфир и в которой, кстати, участвовал мой старый знакомый Фогель (Адлер) — баварская юстиция уже успела превратить его чуть ли не в главного моего обвинителя; причем его интересы защищают те же правоведы, что, по слухам выступают и в пользу д-ра Фрая, издателя неофашистской газеты «Националь-цайтунг». Так вот, Фогель договорился до того, что якобы я с самого начала был связан с преступным миром, куда открыл путь и турецким торговцам наркотиками.

В то время — а телепередача предшествовала обыску у меня дома — я находился за границей. Совершенно явная, не раз проявлявшаяся на практике профессиональная небрежность и неосведомленность соответствующих государственных органов в нашей стране заставляет меня предположить, что, решаясь на обыск, чья-то чиновничья голова лелеяла надежду найти у меня хотя бы грамм гашиша. Но поскольку единственное, что меня взбадривает,— это усиленное потребление кислорода во время пробежек на свежем воздухе, ничего в моей квартире, естественно, не нашли. Кстати, потом я постарался через суд воспрепятствовать дальнейшему распространению домыслов о моих контактах с «турецким наркобизнесом»; к чему приведет эта попытка, пока еще не ясно.

К сожалению, в связи с антивальрафовской кампанией я не могу не сказать и о некоторых частных печатных органах, а также их сотрудниках, которые обычно выдают себя за либералов. Кстати, в иных буржуазно-консервативных органах печати проливались потоки крокодиловых слез по поводу моих, так сказать, «незаконных» методов расследования...

Многие журналисты присутствовали вместе со мной на десятках мероприятий, проводившихся в последние месяцы профсоюзами, «гражданскими инициативами против вражды к иностранцам» и другими общественными объединениями; собрания эти были посвящены политическим вопросам, поставленным в моей книге. Большинство журналистов утверждало при этом, что их цель — написать очерк о моей журналистской и общественной деятельности. Был среди них и один репортер, которого я знал с давних пор и который сотрудничал в левых газетах, а сегодня выступает в мюнхенском журнале, именующем себя литературным изданием, но, несмотря на свое многообещающее название, продающемся в количестве не более восьми тысяч экземпляров.

Со временем я обратил внимание, что вопросы этого коллеги, который внешне выражал полную со мною солидарность, имели весьма странную подоплеку. Особенно настойчиво расспрашивал он меня о моем отношении к Германской компартии, о моих знакомствах среди коммунистов и т. д. Несомненно, в своем «тонком» допросе коллега опирался на архивные материалы, которые еще в 1979 году были столь умело использованы Хансом Бессерманом, желавшим разоблачить меня как «восточного агента» и «коммуниста-подпольщика».

Позже я узнал, что этот молодой человек долгое время шел по моему следу — посещал моих друзей и тех, кто перестал быть моими друзьями, виделся с моими врагами, коллегами и родственниками, побуждая их всех делать порочащие меня заявления. Интересовали его и сугубо личные моменты. Он брал на заметку как доносы бывшего шпика, действовавшего в издательстве журнала «Пардон», так и необдуманные высказывания старых друзей, которые не могли пережить мой успех. Это был, так сказать, «всесторонний поиск», обошедшийся, должно быть, в десятки тысяч марок: авиабилеты, счета в дорогих гостиницах, суточные... В итоге всех этих ухищрений журнальчик с шикарным литературным названием поместил обо мне статью, по форме напыщенную, а по содержанию — злобную; впрочем, больших открытий они не сделали...

Аналогичная история приключилась у меня с коллегой из «Цайт»[27]. Он специально прилетел в Мюнхен, чтобы вместе со мною участвовать в мероприятии, на котором я решил дать открытый бой Штраусу и его компании. Мюнхенский тележурнал «Репорт» тоже был там представлен: они, очевидно, надеялись, что я опять потребую удалить корреспондентов «Репорта» из зала, но на сей раз я не доставил им такого удовольствия.

На том собрании Руди Шёфбергер[28] и я охарактеризовали Франца-Йозефа Штрауса как «политического пособника фашизма, диктаторских режимов и расизма». Штраус так и не высунулся в ответ из своего — правого — угла политической сцены ФРГ, мюнхенский «Репорт», разумеется, не показал по телевидению ни одного кадра, хотя заснял на пленку все собрание от начала до конца, но и вольнолюбец из «Цайт» не напечатал в своем издании ни слова. Спустя

---

[26] Генеральный секретарь партии ХСС.

[27] Буржуазный еженедельник центристского направления; выходит в Гамбурге.

[28] Общественный и политический деятель Баварии; в 1966—1972 годах был депутатом ландтага (земельного парламента), в 1972—1976 годах — председателем мюнхенской организации СДПГ.

некоторое время он присутствовал при том, как начальник заводской охраны концерна «Тиссен» запретил мне появляться на территории предприятия, добавив, что в моих же собственных интересах мне вообще не стоит находиться возле завода, иначе со мною может что-нибудь случиться. Профсоюзные активисты и я сам восприняли это как недвусмысленную угрозу. А вот корреспондент «Цайт», еженедельника, который обычно столь тонко чувствует любую тональность, утверждал в своей статье, что я слишком склонен к преувеличениям, быстро наживаю себе врагов и что никакой угрозы со стороны заводской охраны не было и в помине. Да, в подобных случаях коллеги-журналисты из либерального лагеря стараются не проявлять присущую им чувствительность.

В июне 1986 года баварская юстиция перешла в наступление против меня и моих друзей — Йорга Гфрёрера и Петера Кляйнерта. На основании почти одинаково составленных ордеров наши жилища были подвергнуты обыску соответствующими органами земельной полиции Баварии (в порядке «производственной помощи» кёльнским полицейским). Причиной этой согласованной акции стало дознание, начатое мюнхенской прокуратурой по иску Ханса Фогеля, выведенного в книге «На самом дне» под фамилией Адлер. Фогель (Адлер) и баварское правосудие обнаружили, что магнитофонные записи бесед в нашем фильме, согласно § 201 уголовного кодекса, «нарушают доверительность высказываний». А посему ранним июньским утром 1986 года законность начала набирать обороты — не пощадили даже мать Йорга Гфрёрера, живущую на острове Зильт. Денег на розыски не жалели. Искали то, чего никто и не прятал,— магнитофонные записи бесед с Фогелем, использованные в фильме. Впопыхах, правда, забыли известить об этой акции министра юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия[29] и вообще вели себя так, словно баварской полиции никто не указ.

Во время этого сыска в полицейских головах, конечно, бродили и иные мысли. В Берлине (Западном.— Прим. перев.), в отсутствие Йорга Гфрёрера, полиция обшарила всю его квартиру в безумной надежде обнаружить доказательства его связей с миром наркобизнеса или терроризма. Аналогичные соображения сыграли, видимо, свою роль и в тот момент, когда сыщики нагрянули к продюсеру нашего фильма Петеру Кляйнерту: его фирма сокращенно называется КАОС, и уже одно это показалось им многообещающим. Стоит добавить, что по натуре Кляйнерт — фанатик порядка, полная противоположность всяким «хаотам»[30].

У меня сыщики появились ни свет ни заря. Раздался звонок, и жена услышала в домофон: «Откройте! Полиция!» Правда, они пошли на хитрость, заявив: «Мы должны с вами переговорить. Это в ваших же собственных интересах». Жена решила, что скончался ее тяжелобольной отец...

Они протопали через всю квартиру, перевернули ее вверх дном, сфотографировали все книги и все картины на стенах, перерыли детское белье, перебрали даже письма, которые я в 17-летнем возрасте писал своей матери. Наша маленькая дочка Надя, которая охотно идет к чужим людям, испытала шок. Ребенка просто отпихнули в сторону, даже не взглянув на него. Целую неделю после этого малышка играла с моей старшей дочерью в «полицейский обыск».

Все мои папки с документами были засняты на видеопленку. Ничто не ускользнуло от их внимания. Я заметил, что кое-кому из полицейских было не совсем по себе. Позднее один даже извинился передо мной, сказав, что надеется на встречу при более благоприятных обстоятельствах. И все же я не мог оправдать его участие в этом деле. Мы расценили эту полицейскую акцию как нарушение неприкосновенности жилища. С тех пор я уже не чувствую себя как дома в своем доме.

Никакого материала для дознания эта акция не дала. То, что искали, зафиксировано в самом фильме. Кроме того, я открыто признаю свою вину, хотя это вовсе не равнозначно раскаянию: я всегда говорил, что снимаю фильмы скрытой камерой, пряча ее в сумке.

Ущерб, нанесенный моей работе действиями полиции, оценить невозможно. Документы для служебного пользования, заявления свидетелей, письменные сообщения информаторов — ищейки перенюхали все, причем часть этих бумаг попала в руки предпринимателей и властей.

Вдобавок я убедился, что телефон мой по-прежнему прослушивается. Заместитель директора одного предприятия, личность весьма сомнительная, в разговоре со мной проявил поразительную осведомленность о моих беседах и планах, а напоследок впрямую пригрозил мне физической расправой.

Ночью перед нашим домом хулиганили, звонили в дверь и по телефону. Даже если все это означало, что на нас попросту вымещают злость, на подобные вещи трудно реагировать спокойно...

Чашу моего терпения переполнила очередная попытка оказать на меня давление, вмешаться в мою личную жизнь. Откровенное стремление властей остановить мою работу, в особенности изучение положения дел на атомных электростанциях в ФРГ, привело меня к решению дать отпор.

Теперь уже мне известно: то, что в конце моей книги «На самом дне» изображается в духе театра абсурда, стало реальной действительностью. Показания свидетелей дают представление о работе на сегодняшних западногерманских АЭС: в обход существующих предписаний по технике безопасности там посылают людей на участки, где человек сразу же может получить такую дозу облучения, от которой будет страдать всю жизнь.

Чтобы и в этой области еще настойчивее продолжать работу, чтобы уменьшить

---

[29] Кёльн, где жил и работал Вальраф, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

[30] «Хаоты» — неологизм, образованный от слова «хаос»; так в ФРГ называют анархистские, левацкие элементы.

число препятствий на своем пути, я принял решение уехать и обосноваться на время в Голландии.

Появившиеся в связи с этим газетные сообщения, а также последовавшие за ними комментарии дали пищу кривотолкам. Скажу сразу: я не покинул свою страну и не эмигрировал. Руководили мной соображения целесообразности и рациональности. Свою главную задачу я видел в том, чтобы положить конец попыткам государства и монополий противодействовать моей работе. Я и впредь намереваюсь часто бывать в Кёльне, где оставил за собой квартиру и где живут мои друзья и коллеги. Между Кёльном и Голландией я могу курсировать ежедневно: практически это не расстояние. Зато мне не понадобится теперь в ФРГ обязательная официальная прописка.

При этом я вовсе не отгораживаюсь от проблем, существующих в ФРГ. Напротив, я верю, что обрету новые возможности для продуктивной работы. Для меня голландская граница открыта, а вот баварским властям в будущем станет не так-то просто беспокоить меня. Гражданские права в Нидерландах более стабильны, а соблюдение их — дело в общем-то само собой разумеющееся. Люди там гораздо чувствительнее и критичнее к репрессиям со стороны государства. Мой телефон вновь доступен для друзей, и я опять с чистой совестью могу принимать у себя информаторов, не опасаясь причинить им вред. Мои бумаги и документы будут недосягаемы для властей ФРГ. В общем, я создаю себе другие, лучшие условия для работы, смогу более независимо, упорно и беспрепятственно трудиться, нежели в последнее время. Повторяю: я не считаю себя эмигрантом, скорее даже чувствую себя еще бо́льшим интернационалистом. ФРГ для меня — не пуп земли, но и не самая последняя дыра.

Следующая моя книга опять будет посвящена действительности ФРГ, но в перспективе я готовлюсь к новой роли: занимаясь по-прежнему западными метрополиями, я хочу сосредоточиться на том, какое воздействие они оказывают на положение в так называемом «третьем мире». Этой работой я также спокойно смогу заниматься в Голландии. Да, мне придется платить там и налоги, причем более высокие, чем в ФРГ. Но я буду охотно это делать, поскольку в Голландии на армию и производство вооружений денег из госбюджета уходит значительно меньше. Словом, на Бориса Беккера[31], спасающегося в Монако от западногерманских налогов, я отнюдь не похож.

Предварительные итоги

В заключение своего рассказа об опыте общения с западногерманской юстицией и государственной охранкой я хотел бы поделиться соображениями по поводу мотивов и причин деятельности этих институтов. Что они ищут и кого хотят настичь?

[31] Борис Беккер — известный западногерманский теннисист.

Возьмем, к примеру, политические события, развернувшиеся после террористического акта против фон Браунмюля[32].

Никогда не забуду, как, невзирая на объявленный в стране траур в связи с убийством фон Браунмюля, министр внутренних дел ФРГ[33] появился перед телекамерами и, почти не скрывая удовлетворения, прямо-таки с торжествующим видом стал излагать суть дела. Министр считал, что теперь у него развязаны руки и он может принять те решительные меры, которые до того времени подготавливались в тайне. И видимо, это уже происходит. СвДП струсила и отступила[34]. ФРГ превращается в государство всеобщей слежки. Персональные сведения о гражданах, заложенные в компьютеры, более не являются секретными. Законодательство претерпевает изменения.

Я не сторонник теории, которая в любом террористе усматривает полицейского провокатора. Но сегодня хорошо известно, что сплошь и рядом сотрудники полиции и ведомства по охране конституции не только создают косвенные предпосылки для запланированных преступлений, но и сами прикладывают к этому руку либо снабжают злоумышленников оружием и взрывчаткой. К аналогичным выводам пришли в декабре 1986 года французские студенты и школьники, чей протест против реакционных планов правительства Ширака по ужесточению правил приема в государственные вузы увенчался успехом. Французская общественность могла видеть по телевидению, как полицейские и их агенты-провокаторы, а также праворадикальные штурмовики, скрыв под масками лица, совершали противоправные действия, которые затем пытались свалить на «левых».

В этой сфере обнаруживается уже собственная динамика, которая с трудом поддается исследованию и контролю. Охранители конституции жаждут успехов, охранители государства — продвижения по служебной лестнице. Возможности для этого здесь налицо, причем в выигрыше всегда остаются правые политические силы. Трудно даже вообразить себе, что произошло бы, если бы в ФРГ было совершено политическое преступление, сравнимое с убийством Пальме в Швеции. У нас бы объявили чрезвычайное положение, государство было бы полностью передано в руки полиции, и буквально каждый иностранец был бы обязан по три раза на дню отмечаться в участке.

Аппарат органов государственной безопасности и полиции постоянно разбухает; увеличивается его персонал, совер-

[32] Фон Браунмюль — высокопоставленный сотрудник МИД ФРГ, погибший осенью 1986 года от руки террористов-леваков.

[33] Фридрих Циммерман (ХСС).

[34] До формирования правительства ФРГ после выборов в бундестаг в 1983 году СвДП по традиции имела пост министра внутренних дел; свободные демократы постоянно указывали, что либеральный характер их партии является основой и либеральной политики МВД. С 1983 года этот портфель в правительстве перешел к баварской партии ХСС, что сразу же, несмотря на робкие протесты СвДП, сказалось на ужесточении деятельности МВД.

шенствуется техническое оснащение; сотрудничество между госбезопасностью и полицией становится все более тесным. На севере Кёльна строит себе новое здание ведомство по охране конституции: все больше места требуется для сотрудников, число которых превысило две тысячи. а также для главного компьютера, в память которого заложены имена и анкетные данные примерно 20 миллионов граждан ФРГ. Скоро компьютерной слежкой будет охвачено большинство населения, которое, собственно говоря, вполне могло бы демократическим путем и упразднить подобную статистику.

БНД, насчитывающая семь тысяч штатных сотрудников, действует и внутри страны, хотя в целом толку от нее здесь мало: разрыв между затратами и результатами поистине огромен. На «плотное ядро» терроризма, которое состоит из 15—20 человек, рассчитывают выйти с помощью «главных свидетелей», высоких вознаграждений и «сотрудничества» населения (народ доносчиков...).

Я ни в коем случае не хочу присоединяться к хору тех, кто утверждает: пусть дамы и господа из государственной охранки спокойно играют в свои игры — особого вреда они не принесут. Эта точка зрения особенно распространена в кругах либеральных и левых интеллигентов... Но ведь прекрасно известно, к чему приводит подобная деятельность: граждан ФРГ подвергают запретам на профессии, рушатся карьеры и семьи, диктаторские режимы получают оружие и информацию о своих противниках, находящихся в ФРГ, почтовая корреспонденция вскрывается, любые телефоны прослушиваются. Свои разнообразные связи с прессой и телевидением охранка использует для того, чтобы «сбывать» направо и налево зловещие «образы врага», как, впрочем, и многое иное в придачу. Тому, кто попадает в руки этих «дилетантских объединений», обычно не до смеха... И не каждого зовут Клаус Траубе, Гюнтер Вальраф или Кислинг[35], не каждый может дать отпор.

С самого начала моей журналистской деятельности зловещие «службы» пытались ее дискредитировать, навешивая на меня ярлыки «восточного агента», «пособника террористов» или «коммуниста-подпольщика». На первых порах это можно было отчасти объяснить, исходя из самой истории и традиций этих служб. Ведомство Гелена, равно как и другие государственные институты — юридические, административные, политические,— унаследовали от «коричневых» времен и сотрудников, и взгляды, и «образы врага». «Холодная война» доделала остальное.

Когда я приступал к своей работе, каждый человек в ФРГ, который придерживался левых убеждений, каждый, кто толковал положения конституции иначе, чем господа-предприниматели или деятели ХДС, считался потенциальным «восточным агентом». До 70-х годов это пришлось испытать и Эгону Бару, и Вилли Брандту, и Герберту Венеру при проведении «новой восточной политики». И по сей день в тайных ведомствах преобладают ультраправые политические воззрения. Представление этих людей об окружающем мире нередко основывается на их же собственных бредовых идеях, отсюда и соответствующие результаты их деятельности.

Со временем, когда политическая ситуация изменилась, отпали и стереотипные обвинения в «шпионаже в пользу Востока». Но на смену пришло новое клеймо — «сочувствующий терроризму». На сегодняшний день с помощью этого ярлыка достигнуты самые «выдающиеся» политические успехи, и потому он особенно любим. Наши правящие круги считали и считают терроризмом все, что стоит на пути к достижению ими финансового могущества,— освободительные движения в «третьем мире», политическую оппозицию в Чили, АНК[36] и СВАПО[37] на юге Африки.

Я был знаком с Ульрикой Майнхоф, мы были в дружеских отношениях со времен нашей совместной работы в журнале «Конкрет». В ту пору, до ее ухода в подполье, я вел с ней долгие беседы, пытаясь убедить ее в безусловной необходимости дальнейшей журналистской деятельности. Что касается меня лично, то наши «органы» определенно знали, что я с самого начала резко критиковал идеологию и методы РАФ, причем с такой бескомпромиссностью, которая не всегда вызывала одобрение и среди друзей. Превознесение себя, элиты, над массой, мелкобуржуазно-романтический порыв и «героический акт одиночки» вкупе с заявлениями о том, что полицейские — «свиньи, а не люди»,— все это было для меня неприемлемым. Пышные фразы об «аргументах ружейных стволов» я всегда считал следствием антигуманной р-р-революционности и никогда не стеснялся называть вещи своими именами; в данном случае речь идет о «практическом пособничестве реакции».

Это, однако, не мешало мне учитывать личные мотивы и социальную подоплеку действий каждого из этих людей. Я предложил Ульрике Майнхоф публиковаться под моим именем до тех пор, пока средства массовой информации закрыты для нее, но она отказалась. Тиски групповщины, подполья оказались сильнее. Впрочем, я думаю, что, даже если бы она и захотела вернуться к политической, общественной работе в качестве журналистки, агрессивно настроенная общественность тогда бы этого попросту не допустила...

Клеветнический ярлык «сочувствующего», форменная травля были участью всякого, кто отваживался хотя бы на объективное обсуждение феномена терро-

[35] Вольфганг Кислинг — генерал бундесвера, ставший жертвой очередной волны шпиономании в ФРГ; сумел опровергнуть все обвинения (в шпионаже, гомосексуализме и пр.), однако в 1983 году вынужден был уйти в отставку.

[36] Африканский национальный конгресс Южной Африки (массовая политическая организация коренного населения ЮАР).

[37] Народная организация Юго-Западной Африки (революционно-демократическая партия африканского населения в Намибии — на территории, оккупированной ЮАР).

ризма. В ситуации, определявшейся подобными настроениями и взглядами, дело доходило до абсурдных в своем комизме историй; впрочем, смеяться над ними мне и сегодня не так-то легко.

В те времена я совершил поездку в Ирландию, посетив старшего сына Генриха Бёлля — Раймунда, умершего в 1982 году. Не провел я там и дня, как перед домом остановился автомобиль, взятый напрокат в Дублинском аэропорту. В автомобиле сидели два господина, которые выглядели так, словно они попали в эти глухие, заброшенные места прямиком с гамбургского Юнгфернштига[38]. Свой визит они объяснили намерением подняться на соседнюю гору и попросили хозяев одолжить им сапоги и плащи. Прибыть без всякого багажа на заброшенный остров у западного побережья Ирландии и — удивительное совпадение! — наткнуться там на единственный во всей округе дом, населенный немцами... Где найдется столь наивный человек, который смог бы убедительно объяснить мне это происшествие?

Я насторожился, когда господа — с виду весьма обеспеченные люди — безо всяких околичностей напросились к нам на ночлег. Раймунд Бёлль со свойственной ему вежливостью и радушием пригласил их в дом. У него тогда гостили и другие люди, в том числе один немецкий профессор философии. Когда новые гости в тот же вечер принялись откровенно выпытывать у всех, кто, что, куда и откуда, мне стало ясно, что они оказались здесь не случайно.

Я прореагировал на это так, как бывает всегда, если я считаю, что человек, сидящий напротив меня, не способен воспринимать разумные аргументы и правдивую информацию; так чаще всего случается со шпиками и чиновниками государственной охранки ФРГ, которые живут не в реальном мире, а в плену собственных бредовых идей. Убедить их в чем-либо невозможно. Над ними можно лишь посмеяться.

И я принялся разыгрывать пьесу под названием «Конспиративная встреча террористов в Ирландии». Профессора представили как психиатра и одного из основателей «Гейдельбергского коллектива пациентов», остальные же объявили себя этими самыми пациентами. В разгар игры я подкинул идею о тайных складах оружия в ирландских болотах и стал что-то бубнить о замечательных контактах с ИРА[39]. Под конец мы даже устроили спиритический сеанс: двигались столы, вещали души умерших.

На следующее утро оба удивительных господина внезапно исчезли. Не уверен, что они догадались насчет розыгрыша. Но если даже и так... все равно они из вполне понятного чувства самосохранения ничего не написали о розыгрыше в своем служебном донесении, и, быть может, в досье БНД попало сообщение о том, что я связан с поставщиками оружия террористам.

В итоге у меня, да и, пожалуй, у вдумчивого читателя возникает вопрос: что произойдет в будущем с этими дорогостоящими и столь бесполезными органами государственной охранки? Поможет ли здесь требование общественности демократизировать ведомство по охране конституции и БНД? Работы для реорганизованных таким образом служб было бы предостаточно; впрочем, ее было немало и до раскрытия аферы Флика, до скандала со строительной фирмой в Берлине[40], до преступного отравления Рейна отходами химической индустрии и до продажи расистам ЮАР чертежей подводных лодок.

Решение этой проблемы представляется мне столь невероятным, что вряд ли стоит его всерьез обсуждать. Для охранителей нашего государства и нашей конституции враг находится сегодня там же, где и раньше,— строго слева. Политическая направленность и состав персонала этих учреждений не допустят подлинной реформы. Ведь по сути дела речь идет не о демократических институтах, а о коррумпированных, прогнивших структурах, где оседают те, кто не считает себя способным к какой-либо более пристойной деятельности. Этому соответствует и производственный климат: в указанных учреждениях царит всеобщее недоверие, каждый подозревает каждого. Тон задают первичные организации ХДС и ХСС.

Аппарат государственной охранки, кроме того, приобрел полную самостоятельность. И хотя он неизменно растет и оснащается новой техникой, уровень его знаний действительности, повседневной жизни рядового гражданина страны неуклонно падает.

По этим, а также многим иным причинам я отказался от своего старого плана внедриться как-нибудь в эти структуры и высветить их изнутри. Право, это было бы куда проще, чем представляется большинству людей. Но я полагаю, что такая попытка не оправдала бы себя. Результат скорее оказался бы анекдотичным — в духе Милловича[41], нежели жутким — в духе Кафки.

Кроме того, и впредь будет предостаточно «расколовшихся» государственных охранителей. А уж я, ей-богу, не хотел бы больше разгребать эту грязь.

Итак, остается лишь императив: упразднить сию государственную охранку. А до тех пор пока это не произойдет, могу предложить дамам и господам из охранных ведомств заняться полезным делом. Из-за недостатка времени я не мог

---

[38] Юнгфернштиг — фешенебельная набережная в Гамбурге, на которой находятся банки, крупные фирмы, богатые отели и рестораны.

[39] Ирландская революционная армия (подпольная организация, действующая в Северной Ирландии).

[40] Речь идет о строительной фирме «Нойе хаймат» в Западном Берлине, которая принадлежит профсоюзам; финансовые махинации ряда руководителей фирмы получили широкую огласку в средствах массовой информации Западного Берлина и ФРГ.

[41] Вилли Миллович (род. в 1909 г.) — известный западногерманский актер и режиссер; в своем театре в Кёльне поставил ряд народных комедий.

в минувшие годы вести дневник. Однако, насколько мне известно, в ведомстве по охране конституции без всякой пользы пылятся по меньшей мере 50 тысяч машинописных страниц, на которые с магнитофонной ленты перенесены мои телефонные разговоры; если бы издать все это, то не только многие «мертвые души» в указанном ведомстве нашли бы себе разумное занятие, но и демократическая общественность получила бы ценные познания о закулисной стороне общественной жизни ФРГ. А если таким же образом использовать записи телефонных разговоров всех западногерманских граждан, которых филеры подслушивали на протяжении 30 лет, то можно было бы и вовсе не заботиться ни о занятости власть охраняющих, ни о политическом образовании в нашей стране.

Однако путь к этому долог. Потребуются усилия всех демократических сил, чтобы дать отпор неизменным попыткам охранителей государства и их политических защитников направлять развитие ФРГ в полном соответствии с их представлениями и интересами. И не следует предаваться иллюзиям, будто названные ведомства ощущают на себе давление закона и права. Ибо, как сказал министр внутренних дел Циммерман в интервью журналу «Шпигель»: «Мы в ФРГ держим секретные службы на длинном поводке конституционного права, но в их оперативной работе предоставляем им необходимое свободное пространство».

◆

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1936 г.)

Политический обозреватель ТАСС, переводчик с английского, французского и немецкого языков. Автор книг «Листья парижского каштана» (1963), «Омерта — значит закон молчания» (1965), «Неоконченное письмо в Будьшин» (ГДР, «Домовина-ферлаг», 1975) и др.

Публицистика

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

ПИСЬМО ИЗ РИМА

Во время одной из моих первых встреч со студентами Московского университета я сказал, что расстояние от Рима до Москвы равно расстоянию от Москвы до Рима. Мне казалось, что, опираясь на Лапласа, я смогу более убедительно обрисовать возможности взаимного культурного обмена между Италией и СССР. Но после десятидневной поездки по Советскому Союзу, после того, как я побывал в Ереване и Ленинграде, а потом снова вернулся в Москву, после новых встреч со студентами, преподавателями, редакторами литературных журналов и журналистами мне стало ясно, что истина, безусловная с точки зрения основ планиметрии, перестает быть таковой, когда мы переходим в сферу культурных отношений, ибо пути их развития нередко бывают извилистыми или случайными; во всяком случае, они не подчиняются суровым и рациональным критериям евклидовой геометрии или не менее строгим критериям географии. Короче говоря, теория не всегда подтверждается практикой: сколько раз мы видели, как теории терпят крах перед лицом фактов, но никогда и никто не видел, чтобы факты рушились под натиском какой-либо теории.

Культура — понятие, которое трудно определить, им трудно оперировать, не греша произвольными толкованиями, не злоупотребляя общими местами. Вот почему мне хотелось бы говорить только о фактах и ситуациях — как положительных, так и отрицательных,— тех, что могли бы в той или иной мере способствовать развитию корректных и равноправных отношений между нашими двумя странами, имеющими (при учете различия масштабов) много общего и весьма обширные культурные связи, как в историческом прошлом, так и ныне.

Прежде всего следует заметить, что за последние десятилетия литературные контакты между СССР и Италией (можно даже сказать — между СССР и Западом вообще) осуществлялись в основном с помощью изданий тех русских писателей-диссидентов, с которыми (о чем я уже догадывался раньше и в чем убедился еще больше во время своей поездки) мало или даже совсем не знакомы читатели в стране, где те родились. Эти писатели (а им всем присуща крайне полемическая позиция по отношению к Советскому Союзу) нередко пользовались у нас незаслуженным успехом не благодаря литературным достоинствам своих произведений, а благодаря умению использовать там, где они нашли себе прибежище, антикоммунистические настроения, восходящие к временам сталинизма и до сих пор сохраняющиеся в широких культурных кругах.

Наиболее известен из них Александр Солженицын, чья книга «Один день Ивана Денисовича», посвященная сталинским исправительно-трудовым лагерям, наделала на Западе столько шума. Успех этой книги пробудил у западных издателей необычайный интерес к литературе эмигрантов, сулившей большие тиражи и завидную прибыль. Однако последующие книги Солженицына и его крайне правые позиции закрепили этот успех лишь у публики, заинтересованной не столько в литературной, сколько в политической полемике.

Из-за внимания, уделяемого западной печатью русским диссидентам, их частых выступлений по телевидению и участия во всевозможных конгрессах и прочих публичных мероприятиях кое-кто

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — LUIGI MALERBA (род. в 1929 г.)

Итальянский писатель. Автор романов «Змея» («Il serpente», 1966; отмечен премией Кампьелло), «Протагонист» («Il protagonista», 1973), «Императорские розы» («Le rose imperiali», 1974), «Голубая планета («Il pianeta azzurro», 1987; премия Монделло) и др. В «Иностранной литературе» напечатаны его повесть «Сальто-мортале» (1976, № 5) и несколько рассказов (1980, № 1 и 4; 1984, № 8). Письмо Л. Малербы получено редакцией в рукописи.

вообразил, будто в СССР вообще нет никакой литературы, кроме диссидентской. Следует, однако, признать, что интерес к скандалам сочетался здесь и с искренним интересом и сочувствием к личным судьбам этих людей, к тому, что они пережили. Кроме Солженицына на Западе больше других знают Андрея Синявского, Юрия Домбровского (думаю, что в СССР читали лишь его «Хранителя древностей») и математика Александра Зиновьева, автора сатирической книги «Зияющие вершины», которая имела некоторый успех у западного читателя. Я встретился с Зиновьевым на конгрессе, организованном Римским центром по проблемам семиотики в марте 1987 года, а потом спорил с ним на страницах газеты «Репубблика» по поводу открытого письма М. С. Горбачеву, которое Зиновьев подписал вместе с девятью другими русскими эмигрантами. Откровенно негативное, даже пренебрежительное отношение Зиновьева к новому экономическому и культурному курсу, провозглашенному в СССР, вызвало у меня небезосновательное подозрение, что эмигрантство для Зиновьева является не столько сознательной идейной позицией, сколько удобной и выгодной профессией.

«Доктор Живаго» Пастернака — случай особый, но он лишний раз показывает, каким пагубным может быть давление политики на литературу. То, что эта книга впервые увидела свет именно в Италии,— еще одно свидетельство существования глубоких связей наших культур. Между прочим, я обратил внимание на то, что в Советском Союзе далеко не все прочли «Мастера и Маргариту» — произведение, являющееся одной из вершин литературы двадцатого века, между тем в маленькой Италии его выпустили (и очень успешно) сразу два издательства. И еще один писатель — «прекрасный и яростный»,— Андрей Платонов, был известен, по-моему, больше в Италии, чем в СССР.

Может показаться невероятным, но на протяжении последних десятилетий мы, на Западе, читаем ту русскую литературу, которую вы знаете слабо или вовсе не знаете, а вы, в СССР, читаете другую литературу, почти совсем неизвестную нам. Возможно, это свидетельство ее удвоенной жизнеспособности, но я, кажется, понял, что литература, которой вы были лишены, многими из вас ощущается как «фантомная боль»: так бывает с человеком, когда у него «болит» ампутированная рука или нога. Странности наших культурных связей, однако, этим не исчерпываются. Я обнаружил, например, что в СССР очень популярна и неоднократно переиздавалась огромными тиражами книга, которой у нас совершенно не знают. Я имею в виду роман «Спартак» Раффаэлло Джованьоли, автора, слава которого в конце прошлого века была у нас весьма эфемерной. Возвращаясь к «геометрической» метафоре, должен сказать, что кратчайшая линия, соединяющая две точки, иногда бывает не прямой, а прихудливо извилистой. Короче говоря, ситуация сложилась парадоксальная, непонятная и с прагматической точки зрения еще требующая серьезного рассмотрения.

На встречах, состоявшихся во время моей непродолжительной поездки по СССР, мне задавали много вопросов, но и я, в свою очередь, задавал их не меньше, стараясь получить возможно больше информации, и на основании вынесенных впечатлений опубликовал три статьи в очень популярной и авторитетной нашей газете «Репубблика». К сожалению, я не понимаю вашего языка, и мне трудно говорить о вещах, которые я не знаю непосредственно, своим читателям, которые не знают их вообще. Так, наверно, чувствует себя кривой, беседующий со слепым. Наряду с несколькими именами — такими, например, как Распутин (кое-что из его произведений было напечатано и в Италии), Айтматов, а из давно известных — Тынянов, чья замечательная повесть «Подпоручик Киже» переведена у нас совсем недавно,— мне пришлось занести в свою записную книжку имена, совершенно мне не знакомые, и названия, ничего мне не говорящие. Зато я раздобыл у вас несколько книг, которые уже переданы одному нашему слависту с тем, чтобы он отобрал несколько глав для перевода и публикации в литературном журнале «Иль кавалло ди Тройа» («Троянский конь»), уже не раз «наводившего» итальянских издателей на неизвестные нам произведения зарубежных авторов. В ближайшее время на страницах этого журнала появится ранее не публиковавшийся текст Виктора Шкловского, обнаруженный в Италии,— речь идет о киносюжете, написанном им после поездки в Югославию. Надеюсь, это будет очень приятный сюрприз для многочисленных поклонников выдающегося советского семиолога и писателя.

После поездки в Советский Союз я немного растерялся. Хотя мой чемодан и потяжелел, я понимаю: то, что мне удалось привезти, сравнимо лишь с комочком земли, отколупнутым от гигантской горы. Но что можно сделать для более успешного культурного сотрудничества между нашими странами? И как ориентироваться в джунглях средств массовой информации?

Я думаю, что кроме визитов и встреч писателей, этих «горячих проводников», позволяющих напрямую передавать идеи и информацию и обеспечивающих возможность диалога, немаловажную роль могут еще сыграть и «холодные проводники», то есть информация в специализированной печати, преимущество которой состоит в том, что ей свойственны периодичность, а также накопление и систематизация данных. По-моему, было бы полезно параллельно с вашей «Иностранной литературой», отбирающей и публикующей произведения авторов из разных стран мира, выпускать еще журнал на основных иностранных языках,

для информации зарубежных газет и издательств о новинках, выходящих в СССР; этакий толковый каталог, с помощью которого можно было бы получать необходимые тексты за границей. Не во всех итальянских (да, думается, и не только итальянских) издательствах есть свои слависты, так что подобная инициатива позволила бы производить первичный отбор, а в результате — упростилась бы процедура обмена. Что касается Италии, то здесь ведется очень активная работа с помощью таких официальных организаций, как ваш Союз советских писателей (заместителем председателя его Иностранной комиссии сейчас стал отличный знаток нашей страны Афанасий Веселицкий) и ассоциация «Италия — СССР», способствующие плодотворному культурному обмену между нашими странами. Хорошим помощником в этом деле может стать и итальянское посольство в Москве. Поскольку основная задача культурного атташе итальянского посольства Вито Грассо именно в том и состоит, чтобы шире знакомить советских людей с итальянской культурой, мне кажется, что такую же работу можно было бы с успехом вести и для Италии. Наш посол Серджо Романо — прежде всего деятель культуры и прекрасно понимает, насколько полезнее способствовать обмену в обоих направлениях.

Когда-то культурные контакты, несмотря на медлительность средств связи, осуществлялись гораздо быстрее, чем теперь, в век связи молниеносной. Как ни парадоксально, характерный для электронного века избыток информации душит самою информацию или по меньшей мере вносит в нее путаницу. Всякий раз, совершая поездку в другую страну, я убеждаюсь, до чего трудно, находясь за границей, ориентироваться в литературной жизни Италии. Полагаю, что такое же ощущение складывается у любого иностранца, наблюдающего из Италии за развитием литературы в своей стране. Прежде всего возникает проблема отбора источников информации. Когда источник отобран, заявляет о себе проблема субъективного отбора собственно информации. Возвращаясь к своей метафоре, замечу: в первую голову следует учитывать, что информация поступает вовсе не по прямой. И все-таки я хочу попытаться как-то классифицировать основные пути сближения и определить их надежность.

Начнем с издателей. У нас в Италии предложение на книжном рынке значительно превышает спрос, так что книжные магазины и склады забиты «товаром» — непроданным и по большей части не годным для продажи. Подобная ситуация — в одно и то же время причина и следствие издательской «философии», в основе которой лежит расчет на быстрое потребление одного «товара» и замену его новым, словно речь идет о мыле или зубной пасте. Объект длительного пользования, то есть настоящее высокохудожественное литературное произведение всегда приносится в жертву книге, которая быстро проходит весь «коммерческий цикл»: постоянное обновление витрины стало потребностью, диктуемой рынком. Большинство издателей приноравливается к такой логике, пуская в ход все средства, а также рассчитывая на зарубежного читателя. Чтобы понять, как обстоят дела в Италии, надо учитывать, что для многих издателей книга — действительно лишь товар, который нужно сбыть как можно большим тиражом и как можно скорее. В результате такого профессионального перекоса на столы итальянцев и иностранных издательств попадают книги, которые на моем, например, столе не задержались бы и пятнадцати минут. Конечно, наряду с плохими книгами попадаются и хорошие, но путаница царит такая, что серьезный отбор очень затруднен.

Литературные премии. Присуждение литературных премий должно, казалось бы, иметь целью пропаганду книги-победительницы. Но очень часто книги, вызывающие интерес читателей, отмечают премией лишь для создания рекламы... самой премии. Издатели, оказывающие немалое влияние на жюри всех наиболее престижных литературных премий, всячески способствуют такой постановке дела, ибо понимают, что присуждение премии книге, которая уже и без того сулит им солидную прибыль, может еще больше повысить на нее спрос, а вот писатель, числящийся в «трудных» (с точки зрения прибыли), не очень им выгоден. Вот почему у нас никогда не присуждались, а если и присуждались, то с большим запозданием, престижные премии таким выдающимся писателям, как Томмазо Ландольфи, Карло Эмилио Гадда, Антонио Пиццуто, Итало Кальвино, Альберто Арбазино, и таким поэтам, как Джорджо Капрони или Андреа Дзандзотто. Конечно, существуют еще жюри, сохраняющие некоторую независимость и сопротивляющиеся давлению со стороны издателей,— например, жюри премий Виареджо, Монделло и ряда премий менее известных; но все же число действительно достойных книг-победительниц не очень велико, тогда как сплошь и рядом премиями отмечаются просто никуда не годные произведения. Потребительские критерии отбора, навязываемые издателями, сочетаются с интригами авторов, с давлением со стороны политических «рекомендателей» и с непотизмом. Подобная ситуация отмечается во всех странах, Италия же в этом отношении имеет очень давние традиции. Но если непотизм, влияние пап и монархов в политике могли обеспечить настоящую, осязаемую власть, то литературный непотизм обеспечивает лишь эфемерную славу и жалкие суммы. Ради этих небольших денег наше литературное сообщество готово поступиться идеями и хорошим вкусом, стилем и настроением, которые, собственно, и определяют качество книги.

Как составляются списки книг, пользующихся наибольшим спросом. Если бы эти списки, публикуемые еженедельно некоторыми газетами, имели под собой какое-то основание, они должны были бы совпадать хотя бы в самых общих чертах. Цифры ни о чем здесь не говорят. Чаще всего получается так, что книга, занимающая первое место в списке, опубликованном в одной из газет, в других газетах вовсе не упоминается. Как писал Паоло Маури в «Репубблике» (газете, которая никогда не занимается подобными мистификациями), места в таких списках распределяются под давлением издателей в соответствии с их желаниями, а не с фактическим читательским спросом. Недавно в одном таком списке среди произведений, пользующихся наибольшим спросом, фигурировало название книги, которая из-за какого-то непредвиденного обстоятельства еще даже не поступила в продажу. Такая классификация полностью зависит от издателей, нередко составляющих списки по собственному усмотрению, ибо они знают, что читатель обязательно потянется к книге, если ее читают другие (как все хотят жевать именно тот сорт резинки, который жуют другие). И случается, что такой фиктивный успех увенчивается подлинным коммерческим успехом, хотя условия для него созданы искусственно. Я бы сказал, что из всех мерок, определяющих качество книги, указание ее в списке бестселлеров следует считать наименее отвечающим фактическому положению вещей.

Литературная критика. Несмотря ни на что, литературная критика у нас играет незаменимую роль. Критик подписывается под собственным суждением, он несет за него личную ответственность, от его суждений зависит читательское доверие к нему, тогда как руководители издательств, члены жюри литературных премий и лица, периодически составляющие списки книг, пользующихся наибольшим спросом, прикрываются коллективной ответственностью или анонимностью. Я сказал: «несмотря ни на что» потому, что и критики не вполне свободны от давления со стороны издательств, от рекомендаций заинтересованных лиц, от газеты, где они печатаются, и от ряда других факторов; но в большинстве своем они все же независимы. Естественно, главный критерий, позволяющий судить о том, годится ли книга для перевода,— это непосредственное ознакомление с текстом. Тем не менее я считаю, что к каждой итальянской книге, предложенной для перевода, следует прилагать маленькое «досье», содержащее выдержки из основных рецензий, опубликованных в Италии; это может облегчить задачу тому, кто будет решать, переводить книгу или нет. Когда путешественник приезжает в город, которого он совсем не знает или знает плохо, первым делом он приобретает хороший путеводитель. Помимо рецензий на книги, вышедшие недавно, немалую пользу делу может принести учебник по истории итальянской литературы XX века, которым широко пользуются и в наших, и в зарубежных университетах и на который я хочу обратить внимание редакций советских издательств и литературных журналов. Книга эта, написанная профессором Сиенского университета Романо Луперини, выпущена в свет издательством «Лоешер» в Милане.

Встречаются, конечно, книги, обойденные вниманием литературной критики: их и пишут и продают как развлекательное чтиво; в таком только качестве их можно переводить. Главное — представлять их должным образом, чтобы в сознании читателей не возникала путаница. Это не только нерентабельно, но и вредно. В магазине, где продаются настоящие драгоценности, вы никогда не увидите поддельного украшения, а там, где продается бижутерия, не стоит искать настоящих ювелирных изделий. Если даже торговцы делают такое различие, то почему бы его не делать — в пределах возможного — и тем, кто занимается публикацией и распространением таких ценностей, как произведения культуры.

Знакомство с творчеством великих русских писателей-классиков Пушкина, Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова, Лескова, Тургенева — непременный этап в развитии каждого культурного человека на Западе. Некоторые ваши книги, особенно такие, как «Записки из подполья» Достоевского, сыграли определяющую роль в становлении современной прозы, в разрыве с удобными психологическими условностями, основы которых были заложены романом XIX века — продуктом общества, очень отличавшегося от нашего. Вся западная культура в долгу перед вашей страной — отсюда уже в первые десятилетия XX века до нас дошли голоса авторов лучших произведений поэзии, прозы, теории литературы и искусства. На каком-то этапе вмешательство политической бюрократии и всевозможные цензурные препоны способствовали культурной изоляции СССР, что нанесло ущерб не только вашей культуре, но и тем на Западе, кто относился к ней как к кладезю идей и животворных примеров. Старые культурные связи никогда не прерывались полностью, но им был причинен серьезный урон. С тех пор как нездоровое влияние цензуры затруднило развитие связей между СССР и остальным миром, Европа словно бы сократилась в размере. Необходимо, чтобы возродившимся сегодня надеждам соответствовали новые практические начинания и новые каналы связи. Нельзя допускать, чтобы сорное семя заглушало добрые всходы.

г. Рим

Перевод с итальянского Ф. М. ДВИН

◆

Н. ДМИТРИЕВА

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

Судьбы искусства: век XIX, век XX

В дневниках Ромена Роллана есть запись о посещении парижского Осеннего Салона в 1912 году. Молодые художники, пишет Роллан, «изо всех сил стараются создать нечто оригинальное и изощряются в поисках новой красоты; они обшаривают все страны и эпохи — от древних египтян и этрусских ваз до фресок Джотто и фламандских тканей, от африканских бушменов и обитателей Океании до лапландцев и монголов» [1]. XX век тогда только начинался, еще впереди были его социальные потрясения, но общее направление его культуры уже обозначилось. В течение следующих десятилетий продолжались поиски оригинального и «обшаривание всех стран и эпох».

Одни лишь собственные европейские традиции XIX века оставались в пренебрежении. Следование им считалось признаком консерватизма и отсталости, вплоть до того, что художники-«традиционалисты» (если говорить о пластических искусствах), независимо от размеров дарования, даже не включались в антологии современного искусства.

Только когда XX столетие вступило в свою последнюю четверть, когда не за горами его конец, побуждающий отчитываться перед историей в достижениях и утратах,— отношение к XIX веку, как определенной культурной эпохе, начинает меняться на глазах. Пока это сказывается не столько в склонности продолжить его традиции (если не считать моды «ретро»), сколько в оживлении интереса к его памятникам и деятелям: произведения XIX века усиленно изучаются, интерпретируются, экранизируются, коллекционируются. Заниматься предсказаниями будущего бессмысленно, но не исключено, что за этим последует и начало возрождения его принципов в современном искусстве. Хотя, как всякое возрождение, совершаясь в новом историческом контексте, оно не может быть простым повторением.

Возникающую «моду на старину» объясняют приливом сентиментальной ностальгии. Но если он имеет место, то, очевидно, имеет и свои причины. Известная поговорка: «Новое — это хорошо забытое старое» более остроумна, чем верна. Не всякое забытое старое возрождается; для этого оно должно быть ж и в ы м прошлым, продолжающим жить, явно или потаенно, в настоящем.

Если проблемы, поставленные прошлым, не сняты последующим развитием, если новые пути оказались менее результативными, чем ожидалось, и менее удовлетворяющими, чем старые,— в этом случае, как говорит английский историк и философ Р. Дж. Коллингвуд, «тенденция возврата к прошлому окажется весьма сильной» [2]. Проникнутая диалектикой, его концепция основана на предпосылке: «прошлое, которое изучает история, является не мертвым прошлым, а прошлым, в некотором смысле еще живущим в настоящем».

Мысль о «живом прошлом», какой она ни кажется на первый взгляд самоочевидной, проливает свет не только на многочисленные в истории культуры факты стойкой живучести пережиточных реликтовых форм, но и на те, тоже нередкие, случаи, когда «старое» возрождается в обновленном качестве и оттесняет «новое».

Каждый этап культурного развития представляет сложное напластование тенденций и никогда, при ближайшем рассмотрении, не выглядит чем-то монолитным. Историки культуры часто говорят о «переходных эпохах», это подразумевает существование эпох «не переходных», то есть всецело стабильных. Но бывают ли такие?

[1] Ромен Роллан. Собрание сочинений. М., 1958, т. 14, с. 721.

[2] Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 404.

ДМИТРИЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Кандидат искусствоведения. Автор книг «Краткая история искусств. Очерки в двух томах» (1968, 1975), «Пикассо» (1971), «Винсент Ван Гог» (1984), «Врубель» (1984).

Строго говоря, переходной является любая эпоха: каждая проницаема для прошлого и чревата будущим. Понятие культурной эпохи указывает на совокупность идей, преобладающих в то или иное время у того или иного народа. Одновременно с господствующими идеями в том же обществе существуют другие, оппозиционные — они, очевидно, также принадлежат этой же эпохе, входят в спектр ее духовных излучений, хотя на первый план выходят позже. Поэтому так трудно установимы хронологические границы. Тот же Коллингвуд часто вспоминает рекомендацию историка XIX века Актона: «Исследуйте проблемы, а не периоды».

Иной раз переход от одного этажа к другому совершается длительно и постепенно (как при переходе от средневекового миросозерцания к ренессансному), в других случаях — взрывчато. Пример последнего — смена культурных эпох в новейшие времена. Здесь завязки и развязки драмы идей довольно близко совпадают с календарными границами столетий, отмеченными большими социальными потрясениями; эти потрясения отзываются на состоянии умов и выводят наружу те сдвиги в миросозерцании, которые до поры до времени назревали подспудно. Культурная эпоха, обозначаемая как «XIX век», восходит к событиям французской революции 1789—1794 годов; переход к «XX веку» связывается с первой мировой войной, начавшейся в 1914 году. В социально-экономическом плане оба эти периода являются последовательными стадиями одной эпохи — развитого капитализма. В XX веке появление его грозного антипода — социализма, победившего в России и других странах, вносит коррективы в стратегию и тактику буржуазного общества, однако принципиальные экономические основы его сохраняются, как и политические формы, унаследованные от прошлого столетия. Но в области духовной культуры западноевропейский мир оказывается полностью переориентированным: здесь происходят перемены крутые и разительные.

Показательно, с чего начинались (в этой области) XIX век и век XX. В обоих случаях — переломы художественного сознания, обращение к новым, по сравнению с предшествующими, художественным методам. Абсолютно новыми эти методы не были: зачинатели призывали духов прошлого. Разница в том — каких. Французская революция, а после нее — империя Наполеона, по словам Маркса, «драпировалась поочередно в костюм римской республики и костюм римской империи» [3], нуждаясь в героических котурнах. Этот героизированный неоклассицизм, вскоре оттесненный романтизмом, больших художественных ценностей не создал, на его искусстве лежит печать искусственности. Но он свидетельствует, что умами владели возвышенные идеи героизма, подвига, самопожертвования — пусть и выражаемые на заемном языке.

На пороге же XX столетия начиналось лихорадочное «обшаривание стран и эпох» — не героических, а преимущественно таких, которые для европейцев были темны и загадочны. То обстоятельство, что успехи археологии и этнографии приоткрыли над ними завесу и сделали более доступными для обозрения произведения иных культур, еще не означало, что они стали доступны для понимания. Их язык и дух был еще менее понятен французам начала XX века, чем язык и дух Древнего Рима — французам начала XIX века. Но чем менее ясны корни и цели, вызвавшие к жизни художественный феномен, тем больше простора для его вольной интерпретации. В странных для европейского сознания архаических образах новаторы XX века стремились выразить себя, свою собственную душевную смуту, столь непохожую на громогласное воодушевление якобинских и наполеоновских бардов.

Прошлое недавнее, «свое», с которым не утрачен общий язык, для таких целей меньше всего подходит. Его трудно интерпретировать на новый лад, потому что оно слишком близко. Оно пригодно не для интерпретации, а для полемики, коль скоро его содержание представляется устаревшим. Авангардные течения (понимая «авангард» в обобщающем смысле — неоклассицисты тоже были в свое время авангардом) полемизируют с предшествующими тем более энергично, отрицают их тем более непримиримо, чем более открыто те продолжают действовать. По мере того как их загоняют вглубь и их жизнь в настоящем становится меркнущей, слабо мерцающей — энергия отрицания у их антагонистов слабеет. А потом происходит то, о чем говорится у Коллингвуда: либо старые методы отживают окончательно и плоды их становятся для современности мертвыми реликтами (может быть с тем, чтобы когда-нибудь воскреснуть в качестве объектов новых интерпретаций, изменив свой первоначальный смысл), либо, если история доказывает их неисчерпанность, они возрождаются в своих принципиальных основаниях, оттесняя былой авангард на арьергардные позиции. Такова грубая схема процессов, в действительности, конечно, более сложных.

За различием методов стоит антагонизм идей. Надо попытаться понять идейное противостояние XIX и XX столетий.

О раздробленности, разностильности художественной культуры XIX века говорено было много, начиная с самих ее деятелей. Уже они замечали, что умножение количества художественных произведений сопровождается качественным ущербом, перевесом посредственности; что буржуазная публика, в искусстве не разбирающаяся, но желающая за свои деньги получать удовольствие, покупает и развращает таланты; что нет больше хоровода муз — разделение труда проникло в искусство, виды его развиваются порознь, а такие, как архитектура (камертон стиля в былые века) и художественные ремесла, приходят в упадок. И все это, в общем, соответствовало действительности.

Но с исторической дистанции становится лучше видно, что, при всей внешней нецельности, эта культура все же обладала внутренним единством. У нее были доста-

[3] Маркс и Энгельс об искусстве. М., 1957, т. 1, с. 130.

точно стойкие идеальные представления, к которым на свой лад стремились приблизиться различные течения века. Их противостояние не было абсолютным: они спорили, но более или менее органично вырастали одно из другого, пока не наступила крутая ломка внутренних установок. Резкость разрыва с прежними дает право говорить о наступлении новой культурной эпохи — XX века. Она в свою очередь представляет некоторое единство при множественности тенденций. Но об этом позже.

«Свобода, равенство, братство» — лозунг третьего сословия, написанный на знаменах французской революции 1789 года. Нет нужды говорить, как мало он мог быть воплощен в практике победившего капитализма: его утопичность обнаружилась уже во времена выдвинувшей его якобинской диктатуры. В буржуазных республиках и конституционных монархиях XIX века не было равенства, так как люди не были равны экономически, не было свободы, так как они не были свободны от власти денег, и не было братства — продолжались братоубийственные войны.

Все это общеизвестно. «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век», как сурово назвал его русский поэт («Под знаком равенства и братства здесь зрели темные дела»), на золотой век не походил (правда, не мешает помнить, что Монтень называл свой шестнадцатый век «свинцовым»). И все же идея «свободы, равенства, братства», именно как идея, оказалась чем-то большим, нежели демагогической фразой. Она пустила корни в умах, проросла в сознании как духовный, нравственный — и художественный — идеал. Идеал гуманизма — или, лучше сказать, гуманности, так как он коренным образом отличался от ренессансного гуманизма. Последний, имея своей предпосылкой достоинство избранной личности, культурной элиты, питал глубокое презрение к непросвещенному и непосвященному плебсу. А что такое гуманность XIX столетия? Вот высказывание Достоевского о Викторе Гюго:

«Его мысль есть основная мысль всего искусства XIX столетия (подчеркнуто мною.— **Н. Д.**), и в этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества (...). По убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия (...). Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи»[4].

Это совсем не похоже на гуманизм ренессансный, даже противоречит ему. Ошибка Александра Блока в его докладе «Крушение гуманизма» была в том, что он понимал гуманизм в ренессансном смысле и, доводя свою мысль до конца, констатировал его крушение. Но «мысль» XIX века была совсем другая. Достоевский называет ее христианской. Действительно, идея братства и равенства всех людей перед богом заложена в христианском учении: в эпоху Реформации вожди крестьянских повстанцев, требуя отмены крепостных повинностей, опирались на текст апостольских посланий: «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». Но восстания подавлялись, а костры инквизиции пылали. «Слова! Слова! Религия милосердия сжигает, религия братства гильотинирует... Афиша, всегда противоречащая тому, что происходит на сцене!»[5] — писали Гонкуры. Вечная трагедия общества: расхождение идеала и дела. Но идеалы не бессильны, они формируют культуру. Как свет далеких звезд, идея равенства и братства дошла до XIX века, став главным нервом культуры, уже секуляризованной. Равенство теперь мыслится на уровне социума.

Сюда присоединяется идея ценности личности, идущая от Возрождения, но освобожденная от высокомерной элитарности. Присоединяется разочарование в абстрактном Разуме просветителей, идеальное царство которого холодно и стерильно, как страна гуигнгнмов у Свифта. Диктату разума романтики противопоставили стихию раскрепощенного чувства и воображения, открыли сложность человеческой души, и эти открытия не остались исключительным достоянием романтизма, они напитали всю художественную культуру века, весь его реализм. Достоевского, кажется, никто не числил романтиком, и сам он считал себя реалистом до мозга костей, но среди его любимых авторов были Вальтер Скотт, Гюго, Гофман,— и кто же, как не Достоевский, прозревал такие таинственные глубины человеческой личности, какие не снились иным романтическим мудрецам.

«Восстановление погибшего человека» лишь тогда и могло быть поставлено искусством как идеальная цель, когда в этом задавленном человеке открыли л и ч н о с т ь — будь то каторжник Жан Вальжан, урод Квазимодо, коллежский регистратор Вырин, жалкий Поприщин или какой-нибудь подметальщик улиц Джо (у Диккенса), который даже фамилии своей не знает. Или пахарь у Милле, едоки картофеля у Ван Гога, мужики Крамского и Репина. Вплоть до героев голубого и розового периодов Пикассо. Искусство прежних эпох, за редкими исключениями (Рембрандт, портреты шутов у Веласкеса), с подобными героями не зналось, во всяком случае уж никак не видело в них равноправных членов человеческого братства. Были расторопные слуги, преданные оруженосцы, были развеселые пьяницы в трактирах, колоритные нищие, остроумные плуты, лукавые сводни... Только в «темные» средневековые времена еще виделся образ трагического плебея, распятого на кресте.

В искусстве XIX столетия «маленькие люди», веками распинаемые, пришибленные до немоты, заговорили, отстаивая свое человеческое достоинство. Безумный Поприщин задается безумным вопросом: «отчего происходят все эти разности. Отчего

[4] Русские писатели о литературном труде, Л., 1955, т. 3, с. 127—128.

[5] Э. и Ж. д е Г о н к у р. Дневник, М., 1964, т. 1, с. 237.

я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» Безропотный Евгений осмеливается грозить державцу полумира: «Ужо тебе!» Нищая старуха отказывается идти в работный дом, предпочитая умереть от голода, но свободной. Забитая дурочка-хромоножка прогоняет от себя снизошедшего до нее «прекрасного принца».

В подобных символических акциях литературных героев не приходится вычитывать призывы к социальной революции, к политической борьбе — итоги буржуазных революций тогда уже показали, как мало выиграли от них «униженные и оскорбленные». Вопрос так и не ставился. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены», анализируя «Шинель», довольно остроумно показал, что, в сущности, для облегчения участи Акакия Акакиевича ничего сделать невозможно: что же делать, раз он решительно не способен ни на что другое, как только переписывать бумаги? И как, даже «по законам разума» (если предположить, что разум в обществе воцарился), поступить с Поприщиным, кроме как отправить в сумасшедший дом, где ему будут лить на голову холодную воду? Как «восстановить» погибшего человека? Во имя чего искусство призывало — не к состраданию только (дамы-благотворительницы тоже сострадали), но к безусловному «оправданию униженных парий общества», к душевному братанию с ними?

Это было приуготовление умов и сердец к тому, чтобы принять в себя великую идею единой семьи человеческой, сжиться с этой идеей задолго — очень задолго! — до того, как она сможет получить действительное, не номинальное осуществление в жизни. Искусство в этом смысле предваряло ход вещей, являясь жизнестроительством. И только оно могло это делать. «Поэты — непризнанные законодатели мира» (Шелли).

Художественно-нравственное миссионерство, прямое или косвенное, отличало большую культуру XIX века; важно заметить, что она достигала своих эстетических высот благодаря этому, а не вопреки и не помимо. В русском искусстве гуманная идея века выражалась с наибольшей открытостью и силой, порой публицистично, но Достоевский не преувеличивал, находя «следы той же идеи» во всех европейских литературах. Если русская литература «вышла из гоголевской «Шинели», то подобное же говорилось во Франции о Гюго («Мы все ведем начало от него»,— говорил Сен-Виктор[6]); точно так же мощное влияние Диккенса распространялось на всю английскую литературу. «Слово... слово — великое дело!» (Достоевский). Оно произносилось не только литературой, но театром, музыкой, живописью. Не только русскими передвижниками, но и Делакруа, Жерико, Домье, Курбе, Милле, Ван Гогом, Лотреком, Пикассо; слово молодого Пикассо было последним по времени, но не по значению. Он совершал паломничества в «отверженные селенья» заключенных тюрьмы Сен-Лазар, слепцов, нищих, чтобы, наполнив душу ранящими впечатлениями, посвятить свое искусство «восстановлению погибшего человека».

Это была установка более интуитивная, чем умышленная. К ней причастны были и те художественные течения, которые сознательно не ставили перед собой нравственно-воспитательных задач, например французские импрессионисты. Среди них были люди разных политических убеждений, от роялиста Дега до социалиста Писсарро, что не мешало им быть единомышленниками в искусстве,— они меньше всего стремились сделать его рупором общественных идей. Но в своей аполитичной живописи импрессионисты были истинными стихийными демократами, то есть носителями все той же идеи века. Отвергнув иерархию высокого и низкого, они эстетически уравняли Венеру и Нини, светских дам, гризеток, прачек и балерин, государственных деятелей и посетителей дешевых харчевен. По точному выражению Л. Вентури, «импрессионизм по-своему способствовал признанию человеческого достоинства обездоленных классов, выбирая простые мотивы, предпочитая розам и дворцам капусту и хижины,— подчеркивая свою неприязнь ко всякой элегантности и социальной утонченности»[7].

Словом, от романтиков начала века и до неоромантиков конца века искусство исповедовало идею братства людей и было настоящим искусством постольку, поскольку ее исповедовало. До тех пор пока она, эта идея, не вставала перед общественным сознанием как некий идеальный императив, дело обстояло иначе: Рафаэль, Тициан, Рубенс, Тьеполо были и помимо нее великими художниками (и, конечно, остались ими навсегда). Освященная веками сословная иерархия являлась тогда естественной почвой искусства, так же как в древности — никем не подвергавшееся сомнению превосходство свободных граждан полиса над рабами.

Когда же победившая буржуазия «разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения», разорвала «пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям»[8],— тогда теряют силу этические и эстетические нормы, исходившие из разделения людей на высших и низших. Фактически неравенство и порабощение одних другими остается и даже усугубляется, но теперь оно основано исключительно на деньгах — и исчезает ореол благородства властителей. Разбогатевший «мосье Прюдом» лишен ореола, хотя и властвует.

Тем, кто не хотел угождать мосье Прюдому, приходилось нелегко, ибо они от него все же зависели, и зависимость была тем более тягостной, что не смягчалась никакими иллюзиями относительно сильных мира. Отсюда межеумочное положение художников, постоянная нужда, социальная изоляция, побуждающая обособляться в касту, в кружки, вести «берложью жизнь» и наблюдать за жизнью общества как бы со стороны, не чувствуя себя ее прямыми участниками. Однако от взоров

---

[6] «Дневник» Гонкуров, т. 1, с. 423.

[7] Л. Вентури. От Мане до Лотрека. М., 1958, с. 41.

[8] Маркс и Энгельс об искусстве, т. 1, с. 182.

неангажированных наблюдателей не могли укрыться пороки и противоречия системы, которые менее очевидны для лиц, отождествляющих себя с системой. Обостренный критицизм составляет характерную и почти повсеместную черту искусства XIX столетия.

Запись Гонкуров от 1866 года: «XIX век — одновременно век Правды и век Брехни. Никогда еще столько не лгали — и никогда так страстно не искали истину»[9].

Да, это была сложная эпоха, где личности, отбросившей сословные иллюзии, нелегко было самоопределиться. Нет надобности упрощать картину, представляя себе, будто одна часть художественной интеллигенции только и делала, что лгала, другая — только и делала, что искала истину. Все сложно переплеталось. Искатели истины жили в обществе, чей уклад разительно противоречил идеалам, они сознавали это и вместе с тем не могли существовать вне уклада. Дети века, они сами в той или иной мере были причастны к его меркантилизму, суетности и духу конкуренции. Из того же дневника Гонкуров, интереснейшего документа эпохи, мы узнаем, «как жили поэты». Описываются разговоры и споры на регулярных «обедах у Маньи», где собирался цвет французской литературы. Замечательна широта их интересов, блеск и независимость суждений, а вместе с тем сколько мелких страстей, интриг, компромиссов ради избрания в Академию или ордена Почетного легиона — в том числе у самих летописцев литературной жизни, Гонкуров! Как жадно домогались они успеха и как ревниво относились к чужому успеху, как неумеренно превозносили свое значение в литературе!

Томас Манн вспоминал, что при вступлении на литературный путь его встретили «конкуренция, соревнование, зависть, клевета и озлобленность. Всего этого в профессиональной литературной среде, куда человека неожиданно вовлекает потребность творчества, пожалуй, даже больше, чем в других областях жизни...»[10]

Критицизм искусства XIX века не сводился ни к негативному взгляду на вещи, ни к сатире на существующие порядки; сатиры и желчи было немало и в искусстве добуржуазных эпох. Новый критицизм был искупительным самоочищением, он обращался столько же вовнутрь, на человека, на себя, сколько вовне — на общественный строй. Критический анализ производился не от лица каких-то непогрешимых судий: перед лицом своего искусства художник представал одновременно и судьей, и жертвой, и подсудимым. Быть художником, ищущим истину, значило идти на риск самосожжения, чему XIX век дает особенно много примеров: мартиролог обширен.

Чтобы говорить нелицеприятную правду, требовалась независимость взгляда — свобода. «Свобода от лжи и насилия, в чем бы они ни проявлялись» (Чехов). От Пушкина до Чехова, от Гюго до Роллана, от Байрона до Ибсена проходит сквозь всю большую литературу века страстная жажда свободы — духовной свободы художника, как условия его творчества и как прообраза человеческой свободы вообще. Так же как равенство и братство, она была идеальной целью, недостигаемой в практической жизни, но впервые в истории овладевающей умами и чувствами. У древних в их пантеоне божеств не было божества свободы. Это божество, эта муза родилась в XIX столетии. Делакруа изобразил ее на баррикаде, где под ее знаменем объединились рабочий, гамен, художник.

С высоты идеалов, которые в лозунгах третьего сословия были провозглашены декларативно, но в общественной практике получили лишь извращенное и лицемерное воплощение, искусство пристально исследовало саму эту практику, включая человеческую личность во всей ее сложности. Если бы оно отвращало взор от конкретных жизненных реалий, его приверженность идеалам оставалась бы на том же уровне чистой декларативности, что и демагогия либеральных политиков. Реализм XIX века равнозначен не «точному отображению» (которого вообще не бывает), но поискам истины о человеке. Романтизм, уже многого здесь достигший, но грешивший выспренностью и отвлеченностью, неизбежно перерастал в реализм. Это была единая линия развития. Искусство стремилось быть голосом правды в неправедном мире, невзирая на то что добываемая истина далеко не всегда вселяла бодрость и что сами художники были жителями этого неправедного мира, вынужденными принимать его условия игры. Более того — они были его детьми, носителями его генов, хотя и «блудными детьми». Все это рождало трагическую напряженность художественного самосознания. Среди выдающихся талантов века мало было «олимпийцев» — преобладали таланты с обнаженными нервами, далекие от душевной уравновешенности.

И все же поражает изобилие талантов, реализовавшихся в такое трудное для искусства время. Главным образом — писательских, но и музыкальных, пластических, драматических. Не было ли их даже больше, чем в прежние века (хотя и посредственностей стало больше)? Ведь и сейчас, в конце XX века, романы и стихи, которые мы читаем, музыка, которую слушаем, картины, наполняющие музеи,— это на очень большую долю произведения XIX века, ставшие классикой.

Едва ли XIX столетие могло бы дать такой богатый художественный урожай, если бы его мастера не находили никакой опоры в окружающей их среде. Если они сами из этой среды выдвигались и получали, худо ли, хорошо ли, возможность в ней действовать, то отсюда очевидно следует, что и среда была не бесплодна и не начисто лишена «духа музыки». Какая же это среда? Не тот простой народ, не те порабощенные низы и униженные парии общества, на защиту которых вставало искусство. Они в массе своей не читали книг, не посещали выставок и концертов. В цивилизованной стране Англии в 1830-х годах 43% взрослого населения было неграмотно (правда, в 1894 году неграмотных осталось только 3%).

[9] «Дневник» Гонкуров. т. 1, с. 527.
[10] Томас Манн. Собр. соч. М., 1960, т. 9, с. 85.

В России Некрасов мог лишь мечтать о времени, когда мужик «Белинского и Гоголя с базара понесет». У неграмотного народа было свое искусство, имевшее незапамятные истоки и тогда еще далеко не выдохшееся,— но искусство «ученое», профессиональное, оставалось для него за семью печатями.

Стало быть, нигде как в сфере буржуазной цивилизации находились элементы, составлявшие его сочувственную аудиторию и оказывавшие ему материальную поддержку,— без этих двух условий искусство было бы обречено на немоту, просто не могло бы сбыться. Между тем его достижения свидетельствуют об обратном.

Это не меняет того бесспорного факта, что оно развивалось в оппозиции к общественному строю, не следует только забывать, что и само буржуазное общество не состояло сплошь из рыцарей наживы и пошлых обывателей, из Робер Макэров и Прюдомов. Так называемые средние слои — плоть от плоти третьего сословия, которое совершало антифеодальные революции и уже в силу этого не было глухо к демократическим идеалам. Буржуазная публика была внутри себя неоднородна. «Буржуазная» — значит включенная в определенную систему экономических отношений, но еще не значит — фатально невосприимчивая ни к чему, кроме денежных интересов. «Буржуа» — звучит одиозно, ассоциируясь с денежным мешком; «бюргер» — уже менее одиозно, подразумевая некую добропорядочность; «ситуайен» — обращение, принятое в годы революции — и вовсе хорошо. Между тем все эти три слова происходят от корня — «город» и по изначальному смыслу означают горожан.

Томас Манн взял эпиграфом к своей речи «Любек как форма духовной жизни», произнесенной в 1926 году, строки из Гёте:

...Откуда и взялось бы все, когда
Бюргер не создал для нас города?

Известно, как много зависело в культуре Западной Европы от маршанов, коллекционеров, издателей, антрепренеров и прочих деловых людей. Очень часто коммерческие их цели противоречили художественным, что было источником тяжелых конфликтов, вынужденных компромиссов со стороны художников и драматических последствий для тех из них, кто был не способен к компромиссам: так Ван Гог всю жизнь наталкивался на глухую стену «непродаваемости» своих картин. Тем не менее нужно признать, что участь художников была бы гораздо тяжелее без Дюран-Рюэля, Жоржа Пти, Воллара, без купца Павла Третьякова, без промышленников С. Мамонтова и С. Морозова.

Если обратиться к Англии викторианской поры, то и там отношения художника и среды, художника и публики едва ли укладывались в слишком простую схему: на одном полюсе самодовольная респектабельная буржуазная публика, предпочитающая помпезное искусство, на другом — подлинные художники, презирающие эту публику и гонимые ею. Кто же тогда создал великую, уже прижизненную, славу Диккенсу, не щадившему никаких установлений государственного организма Британии? И кого имел в виду Диккенс, высказывая свое знаменитое политическое кредо: «Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна; моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна»[11]? Эти слова были встречены взрывом аплодисментов, хотя произнесены были не в трущобах Ист-Энда, а на собрании Бирмингемского института, в присутствии и с одобрения мэра Бирмингема. «Народ, которым правят», видимо, означал в понимании Диккенса широкие слои населения; к ним он обращался и был ими услышан.

Примеров можно приводить много; вывод один: гуманистическое искусство не являлось чужеродным организмом в обществе XIX столетия. Между буржуазным цивилизованным миром и эмансипировавшимся кланом художников складывались отношения сложные, конфликтные, но не исключающие постоянного осмоса, взаимопроникновения. Художники сами были гражданами этого мира, подверженными в той или иной мере его порокам, а общество, из лона которого они вышли, не представляло собой глухую стену, оно состояло из личностей, обладавших в той или иной мере теми же потенциями, что и художники. Нельзя не видеть такого естественного процесса, как проникновение искусства человечного в умы и сердца людей.

Искусство не оставалось гласом вопиющего в пустыне, потому что не смотрело на окружающий мир как на пустыню — оно видело там своих сограждан, собратьев. Подлинные художники — это важно подчеркнуть — не опускались до морализирования, приспособленного к условиям и условностям общественного строя. Они звали своих соотечественников к идеалам, возвышающимся над этим строем, а не предписывали, как им вести себя здесь и сейчас. Пушкин отказывался «сметать сор» с улиц черни. Но он же — и в этом нет противоречия — сказал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Впервые в истории выступив на защиту слабых и оспорив право сильного, искусство XIX века отдало свою любовь и родственное внимание многому такому, что прежде как бы ускользало от муз, предводительствуемых прекрасным, но высокомерным Апполоном. Оно пристрастно и нежно полюбило детей, стариков, «нищих духом», простую природу, животных; по-новому одухотворило любовь мужчины и женщины, создав интимную лирику такой проникновенности и чистоты, какая была неведома прежним эпохам. Оно изощрило наблюдательность, нашло язык для тончайших движений чувства, обогатило самый спектр чувств так, что, подчас сами того не сознавая, мы привносим эмоции, воспитанные культурой XIX века, в наше восприятие произведений прошлых столетий.

Гуманизирующая роль этого искусства, несомненно, была велика. Как знать, не

[11] Чарльз Диккенс. Собр. соч. М., 1962, т. 28, с. 534.

его ли влиянию надо приписать то, что всякого рода насилие в плане этическом стало мыслиться как зло, а убийство человека — как нечто противное человеческой природе. В старину на это смотрели проще.

Однако по мере того, как вживались в сознание гуманные идеи, нагляднее становились и ножницы между ними и общественной практикой. Пусть захватнические войны стали вестись под псевдонимом оборонительных — они тем не менее велись; смертные казни перестали устраиваться публично, как зрелища, но не были отменены; угнетенные классы считались формально обладающими политическими правами, но были фактически бесправны. Быт средних классов к концу века не стал ни содержательнее, ни поэтичнее; напротив — как бы изверившись в своем моральном праве на благополучие, эти средние классы, их интеллигенция переживали упадок сил и духа, вступали в полосу какого-то блеклого существования. Деградация родов, семейств — всех этих Будденброков, Ругон-Маккаров, Артамоновых — тема многих художественных произведений. Вплоть до «Вишневого сада» Чехова, где так щемяще звучит мотив иссякания жизненных сил не только у разорившихся владельцев сада, но и у того внешне преуспевающего делового человека, который приобрел сад.

Все вместе взятое — комплекс умонастроений «fin de siècle», скепсиса, усталости, разочарования: праведной жизни нет, а жизнь, осознаваемая как неправедная, теряет вкус.

Деля эти настроения, искусство постепенно разуверялось в своей жизнестроительной миссии. В сборнике «Вопросы философии и психологии» от 1897 года была помещена статья-обзор под характерным названием «Предсмертные мысли нашего века во Франции». Широко цитировались французские писатели — не «декаденты», но реалисты: Золя, Бурже, Доде, Мопассан. «Глаза нашего поколения не горят огнем,— говорит Альфонс Доде.— У нас нет пыла ни к любви, ни к отечеству (...). Мы все, люди последнего чекана, невежественные, как я, или ученые, как ты, мы все поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас души анархистов, которым недостает храбрости для действия». Холодным отчаянием звучат слова Мопассана: «Счастливы те, которые не замечают с неизмеримым отвращением, что ничто не изменяется, ничто не проходит, и все утомляет (...). И как это до сих пор публика нашего мира не закричала: «Занавес!» — не потребовала следующего акта с другими существами, отличными от людей, с другими формами, с другими праздниками, с другими растениями, с другими звездами, с другими изобретениями, с другими приключениями?» [12]

Сознание, что искусству не дано радикально облагородить формы жизни, было трагическим для художников-гуманистов. Великого писателя Льва Толстого оно привело к экстремальным выводам, изложенным в трактате «Что такое искусство» и многих статьях. «...Та деятельность, которая называется художественной и которой я прежде отдавал все свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо неприятна мне по тому несвойственному месту, которое она занимала в моей жизни и занимает вообще в понятиях людей богатых классов».[13] И так чувствовал не один Толстой.

Но и нечто соблазнительное для сильно разросшегося к концу века художественного племени заключалось в том, чтобы сложить с себя бремя миссионерства. Это имело двойственные последствия. С одной стороны — широкий разлив того, что Толстой называл «поддельным искусством», основанным на заимствованиях из испытанного арсенала средств, на занимательности и эффектности. То есть произведений салонных, откровенно угождающих той публике, которая другого и не искала. С другой стороны — появление тенденций противоположных: не заискивать перед публикой, но и не пытаться смягчать ее нравы и что-либо ей проповедовать. Вообще поменьше иметь дела с прозаической действительностью, а уйти в свой поэтический мир, обособив сферу эстетического от этических, познавательных, просветительских и прочих задач, красоту — от истины и добра. «Искусство для искусства» становилось прибежищем многих талантов. Художников этого склада называли декадентами, на них сердились, от них открещивались — но мало-помалу под обаянием их утонченных чар оказывались достаточно широкие круги все той же презираемой публики: ведь и она была подвержена тревожной меланхолии и скепсису, взрастившим хрупкие цветы поздней культуры. Типическое порождение этой культуры, стиль «модерн», с удивительной быстротой проник в быт, сделался массовым.

В эстетизме конца века уже заключались эмбрионы идей, которым суждено было прорасти в следующую эпоху. Но в нем еще было много «человеческого, слишком человеческого». Возлагались надежды на облагораживающее действие красоты — только красоты. Но красота оказывалась сильно обескровленной, когда ее хотели изолировать от истины и добра. Эта древняя триада действительно нерасторжима: ее составляющие находят друг в друге опору, меру и критерии. Предоставленная, так сказать, самой себе, красота становится чем-то весьма относительным, готовым отождествиться с пограничными, более узкими и частными категориями — пышностью, изяществом, эффектностью. В исторических условиях конца века красота, в ее расхожем понимании, тяготела к меланхолической мечтательности, изысканности, изощренности, странности (что в изменившихся условиях очень скоро стало видеться не столько красивым, сколько манерным).

Впрочем, унаследованная от предшественников склонность к нравственной проповеди не выветрилась у адептов чистой красоты. Творчество Оскара Уайльда яв-

[12] А. Гиляров. Предсмертные мысли нашего века во Франции. Сб. «Вопросы философии и психологии», 1897, кн. 2.

[13] Л. Толстой. Собр. соч., т. XV, М., 1964, с. 247—248.

ляет тому пример. Начитавшись его вызывающих афоризмов, можно подумать, что он и вправду самый последовательный эстет, поклонник красоты, свободной от контроля нравственности. Однако в его художественных произведениях присутствует моральная дидактика викторианского толка. Красивый Звездный мальчик наказан за жестокосердие превращением в урода. Порочная жизнь Дориана Грея отражается в зеркале его совести — волшебном портрете, как отталкивающее физическое безобразие. Изящные циники-парадоксалисты в пьесах Уайльда, в сущности, вполне безобидны: у Диккенса этот тип показан жестче. В трагической «Балладе Рэдингской тюрьмы», самом сильном произведении Оскара Уайльда, исчезает всякий налет эстетизма, появляется то самое, что одухотворяло литературу века — сознание человеческого братства.

На уровне больших талантов искусство не расставалось с гуманными идеями, теперь вновь приобретавшими романтический колорит: «будить от мелочей будничного величавыми образами» (Врубель). XIX век начинался и заканчивался романтизмом. Но в позднем романтизме таился надрыв. И уже вспыхивали зарницы чего-то совсем иного — иного понимания искусства и отношения его к действительности. Словно бы начинала сбываться всерьез предсмертная ирония Мопассана: кто-то требовал «Занавес!», требовал «следующего акта с другими существами, отличными от людей, с другими формами...».

Другие существа, другие формы предстали на полотнах молодого художника Пабло Пикассо. Он был завершителем главной темы старого века, а теперь, с отвагой гения и с отчаянием изверившегося, круто повернул штурвал, отправляясь на разведку иных путей.

Первая мировая война окончательно положила рубеж между двумя культурными эпохами. Беспрецедентная по своему тотальному характеру, по масштабам разрушений и жертв при ничтожности поводов и результатов, война продемонстрировала контраст между успехами научной мысли и применением их для целей бессмысленных и аморальных. Это сильнее подрывало веру в этическую ценность разума, чем все локальные войны и несправедливости предшествующего столетия. Соответственно — и веру в гуманизирующую силу искусства: немногого же оно достигло, апеллируя к чувству человеческой солидарности.

Было ощущение, что это искусство обмануло, не выдержало исторического экзамена. А если так, то подлежали дискредитации его методы. Теперь уже не обращали внимания на оттенки, не придавали значения различиям между течениями XIX века: в глазах нового поколения все они объединялись в одном — реализме, который определял характер минувшей эпохи и себя не оправдал. Ортега-и-Гассет писал: «...в основном искусство прошлого столетия было так или иначе реалистическим. Реалистами были Бетховен и Вагнер. Шатобриан — такой же реалист, как и Золя. Романтизм и натурализм, если посмотреть на них с высоты сегодняшнего дня, сближаются друг с другом, обнаруживая общие реалистические корни»[14]. И это действительно так, если понимать под реализмом направленность искусства «на изображение человеческого бытия». Правда, на это же было направлено и искусство всех прежних эпох — неприязнь к реализму логически вынуждала и к ним относиться скептически, хотя активному отрицанию подвергался прежде всего и преимущественно XIX век.

Сейчас уже трудно и странно представить всю меру вспыхнувшей в 1920-е годы антипатии к близкому художественному прошлому, еще такому живому. «Никогда ни одно поколение не громило с такой свирепой радостью творчество своих предшественников, которых отдаляло от него всего четыре года мировой войны, ставшей началом новой эпохи»[15],— вспоминал режиссер Рене Клер. Томас Манн в 1928 году упоминал, возмущаясь, «то пренебрежительное высокомерие, которое ныне стало столь обычным в суждениях о прошлом веке»[16].

Выдвигались концепции общего упадка культуры в XIX веке и грядущей ее замены эрой технической цивилизации. К таким выводам приходил Шпенглер в нашумевшей книге «Закат Европы». Рассматривая мировую историю как историю замкнутых циклов, друг с другом не сообщающихся, но, подобно биологическим организмам, проходящим сходные стадии рождения, расцвета и смерти, Шпенглер считал европейский XIX век старческой стадией, уподобляя «закат Европы» закату Древнего Рима. Дальше должна последовать заключительная стадия лишь технического развития, как это было и в Риме, а развитие художественное прекращается.

Труд Шпенглера произвел сенсацию, хотя серьезным гуманитариям был очевиден антиисторизм этого фаталистического построения. Не могло оно импонировать и новой генерации художников: соглашаясь с закатом старого искусства, они, естественно, не собирались отказываться от перспектив нового. Искусство, древнейший спутник всякого человеческого общества, намеревалось жить и дальше. Каким же оно хотело быть и стало?

Даже беглый обзор его путей и перепутий оказался бы слишком громоздким. Здесь уместно остановиться лишь на том общем, что просматривается в калейдоскопе новых течений, принадлежащих XX веку, и только ему, принципиально порвавших с традициями предшествующего столетия[17].

Теоретиков, комментаторов и пропагандистов нового искусства в XX веке было как никогда много. Но пожалуй, наилучшим образом сформулировал его общие принципы Ортега-и-Гассет в уже цитированной выше работе «Дегуманизация искусства», опубликованной в 1925 году. Возь-

---

[14] Сб. «Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века», вып. 2. М., 1980, с. 118.

[15] Рене Клер. Размышления о киноискусстве. М., 1958, с. 28.

[16] Томас Манн. Собр. соч., т. 9, с. 620.

[17] Речь пойдет только о культуре стран капиталистического Запада.

мем ее за точку отсчета. Она тем более ценна, что представляет собой не программу, не манифест «левых», а обобщение опыта нового искусства, сделанное с явным сочувствием, но и с известной мерой объективности. Многое из того, что Ортега-и-Гассет афористически выразил еще в 20-е годы, оказалось верным и для последующих десятилетий, многого он не предвидел или понял превратно, но так или иначе общие тенденции были им теоретически осознаны. Все они являются производными от одной главной, которую автор вынес в заглавие своего трактата,— дегуманизация искусства.

В толковании Ортеги дегуманизация означает чисто художественное созерцание, очищенное от тех переживаний, которые вызываются живой действительностью. «Жизнь — это одно, поэзия — нечто другое (...). Не будем смешивать эти две вещи. Поэзия начинается там, где кончается человек. Судьба одного — идти своим «человеческим» путем; миссия другого — создавать несуществующее» [18].

«Эта новая жизнь, эта жизнь изобретенная (...) не лишена чувств и страстей, но эти чувства и страсти, очевидно, принадлежат к иной психической флоре, чем та, которая присуща ландшафтам нашей первозданной «человеческой» жизни (...). Это специфически эстетические чувства» (с. 127).

Такие идеи носились в воздухе XX столетия. Независимо от Ортеги-и-Гассета Казимир Малевич писал: «Искусство не хочет больше быть на службе у государства и религии, оно не хочет больше иллюстрировать историю нравов и обычаев, оно не хочет больше изучать предметы, оно верит, что может существовать в себе и для себя» [19].

В себе и для себя! Здесь открывались какие-то обнадеживающие перспективы: почему бы в самом деле искусству не освободиться от прикладных функций, не отдаться целиком и открыто своим собственным автономным задачам, только ему принадлежащим, отличающим художественную работу от всякой другой? Почему бы ему не стать, наконец, всецело самостоятельным, совершая открытия на собственной, не заемной почве? Ведь и прежде при оценке произведений искусства главным критерием были специфически художественные качества: не за то ценили полотно Тициана, что там изображена Венера (кто только ее не изображал!), а за хорошую живопись. Венера — только предлог; устраним предлог — живопись останется.

В пафосе автономности не было ничего злонамеренного. Дегуманизация искусства не предполагала «бесчеловечности» художника. Как человек и гражданин, художник делит с себе подобными их переживания, интересы, политические воззрения и моральную ответственность. Он лишь снимает с себя обязанность переносить все это в свои произведения, ибо субстанция искусства — другая.

Эту субстанцию более не отождествляли с красотой: категория красоты, слишком обремененная «человеческим», не употребительна в новых концепциях искусства. Ортега-и-Гассет избегает самого этого слова, оно ни разу у него не встречается. Он говорит о «чистой созерцательности». Бенедетто Кроче — о «чистой интуиции», Малевич — о «чистой сенситивности» (в применении к пластическим искусствам), Мондриан, применительно к живописи,— о «чистых соотношениях». Непременное определение «чистый» подчеркивает самостоятельность, независимость материи искусства. Какова ее собственная сущность — не ясно: подлежащие, как видим, у всех разные. Ясно одно: от искусства так же мало можно требовать нравственного воздействия, как, скажем, от геометрии. Это последнее сравнение принадлежит Бенедетто Кроче; он, правда, упускает из виду, что у геометрии есть свои прикладные назначения.

Нетрудно понять, что установка на дегуманизацию возникла как реакция на искусство XIX века с его пафосом гуманизма. Художественные поиски XX века родились из сознания, что прежнее искусство потерпело фиаско в своих усилиях возвысить общество. У истоков радикальных новаций молодого поколения лежала трагедия, пережитая их предшественниками, она бросала на эти новации тень угрюмого разочарования: вспомним, в каком мрачном настроении духа начинал Пикассо работу над своими «африканскими» картинами-заклятиями.

Ортега-и-Гассет отлично сознавал, что «профиль нового искусства почти полностью сложился на основе отрицания старого». Он даже задавался вопросом, грозившим подорвать его концепцию,— не прячется ли «под маской любви к чистому искусству (...) пресыщение искусством, ненависть к искусству?.. ко всей культуре в целом?» Но уходил от ответа на этот вопрос, ограничившись «журавлиным косяком вопросительных знаков». (А вопрос был не пустой — через несколько десятилетий «ненависть к искусству» прорвалась в недвусмысленных лозунгах «контркультуры».)

Эссе «Дегуманизация искусства» начинается с констатации непопулярности нового искусства — новой музыки, новой живописи, новой поэзии, нового театра. Автор утверждает, что иначе не может и быть, потому что подавляющему большинству нравится в искусстве изображение человеческих судеб и переживаний, примерно тех же, что в жизни. Между тем, считает автор, «эта озабоченность собственно человеческим принципиально несовместима со строго эстетическим удовольствием». Значит, «новое искусство разделяет публику на два класса: тех, кто понимает, и тех, кто не понимает его». «Это будет искусство для художников, а не для масс; это будет искусство касты, а не демоса». В этом Ортега не находит ничего огорчительного. Он не призывает поднять толпу до способности к «строго эстетическому удовольст-

---

[18] Сб. «Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века», вып. 2. М., 1980, с. 135. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

[19] "Dictionnaire de la peinture abstraite". Paris, 1957, p. 99.

вию». Искусство настоящее, с его точки зрения, будет и должно быть элитарным.

Чтобы пояснить механику получения эстетического удовольствия, недоступного массам и доступного элите, Ортега прибегает к сравнению с окном. Можно смотреть через окно в сад, не замечая стекла. Но можно настроить зрение иначе: смотреть на стекло. Тогда сад будет восприниматься лишь в виде расплывчатых пятен, словно бы нанесенных на стекло. Первое равносильно восприятию через искусство предмета изображения, жизни, и в этом случае искусство как таковое не воспринимается. Чтобы его воспринять, нужно сосредоточиться на стекле.

Сравнение очень уязвимое. Сразу же приходит простое соображение: окна ведь существуют именно для того, чтобы смотреть через них наружу. Но при этом не замечать стекла нельзя — смотрящий рискует высунуться и расшибить лоб. Продолжая сравнение, можно сказать, что «незамечание стекла» равнозначно тому отношению к искусству, какое было у легендарных птиц, пытавшихся клевать нарисованный виноград. (Птицы должны были испытать жестокое разочарование, убедившись, что нарисованный виноград не годится в пищу.) Если же смотреть только на стекло, прилагая все усилия, чтобы не видеть того, что за ним, — тогда теряется смысл окна вообще. Или уж надо делать его совсем непрозрачным, матовым; иными словами — полностью отказаться от какого-либо сходства изображаемого с реальностью. Это и было осуществлено в абстрактном искусстве. В то время оно еще не имело большого распространения, и Ортега-и-Гассет таким опытам не сочувствовал. Он полагал, что для нового искусства важно не столько изгнание человеческих реалий, сколько их дегуманизация, то есть уничтожение их соотнесенности с теми чувствами, которые они вызывают сами по себе, вне искусства.

Далее в числе особенностей нового искусства Ортега назвал иронию. Здесь крылось некое противоречие, о котором автор не умолчал. А именно: если новый стиль «характеризуется вытеснением человеческих, слишком человеческих элементов и сохранением только чисто художественной материи», то «это, казалось бы, предполагает необычайный энтузиазм по отношению к искусству». Однако, говорит автор, на деле мы наблюдаем другое: искусство, «уйдя в себя», утрачивает всякую патетику и начинает относиться к самому себе как бы насмешливо. «В искусстве, обремененном «человечностью», отразилось специфически «серьезное» отношение к жизни. Искусство было штукой серьезной, почти священной. Иногда оно — например, от имени Шопенгауэра и Вагнера — претендовало на спасение рода человеческого — никак не меньше! Не может не поразить тот факт, что новое вдохновение — всегда непременно комическое по своему характеру (...). Оно насыщено комизмом, который простирается от откровенной клоунады до едва заметного иронического подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то чтобы содержание произведения было комичным — это значило бы вновь вернуться к формам и категориям «человеческого» стиля, дело в том, что независимо от содержания само искусство становится игрой (...). Вместо того чтобы потешаться над кем-то определенным (...), новое искусство высмеивает самое искусство». (с. 149)

Эта черта самоиронии, этот игровой характер авангардизма замечены исследователем весьма проницательно. Хотя опять-таки упущен из виду невеселый подтекст игры, проистекающей из утраты веры в серьезную жизненную миссию искусства. Ортега-и-Гассет предпочитает истолковать иронию иначе; как «опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире. Другие стили претендовали на связь с бурными социальными или политическими движениями или же с глубокими философскими и религиозными течениями. Новый стиль, напротив, рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений». Дальше идут рассуждения о возросшей роли спорта в современности и о том, что «торжество спорта означает победу юношеских ценностей над ценностями старости (...). Европа вступает в эпоху ребячества». (с. 152)

Но позвольте — может с удивлением спросить читатель,— как же тогда быть с элитарностью нового искусства, если оно ребячливо и сродни спорту? Ведь спортивные развлечения меньше всего рассчитаны на избранную публику, они принадлежат «демосу». Концы с концами как будто не сходятся у Ортеги-и-Гассета. Но повинны не столько противоречия его мысли, сколько противоречия внутри того предмета, который он анализирует. В самих методах авангардного искусства действительно заложен странный симбиоз элитарного и элементарного, что и определило впоследствии феномен его срастания с «массовой культурой». Оно элитарно, поскольку лишь немногим под силу так настроить свой аппарат восприятия, чтобы видеть «оконное стекло» и не видеть сада за окном. И оно элементарно, так как увиденное на стекле намного беднее, чем то, что можно увидеть через стекло.

(Окончание следует)

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Есть отчего удивиться, встревожиться и обрадоваться: в Италии существует миллионная армия писателей! Каждый двадцатый читатель страны сам стремится к авторству, пробует свое перо. Можно даже уточнить число лиц, подвизающихся в том или ином жанре. Романы и рассказы пишут 200 тысяч человек; поэтов, разумеется, больше — 300 тысяч. 150 тысяч работают над детективами и научно-фантастическими произведениями. 50 тысяч сочиняют эссе по разным поводам. 50 тысяч — сценаристы, 30 тысяч — драматурги. Остальные — создатели «комиксов», или, как их называют итальянцы, «фуметти», рассказов в картинках, либо «фотороманов», текстов для песен (нередко в собственном исполнении и даже с собственным изображением на видеокассете), киносюжетов и т. д.

Эту невероятную по масштабам жажду творческого самоутверждения, охватившую итальянцев, не без иронии расписал Валерио Рива, эксперт по издательским делам, на страницах приложения к «Коррьере делла сера», наиболее читаемой итальянской газете.

Тему подхватил и развил известный журнал «Панорама». Элио Кадело и Сильвестро Серра озаглавили свой обзор «Раса писцов». «Национальная мания» писать, заявлять о себе в литературных и окололитературных жанрах, отмечают они, выражается в том, что итальянские издательства, от крупных до мельчайших, завалены рукописями. В «Мондадори», крупнейшее издательство, за год прибывают две-три тысячи манускриптов. В свет выходит лишь один из пяти тысяч. И все равно пишут. На конкурс «Первое произведение», объявленный римским радио, пришло полторы тысячи работ (из них 600 совершенно не по предложенной теме). Просмотрев анкеты, заполненные авторами, организаторы конкурса установили, что треть из них — студенты, каждый четвертый — служащий, каждый десятый — представитель «свободной профессии», нередко имеющий имя и положение в обществе. Встречались, однако, и лица иного социального положения — рабочие, коммерсанты, домашние хозяйки. Замыкали список люди совсем особых категорий — проститутки, заключенные, наконец, душевнобольные.

Один автор ссылался на то, что в его пользу говорит дата рождения, совпадающая с годом рождения Сергея Эйзенштейна. Другой утверждал, что он лишь потому не стал известным кинорежиссером, что ему изменила его любимая, снимавшаяся в главной роли в его же фильме. Даже террористы подали заявки на свои жизнеописания.

Представленный на подобные конкурсы материал вряд ли можно назвать продуктом обыкновенной графомании, которая, как известно, сопутствует грамотности или полуграмотности во многих странах мира.

«Фейерверк приключений, мечтаний, желаний, дорожных впечатлений, провинциальных историй, личных кризисов и исповедей одиночества, самое непосредственное проявление италийской творческой жилы»,—

по выражению «Панорамы», предстал перед глазами жюри бесчисленных итальянских конкурсов.

Массовый отклик читателей-писателей идет навстречу пожеланиям устроителей конкурсов. Что здесь плохого? В конце концов, несмотря на типичные для Италии жалобы на «смерть романа», «угасание книги» и прочие беды, рынок печатного слова, его теле- и радиопреломление, растет. Альберто Кадиоли в своей книге «Индустрия романа» продемонстрировал, что в 70 — 80-е годы, несмотря на колебания, книгопродукция в Италии удвоилась, читающая публика стала более многочисленной. И это несмотря на экспансию телевидения...

Именно рост этого рынка и вызывает порой инфляцию, спады, потерю интереса к выпускаемой культурной продукции. Вызывающие сенсацию имена, подобные Томмазо ди Лампедуза, или успехи книг Леонардо Шаши, Эльзы Моранте, Умберто Эко не могут восполнить известного обмеления литературы, понижения ее среднего уровня.

В этих условиях, как отмечает «Панорама»,

«издательский рынок, продюсеры телевидения и кинематографии действительно нуждаются в новых авторах и писателях».

Отвечают ли результаты конкурсов этим потребностям?

«Средний уровень присылаемых работ — констатирует журнал,— *весьма низок».*

Нередко жюри вынуждены не голько не присуждать первых премий, но вообще заявлять, что конкурс аннулируется. Так было в Турине при обсуждении рукописей, претендовавших на премию имени Итало Кальвино.

«Я не знаю ни одного автора, который благодаря конкурсу смог бы привлечь внимание публики и издателей»,—

заявил в интервью «Панораме» участник многих жюри, писатель Микеле Приско.

Общее мнение таково, что желающие видеть свои произведения опубликованными на самом деле не способны творчески работать, не имеют представления о законах мастерства. Мало того, отмечает журнал, их нередко принуждают платить за то, что их рукопись проходит отбор. Но от желающих нет отбоя.

Социолог Альберто Абруцезе видит в этом застарелую страсть итальянцев к участию в разных лотереях, их неистребимую веру в то, что на сей раз может повезти. Как не вспомнить бессмертные кадры «Рима, 11 часов», запечатлевшие гигантскую очередь претендентов на место машинистки? Там стояли и люди, никогда не прикасавшиеся к клавишам пишущей машинки. Или ленту «Самая красивая», в которой Анна Маньяни, исполнительница главной роли, безумствует, идет на все, лишь бы пристроить в мир кино свою не блещущую красотой девчушку?

Но известны и обратные примеры: в качестве актеров, сценаристов, писателей утверждались люди, принесшие в искусство подлинное знание жизни. Среди них: Массимо Джиротти, Пьер Паоло Пазолини, София Лорен, Джина Лоллобриджида и многие другие. Способность итальянцев обнаруживать природную одаренность в самых различных областях, их универсальность не требуют доказательств.

«Почему бы не использовать весь творческий потенциал и жажду писать, которая несомненно скрывается за этой армией дилетантов, готовых к испытаниям?» — спрашивают авторы обзора. Беда в том, отмечают они, что

«все хотят сразу же показать себя бравыми и прекрасными профессионалами».

А с ними надо работать. Журнал называет ряд имен инициаторов школ и курсов для желающих стать творческими работниками. Готовность научить ремеслу сегодняшних дилетантов изъявили некоторые писатели и поэты.

Но дело, видимо, не только в курсах по ликвидации безграмотности письма, в методах скоростной подготовки квалифицированных мастеров пера. Речь идет в целом об атмосфере коммерческого подхода к творческой продукции как товару. Ее производят по рецептам капиталистического рынка, с его рекламой, создающей потребителя, с ориентацией не на высшее, а на усредненное, посредственное, зато общедоступное. Иными словами, о «массовой культуре», которая порождена подобным подходом и в свою очередь порождает имитаторов, ориентирующихся на самые легкие и ходовые ее образцы.

Отсюда, как мне кажется, удручающе низкое качество творчества участников конкурсов. Да и сами эти конкурсы, за исключением десятка (на наиболее престижные литературные премии), носят зачастую неприкрыто коммерческий характер. Они все чаще вырождаются в рекламные «шоу» со звездами экрана и эстрады, а цель их — популяризировать не культуру, а тот или иной «фонд», созданный банком, туристским обществом, капиталистическим трестом, способствовать их процветанию. На рекламную шумиху при этом тратятся куда большие средства, чем на собственно творческие цели. И хотя жюри украшают звучные имена, они не в состоянии спасти уровень подобного предприятия.

Еженедельник «Культура калабрезе» недавно прошелся по конкурсу на премию Базиликаты, одной из наименее развитых областей Италии.

«На рекламу конкурса, приглашение в жюри таких писателей, как Карло Бо, Микеле Приско, Марио Помилио, Леоне Пичони, актрисы Илярии Оккини в роли посаженой матери конкурса, аренду помещений и т. п. было истрачено свыше 70 миллионов лир. Из них лишь десятая часть пошла на премии».

Помню, как Альберто Моравиа, давая мне интервью, защищал кинопродукцию, которую принято называть «коммерческой». Он отмечал, что кассовый успех может иметь фильм не обязательно низкого уровня. Нередко это высокохудожественный фильм, завоевывающий массы благодаря мастерству его создателей. Да и те картины, которые отвечают не столь высоким эстетическим критериям, чтобы снискать массовый успех, все-таки должны быть сделаны профессионально, захватывать зрителя.

В этом (как мне казалось) была доля истины. Однако, думал я, честные торговцы в современном мире капитализма стали редкостью, их можно заносить в «красную книгу». А командует парадом шумный и наглый люд, пробивающий дорогу наихудшим образцам коммерческой культуры, навязывающий обществу ориентиры, разлагающие мораль, размывающие гуманистические ценности. Эта культурная «зараза» орудует повсюду, подобно СПИДу. Не миновала она и Италию, страну сравнительно устойчивых гуманистических и культурных традиций. Кино, телевидение в первую очередь несут тяжелые потери, их захлестывает поток американизированной, сработанной по стереотипам псевдокультуры. Проникает этот вирус и в литературу.

Не потому ли так заметно снижается уровень конкурсных работ, что их авторы ежедневно, ежечасно видят перед глазами эрзацы культуры, начинают считать их не только допустимыми, но и наиболее подходящими для подражания, гарантирующими успех или хотя бы шанс промелькнуть в кадре телепередачи, кинохроники?

Высокая культура возвышает нацию, низкая — принижает. Италия «в поисках автора», если вспомнить название пьесы Пиранделло, болезненно идет к пониманию этой истины. Ее недюжинный творческий потенциал, редко покидающий итальянцев оптимизм сталкиваются с бациллами ложной культуры, терпят неудачи. Итальянцы вновь пробуют свои силы, пытаются понять, куда влечет их жребий, и все-таки упорствуют, сопротивляются.

Л. ЗАМОЙСКИЙ

К нашим иллюстрациям

Морис Утрилло

Убегающие вдаль улочки Монмартра, сдинокие здания соборов, уютные площади старого Парижа — этот перечень сюжетов непременно ассоциируется с живописью Мориса Утрилло (1883—1955). Приверженность одной теме в искусстве — не редкость, не редкость и художники, писавшие Париж. Особенное — в том, что парижские улочки обладают удивительной притягательностью, неким горько-нежным очарованием, присущим лишь миру, рожденному Утрилло. Не только виды Парижа, но и другие пейзажные образы Утрилло, кажущиеся такими простыми, непритязательными, вызывают щемящее предощущение близости тайны и невозможности в нее проникнуть. Скрытая тревога присутствует, но почти никогда не прорывается диссонансом: доминирует сдержанность, гармония композиции, цвета — светлая и часто печальная гармония Утрилло. Доверимся Моруа: «До Утрилло я не знал, что с виду такие однообразные кварталы прекрасны красотой свежей и почти таинственной. Я бродил по улицам Монмартра, я смотрел на «Лапэн ажиль» взволнованно, как того заслуживает место встреч стольких художников, но пластическая и живописная красота Монмартра ускользала от меня. Мне дал ее Утрилло...»

Утрилло с детства был тяжело болен, и чтобы хоть как-то отвлечь его, художница Сюзанна Валадон, его мать, вложила в руки своего трудного сына палитру и кисть. Он начал писать, подчиняясь ее воле, но уже вскоре живопись стала его всепоглощающей страстью.

В творческой манере Утрилло различают несколько периодов, лишь приблизительно обозначая их границы. Первый, совсем короткий, «период Монманьи», с 1903 года,— только часть более длительного «импрессионистического» периода (термин условен), когда в творчестве Утрилло усматривают влияние, в частности Писсарро и Сислея. Действительно, Утрилло мог видеть работы этих художников в витринах торговцев картинами, однако они не столько близки друг другу, сколько их хочется сблизить, потому что всех троих отличает своеобразная трепетность чувства, лиризм, кстати совсем не характерные для импрессионизма в целом. С самого начала живопись Утрилло свидетельствует об интересе художника к передаче предметного мира, а не световоздушной среды, не вибрация цвета отличает фактуру его картин, но энергичное, густое, «пастозное» письмо.

В конце 1900-х годов относительно дробный мазок, общий темноватый тон картин уступает место более обобщенной и светлой манере — «белый период» (примерно с 1908—1910 годов), названный так потому, что в цветовом строе пейзажей этого времени доминируют белые поверхности изгородей и стен или снежная пелена. Художник работает «пластами» цвета, стыкует их друг с другом плотно, без переходов. Увлеченный материальностью фактуры, он пользуется гипсом, иногда примешивая к краске мох, песок.

В этот период Утрилло почти перестает писать на натуре, он чаще всего пишет по памяти или с открыток, иногда при вечернем освещении. Пользуется линейкой, угольником, рисуя сначала каркас композиции, а затем приступая к работе цветом. И все это быстро, не переделывая, не поправляя — в ладу со своей творческой волей; даже тогда, когда он кладет цвет особенно щедро, поверхность его картин «не замучена», цвет ложится и воспринимается легко, а вся композиция «считывается» разом.

Часто в центре картины Утрилло — улица или площадь, окаймленная фасадами домов. Ее пустое пространство воздействует на зрителя, как сцена театра после открытия занавеса,— ожиданием: действующее лицо должно вот-вот появиться. При этом фасады домов — только декор, а буковки вывесок, стаффажные фигурки, если они есть,— лишь малозначащие детали. Улицы уходят вверх, вниз, заворачивают за угол, упираются в крутые лестницы, и взгляд, словно следуя за кем-то невидимым, то останавливается внезапно, а то, преодолев препятствие, взмывает к небу, вырываясь из теснины улицы, из замкнутости площади.

Конечно, картины «белого периода» по настроению различны, но в целом все же преобладает грусть. Художник уподобляется поэту, который не только словом, но и ритмом, мелодией выражает сокровенный смысл стиха. Линии певуче-непрерывны, кантиленны, их ритм отчетлив, цвета «рифмуются», перемежаясь и уравновешивая друг друга, сама фактура отдает порой чуть грубоватой аккордеонной хрипотцой.

Произведения его близки полународной поэзии парижских шансонье, достигавшей в те времена истинного пафоса и драматизма. Это поэзия бедных кварталов, фабричных окраин, но среди ее образов — и затрапезный хмурый тупичок, и величественный органоподобный собор.

Утрилло владел даром немногих художников одушевлять неодушевленное. Для этого он не прибегал к перспективным смещениям, к деформации форм: его экспрессия не внешняя, а внутренняя. В первую очередь это относится к изображениям отдельных зданий, особенно любимых им, таким как церковь Сакре-Кёр, мельница Мулен де ля Галетт. Соборы Парижа, Реймса, Шартра... Эти архитектурные хоралы, воздействуя на Утрилло с необычайной силой, изображаются им чаще вне контекста улиц и площадей. Он ощущает и передает величие, незыблемость этих каменных существ, вибрацию их внутреннего напряжения, их заряженность энергией духовности и, наконец, их отрешенность...

Те, кто знал Париж конца минувшего столетия или даже кануна войны 1914 года, не узнавали послевоенного. Изменились облик и ритм уличной жизни. Монпарнас и Монмартр подверглись нашествию американских туристов, в торговлю картинами хлынули спекулянты, непосредственность нравов старых художественных кварталов стала вдруг модой, «игрой в богему».

Как бы ни был прежний Морис Утрилло далек от внешнего мира, этот нынешний мир отдален от него еще больше. Его скитания по ночному Парижу давно прекратились, теперь он — узник в собственном доме и почти не выходит один. Но все же ему дано улавливать перемены, и сам он меняется тоже. Из его живописи отступает печальная созерцательность и тот своеобразный романтизм одинокого странничества, отличавшие «белый период». Цвета становятся ярче и звонче, их сочетания резче, а графическая конструкция более жесткой. Картины отражают реальность тех лет, которой присуща фантасмагоричность, проникающая в мироощущение не одного Утрилло.

В первый же послевоенный год к художнику приходит известность. Начиная с середины 20-х годов Утрилло становится одним из самых модных и дорогих французских живописцев. Одновременно муссируются слухи об алкоголизме, религиозных настроениях художника, так или иначе связанных с болезнью,— правда, «легенда» преподносит их в качестве стимулов его творчества. Однако появляются серьезные статьи и книги, авторы которых пытаются представить Утрилло публике не как экзальтированного и наивного дилетанта, а как выдающегося мастера, достойного самой высокой оценки. Пафос жизни художника они видят в преодолении, в торжестве светлого начала в его душе и в его искусстве.

В эти годы Утрилло пересек срединный рубеж своей жизни, но дальше случилось так, что, кто бы ни писал о нем, обращался именно к первой четверти века, когда его творчество было столь вдохновенно. Он продолжает творить, оставаясь верен себе, тем из традиций, которые ему оказались близки, тому новаторству, которое он нес в себе, того не сознавая. Утрилло суждено создать еще много прекрасных картин, но в музыке его творчества уже нет прежней целостности, мелодического нарастания, все чаще слышны отголоски, повторы уже прозвучавшего.

Размышляя о причинах необыкновенного успеха Утрилло, «почти ничего не изображавшего, кроме стен и улиц Парижа» в то время, когда творили художники не менее даровитые, но «наделенные более широким диапазоном таланта», известный искусствовед Б. Н. Терновец в своей статье об Утрилло, написанной в 1926 году, проницательно заметил: «Не свидетельствует ли он (этот успех.— Т. С.) прежде всего о пресыщенности, охватившей послевоенную Францию, искусством головным, рассудочно-формалистическим, тем искусством, что почти уже два десятилетия торжествует свои победы? Ибо нет ничего более далекого от надуманности, от внешних, навязчивых примеров, чем простая, подлинная, полная живых ощущений живопись Утрилло».

В живописи Франции конца минувшего — начала нынешнего века, с ее обилием имен, открытий, достижений, Утрилло возник как поразительный феномен. Принадлежа к поколению, дерзостно утверждавшему свое право на самое крайнее экспериментаторство в искусстве, к поколению авангардистов, он не дал увлечь себя ни одному из современных течений, к которым принадлежали его одаренные, энергичные сверстники. Он не противился им, но и не сторонился их, никого за собой не звал и тем не менее оказался впереди в числе немногих. Ибо чаще всего в искусстве «к настоящему авангарду принадлежит тот, кто сам об этом не знает и не утруждает себя тем, чтобы оглядываться и проверять, идут ли за ним» (Рене Клер).

Одни сравнивали его с Фра Анджелико, другие — со средневековыми иллюминистами, а кто-то сказал об этом взрослом ребенке: «Он был наивен во всем, кроме живописи». Об Утрилло писали книги, снимали фильмы, но потребность в рациональном объяснении столь необычного явления не насыщалась. Непохожесть манеры Утрилло на то, что делали другие, особые обстоятельства его жизни, внезапность его славы, коммерческий ажиотаж вокруг его картин порой мешал иным критикам осознать, что главная причина признания Утрилло — этическое духовное начало, сопричастность его искусства французской гуманистической традиции. Творчество Утрилло, кажущееся вечно романтическим, юным, отличают особые свойства, присущие галльскому гению: четкость, изящество, ясность художественного мышления и формы, а также душевный опыт народной культуры — простосердечие, скромность, сдержанность чувств. Завет чистоты и добра, воплощенный в живописи Утрилло, неизменно находит искренний отклик. Этот художник достоин внимания и любви современного зрителя.

Т. САВИЦКАЯ

◆

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ,
НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН

Возвращение к Человеку

Фрагменты «Диалогов» между председателем Советского фонда культуры, одним из выдающихся ученых современности академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и писателем Николаем Григорьевичем Самвеляном в последние годы публиковались в советской периодике и за рубежом. Они уже переведены на английский, немецкий, финский, польский, чешский, словацкий, венгерский, румынский, болгарский и другие языки. Отдельными изданиями «Диалоги» сейчас выходят в свет в СССР и ряде европейских стран. Один из новых разделов книги — раздумья о путях развития человечества, его культуры, формирования планетарного мышления в грядущем XXI веке — подготовлен специально для нынешнего новогоднего номера «Иностранной литературы».

Н. Самвелян. Дмитрий Сергеевич, за время, что миновало с тех пор, когда в периодической прессе появились фрагменты «Диалогов», пришло немало писем. Были и телефонные звонки. Спрашивали о разном. Например, о том, как возникли «Диалоги». Случайно — или же были задуманы?

Д. Лихачев. Наверное, совсем не случайно. Ведь на многие из этих тем мы с вами говорили и раньше. Просто во время одной из таких бесед решили включить магнитофон, полагая, что то, о чем мы беседуем, возможно, заинтересует и других.

Н. С. В одной из бесед мы сказали, что будущий век должен стать веком гуманитарного мышления или его не будет совсем. Это вроде бы и раньше признавалось. Но когда прозвучали слова, что технике должна быть четко определена служебная роль, лишь вспомогательная, не более того, а иначе она начнет работать не на человека, а на себя, это вызвало протесты. Авторы некоторых писем пытались обвинить нас в призывах остановить технический прогресс, затормозить развитие научной мысли, отбросить человечество в эпоху, чуть не доисторическую.

Д. Л. Такой реакции можно было ожидать, хотя она и огорчает. Между тем вопрос был поставлен совершенно иначе. Никто не собирался останавливать технический прогресс, вводить какие-либо запреты на прикладные науки, просили лишь об одном: не забывать, что природа миллионы лет сама управлялась со своими трудностями, рождала жизнь в любых условиях. Природа — чудо из чудес. А техника — паразитирующее на природе явление. Ее породил человек, тот самый человек, которого мы воспринимаем как высшую точку развития природы. Он не должен иметь права бесконечно испытывать терпение своей матери и требовать у природы всего, к тому же немедленно. Наконец, есть долг человека перед природой. Человек как наиболее сознательное явление мироздания обязан помогать животным, птицам, растениям, даже неживой природе. Помогать, не ожидая немедленной награды. Ну, а технику нужно переориентировать. Вместо того чтобы служить часто

авантюристическим, непроверенным целям, так называемым «стройкам века», погоне за немедленным и грандиозным успехом, безудержной эксплуатации будущего, отбиранию природных богатств у наших потомков, техника должна быть направлена на создание творческой гомосферы.

Н. С. В связи с этим совершенно не могу понять людей, разрешающих себе публично сомневаться в правильности позиции Сергея Павловича Залыгина в вопросе о повороте северных рек, что могло бы повлечь за собой гигантскую экологическую катастрофу для обширных районов страны и национальную трагедию для русских и многих других народов, обитающих на Севере. То, что совершил Сергей Павлович Залыгин, отведя беду от родного народа, граничит с подвигом.

Д. Л. То, что совершил Сергей Павлович Залыгин, по моему глубочайшему убеждению, и есть подвиг. Ведь для этого Сергею Павловичу пришлось отложить многие личные планы, литературные дела... Как-то, выступая, я уже говорил, что награждать писателей надо не за «многолетнюю литературную деятельность», а за активную позицию в жизни, которая всегда является маленьким или большим гражданским подвигом.

Н. С. Жан-Поль Сартр считал, что писатель вообще не имеет права получать литературные награды.

Д. Л. Литературные награды — почему же? Литературных премий, медалей, дипломов могло бы быть даже больше, чем сегодня. Присуждать их, конечно, надо за подлинные успехи. Когда такие успехи есть — признавать их. Если их нет — переждать, премий не присуждать. Но я имел в виду совершенно иные награды — ордена, медали и звания. Ими надо отличать за работу на благо общества, за те большие или малые гражданские подвиги, о которых я говорил. Причем люди с мощным общественным темпераментом, как правило, наград не ждут и никогда их не выпрашивают. Нормальная гомосфера включает в себя и систему столь же нормальных, не извращенных представлений о взаимоотношениях индивидуума и общества. Общество обязательно должно уважать Личность, но и Личность должна уважать общество, не превращаясь в террориста — вымогателя наград и благ.

Н. С. И вот мы вновь, Дмитрий Сергеевич, вернулись к вопросу о гомосфере. Раз о ней пишут — значит, это как-то задело людей, вызвало интерес. Спрашивают, например, имеет ли отношение понятие гомосферы только к Земле или к космосу тоже?

Д. Л. Каков был ответ?

Н. С. Напомним, что Человек уже прогуливался по Луне, посылает космические аппараты к другим планетам, явно вышел за пределы своей колыбели — Земли. И факт этот еще не осознан до конца. Видимо, по-настоящему внятным он станет лишь нашим потомкам. И кодекс взаимоотношений Человека с Природой, необходимость бережного отношения к ней, запрет на авантюристические вторжения в ее структуру будет распространен и на другие планеты. Тогда меня спросили: а возникнут ли за пределами Земли этногомосферы. Тут ответить было сложнее: будущее покажет... Ведь наверняка выход в космос получат представители всех рас, наций и континентов. Образование колоний на других планетах — вещь уже вполне реальная. Как именно они будут выглядеть? Пока что такие раздумья — прерогатива фантастов. Одно уже совершенно ясно и нефантастам: никакого грубого вмешательства в свои дела природа не потерпит и там. Но уверен, люди увезут с собой в дальние миры созданные ими культурные ценности, систему представлений о нравственности, о долге, эстетические взгляды, нормы поведения, которые формировались многими веками.

Д. Л. От всего этого человек никогда уйти не сможет. Да и не должен. Это его главное сокровище и богатство. Счастлив тот народ, который имеет великую литературу на своем родном языке. Литература обогащает гомосферу в высокой степени. Но у каждого народа помимо общей гомосферы существует и своя, присущая ему гомосфера, своеобразные национальные отклонения, источники обогащения — национальная специфика. Поэтому можно говорить не только о гомосфере, но и об этногомосфере. Из различных этногомосфер складывается вся гомосфера. Думаю, что этногомосферы тоже будут бережно сохраняемы. Они драгоценны.

Н. С. И сегодня мы все более четко осознаем, что гомосфера у нас общая, одна на всех, что, видимо, наступил такой этап в развитии человечества, когда формирование планетарного мышления стало настоятельной необходимостью. Не надо уповать на то, что, израсходовав и, так сказать, «выработав» Землю, как шахту, исчерпав ее ископаемые, запасы энергии, можно будет усесться в космический корабль и унестись в другие миры. Даже если бы подобное стало почему-то возможным, человек унес бы в далекие дали и собственную смерть — психологию, позволяющую надругательство над Природой.

Д. Л. Не случайно сегодня так много говорят о том, что коллективное сознание человечества должно быть ответственно, как никогда ранее, нужно учиться умению вести диалог, понимать точку зрения друг друга. Простые истины, но как непрост их приход в мир. Нам предстоит очень многое сделать, прежде всего, я бы сказал, в решении моральных проблем: морали людей, морали народов и стран. Должна прийти подлинно нравственная атмосфера во взаимоотношениях между странами. Нужен не только военный мир (отсутствие прямых войн), но и мир моральный, новое мышление. Прежде всего надо понять, что у нас нет другого выхода, как всеми средствами бороться за сохранение высокой культуры и нормальной гомосферы (ибо только высокая культура может сделать ее нормальной), той культурной среды, которая окружает человека от дня его рождения до дня смерти. Я считаю, что XXI век будет веком культуры, ее принципиальной доминанты. Наивно думать, что ничего не будут значить торговля, обмен тех-

нологическим опытом и практическими знаниями, обмен спортивными делегациями и многое другое. Все это важно, нужно, должно расширяться. Но главную роль в объединении народов, в создании планетарного мышления должна сыграть все же культура.

Н. С. Конечно, культура. Здесь я особо выделил бы литературу, особенно мощно помогающую формированию интеллекта, формированию личности. Однажды Бодлер воскликнул: «...любая литература, которая отказывается по-братски шагать в ряду с наукой и философией, есть литература человекоубийственная и самоубийственная». Тут и говорить не о чем. В связи с модными спорами о «хорошей» и «серой» литературе напомню слова еще одного мудрого человека, земляка Бодлера. Я имею в виду Вольтера. А слова эти звучат так: «Нужно любить литературу несмотря на то, что ею часто злоупотребляют, как нужно любить общество, хотя сколько негодяев отравляют удовольствие жить в нем».

Д. Л. Согласен и с Вольтером, и с Бодлером. Конечно же, по-настоящему нужны лишь самые высокие образцы литературы. Но, определяя, что же является «пиком», а что «низиной», надо быть чрезвычайно осторожными. Вкусовая или же недостаточно компетентная оценка тех или иных произведений, случалось, надолго вырывали их из литературного контекста. А такое особенно опасно, если возрастает категоричность оценок... Позвольте мне сделать еще одно отступление о XX веке. Буду говорить о нем в прошедшем времени.

А был он веком всяческого разъединения, обособления, несогласия и нетерпимости к «чужому». Какое именно разъединение я имею в виду? Всяческое — разъединения национальные (рост шовинизма), расовые, социальные, континентальные, разъединения между мирами (первым, вторым, третьим), научные (между отдельными науками), между научной интеллигенцией и всякой иной, между «технарями» и «лириками» — творцами гуманитарной культуры, между профессиями (появление слишком узких специальностей), между мировоззрениями и идеологией (не следует смешивать мировоззрение с идеологией). Мы стали планетой глухих, но еще не разучившихся говорить. Вернее, бубнит каждый свое... только свое... Боюсь, что скоро разучимся и говорить. А какой смысл говорить, если никто друг друга не выслушивает?

Н. С. Я не устаю вспоминать о том, что еще в начале двадцатых годов в сборниках статей «Института по изучению мозга и психической деятельности» под редакцией академика Бехтерева публиковались статьи, в которых настойчиво проводилась мысль, что профессиональная идиосинкразия может в конце концов привести чуть ли не к прямым войнам между людьми разных профессий. Во всяком случае — к активному взаимному неприятию психологий, сформировавшихся под влиянием узкой специализации, которая теперь, как мы понимаем, отобрала у людей широту мышления, умение объемно видеть мир. И теперь начинается движение против узкой специализации, в ту же пору подобного рода пророчества казались экстравагантными и фантастичными.

Д. Л. Ну, сегодня уже не кажутся. Вторая половина нынешнего, уже уходящего века характеризуется именно нетерпимостью во всех сферах жизни. Возвращаясь к мысли о неповторимости Земли, культуры, созданной на ней человеком, хочу сказать вот что.

Когда-то, примерно два десятка лет назад, мне пришел в голову такой образ: Земля — это летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев (ах, если бы примерно сосчитать, сколько было на земле только одних всеми признанных гениев!). И не только произведений гениев! Сколько обычаев, сколько традиций. Сколько всего накоплено, сохранено. Сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности.

И самое главное: второй другой жизни во Вселенной нет! Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру.

И что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести, личные и государственные («ответные акции»). Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве!

Повторяю то, в чем абсолютно убежден: создание приемлемой гомосферы, высокого культурного уровня окружения каждого человека и всех людей вместе — самый мощный объединяющий фактор, фактор мира, согласия и взаимопонимания. Культура каждого народа, его литература — это открытые двери в его душу. И мы, люди Земли, должны сохранить разнообразие культур, разнообразие литератур, стилей, подходов и не допустить нивелировки, подравнивания «слабых» культур под более «сильные»— американскую, английскую, французскую, русскую и другие. Например, ту же итальянскую. Слова «сильные» и «слабые» в этом случае должны быть взяты в кавычки. Жизнь учит нас, что то, что еще недавно считалось «слабым», ныне как бы совершенно незаметно оказывается «сильным». Речь идет хотя бы о тех же культурах — африканских, южноамериканских, китайской и других. Культурный генофонд должен быть сохранен во всем объеме... И здесь несколько слов о языках. Язык — сильнейшее выражение культуры, не случайно им наделен только человек, который должен словом защищать все живое на земле. Верующие мы или неверующие мы должны понимать, что религии тоже явление культуры, квинтэссенция нравственного опыта, традиций, музыкальной, изобразительной, обрядово-театральной культуры... Отрицать все это, объявлять «реакционным» неразумно и может повести к огромным потерям. Иное дело, что в этом нужно разбираться, разбираться научно. Это область наиболее старого в культуре и наименее изученного научно. Здесь должны помочь нам «терпимые атеисты» — люди, которые могут быть наи

более свободными в подходе к изучению религии. Представитель одной религии может быть более терпимым к другой, чем интеллигентный атеист (именно атеист, а не «безбожник» из тех, что сжигали иконы и разрушали ценнейшие храмы).

Н. С. Тех, кто разрушал ценнейшие храмы, уничтожал иконы, следует прямо назвать вандалами и преступниками. Они покушались на историю и культуру человечества в целом и своего народа в частности. Какие уж они патриоты?!

Д. Л. Я уже говорил о том, что враждебность к верующим — от невежества, от незнания истории, непонимания ее. В частности — незнания истории церкви. Вспомните историю книги на Руси. Ведь до того, как возникли типографии, книги переписывались в монастырях. Как же можно считать монастыри только рассадниками мракобесия? Недавно говорил об этом, а сейчас еще раз напомню: в монастырских хозяйствах, как известно, занимались проблемами селекции и генетики. Никто этого не отрицал. Но умудрились как бы «забыть». А когда-то было выведено, например, три сотни сортов яблок, пригодных для различных местностей и климатических зон. Это сделали в монастырях. Был накоплен огромный опыт хозяйствования. А разве не на высочайшем уровне была эстетика церковных живописи, архитектуры, слова. В период феодальной раздробленности церковь выступала за объединение страны, вдохновляла народ на борьбу с иноземными захватчиками и поработителями.

Н. С. Но «просвещенные атеисты», «терпимые атеисты», Дмитрий Сергеевич, никогда не взрывали церквей, не отрицали роли и значения церкви в истории. Цивилизованный человек вообще не способен на такие поступки.

Д. Л. Естественно, просвещенный человек, как вы выразились — цивилизованный человек, этого никогда не сделает. Но как часто приходится сталкиваться с нецивилизованностью! Мы сейчас накануне 1000-летия крещения Руси. В связи с этим вот что я хотел бы подчеркнуть: да, мы стоим за полное и четкое отделение церкви от государства. Церковь не должна вмешиваться в дела государства, а государство не должно вмешиваться в дела церкви. Совет по делам религии или какая-нибудь другая инстанция должна за этим строго следить. Церковь должна иметь возможность издавать в нужных ей количествах необходимую ей литературу. Например, ту же Библию...

Н. С. Но, Дмитрий Сергеевич, Библия, да и многие другие труды, которые по инерции считают сугубо религиозными, давно находятся в общем контексте человеческой мысли, истории культуры... Без них просто невозможно понять многие сюжеты... И более того — тенденции развития философской и эстетической мысли. Разве только церковные издательства должны заниматься, например, проблемой научно выверенного перевода Библии на современный русский литературный язык? Церковные издательства, насколько я знаю, пользуются синодальным вариантом перевода Библии. Правда, в одном из томов Библиотеки всемирной литературы есть в разделе древневосточной поэзии переводы отрывков Ветхого Завета... Но не более того... Кстати, и гигантские пласты музыки, которые тоже ранее считались только культовыми, уже давным-давно стали нужными всем — и верующим и атеистам.

Д. Л. Конечно. И я продолжу мысль. Новое мышление предполагает более широкий и более свободный, непредвзятый подход ко многим явлениям истории и культуры, ко всему тому, из чего слагается гомосфера.

К счастью, религиозная нетерпимость представителей отдельных религий друг к другу явно сейчас пошла на убыль, и появилось много альянсов различных религий — совещаний, конференций, объединяющих религии в общей борьбе за мир на земле. Кстати, экуменизм — признак ослабления религиозной убежденности. Этим я не хочу осудить экуменизм. Наоборот, хочу считать его одной из побочных форм борьбы за взаимопонимание.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, к экуменизму — движению всех христианских церквей, ставящему своей целью выработку единой социальной программы,— очень часто относятся настороженно. Во всяком случае — многие... Оно ведь возникло еще в начале XX века. Тогда многих попросту напугало понятие «экуменикос», что означает — вселенский. Нет ли, полагали некоторые, здесь попытки создать определенного рода вселенскую диктатуру?

Д. Л. Полагаю, ни о какой диктатуре и речи быть не может. Напротив, религии и вероисповедания могут служить и уже служат важным средством борьбы за мир, за объединение вообще, в чем так нуждается сейчас Земля.

Если все будет идти с религиями в том же направлении, то произойдет еще одно важное явление — религии станут более светскими, а следовательно, смягчится еще одно разделение — между религиозными мировоззрениями и не религиозными.

Н. С. Когда-либо такое должно было наступить. Но мне всегда казалось, что в очень уж отдаленном будущем. Во всяком случае, не при нашей жизни.

Д. Л. Как видите, наступает уже сейчас.

Н. С. Хотя не исключены очередные витки нетерпимости.

Д. Л. Нет, я так не думаю. Во всяком случае, не хочу так думать. И считаю, что не надо искусственных вмешательств в дела религий. Пусть они развиваются по своему пути. Действительно автономным должно быть управление церковью. Полагал бы, что надо отменить запреты на так называемую религиозную пропаганду. Не пропагандой определяется религиозность того или иного человека, а его личными несчастьями, надеждой найти утешение. Благотворительная деятельность церквей помогла бы в пополнении вспомогательного персонала наших больниц.

И тут на память мне приходит мысль, высказанная на международном совещании по вопросам безопасности православ-

ным митрополитом Питиримом: следует различать политическую идеологию и мировоззрение. Могут быть разные мировоззрения, а политическая идеология — одна: прогрессивная, ратующая за мир, за объединение. Могут быть одно мировоззрение или близкие мировоззрения, а вражда бешеная.

Н. С. Это все очень сложные вопросы, не терпящие скоропалительных выводов, а тем более чрезмерно темпераментных волевых поступков... Видимо, еще предстоит серьезно подумать над тем, как не только декларировать, но и обеспечить свободу вероисповедания, отделение церкви от государства, а государства от церкви. Ясно одно: невозможен диктат ни с одной, ни с другой стороны.

Д. Л. Нужны взаимное уважение, терпимость, широта мышления, исключающая догматизм.

Н. С. Уважения к Человеку просил в тяжелые тридцатые и сороковые годы Антуан де Сент-Экзюпери. Может быть, он почувствовал, что там, где исчезает уважение к Человеку, возникают соблазны геноцида, концлагерей, льется кровь, извращаются души. И сейчас самое время провозгласить возвращение к Человеку.

Д. Л. Литературе и подобало первой поднять голос в защиту Человека. Она исполнила свой долг. Это в такой же мере долг всей культуры. И здесь впору будет сказать вот о чем. Забота о культуре, принадлежащей всему человечеству, потребует создания тезаурусов мировой культуры. Это гигантская работа, которая должна охватить все страны мира. Потребуются дискуссии: что признавать объектами культуры, что заносить в эти тезаурусы, и при этом по единым принципам, единой схеме, на каких общедоступных языках их делать, как человечество может охранить свои богатства и от чего их спасать? Что такое реставрация, каким принципам она должна подчиняться, как обмениваться техническим опытом и техническими средствами? Необходимы конференции, совещания, общественные учреждения, издания, периодика... Все это уже само по себе создает чувство единства человечества. Не обязательно дружбу между народами — это было бы слишком прекрасно,— но хотя бы взаимопонимание и терпимость. Это должно быть очень широкое гуманитарное движение, прямые связи людей друг с другом (не люблю «электрического» слова «контакты»). И конечно же, длительные творческие пребывания за границей — такие, как бывали у Гоголя, Тургенева, Достоевского и у очень многих русских живописцев, а позднее у наших выдающихся певцов — у молодых Собинова, Шаляпина. Совместные работы над фильмами, театральными постановками, длительная работа в иностранных архивах крайне важны не только для создания иных научных и художественных произведений, но и для общей миролюбивой атмосферы, при которой военные действия станут невозможны. А еще более невозможны они станут, если у нас будет больше общеевропейских или общемировых институтов для разработки не только технических проблем, но и гуманитарных. Разве не пришла пора хотя бы помечтать о Международном институте изучения Ренессанса, или Барокко, или Средневековья, или Институте археологического изучения Африки, Институте сравнительного литературоведения? Необходимы экстерриториальные научные города, научные центры, работающие по международным программам. Все это явится заслоном от психологической подготовки войны, а также и экономическим препятствием. Любой разрыв отношений явится гигантским ущербом для экономики каждой из входящих в такую организацию стран.

Итак, не только культуру прошлого, но и культуру будущего века следует строить как единую культуру всего человечества. Это понимание единства человеческой культуры, взаимозависимости всех — на него я возлагаю главные надежды. И к этому дело идет. Атмосфера физическая на Земле одна, и охранять эту атмосферу мы должны все вместе. Культура тоже одна. Необходимо ослабить духовные границы между странами, разумеется, для людей духовных, творческих, но, конечно же, чтобы этим не воспользовались преступники-террористы или провокаторы всех мастей, контрабандисты — тоже всех мастей, жулики и спекулянты.

Границы должны быть возможно шире открыты для мира, и это закроет их для войны, враждебности, злобной пропаганды, непонимания друг друга. Сейчас в нашем мире не только усилилась опасность войны, но и увеличились шансы сохранить мир, ибо развитие туризма, общения (особенно длительного), обмен информацией, возможности создания международных научных и художественных предприятий, институтов, даже просто домов международного творческого отдыха и общения — все это мощно работает на мир.

Мир — это общение, терпимость, взаимопонимание. Война (даже необъявленная)— это разделение всякого рода, непонимание друг друга (отсюда враждебность), подозрительность, нетерпимость к другому мировоззрению, хотя нетерпимым нужно быть только к агрессивной идеологии.

Н. С. Агрессивность во всем, включая идеологию, а может быть, прежде всего в ней, никогда не была признаком силы. Это доказано историей. Внутренняя сила связана с внутренней правотой. Когда же верят в себя, стараются верить и другим. Отсюда — широта взглядов, а соответственно и доброта. Но этой внутренней самостоятельностью обладают далеко не все. А право судить присваивают стремительно. Выглядит это порою наивно, но от этого не становится менее грозным. Когда люди вроде бы образованные, во всяком случае при дипломах, а то и при званиях, во всяком случае «при дипломах», упрямо настаивают на том, что Казимир Малевич и Василий Кандинский были проводниками «западного влияния на русское искусство», оторопь берет. Понимают ли они, о чем говорят?

Д. Л. Да они сумасшедшие! Что касается Казимира Малевича, большого мастера, художника, умевшего работать в разных манерах, то его знаменитые «квадраты»— эк-

сперимент. Сам он к ним так и относился. Вовсе не считал шедеврами, ибо создать такой шедевр способен и школьник. Художник, повторяю, экспериментировал. «Квадраты» эти разного цвета. И по форме они часто не квадраты вовсе, а нечто вроде трапеций. Кстати, идет это от традиций русской иконы и не имеет никакого отношения к «западному влиянию».

Н. С. Напротив, правильнее было бы говорить о том, что если в XIX веке и ранее западноевропейское искусство сильно влияло на русское, то в начале XX века русское изобразительное искусство уже мощно влияло на западное. Именно в это время русские художники как бы достигли полной самостоятельности и равенства в диалоге с мастерами прошлого. С литературой и музыкой это произошло несколько ранее. Я имею в виду не только Пушкина, но и Гоголя, Даргомыжского, Толстого, Мусоргского, Достоевского. А говорить о каких-то глобальных западных влияниях на русское искусство первой трети XX века — хотя художники из «Бубнового валета», конечно же, знали и изучали технику французских и немецких живописцев — грустное заблуждение.

Д. Л. Я верю, что с ростом общей культуры таких заблуждений будет меньше. А что вас больше всего интересует в будущем?

Н. С. Конечно же, Человек. Каким он будет? Как соединить индивидуальный опыт с тем, что сегодня предлагает человеку мир? Средства массовой информации, видеомножительные аппараты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие, создали возможность как бы «силового» воздействия на зрителя и слушателя. И возникло даже новое понятие —«балдеть», то есть погружаться в мир страстей подкорковых, неконтролируемых. Понятно, что это — одна из форм ухода от реальности. Тут впору вспомнить о массовой культуре, которая тоже необычайно агрессивна и настойчива. Вместе с тем наступление массовой культуры легко спутать с процессом демократизации ее: мол, это понятно всем, а не только погрязшим в зауми. Естественно, ее идеологи будут прибегать именно к таким аргументам. Идет процесс демократизации культуры. А кто этого не понимает, тому ничем не помочь. И это случай, когда шумные публичные схватки в стиле пресловутого спора «физиков» и «лириков» неуместны и вряд ли принесут пользу. Я в тревоге за литературу. Известно, что сейчас во всем мире стал падать интерес к чтению. Есть и грустные пророчества: видеомагнитофон вытеснит книгу. Иной раз статистика, изучение положения дел в тех или иных странах подтверждают это.

Д. Л. Но все же не будем спешить внутренне расставаться с книгой. Она сумеет отстоять себя. Книгу не просто читают. Над нею размышляют. Общение с нею интимно. Здесь не нужен посредник. Порою он даже просто мешает. И в этом великое преимущество книги. Что же касается высокой гуманистической культуры — она все равно будет идти своим путем. Скажем так: в значительной мере — параллельным курсом. И в конце концов время решит, что человечеству нужнее.

Н. С. В какой-то мере это так. Вспомним хотя бы, что некогда возникновение оперетты, как бы «отпочковавшейся» от комической оперы, тоже оказалось поначалу явлением массовой культуры, хотя такое понятие тогда еще не существовало. Но оказалось, что оперетта — опереттой, а опера — оперой. Они практически не конкурируют. Понимаю, что будет процветать реклама-ревю. Не за горами и приход в жизнь голографии. Возникнут и новые формы так называемого «балдения». Можно будет путешествовать, не сходя с места, испытывать страсти небывалые и неземные, не поднимаясь с кресла и никак не утруждая себя при этом. Удобно, не хлопотно и блестяще уводит в сторону от дум тяжелых, хотя думы тяжелые иной раз нужны. Это уход в сторону от духовности. Но что такое духовность — сформулировать довольно трудно. Каждый понимает ее по-своему.

Д. Л. В письме одному школьнику я попробовал это сделать. Готов повторить то, что писал ему: наш внутренний мир можно и условно назвать нашей «душой». Ведь мы говорим: «от всей души», или: «мне это нужно для души», или: «сделано с душой». Все, что «сделано с душой», «от всей души», «нужно нам для души»— это и есть духовная культура. Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее — тем он счастливее, тем ему интереснее жить, а сама жизнь приобретает для него подлинную содержательность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к музыке нет этой «духовной культуры». Такое формальное отношение и есть «бездуховность»— жизнь механизма, ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы.

Н. С. Не связано ли с бездуховностью, с чисто механическим, не пропущенным через душу восприятием культуры или же с воспитанием лишь на массовой культуре такое явление, как карьеризм? Ведь подлинная нравственность, высокий уровень внутренней культуры несовместимы с карьеризмом.

Д. Л. Естественно. Впрочем, о карьеризме я бы сказал вот что. Человек со дня своего рождения устремлен в будущее, развивается. Он учится, ставит перед собой новые и новые задачи, порою даже сам не понимая этого. И как быстро он овладевает положением в жизни — уже и ложку умеет держать, и первые слова произносить. В конце концов, приходит время применять свои знания — зрелость. Вот тут-то и нужно жить настоящим.

Н. С. Не просто и не всем дается осознание этого Кроме того, настоящего часто боятся. Ведь по тому, в какой степени человек умеет жить этим настоящим, определяется уровень его самостоятельности. Очень часто кажется, что настоящее начнется со следующего понедельника...

Д. Л. Да, а стереотип мышления сохраняется. Движение идет по инерции. Человек все еще устремлен к будущему, а будущее

уже не в реальных знаниях, не в овладении мастерством, а в устройстве себя в выгодном положении в жизни. Подлинное содержание утрачено. Настоящее не наступает, а остается устремленность в будущее, но уже пустая, бесплодная. Это и есть карьеризм.

Н. С. И с этого момента человек может стать опасным для общества.

Д. Л. Да, постоянное внутреннее беспокойство, неживотворное и неправедное, делает человека несчастным лично, а для окружающих нетерпимым.

Н. С. Это так. В одном из предыдущих диалогов мы говорили о том, что культурные ценности должны в конце концов стать достоянием всего человечества. Возвращаясь к мысли о тревожащем наступлении массовой культуры, хотел бы с уверенностью сказать, что тот, кто видел и полюбил работы Рафаэля и Рублева, Эль Греко и Феофана Грека, Босха и Кандинского, Рембрандта и Левитана, кто вчитывался в строки Данте и Пушкина, Шекспира и Достоевского, для кого звучала музыка Моцарта и Глинки, Шопена и Чайковского, Мусоргского и Сибелиуса, — у тех будет стойкий и естественный иммунитет против массовой культуры.

Но для этого каждый житель планеты должен иметь доступ к пикам, вершинам литературного, философского и художественного гения человечества. И он должен не просто логически понять, а всегда знать и чувствовать, что Шекспир принадлежит всем и что Пушкин писал тоже для всего «подлунного мира». А может быть, не только для подлунного. Не об этом ли мечтал Николай Федоров в своей книге «Философия общего дела»?

Д. Л. Никто не знает. Но, продолжая тему, очень важную, хочу сказать вот о чем. Один из делегатов международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества», состоявшегося, как вы помните, в Москве в феврале 1987 года, рассказал мне такую историю. Муниципалитет ирландской столицы решил строить для своих нужд высотные здания. Когда стали рыть землю под фундаменты, обнаружили полностью сохранившийся город викингов: улицы, площади, планировка домов, их обстановка, убранство, посуда, печи... Как же решили вопрос? Предметы роздали разным ирландским музеям, а город снесли и построили нужные муниципалитету здания. Пришли протесты из Скандинавских стран: муниципалитет Дублина не имел права разорять культурные ценности (в данном случае — сохранившийся древний город), принадлежащие другим народам. И вот вновь вопрос вопросов: кому принадлежат культурные ценности вообще? Имеет ли право какой-либо музей плохо хранить или уничтожать то, что было создано творческим гением других народов?

Н. С. Пожалуй, это сегодня один из весьма запутанных вопросов. Повторим: очень трудно дается осознание того, что «Мона Лиза» в той же мере принадлежит каждому из нас, как и любому из французов, испанцев, а эрмитажная «Мадонна Бенуа» тоже достояние всего человечества. Данте, Гомер, Достоевский нужны не только итальянцам, грекам и русским...

Д. Л. Разумеется. Глубокое осознание этого должно прийти ко всем людям сейчас или никогда. Потом будет поздно: формирование всемирной культуры, объединяющей людей, гомосферы, состоящей из множества этногомосфер,— дело вовсе не отдаленного будущего. Это могучий процесс, который идет сейчас. Я уже говорил, что было бы абсурдным пытаться раздавать «прежним владельцам» крупнейшие художественные собрания мира... Это неразумно. Но совершенно необходимо осознание того, что сохраняющие у себя не только художественные ценности других народов, но и свои собственные — музеи, города, страны — отвечают за них перед всем человечеством. За памятники культуры (все равно — свои или чужие) отвечать надо перед всем миром как за ценности, находящиеся у тебя на сохранении. Вот, к примеру, Кижи... Кижи — достояние не только русского и карельского народов. Человечество себя обворует, если допустит, чтобы Кижи исчезли. Высказываю свое твердое убеждение: для их сохранения следовало бы привлечь и средства, и специалистов со всего мира.

Н. С. Мы с вами однажды покритиковали власти Парижа за то, что они недостаточно бережно отнеслись к своему городу. Говорили и об уничтожении диккенсовского Лондона. Теперь досталось и дублинцам.

Д. Л. Ну что же — пусть выслушают... Когда-то я написал для газеты статью «Кому принадлежит история», в которой доказывал, что градостроители не имеют права распоряжаться по своему усмотрению историческими зданиями и историческими городами — они принадлежат всему народу, в том числе и будущим поколениям. А теперь я пришел к мысли значительно более широкой: все культурные ценности принадлежат всему человечеству. Осознание этого должно, на мой взгляд, стать одним из элементов нового мышления.

Н. С. То, что приход нового мышления спасителен для человечества, уже мало у кого вызывает сомнения. С этим вроде бы уже и не спорят. Правда, каждый понимает его по-своему. То, что наш мир разнолик и даже пестр, но в то же время един, люди знали всегда. Но не ведали о многих грядущих открытиях, еще только маячивших впереди, об энергии освобожденного атома, которая, как оказалось, может быть и доброй и злой, о выходе человека в космос и о многом другом, в том числе и возможности влияния на генетический код, но поэт Уильям Вордсворт еще двести лет назад чутким внутренним зрением увидел, что люди не имеют права забывать об органичном единстве нашего столь сложного и внешне столь различного мира, что у всех народов один общий дом — Земля. И все мы должны любить свой дом, свою Землю, беречь ее. Казалось бы, мысль не новая. Но как сложно дается ее коллективное, всеобщее осознание, приход к ней каждого. А новое мышление должно стать общепланетарным, понятным каждому жителю Земли.

Д. Л. Вновь возвращаюсь мысленно к Московскому форуму 1987 года, где на одной из секций выступил японец Нобуюки Накамото, который рассказал о пьесе, главные действующие лица которой — рыбы. Самые безмолвные существа на свете. Недаром говорят —«нем как рыба». Эти рыбы погибали в океане от радиации. Я подхватил эту тему: человек — единственное существо, которое умеет говорить. Весь остальной мир лишен возможности выразить свои нужды, требования, свое отношение к происходящему. И весь живой мир, в отличие от человека, в этом смысле беззащитен. Вот почему на человеке обязанность словом и делом защищать не только себя самого, но и говорить от имени всего живого вокруг.

Н. С. В какой-то мере писатели пытались это делать во все времена. Порою их ругали за то, что они как бы наделяли животных сознанием, и подозревали бедных писателей в тайном идеализме, пантеизме и еще бог знает в чем, но к чести литераторов надо сказать, что они были упрямы и не прекращали говорить от имени всего живого на планете.

Д. Л. Да, это верно... Там, на форуме, развивая мысль о необходимости защиты человеком всей природы, я сказал, что должен быть составлен, сформулирован кодекс прав животных. Ибо все живое обладает своими естественными правами. Человек обязан защищать права животных независимо от того, нужны они ему в хозяйстве или нет. Дельфины, киты, слоны, собаки, как теперь уже неопровержимо доказано,— мыслящие существа. Потребительское отношение к животному миру безнравственно. Велимир Хлебников еще в 1921 году писал: «Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки в пустом покое, темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое «нет». Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его стены.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек: и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида».

Н. С. Что же, Хлебников в своих мечтах о «сверстанном мире», о мире, в котором все было бы разумно и гармонично, обязательно должен был заговорить об этом. Для него ведь тождество человека и Вселенной было несомненно. Он огорчался, если видел, что человек не всегда признает это тождество, пытается поставить себя над природой. Кстати, в том же «Утесе из будущего», откуда взяты процитированные строки, в конце есть и оптимистическое: «...Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок. И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях...» Хлебников верил в это.

Д. Л. Напомню, кстати, что художник Филонов в своих антиурбанистских картинах даже попробовал представить себе эти «звериные города». В общем, замечательно, что создано общество защиты животных — «Фауна». Кодекс прав животных обязателен. Но так ли, иначе ли речь сейчас идет о формировании нового нравственного кодекса человечества: ответственность и международное сотрудничество в использовании природных богатств, сохранение экологического равновесия планеты, освоение космоса в интересах всех, никак не связанное с использованием его в военных целях. Этот кодекс предлагает и неприятие национального эгоизма, и эгоизма вообще, когда собственные интересы, интересы пусть даже большой группы людей ставятся выше интересов человечества в целом.

◆

Возвращаясь к напечатанному

Криста Вольф и ее повесть «Авария»* под тремя углами зрения

А. КАРЕЛЬСКИЙ

ПОЭЗИЯ И МЫСЛЬ

Заметки о творчестве Кристы Вольф

В 1982 году Криста Вольф была приглашена в университет Франкфурта-на-Майне прочитать курс лекций по поэтике. Есть такая красивая и умная традиция в этом университете: студенты, интересующиеся современной литературой, один семестр в году получают возможность послушать рассуждения об этом предмете не только ученых теоретиков, но и наиболее знаменитых практиков ремесла — не тех, кто литературу штудирует и каталогизирует, а тех, кто ее создает. Студентов при этом не обучают на писателей; нет, задача скромней — им дают таким вот образом понять, что литература — это прежде всего не тема, идея и прием, а — судьба, сердце и мысль.

«Никакой поэтики я вам предложить не могу»,— с этих слов начала Криста Вольф свои франкфуртские лекции[1]. Эффектность такого зачина можно счесть и банальной. У писателей издавна в запасе этот ход: пишу как пишется, а анализировать — это уж ваша забота. Но те, кто знают Кристу Вольф и ее книги, знают также, что игра в перевертыши и парадоксы — не для нее. Артистического самодовольства, неизбежная толика которого всегда таится за склонностью к парадоксу, ее натура просто не знает. Криста Вольф все принимает всерьез — и слово и жизнь.

Если она все-таки решилась читать лекции о предмете, который она заведомо отрицает,— значит, и тут дело обстоит серьезно. Это не расхожее отрицание стесняющих правил ремесла в пользу свободы писательской гильдии. Свобода Кристы Вольф давно уже выше суетных хлопот о правилах. Вопрос для нее скорее в том: что пользы писателю в этой свободе? Под сомнение она ставит не поэтику, а нечто большее, то, за счет чего вообще существует поэтика,— саму поэзию.

Едва ли сегодня у кого возникнет сомнение в том, что Криста Вольф поэт и мыслитель одновременно — продолжательница давней традиции, истая дочь народа поэтов и мыслителей. Но в этой знаменитой двойной характеристике определения мыслятся как почти равноценные, друг друга дополняющие и оттеняющие,— а в судьбе и творчестве Кристы Вольф оба качества в последние годы вступают во все более напряженное противоречие.

Явственный перелом обозначился в конце 70-х годов. Во-первых, писательница в эти годы отходит от своей постоянной темы —

* Опубликована в «Иностранной литературе», 1987, № 12.

[1] Ch. Wolf. Voraussetzungen einer Erzählung. Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Darmstadt u. Neuwied, 1983, S. 7.

КАРЕЛЬСКИЙ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1936 г.)

Советский литературовед, критик, переводчик. Доктор филологических наук. Автор статей о немецких и австрийских писателях XIX—XX вв. (Г. Клейсте, Г. Бюхнере, К. Ф. Хеббеле, Р.-М. Рильке, Р. Музиле), о литературе ФРГ. В числе переводов с немецкого — трагедии Хеббеля «Агнеса Бернауэр», «Гиг и его кольцо», повести Х. Додерера «Последнее приключение», У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.» («ИЛ», 1973, № 12), Р. Музиля «Тонка»(«ИЛ», 1970, № 3), М. Вальзера «На полном скаку» («ИЛ», 1983, № 8).

современности и ближайшего прошлого (времени фашизма и войны) — и обращается к прошлому более отдаленному (к немецкой истории первой трети XIX века, а затем и к древнему мифу). Во-вторых, она дает всякий раз как бы две версии проблематики прошлого — аналитическую («мыслительную») и поэтическую.

Поэзия предстает в сопровождении исследования, очерка, причем авторитетность поэтической версии, само ее право на существование ставятся под вопрос.

В интервью журналу «Иностранная литература» в 1982 году Криста Вольф сказала: «Причина этого не боязнь барьера в читательском восприятии, а ощущение барьера внутри себя самой, растущие сомнения относительно возможностей спонтанного беллетристического повествования: могу ли я в одной повести охватить полностью всю проблематику? Современность кажется мне такой сложной, что я пишу медленно и постоянно должна преодолевать этот внутренний барьер» [2]. Во «Франкфуртских лекциях» она подтвердила эту установку: «Овеществляя в себе живой опыт бесчисленных существ, искусство тем самым его умерщвляет и погребает, и нет такой поэтики, которая могла бы этому воспрепятствовать» [3].

Тут уместно напомнить, что «живой опыт бесчисленных существ» для Кристы Вольф не отвлеченно-философская или поэтологическая проблема. Писательница имеет в виду именно «сложную современность», и нет никакого противоречия в том, что она говорит о современности в тот самый момент, когда занимается историями Каролины Гюндероде, Клейста или Кассандры. Связь очевидна: на примере истории и мифологии здесь осмысляются очень современные проблемы. В конечном счете для Кристы Вольф речь повсюду идет о судьбе сегодняшнего мира и сегодняшнего человека, о роковой угрозе их дегуманизации и уничтожения. В этом смысле возвращение писательницы к самой сиюминутно-злободневной теме в «Аварии» будет не новым переломом, а логическим продолжением. Под грозным знаком Аварии стоит все творчество Кристы Вольф последнего десятилетия. Уже с конца 70-х годов мысль писательницы, как чуткий сейсмограф, настроена на самые отдаленные предвестия — вплоть до глубин археологических эпох. И перед лицом этой угрозы поэзия, как видим, мыслится поэту глубоко сомнительной.

Взаимосвязь поэзии и мысли, вымысла и достоверного, доступного проверке рассуждения существовала в творчестве Кристы Вольф и раньше. Эти два уровня неоднократно отмечались и анализировались исследователями в «Размышлениях о Кристе Т.», в «Образах детства». Но там мы имели дело с художественным приемом, со средством повествовательной техники; читатель погружался в произведение словесного искусства, в котором традиционное жизнеописание сопрягалось с его непосредственным осмыслением, отражением в авторском сознании. Эмоциональное воздействие такой прозы облегчалось тем, что образ писательницы в значительной мере отождествлялся с образами ее героинь; при всем остранении это были, по сути, художественно воплощенные автобиографии.

В работе над историями Каролины Гюндероде и Кассандры «размышления» резко отделяются от собственно художественного воплощения. Они теперь сами получают форму — и форму эссеистическую, то есть логически рациональную. В параллельно возникающих художественных версиях той же самой тематики образ размышляющего автора отсутствует (либо в лучшем случае присутствует косвенно — внушается нам самой техникой повествования, изысканной и усложненной).

Разрыв между «вымышленной», сочиненной историей и ее «осмысленным», рациональным истолкованием оформляется окончательно. Версии стоят лицом к лицу. В напряженном силовом поле между ними жаждет своего разрешения вопрос о действенности художественного слова, искусства, писательства.

Тут необходимо еще раз оглянуться назад.

Криста Вольф никогда не создавала искусства ради искусства, ради самоудовлетворения и самолюбования — ее творчество всегда было глубоко гражданственным, пронизанным идеей ответственности писателя. Она и вопросы ставила острейшие, наболевшие: выбор пути в разъединенной Германии («Расколотое небо»), духовное и нравственное самоопределение человека в современном обществе («Размышления о Кристе Т.»), причины распространения фашистской чумы в недавнем прошлом ее страны («Образы детства»). Все больше ее тревожила мысль о неблагополучии современного технизированного мира, об угрозе атомного самоуничтожения человечества. И если писательница в процессе творческого развития осваивала новые, самые современные технические приемы повествования, то лишь с целью более надежного воздействия на разум и совесть современников.

На этом пути в какой-то момент ее мысленный взор остановился на эпохе романтизма. Поначалу, как представляется, романтизм был для нее тоже в первую очередь специфической формой художественного выражения; скажем, в рассказах сборника «Унтер-ден-Линден» романтизм в манере Гофмана выступает преимущественно в этой функции — как сокровищница выразительных средств, находившихся до этого в незаслуженном небрежении. Но дальнейшее углубление в эпоху и атмосферу романтизма принесло с собой ошеломительное открытие: все уже однажды было! Все — или, по крайней мере, многое и очень важное — поэты однажды уже прозрели, обо всем предупреждали! Только мало это помогло. Такое «размышление» нашло свое четкое и сильное выражение в зачине очерка о Каролине Гюндероде «Тень мечты» и было продолжено в очерке о Беттине фон Арним «А грядущее начинается уже сегодня». Нет

---

[2] См. «Иностранная литература», 1982, № 7, с. 239.

[3] Ch. Wolf. Frankfurter Vorlesungen, op. cit., S. 8.

нужды здесь эти мысли перелагать — они доступны читателю в русском переводе[4].

Так две женщины романтической эпохи — мечтательницы, страдалицы, «сумасбродки» — напомнили Кристе Вольф о судьбе Кассандры. И в начале «Франкфуртских лекций» она сказала: «В последние два года меня неотвязно преследует один образ: имя ему — Кассандра» [5]. Эти два года хронологически непосредственно примыкают к годам ее размышлений о Каролине Г. и Беттине фон А.

Оба больших тематических комплекса в творчестве Кристы Вольф последнего десятилетия объединены на самом деле другим ключевым образом; имя ему — пророчество, неуслышанное пророчество. Это и есть глубинная причина ее растущих сомнений в действенности писательского труда. Она прямо так и сказала в 1982 году о своем интересе к эпохе романтизма: «Он пришелся на тот момент, когда я увидела себя вынужденной исследовать предпосылки крушения, связь между гражданским отчаянием и творческим крушением» [6].

Как отражается такое положение дел и такое состояние души в творчестве?

Криста Вольф, движимая этим импульсом, приступает в конце 70-х годов к работе над историей Клейста и Гюндероде. Это еще повесть в традиционном смысле, «произведение искусства»,— и его «искусственность» дополнительно подчеркивается тем, что встреча двух романтиков (на чем строится сюжет) с исторической точки зрения весьма сомнительна, гипотетична — если говорить по-простому, «вымышлена». Вслед за повестью появляются оба больших эссе. Они, конечно, провоцируют на сравнение — и, поставленные рядом с поэтической версией темы, обнаруживают гораздо большую силу убедительности! Можно сказать и по-другому: в свете их строгой, страстно-жесткой логики художественная техника повести «Нет места. Нигде» кажется даже несколько манерной. Она бы не казалась такой, если б не было этих эссе; но она может произвести такое впечатление именно в сравнении с ними. Ибо в них мысль предстает ясней, неопровержимей — и это та самая мысль, которую хочет утвердить писательница и которая уже в силу самой своей серьезности требует возможно более ясного выражения. Эссеистическая, мыслительная точность обеспечивает такую последнюю ясность надежней, чем самые утонченные поэтические — художественные изыски.

И вот Криста Вольф обращается к фигуре Кассандры. Вызревание замысла приходится на время подготовки к франкфуртским лекциям — и Криста Вольф объединяет две эти работы: свои лекции она строит как стенограмму процесса создания повести о Кассандре, а сама повесть получает статус «пятой лекции».

Здесь обретает форму то, что уже раньше взвешивалось и высказывалось писательницей: отрицание принципа спонтанности творчества, поэзии. Повесть как «следующая лекция»! Поэзия как звено в процессе мышления — учения и обучения.

Но не впадем — или не дадим себя ввести — в заблуждение: это демонстративное отрицание спонтанности есть в то же время акт очень своеобычной формотворческой воли. Поэзия здесь встраивается в процесс мышления, вырастает из него и продолжает его. То, что в случае с романтической темой еще шло по разным линиям: статья — и художественное воплощение проблематики,— здесь без всяких швов переходит одно в другое. Эту связь разрушили издательства, опубликовавшие повесть о Кассандре и лекции о поэтике по отдельности.

Повторим еще раз — дело тут не в модернистской прихоти мастера; речь идет ни много ни мало о том, что мастер всем своим существом, головой поручается за то, что он творит. Принципы, столкнувшиеся друг с другом в противоречии: поэзию (как «вымысел») и мысль — Криста Вольф снова пытается соединить на некоем более высоком уровне,— чтобы в равной (и доказуемой!) мере остаться не только сочинителем, но и аналитиком. Именно это напряжение придает творчеству Кристы Вольф последнего десятилетия особую неотразимость — и особое достоинство.

Коль скоро речь идет о судьбах мира, поэт не имеет права даже хотя бы на секунду уходить в искусственно созданный поэтический мир. Раздумье о мире не отпускает его — не дает ему временной передышки для своего «художественного воплощения».

Разумеется, всякий настоящий поэт размышляет о современном мире; но в тот момент, когда он «творит», когда он создает вымышленный образ, он все-таки на некоторое время как бы выходит из этого мира. Криста Вольф полагает, что она не может позволить себе даже этого кратковременного выхода.

И вот — «Авария».

Говорить о ней как о «произведении» — почти кощунство. Как объяснить этот текст в соответствии с жанровыми правилами поэтики? Это не повесть; и не очерк тоже; и не дневник.

Стенограмма потрясения не жанр. Никакой ars poetica нам здесь не предлагают.

При первом чтении может показаться, что здесь вообще царит хаос. Описывается один день из жизни рассказчицы. Фиксируется всякая мысль, всякое действие, всякий жест — со всеми случайностями, перебивами, несущественностями, свойственными повседневному течению человеческого бытия.

Но читателю тут следует поразмыслить. Тогда обнаружатся удивительные вещи.

Тогда мы увидим: несмотря на всю фактографичность и «аутентичность», здесь творит поэт! Эта документально точная стенограмма есть одновременно и художественно оформленный текст. Вот *этого*, стало быть, не стряхнуть с себя никаким усилием воли! Есть соблазн сказать: если те сомнения в писательстве были серьезными — а они безусловно были таковыми! — то поэтический дар, в отместку, приготовил здесь сомневающемуся возвышенную ло-

---

[4] См. сборник «Встреча. Повести и эссе писателей ГДР об эпохе «Бури и натиска» и романтизма». М., «Радуга», 1983.

[5] Ch. Wolf. Frankfurter Vorlesungen, op. cit., S. 7.

[6] Ch. Wolf. Die Dimension des Autors. Band. II. Berlin-Weimar, 1986, S. 422.

вушку. Перед нами текст, не только выстраданный сердцем и разумом человека, но и созданный рукою мастера.

Итак, если дозволительно говорить об этом тексте как произведении искусства, то можно, вероятно, назвать главным его героем человеческий мозг. Ведь тут описывается очень необычный день. В этот день рассказчица, находясь в своем загородном доме, впервые услышала по радио сообщение об аварии в Чернобыле; и в этот день в берлинской больнице ее брату делали операцию на мозге. Перед нами, таким образом, стенограмма состояния души, переживающей два потрясения сразу — общечеловеческое и личное; души, которой вдруг во всей своей беспощадности открылась предельная уязвимость и человека, и всего человечества. При этом случай захотел, чтобы оба трагических сбоя оказались связанными с мозгом: атомный реактор — разве он не одно из триумфальных созданий человеческого мозга? А вот на волоске от гибели находятся и сам мозг-творец, и все живое на земле, постоянно подвергаемое опасности его творением. Именно эта глубинная ассоциативная связь роковым образом объединяет то, что внешне никак не связано друг с другом, и придает смысловую и художественную целостность будто бы хаотическому потоку разрозненных впечатлений одного описываемого дня.

Тут, можно сказать, обнаруживается третья ипостась мозга как «главного героя» повести: это еще и генератор писательской, художнической мысли, ищущей в случайных сочетаниях закономерности.

Рукотворная судьба в лице «покоренного» и в то же время такого непокорного, труднопредсказуемого атома обнаруживает свою власть за самыми, казалось бы, невинными мелочами повседневного быта. Стоит, например, рассказчице приняться за прополку огорода или полив салата — чтобы хоть на время отвлечься! — как она в следующую минуту вспоминает, что и это занятие теперь отнюдь не безопасно. Стоит ей в телефонном разговоре с дочерью спросить о внуке — спросить поначалу «просто так», как всегда в таких случаях спрашивают,— как тут же и всплывает мысль о том, что внуку сейчас опасно выходить на улицу. Самая бытовая забота повсюду натыкается на грани бытия. А параллельно идет и обратный процесс: например, сообщение о передвижениях радиоактивного облака вызывают у рассказчицы — все-таки еще писателя, художника! — ассоциативные образы других облаков, белых, *видимых*, воспевавшихся поэтами,— и хрестоматийные строки начинают звучать горькой иронией, ибо теперь появились облака, не видимые для поэтов, но грозящие смертью всему живому. Случайное, привычное, невинно-повседневное переплелось с глобальным, космическим в роковой узел.

Повесть Кристы Вольф — предостережение. Всем ее строем писательница протестует против самовластия атома, против легковесного тщеславия его ученых «покорителей». Мозг-творец восстает здесь против мозга-разрушителя. Стенограмма одного дня становится символическим воплощением глубокого кризиса сознания современного человека — человека как «мыслящего существа».

Истоки и этой идеи восходят к моменту перелома — к рубежу 70—80-х годов. В 1980 году, поздравляя Макса Фриша с его семидесятилетием, Криста Вольф в приветственном письме неоднократно обращалась мыслью к его вышедшей годом раньше повести — «Человек появляется в эпоху голоцена». То была тоже притча о судьбе homo sapiens. В предчувствии близкой смерти и под угрозой стихийной катастрофы человек там из последних сил своего меркнущего сознания сопротивлялся приходу потопа и небытия, сооружал защитный вал из дат и фактов человеческой и земной истории. Криста Вольф сказала тогда об этой повести: «Своего рода второе сотворение мира в голове старого человека, жить которому осталось недолго»[7].

Вот так и в «Аварии» из дробных отдельных моментов, из будто бы расщепленных атомов сознания рождается символический образ судьбы современного человека, балансирующего на грани между бытием и небытием. В обоих случаях подвергается испытанию именно человек как homo sapiens; в обоих случаях мыслящий тростник противится угрозе уничтожения.

Готовых решений Криста Вольф не дает и склонна скорее к самой радикальной позиции — отрицанию атомной энергии в принципе. Но конкретный пример, обыгрываемый в этой связи в «Аварии», придает такой подчеркнуто эмоциональной реакции и более четкие контуры: проблеск надежды для писательницы появляется там, где она рассказывает о судьбе молодого американского ученого-атомщика, отказавшегося работать по программе СОИ. Это, по убеждению автора, принципиально важный шаг в противоборстве человечества угрозе ядерного самоуничтожения[8].

Тут, очевидно, необходимо сделать оговорку. Читатель, знакомясь сейчас с этим произведением, должен четко осознавать, что оно создано было в определенный момент и по горячим следам событий. Эти события — что касается возможностей предотвращения ядерной катастрофы — получили в последнее время новое развитие, и мы все напряженно за ним следим. Несомненно, в круг раздумий писательницы сейчас вошли бы и перспективы нового мышления, предлагаемого нашей страной на самом высоком уровне, и наши настойчивые инициативы, направленные на полное уничтожение ядерного оружия. Но тот шаг, о котором писательница говорит в «Аварии», все равно сохранит для нее особую значимость и весомость, ибо для нее важно в данном случае решение, идущее «снизу», осознание своей нравственной ответственности каждым человеком.

Возвращаясь к основной нити наших рассуждений, добавим лишь вот что: как мы видели, подчеркнуто фактографический текст «Аварии» является одновременно и поэтической притчей. Входило ли это в намере-

---

[7] См.: М. Фриш. Листки из вещевого мешка. М., «Прогресс», 1987, с. 301.

[8] Отметим, что с тех пор число американских ученых, отказавшихся участвовать в программе СОИ, приблизилось, по сообщениям прессы, к пяти тысячам.

ния писательницы или нет — вопрос уже несущественный. Отчаиваясь в действенности писательского слова, Криста Вольф может — сошлемся еще раз на ее приветственное послание Фришу — «жаждать приемов, которые не были бы художественными приемами»[9]; она как мыслитель может, иными словами, сомневаться в достоинстве поэта — но она не может перестать быть вместе и тем и другим.

А. КОСОРУКОВ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

О повести Кристы Вольф «Авария»

Все, о чем рассказано в «Аварии», освещено зловещим светом чернобыльского взрыва *мирного* атома. Светом Кассандры, предсказавшей гибель Трои. Однако главная тема «Аварии» не трагедия Чернобыля, а потрясенная ею душа писательницы. Исповедь Кристы Вольф, человека и художника, в связи с уроками Чернобыля и — шире — с перестройкой своего мышления и сознания, начатой раньше и вдохновляемой идеей свободного осмысления новых сил и перспектив ядерного века. Работа над исповедальной повестью совпала по времени с Чернобыльской аварией, которая, похоже, ускорила начавшийся ранее пересмотр прежних принципов и представлений писательницы.

Гуманистическая, демократическая, антивоенная книга Кристы Вольф взволновала меня честным самоанализом, искренним *страданием от несоответствия* ее мышления и сознания требованиям нынешнего и будущего времени. Ее главный вывод о приоритете всеобщей цели («выживание человечества») над любыми другими я, разумеется, разделяю, как и ее точку зрения по большинству других вопросов, затронутых в «Аварии» (оценка «звездных войн», колониальной политики, алчности господствующих групп, возможностей человека в спасении мира от погибели и др.). Вместе с тем подход автора «Аварии» к ряду весьма существенных проблем современности вызывает возражения, которыми, на мой взгляд, важно поделиться с читателем. В этом я вижу главную задачу статьи. Однако только ею ограничиться нельзя. Так как Криста Вольф, по ее признанию, «намеренно» заглубила суть «Аварии» в «долговечный подтекст», то возникает необходимость рассказать о некоторых способах его создания — без этого не уяснить специфики идейно-образной системы повести.

Тревожные отблески чернобыльского взрыва и пожара густо легли на первую же страницу «Аварии», сбили дыхание автора и повествование с размеренного ритма на ритм неровный, а ее мысль — с движения по дочернобыльской колее: «*...отныне я не буду чувствовать себя чем-либо связанной. Буду свободна в своих действиях и, главное, поступать буду, как моей душе угодно*» (курсив мой.— А. К.). И тут же, в следующем предложении, этот переворот в сознании получает более конкретное выражение: «Та цель в весьма отдаленном будущем, в которой до сего времени сходились все линии, была взорвана и плавилась теперь вместе с расщепляемым материалом в корпусе реактора. Редчайший случай...» Значение цели в жизни человека трудно переоценить. Ближняя или дальняя (особенно!) цель как закон определяет нашу линию поведения, оказывает серьезное влияние на формирование сознания человека. «Да как могла бы я идти, не имея цели?» — спрашивает Криста Вольф, и в ее вопросе уже содержится ответ: человек не может развиваться, если у него нет цели. Эта истина хорошо известна. Бесспорна. Но вот прочувствовать ее возможно лишь в том случае, когда прежняя, дальняя (мы чаще говорим «стратегическая») цель заменяется новой. Для человеческой души смена цели всей жизни — всегда процесс, который точно, хотя и трафаретно, характеризуется словами «острый душевный кризис».

В таких, как полагает автор, «редчайших случаях» возникает неизбежный вопрос: почему одна цель сменила другую?

Логично, видимо, начать с выяснения того, что за жизненная цель была у писательницы до Чернобыльской аварии и в каком свете видится она ей после аварии. Как ставится вопрос с самого начала? Прежняя «цель... была взорвана и плавилась теперь вместе с расщепляемым материалом в корпусе реактора». Вместе — вот в чем суть. Связь одного с другим несомненна. Расщепление материи привело к ядерному взрыву и пожару, в результате которых из раскаленного ядра реактора непрерывно выбрасывались в атмосферу мельчайшие частицы, собирались в невидимые «облака», а из них ветром и дождем рассеивались губительные «семена» болезней и смерти. «Расщепление», раздвоение сознания закономерно закончилось выбросом вредоносных «частиц» мозга, из которых «состояла» старая цель,— всего комплекса идей, создававших ее целостное единство. Но что именно так тесно связывает два «взрыва» — в ядерном реакторе и в сознании писательницы? Попробуем в этом разобраться.

[9] М. Фриш. Листки из вещевого мешка, с. 300.

КОСОРУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1931 г.)

Советский переводчик и литературный критик. В его переводе вышла трилогия С. Хр. Караславова «Солунские братья», повести, рассказы и пьесы чешских и словацких писателей. Автор статей о чешской, словацкой и русской литературах, книги, посвященной «Слову о полку Игореве» — «Гений без имени».

С ее точки зрения, взрыв мирного атома означал к о н е ц идеи полезности использования ядерной энергии в целях укрепления мира на Земле, а тем самым обеспечения важнейшего условия для улучшения жизни людей и для выживания человечества: «У меня в голове промелькнул текст письма, в котором я — заклиная, как иначе,— хотела кого-то уведомить, что риск при атомной технике нельзя сравнить почти ни с каким другим и что даже при самом минимальном риске от этой техники обязательно следует отказаться». Словом, по мнению автора, мирный атом — средство, противоречащее цели обеспечения прочного мира. Вот что «прояснил» чернобыльский взрыв и с чем связан отказ писательницы от прежней цели, которая, выходит, включала в себя идею использования ядерной энергии в мирных целях, в то время как новая цель эту идею исключает.

Сожженная цель — это, как я полагаю, следует из «Аварии» — «справедливость, равенство, человечность для всех» (формулировка Кристы Вольф). Цель социально-политическая, классовая, а потому не всеобщая, соответствующая, однако, интересам большинства человечества, которое имеет основания считать, что оно находится в угнетенном положении, ограничивающем его реальные возможности равного развития — равного с другими, привилегированными, слоями и классами общества. Цель эта, как сказано в «Аварии», «противоречила (и противоречит)» интересам определенных групп людей, а потому ее достижение неизбежно связано с социальными конфликтами. После Чернобыля эта цель стала казаться писательнице недостижимой, как линия горизонта (ее образ). Какой же смысл бороться за «утопию», зря растрачивая силы и время? В этом вопросе уже содержится ответ на другой — о причине отказа от такой цели.

Какова же новая цель писательницы? В тексте о ней не сказано ни слова. Но пусть это нас не смущает — ответ, причем вполне определенный, содержится в идейно-образной системе «Аварии», в ее художественном подтексте. Надо лишь проанализировать, на что была нацелена деятельность писательницы в тот день, который отображен в «Аварии». И мы увидим, что главная цель — вылечить тяжелобольного брата, который лежит на операционном столе с опухолью в мозге (тоже авария, тоже расщепление — и материи и духа). Образ брата — образ собирательный, символ людей, чье «мышление и речь в сумерках», чье сознание больно, разорвано дилеммой «жить — не жить» или уже приблизилось к критической черте, за которой утрачивается инстинкт самосохранения. В «переводе» с языка художественного на политический эта цель называется «выживание человечества». Кроме образа Больного Брата в «Аварии» есть (тоже главный) образ самой писательницы, который в символическом плане возвышается до образа Сестры, второй, относительно здоровой половины человечества. Ее деятельность, обширная и разнообразная, преследует ту же Цель — сохранить жизнь человека, обогатить ее и украсить. Таким образом, концепция новой цели — это излечение Брата при необходимой помощи Сестры и самосовершенствование ее самой, ее образа жизни и мышления, ее сознания. В «Аварии» вопрос об общечеловеческой цели поставлен остро, в конкретно-практическом плане: стало ли для вас, читатель, брат или сестра, выживание человечества личной целью, которой вы подчиняете большие и малые дела, в свете которой вы оцениваете себя и все происходящее вокруг вас? Писательница, как бы отвечая на поставленный вопрос, делится с читателем наблюдениями и мыслями, которые полны тревоги, порой в них звучат и пессимистические ноты, хотя в целом она не теряет надежды на счастливый конец.

Глобальная ситуация, по мысли Кристы Вольф, такова, что в результате неустанной помощи здоровых сил в последний момент удалось добиться перелома — пока еще очень незначительного — в борьбе за оживление у Больного Брата инстинкта самосохранения, положить начало процессу его выздоровления. Он уже хочет жить, хотя продолжает сомневаться, стоит ли его неполноценная жизнь (болезнь урезала возможности его личности) того, чтобы за нее держаться и тем более — бороться. Очевидно, что нужен упорный, на пределе сил, труд всех, кто на это способен, чтобы закрепить перелом, а потом сделать выздоровление человечества необратимым процессом. Труднейшее дело. Как огорчительно много еще в мире непонимания, благодушия, нежелания людей что-либо переделать в себе и своей жизни к лучшему, пустых надежд на «авось» или, например, на спасительное вмешательство инопланетян, как много отживших стереотипов мышления, алчности и лжи, слепого повиновения властям, идолам, страстям, групповым интересам... Обо всем этом верно и интересно размышляет автор «Аварии».

Взять, к примеру, художественную литературу — предмет, который Криста Вольф знает хорошо. На общечеловеческую цель, как она убеждена, продолжают «работать» произведения классиков (кое-кого автор цитирует), некоторых современных писателей, но в целом «они — *пусть вокруг смерть и гибель, крушение и угрозы всякого и разного рода* — неколебимо следуют по той линии, которую, сочиняя, некогда избрали, следуют одержимые словом, к некоей цели, расстояние до которой никогда не сокращается» *(курсив мой.— А. К.)*. В какой мере эта характеристика, суть которой в отрыве творчества писателей от окружающей их реальной жизни, приложима к писателям той или другой страны — пусть судят читатели и критики, знающие ту или другую литературу. В среде советских писателей, как было сказано на XXVII съезде КПСС, благодушие и уход от острой проблематики современного мира основательно укоренились, и их, словно сорняки, например крапиву (воспользуемся образом Кристы Вольф), голыми руками не возьмешь, и уж если удалять их с литературного ого-

рода, то надо «пропалывать» тщательно, не оставляя корешков.

В средствах массовой информации — и это отчетливо выявилось в освещении чернобыльского взрыва — правда, полуправда и ложь так переплетаются, что самой писательнице трудно порой разобраться, что к чему, а уж Больного Брата лучше оградить от их непосредственного восприятия, сообщая ему лишь то, что соответствует действительности и не препятствует его выздоровлению. Даже ученые-ядерщики склонны были, в своем большинстве, приукрашивать ситуацию, оценивая ее по утвердившемуся шаблону ложно понятого оптимизма, не выдерживающего сопоставления с подлинными фактами. Но есть и кое-что похуже. Мощные информационные центры, например в США, активно поддерживают программу «звездных войн», героизируя создателей космического оружия, культивируя агрессивные страсти. Воспитание миллионов людей в милитаристском духе — чем бы оно ни оправдывалось — объективно подталкивает человечество к термоядерной катастрофе.

Есть еще немало других зон «радиоактивной» идеологии, есть целые общественные слои и политические структуры, для которых «выживание человечества» — понятие, никак не затрагивающее их повседневной деятельности. У меня нет возможности обозреть все, что сказано в «Аварии» об этих зонах, слоях и структурах. Надеюсь, читатель сам захочет продолжить анализ, а я вернусь к тому аспекту вопроса о Цели, по которому придерживаюсь иной, чем автор «Аварии», точки зрения.

Если сказать просто и откровенно: для меня старая, социально-политическая цель — я мог бы принять ее формулировку, данную Кристой Вольф,— не расплавилась в разломе ядерного реактора Чернобыльской АЭС. «Авария» не убедила меня в том, что прежняя цель была или стала «утопической», хотя я полностью разделяю мнение автора о безусловном приоритете новой цели, о насущной необходимости привести в соответствие с нею весь идеологический и идейно-нравственный арсенал человечества, все межчеловеческие отношения и — добавлю от себя — также и старую цель, которая, будучи подчинена новой, не исчезает, а преобразуется в средство ее достижения. Так мы переходим к вопросу о соотношении старой и новой цели, а лучше сказать, к вопросу о Цели и средствах ее достижения.

Теоретически здесь вроде бы все ясно. Марксизм отвергает мысль о том, что цель оправдывает средства. Цель и средства должны находиться в диалектическом единстве. *Практически* даже социалистическое государство нередко пренебрегало диалектикой, применяя негодные средства, не приближающие, а отдаляющие и даже деформирующие цель. Далеко не всегда и не во всем виновата тут чья-то злая воля. Дело еще и в том, что вопрос о соотношении цели и средств весьма сложен с точки зрения дела. Главными средствами достижения новой Цели автор «Аварии» считает «лечение» — хирургическое и терапевтическое — наших собратьев с больным сознанием, воспитание и самовоспитание человека в духе взаимопонимания и взаимопомощи всех людей, совершенствование на этой основе отношений между ними. К ним добавляется конкретная работа над изменением к лучшему того малого, что человек реально может изменить — наладить, к примеру, «регулярные рейсы автобусов».

Криста Вольф продемонстрировала в «Аварии» свою способность к очищающей самокритике, показав, что здоровый человек, если только захочет, может успешно идти по пути выработки нового мышления. Но может ли Больной Брат? Взвесив «за» и «против», она пришла к мысли, что сможет — при некоторых условиях. Во-первых, если удастся вывести его из кризисного состояния. Чтобы прочувствовать серьезность ситуации, поставим себя на место больного, вернее, мысленно положим себя на операционный стол вместо Брата — черепной лоскут над «опухолью» откинут, сознание отключено от мира, в атмосфере «гуляют» невидимые облака «радиоактивных» идей, парализующих волю к жизни. И будь Хирург семи пядей во лбу, ему не спасти человека, который в ходе Операции утратит желание жить. Тут вся надежда на помощь Сестры. Об этом условии верно сказал В. Яворивский устами американского хирурга, закончившего пересадку костного мозга здорового брата брату, пораженному лучевой болезнью: «Вот это единственный выход... Другого у человечества нет. Это и лекарство и выход». («Мария с полынью в конце столетия».) В «Аварии» речь при этом не идет о тех, кто подобен «отупевшим, истощенным клеткам, что, смертельно скучая, обречены на вечное повторение самих себя и способны только на одно: образовывать опухоль». Такие должны быть тщательно изолированы от здоровых и устранены от участия в борьбе за спасение человечества. Без хирургического вмешательства, увы, не обойтись. Конечно, должны быть привлечены лучшие специалисты. Никто, однако, не в состоянии заранее определить, сколько времени потребуется на успешное завершение Операции. И тем более на выздоровление Брата. Это прояснится только по ходу дела.

Кроме Хирурга и помощи Сестры необходима еще и «интенсивная терапия» — капельница с физиологическим раствором. В Растворе символизирован комплекс нехирургических мер, отличительная особенность которых — строгая капельная дозировка. Терпение и труд, труд и терпение — вот долговременный лозунг перестройки в сфере сознания. Иной подход к лечению Брата (после удаления Опухоли) приведет к нежелательным результатам. Хирургия и Терапия в общечеловеческом масштабе могут быть эффективными только в том случае, если цепь доброты станет непрерывной. Вот почему Криста Вольф придает первостепенное значение перестройке межчеловеческих отношений: «Братство — слово, которое следует здесь сказать». Но тут действительно важно начать с себя.

Сколь много надо человеку изменить в себе самом, чтобы соответствовать Цели так надежно, как капля физиологического

раствора соответствует выздоровлению больного! Всем, да, всем нам жизненно необходимо начать с себя очищение от скверны, миллиметр за миллиметром, основательно и неустанно. Писательница показывает хороший пример, тщательно «пропалывая» от сорняков свою душу — от злорадства, суеверий и предубеждений, беспечности, фетишизации и недооценки техники на службе человеку, от «дурной разновидности свободы — свободы отказа от всякого повиновения», от робости и медлительности в творчестве, от благодушия — состояния души, которое стало ныне чуть ли не эпидемическим заболеванием. Кроме того, необходимо неустанно совершенствовать свое мышление и свои нравственные силы, добиваясь ясного осознания новой цели и приведения в соответствие с нею своей жизни и деятельности; всегда помогать другому в экстремальных ситуациях; учиться различать суть за явлением, отличать истину от групповых догм и предубеждений; воспитывать в детях и в себе любовь к другому; бояться быть несправедливым, бороться против несправедливости; не только восхищаться природой, но по мере своих сил беречь и приумножать ее; бороться за гуманизацию техники, за поворот ученых к исследованиям материи и духа на путях, безопасных для человечества. И это еще не все средства, о которых идет речь в «Аварии». Но нет в ней таких, которые затрагивали бы преобразование структур и атрибутов власти. В этом видится мне существенное упущение писательницы в ее понимании Цели.

Суть дела тут, думается, в том, чтобы одновременно с самосовершенствованием человека гуманизировать конкретно-исторические обстоятельства, в которых мы живем. Вот то самое слово, которого мне часто недостает в «Аварии». Возражение, что человек содержит в себе самом цель и средства своего развития и что, следовательно, вполне достаточно познать его индивидуальный и национальный характер, его натуру вообще, чтобы уверенно действовать, это возражение не охватывает всего вопроса. И дело тут главным образом в том, что человек живет не сам по себе, не исключительно по своей воле, а сообразуясь с объективными факторами, большая часть которых сформировалась до его рождения. Общество или народ — это с точки зрения индивидуума комплекс не зависящих от него обстоятельств, а человечество — новый подобный комплекс по отношению не только к индивидууму, но и к народу или к нации. Выходит, никуда не деться от влияния объективных факторов на формирование человека, а, значит, чтобы целенаправленно изменять его сознание, необходимо столь же целенаправленно изменять и обстоятельства, хотя сегодня часто кажется непроглядной их будто бы никому не подвластная толща.

Думается, что включение обстоятельств в сферу творческой деятельности человека укрепляет его надежду на выживание. В известном смысле это похоже на работу не одной, а двумя руками. При опоре на оба рычага менее печальными показались бы и некоторые наблюдения писательницы над свойствами человеческой натуры: «...ибо мы можем кружиться и вертеться как хотим, можем встать на голову; дружелюбными мы быть не можем. Мы приняли дары лжебогов, и все мы, каждый из нас, вкушали лжеяства с лжеблюд». Пожалуй, слишком категорично сказано. Допустим, что «все вкушали», но не все отравлены ими. Наш организм напичкан ядами, но, пока он в целом здоров, превосходно нейтрализует их действие. Замечу, кстати, что процитированное высказывание находится в противоречии с верой автора в спасительную силу братских межчеловеческих отношений.

Язык «Аварии», смею утверждать, во многом нов для самой писательницы, и, видимо, поэтому она сочла необходимым — ей, конечно, хочется быть понятой — раскрыть его главную особенность: «Я... окинула взглядом страницы на столе, прочла выделенные фразы и нашла, что они меня не трогают. ...и я вспомнила о неких документах, на страницах которых *истинный, тайный текст* проступает только после химической обработки, а первоначальный, *намеренно* несущественный, оказывается всего лишь поводом. Подвергнутый облучению, текст на страницах моей рукописи, увиделось мне, бледнеет и даже исчезает, но проступит ли когда-нибудь меж строчками *долговечный подтекст*, еще неизвестно» (курсив мой.— А. К.). «Авария» написана как бы симпатическими чернилами, это авторское признание весьма ценно, потому что настраивает на выявление подтекста-сути. Разумеется, чтобы извлечь глубинный смысл текста, надо потрудиться сделать «химическую», то есть аналитическую «обработку», после которой только и может подтекст «проступить меж строчками»,— мысленно, конечно, а не на бумаге, в этом, кстати, новая трудность его верного прочтения. У писателя могут быть разные причины создавать подтекст. Об одной из них напоминается в «Аварии»: «...это же своеобразный вид самообороны, когда тебя не могут понять». В мире, где идеологическая борьба, будто радиоактивные лучи, пронизывает всю атмосферу жизни, право на самооборону имеет каждый, и едва ли не более других художник-новатор, не защищенный ни традицией, ни, как правило, политикой в области культуры.

«Авария» по тексту — исповедальный рассказ о том, что писательница думала, чувствовала и делала в тот день, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый реактор. Рассказ о том, какая «авария» произошла тогда в ее душе. «Авария» по подтексту — символико-философская повесть о том, каков человек сегодня, в ядерный век, и в каком направлении должен он перестраивать свое мышление и сознание, чтобы спасти себя от самоуничтожения, нависающего над ним, подобно дамоклову мечу.

В основе идейно-образной системы повести лежит факт неуправляемого расщепления материи — обыкновенная фантастика наших дней — и тесно связанное с ним «расщепление» сознания человека, раздвоенность его поведения на краю ядерной бездны. Опухоль в мозге человека — подходящий символ для изображения диалектического единства современных губительных процессов в его плоти и духе. Целой

серией тонко нюансированных приемов и смысловых переходов Криста Вольф добивается того, что образ брата мы воспринимаем как образ любого человека, больного раздвоением сознания. Один из самых выразительных примеров ее мастерства — образы мальчика и девочки в сказке братьев Гримм «Братец и сестрица». Криста Вольф раскрывает их злободневный символический смысл: «братец» — сказочный персонаж, и в то же время брат рассказчицы, и наш духовно больной собрат, жаждущий удовлетворить свои нездоровые, пагубные желания, а «сестрица» — героиня сказки, и вместе с тем сама рассказчица, и Сестра, удерживающая Больного Брата от рокового поступка. Второй характерный пример — невероятный факт беседы сестры с братом, находящимся в состоянии полного отключения сознания. Якобы невероятный — по смыслу, лежащему на поверхности. По смыслу подтекста беседа с Больным Братом раскрывается как один из важнейших путей спасения человека, находящегося в критической фазе развития. В этом суть Беседы. И потому не надо искать парапсихологии в том, что, будучи под наркозом, Брат воспринял от Сестры мысленно посланный ему заряд воли к жизни, преодолел кризис и начал медленно выздоравливать. Дело не в медиумическом даре Сестры, а в образном воплощении спасительного братства между людьми.

Важными слагаемыми подтекста «Аварии» видятся мне ее композиция и стиль. «Жизнь как последовательная череда дней» (выражение автора) — существенное сменяется несущественным, события глобального значения, осмысление которых будет длиться годы и годы, соседствуют с сугубо обыденными, в которых нет тайны, их значение ясно и не допускает разночтений. Нетрудно убедиться, что построение «Аварии», абзаца, фразы, нередко и предложения подобно «череде дней». Из-за этого ее внутренний строй производит двоякое впечатление. С одной стороны, создается образ естественного течения жизни и естественного потока сознания, что способствует восприятию текста как их адекватного отображения. С другой стороны, кажется, будто автор «скачет» с предмета на предмет, отвлекается от сути на третьестепенные мелочи. Это — иллюзия, и ее надо преодолеть путем сопоставления и анализа подобных образов и идей, помня, что они намеренно разбросаны по тексту в будто бы хаотическом чередовании. Редко, но бывает, что автор помогает читателю увидеть глубинный смысл, приоткрывая «окошко» в подтекст. Таков, например, рассказ о «яме к антиподам», предложение о «лунатически надежном взаимодействии» властителей и подчиненных или анализ романа Д. Конрада «Сердце тьмы».

В «Аварии» описывается один день в жизни писательницы, тот самый, субботний, когда взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Но день этот понимается и раскрывается не только как общепринятая мера времени, но и как условная величина, целиком зависящая от автора,— то это вполне привычный календарный день, а то «день как тысяча лет» или «тысяча лет как один день». Временны́е рамки повествования свободно раздвигаются в обоих направлениях — и в прошлое и в будущее. Такой эффект достигается разными способами. Наиболее характерно обращение к тому в истории, что живо до сих пор и будет еще долго жить, удерживая в тесном сцеплении прошлое, настоящее и будущее. Я назвал бы этот метод символизацией исторического материала. Примеров тут много, и читатель сам найдет их. Хотелось бы в этой связи обратить его внимание на оригинальную «подсказку» писательницы — на якобы абсурдное предложение: «... а сегодня был уже пятый день в экстремальных условиях». Пять дней в одном — так она подталкивает нас к символическому осмыслению Дня.

Исповедь о том, что значил тот день для писательницы и какой переворот произвел он в ее душе, дается в прошлом времени, хотя на первый взгляд должна была бы вестись в настоящем, так как она — свидетельница всего, о чем идет речь,— явно заинтересована в возможно более живом изложении событий. Эту особенность «Аварии» Криста Вольф подчеркивает с самого начала, но, верная избранному методу письма, не объясняет ее, предоставляя читателю сделать это самому. Одна из причин, на мой взгляд, в том, что писательница избрала необычную точку отсчета времени, выгодную, но рискованную позицию наблюдения — из очень далекого будущего, которое и признала для себя верховной «инстанцией», освободив свое мышление и воображение от всего, что их сковывало и сковывает в настоящем. Это позиция провидцев, в которой ныне особенно остро нуждается человечество. С нею искони связаны огромные тяготы. В такой позиции видятся мне истоки художественного своеобразия «Аварии» вообще, включая идею создания «долговечного подтекста».

Не только временны́е, но и пространственные границы событий широко раздвигаются при переходе от текста к подтексту «Аварии». Делается это разными способами. Разберем для примера одно будто бы несущественное высказывание в связи с сообщением о взрыве на Чернобыльской АЭС: «Да, услышала я, как подумал некто во мне, почему всегда только японские рыбаки. Почему хоть раз не мы». Нужна определенная работа памяти и воображения, чтобы проникнуть в смысл этого раздумья. Надо *вспомнить,* что японские рыбаки, начиная с Хиросимы, не раз становились жертвами радиоактивного излучения, исходившего от взрывов атомных и водородных бомб, *осознать,* пропутешествовав *в воображении* от Европы к Тихому океану, что «мы», попавшие под воздействие чернобыльской радиации, отождествляемся с японскими рыбаками как жертвы, для которых, конечно, безразлично, от *какого* взрыва пришла радиационная смерть или лучевая болезнь. В итоге воображаемого путешествия рождается новое осмысление места действия «Аварии» (по тексту — загородный поселок и его окрестности) как *наблюдательного пункта,* с которого перед нашим мысленным взором открываются все новые пространства Земли и Космоса (от Тихого океана воображение затем «перенесет» чи-

тателя в США, Канаду, СССР, Африку, Центральную и Северную Европу и на Луну). Поскольку истинный смысл «Аварии», как говорит автор,— в подтексте, постольку ее истинный масштаб изображения не загородный поселок, а наша планета и «ее окрестности».

На лексическом микроуровне автор широко использует многозначность слова и его способность в зависимости от контекста приобретать новый смысл. Поучительно и интересно проследить, например, за тем, как и каким содержанием наполняются слова «мы», «они», «ты», часто встречающиеся в «Аварии». Тут приоткроется много тайн истинного смысла повести.

И наконец, о слове «я». После изучения содержания «я» в «Аварии» рассеялись мои сомнения в его неясности. По тексту «Аварии» образ писательницы, первого лица, от имени которого ведется повествование, и образ самой Кристы Вольф соотносятся, мне думается, как малый круг с большим, в который он целиком входит. Различие между обоими образами можно было бы охарактеризовать как различие между Кристой Вольф — автором «Аварии» и Кристой Вольф — автором всех написанных и задуманных ею произведений. В подтексте соотношение этих образов переворачивается — в соответствии с изменением локального масштаба на глобальный. Теперь различие между ними представляется мне различием между прототипом, носящим имя Криста и фамилию Вольф, и созданным на его основе образом Сестры, символизирующим духовно и нравственно здоровую (в целом) часть человечества...

После прочтения «Аварии» образ Кристы Вольф каким-то не до конца ясным путем сблизился в моем представлении с образом Кассандры из романа «Кассандра», а атомные электростанции — с троянским конем, погубившим доверчивых, людей. Возникновение этого уподобления, возможно, отчасти объясняется новым «местоположением» авторской точки зрения где-то в отдаленном будущем, на стыке жизни и смерти человечества и резко отрицательным отношением писательницы к развитию атомной энергетики. Как нам воспринять предостерегающий голос Кристы Вольф — как голос «безумной» Кассандры или как голос пророчицы? Включать или не включать ликвидацию АЭС в общечеловеческую Цель? И над этим, на мой взгляд, стоит поразмышлять «всем миром», основательно и всесторонне.

БОРИС ОЛЕЙНИК

СКВОЗЬ ОКУЛЯР ДОЯДЕРНОГО ОПЫТА?

Человек приходит в этот трудный, неоднозначный, прекрасный и яростный мир с естественным правом на жизнь, дарованным ему самой природой. Жизнью рожденный для жизни, во имя ее продолжения. Иначе само появление человека было бы лишено элементарной логики и смысла.

До определенного витка в спирали развития человечества это звучало столь же убедительно, сколь и риторически. Ибо подсознательно каждый из нас понимал, что хоть человек, как это ни трагично, конечен, но человечество-то вечно.

До определенной черты... До той роковой, красной черты, когда было накоплено столько ядерных боеголовок, что от взрыва их погибнет не только человечество как биовид, но и саму планету Земля постигнет участь планеты Фаэтон. Эта перспектива просчитана самыми серьезными учеными, перепроверена и удостоверена самыми совершенными компьютерами. Дисплей выдал однозначно: в третьей, ядерной войне победителей и побежденных не будет. Ничего и никого не будет. Веховые знаки «до» и «после» тоже теряют свой смысл, ибо «после» — просто не будет...

Наша страна ныне обновляется по всем параметрам. Мы исповедуем новое мышление не только для домашнего, внутреннего потребления, но и в глобальном аспекте. К чести нашего строя, именно мы первые, осознавая свою ответственность за грядущее, обратились к мировому сообществу с призывом перейти на рельсы нового политического мышления — сиречь решать самые острые проблемы противостояния двух систем только через политический механизм. Альтернативы сему просто не существует: живем-то на одной-единственной Земле.

На словах — все «за». Но беда в том, что речевой ряд не так уж трудно обновить. А вот психологию, которая черпает энергию не только из осознания суровой реальности, но еще и из подсознательных, зафиксированных в генетическом коде стереотипов тысячелетней давности, превозмочь весьма и весьма непросто.

На трибуне, скажем, тот же господин Рейган не сомневается, что в третьей, ядерной победителей не будет. Но в действительности упорно разворачивает зонт СОИ, то есть лелеет надежду, что все-таки этим зонтом можно прикрыть Америку. Следовательно, если и не победить, то спастись.

ОЛЕЙНИК БОРИС ИЛЬИЧ (род. в 1935 г.)

Советский поэт, публицист и общественный деятель. Лауреат Государственной премии СССР и премии имени Н. Островского. Автор поэтических книг «Стою на земле», «Двадцатый вал», «Выбор», «Круг», «Истина», «Заклинание огня» и др.

Как политику ему простить нельзя. Но как просто человека понять можно, ибо, на словах осознавая гибельность термоядерной войны, он подсознательно моделирует ее по второй мировой. По известному аналогу, ибо другого, в ядерном исполнении, у него, слава богу, нет.

Да и мы ведь, я думаю, не прочь пользоваться устоявшимися клише, одно из которых — «мирный атом». И даже после Чернобыля, который, казалось бы, со всей беспощадной суровостью опротестовал неестественный симбиоз понятий «мирный» и «атом», даже после этого, на словах призывая опомниться, на практике мы все же действуем по стереотипу. Такова инерция мышления.

Именно этой трагически самонадеянной претензии человека на вседозволенность, несоответствию между морально-этическим уровнем человека и его же, на нынешний день, высокими достижениями в науке и технике, а следовательно, и в средствах поражения, несоответствию между веками устоявшимися, передающимися уже по генетической наследственности взглядами на мир, на конечное и бесконечное, на время и пространство, на признаки, сигнализирующие об опасности,— и совершенно новыми реальностями атомно-электронно-космической эпохи, которую человек, признавая всю ее новизну, все же рассматривает сквозь окуляр доядерного опыта, и посвящена повесть Кристы Вольф «Авария».

По архитектонике, по организации и подаче материала повесть (с известными коррекциями) чем-то напоминает те произведения, которые скрупулезностью описания деталей, хроникальной, вплоть до календаризации, разверсткой обыденной жизни имитируют документалистику, дабы привлечь внимание читателя, уже давно страдающего кризисом доверия к беллетристике.

Но это, так сказать, каркас. Внутреннее же наполнение повести Кристы Вольф — социальное, психологическое, философское — на несколько порядков выше и глубже, чем в произведениях упомянутой документалистики. При всей лапидарности (а повесть занимает не более сотни машинописных страниц), при всей кажущейся скучноватости и однотонности монологического изложения, при всей сжатости и ограниченности в пространстве («действие» происходит в загородном доме) автор общается со всем миром через потоки сознательного и подсознательного, которые в непроизвольном движении мысли прочерчивают замысловатые кривые, то смещаясь в прошлое, откуда доносятся приглушенные раскаты минувшей войны, то натыкаясь на весьма реальные бытовые предметы — салат, холодильники, огород,— то ясновидяще прозревая будущее цивилизации, то заходя в тупик: а не изжил ли себя род человеческий, поскольку подошел к той грани «усовершенствования» средств уничтожения, когда при любом неосторожном движении он может погибнуть как биовид?

Одним словом, Криста Вольф своей повестью как бы подтверждает ту истину, к которой все больше склоняются современные философы, что наша вселенная построена по антропному, человеческому типу. Следовательно, почему бы не предположить, что человек, в свою очередь, смоделирован по образцу вселенной? А посему все, что происходит в мире с его глобальными, вселенскими масштабами в вопросах политических, экологических, идеологических,— все это, хочет он того или нет, повторяется в каждом отдельном индивидууме. И никуда от этого не уйти, и негде спрятаться от ответственности за все происходящее. Личной ответственности.

Героиня повести Кристы Вольф пытается отвлечься, выйти из-под тотального прессинга этих тяжелых раздумий, сосредоточиться на элементарно бытовых вещах — еда, огород, цветы... Но тщетно: глобальные проблемы, и прежде всего проблемы выживания человечества, стали плазмой, биологией ее мышления, стали ее вторым «я». А от себя-то уж не уйти. Тем более что две грозные опасности — операция на мозге брата и Чернобыльская авария — создали такое мощное, постоянное силовое поле, из которого выйти — превыше сил человеческих.

Если определять узловую точку повести, стратегический замысел, смысл ее символики, то, мне кажется, ключ ее вот в чем. Мысленно обращаясь к брату, которого в этот момент где-то оперируют, героиня тревожится о том, чтобы скальпель хирурга, удаляя опухоль, не задел центры, управляющие зрением, речью — теми узловыми функциями организма, которые определяют поведение человека, ибо среди них есть и якоря, удерживающие его, скажем, от агрессивности... Тревога героини вполне оправданна, если учесть, что мы знаем человеческий мозг только в общем, и почти ничего не знаем о переплетении миллиардов нейронов, составляющих единое целое, поскольку любой из этих миллиардов — незаменим.

«Как странно,— пишет Криста Вольф,— что атом по-гречески означает то же самое, что индивидуум по-латыни: неделимый, нерасщепляемый. Те, кто придумали эти слова, не знали ни расщепления ядра, ни шизофрении. Откуда же это современное стремление к расщеплению на все более мелкие частицы, к от-щеплению целостных частей личности от той древней, что задумана была как личность неделимая...»

Человек, самозвано короновавший себя на царство в Природе, часто забывает, что он-то всего-навсего — частица ее. А ведь у Природы есть собственные законы, и при всей своей беспредельности, она, оказывается, имеет те же границы, те же нерасщепляемые составные, при посягательстве на которые она может, как и человеческий мозг, отреагировать с непредвиденной жестокостью.

Автор ставит вопрос ребром: имеет ли право человек, при всем своем несовершенном совершенстве, не познав даже мозга своего, слепо уверовав, что выведенные им частные законы являются всеобщими, которых он на самом деле не знает,— имеет ли он право расщеплять безостановочно тот же атом, который, возможно, и есть нерасщепляемая составная мироздания?

Грозное напоминание человеку об этом прозвучало с берегов Припяти, из эпицентра взрыва на четвертом реакторе. Причем в таком «исполнении» и при таких последствиях, которые, по расчетам ученых, не могли никогда произойти. Но вот же произошло!

В описании всего, что связано с трагедией Чернобыля, писательница нигде не погрешила против истины. Меня как непосредственного свидетеля просто поражает, с какой точностью Криста Вольф воспроизвела все перипетии первых послеаварийных часов и дней. И ту же беспечность населения, идущую от неинформированности: дети и в тридцатикилометровой зоне продолжали играть в песочницах. Да что уж дети — взрослые, умудренные опытом люди воспринимали взрыв на четвертом как обыкновенную аварию на обыкновенном заводе, которую, конечно же, локализуют. И это при том, что теоретически все знали, пусть не с одинаковой степенью научности, об опасности радиации. Срабатывал опять же стереотип восприятия по известным аналогам: взрыв, ударная волна, осколки, кровь раненых... А таковых не было.

Потом поползли слухи, подогреваемые и «из-за бугра», где прорывались уже апокалипсические видения: сотни, тысячи и даже десятки тысяч облученных с летальным исходом. Кто зашпаклевывал окна, кто закупал сгущенное молоко, тысячи бросились вывозить детей. Десятки тысяч были эвакуированы из тридцатикилометровой зоны.

Потом подключились МАГАТЭ, специалисты, ученые-ядерщики, Гейл, Хаммер... Объяснили, успокоили. Наконец, закрыли саркофагом очаг.

Все это я передаю скорописью, «за чертой боли». В реальности было куда сложнее.. и проще. Эвакуация Припяти и близлежащих деревень и вправду была проведена идеально, в несколько часов. Поражала отзывчивость людей, которые стояли в очередях, дабы «заполучить» оставшихся без крова, хотя сами подчас жили стесненно. Стихийно родился всенародный «фонд Чернобыля», который уже через несколько дней насчитывал миллионы рублей. Со всех концов нашей страны на обуздание четвертого двинулись добровольцы. В те дни Чернобыль воистину являл собой интернационал: сыны и дочери всех наций помогали нам превозмочь беду.

Ничего особенного здесь нет: это естественно для нашего социалистического стиля жизни. И в то же время именно здесь, в Чернобыле, возможно впервые, весь мир осознал, что с атомом фамильярничать противопоказано, даже если он «мирный», что, если он выходит из-под контроля, это не просто беда какого-то региона, даже государства, это трагедия всех людей планеты Земля, к какой бы вере или нации они ни принадлежали.

Хотя и в осознании себя как частицы общечеловеческой семьи есть тоже свои пределы. Когда Криста Вольф, под прессингом ядерной опасности, утверждает, «что в числе многого другого нам придется отказаться... и не от такого уж пустяка, придется отказаться от образа врага», это, похоже, все-таки есть выдавание желаемого за действительное. К сожалению, враг есть враг. И оттого, что мы откажемся от стереотипа понятия «враг»,— он не перестанет быть таковым. Об этом надо помнить не в отместку за причиненное зло, а во имя добра.

...Повесть Кристы Вольф зовет к бдительности, прежде всего перед самими собой. К подотчетности своих действий не только перед всем миром, но — что самое главное!— перед своей совестью. Особенно это относится к ученым, причастным к ядерной тематике. Ибо если некий «командир производства» ради выполнения плана сегодня действует по стереотипу «а завтра — хоть и трава не расти», то рано или поздно мы его остановим. Но когда ученый-атомщик пойдет по пути дремучего обывателя — «если это выгодно мне, значит, это морально»,— то, поди знай, останется ли на земле кто-нибудь, чтобы его остановить, да и будет ли кого останавливать?!

◆

Антирубрика

АНДРЕ ВЮРМСЕР

РАССКАЗЫ

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

Перед кладбищенскими воротами

Гроб стоял перед кладбищенскими воротами, между помостом и маленькой крытой трибуной с микрофоном. Ножки гроба были прикрыты черной драпировкой, на крышке лежала подушечка с орденами. К гробу были прислонены три венка — от города, от Генерального Совета и от Национальной Ассамблеи. Один из венков был красный — без всякого, впрочем, политического умысла. Шагах в четырех перед катафалком скучал распорядитель церемонии с цепью на груди, шагах в четырех позади толпились зеваки. В центре помоста тесной кучкой сидели люди в черном: за вдовой мэра-депутата с достоинством возвышался ее любовник, справа сидела дочь, слева — представители властей. Во втором ряду с краю любовница покойного стреляла глазами по сторонам, и это явно раздражало ее мужа.

Убедившись, что все на местах, распорядитель направился к трибуне и, наклонясь к микрофону, объявил:

— Господин нотариус Робино.

Нотариус? Толпа заволновалась. На помосте некоторые привстали, но сзади на них зашикали. Нотариус носил длинные бакенбарды, разом следуя и моде и традиции. Он спустился с помоста, прошествовал прямо на трибуну и пробормотал что-то, чего никто не расслышал. Тут он заметил микрофон и громко объявил:

— Дамы и господа, господин де Савиньоль доверил мне это послание (он помахал сложенным пополам листком, на коем было написано: «Вскрыть накануне моих похорон»), а также этот конверт (он помахал конвертом с четырьмя красными печатями) с указанием: «Вскрыть непременно во время похоронной церемонии». Вот содержание первого документа...

Волнение толпы разбивалось о бесстрастное молчание помоста. Нотариус нашел очки только в последнем кармане.

— Дорогой мэтр, в этом запечатанном конверте — единственное слово прощания, которое я желал бы услышать на моих похоронах. Если моя семья или власти воспротивятся моей последней воле, я требую отмены завещания и отказываю бо́льшую часть моего состояния Обществу защиты животных. Дело в том... и так далее...

Любопытство буквально раздирало нотариуса на части, и он в самом деле сказал: «И так далее».

— Поскольку ни мадам де Савиньоль, ни Муниципальный совет ничего не имеют против, я сейчас зачитаю то, что покойный... усопший...

Он сломал печати, вынул несколько листков, машинально сложил их на столе стопочкой, чтобы подровнять, и громко прочитал:

— Стадо баранов!

Мертвое молчание сменилось молчанием испуганным, потом раздался взрыв хохота, крики: «Тише!» Люди на помосте

АНДРЕ ВЮРМСЕР — ANDRÉ WURMSER (1899—1983)

Французский писатель. Автор цикла романов «Человек приходит в мир» («Un homme vient au monde», 1946—1955), сборника публицистических статей «СССР с открытым седцем» (в соавторстве с Л. Мамиак; «L'U.R.S.S. a cœur ouvert», 1960), «Но... говорит Андре Вюрмсер» («Mais... dit André Wurmser», 1961), сборников рассказов «Калейдоскоп» («Le kaléidoscope»), «Новый калейдоскоп» («Le nouveau kaléidoscope») и др. произведений.

Рассказы «Перед кладбищенскими воротами» и «Мидас» взяты из сборника «Новый калейдоскоп» («Le nouveau kaléidoscope». Paris, Julliard, 1973).

застыли, вжав головы в плечи, они ждали нового раската голоса, который сокрушит префекта, вдову, любовника, епископа...

— Я произнес,— продолжал читать нотариус,— столько речей на стольких собраниях, могилах и открытиях памятников, что глупо было бы смолчать перед собственным гробом. Ни один из вас не двинется с места, пока Робино не кончит читать: слишком многое вам придется потерять. Так слушайте же!

Я нашел лазейку в ваше общество, сидя за решеткой зверинца под названием «банк». К счастью, я быстро постиг механику дел. Бывший мэр не выставил меня за дверь моего будущего кабинета, напротив, он подбодрил меня: «Ах ты, проныза эдакий!» Знаете ли вы, каким удобным посредником может оказаться честный молодой человек? Ясное дело, мне нечем было заплатить за участки, которые я скупил, а затем продал вашему городу. Но что плохого в том, что мне вовремя оказали кредит?!

Я был нуль, а стал миллионером. А потом деньги пошли к деньгам. Я был не подлее Флуара́[1], и миллионов у меня и теперь не больше, чем у него. К тридцати годам я просто сменил свою прежнюю клетку на другую — золоченую, но если сравнивать, то я не богаче других богачей, и даже беднее Вийо[2], беднее Дассо[3], беднее тех, перед кем снимают шляпу самые отъявленные мошенники. Ведь тугая мошна дает исключительное право обращаться к другим людям так, как, бывало, иная наглая харя орала моему отцу: «Гарсон, я же просил вытереть этот столик, десять раз повторять, что ли?» Или: «Гарсон, мне что, ждать антрекот до завтра?»

О моя жена, о моя дочь, о мои друзья, теперь, на краю вечности, я шлю вам всем крик моей души: «Плевать мне на вас!»

И в первую очередь на вас, господин префект. Я пригласил вас на свою свадьбу, и вы, прибежав в замок, рассыпались в комплиментах перед той, чье имя я получил без особых на то затрат (выгодное дельце, ибо дворянская частица дорого ценится при рекламе недвижимости). Вам-то уж было известно, что при всем ее лоске, который подавлял простых людей, она была глупа как пробка, да еще постоянно имела зуд в одном месте. Но вы у нас слишком галантный мужчина, чтобы опускаться от легкого флирта до гнусного разврата, как некоторые превращают светский коктейль в свинскую пьянку.

И вы, монсеньор, были осведомлены ничуть не хуже префекта о том, что Соланж готова переспать с первым встречным исповедником,— высшие чины всегда хорошо информированы. И оба вы знали, что большие состояния плохо пахнут, но это уже вопрос терминологии: только невежды называют грабеж грабежом, хорошо воспитанные люди говорят «дела».

Если бы судьба была справедливой, то оба наши состояния должны были быть конфискованы: первое из них было создано во времена национального благоденствия, когда винодел Савиньоль имел не больше прав на дворянскую приставку, чем какие-нибудь Ламбертены, а второе возникло в результате хитро задуманных махинаций под покровом снисходительных законов. Но наследница замка сочеталась браком с будущим депутатом! Вот когда тебе, префект, случилось нажраться до отвала, а тебе, епископ, благословить сию трапезу, как неуклонно поступают в таких случаях все вам подобные. Я смело завещаю пять миллионов тому, кто в ближайшие пять лет сможет указать свадьбу аристократки и миллиардера, где бы не присутствовали представители нашей подлинно республиканской власти и церкви бедняков. И поскольку ни одной живой душе не удастся извлечь сей перл из мутной жижи светской хроники, мои денежки пойдут в фонд строительства тюрем.

«Ну, вот ты и миллионер,— сказал я себе в один прекрасный день,— ты хорошо преуспел». Что же касается рогов, то их я приобрел еще до свадьбы, а потом носил всю жизнь, и если вы, моя дорогая, приняли мое безразличие за слепоту, значит, вы еще глупее, чем я думал. О, если бы вы хоть раз могли объяснить свою измену любовью! Но куда там! Мы обменивались лишь дежурными репликами. И когда вы, погрузив свой небесный взгляд в мой — мрачный, сказали то, что, как вам было известно, я и сам уже знал, то, что я принял в уплату за ваше имя, приданое и те преимущества, которые давал мне союз наших фирм, когда вы прошептали свое: «Барнабе, я беременна», я чуть было не прыснул и едва удержался, чтобы не ответить: «И я тоже». Воображаю, какую бы вы скорчили физиономию. Но нет, я поднес руку к губам, я тихо воскликнул: «Ах!» До чего же гнусная сцена!

Итак, Барнабе Ламбертен никому не оставит свое имя, ибо имя моего отца исчезло навсегда. Правда, это отнюдь не мешает Монике, которой отлично известно, как мало я виновен в ее появлении на свет, мило снисходить до своего отца-деревенщины — ни дать ни взять героиня Жоржа Онэ[1]. Эта очаровательная малютка унаследовала все добродетели мамаши, а у той их — кот наплакал!

Значительность моего посмертного дара Элен де Жувансель позволяет мне заявить с полной ответственностью: единственное, что заслуживает в ней пристального внимания,— это пара круглых, розовых, аппетитных ягодиц. Ей так и не удалось заставить меня поверить, что она получала со мной то наслаждение, какое изображала. Она прилагала, правда, большие к тому усилия, но мне незачем ее благодарить — я и так ей хорошо платил. Что же касается искренних слов любви, то я никогда больше не слышал их с тех пор, как мне исполнилось двадцать лет,— но эта история вас не касается,— и пусть Элен поостережется их произносить! А если она все-таки позволит себе такое кощунство, я разрешаю ее Флорану вкатить ей парочку оплеух — это его утешит, да и ее тоже.

---

[1] Сильвен Флуара́ — миллионер, владелец ряда крупных фирм. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Вийо — миллионер, глава фирмы по производству текстильных машин.

[3] Дассо — миллионер, владелец авиационной компании.

[1] Жорж Онэ (1848—1918) — французский романист и драматург.

Что же до вас, драгоценные мои избиратели...

За справедливым возмездием должна была бы последовать обычная порция фимиама...

...Вы, конечно, ждете финального тремоло — свобода, равенство, братство и прочее в том же духе. Подохнешь со смеху! Я уж не говорю о тех, кто подбирал крошки с моего стола,— о Бертело, о Монтескурах или о том господине, который научил меня вкладывать сотни в государственную казну с тем, чтобы они возвращались ко мне миллионами: я имею в виду мсье Мистрака, эту старую задницу...

Последнее слово вылетело из круглого ротика нотариуса еле слышно.

— ...который подмигивает, рассуждая о гражданском кодексе, о снижении налогов, о махинациях с договорами, точно какой-нибудь грязный пакостник во время стриптиза. Я не говорю о тех мини-комбинаторах, которые хором в двенадцать глоток скажут нужное «да»[1]. Или о тех мерзавцах, которые родную дочь продадут за цветную ленточку в петлице. Но я обращаюсь к тебе, Робино, ведь ты не имеешь дела с избирателями. Известно ли тебе, что всякая сволочь прикрывается законом, как голый — штанами? Нет, тебе это не известно, осел бельмастый, как не известно тебе и то, что невозможно быть порядочным в непорядочном мире. Те, кто сидят сейчас на помосте, только этим и утешаются, взгляни — они как воды в рот набрали. Но в толпе зевак найдутся, пожалуй, еще и такие, которые верят в право, закон...

Я был переизбран кретинами. Почему? Во-первых, потому, что однажды я был уже избран. Во-вторых, потому, что я ничем не нарушал их мирного житья-бытья. Они ведь привыкли сидеть в своей тине. Политика? О-ля-ля! Все вы целиком и полностью доверились мне. Мои миллионы... я ведь обязан ими вашей трусости и еще — не забывайте! — вашей жадности; знаю я ваши рассуждения: ах, как ужасно, что всякие жулики наживают миллионы на тяжком труде честных людей, но, коль скоро это разрешается, почему бы и мне не попробовать?!

В моем щедром завещании оставлены средства на постройку приюта, где будут медленно подыхать те, кто загробил свою жизнь, создавая мне капитал. Вы-то об этих несчастных знаете: ведь не вообразили же вы себе, что денежки упали на меня с неба?! А еще вы разобьете на них парк, который окрестите Парком увеселений имени Барнабе де Савиньоля (Биби?) и украсите его олимпийским бассейном, миниатюрным полем для игры в гольф и каруселью с деревянными лошадками, которая приводит в ярость папаш наших прелестных детишек. И знаете (если бы я уже не был мертв, я бы подох со смеху!), вы будете искренне благодарны мне за все. Благослови, о господи, этого покойничка за то, что он оказался таким добреньким и не прихватил свои миллионы с собой на тот свет!

Ну, а теперь закрывайте ярмарку! Пускай префект, и мои вдовы, и мои заместители — как в муниципалитете, так и на брачном ложе,— убираются отсюда и помалкивают. Бегите, грызитесь из-за наследства! Но ни слова здесь — иначе я разорю всех!

Нотариус сложил листки. Трибуна опустела в мертвом молчании. Все шли, не поднимая головы. Гроб со своими пышными кистями и «искренними соболезнованиями» так и остался у ворот. Пошел дождь, звонко стуча в пустоте вокруг покойника...

Мэр-депутат допил виски, терпкое и горькое, как речь, которую он с таким удовольствием сочинял.

— Войдите,— сказал он.

— Ну, о чем вы только думаете, Барнабе? Все приглашенные уже в сборе — префект, епископ, Жувансели, президент Генерального Совета, Робино...

— Я проверял счета, дорогая. Простите, что заставил себя ждать.

Мидас [1]

Присаживайтесь, мадам Муа [2]. Наш разговор потребует времени, я собираюсь пересказать вам целый детективный роман — он почти такой же захватывающий, как книги вашего супруга. О, я не более чем скромный его почитатель: в моей библиотеке вы найдете все его произведения... Сигарету? Курение, знаете ли... нет, благодарю вас. Я не спрашиваю вас, как поживает господин Муа, я только что имел удовольствие с ним беседовать. А познакомился я с ним месяц назад, он вручал мне премию Дез Орфевр [3]. И как раз на банкете, устроенном в честь сего события, я и опознал убийцу господина Дарсонкура. Неожиданная новость, правда? Откровенно говоря, я и сам еще продолжал сомневаться, я подумал только: не слишком ли быстро полиция бросила расследование? Почему я так подумал? Боже мой, мадам, вы наверняка слышали о египетской царице Клеопатре, форма носа которой сыграла столь важную роль в мировой истории; ну так вот, вовсе не нос, весьма, впрочем, величественно нависающий над ассирийской бородой моего дорогого друга Эрнеста Муа,— нет, не его нос, но его глаз, подмигнувший мне сквозь зубья вилки, сыграл не менее роковую роль. Какое отношение?.. А очень простое: через несколько дней после убийства господина Дарсонкура вы, потрясенная этой трагедией, отказались принять ничтожного журналиста, каковым я тогда являлся; ваш малыш завтракал в буфетной вместе с Анжелой, а я пытался что-нибудь вытянуть из нее, и вот я увидел, как очаровательное дитя прищурилось, глядя на меня сквозь зубья вилки. Как же было мне не изумиться, когда месяц назад я понял, что ваш сын унаследовал эту странную при-

[1] Имеются в виду присяжные в суде.

[1] Мидас — фригийский царь, который, согласно греческому мифу, был наделен способностью обращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся.

[2] Муа — я *(франц.)*. Намек на то, что эта женщина — второе «я» рассказчика.

[3] Литературная премия, присуждаемая авторам детективных романов.

вычку не от родного отца, а от второго мужа своей мамочки?!

Расследование, которое я начал, заинтересовавшись таким совпадением, не отняло у меня много времени. Господин Муа, как это всем известно, родился в Баб-эль-Уэде. Именно оттуда он и послал свой первый роман — отнюдь не детективный, а так, какую-то скукотищу — одному издателю, и тот его, само собой разумеется, отверг. Там же, в Алжире, господин Муа прозябал в какой-то конторе, когда вы с ним вроде как бы обручились. Нет-нет, мадам, я ни во что не вмешиваюсь, мне абсолютно безразлично, разорвали вы эту помолвку по велению собственного сердца или сердца вашего отца, который счел, что у претендента на вашу руку слишком тощий кошелек. Н-да, вашего папашу вокруг пальца не обведешь. Недаром он одним из первых сложил чемоданы и дал тягу в «метрополию», как тогда выражались. Вы вышли замуж за господина Дарсонкура, нашего генерального казначея. Я был с ним немного знаком до того, как он угодил под мое перо: весьма посредственный тип, но к его карьере, как пышно выражаются многие начинающие писатели, были благосклонны боги. Годика через два вам понадобилось съездить в Алжир на похороны дядюшки. Родился Жерар... как бы это выразиться... три четверти года спустя, и — надо же, такое несчастное совпадение! — тоже заимел привычку смотреть сквозь зубья вилки, совсем как господин Муа. Увы, мадам, увы, это не все, вам предстоит услышать еще кое-что, а потому не вставайте, прошу вас.

Проходит несколько лет, и вот ваш муж убит при обстоятельствах, которые не оставляют никаких сомнений относительно мотива преступления. Я изложу самую суть. Ах, вы знаете все так же хорошо, как и я? Ну что вы, наверняка гораздо лучше. И тем не менее позвольте мне напомнить вам, как было дело.

В тот вечер господин Дарсонкур прячет в сейф вашей спальни огромную денежную сумму — деньги он принес домой в портфеле. Вы удивляетесь, что он не кладет их в сейф своего кабинета, он пожимает плечами: какая разница, он торопится, у него встреча с префектом. Поджидая мужа, вы садитесь перед телевизором. Американский то ли джаз, то ли вестерн гремит на весь дом. Музыка будит Анжелу, которая спит как раз над вами. Но, несмотря на грохот, она слышит, как господин Дарсонкур поднимается по лестнице. Телевизор смолкает. Среди внезапно наступившей тишины до вас вдруг доносится какой-то странный повторяющийся шорох — вы обращаете на него внимание господина Дарсонкура. Он решает узнать, в чем дело. Вы ему говорите: «Возьми оружие, мало ли что». Он выходит. И вдруг — выстрел! Вы бросаетесь вслед за мужем — не от большой храбрости, а, как вы сами потом весьма тонко отметили, безотчетно, как бросаются, чтобы защитить от опасности дорогого человека. На полу кабинета распростерт господин генеральный казначей, рядом валяется его револьвер. Сейф распахнут и пуст. Пуст, хотя и до этого он, слава тебе господи, был не так уж полон: грабителю досталось лишь несколько миллионов старых франков. Судьба распорядилась мудро: основная сумма находилась у вас в спальне.

Вернемся к раскрытию преступления. Вы замечаете распахнутую дверь и слышите, как кто-то бежит по двору. Анжела, которая увидела, что вы вышли из комнаты, уже здесь. Она включает лампочку над слуховым окном, осветившую двор. «Лестница!» — кричит Анжела. Она перебегает двор, открывает калитку: за оградой сада — никого. Но факты говорят сами за себя: господин Дарсонкур вошел в свой кабинет с револьвером в руке в тот самый момент, когда старания вора, по всей видимости весьма опытного, увенчались успехом — он отпер сейф (это и был тот самый подозрительный шум, который вы услышали). Увидев хозяина дома, бандит в панике выстрелил, пересек двор, приставил лестницу к каменной ограде, взбежал по ней, спрыгнул вниз и — исчез. Таким же образом он проник в дом — позднее полиция обнаружит следы на внешней стороне ограды. Словом, типичное непредумышленное убийство и, главное, бесполезное; но ведь давно известно, что преступления пользы никогда и никому не приносили.

Ваш траур подходил к концу, когда вы случайно повстречали своего алжирского воздыхателя, ставшего к тому времени автором бестселлера «черной серии» «ПП тоже в деле»; он уже смело мог соперничать с самим Сименоном, который, впрочем, на много голов выше всех моих собратьев по перу — косноязычных идиотов. Но не будем отвлекаться, нас ждет развязка. Наконец-то? Да, мадам, именно наконец-то!

Итак, я, бойкий журналист, готовился разоблачить под самым носом у тупиц полицейских эту каналью, спокойно разгуливавшую на свободе вне всякого подозрения, но что меня особенно поразило в данном вполне банальном преступлении, так это его «спортивная» сторона: а именно необычайное проворство бандита. Как мало времени понадобилось ему на то, чтобы пересечь двор, достать лестницу, приставить ее к стене, вскарабкаться на нее и испариться! Вор буквально упорхнул, как птичка! О, это ничего не доказывает, вы абсолютно правы, но два взгляда сквозь зубья вилки натолкнули меня на одно невероятное предположение.

«Любопытно,— подумал я,— мадам Дарсонкур вбежала в кабинет почти сразу после выстрела, и все же за это мгновение убийца успел исчезнуть, значит, *он вполне мог не убежать, а остаться в доме*, заранее подготовив ложные улики бегства — лестницу, примятую траву по ту сторону ограды»; иначе говоря, если бы он загодя намеревался убить господина генерального казначея, он бы знал, что бегство будет невозможно. Вы пожимаете плечами? Да неужто это так сложно? Ведь весь спектакль был подготовлен еще до прихода вашего супруга, и подготовка эта не представляла ни малейшего риска, поскольку окно Анжелы не выходило во двор: всего только и понадобилось что поцарапать побелку на ограде, приставить ту-

да лестницу да бросить на ковер револьвер господина Дарсонкура... Непривычная возня, свет, даже, может быть, голос заставят вашего мужа войти в кабинет, убийца прикончит его на месте, и грохот ковбойского фильма покроет шум схватки.

И все же, несмотря на громовую музыку, Анжела *слышала, как кто-то поднялся по лестнице*. Этот кто-то открыл дверь вашей спальни. Телевизор смолк, и лишь потом раздался выстрел. Вы бросились в кабинет мужа. Остальное нашим читателям уже известно.

Самое замечательное, если моя гипотеза справедлива,— это то, как вам удалось перенести потом столько миллионов из сейфа, куда господин Дарсонкур на самом деле запер свой портфель, в сейф вашей спальни. Ведь именно так была создана видимость дерзко задуманной, но сорвавшейся кражи.

Размеры спасенной суммы должны были заставить всех забыть о том, как мало денег было украдено. Слишком часто даже самые опытные преступники пренебрегают тем, что составляет, кстати сказать, основу и писательского искусства — умением жертвовать частью ради целого. Эти неукраденные миллионы затмили собою исчезновение значительно меньшей суммы; о, здесь чувствовалась рука мастера!

Не угодно ли, я открою окно, мадам? Ей-богу, мой рассказ не заслуживает такого волнения с вашей стороны. Это ведь всего лишь хрупкое сооружение, возведенное на основании из двух вилок. Впрочем, тут остается еще масса неразрешенных вопросов: спустился ли вниз преступник, который поднимался по лестнице, чему равны один плюс один — одному или двум? Жгучая тайна, как говаривали в старину.

Мне захотелось побеседовать с человеком, которого я до конца дней буду считать своим учителем. Он принял меня вскоре после того, как вы вышли из дому. Да-да, мадам, это моя машина стояла напротив вашего подъезда. Я хотел поделиться с господином Муа сюжетом романа и, заметив его удивление, объяснил: «Уж больно деликатный, знаете ли, случай. Меня вдохновили реальные события, обстоятельства дела стали мне известны, когда я еще работал репортером в провинции: речь идет об убийстве господина Дарсонкура». Он удивился еще больше.

— Но что можно написать интересного о преступлении столь...

— ...банальном? Вы правы, но все же, если предположить, что...

Он слушал меня, хмуря брови от избытка внимания. Потом пренебрежительно спросил:

— Очень остроумно, но каков же конец вашей истории?

— А как вам самому кажется, мэтр? Могла ли женщина одна задумать и привести в исполнение план, требующий столько изобретательности и хладнокровия?

— Нет, это невозможно,— быстро возразил он,— но я плохой судья, я не был тогда ни в этом доме, ни в этом городе. В день преступления я находился вместе с несколькими генералами в алжирской тюрьме.

— Мне это известно.

— Тогда позвольте мне просить вас не приступать к написанию романа до тех пор, пока я не узнаю у жены, не будет ли воспоминание об этой трагедии слишком тягостным для нее.

Я заверил господина Муа, что откажусь от своего замысла, если вы будете против. Он, казалось, успокоился. Показал мне книги по судебной медицине и криминалистике, свои коллекции судебных хроник, сочинения классиков: «Преступление и наказание», «Похищенное письмо»[1], «Тайну желтой комнаты»[2] и прочие, затем продемонстрировал витрины, где красовались поваренная книга Ландрю, бритва Анри, дневник Ласенэра[3].

— Не понимаю,— заметил он,— что это вам вздумалось заняться таким старым делом?

В ответ я взялся за ручку двери. В подобных поединках, мадам, притворное отступление — верный способ усыпить бдительность противника. Я ответил, что один мой знакомый следователь вновь поднял досье и перепроверил номера банковых билетов, найденных в сейфе мадам Дарсонкур.

— И что же он обнаружил?— рассеянно спросил господин Муа.

— Это действительно были деньги, принесенные господином Дарсонкуром в портфеле...

— Но это вполне естественно...

— ...кроме одной пачки,— добавил я,— которая еще накануне лежала в сейфе кабинета.

Он подскочил:

— Не может быть! Там было только содержимое портфеля!..

Мы стояли лицом к лицу. В отчаянии, как тонущий, который вынырнул на миг из воды, он собрался с силами и пролепетал:

— Не могу поверить!

Но мой удар достиг цели. Признание уже читалось в его обезумевшем взгляде, на мокром лбу, в растрепанной бороде. Он потерял почву под ногами. Можно подчинить молодую женщину, сделав из нее послушную куклу,— нельзя подчинить себе свои рефлексы Помните корриду в Валенсии? Вот и я точно так же вонзил ему шпагу прямо в сердце.

— Двор все-таки был слишком велик,— заметил я.

Любопытно: он, казалось, успокаивался. Мне даже не пришлось расспрашивать его. Он сам подробно рассказал, как все было задумано, как вы, его расторопная помощница, подготовили следы бегства, открыли сейф кабинета, перенесли и заперли портфель с деньгами у себя в спальне («Эту постороннюю пачку вы, конечно, выдумали?» — «Конечно!»), как вы позвали господина Дарсонкура по его возвращении, убили его из револьвера, потом с грохотом поднялись по лестнице, выключили телевизор и выстрелили снова, в ок-

---

[1] Новелла Эдгара По (1809—1849).
[2] Роман Гастона Леру (1868—1927).
[3] Ландрю, Анри и Ласенэр — известные уголовные преступники.

но, на сей раз ничем не заглушая выстрела. Выкладывая мне все это, он облегчал душу, как облегчают желудок рвотой. Я видел: на него нисходит покой, точно на женщину сразу после родов. Я обещал, что оставлю его одного на несколько минут. Итак, мадам, из блестящей супруги знаменитого писателя вы вновь превратились во вдову, и на сей раз даже не по своей воле. Да, будь ваши глаза револьверами, мне бы сейчас... Но зачем вы подносите кольцо к губам? О небо, это, без сомнения, яд! Да, яд!..

Э, нет, моя дорогая, у тебя ведь нет кольца в стиле Ренессанс — такого вычурного и такого ненужного. Двор все-таки был не так уж велик, а я давно расстался с привычкой подмигивать сквозь зубья вилки, как наш дорогой Жерар. Ты все еще окружена всеобщим восхищением, ты все еще жена знаменитого последователя Габорио[1], Конан Дойла, Агаты Кристи, а также последователя самых ловких их героев-преступников. В начале века у ювелиров была в ходу такая реклама: «ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ? — НЕМНОГО ЗОЛОТА!» Твое хладнокровие обеспечило меня этим самым «немного», которое позволило провести широкую рекламную кампанию при выходе в свет романа «ПП тоже в деле». Будь же благословенна, любовь моя! Ничто отныне не омрачает моего счастья. Почти ничто.

Только одно: как бы ни были тупы наши сыщики и журналисты, осторожность подсказывает мне хранить эту новеллу неизданной. Ах, какая жалость! Такое блестящее преступление! Может, стоит хотя бы — как ты думаешь? — завещать эту рукопись Фонду школ нашего округа, на благотворительные нужды? Пусть опубликуют ее после нашей смерти. Человек — он ведь стадное животное, черт возьми, и все наши литературные позывы не что иное, как отчаянная попытка к общению. А я...

Признаюсь тебе, бедняжка моя, для чего я написал этот рассказ, единственным читателем которого будешь ты, именно ты, которой он не откроет ничего нового. Я написал его потому, что иногда в глубине души мне случается пожелать: пусть, ну пусть он придет — мой проницательный собрат!

ФИЛИППО ПАНАНТИ

ЭПИГРАММЫ

Вступление и перевод с итальянского ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

Филиппо Пананти (1766—1837) родился в городе Ронта дель Мугелло (Тосканская область). Его путь на Парнас лежал через европейские страны, где он, доктор правоведения и человек большой культуры, нашел для себя много полезного. Во Франции, революционные идеи которой он горячо поддерживал, он приобщился также к лучшим творениям первых острословов мира и, сам обладая незаурядным чувством юмора, воссоздал их на отечественном материале, причем его первые эпиграммы, опубликованные в 1799 году, настолько естественно принялись на итальянской почве, что другой крупный эпиграмматист Манфредо Ванни, ушедший из жизни в столетнюю годовщину со дня смерти Панáнти, в своем цикле «История эпиграммы в эпиграммах» посвятил этому именитому предшественнику отдельное стихотворение, где, хотя и в шуточной форме, как положено в современной эпиграмме, дал лире Пананти высокую оценку. Вот она:

Он уверял, что сотканы в Тоскане
В Париже им похищенные ткани.
И вправду как тосканские они.
Его словам все верят искони.

Пананти, проявив большую фантазию и показав высокое версификационное мастерство, продемонстрировал новое восприятие итальянской действительности. Он бичует уродливые проявления социальной несправедливости: необузданность королей, подхалимаж царедворцев, бесцеремонность банкиров, бесчестность судей, ханжество богословов и многое другое. Сатира поэта в значительной степени актуальна и сегодня.

Пананти, если сосчитать все его мадригалы, переводы с французского и шуточные миниатюры, за свою жизнь сочинил и перевел не менее четырехсот пятидесяти эпиграмм. Он выступал также в прозе и в лирической поэзии. Собрание всех сочинений он опубликовал во Флоренции в 1831 году, за 6 лет до своей смерти.

* * *

Нас уверяет старый Джили,
Что раньше все умнее были.
И он внушил бы это нам,
Не оставайся жив он сам.

* * *

Какой у Дафни важный вид!
Бесспорно, он ума палата.
Свой ум надежно он хранит,
Вот только тратит скуповато.

* * *

Свой желая доверить секрет,
Выбирайте лжеца иль немого:
Одному никогда веры нет,
И язык на замке у другого.

[1] Габорио Эмиль (1832—1873) — французский романист, создатель детективного жанра.

* * *

Банкир, любя предсказывать судьбу,
Рек ювелиру: «Ты умрешь на плахе
Иль заразясь от уличной девахи».
А ювелир ответил: «Мне в гробу
Из-за какой лежать напасти
Решит всего скорей
Лишь то, в чьей окажусь я власти:
Интриг твоих или жены твоей».

* * *

Закрасил седину дон Паскуале.
Людей обманет он, но смерть — едва ли.

* * *

Прекрасным королевским казначеем
Библиотекарь этот быть бы мог:
Он раз и навсегда, мы думать смеем,
Все ценности закрыл бы на замок.

* * *

Сказал король: «Толкового министра
Искать себе и не найти! Позор!»
Мудрец ответил: «Там, где до сих пор
Ты не искал, его нашел бы быстро».

На некоего барона, заболевшего люэсом

Барона, как сказали мне, Сибилла
Французскою болезнью [1] наградила.
Я думаю, иначе шли дела:
Болезнь она барону продала.

* * *

Прочь, прочь, Амур! Держася за слепца,
Я буду падать без конца.

* * *

— В чем любви, объясни мне, искусство?
— В безыскусности этого чувства.

* * *

Не странно ли: по имени, мой милый,
Не знает вас никто. Но каждый раз,
Когда я добавляю: «Муж Камиллы»,
Я вижу — все прекрасно знают вас.

* * *

Судья, что с девой ночку пробыл вместе,
Сказал: «Пора домой. Тебя, мой свет,
Я радости лишаю». Та в ответ:
«Синьор, увы, и радости и чести».

* * *

— Краска какая подходит девицам,
Больше всего придавая их лицам,
Прелести, живости?
— Краска стыдливости.

* * *

Окно на монастырский двор девица
Желала прорубить в стене своей.
«Ах, синьорина! — с инструментом к ней
Монахи не замедлили явиться.—
Нам это дело полностью доверь.
Коль хочешь, мы пробьем тебе и дверь».

* * *

Монаху Альдо донна Паолина
Приносит двадцать лир на двадцать месс:
«Святой отец, в своих молитвах сына
Послать мне попросите у небес».
«Мадонна, надо делать все толково,—
Ответил ей монах.— По пустякам
Не стоит беспокоить всеблагого.
Вам в этом деле помогу я сам».

* * *

«Прелюбодейство — грех. Он столь тяжел,
Что все грехи другие превзошел,—
Витийствовал священник Рафаэле.—
Но ежели он всех грехов тяжеле,
То, значит, и расплата за него
Суровей, чем за карты, воровство,
Наветы, богохульство, ложь, разбои,
Якшанье с сатаной. Вот почему
Он даже не под силу одному,
И могут совершить его лишь двое».

* * *

«Кто папою станет?»— спросил кардинал.
На это другой кардинал отвечал:
«Коль духу святому доверено дело,
То, наисвятейший, скажу я вам смело:
Коль дело рассматривать будет конклав,
То тот, кто безнравствен, коварен, лукав;
Коль в выборе дьявол получит главенство,
То я или вы, ваше преосвященство».

* * *

«Мир идеален»,— рек нам богослов.
«А я каков?» — спросил горбун печально.
И отвечал философ: «Ты каков?
Для горбуна ты создан идеально».

* * *

Ученый ксендз однажды пред аббатом
Решил блеснуть латинским языком,
А тот ответил с видом виноватым:
«Прошу простить, я с польским незнаком».

---

[1] Французская болезнь — так в Италии назывался сифилис по той причине, что его занесли в эту страну французские солдаты во время войн за право наследования престола в итальянских королевствах (1494—1559). Вспышка сифилиса наблюдалась уже в 1494 году в войске вторгшегося в Италию французского короля Карла VIII. *(Прим. перев.)*

Среди книг

Издано в СССР

ГИБЕЛЬ БОГОВ...

Андре Моруа. Байрон. Перевод с французского М. Богословской. Минск, «Полымя», 1986.
Дэвид Вейс. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени. Перевод с английского Н. Ветошкиной и Э. Питерской. Москва, «Прогресс», 1970. Киев, «Музична Украина», 1984, 1986. Минск, «Беларусь», 1986.
Антонин Згорж. Один против судьбы. Повесть о жизни Людвига ван Бетховена. Перевод с чешского Н. Дроздовой. Москва, «Правда», 1987.
Роландо Кристофанелли. Дневник Микеланджело неистового. Перевод с итальянского А. Махова. Москва, «Прогресс», 1980. Москва, «Радуга», 1985.

Человеку свойственно интересоваться судьбами тех, чьи имена, по слову поэта, «звучат нам как призывы». Биографическая литература разного рода — многотомные исследования типа «Пушкин в жизни», краткие обзорные очерки, сборники воспоминаний и пр.— исчезает с прилавков, не успев появиться. Мы изучаем жизнь великого художника, писателя, композитора в надежде понять, откуда что взялось, расставить биографические ориентиры на пути его духа, увязать внутреннее с внешним — воспитанием, образованием, окружением. Однако все это никоим образом не дает возможности уяснить, почему в одной семье рядом с Пушкиным вырастает брат Левушка, рядом с Микеланджело — Сиджисмонде, рядом с Бетховеном — Каспар... Неисповедимая тайна гениальности остается тайной. А ведь именно она манит нас столь властно, заставляя перебирать факты, вчитываться в документы, свидетельства современников и, с особенным интересом, в письма: вдруг да приоткроется завеса, тайное станет явным и мы наконец поймем во всей полноте значение слова «гений». И одновременно — значение слова «человек»; ведь в определенном смысле гений есть воплощенная идея человечности, ее высшей нормы —«краса вселенной, венец всего живущего». Что не мешает ему быть просто человеком. И это дает основания надеяться, что мы сможем через малое, объяв великое, через общее, добравшись до исключительного, постичь внутренний мир гения.

Лишь такая цель, на наш взгляд, способна объяснить и оправдать существование биографического романа — своеобразного гибрида, рожденного падким на неожиданные скрещения (биология+физика, математика+лингвистика) XX веком. Как и всякий гибрид, этот промежуточный жанр соединяет черты обоих родителей. От научной биографии ему досталось требование точности, уважительного отношения к фактам; от романа он получил право на вымысел, ограниченное, однако, сферой психологии: что касается сюжета и даже характеров, фантазия романиста скована. Можно, правда, сказать иначе: свободный от необходимости выдумывать сюжетные ходы и персонажей, писатель как бы в порядке компенсации получает возможность сконцентрировать всю силу своего воображения на главном — духовной, интеллектуальной и эмоциональной жизни гения. Случается, правда, что романисты ставят себе иную «задачу» — показать читателю личную жизнь великого, проникнуть не в кабинет к нему, а в спальню,— но сие вряд ли заслуживает критического разбора, как не заслуживает его картина, увиденная через замочную скважину. Беда в том, что определить, где проходит граница между «спальней» и «кабинетом», весьма сложно: как известно, в жизни все взаимосвязано. И потому нас интересуют и родители бессмертного, и его дети, друзья, подруги, любовницы, мелочи быта и реалии эпохи... Но если автору романа о Моцарте (Байроне, Микеланджело) не удалось показать Моцарта (Байрона, Микеланджело) в полном блеске его гениальности, прочее оказывается несущественным и сама романизация — ненужной.

Что же предлагают нам издательства?

К двухсотлетию Байрона минское «Полымя» выпустило книгу Андре Моруа — одного из родоначальников и признанного корифея жанра. Роман о Байроне написан в 1930 году — в ту пору непринужденная свобода в общении с великими была в диковинку и, надо думать, впечатляла. Нынче этим не удивишь, так что мы можем оценить сочинение Моруа вполне трезво. Читается оно с захватывающим интересом — что, впрочем, нужно скорее поставить в заслугу самому Байрону, чья бурная жизнь «сюжетнее» любого романа. Что же до заслуг романиста, то мы отметим его научную добросовестность и великолепную осведомленность, прекрасный стиль — слегка под Байрона, с его ярким и неожиданным юмором; восхитимся проницательностью, блеском и изяществом анализа. Психология Байрона — строптивого и одновременно застенчивого подростка с ущемленным самолюбием, светского льва, Дон Жуана, Байрона — байронического персонажа раскрыта с убеждающей достоверностью. Нет только... поэта. Стремясь показать «Байрона в жизни», Моруа, кажется, не учел одной простой вещи: «Судьба поэта, уже по одному тому, что он поэт,— есть судьба совсем особая, даже... если она целиком совпадает своими внешними событиями с судьбой генерала» (Г. Винокур). В его книге поэзия отошла куда-то на задворки: перед нами действует дерзкий мальчик, искатель приключений, путешественник, сияющий «почти зловещей красотой» герой-любовник, который по пути из одной страны в другую или от одной дамы к другой что-то такое сочиняет, не тратя на это занятие ни труда, ни душевных сил и вообще не придавая ему большого значения. Творчество Байрона интересует автора главным образом с точки зрения его влияния на судьбу: однажды утром поэт «проснулся знаменитым», что изменило и его самоощущение, и отношения с обществом, и образ жизни. Романисту случается заинтересоваться сочинениями своего героя и на предмет выяснения «кто есть кто». Что же до остального, то он обходится, как правило, простой констатацией: в Лондоне написаны такие-то вещи, в Венеции — такие-то...

Конечно, сейчас поэзия Байрона уже не воспринимается так, как прежде; его пафос порой кажется неестественным, романтический пессимизм выглядит позой. Но, думается, прав был блистательный умник Честертон, когда сравнивал впечатление от «преувеличенной естественности» Байрона с тем, что производит «огромный пламенеющий цветок тропического леса» — он ведь тоже кажется нам ненатуральным. И как бы ни относиться к байроновым стихам, нельзя не признать, что он был в первую очередь поэтом, и прошедшим к тому же большой путь: от «Гяура» и «Корсара», безудержный романтизм которых он сам в поэме «Беппо» высмеял безжалостнейшим образом, до великолепного «Дон Жуана», восхищавшего даже такого недоброжелательного судью, как Т. С. Элиот, и занимающего Моруа куда меньше, нежели итальянские красавицы.

Дэвиду Вейсу, автору романа о Моцарте, подобных упреков предъявить нельзя: романист прекрасно сознает, что биография художника заключена в его произведениях, более того — ими определяется, на этом основании он и строит повествование. Его труд воодушевлен самой истовой и пламенной любовью. «Если бурное и суетное существование рода человеческого может найти себе оправдание в творениях одного человека, то Моцарт, несомненно, был таким человеком»,— пишет он в предисловии к «Возвышенному и земному». Однако действие любви двояко: она может даровать особую зоркость и проницательность, а может туманить глаза. В данном случае произошло, увы, второе: Вейс явно идеализирует Моцарта. Идеализация же — вещь опасная: нередко случается, что идеальные герои выходят упрощенными и бесцветными — как Моцарт Вейса, который выглядит не благородным, но благостным, не добрым, но добропорядочным, не мудрым, но бюргерски рассудительным. Куда-то исчезла Моцартова страстность, доходящая порой до неистовства, его одержимость «духом музыки», блистательный юмор, склонность к дерзкой шутке, розыгрышу, эпатажу. Моцарт Вейса за всю жизнь не сказал резкого слова, ни разу не изменил жене, не нарушил ни одной из десяти заповедей; темные силы к этому Моцарту доступа не имели: разверзающихся в Сороковой симфонии бездн Вейс не замечает, хлещущее через край отчаяние объясняет попросту... безденежьем, а в космических прозрениях возвышеннейшего «Юпитера» видит лишь победу здорового оптимизма жизнерадостной натуры. Обидно, что, так любя Моцарта, романист так обедненно понимает его — порою даже до смешного.

В самом деле, смешно и грустно читать о том, что в мессе, написанной для друга-священника, композитор стремился выразить «глубину своего уважения к этому скромному человеку»: когда Моцарт творил Мессу, то обращался к Богу. И можно ли представить, чтобы Моцарт, писавший свои партитуры сразу набело, лишившись на несколько дней клавесина, оказался таким образом лишенным и музыки! И ведь Вейс, основательно изучивший источники, несомненно, знает о способности композитора сочинять без инструмента, «в голове». Однако знание, не подтвержденное собственным внутренним опытом, не входит, так сказать, в плоть и кровь, а усваивается лишь поверхностно — отсюда и промахи, со всей очевидностью свидетельствующие, что романисту практически не доступно музыкальное восприятие мира. Он еще способен понять первые впечатления вундеркинда, жадно впитывающего в себя все звуки и забавляющегося попытками творчества, как чудесной игрой. Но дальше... Конечно, простому смертному едва ли под силу уразуметь, как устроен «богов орган живой» и услышать въяве, как звучит симфонический оркестр космоса. А ведь просто услышать мало — надо еще и передать читателю удивительнейшее ощущение неумолчного присутствия музыки: без этого невозможен роман о Моцарте.

Или о Бетховене. Для Бетховена это присутствие имеет к тому же совсем особое значение: глухота, составившая несчастье композитора, стала одновременно

потрясающим по силе доказательством независимости музыки от «физического» слуха. Увы, автор повести «Один против судьбы» Антонин Згорж — подобно большинству из нас — слышит музыку лишь извне. Ему удалось почувствовать — и в какой-то мере передать — трагедию композитора, яростно боровшегося с неотвратимо наступающей глухотой, до последней возможности скрывавшего ее от окружающих; писателю понятно отчаяние «глухого маэстро», постепенно теряющего способность играть, дирижировать... Но понять по-настоящему, как можно писать музыку, не слыша ни звука, Згорж не в состоянии. Для него это — чудо, которое можно лишь констатировать, а не анализировать. Впрочем, он вообще не слишком склонен к анализу. Писатель строит повествование на внешних эффектах, ярких, выразительных фактах — причем особенное внимание уделяет столкновениям Бетховена со знатью. Спору нет, композитор, убежденный демократ и республиканец, действительно был чрезвычайно чувствителен к любым попыткам аристократов подчинить его, заставить служить себе. Он последовательно, со всей свойственной ему неукротимостью и страстностью отстаивал собственное достоинство, и можно даже сказать, что он совершил своего рода революцию в отношениях между художником и высокородными заказчиками. Но ведь не это же было в его жизни главным! А в книге Згоржа звучащая forte-fortissimo тема бунтарства становится едва ли не основной. Автор не упускает ни одного известного факта, прибегает и к не вполне достоверным источникам (так, многие исследователи считают апокрифическим письмо к Беттине фон Арним, в котором Бетховен рассказывает о прогулке с Гёте, когда поэт остановился, почтительно уступая дорогу императрице, меж тем как сам композитор продолжал идти, вынудив свиту расступиться). Если же источников вовсе нет, Згорж пускается в домыслы: краткое свидетельство о единственной встрече Бетховена и Моцарта перерастает в целый эпизод с ученичеством. При этом автор заставляет маэстро с неизбывной горечью рассказать о давнем унижении, усиливая таким образом бунтарские настроения своего юного ученика. И подобные сцены занимают добрую половину текста. Вторая же распределена между провалами и триумфами композитора, любовными переживаниями и терзаниями, описанными при помощи романтических клише вековой давности. Конечно, Людвиг ван Бетховен был безудержным романтиком, и современному человеку его манера выражения подчас кажется излишне экзальтированной. Можно предположить, что Згорж намеренно обращается к стилизации. Но в любом случае ему явно недостает вкуса. Фразы типа «ее уста природа создала как маленький, удивительно красный цветок» или «он знал в это мгновенье, что он уже в плену у ее темных глаз» и во времена самого отчаянного романтизма звучали несколько комически — что нередко понимали и сами романтики, с успехом пародировавшие свою же выспренность.

И все же нельзя не признать, что автор повести сумел, хоть и упрощенно, передать нечто очень существенное в характере своего героя — его непокорство, неизменную готовность дать бой судьбе, несгибаемую волю и несокрушимый оптимизм. Однако получилось это главным образом за счет материала, который настолько ярок, что говорит сам за себя. Наибольшей достоверности Згорж достигает тогда, когда, не мудрствуя лукаво, добросовестно пересказывает известные эпизоды из жизни Бетховена (имеющиеся и почти в любой небеллетризованной биографии), наименьшей — когда пытается показать внутренний мир композитора: тут сразу становится очевидной несопоставимость масштабов автора и героя.

Право же, совсем не нужно, чтобы всяк сверчок непременно знал свой шесток. Но отсутствие чувства соразмерности, непонимание дистанции между гением и простым смертным может привести к результатам поистине плачевным. Яркий тому пример — роман Роландо Кристофанелли. Автор, рискнувший написать «Дневник Микеланджело неистового», потерпел неудачу, которую можно бы назвать грандиозной, если б текст, выдаваемый за личные записки одного из титанов Возрождения, не был столь удручающе убог. Великий Микеланджело выглядит здесь мелким, раздражительным субъектом, который отчаянно завидует всеобщему любимцу Рафаэлю, зло издевается над идеями Леонардо, жалеет денег своим домашним и прочая, прочая. Спору нет, флорентиец и впрямь отличался скверным характером; как человек он отнюдь не был равен себе — художнику, поэту, мыслителю. Однако «мелкость» Микеланджело интересна нам не сама по себе, но лишь в сочетании с его же величием — а от величия в романе не осталось даже и тени. Герой Кристофанелли выглядит подчас попросту глупым — в особенности когда берется трактовать смысл и содержание «собственных» произведений. «Эта идея сразу увлекла меня и показалась стоящей, ибо отражает настроения народных масс. В начавшейся войне участвуют в основном молодые воины. Приятно сознавать, что новая моя работа будет целиком посвящена молодежи»,— это о картине «Битвы при Кашине». А вот — о капелле Медичи: «По замыслу все четыре аллегории должны выражать идею труда... Первая и четвертая аллегории являют собой гимн усталости, порожденной трудом. Вторая фигура мрачно смотрит на зрителя, словно выговаривая ему за пустое времяпрепровождение, когда всем надлежит трудиться; третья аллегорическая фигура недовольна, что ее так рано пробудили ото сна и теперь спозаранку придется браться за работу». И вся эта безрадостная композиция по какой-то недоступной нашему пониманию причуде авторской мысли оказывается первым в мире памятником, «восславляющим труд»! И ведь Кристофанелли, специально занимавшийся Ренессансом, не может не знать толкований самого Микеланджело — и того, о всеразрушающем времени, что приводит его первый биограф Кондиви, и того,

что сформулировано в знаменитом четверостишии от лица Ночи:

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

(Перевод Ф. Тютчева)

Конечно, романист имеет право на вымысел — но не судят только победителей...

Впрочем, где они — победители, сумевшие добиться того, что не получилось у Згоржи или Кристофанелли? То есть существуют ли такие биографические романы, в которых гений вставал бы в полный рост? Не берусь утверждать наверняка, но все, что мне попадалось, оставляло ощущение досадного несоответствия между великим прообразом и литературным образом. Этот зазор чувствовался всегда, и чем больше были собственные знания о «предмете» и любовь к нему, тем больше оставалось места для разочарования. Удачи совершенно бесспорные и безоговорочные встречались, так сказать, уровнем ниже, когда масштаб личности героя как-то соотносим с масштабом личности автора. Превосходен «Кюхля» Тынянова, но ведь Кюхельбекер — отнюдь не гений; хорош и «Вазир-Мухтар», но герой его давно пережил свой единственный гениальный взлет. А вот «Пушкин», даже и незаконченный, доведенный лишь до юности поэта, производит впечатление недостаточности. Можно, пожалуй, согласиться с теми, кто считает, что Моруа удались «Три Дюма» — Бальзаку же его явно недостает подлинного величия и мощи... «Только гений может понять гения»,— утверждал Шуман; положим, что он несколько преувеличил и понимание нам все-таки доступно. Но для того, чтобы вос-создать личность гения, надо впрямь быть конгениальным ему. Именно конгениальным, то есть не просто равным по «величине» дара, а еще и родственным по духу, иначе неизбежна «подмена». Прекрасен «служитель музыки» Моцарт, запечатленный конгениальным Пушкиным; прекрасен старый Гёте, написанный зрелым Томасом Манном, его братом по духу и ревностным ценителем. А персонаж, скажем, Вейса, при том, что события его романной жизни целиком совпадают с реальными событиями жизни Моцарта, кажется всего лишь заурядным тезкой гениального композитора. Поскольку же биографические романы пишутся в основном на уровне Вейса, в лучшем случае — на уровне Моруа, а в худшем — на уровне Кристофанелли, то...

То что же? Хотим мы того или нет, романизованная биография существует, и «отменить» ее никакому критику не под силу. Можно только посетовать, что она все больше вытесняет биографию научную, строго описательную: «голый» факт способен дать обильную пищу уму и воображению, тогда как роман, в котором гений пере-создан по образу и подобию далекого от гениальности беллетриста, остается лишь печальным свидетельством «суеты и томления духа».

Е. ЗЛОБИНА

КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ США

Е. М. Матусовская. Американская реалистическая живопись. Очерки. Москва, «Искусство», 1986.

Елена Михайловна Матусовская (1945—1979) находилась лишь в начале своего творческого пути, но успела внести ценный вклад в советское искусствознание работами об американской живописи. Ее научное и литературное наследство, собранное в рецензируемой книге, представляет несомненный интерес.

Открывает книгу яркий очерк об американских «примитивах» XVII—XIX веков, народном искусстве, которое научились ценить сравнительно недавно. Понадобился опыт искусства новейшего времени, чтобы открылась художественная ценность казавшихся ранее «незрелыми» произведений живописи. Мне довелось быть в США в 1978 году, когда в Национальной галерее Вашингтона открылась выставка американских «примитивов», вызвавшая большой интерес. Для американцев экспозиция имела не только художественное значение. В ней видели яркое проявление творческого духа нации уже в начальную пору ее развития.

Неудивительно, что и Е. Матусовская обратилась к изучению этого самобытного творчества. Сразу надо отметить, что ее никогда не удовлетворяла описательность. В своих исследованиях она сочетала высокий теоретический уровень с тщательностью конкретного анализа. Для нее примитивисты — «художники, которые создают свои произведения в окружении иной господствующей в данное время системы изображения. Однако их искусство не является чем-то замкнутым, чуждым или противоположным. Напротив, они создают свой вариант этой системы в силу ли оторванности и относительной замкнутости отдельных районов, своеобразных ли исторических условий, особого круга заказчиков или иного уровня профессиональной подготовки».

Родиной «примитивов» в США были восточные штаты Атлантического побережья, заселенные раньше других. Даровитые самоучки становились профессионалами, но наряду с ними занимались живописью и просто любители. Одних называли «художниками каждого дня», других — «художниками по воскресеньям». Давно уже стала очевидной связь между искусствами, и Е. Матусовская обнаружила родство «примитивов» с произведениями Марка Твена, в частности воссоздавшего такой вид любительского «примитива», как «поминальные сцены «Приключений Гекльберри Финна»: «Твеновские описания Америки и американцев настолько точно совпадают с тем, как они изображены у народных художников, что их картины могли бы послужить отличной иллюстрацией к романам Твена, а строки его произведений в свою очередь оживляют картины, придают ушедшему прошлому осязательность, дают нам то единственное, что помогает верно и справедливо судить о каком-либо явлении искусства, — живое чувство времени».

Переломным моментом для американского искусства явилось творчество Уистлера (1834—1903) — художника, стоящего на рубеже традиционной академической и романтической живописи и новаторского творчества импрессионистов. В статье «Уистлер и французские импрессионисты» Е. Матусовская остро ставит проблему личности этого замечательного художника, первого американского мастера, вышедшего на мировую арену. «Три страны определили творческий путь Уистлера и могут соперничать в том значении, которое они сыграли в его жизни,— пишет исследовательница.— Страна, где он родился, но не жил; страна, которая не была его родиной, но где он провел жизнь; и наконец, страна, где он и не родился и не жил, но с которой был связан самой глубокой связью — своим творчеством,— Америка, Англия, Франция».

Е. Матусовская доказывает, что Уистлер художник иной системы восприятия, чем импрессионисты. В отличие от них, «не видя смысла в погоне за ускользающим, Уистлер как бы перестает ощущать и движение времени. Его картины, как и картины доимпрессионистических художников, лишены чувства стремительного изменения мира, чувства момента».

Но главное содержание книги — широкая картина самобытного реалистического направления живописи США с конца XIX века по наше время. В ней центральное место занимает монография «Роберт Генри и «школа мусорных ведер» (1978). Перед нами во весь рост встает фигура художника Роберта Генри (1865—1929) — родоначальника того вида искусства, что шло в ногу с реалистической американской литературой, так же трудно пробивавшего себе путь, как, например, романы Теодора Драйзера. В то время как капиталистическая Америка с ее прагматизмом, по существу, вынудила ряд талантов уйти в изгнание, а к этому движению «культурной эмиграции» принадлежали не только Уистлер, но и художница Мэри Кэссет, и романист Генри Джеймс, Роберт Генри искал источники вдохновения в американской действительности. Одну группу его работ составляли довольно элегантные портреты, другую — свободные, непринужденные, быстрые эскизы, на которых портретируемый как бы непосредственно обращается к зрителю. Моделями Генри избирал не только природных янки, но также индейцев, негров, цыган, испанцев. «Ему были интересны бродяги и нищие,— пишет Е. Матусовская,— жители нью-йоркских трущоб — люди с неведомым прошлым и сомнительным настоящим, все те, кто стремился в Америку и приносил сюда свои надежды, мечты и упования, увы, не всегда сбывавшиеся».

Художник и педагог, Роберт Генри собрал вокруг себя талантливых единомышленников, так называемую «Восьмерку»: Джона Слоуна (1871—1951), Уильяма Глаккенса (1870—1938), Джорджа Лакса (1867—1933), Эверетта Шинна (1876—1953). Они составили то, что можно назвать «школой» Роберта Генри; к ним примыкали Лоуссон, Прендергаст и Дэвис. В 1908 году они организовали выставку, ставшую поворотным моментом в истории живописи США. Сами они называли себя «нью-йоркскими реалистами», но сторонники традиционной академической живописи поносили их как «революционную черную банду», «апостолов уродства», а позднее окрестили «школой мусорных ведер». Е. Матусовской удалось убедительно показать идейное единство борцов за жизненную правду в искусстве слова и кисти. Непростой была творческая судьба членов «Восьмерки». Не было между ними не только тождества, но и единства, что естественно, ибо каждый представлял собой яркую индивидуальность. Прекрасно подобранные иллюстрации (многие из них цветные) дают четкое представление о своеобразии каждого из мастеров, закладывавших основы реализма в американской живописи.

Два очерка посвятила Е. Матусовская крупнейшим художникам современной Америки — Эдварду Хопперу (1882—1967) и ныне здравствующему Эндрью Уайесу (род. в 1917 г.), с творчеством которого недавно познакомились и наши соотечественники. Хоппера именуют художником города. В его картинах всегда поражает мастерство, с каким он через изображение домов (не небоскребов, а именно небольших — двух-, трех-, четырехэтажных домов) передает сам дух американской жизни. Характерны его «Раннее воскресное утро» (1930) или «Дом у железной дороги» (1925). И не случайно Е. Матусовская обращается к книгам С. Льюиса, Ш. Андерсона, У. Фолкнера, тоже показавших, говоря словами последнего, «отчужденность от естественной жизни, от природы». И все же есть своеобразная красота в геометрически четких линиях «Конструкций Манхэттенского моста» (1928) и особенно в «Полуночниках» (1942)...

В построении книги присутствует некая цикличность. Начавшись с очерка о «примитивах», она завершается этюдом об Эндрью Уайесе, художнике, преломившем в своем искусстве некоторые традиции примитива. Это особенно заметно, когда он обращается к детским портретам. Но и «взрослые сюжеты Уайеса несут на себе печать этой традиции, конечно осложненной более глубоким пониманием американской действительности». Вместе с тем Е. Матусовская отделяет Уайеса от реалистического направления, видя в нем продолжателя романтической линии американской художественной культуры. Она отмечает в его работах и пристрастие к прошлому, и традиционность, и настойчивое стремление отстоять национальное своеобразие американского искусства.

Стажируясь в США, Е. Матусовская встретилась с Уайесом у него дома. Фотографии в конце книги запечатлели образ удивительно простого и приветливого мастера во время его бесед с советской исследовательницей.

Сама она отражена в книге не только критическими трудами о живописи США. Книгу дополняет очень живой «Американский дневник» Елены Матусовской и ее стихи. Да, она была и поэтом, притом, как мне кажется, незаурядным. Одна из тем ее поэзии — искусство: «Есть мастера, в ли-

цо самих стихий, Глядящие бестрепетно и смело...», «Документальное кино», «Алтарь работы неизвестного мастера», «Ван Гог», «Статуя», «Живописцы должны умирать к девяноста...» и, наконец, сугубо личное, трагическое стихотворение: «Я не желаю умереть во сне...» Она знала о тяжелой болезни, которая безвременно свела ее в могилу...

Елена Матусовская была эрудированным искусствоведом, но не это главное в ее работах, а тонкое понимание и глубокое, можно сказать, врожденное чувство прекрасного. Посмертное издание ее работ заставляет с сожалением думать о том, что мы потеряли талантливого знатока. Но осталась книга, свежо и умно написанная, книга не только об искусстве, но и книга человека, жившего в искусстве.

А. АНИКСТ

Издано за рубежом

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ ИЗУЧАЕТ АПОКАЛИПСИС

Paul Brians. Nuclear Holocausts: Atomic War in Fiction, 1895—1984. The Kent State University Press, 1987.

Пол Брайнс. Ядерные «холокаусты». Атомная война в художественной литературе, 1895—1984. 1987.

Годы, которые мы теперь называем застойными, наложили свой отпечаток и на язык рецензий. Давно это было, когда блестящая книга была принародно названа в печати блестящей, а бездарная — бездарной (слово «халтура» ныне считается оскорблением в отношении автора, хотя это еще вопрос, кто кого оскорбил). Редакции боролись за «объективность» оценки, как будто произведение объективно не может быть блестящим или, напротив, бездарным...

Книга американского литературоведа, преподавателя университета штата Вашингтон Пола Брайнса вызвала у меня множество самых разнообразных эмоций. В основном положительных — рад я был прочитать такую книгу! Но воспитанный, что поделать, всё теми же упомянутыми годами, я долго искал некие «сбалансированные» итоговые оценки, пока не нашел единственную и сверхобъективную. Книга — уникальна. Просто по определению: никто доселе ничего подобного не писал. Уникальны и сама тема, и широта охвата материала, и собственная позиция автора — все, думаю, окажется для читателя внове.

О названии. «Я долго колебался,— сообщает автор,— как быть с этим словом — «холокауст». Особая форма огненного жертвоприношения в древнееврейских религиозных ритуалах, «холокауст» позже (горькая ирония!) стал синонимом резни, затеянной нацистами. И поскольку мы ничего страшнее не знаем, в настоящее время является общепринятым термином для обозначения именно ядерной войны».

Могу так же «сверхобъективно» утверждать: книга Брайнса — как говорят американцы, the must reading (обязательное чтение). В сущности, а кто сегодня не интересуется проблемой выживания, собственного и своих детей? Автор детально прослеживает «атомную тему» в художественной литературе, к сожалению, ограничивая себя только произведениями, вышедшими на английском языке. Особое внимание он уделяет таким ее сторонам, как, например, причины возникновения ядерной войны. По-моему, четкое, будто в учебном пособии, изложение этого вопроса — обмен ядерными ударами, сбои в компьютерах, «герострат акт» какого-нибудь свихнувшегося командира подводной лодки, ядерный терроризм, просто авария — заслуживает внимания специалистов не только в научной фантастике. Что до этой литературы, то она обильно снабдит «наглядными пособиями»... Мгновенные и долгосрочные последствия, возможность предотвращения ядерной войны — обо всем этом подробно рассказывает Пол Брайнс. В дополнение к собственно тексту книги едва ли не большую часть 400-страничного тома занимает библиография на 800 с лишним романов, повестей, рассказов — причем каждая позиция снабжена подробной аннотацией, дающей представление о сюжете произведения... Словом, как ни оценивай, а пока это действительно уникальный банк данных по теме, которая грозит вытеснить из нашей жизни все остальные.

Даты в заглавии книги многими, вероятно, встречены с недоверием. И хотя большинство произведений об атомной войне создано, разумеется, после Хиросимы, все же поразительно: как много их появилось д о! При том, что тему особенно популярной не назовешь. Даже когда подобной фантастики выходило много, она в сознании читающей «широкой публики», в издательских каталогах и на специализированных книжных полках в магазинах оставалась всего лишь ф а н т а с т и к о й. Пока не нависла над теми, кто ее старательно игнорировал, страшной, недопустимой реальностью.

И потом — тема, тема... Кто будет с воодушевлением читать про э т о? Живые, красочные описания конца света вряд ли могут рассчитывать на широкую популярность даже в кризисные эпохи.

А жаль, что с этими книгами массовый читатель, как правило, не знаком. Принимаем же мы горькие пилюли, надеясь, что они излечат... Между тем именно в научной фантастике заблаговременно — десятилетия прошли, не одно поколение можно было бы воспитать в духе нового «атомного» мышления! — описаны, художественно исследованы проблемы, от коих сегодня никому не отмахнуться. И не просто отражены, а философски осмыслены, экстраполированы в будущее по всем мыслимым направлениям — в социальном плане, политическом, военном, психологическом, в

сфере этики, культуры, религии. В этом предсказанном будущем ядерного страха мы сейчас живем, и исследует его теперь уже респектабельная реалистическая проза.

В научной фантастике, отмечает Брайнс, очень рано зазвучали нотки того, что сегодня называется новым политическим мышлением атомной эры. Еще в 50—60-е годы произведения писателей-фантастов призывали к решительной ломке стереотипов, к признанию, включению в систему мышления и социального поведения новых реалий. Примеры «атомной фантастики», разобранные в книге, в лучших традициях этой литературы переворачивали с ног на голову привычное, заставляли отказываться или хотя бы критически пересматривать самое очевидное.

«Поскольку ядерная война не оставляет времени на раскрытие так называемых «высоких моральных качеств», присущих героям традиционной военной прозы, то и сами эти качества теряют смысл. Какое может быть мужество на всеобщей бойне? А лояльность, решительность, самопожертвование и личный героизм — они что, способны хоть на йоту отклонить от цели межконтинентальную ракету? В ядерной войне не будет и надежды на победу какой-либо из сторон — надежды, служившей оправданием для всех невзгод военного времени. Простой акт возмездия агрессору в лучшем случае будет пирровой победой; в худшем — концом всей жизни на Земле. И наконец, традиционная военная проза воспевает испытание характера, обретение человеком себя в бою — а что воспевать «ядерно-военной» литературе, когда сражение между собой будут вести, в сущности, одни машины?»

Я привел эту цитату, чтобы продемонстрировать личную вовлеченность, даже — неакадемическую увлеченность автора. Можно спорить, допустимо ли это в серьезном литературоведении,— да, повторяю, предмет уж больно необычный. Литературоведению тоже приходится переходить на иной язык, как только перед нами всеми загорелись сигнальные надписи: «Внимание, впереди опасность!» Отбросишь тут академическую лексику, когда грядет Апокалипсис.

Тем более что речь все-таки не об эмоциях, а о мыслях — пусть и эмоционально выраженных. О мыслях парадоксальных, для многих все еще неуютных, тревожных, но неизбежных; рано или поздно, но сама логика атомного века убедит и наиболее упрямых. Дай бог, если не поздно...

Читая книгу Брайнса, я особо выделил мысли автора, свидетельствующие об изменениях в сознании американцев. Вот, к примеру, точное наблюдение: «Чем более немыслимой становится война, тем больше мы должны размышлять о ней. В отличие от всех предшествующих военных противостояний, сегодня враг *должен быть* хорошо информирован о наших планах и ресурсах, ибо секретное оружие устрашения устрашить никого не может». Когда американский исследователь работал над своей книгой, этот скрытый упрек (в отказе от допущения проверок на местах) он, надо думать, адресовал и своей стране и нам. Но вот мы согласились на подобные проверки. А что же американцы?

Отмечу еще одну мысль, для советского читателя, возможно, не новую, но спорную для многих американцев. Это идея, лежащая в основе нового мышления: в ядерной войне не будет победителей. И в ней не отсидеться в хате, которая с краю. Задолго до концепции «ядерной зимы» писатели-фантасты своими произведениями поставили крест на всех идеях «как-нибудь перезимовать».

Собственно, сказанное относится лишь к малой толике рассмотренного в книге материала. Произведений, в которых высказаны все эти мудрые и прочувствованные — а сегодня и единственно верные — мысли о будущей войне, немного. Но сколько же еще будут оценивать качество научной фантастики по «уровню моря» — и вправду разливанного и порядком замусоренного,— не замечая островков и отдельных высоких горных пиков?

Однако полная библиография обязывает составителя к внешней беспристрастности, к ведению счета чистым и нечистым. Думаю, все будущие исследователи этой темы с благодарностью вспомнят скрупулезный анализ Пола Брайнса — анализ в том числе и откровенной макулатуры (с точки зрения художественной и политической). Его критический разбор *американской* «политической» фантастики — одно из самых ценных мест книги. Поделка, сотворенная на потребу дня, однодневкой и останется, никакого «дня после» для нее не предвидится. Но читателю знать хотя бы вкратце содержание иных «атомных сценариев» (например, откровенно антисоветских) необходимо.

Социальные акценты в книге Брайнса расставлены на редкость — для сегодняшней Америки — точно и непредубежденно. Вообще странное дело. Разбор огромной массы тривиальной, оглупляющей и вредно-оптимистической (когда дело касается перспектив выжить в ядерной войне) американской фантастики словно подогревает темперамент автора. Все чаще он покидает литературоведческий Олимп, чтобы ввязаться в жаркую дискуссию, которой далеко до академической сдержанности. Давно не приходилось читывать у современного автора-американца, пишущего о научной фантастике, рассуждений о книге-учителе, книге-проповеднике, книге-борце, а не о книге-товаре. Один этот «неамериканский» взгляд на литературу делает книгу Брайнса явлением уникальным на американской литературной сцене.

Заключительная глава ее названа «Предотвращение «холокауста». «Казалось бы, *это* и должно представлять цель всякого пишущего о ядерной войне. Предупредить, испугав на бумаге. Описать в красках новый Армагеддон. Обратить внимание на неизбежный приход нового варварства, если кто-то уцелеет... Все так, но это цель — немногих»,— грустно замечает Брайнс.

Для большинства же авторов «атомная тема» — не более чем острая специя, которой не следует злоупотреблять, готовя основное блюдо: романтические страсти, зубодробильные приключения («испарение в течение миллисекунды — это не приключе-

ние, даже не личный опыт») или что-нибудь столь же беспроигрышное.

На что же надеется автор книги (нельзя же браться за подобные сюжеты, ни на что не надеясь?), ясно из финала. Пол Брайнс разбирает редкие произведения писателей-нефантастов, в частности «Черный дождь» японского писателя Ибусэ — произведение, известное и нашему читателю. Думаю, последний абзац книги Брайнса следует привести целиком, он напомнит многим страстный призыв нашего Алеся Адамовича, обращенный к коллегам-писателям: п р о с н и т е с ь!

«Споры вокруг проблемы ядерного разоружения окутал туман «атомояза» (по аналогии с двуличным языком «новоязом» из знаменитого романа Оруэлла «1984».— Вл. Г.), отодвинувший, отдаливший от нас ощущение опасности. Выдающиеся художники слова... превращают абстрактные запутанные схемы «ядерных сценариев» в нечто конкретное, осязаемое, ощутимое. Напоминают нам: ядерная война не может быть не чем иным, как преступлением против человечества, против Земли. В течение десятилетий, то ли испугавшись профессионального жаргона ученых, то ли просто малодушно н е ж е л а я обращаться к этой теме, крупнейшие мастера литературы молчали. А могут они многое. Разбудить наши чувства, обострить их до предела по отношению к надвигающемуся «холокаусту». Как туча, он застилает горизонт последние сорок лет. И тень ложится на будущее наших детей — и так будет, пока мы наконец не расшевелимся и не развеем этот мрак».

Как заговорили литературоведы!

ВЛ. ГАКОВ

МНОГОЛИКИЙ МАРТИН НАГ

M a r t i n N a g. Kveldsbel eik og revolusjon. Oslo, Arbeidern forlag, 1984.

I strid for Fred. The kapitler av fredsbevegelsens pionertid i Norge. Kvekerforlaget, 1985.

Fred. Oslo, Solum, 1985.

Sovjetlitteratur i Norge i mellomkrigsårene. Oslo, Solum, 1987.

М а р т и н Н а г. Квелбелский дуб и революция. 1984.

М а р т и н Н а г. В борьбе за мир. Три главы из истории движения борьбы за мир в Норвегии. 1985.

М а р т и н Н а г. Мир. 1985.

М а р т и н Н а г. Советская литература в Норвегии в период между войнами. 1987.

Еще в университете мы, будущие скандинависты, занимаясь своими научными картотеками, в разделе «Норвежская литература и критика» вслед за Боргеном, Бьёрнсоном, Гамсуном, Гритом, Ибсеном по алфавиту ставили карточку с именем: Наг, Мартин.

Внешний облик Мартина Нага удивительным образом соединяет в себе черты патриарха и подростка. Его литературная деятельность многообразна: он — академический исследователь литературы и одновременно поэт-бунтарь, выбравший путь «агитатора, горлана-главаря».

Много сил отдает Мартин Наг изучению русско-норвежских связей, проблем взаимовлияния и диалога наших культур. Наг переводил на норвежский язык стихи В. Маяковского, Б. Пастернака, С. Щипачева, А. Суркова, Е. Долматовского, Е. Винокурова, Р. Казаковой, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Л. Васильевой. Его перу принадлежат книги «Ибсен в русской духовной жизни» (1967), «Гамсун в русской духовной жизни» (1969), «Знакомство Норвегии с Достоевским», «Знакомство Норвегии с Тургеневым» (1978), «Знакомство Норвегии с Толстым» (1980), «Горький в Норвегии» (1983)[1]. Личность и творчество Максима Горького особенно дороги Мартину Нагу. По мнению исследователя, великий пролетарский писатель «был популярен в Норвегии более чем в какой-либо другой стране».

Центральный образ сборника «Квелбелский дуб и революция», как видно из названия,— образ революции — занимает особое место в художественном мире Нага. При этом для поэта важен не пафос разрушения, борьбы со старым, а пафос созидания нового. Революция предстает как символ вечного обновления, как непреложный закон жизни. Потому он и сравнивает ее с мощным «квелбелским дубом», растущим в его родных местах в Рюфюльке. «Моя революция — это вечность с корнями квелбелского дуба» — такими словами открывается сборник.

Много сил отдает Мартин Наг неустанному поиску новых материалов, связанных с жизнью и творчеством выдающегося норвежского поэта Нурдаля Грига, погибшего в боевом полете над Берлином. Его жизнь, как известно, тоже была связана с нашей страной. Результатом кропотливой работы с архивными материалами стали книги «Странствие сквозь наше удивительное время» в соавторстве с Финном Петтерсеном (1982) и «Нурдаль Григ во время войны» (1985). Личность Грига всегда представляла для Мартина Нага не только историко-литературный интерес. Как эстафету он принял заветную мысль Грига о том, что «мир должен быть самым напряженным временем на земле», что тот, кто активно не борется за мир, тот помогает войне.

Весомым вкладом Мартина Нага в это великое дело стали книги «В борьбе за мир. Три главы из истории движения борьбы за мир в Норвегии» и поэтический сборник «Мир». Первая вышла в свет в связи со столетним юбилеем этого движения, зародившегося в Ставангере, городе на юго-западе Норвегии. Наг скрупулезно собрал самые разнообразные свидетельства о деятельности основателей первого в Норвегии «Союза борцов за мир» Асбьёрна Клостера и Теннеса Сандстела, а также их соратников. Активным участником этого союза стал классик норвежской литературы Бьёрнстьерне Бьёрнсон, о благородных усилиях которого на этом поприще почти не было сведений.

---

[1] См. «ИЛ», 1984, № 8.

Поэтический сборник «Мир» — это, по замыслу автора, «дневниковые записи в жанре лирической прозы». Раздумья о жизни поколений крестьян, веками возделывавших чужую землю, предстают в форме лаконичных, но глубоко выразительных зарисовок:

Аве, Лаура и Петра, и Пер.
Так много имен их и судеб.
Овец выгонять и одежду чинить.
Все так графически ясно. Все так с пейзажем сроднилось.
Народная песня... Судьба... Человек...[1]

Книга «Советская литература в Норвегии в период между войнами» носит как будто сугубо академический характер, но и в ней ощутимо дыхание жизни, биение пульса времени. Автор посвятил ее семидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. С присущей ему как исследователю объективностью и дотошностью излагает Наг факты, касающиеся издания произведений советских писателей в Норвегии в 20—40-е годы. Именно в эти годы норвежские читатели смогли познакомиться с «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» М. Шолохова, «Кара-Бугазом» К. Паустовского, «Двенадцатью стульями» И. Ильфа и Е. Петрова, произведениями В. Катаева, Л. Пантелеева, И. Эренбурга. В книге тщательно собраны материалы, связанные с перепиской советских писателей с их коллегами, друзьями, издателями в Норвегии. Приводятся многочисленные выдержки из статей, рецензий, откликов в прессе, интервью советских писателей. Есть среди этих материалов и подлинные находки. В частности, приводятся выдержки из интервью М. Шолохова шведской газете «Стокгольмстиднинген» во время его пребывания в Швеции в 1934 году, где говорится, что из скандинавских писателей ему более всего известен Гамсун и что советским писателям есть чему поучиться у этого мастера. По мнению Нага, будущего создателя «Поднятой целины» привлекала своеобразная эпичность «Соков земли» Кнута Гамсуна. Вероятно, историков литературы заинтересует и публикация неизвестного ранее письма норвежского классика. Он передал его знаменитому общественному деятелю Ф. Нансену вместе с деньгами в фонд помощи голодающим Поволжья. Пишет Мартин Наг и о «легендарной» в сознании норвежцев личности А. Луначарского. Выступление Луначарского перед норвежскими студентами в 1931 году способствовало, по выражению Нага, «консолидации сил на культурном фронте как духовной основы будущего антифашистского единства, еще до прихода Гитлера к власти в Германии».

В прошлом году норвежскому литературоведу и поэту Мартину Нагу исполнилось шестьдесят лет. На протяжении почти четырех десятилетий служит он литературному делу. Будем ждать его новых историко-литературных и поэтических книг.

ЭЛЕОНОРА ПАНКРАТОВА

[1] Перевод Э. Панкратовой.

Из месяца в месяц

Австралия

СВОЕВРЕМЕННОЕ НАПОМИНАНИЕ

«20 января 1788 года флотилия английских судов, на борту которых находилось 700 заключенных — мужчин, женщин и детей,— причалила в заливе Ботани-Бей. Так начиналась новая история Австралии»,— пишет в журнале «Атлантик» Уильям Бойд, рецензируя книгу Роберта Хьюза «Роковые берега». Р. Хьюз рассказывает о первых восьми десятилетиях заселения Австралии преступниками, высланными из Англии. Книга, основанная на обширном документальном материале, является, по мнению рецензента, отнюдь не повествованием о героическом покорении новых земель, а «историей каторжных тюрем и поселений, в которых заключенные подвергались жестоким телесным наказаниям, унижениям, выполняли тяжелые принудительные работы».

Р. Хьюз приводит также любопытное описание Англии конца XVIII века, где в то время уровень преступности был чрезвычайно высок. Возникла необходимость «разгрузить» постоянно переполненные тюрьмы. Тогда-то и было решено переселить часть заключенных на недавно открытый отдаленный материк — в Австралию.

Во всех подробностях, подчеркивает рецензент, описывает автор невыносимые условия жизни каторжников. Человека приговаривали к 35 или даже к 100 плетям за то, что он позволял себе улыбнуться во время работы, на мгновение оторваться от нее. Нередко назначали наказание в 300 плетей; бывало, людей засекали и до смерти.

Рассказывается в книге и об отношении первых поселенцев к коренным жителям Австралии. Ожесточенные побоями и унижениями, они люто возненавидели аборигенов, стоявших еще ниже их на социальной лестнице; между ними то и дело вспыхивали расовые конфликты.

Р. Хьюз, австралиец по происхождению, упрекает своих соотечественников в коллективном недуге — потере памяти. Попытки предать забвению мрачное прошлое австралийской колонизации неоправданны, считает он: страна должна знать и помнить о своем происхождении — о том, что появилась она в результате принудительного заселения, самого первого и самого крупного в истории человечества.

Книга Р. Хьюза, по мнению рецензента журнала «Атлантик», служит своевременным напоминанием об этом печальном факте. Своевременным потому, что в январе 1988 года страна будет отмечать свое двухсотлетие. «До сих пор нет — да, вероятно, и не будет — ни одного памятника в честь мужчин и женщин, прибывших на первой флотилии. И пока его нет, лучшим памятником могут считаться «Роковые берега», — заключает У. Бойд.

Иллюстрация из книги Р. Хьюза. *(Журнал «Ньюсуик»)*

Алжир

ИНТЕРВЬЮ АБДЕЛЬХАМИДА БЕНХЕДУГИ

Журнал «Аль-Араби» опубликовал интервью известного алжирского писателя Абдельхамида Бенхедуги (его фамилия транскрибируется также «Бен Хадука»), данное члену редколлегии журнала, египетскому прозаику Абуль-Муати Абу-н-Наге.

В редакционном вступлении говорится, что Бенхедуга (род. в 1925 г.) «является одним из крупнейших писателей-новеллистов и романистов в арабском мире, одним из первых, кто в Алжире стал писать рассказы и

романы на арабском языке». Его перу принадлежат четыре романа, множество рассказов, стихотворений, пьес для радио и телевидения и книга публицистических очерков. Все романы Бенхедуги переведены на французский язык, а некоторые из них — еще и на испанский, голландский, немецкий и польский. В переводе на русский язык издательство «Радуга» выпустило «Избранные произведения» прозаика, куда вошли три романа — «Южный ветер», «Прозрение», «Джазия и дервиши» — и ряд рассказов.

Первый вопрос, заданный Бенхедуге, касался его формирования как писателя.

Бенхедуга рассказал о роли библиотеки отца — деревенского улема, знатока мусульманского богословия — в своем духовном формировании. Эта библиотека несколько веков переходила в семье по наследству от отца к сыну и содержала «важнейшие классические работы по религии, языку и литературе». В ней были, например, такие уникальные документы, как стихотворные письма андалусских эмиров к алжирским правителям с призывами о помощи в бесконечных междоусобных войнах.

Отвечая на вопрос «Аль-Араби» о том, какое влияние оказала на него зарубежная литература, Бенхедуга сказал: «Я читал почти все основные произведения выдающихся французских писателей XIX и XX веков и испытал на себе их влияние, но наибольшее восхищение вызвали у меня русские писатели XIX века. Я читал эти произведения в молодые годы, и потому их влияние было особенно глубоким и сильным...»

Бенхедуга ответил также на вопросы, касающиеся проблематики и художественных особенностей двух его романов — «Южный ветер» (1971) и «Джазия и дервиши» (1983). Касаясь извечной проблемы — борьбы старого и нового, традиционного и современного, — он сказал: «Дерево не может убежать от своих корней, политические режимы должны учитывать традиции общества, которым они управляют. Отрыв от древних корней общества никогда не приведет к добру».

Великобритания

НОВЫЙ РОМАН АЙРИС МЕРДОК

«Книга и братство» — так называется новый роман известной писательницы Айрис Мердок, выпущенный издательством «Чатто энд Уиндус». Как отмечает обозреватель газеты «Таймс литерари сапплмент» Стивен Кларк, роман весьма характерен для творчества писательницы: основные его приметы — «перенаселенность» персонажами, множество символов и аллюзий, хитроумные переплетения сюжетных линий, постоянные смены места действия (Оксфорд, Лондон и т. д.), ожидаемое здесь не сбывается, нежданное по воле провидения становится возможным...

В центре повествования — друзья и родственники Джерарда Хирншоу — ученого, отошедшего от суетных профессиональных забот; он намеревается написать труд по проблемам философии, но так и не реализует свои намерения. И он, и все остальные люди этого круга не способны заняться каким-либо серьезным, конкретным делом, они равнодушны к своей работе: их интересы, пишет Мердок, ограничиваются «книгами, беседой, взаимным восхищением, коктейлями и сентиментальными рассуждениями о добродетели». Все они восторгаются наукой («книга») и добром («братство»), но служить ни тому, ни другому не собираются.

Этим людям противопоставлен в романе интеллектуал Дэвид Кримонд, который действительно, в отличие от Джерарда, пишет книгу по политической философии. Однако и он оторван от реальной жизни, ибо «влюблен в идеальное общество, которого пока нет». О поисках пути к такому обществу уже задумывается Дэвид Кримонд; об этом размышляют и другие герои романа.

Как и в предыдущих своих книгах, в новом романе Айрис Мердок поднимает различные философские вопросы, главный из которых — как жить в мире, где нет добра? Достаточно ли исповедовать идеалы дружбы и взаимной помощи, не пытаясь воплотить их в жизнь? Ведь Джерард, например, считает, что помогает своим друзьям уже одним намерением помогать. По мнению рецензента С. Кларка, Платон и Плотин, о которых Джерард собирался писать книгу, олицетворяют в романе неосуществимое в обычной жизни идеальное добро. Сохранить стоические добродетели порядочности, мужества, прямоты — таков единственный для нас путь выживания в готовом рухнуть мире.

Книга Айрис Мердок, отмечает «Таймс литерари сапплмент», не является ни трактатом по философии, ни реалистическим романом, поэтому символическое разрешение конфликта, представленное как видение Джерарда, вполне отвечает мысли А. Мердок о том, что истина, возможно, заключена в некоем невероятном синтезе философии и чуда.

Венгрия

Журнал «Фильм, синхаз, мюжика» сообщает о новой ленте, снятой венгерским телевидением,— «Чинска». «Это не жизнеописание Берты Бонца, не собрание сплетен о семейной жизни Эндре Ади и Чинска,— говорит Кристина Деак, автор сценария и режиссер картины,— это рассказ о женщине, во многом опередившей свое время, образованной, талантливой, обладавшей повышенной чувствительностью, несколько экзальтированной, не признающей никаких преград в достижении цели. Такие люди с неоднозначными характерами, со сложным душевным миром вызывают любовь или ненависть, но равнодушными не оставляют никого».

В основу сценария легли подлинные документы — дневники, переписка Берты Бонца, воспетой в стихах Э. Ади под именем Чинска, воспоминания о ней современников.

Исполнительница главной роли — актриса Эстер Надь Калози. Эндре Ади играет Томаш Йордан. На конкурсе венгерских телевизионных фильмов, проходившем недавно в Веспреме, Э. Надь Калози удостоена первой премии за исполнение женской роли.

На снимке: кадр из фильма «Чинска».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Национальные премии за 1987 год присуждены писательнице Кристе Вольф — «за все творчество в целом»; писателям Герхарду Хольц-Баумерту — «за все творчество», в особенности за книгу «Чудаковатая родня»; Петеру Абрахаму — за книги для детей и юношества; писательнице Эве Штритт-маттер — «за вклад в социалистическую лирику».

Премиями награждены также председатель Союза работников кино и телевидения, режиссер Лотар Белаг — «за плодотворную работу на телевидении»; актер и режиссер Хорст Дринда — «за выдающиеся достижения в области киноискусства»; композитор Гюнтер Кохан — «за все творчество»; дирижер Курт Зандерлинг — «за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства», живописец и график Вернер Тюбке — за монументальное полотно «Ранняя буржуазная революция 1525 года в Германии».

Дания

БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО СКАЗОЧНИКА

По мнению рецензеита газеты «Ланд ог фольк» Курта Даля, новая монография известного датского литературоведа Элиаса Бредсдорфа «Х. К. Андерсен. Вступление к жизни и творчеству» — весьма значительный вклад в изучение творчества Андерсена. К тому же, подчеркивает рецензент, издание книги приурочено к тысячелетнему юбилею города Оденсе — родины великого сказочника.

Об Андерсене написано много, но его творчество поистине неисчерпаемо. Ценность работы Э. Бредсдорфа состоит и в краткости, емкости изложения, а главное — в доступности книги широкому читателю, отмечает К. Даль.

Жизнь Андерсена была яркой, полной увлекательных событий. Неуклюжий, долговязый подросток, «гадкий утенок», чье поведение вызывало у обывателей пересуды и насмешки, стал знаменитым сказочником и драматургом, завоевал мировую славу и дожил до того дня, когда ему начали сооружать памятник...

Э. Бредсдорф рассказывает о детстве и юности Андерсена, о его многочисленных путешествиях, о том, как его талант мучительно и упорно искал выхода, наталкиваясь на непонимание со стороны читателей, несправедливые и порой оскорбительные упреки критики.

Особый раздел книги отведен восторженным отзывам об Андерсене, принадлежащим его современникам — Ч. Диккенсу, Г. Гейне, Б. Бьёрнсону, С. Кьеркегору.

Индия

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ «РАМАЯНЫ»

Во время Дашахры — традиционного индусского праздника — на всех сценических площадках северной Индии разыгрывается рамлила — театральное представление о жизни и подвигах легендарного царя Айодхьи, главного героя древнеиндийской эпической поэмы «Рамаяна», земного воплощения бога Вишну — Рамы. «Однако теперь, когда на экранах индийских телевизоров демонстрируется 52-серийный телевизионный фильм «Рамаяна» режиссера Р. Сагара, индийские почитатели Рамы получили возможность наслаждаться рамлилой вне зависимости от сезона и не выходя из дома», — пишет критик Абхилаш Авастхи в еженедельнике «Дхармаюг».

Критик подчеркивает, что хотя «Рамаяна» неоднократно экранизировалась и многие попытки были удачными, она безусловно и впредь останется объектом пристального интереса кинематографистов — настолько велико ее духовно-нравственное воздействие на индийцев. Особый успех, выпавший на долю сериала Р. Сагара и актеров труппы «Мафатлал груп», объясняется и тем, что все прежние экранизации были рассчитаны на 2,5 — 3 часа: за счет сюжетной насыщенности выхолащивались важнейшие философские аспекты древнеиндийского эпоса. Новый 30-часовой сериал уделяет им достаточно внимания: так, в сценах с наставниками подробно анализируются принципы веданты, йоги, даршаны, санихъи и других философско-религиозных систем, нашедших отражение в многослойных текстах «Рамаяны». Кроме того, щедрый «временной фонд» позволил создателям более выпукло вылепить психологические портреты героев: Рама и Сита, Дашаратха и Кейкея, Лакшмана и другие персонажи показаны не только как носители определенных идеалов, но во всем разнообразии, а нередко и внутренней противоречивости обыкновенной человеческой натуры.

В интервью еженедельнику «Дхармаюг» Р. Сагар заметил: «Пища радует только в том случае, если она в состоянии вызвать шесть вкусовых ощущений: сладость, соленость, горечь, остроту, терпкость, кислоту. Подобным образом я пытался сохранить

Кадр из фильма «Рамаяна».

(Еженедельник «Дхарма-юг»)

сложнейшую структуру «Рамаяны» и сочетать в ней в разумных пропорциях религию и знание, понятия преданности и долга, страсти и ненависти и многое другое, что есть в жизни». Важно и то, что при разработке сценария телефильма кроме распространенных версий «Рамаяны» Вальмики, Тулсидаса были использованы и менее известные варианты Чакабаста и Радхешъяма. В конце интервью Р. Сагар сообщил, что Советский Союз, США и некоторые другие страны уже проявили интерес к сериалу и предполагают его закупить.

Италия

«БЛАГОСЛОВЕННАЯ ПРОГУЛКА»

Так называется вышедший в издательстве «Ридзоли» новый роман известного итальянского писателя Марио Солдати, который отметил недавно свое восьмидесятилетие. Рецензент газеты «Унита» Фолько Портинари пишет, что в отличие от других книг Солдати — «Правды о деле Мотты» и «Ужина с командором» — в новом романе, насчитывающем почти триста страниц, практически нет действия. «Но и не прибегая ни к каким трюкам, способным оживить фабулу, автор благодаря своему мастерству заставляет читателя неотрывно, с интересом следить за повествованием»,— отмечает рецензент.

Процветающий киносценарист Эудженио испытывает сильное, но двойственное чувство к своей сотруднице и подруге жены Ольге. Порой он не может жить без нее, порой ее поступки вызывают у него раздражение и даже своего рода ненависть. К этому примеши-

вается и чувство вины перед женой, и недовольство собой. История этой любви-ненависти составляет основную тему книги. Перед читателями предстают и другие персонажи: Ирма — жена сценариста, женщина умная и благородная, продюсер Фелисин, человек ограниченный, думающий лишь о наживе. Есть в романе и еще один «герой» — это задуманный сценаристом большой фильм, вокруг которого бушуют страсти, плетутся интриги. В финале романа Эудженио оказывается в Барселоне, на улице со странным названием «Благословенная прогулка», обуреваемый желанием встретить Ольгу после пятнадцатилетней разлуки и одновременно боясь этой встречи. Он знает, что она теперь живет здесь...

«Большой талант Марио Солдати позволяет ему достоверно и правдиво показать читателю «кусок» нашей реальной жизни, сказать свое слово о морали, интеллигентности и любви. Писатель как бы смотрит на происходящее с высоты и ведет рассказ с иронией, которая нередко превращается в сокрушительную сатиру»,— замечает Ф. Портинари.

Нидерланды

РОМАН-РАССЛЕДОВАНИЕ ХАРРИ МЮЛИША

«Давным-давно, во время второй мировой войны» происходят события, описанные в романе известного нидерландского писателя Харри Мюлиша «Покушение». Огромный успех книги, расходящейся стотысячными, невероятными для Нидерландов тиражами (роман уже переведен в США и ФРГ), был неожиданностью для автора. В интервью западногерманскому еженедельнику «Цайт» Х. Мюлиш предположил, что такая популярность «Покушения» не только среди людей, переживших войну, но и у сегодняшней молодежи, не знающей войны, может быть объяснена новой, нетрадиционной разработкой темы оккупации Нидерландов гитлеровскими войсками в 1940—1945 годах. Внимание писателя сосредоточено главным образом не на событиях военного времени, а на их последствиях в современной жизни, на «прошлом, влияющем на настоящее», на том, «как прошедшее изменяет человека через тридцать лет и как сегодняшний человек изменяет свое прошлое».

Главный герой романа Антон Стеенвейк пятнадцатилетним мальчиком стал свидетелем казни полицейского-коллаборациониста на улице Гарлема январской ночью 1945 года. В ответной акции карателей — расстрел заложников — погибают родители и брат Антона, однако Стеенвейк — «жертва, оставшаяся в живых», — предпочитает забыть об этой трагедии, изгнать ее из своего сознания. «Случилось то, что случилось, и все тут, — полагает он, — ничего уже нельзя изменить, даже если поймешь, что произошло». Но прошлое неизгладимо, оно продолжает жить в душе героя и, «активно присутствуя, действуя в настоящем», приводит Стеенвейка к неизбежному внутреннему краху. Случайные встречи, знакомства последующих лет (действие романа охватывает 50—60-е годы и завершается в 1981 году) постоянно возвращают героя в прошлое, ставя его перед трагическим фактом: смирившаяся жертва виновна в преступлении.

Харри Мюлиш.

(Газета «НРК Ханделсблад»)

«Роман - расследование» Харри Мюлиша, пишет «Цайт», является предостережением против произвольного смещения исторических акцентов, — ведь, по словам самого писателя, «теперь мы видим войну совсем иной, чем видели ее тогда, во время оккупации: мы изменяем прошлое, и точно так же оно изменяет нас».

В интервью еженедельнику «Цайт» писатель охотно признает, что в структуре романа явственно влияние «классической строгости» Томаса Манна и диалогов Достоевского. Этих классиков Мюлиш называет в ряду своих учителей.

Нидерландская газета «НРК Ханделсблад» сообщает, что роман «Покушение» был экранизирован известным голландским кинорежиссером Фонсом Радемакерсом Фильм, главные роли в котором исполнили актеры Дерек де Линт и Моник ван де Вен, Американской академией кинематографических искусств и наук был признан лучшей зарубежной картиной 1986 года. Впервые в истории кинематографа, пишет «НРК Ханделсблад», премии «Оскар» была удостоена художественная кинолента из Нидерландов.

Румыния

ЭССЕИСТИКА АНЫ БЛАНДИАНЫ

В последнее время известная румынская поэтесса Ана Бландиана все чаще обращается к жанру эссе. За сборником «Коридоры зеркал», удостоенным в 1984 году премии Союза писателей Румынии, на прилавках книжных магазинов страны появилась новая книга — эссе А. Бландианы «Автопортрет с палимпсестом».

В одном из эссе поэтесса признается, что само понятие «палимпсест» вызывает в ее воображении «кошмарный образ монаха, склонившегося над древней рукописью и стирающего нанесенные на нее строки, чтобы потом заполнить эти же страницы другим текстом». Критик Н. Манолеску в журнале «Ромыния литерарэ» предлагает несколько наиболее вероятных толкований заглавия, отвечающих художественному видению А. Бландианы-эссеиста. Одно из них: портрет автора, который читатель находит в сборнике, не отвечает истине, ибо под верхним слоем красок скрыты другие — стертые и забытые. Или же: читатель проецирует на портрет свое представление о его индивидуальности, которое замутняет и искажает правду. А может быть, палимпсест — «железное правило» создания всех произведений искусства, которые подвержены неумолимому воздействию времени. Поскольку поэтесса оставила открытым вопрос о точном смысле заглавия «Автопортрет с палимпсестом», читателю остается выбрать один из предложенных критиком вариантов.

Н. Манолеску пытается определить своеобразие эссеистики А. Бландианы. В своих рассуждениях он отталкивается от определения, которое она дала собственному творчеству в предыдущем сборнике эссе. Там поэтесса писала о невозможности для нее познать объективную действительность, о своей тоске по недостижимому реальному миру. Однако эссе А. Бландианы вовсе не страдают субъективизмом, считает критик, и не заслуживают столь сурового приговора. Напротив, эмоции поэтессы всегда пропущены сквозь «фильтр интеллекта». Ее мнения и вкусы не капризы, а разумно обоснованная позиция. А. Бландиана, по мнению Н. Манолеску, скорее «впадет в грех» излишней патетики, нежели позволит себе легкомысленный тон. Форма этих «стихотворений в прозе» столь совершенна, что они кажутся родившимися целиком и сразу: лишь при внимательном рассмотрении взгляду открывается их тщательно продуманная архитектура и филигранная отделка. Имен-

но в калейдоскопе ярких впечатлений и глубоких рациональных суждений, сплетений эмоций и мысли, полагает Н. Манолеску, и состоит «неповторимое очарование эссе А. Бландианы».

ЮБИЛЕЙ АНДРАША ШЮТЁ

Исполнилось шестьдесят лет со дня рождения известного румынского писателя Андраша Шютё, представляющего в Румынии литературу венгерского меньшинства.

«Большая часть ранних и поздних прозаических произведений, эссе А. Шютё — это исповедь, достойная лучших европейских образцов этого жанра, исповедь и слово откровения,— пишет Ласло Богдан, обозреватель бухарестской газеты «Хет» в статье, посвященной 60-летию со дня рождения А. Шютё и 40-летию его творческой деятельности. «Немногие писатели дебютировали так, как А. Шютё,— отмечает критик Дёрдь Яношхази в газете «Утунк», органе Союза писателей Румынии.— Двадцатилетний прозаик уже в первых своих произведениях предстал перед читающей публикой и критикой как зрелый художник, во всеоружии своего мастерства. И начал он в русле традиций классической венгерской литературы, крестьянского реализма Жигмонда Морица».

Главная тема ранних произведений А. Шютё, пишет далее Д. Яношхази,— жизнь трансильванских крестьян. Писатель рассказывает в них о быте деревенской бедноты и, конечно же, касается главных проблем — вопроса о земле, ее справедливого распределения, борьбы против угнетения крестьян. Шютё пишет об этом не потому, что этого требует официальная политика, подчеркивает критик, а потому, что «хорошо знает этот мир, этих людей, их заботы, их конфликты, потому что в нем живы воспоминания о родном селе Пустакамараш».

Огромный успех писателю принес его роман «Мать обещает мне легкие сны» (1970), где воссозданы картины уходящего крестьянского мира, показано зарождение новой жизни на селе, несущей и новые проблемы. Роман несколько раз переиздавался, переведен на многие языки. Это дневник, социография, эссе, сатира, неповторимый, полный очарования сплав стилей, считает Д. Яношхази. Рождение романа не только стало поворотным моментом в творчестве самого Шютё, но и открыло новую главу в истории всей румынской литературы, дало мощный импульс более смелому изображению действительности, большей открытости, решительному отказу от схематичного мышления, от шаблонных форм выражения.

Широко известен А. Шютё и как драматург, часто обращающийся в своих пьесах к историческим сюжетам.

По случаю шестидесятилетия А. Шютё в посольстве ВНР в Бухаресте писателю было вручено приветствие министра культуры Венгрии, в котором выражено пожелание дальнейших успехов в деле развития венгерской культуры в Румынии, в его деятельности, способствующей взаимопониманию между румынским и венгерским народами. «Значение творчества А. Шютё, — сказано в приветствии,— уже давно перешагнуло границы его страны и тех уголков мира, где говорят по-венгерски. Его произведения переводятся на все новые языки и имеют успех в самых различных уголках Европы и на других континентах. Все это свидетельствует о том, что его реализм, поиски правды находят понимание среди широкого круга читателей».

Обложка первого издания книги А. Шютё «Мать обещает мне легкие сны».

(Бухарест, издательство «Критерион»)

Польша

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА МИЦКЕВИЧА

Уникальный сюрприз польским библиофилам преподнес Литературный музей Адама Мицкевича. Много лет возглавляющий этот музей известный писатель Януш Одроваза-Пьеняска подготовил и опубликовал небольшую книгу — «Четыре неизвестных письма Адама Мицкевича. 1830—1852».

Письмо польскому писателю Генрику Жевускому было послано из Рима, в конце 1830-го или в начале 1831 года. Остальные письма Мицкевича также датируются годами его эмиграции, адресованы они его французским корреспондентам. Одно из них, сообщает газета «Жиче литерацке», в 1983 году появилось на аукционе в Париже, но не нашлось ни одного покупателя, который «смог бы заплатить за него запрашиваемую баснословную цену».

Рецензент газеты «Жиче литерацке» Йозеф Душик отмечает, что издание неизвестного эпистолярного наследия польского классика выполнено на высоком полиграфическом уровне. Из иллюстраций наибольший интерес, по мнению рецензента, представляют портреты поэтов — современников Мицкевича, их автографы.

США

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА РОБЕРТА ЛОУЭЛЛА

В издательстве «Фабер» вышел сборник избранной прозы известного американского поэта, лауреата Пулицеровской премии (1947) и других премий Роберта Лоуэлла (1917—1977), сообщает газета «Таймс литерари саппльмент». Одновременно издательство «Кембридж юниверсити пресс» выпустило книгу «Очерки о поэзии Роберта Лоуэлла» (на русском языке его «Избранное» опубликовало в 1982 году издательство «Прогресс»). Анализ новинок лег в основу обзорной статьи рецензента газеты Майкла Хофмана.

Сборник прозы Лоуэлла состоит из отрывков его неоконченной автобиографии, причем некоторые из них публикуются впервые. Написаны они в основном в конце 50-х годов, в период расцвета творчества Лоуэлла-прозаика. Кроме того, в сборник входят рецензии и статьи Лоуэлла, которые должны были составить вторую его книгу прозы, также оставшуюся незавершенной.

Со многими из писателей и поэтов, чьи произведения анализирует Лоуэлл, он был, за исключением Д. Томаса и, пожалуй, У. Стивенса, знаком лично, напоминает М. Хофман. Среди них — его друзья и современники (Р. Джаррелл, Дж. Берримен, Ст. Куниц, С. Плат), но чаще это предшественники и учителя (Т. С. Элиот, Р. Фрост, У. К. Уильямс, Ф. М. Форд). Лоуэлл писал не более одной-двух рецензий в год, но каждая такая статья, по словам его издателя Роберта Жиру, была событием.

Творчество Лоуэлла-критика и Лоуэлла-писателя Майкл Хофман оценивает неравнозначно. На его взгляд, талант Лоуэлла полнее и глубже раскрывается в произведениях автобиографического характера, основанных на воспоминаниях и ассоциациях: «Там, где проявляется яркая личность Лоуэлла, где нужно описать

деталм окружающей обстановки или рассказать о событиях далекого прошлого, — там ярче всего проявляется его дарование: юмор, искренность, душевная теплота, наблюдательность...»

«Очерки о поэзии Роберта Лоуэлла» под редакцией С. Г. Аксельрода и Х. Диз состоят из 12 весьма непохожих друг на друга эссе различных критиков, причем треть сборника посвящена последней книге Лоуэлла «День за днем» (1977), интерес к которой не ослабевает по сей день.

Рецензия в «Таймс литерари сапплмент» заканчивается любопытным признанием самого Лоуэлла об истоках его творчества: «Я постепенно понял, что подлинная поэзия рождается не из страстных откровений, а из вещей обыденных, пробуждающих воображение. Моему воображению, например, не давал покоя голубой фарфоровый шарик дверной ручки...»

О КНИГЕ ЭССЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

В октябрьской книжке «Вестника Международной ассоциации литературных критиков» за истекший год американский критик Джон Л. Браун сообщает о присуждении премии Национального совета критиков США книге Иосифа Бродского (род. в 1940 г.) «Меньше, чем единица» («Less Than One»).

В пятисотстраничный том, выпущенный издательством «Фаррар, Штраус и Жиру», пишет рецензент английской газеты «Таймс литерари сапплмент» Генри Гиффорд, вошли как автобиографические заметки поэта («Меньше, чем единица», «Полторы комнаты»), так и статьи о собратьях по ремеслу, написанные в 1975—1985 гг.

Первое из этих эссе Бродский посвятил Анне Ахматовой — «поэту, глубоко постигшему эпос русской национальной поэзии, ее трагедийность». Мыслью о высоком этическом предназначении литературы проникнута и статья о наследии О. Мандельштама, «своими стихами победившего время». Есть в сборнике и заметки о современниках — итальянце Э. Монтале и после К. Кавафисе, пленяющих автора прежде всего бесспорной силой своего «кодекса совести»: перефразируя известную формулу М. Цветаевой, Бродский отмечает явное присутствие в творчестве этих двух поэтов «совести при свете искусства».

По мнению рецензента, «лучшими и наиболее законченными» являются в книге Бродского два эссе о поэзии Марины Цветаевой, «безупречно переведенные с русского на английский Барри Рубиным». И чем для Цветаевой был Рильке, замечает Бродский, тем для него самого стал Уистен Оден (1907—1973) — крупный англо-американский поэт, «может быть, величайший ум двадцатого столетия», — с которым автор был лично знаком. Именно в память об Одене, привлекавшем его «своей независимостью, здравомыслием, уравновешенностью, иронией, отрешенностью — короче говоря, мудростью», Бродский начал в 1977 году писать по-английски — сначала эссе, а потом и стихи. Большинство статей, составивших сборник, подчеркивает Г. Гиффорд, написаны «на американской разновидности английского, причем с неизменной языковой виртуозностью».

«Иосиф Бродский остался русским поэтом, — отмечает Генри Гиффорд. — Но в то же время он занял свое место в американской литературе, вдобавок остро ощущая связи и взаимодействия русско- и англоязычной культур».

Автор сборника эссе «Меньше, чем единица», полагает рецензент, — «достойный преемник Мандельштама, Цветаевой и Пастернака в области литературной критики», ибо «ни на минуту не позволяет читателям забыть, что он — поэт; его книга отличается цельностью и изяществом, подобно томику стихов».

Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 1987 года.

Франция

ОТ МЕЛОДРАМЫ К ДРАМЕ

Имя Анри Бернстайна — французского драматурга, весьма популярного в первой половине XX века, а после своей кончины надолго канувшего в безвестность, вновь замелькало на страницах французской печати: его пьесу «Мело» (1929) экранизировал известный кинорежиссер Ален Рене.

Отношения Бернстайна с кино складывались непросто. Театральная критика находила его пьесы излишне «кинематографичными», видя «уступку» кино даже в том, что акты драматург подразделял еще на картины и сцены. Тем не менее первая киноверсия «Мело», созданная в 1932 году немецким режиссером Паулем Циннером, вызвала у драматурга острое неприятие — так же как и многие из 30-ти фильмов, поставленных при жизни Бернстайна по 16 его пьесам. В то же время ни один из сценариев, написанных драматургом специально для кино, так и не обрел экранного воплощения.

Своеобразный синтез театра и кино, к которому подсознательно стремился Бернстайн, в фильме Алена Рене, судя по отзывам критики, есть. «Театральное происхождение» представленной в фильме истории даже подчеркнуто: это спектакль, который смотрит сидящая в театральном зале зрительница. «Но все же фильм Рене — не заснятый на пленку спектакль, а скорее «кинематографические мизансцены», очаровывающие поклонников обоих искусств»,— пишет в журнале «Аван-сен» Клод Бейли.

В фильме режиссер попытался осуществить любопытное превращение. «Начинается действие как классическая мелодрама, разыгрываемая актерами в характерной для коммерческого театра 20—30-х годов манере на фоне откровенно театральных декораций. Но по мере развития действия театральные условиости тают, мелодраматические эффекты — при сохранении типичных для мелодрамы ситуаций и неожиданных поворотов интриги — постепенно исчезают, яркая гамма красок заменяется скупым набором черного, серебристого и охряного цветов, поначалу эффектная операторская работа становится сдержанной и строгой, а манера актерской игры — классической, и мы наконец понимаем: Рене на наших глазах возвысил мелодраму до уровня драмы», — пишет в журнале «Синема» Фабрис Рево д' Аллонн.

Кадр из фильма А. Рене «Мело».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

В парижском книжном магазине «Лесной царь», расположенном на бульваре Монпарнас, прошла выставка акварелей одного из крупнейших романистов XX века Германа Гессе.

Рисовать Гессе начал в 40-летнем возрасте, во время своего пребывания в Швейцарии. Шла первая мировая война, и писатель—пацифист по своим убеждениям — был охвачен глубокой депрессией. «Выйти из этого состояния ему помогло искусство, — пишет известный французский поэт Мишель Деги в журнале «Нувель обсерватёр». — Гессе смог иными глазами взглянуть на себя, на окружавший его мир, омытый новым светом и цветом».

Сам Герман Гессе говорил о своих акварелях так: «Они призваны убедить зрителя, что девственность природы, что две-три краски, трепещущие даже во мраке безысходности, могут возродить в его душе веру в жизнь и стремление к свободе».

На снимке: Герман Гессе. Карабьетта. Акварель (1929).

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Любовный «четырехугольник» пьесы воплотил на экране «квартет» актеров, который был занят и в предыдущем фильме А. Рене «Любовь до смерти»: Сабин Азема, Пьер Ардити, Фанни Ардан, Андре Дюссолье. С. Азема — за лучшее исполнение женской роли, а А. Дюссолье — мужской удостоены в 1987 году «Сезара», высшей кинематографической награды Франции.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОЛАНА БАРТА

Широкий отклик во французской прессе получило посмертное издание произведений Ролана Барта, вышедшее в свет в издательстве «Сёй».

Ролан Барт (1915—1980) — глава школы современного французского структурализма, вдохновитель не только нескольких поколений лингвистов, социологов, литературоведов, но и писателей, которые нередко создавали сочинения, полностью отвечавшие его воззрениям на литературу и являвшиеся идеальными объектами для применения структурного метода.

«А какую прозу стал бы писать сам прославленный теоретик?» — задается вопросом обозреватель журнала «Кензен литтерер» Филипп де ла Женардьер. Некоторое представление об этом дали книги, опубликованные Бартом в последние годы жизни (их жанр, не без оговорок, можно определить как эссе). Но и в них Барт, по выражению обозревателя, — «прежде всего интерпретатор культуры».

Тем большее любопытство читателей, подчеркивает «Кензен литтерер», вызвал сборник «Эпизоды» (1987), освещающий самые разные и подчас непривычные для Барта темы. Хотя все четыре части книги, разумеется, вышли из-под пера «классика структурализма», составлен сборник не им, а издателем.

Первые две части или, как сказал бы сам Барт, два текста, были опубликованы при его жизни: это очерк «С юго-востока свет», посвященный родным местам ученого, и небольшой этюд «Сегодня вечером в Палас-отеле», созданный в духе знаменитых «Мифологий» (в этой книге Барт дал блестящий анализ буржуазной социальной психологии).

Третья часть «Эпизодов» — ее заглавие вынесено на титульный лист всего сборника — представляет собой вереницу отдельных фрагментов, сиюминутных наблюдений, облеченных в слово спонтанных образов. Эти «эпизоды», отмечает Ф. де ла Женардьер, синтезируют размышления Барта о японской культуре (еще в 1970 году он исследовал ее особенности в книге «Империя знаков») и впечатления от путешествия по Марокко.

Наиболее неожиданна четвертая часть сборника — «Парижские вечера». Это не что иное, как традиционный дневник. Здесь не было бы ничего исключительного, если бы, как напоминает Ф. де ла Женардьер, сам Барт не объявил однажды писание дневника «занятием смешным и старомодным». Правда, дневник Барта не предназначался для печати и автор не претендует на изысканный стиль и слог. Это прежде всего «человеческий документ, дающий представление о незаурядной личности мыслителя и исследователя». Посмертная публикация книги Барта, заключает обозреватель, показывает, что не в собственно литературных опытах, а в критических сочинениях по-настоящему проявился его художественный талант.

ФРГ

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ «ГАМЛЕТА»

После постановки трагедии У. Шекспира «Гамлет» (режиссер Юрген Флимм) гамбургский «Талия-театер» включил в программу сезона 1986—1987 годов «драму-размышление нашего современника о принце датском» — пьесу известного драматурга из ГДР Хайнера Мюллера «Механический Гамлет».

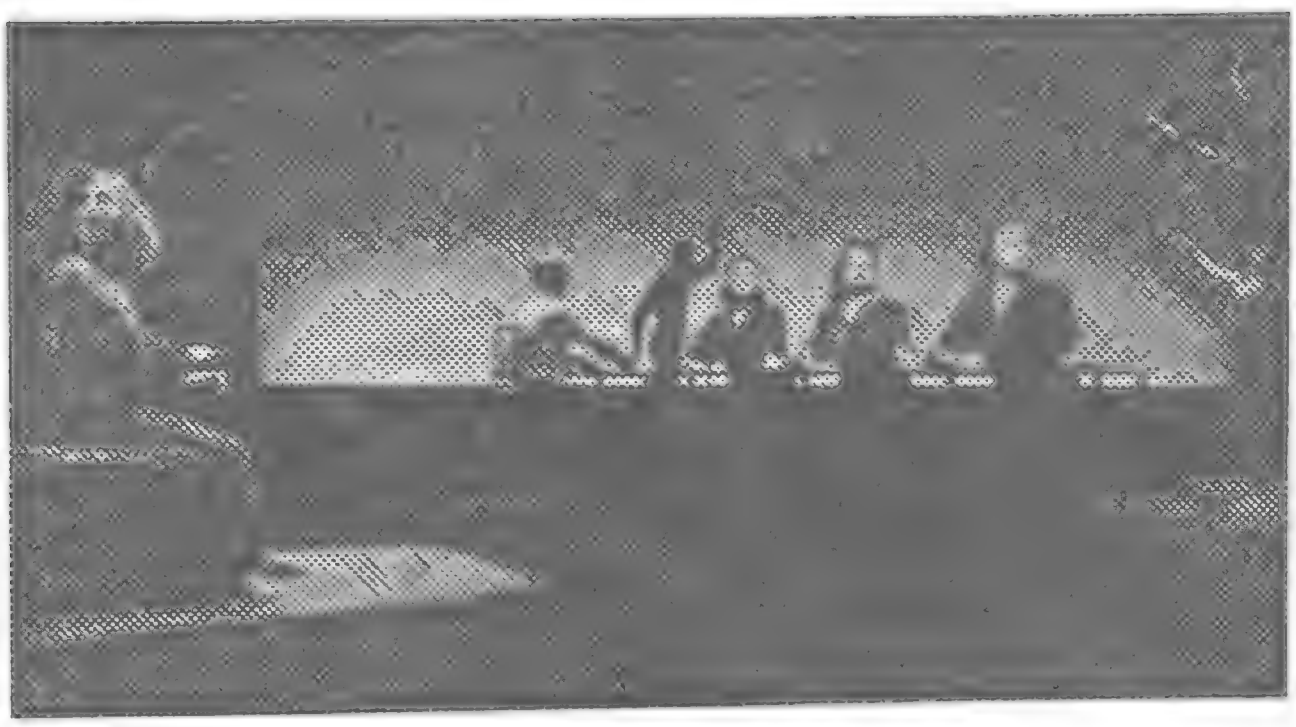
Постановку осуществил американский режиссер Роберт Уилсон. «Его изысканные, великолепные мизансцены «конца света» сталкиваются с авторским текстом и высвечивают его контрастными лучами, разрушая любой возможный намек на идиллию или гармонию», — пишет обозреватель журнала «Культурхроник».

«Текст Мюллера — беспорядочный коллаж поэтических вольностей и резких, грубых острот, отмеченный печатью ненависти и комического макабра», — так характеризует пьесу критик Беньямин Хенрихс на страницах «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

Р. Уилсон не просто переводит оригинал «Механического Гамлета» на язык театра — он создает поис-

Сцена из спектакля «Механический Гамлет».

(Журнал «Культурхроник»)



тине адекватное сценическое воплощение пьесы, подчеркивает обозреватель «Культурхроник». Постановщику даже случается расшифровывать «туманные видения» драматурга, обнажить «достаточно сложную, но прочную канву» вариации на тему «Гамлета».

Япония

«СВЕТ В НОЧИ»

Новая книга Юко Цусима, вышедшая в свет после двухлетнего молчания популярной писательницы, — это повествование о трагедии матери, потерявшей сына-школьника — он погибает в результате несчастного случая. Основой произведения послужили личные переживания Цусима, которую в недалеком прошлом постигло такое же несчастье.

Роман построен в форме писем главной героини, посылаемых женщине, безымянному автору повести «Пробуждение в ночи», созданной около тысячи лет назад. В этом памятнике древней литературы изображена ситуация, сходная с той, в которой оказалась героиня романа Цусима. В своих письмах безутешная мать рассказывает о том, что она передумала, что с ней случилось за год, прошедший после смерти ребенка.

Литературный обозреватель Кин Кикута пишет в журнале «Асахи дзянару», что Цусима с поразительной, невиданной для современной японской литературы глубиной разрабатывает тему смерти. «Конечно, в те времена, когда появилось «Пробуждение в ночи», — отмечает он, — лик смерти был иным, чем сегодня. Тысячу лет назад из-за голода и эпидемий жизнь людей подвергалась опасности намного чаще. Однако для героини Цусима внезапная потеря ребенка делает восприятие смерти по существу таким же, каким оно было в древности. Героиня романа приходит к печальному выводу: и сегодня, как и в то далекое время, человек живет, постоянно сознавая присутствие смерти где-то рядом».

Юко Цусима.

(Журнал «Асахи дзянару»)

Сила воздействия романа на читателя, полагает критик, определяется прежде всего тем, что описываемые мысли и чувства главной героини выстраданы самим автором в тяжелом жизненном испытании.

◆

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора),
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ,
А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (отв. секретарь), Е. В. СТОЯНОВСКАЯ,
К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора).

Художественный редактор Е. Н. Черняев. Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.10.87. Подписано в печать 11.12.87. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28, 56.

Тираж 400.000 экз. (1-й завод: 1 — 350.000 экз.) Зак. 3853.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

В следующем номере:

Роман ПОЛА СКОТТА (Великобритания) «Остаться до конца»

Главы из книги АРМАНДА ХАММЕРА (США) «Автобиография»

Оскар Давичо какой он есть... (О революции и свободе творчества) — Беседа Владимира Огнева с югославским писателем

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ, УОКЕР ПЕРСИ (США), АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Размышления о современной американской литературе.

Вниманию читателей

Рассмотрев итоги работы журнала «Иностранная литература» в 1987 году и учитывая полученные редакцией отклики читателей, редакционная коллегия приняла решение отметить как наиболее значительные публикации года работы следующих переводчиков зарубежной литературы и авторов статей:

Н. Анастасьева — статья «Феномен Владимира Набокова»;

Н. Волжиной (посмертно) — перевод романа Грэма Грина «Сила и слава»;

В. Муравьева — перевод романа Тома Шарпа «Дальний умысел»;

К. Мяло — статья «Уроки Эйзеля. В лабиринте мифа и под солнцем стадиона»;

В. Соколова — перевод стихов Димчо Дебелянова;

Л. В. Степанова — перевод фрагментов книги Лоуренса Питера «Почему дела идут вкривь и вкось, или Еще раз о Принципе Питера»;

Н. Шульгиной — перевод романа Душана Митаны «Конец игры».

О библиотеке журнала «Иностранная литература»

В 1987 году вышла в свет сотая книга библиотеки журнала «Иностранная литература» — сборник рассказов английского писателя **Виктора Содена Притчетта** «Фантазеры».

Среди изданных книг сборники таких всемирно известных авторов, как **Ярослав Гашек** (Чехословакия); **Ясуси Иноуэ, Ясунари Кавабата** и **Кобо Абэ** (Япония); **Рэй Брэдбери, Джон Гарднер, Кэтрин Энн Портер** и **Джойс Кэрол Оутс** (США); **Джеймс Джойс** (Ирландия); **Франсуа Мориак, Эрве Базен, Жан Кокто** и **Луи Арагон** (Франция); **Фарли Моуэт** (Канада); **Хорхе Луис Борхес** и **Хулио Кортасар** (Аргентина); **Иштван Эркень** (Венгрия); **Алан Маршалл** и **Патрик Уайт** (Австралия); **Дэвид Герберт Лоуренс, Фрэнсис Кинг, Джон Кольер** и **Вирджиния Вулф** (Великобритания); **Дино Буццатти** (Италия); **Герман Гессе** (Швейцария); **Герман Кант** (ГДР).

Многие мастера зарубежной прозы впервые представлены на русском языке отдельными сборниками. Библиотека, как и журнал, стремится знакомить советских людей с лучшими произведениями зарубежной литературы. В ее задачу входит и, в частности, ликвидация «белых пятен», которые в силу разных причин существуют еще для нас на литературной карте XX века, и знакомство наших читателей с теми произведениями известных авторов, без которых серьезно страдает целостное представление об их творчестве.

В ближайшее время выйдут в свет: **Франц Кафка** (Австрия) «Из дневников»; **Ингмар Бергман** (Швеция) «Осенняя соната»; **Веркор** (Франция) «Плот Медузы»; **Эмиль Ажар** (Франция) «Жизнь впереди»; сборник зарубежной научной фантастики.

В редакцию журнала приходят многочисленные письма. В них вопросы: как распространяются книги библиотеки? Можно ли на них подписаться? Почему такой маленький тираж, нельзя ли его увеличить? Попутно читатели рекомендуют обратить внимание на тех или иных авторов, просят прислать некоторые книги почтой. К сожалению, последнее вне наших возможностей.

Библиотека журнала «Иностранная литература» издается с 1982 года тиражом в 50 тысяч экземпляров. Распространяется в розницу. Распространение библиотеки — компетенция не нашей редакции, а издательства «Известия», куда и следует адресовать все связанные с этим вопросы.

Редакция ждет мнения читателей о содержании и художественном оформлении книг.

15 ИЛ № 1

Монмартр. Церковь Сакре-Кёр.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394